

*ANNALES CONTEMPORAINES*

**СОВРЕМЕННЫЯ  
ЗАПИСКИ**

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКІЙ  
и ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛЪ

LI

1933

ПАРИЖЪ

ANNALES CONTEMPORAINES

# СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛЬ

при ближайшемъ участии :

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,  
В. В. Руднева

LI

1933  
ПАРИЖЪ

---

**Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris**

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

1. И. Бунинъ. — ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА. . . . .	5
2. В. Сиринъ. — CAMERA OBSCURA. . . . .	66
3. Б. Зайцевъ. — ДОМЪ ВЪ ПАССИ. . . . .	107
4. Л. Зуровъ. — ДРЕВНИЙ ПУТЬ. . . . .	152
5. Екатерина Бакунина. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	184
6. З. Гиппиусъ. — СЛОЖНОСТИ. О ВОСКРЕСЕНЬИ. ЗДѢСЬ. ТАМЪ (Стихотворенія). . . . .	184
7. И. Голенищевъ-Кутузовъ. — ИЗЪ ЦИКЛА «AD DIONISAM». . . . .	186
8. Борисъ Поплавскій. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	186
9. Довидъ Кнутъ. — ПОВѢДКА ВЪ «LES CHEVREUSE» (Стих.) . . . . .	188
10. Юрій Софіевъ. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	192
11. Марина Цвѣтаева. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	193
12. Анатолій Штейгеръ. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	193
13. Александра Толстая. — ИЗЪ ВОСПОМИНАНІИ. . . . .	194
14. М. Цвѣтаева. — ЖИВОЕ О ЖИВОМЪ. . . . .	238
15. Д. Мережковский. — ЦАРСТВО БОЖІЕ. . . . .	262
16. М. Ростовцевъ. — ИТАЛЬЯНСКАЯ АФРИКА. . . . .	288
17. И. Бунаковъ. — ПУТИ РОССИИ. . . . .	310
18. К. Крофта. — ЧЕХИ И СЛОВАКИ ДО ИХЪ ГОСУДАРСТВЕН- НАГО ОБЪЕДИНЕНІЯ. . . . .	339
19. А. Карташевъ. — ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И РУС- СКАЯ ЦЕРКОВЬ. . . . .	369
20. М. Вишнякъ. — ПРОТИВЪ ТЕЧЕНІЯ. . . . .	389
21. Б. Бруцкусъ. — ГОЛОДЪ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦІЯ. . . . .	415

### КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.

22. М. Алдановъ. — О РОМАНѢ. . . . .	433
23. В. Вейдле. — БОРЬБА СЪ ИСТОРИЕЙ. . . . .	437
24. Н. Мельникова-Папоушкова. — ЧЕШСКІЕ ЮМОРИСТЫ. . . . .	445

## 25. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

А. Бемъ. — Ник. Тихоновъ: Война. . . . .	455
Г. Адамовичъ. — В. Яновскій: «Міръ». Романъ. . . . .	457
К. Мочульскій. — Ив. Шмелевъ: Лѣто Господне. Праздники. . . . .	458
П. Бицилли. — Т. Таманинъ: Отечество. . . . .	459
М. Осоргинъ. — В. Корсакъ: Подъ новыми звѣздами. . . . .	461
В. Зензиновъ. — Е. Булгакова: Царевна Софья. Ист. повѣсть. . . . .	462
С. Гессенъ. — Aldous Huxley: Brave New World. . . . .	463
П. Бицилли. — М. Цетлинъ. Декабристы . . . . .	465
В. Ходасевичъ. — Marc Vichniac: Lénine. . . . .	466
В. Вейдле. — Seminarium Kondakovianum. . . . .	469
А. Кизеветтеръ. — Записки Русскаго Научнаго Института въ Бѣлградѣ. Выпускъ 7. . . . .	470
Б. Ижболдинъ. — В. Brutzkus, W. Poletika und A. Ugrimoff: Die Getreidewirtschaft in den Trockengebieten Russlands. . . . .	472
П. Славинъ. — Акад. С. Струмилинъ. Проблема планирова- нія въ СССР. . . . .	484
Я. Полонскій. — Catalogues des «Bibliothèque et Musée de la Guerre». . . . .	476
Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію «Современныхъ Записокъ». . . . .	489

# Жизнь Арсеньева

## I - II.

.....  
.....

## III.

.....

Изъ Васильевского я ѣхалъ верхомъ, подъ тихимъ и свѣтлымъ утреннимъ дождикомъ, который то переставалъ, то опять сыпался по весеннему, среди пашень и паровъ, уже зароставшихъ желтымъ цвѣтомъ сорныхъ травъ. Мужики пахали и сѣяли. Мужикъ, босикомъ, шелъ за сохой, качаясь, оступаясь бѣлыми косыми ступнями въ мягкую борозду, лошадь развргивала ее, крѣлко натуживаясь, горбясь, за сохой вилялъ по бороздѣ синій грачъ, то и дѣло хватая въ ней малиновыхъ червей, за грачемъ большимъ, ровнымъ шагомъ шагаль мужикъ безъ шапки, съ сѣвалкой черезъ плечо, широко и какъ то благородно-щедро поводя правой рукой, правильными полукружїями осыпая землю зерномъ...

Въ Батуринѣ было даже больно отъ той любви, радости, съ которой былъ встрѣченъ я. Помню, что больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры, — я не чаялъ такой радости и такой прелести любви и радости, съ которой она, выглянувъ въ окно, кинулась ко мнѣ на крыльцо. И какъ она была прелестна вся — своей чистотой, юностью, какъ невинна, свѣжа была даже своимъ новенькимъ платьицемъ. въ первый разъ на\_

дѣтымъ въ этотъ день (ради меня: «Представь, Алешенька! Видѣла нынче во снѣ, что ты пріѣхалъ, и все утро ждала тебя!»). Очаровалъ меня и домъ — своей старинной прекрасной грубостью. Въ моей комнатѣ все было такъ, точно я только что вышелъ изъ нея: все по-прежнему, все на тѣхъ же мѣстахъ, — даже та наполовину сгорѣвшая сальная свѣча въ тяжеломъ желѣзномъ подсвѣчникѣ, которая осталась на письменномъ столѣ въ день моего отъѣзда зимой. Я вошелъ, перекрестился на черныя иконы въ углу, посмотрѣлъ кругомъ: за старинными окнами съ цвѣтными верхними стеклами видны деревья и небо, — кое-гдѣ голубѣющее и сыплющее мелкимъ дождемъ на зеленѣющія вѣтви и сучья, — въ комнатѣ все нѣсколько сумрачно, просторно, глубоко... потолокъ темный, деревянный, гладкій, изъ такихъ-же темныхъ, гладкихъ бревенъ и стѣны... гладки и тяжки круглые отвалы дубовой кровати...

Вечеромъ я легъ въ постель чистый душой и тѣломъ до холода. Въ постель — въ память Анхень — взялъ «Фауста» — и какъ разъ открылъ на стихѣ:

Достань ея подвязку  
Иль ленточку съ ея груди...

#### IV.

Для новой поѣздки въ Орелъ оказался дѣловой предлогъ: нужно было отвезти проценты въ банкъ. И я повезъ, но заплатилъ только часть, остальное растратилъ. Это былъ поступокъ не шуточный, но со мной дѣлалось что-то странное — я не придавалъ ему особаго значенія. Я вообще дѣйствовалъ съ какой-то бессмысленно-счастливой рѣшительностью. Ѣдучи въ Орелъ, опоздалъ къ пассажирскому поѣзду и тотчасъ устроился на паровозъ товарнаго. (Помню, влѣзъ по высокой желѣзной подножкѣ

во что-то грубое, грязное, стою и смотрю. Машинисты въ чемъ-то сверхъ мѣры засаленномъ, желѣзно блестящемъ; такъ же засалены, блестящи и лица ихъ, негритянскіе разительны бѣлки, словно нарочно, какъ у актеровъ, подмазаны вѣки. Молодой рѣзко гремитъ желѣзной лопатой въ каменномъ углѣ, наваленномъ на полу, съ громомъ откидываетъ заслонку топки, оттуда адски вырывается красный огонь, и размашисто осаживаетъ этотъ адъ чернотой угля, старшій перетираетъ пальцы какой-то ужасающей по своей сальности тряпкой и, швырнувъ ее, что-то дергаетъ и что-то повертываетъ... Раздается рѣшительный, раздрающій уши свистъ, откуда-то горячо обдаетъ и окутываетъ ослѣпляющій паръ, оглушаетъ что-то вдругъ загрохотавшее — и медленно тянетъ впередъ плавное движеніе... Какъ дико грохочетъ этотъ грохотъ потомъ, какъ все растетъ и растетъ наша сила, прыть, какъ все вокругъ трясется, мотается, прыгаетъ! Застываетъ, напряженно каменѣетъ время, однообразно и крѣпко бьетъ точно водой снаружи, ровно трещетъ по буграмъ съ боковъ огнедыщаций, драконій бѣгъ — и какъ быстро кончается каждый перегонъ! А на каждой передышкѣ послѣ него, въ мирной тишинѣ ночи и станціи, пахнетъ лѣсомъ, лѣснымъ ночнымъ воздухомъ и изъ всѣхъ окрестныхъ кустовъ бьетъ, торжествуетъ, блаженствуетъ соловьиное пѣніе). Въ Орлѣ я непристойно нарядился, — тонкіе щегольскіе сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоротка, черный съ краснымъ околышемъ дворянскій картузь, — купилъ дорогое кавалерійское сѣдло, которое было такъ восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, ѣдучи съ нимъ домой, я не могъ заснуть отъ радости, что оно лежитъ возлѣ меня. Ёхалъ опять на Писарево — съ цѣлью купить еще и лошадь — тамъ какъ разъ въ эту пору была въ селѣ конская ярмарка. На ярмаркѣ подружился съ нѣкоторыми изъ своихъ сверстниковъ, тоже все въ поддевкахъ и дворянскихъ картузахъ, уже давнихъ завсегдатаевъ ярмарокъ, и съ ихъ помощью купилъ

молодую, породистую кобылу (хотя цыганъ отчаянно навязывалъ мнѣ стараго мерина, запаленнаго донца, — «купи, баринъ, Мишу, вѣкъ будешь любить меня за Мишу!»). Лѣто послѣ того стало для меня сплошнымъ праздникомъ — я и трехъ дней подрядъ не проводилъ въ Батуриный: все гостилъ у своихъ новыхъ друзей, а когда она вернулась изъ Орла, сталъ пропадать въ городѣ...

Не было ничего, кромѣ удовольствія веселыхъ встрѣчъ. Но вотъ, — это было уже въ концѣ лѣта, — одинъ изъ этихъ друзей, жившій съ сестрой и старикомъ отцомъ въ имѣнницѣ недалеко отъ города, на обрывистомъ берегу Воргла и тоже бывавшій у нея, пригласилъ къ себѣ довольно большое общество на именинный обѣдъ. За ней онъ прѣхалъ самъ, она ѣхала съ нимъ въ шарабанчикѣ, я сзади, верхомъ. Радовалъ солнечный, сухой просторъ полей, открытыя и какъ-бы песчаныя поля были безъ конца покрыты копнами. Все играло во мнѣ, требовало чего-то отчаянно-ловкаго. Я безбожно горячилъ и сдерживалъ лошадь, потомъ пускалъ ее и на всемъ скаку махалъ черезъ копны, въ кровь разсѣкая ей бабки острыми подковами. Именинный обѣдъ на огромномъ прогнившемъ балконѣ длился до вечера, вечеръ незамѣтно слился съ ночью, съ лампами, виномъ, пѣснями и гитарами. Я сидѣлъ рядомъ съ ней и уже безъ всякаго стыда держалъ ея руку въ своей, и она не отнимала ея. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали изъ-за стола и сошли съ балкона въ темноту сада, она остановилась въ его теплой чернотѣ и, прислонясь спиной къ дереву, протянула ко мнѣ руки, — я не могъ разглядѣть, но тотчасъ угадалъ ихъ движеніе... Помню, какъ быстро посѣрѣло послѣ того въ саду, какъ хрипло и какъ-то безпомощно-блаженно стали кричать въ усадьбѣ молодые пѣтушки, какъ, еще черезъ минуту, сталъ свѣтелъ весь садъ отъ огромнаго золотистаго востока, раскрывшагося за нимъ надъ желтыми полями за рѣчной изменностью... Потомъ мы стояли на обрывѣ надъ этой изменностью и она, глядя на солнечно

разгорающийся небосклонъ и уже какъ-бы совѣмъ не за-  
мѣчая меня, пѣла «Утро» Чайковскаго...

Оборвавъ на высокомъ, недоступномъ ей звукѣ, она  
подхватила нарядныя оборки батистовой юбки и побѣ-  
жала къ дому. Я остановился, растерянный, но уже неспо-  
собный не только соображать что-нибудь, но просто дер-  
жаться на ногахъ. Я отошелъ подь большую старую бере-  
зу, стоящую на скатѣ обрыва въ сухой травѣ, и прилежъ  
подь ней. Былъ уже день, солнце взошло и какъ-то сразу,  
какъ всегда въ концѣ лѣта, въ погожую пору, наступило  
свѣтлое жаркое утро. Я положилъ голову на корни бере-  
зы и тотчасъ заснулъ. Но солнце разгоралось все жарче,  
— вскорѣ я проснулся въ такомъ зноѣ и блескѣ, что всталъ  
и, какъ пьяный, пошелъ въ домъ. Весь домъ еще спалъ,  
стоя въ сухомъ, ослѣпительномъ свѣтѣ. Не спалъ одинъ  
старый хозяинъ. Изъ открытаго окна его кабинета, подь  
которымъ густо разрослась одичавшая сирень, слышал-  
ся его неторопливый кашель, въ которомъ чувствовалась  
старческое наслажденіе деревенскимъ утромъ, первой ут-  
ренней трубкой, утреннимъ стаканомъ крѣпкаго чаю со  
сливками. На мои шаги и шумъ воробьевъ, ливнемъ со-  
рвавшихся отъ меня съ блестящей подь солнцемъ сире-  
ни, онъ выглянулъ въ окно, запахивая на груди старень-  
кій халатикъ изъ турецкаго узорчатаго шелка, показавъ  
свое странное отъ запухшихъ глазъ и громадной сѣдой  
бороды лицо и улыбнулся съ необыкновенной добротой.  
Я виновато поклонился, прошелъ по балкону въ раскрытыя  
двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней  
тишиной и пустотой, летающими въ ней бабочками, си-  
ними старинными обоями, креслами и диванчиками, легъ  
на одинъ изъ этихъ диванчиковъ, на рѣдкость неудобный  
своей изогнутостью, и опять заснулъ самымъ простымъ,  
глубокимъ сномъ. Но тутъ, — будто-бы тотчасъ-же, хо-  
тя спалъ я долго, — кто-то подошелъ ко мнѣ и, смѣясь,  
что-то сталъ говорить, путать мнѣ волосы. Я очнулся —  
передо мной стояли молодые хозяева, братъ и сестра, оба

черные, огнеглазые, по татарски красивые, онъ въ желтой шелковой косовороткѣ, она въ такой-же кофточкѣ. Я вскочилъ и сѣлъ: они какъ-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уѣхала, и не одна, а съ Кузьминымъ, и подали мнѣ записочку. Я тотчасъ вспомнилъ глаза Кузьмина, — бойкіе, дерзкіе, какіе-то пестрые, цвѣта пчелы, — взявъ записочку, пошелъ въ какую-то заднюю комнату, — тамъ смиренно ждала меня надъ табуретомъ съ тазомъ, держа въ худой рукѣ, покрытой гречкой, кувшинъ съ водой, какая-то старушка во всемъ темненькомъ, — на ходу прочелъ: «Не старайтесь больше меня видѣть» — и сталъ умываться. Вода была леденая, острая — «у насъ вѣдь ключевая-съ, колодезная», — сказала старушка и подала мнѣ длиннѣйшее льняное полотенце. Я вытерся, потомъ быстро прошелъ прихожую, взявъ картузь и нагайку, пробѣжалъ черезъ жаркій дворъ въ конюшню... Лошадь тихонько и горестно заржала мнѣ навстрѣчу изъ сумрака, — она какъ была такъ и осталась подъ сѣдломъ, стояла возлѣ пустыхъ яслей, съ подведенными пахами, — я схватилъ поводъ, вскочилъ въ сѣдло, все еще какъ-то дико-восторженно сдерживая себя, и помчался вонъ со двора. За усадьбой я круто свернулъ въ поле, понесся куда глаза глядятъ по шуршащему жнивью, осадилъ лошадь подъ первой попавшейся копной и, сорвавшись съ сѣдла, сѣлъ подъ ней... Лошадь шумѣла, хватая зубами и таща къ себѣ снопы за сыплющіеся точно стекляннымъ зерномъ колосья, тысячами чашиковъ знойно торопились въ жнивьи и въ снопахъ кузнечики, песчаной пустыней простирались вокругъ свѣтлыя поля — я ничего не слыхалъ, не видалъ, мысленно твердя одно: «Не старайтесь меня больше видѣть!» Всѣмъ существомъ я былъ увѣренъ теперь, будто всегда, съ самой первой встрѣчи, любилъ ее самой страстной любовью, и зналъ, чувствовалъ: или она вернетъ мнѣ себя, эту ночь, это утро, эти батистовыя оборки, зашумѣвшія отъ ея за-

мелькавшихъ въ сухой травѣ ногъ, или не жить намъ об-  
оимъ!

Съ этими сумасшедшими чувствами, съ безумной увѣ-  
ренностью въ нихъ я прискакалъ передъ вечеромъ въ го-  
родъ...

## V.

Я надолго остался послѣ того въ городѣ, по цѣлымъ  
днямъ сидѣлъ съ ней въ запыленномъ садикѣ, что былъ въ  
глубинѣ двора при домѣ ея отца, — отецъ (безпечный че-  
ловѣкъ, либеральный докторъ) ни въ чемъ ее не стѣснялъ.  
Съ того вечера, когда я прискакалъ къ ней съ Воргла, и  
она, увидавъ мое лицо, по дѣтски прижала обѣ руки къ  
груди, въ ней не осталось и подобія прежней. Теперь уже  
нельзя было понять, чья любовь сильнѣй, счастливѣй,  
безсмысленнѣй, — моя или ея (тоже какъ-то вдругъ и не-  
извѣстно откуда взявшаяся). Наконецъ, чтобы хоть не-  
много дать другъ другу отдохнуть, мы рѣшили на время  
разстаться. Это было необходимо тѣмъ болѣе, что, живя  
на мѣлокъ въ Дворянской гостиницѣ, я уже давно впалъ  
въ неоплатный долгъ. Пошли къ тому же дожди. Я оття-  
гивалъ разлуку всячески — напоследокъ собрался съ си-  
лами и пустился подъ ливнемъ домой. Дома я сперва все  
только спалъ, тихо скитаясь изъ комнаты въ комнату, ни-  
чего не дѣлая, ни о чемъ не думая. Потомъ стала задумы-  
ваться: что же это однако происходить со мной и чѣмъ  
все это кончится? Однажды пришелъ братъ Николай, во-  
шелъ въ мою комнату, сѣлъ, не снимая поддевки и карту-  
за, и сказалъ:

— Итакъ, мой другъ, романтическое существованіе  
твое благополучно продолжается. Все по прежнему: «не-  
сетъ меня лиса за темные лѣса, за высокія горы», а что за  
этимъ лѣсами и горами — невѣдомо. Я вѣдь все знаю,  
многое слышалъ, объ остальномъ догадываюсь — исто-

ри-то эти всё на одинъ ладъ. Знаю и то, что тебѣ теперь не до здравыхъ разсужденій. Ну, а все-таки: какія же твои дальнѣйшія намѣренія?

Я отвѣтилъ какъ-бы шутя:

— Всякаго несетъ какая-нибудь лиса. А куда и зачѣмъ, одинаково никому неизвѣстно. Въ Писаніи сказано: «Иди, юноша, въ молодости твоей, куда ведетъ тебя сердце твое и куда глядятъ глаза твои!»

Братъ помолчалъ, глядя въ поле и какъ бы слушая шумъ дождя по осеннему жалкому саду, потомъ очень грустно сказалъ:

— Ну, иди, иди...

Я измучился, все спрашивая себя: что дѣлать? Было вполне ясно, что именно. Но чѣмъ настойчивѣе старался я внушать себѣ, что завтра-же надо написать рѣшительное, прощальное письмо, — это было еще возможно, послѣдней близости между нами еще не было, — тѣмъ все больше охватывала меня нѣжность къ ней, восхищеніе ею, какое-то благодарное умиленіе ея любовью ко мнѣ, прелестью ея глазъ, лица, смѣха, голоса... А черезъ нѣсколько дней, въ сумерки, появился вдругъ во дворѣ усадьбы верховой, мокрый съ головы до ногъ посыльный, подавшій мнѣ мокрую депешу: «Больше не могу, жду». Я не спалъ до разсвѣта отъ страшной мысли, что черезъ нѣсколько часовъ увижу, услышу ее...

Такъ, то дома, то въ городѣ, провель я всю осень. Я продалъ сѣдло, лошадь, въ городѣ жилъ уже не въ Дворянской гостиницѣ, а на подворьи Никулиной, на Щепной площади. Городъ теперь былъ другой, совсѣмъ не тотъ, въ которомъ шли когда-то мои отроческіе годы. Все было простое, будничное, — только иногда, проходя по Успенской улицѣ, мимо сада и дома гимназіи, ловилъ я что-то какъ будто близкое душѣ, когда-то пережитое. Уже давно я привычно курилъ, привычно брился въ парикмахерской, гдѣ когда-то сидѣлъ съ такой дѣтской покорностью, искоса поглядывая, какъ подъ непрерывно

стрекочущими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы... Теперь мы съ утра до вечера сидѣли на турецкомъ диванѣ въ столовой, въ напрасныхъ попыткахъ что-нибудь вмѣстѣ читать и почти всегда въ одиночествѣ: докторъ съ утра уѣзжалъ, десятилѣтній гимназистъ, ея братъ, уходилъ въ гимназію, послѣ завтрака докторъ спалъ и опять куда-нибудь уѣзжалъ, а гимназистъ часами занятъ былъ бѣшеной бѣготней, свалкой со своимъ рыжимъ Волчкомъ, который, притворно ярясь, лая, захлебываясь, носился вверхъ и внизъ по деревянной лѣстницѣ во второй этажъ. Одно время эти однообразныя сидѣнія и, можетъ быть, моя неумѣренная, неизмѣнная чувствительность наскучили ей — она стала находить предлоги уходить изъ дому, бывать у подругъ, у знакомыхъ, а я сталъ сидѣть на диванѣ одинъ, слушая крики, хохотъ, топотъ гимназиста и театральнѣйшій визгъ, лай Волчка, бѣсившагося на лѣстницѣ, сквозь слезы глядя въ полузавазаннныя окна на ровное сѣрое небо, куря папиросу за папиросой... Потомъ опять что-то случилось съ ней: опять она стала сидѣть дома, стала такъ ласкова, добра ко мнѣ, что я совсѣмъ потерялъ понятіе, что она за человѣкъ. «Что-жъ, миленькій, сказала она мнѣ разъ, видно, такъ тому и быть!» — и, радостно морщась, заплакала. Это было какъ-то послѣ завтрака, когда въ домѣ всѣ ходили на цыпочкахъ, оберегая отдыхъ доктора. — «Мнѣ только папу страшно жалко, для меня никого въ мірѣ нѣтъ дороже его!» — сказала она, какъ всегда, удивляя меня своей чрезмѣрной любовью къ отцу. И, какъ нарочно, тотчасъ же послѣ того вдругъ прибѣжалъ гимназистъ, говоря, что докторъ проситъ меня къ себѣ. Она поблѣднѣла. Я поцѣловалъ ея руку и быстро пошелъ.

Докторъ встрѣтилъ меня съ ласковымъ весельемъ отлично выспавшагося и только что умывшагося послѣ сна человѣка, напѣвая и закуривая.

— Мой молодой другъ, — сказалъ онъ, предлагая курить и мнѣ, — я давно хотѣлъ поговорить съ вами, — вы

понимаете, о чемъ. Вамъ отлично извѣстно, что я человекъ безъ предрасудковъ. Но мнѣ дорого счастье дочери, отъ души жаль и васъ, и потому поговоримъ начистоту, какъ мужчина съ женщиной. Какъ это ни странно, но вѣдь я васъ совсѣмъ не знаю. Скажите-же мнѣ прежде всего: кто вы такой? — сказалъ онъ съ улыбкой.

Краснѣя и блѣднѣя, я сталъ усиленно затягиваться. Кто я такой? Хотѣлось отвѣтить съ гордостью, по-гетевски (я только что прочелъ тогда Эккермана): «Я самъ себя не знаю, и избави меня, Боже, знать себя!» — Я однако сказалъ совсѣмъ скромно:

— Вы знаете, что я пишу... Буду продолжать писать, работать надъ собой... Буду жить тѣмъ заработкомъ, который уже началъ получать...

И неожиданно прибавилъ:

— Можетъ быть, подготавливаю и поступлю въ университетъ...

— Университетъ, это, конечно, прекрасно, — отвѣтилъ докторъ. — Но вѣдь подготовиться къ нему дѣло не шуточное. И къ какой именно дѣятельности вы хотите готовиться? Къ литературной только или и къ общественной?

И снова вздоръ полѣзъ въ голову — снова Гете: «Я живу въ вѣкахъ, съ чувствомъ несноснаго непостоянства всего земного... Политика никогда не можетъ быть дѣломъ поэзіи...»

— Общественность не дѣло поэта, — отвѣтилъ я.

Докторъ взглянулъ съ легкимъ удивленіемъ:

— Такъ что Некрасовъ, напримѣръ, не поэтъ по вѣществу? Но вы все-таки слѣдите хоть немного за текущей общественной жизнью, знаете, чѣмъ живетъ и волнуется въ настоящій моментъ всякій честный и культурный русскій человекъ?

Я подумалъ и представилъ себѣ то, что зналъ: всѣ говорятъ о реакціи, о земскихъ начальникахъ, о томъ, что камня на камнѣ не оставлено отъ всѣхъ благихъ начина-

ній «эпохи великхъ реформъ»... что Толстой зоветъ «въ келью подь елью»... что живемъ мы по-истинѣ въ чеховскиххъ «Сумеркахъ»... Я вспомнилъ книжечку изреченій Марка Аврелія, распространяемую толстовцами: «Фронтонъ научилъ меня, какъ черствы души людей, слывущихъ аристократами...» Вспомнилъ печальнаго старика-хохла, съ которымъ плыль весной по Днѣпру, не то тоже толстовца, не то какого-то сектанта, все твердившаго мнѣ на свой ладъ слова апостола Павла: «Якъ Господь посадивъ одесную Себя Христа на небесахъ, превыше всякаго начальства, и власти и силы, и господства, и всякаго имени, именуемаго не только въ семь вѣкѣ, но и въ будущемъ, такъ брань наша не противъ крови и плоти, но противъ начальствъ, противъ міроправителей тьмы вѣка сего...» Я почувствовалъ все уже давнее тяготѣніе къ толстовству, освобождающему отъ всякихъ общественныхъ узъ и грѣховъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ополчающемуся на «міроправителей тьмы вѣка сего», ненавистныхъ и мнѣ, — и пустился въ проповѣдь толстовства.

— Такъ что, по вашему, единственное спасеніе отъ всѣхъ золъ и бѣдъ въ этомъ пресловутомъ недѣланіи, непротивленіи? — спросилъ докторъ съ преувеличеннымъ безразличіемъ.

Я поспѣшилъ отвѣтить, что я за дѣланіе и за противленіе, «только совсѣмъ особое»... Мое толстовство складывалось изъ тѣхъ сильныхъ противоположныхъ чувствъ, которыя возбуждали во мнѣ Пьеръ Безуховъ и Анатолій Куракинъ, князь Серпуховской изъ «Холстомѣра» и Иванъ Ильичъ, «Такъ что-же намъ дѣлать» и «Много-ли чело-вѣку земли нужно», изъ страшныхъ картинъ городской грязи и нищеты, нарисованныхъ въ статьѣ о московской переписи, и поэтической мечты о жизни, любви и работѣ среди природы, среди народа, которую создавали во мнѣ «Казакъ» и мои собственныя впечатлѣнія отъ Малороссіи: какое это счастье — отряхнуть отъ ногъ прахъ всей нашей неправедной жизни и замѣнить ее чистой, трудовой

жизнью гдѣ-нибудь на степномъ хуторѣ, въ бѣлой мазанкѣ на берегу Днѣпра! Кое-что изъ всего этого, опустивъ мазанку, я и сказалъ доктору. Онъ слушалъ, казалось внимательно, но какъ-то черезчуръ снисходительно. Одну минуту у него помутились глаза и задрожали отъ приступа зѣвоты сжатая челюсти, но онъ одолѣлъ себя и сказалъ:

— Да, да, я васъ слушаю... Значить, вы не ищете лично для себя никакихъ, такъ сказать, обычныхъ благъ «міра сего»? Но вѣдь есть же не только личное. Я, напримѣръ, далеко не восхищаюсь народомъ, хорошо, къ сожалѣнію, зная его, весьма мало вѣрю, что онъ есть кладезь и источникъ всѣхъ премудростей и что я обязанъ вмѣстѣ съ нимъ утверждать землю на трехъ китахъ, но неужели все-таки мы ничѣмъ ему не обязаны и ничего не должны ему? Впрочемъ, не смѣю поучать васъ въ этомъ направленіи. Я во всякомъ случаѣ очень радъ, что мы побесѣдовали. Теперь-же вернусь къ тому, съ чего началъ. Скажу кратко и, простите, совершенно твердо. Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью и въ какой бы стадіи развитія они ни находились, скажу заранѣе: она, конечно, совершенно свободна, но, буде, пожелаетъ, напримѣръ, связать себя съ вами какими-либо прочными узами и спросить на то моего, такъ сказать, благословенія, то получить отъ меня рѣшительный отказъ. Вы очень симпатичны мнѣ, я желаю вамъ всяческихъ благъ, но это такъ. Почему? Отвѣчу совсѣмъ по обывательски: не хочу видѣть васъ обоихъ несчастными, прозябающими въ нуждѣ, въ неопредѣленномъ существованіи... И потомъ, позвольте говорить ужъ совсѣмъ откровенно: что у васъ общаго? Она дѣвочка хорошенькая и, нечего грѣха таить, довольно перемѣнчивая, — нынче одно увлеченіе, завтра другое, — мечтаетъ, ужъ конечно, не о толстовской кельѣ подъ елью, — посмотрите-ка, какъ она одѣвается, не взирая на наше захолустье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорченная, я только думаю, что она, какъ говорится, совсѣмъ не пара вамъ...

Она ждала меня, стоя подъ лѣстницей, встрѣтила меня вопрошающими и готовыми къ ужасу глазами. Я поспѣшно передалъ ей послѣднія слова доктора. Она опустила голову:

— Да, противъ него я никогда не пойду, — сказала она.

## VI.

Живя на подворьи Никулиной, я иногда выходилъ и безъ цѣли шель по Шепной площади, потомъ по пустымъ полямъ сзади монастыря, гдѣ стояло старое большое кладбище, обнесенное старыми стѣнами. Тамъ только вѣтеръ дулъ — грусть и глушь, вѣчный покой крестовъ и плить, всѣми забвенныхъ, заброшенныхъ, что-то пустое, подобное одинокой, смутной мысли о чемъ-то. Надъ воротами кладбища была написана безграничная сизая равнина, вся изрытая разверзающимися могилами, наискось падающими надгробіями, поднимающимися изъ-подъ нихъ зубастыми и ребрастыми скелетами и незапамятно-древними старцами и старицами въ блѣдно-зеленыхъ саванахъ. И огромный ангелъ съ трубой возлѣ усть летѣлъ, трубилъ надъ этой равниной, полосами развѣвая блекло-синія одежды, согнувъ въ колѣняхъ голыя дѣвичьи ноги, вскинувъ сзади себя длинныя мѣловыя ступни... На подворьи царилъ осенній, уѣздный миръ, было тоже пусто — подъѣзду изъ деревень почти уже не было. Я возвращался, входилъ во дворъ — навстрѣчу мнѣ, изъ-подъ навѣсовъ двора, несла стараго пѣтуха стряпуха въ мужицкихъ сапогахъ: «Вотъ въ домъ несу, говорила она, неизвѣстно чему смѣясь, — совсѣмъ очумѣлъ отъ старости, нехай теперь со мной квартируетъ...» Я поднимался на широкое каменное крыльцо, проходилъ темныя сѣнцы, потомъ теплую большую кухню съ нарами, шель въ горницы, — тамъ была спальня хозяйки и та комната, гдѣ стояли два большихъ дивана, на ко-

торыхъ спали рѣдкіе прѣзжіе изъ мѣшанъ и духовенства, а чаще всего одинъ я. Тишина, чистота, въ тишинѣ и теплѣ мѣрно стучить изъ спальни, съ комода хозяйки никелевый будильникъ. — «Прогулялись?» — ласково, съ улыбкой милого снисхожденія, спрашиваетъ хозяйка оттуда. Какой очаровательный, гармоническій голосъ! Она была полная, круглоликая. Я порой не могъ спокойно смотрѣть на нее — особенно въ тѣ вечера, когда она, вся алая, возвращалась изъ бани и долго, спокойно пила чай, сидѣла съ еще темными, влажными волосами, съ тихимъ и томнымъ блескомъ глазъ, въ бѣлой ночной кофточкѣ, свободно и широко покоя въ креслѣ свое мягкое, чистое тѣло. Снаружи слышался стукъ: стряпуха затворяла съ улицы крѣпкія сплошныя ставни, гремѣла, продѣвая оттуда въ комнату, въ круглыя отверстія по бокамъ оконъ, желѣзныя шкворни колѣчатыхъ баутовъ, — нѣчто, напоминающее какія-то старинныя, опасныя времена. Никулина поднималась, вставляла въ дырочки на концахъ баутовъ желѣзные клинушки и опять бралась за чай, и въ комнатѣ становилось еще уютнѣе... Дикія чувства и мысли проходили тогда во мнѣ: вотъ бросить все и навсегда остаться тутъ, на этомъ подворьи, спать въ этой теплой спальнѣ, подъ вѣчный стукъ будильника! Надъ однимъ диваномъ висѣла картина: удивительно зеленый лѣсъ, стоящій сплошной стѣной, подъ нимъ бревенчатая хижинка, а возлѣ хижинки — кротко согнувшійся старчикъ, положившій ручку на голову бурега медвѣдя, тоже кроткаго, смиреннаго, мягколапаго; надъ другимъ — нѣчто совершенно неслѣпое для всякаго, кто долженъ былъ ночевать на немъ: фотографія старика въ гробу, важнаго, бѣлоликаго, въ черномъ сюртукѣ, — покойнаго мужа Никулиной. Изъ кухни, въ ладъ долгому осеннему вечеру, слышался дробный стукъ и протяжное: «У церкви стояла карета, тамъ пышная свадьба была...» — это пѣли и рубили на зиму калусту слободскія дѣвки поденщицы. И во всемъ, — въ этой мѣщанской пѣснѣ, въ мѣрномъ хозяйственномъ стукѣ, въ ста-

рой лубочной картинѣ, даже въ покойникѣ, жизнь котораго все еще какъ бы длилась въ этомъ бессмысленно-счастливомъ житіи подворья, — была для меня, безпріютнаго, безбытнаго, великая грусть: «Ибо и птица обрѣтъ себѣ храмину и горлица гнѣздо себѣ...»

## VII.

Въ ноябрѣ я уѣхалъ домой. Прощаясь, мы условились встрѣтиться въ Орлѣ: она выѣдетъ туда перваго декабря, я-же, для приличія, хоть недѣлей позднѣй. Я уѣхалъ и сталъ ждать перваго. А перваго, въ морозную лунную ночь, поскакалъ въ Писарево, чтобы сѣсть тамъ какъ разъ въ тотъ ночной поѣздъ, съ которымъ она должна была ѣхать изъ города. Какъ вижу, какъ чувствую эту сказочно-дажную ночь! Вижу себя гдѣ-то на поллуги между Батуринымъ и Васильевскимъ, въ ровномъ и глухомъ снѣжномъ полѣ. Пара летитъ, но коренникъ точно на одномъ мѣстѣ трясеть дугой, дробитъ свою крупную рысь, пристяжная ровно взвиваетъ и взвиваетъ задъ, мечетъ и мечетъ вверхъ изъ-подъ заднихъ бѣло-сверкающихъ подковъ снѣжными комьями... порой вдругъ сорвется съ дороги, ухнетъ въ глубокой снѣгъ, заспѣшитъ, зачиститъ, путаясь въ немъ вмѣстѣ съ опавшими постромками, потомъ опять цѣлко выскочитъ и опять несетъ, крѣпко рветъ валекъ... Все летитъ, слѣшитъ — и вмѣстѣ съ тѣмъ точно стоитъ и ждетъ: неподвижно серебрится вдали, подъ луной, чешуйчатый насть снѣговъ, неподвижно бѣлѣетъ низкая и мутная съ морозу луна, широко и печально-мистически охваченная радужно-туманнымъ кольцомъ, и всего неподвижной я, застывшій въ этой скачкѣ и неподвижности, покоровшійся ей до поры до времени, оцѣпенѣвшій въ ожиданіи, а наряду съ этимъ тихо глядяшій въ какое-то воспоминаніе: вотъ такая-же ночь и такой-же путь въ Васильевское, только это моя первая зима въ Батуриинѣ, и я

еще чистъ, невиненъ, радостенъ — радостью первыхъ дней юности, первыми поэтическими упоеніями въ мірѣ этихъ старинныхъ томиковъ, привозимыхъ изъ Васильевского, ихъ стансовъ, посланій, элегій, балладъ:

Скачутъ. Пусто все вокругъ.  
Степь въ очахъ Свѣтланы...

«Гдѣ все это теперь!» думаю я, не теряя однако ни на минуту своего главнаго состоянія, — оцѣпенѣлаго, ждущаго. «Скачутъ, пусто все вокругъ», говорю я себѣ въ ладъ этой скачкѣ (въ ритмъ движенія, всегда имѣвшаго такую ворожащую силу надо мной) и чувствую въ себѣ кого-то лихого, стариннаго, напропалую куда-то скачущаго въ киверѣ и медвѣжьей шубѣ, и о дѣйствительности напоминаетъ только засыпанный снѣгомъ работникъ, въ армякѣ поверхъ полушубка стоящій въ передкѣ, да пересыпанная снѣжной пылью, мерзлая, пахучая овсяная солома, набитая подъ передкомъ въ моихъ застывшихъ ногахъ... За Васильевскимъ, на раскатѣ въ ухабъ, упавшій коренникъ переломилъ оглоблю, — я, пока работникъ связывалъ ее, замаралъ отъ ужаса, что опоздаю къ поѣзду... Пріѣхавъ, тотчасъ на послѣдніа деньги купилъ билетъ перваго класса, — она какъ-то бесплатно ѣздила въ первомъ, — и кинулся на платформу... Помню мутный отъ морознаго пара лунный свѣтъ, въ которомъ терялся желтый свѣтъ ея фонарей и освѣщенныхъ оконъ телеграфа... Поѣздъ уже подходилъ, я глядѣлъ въ мутную снѣжную даль, чувствуя себя точно стекляннымъ отъ мороза и ледяного внутренняго трепета. Неожиданно и гулко забилъ колоколъ, рѣзко завизжали и захлопали двери, туго и рѣзко заскрипѣли быстрые шаги выходящихъ изъ вокзала — и вотъ, какъ-то космато зачернѣлъ вдали паровозъ, показался медленно и страшно идущій подъ его тяжелое дыханіе треугольникъ мутно-красныхъ огней... Поѣздъ подошелъ съ трудомъ, весь въ снѣгу, промерзлый, визжа, скрипя, поя...

Я вскочилъ въ сѣнцы вагона, распахнулъ дверь въ него — она, въ шубкѣ, накинутой на плечи, сидѣла въ сумракѣ, подъ задернутымъ вишневою занавѣскою фонаремъ, со-всѣмъ одна во всемъ вагонѣ, глядя прямо на меня...

Ночью мы тѣсно лежали на красномъ бархатномъ диванѣ. Вагонъ былъ старый, высокій, на трехъ парахъ колесъ, на бѣгу, на морозѣ онъ весь гремѣлъ и все падалъ, валился куда-то, скрипѣлъ дверями и стѣнками, замерзшія стекла его играли сѣрыми алмазами... Мы были уже гдѣ-то далеко, была поздняя ночь... Все произошло безотчетно, безвольно и, когда произошло, поразило, что дѣйствительно произошло — до конца, непоправимо... Она встала съ горящимъ, ничего не видящимъ лицомъ, поправила волосы и, закрывъ глаза, недоступно сѣла въ уголь...

Вагонъ былъ изъ тѣхъ, что уже и въ то время были рѣдкостью: какъ-бы гостиная, съ ломбернымъ столомъ по серединѣ и большими красно-бархатными креслами вокругъ него и подъ окнами... Когда впоследствии мнѣ случалось иногда, на какой-нибудь глухой вѣткѣ, попадать въ такой вагонъ, неизмѣнно какая-то беззвучная молнія тихо мелькала во мнѣ...

### VIII.

Зиму мы жили въ Орлѣ.

Я поселился въ маленькой гостиницѣ, она по прежнему у Авиловой. Тамъ мы проводили почти весь день, а завѣтные часы — въ этой гостиницѣ.

Это было счастье нелегкое, изнурительное.

Помню: какъ-то вечеромъ она была на каткѣ, я сидѣлъ и занимался въ редакціи, — мнѣ тамъ уже стали давать кое-какую работу, нѣкоторый заработокъ, — въ домѣ было пусто и тихо, — Авилова уѣхала на какое-то собраніе, — вечеръ казался безконечнымъ, фонарь, горѣвшій за

окномъ на улицѣ, грустнымъ, никому не нужнымъ, приближающіеся и удаляющіеся шаги прохожихъ, ихъ скрипъ по снѣгу, точно уносили, отнимали что-то отъ меня; сердце мнѣ томила тоска, обида, ревность, — вотъ, я тутъ сижу одинъ, за какой-то нелѣпой, недостойной меня работой, до которой я унизился ради нея, а ей гдѣ-то тамъ, на этомъ ледяномъ пруду, окруженномъ бѣлыми снѣжными валами съ черными елками, оглушаемомъ полковой музыкой, залитомъ сиреневымъ газовымъ свѣтомъ и усѣяномъ летающими черными фигурами, — ей тамъ весело... Вдругъ раздался звонокъ и быстро вошла она. На ней былъ сѣрый костюмъ, сѣрая бѣличья шапочка, въ рукахъ она держала блестящіе коньки, и все въ комнатѣ сразу радостно наполнилось ея морозной молодой свѣжестью, красотой раскраснѣвшагося отъ мороза и движенія лица. — «Охъ! — сказала она, — устала, миленькій!» — и прошла въ свою комнату. Я пошелъ за ней, она бросилась на диванъ, съ усмѣшкой изнеможенія откинулась, все еще держа коньки въ рукахъ... Я съ мучительнымъ и уже привычнымъ чувствомъ смотрѣлъ на ея высокой зашнурованный подъемъ, на ногу, обтянутую тонкимъ сѣрымъ чулкомъ и видную изъ-подъ короткой сѣрой юбки, — даже одна эта плотная шерстяная матерія вождѣленно мучила меня, — стала упрекать ее, — вѣдь мы не видались весь день! — потомъ вдругъ, съ пронзительнымъ чувствомъ нѣжности и жалости, увидаль, что она спитъ... Очнувшись, она ласково и уже грустно отвѣтила: «Я, миленькій, почти все слышала. Не сердись, я устала. Я вообще, должно быть, очень устала. Вѣдь я все-таки много пережила за этотъ годъ!»

.....

## IX.

Чтобы найти предлогъ для жизни въ Орлѣ, она начала учиться музыкѣ. Я тоже нашель предлогъ: работу въ «Голосѣ». Первое время все это меня даже радовало: радовала хоть нѣкоторая правильность, наставшая въ моемъ существованіи, успокаивала нѣкоторая обязательность, которая вошла въ мою лишенную всякихъ обязательствъ жизнь. Потомъ все чаще стало мелькать въ умѣ: о такой-ли жизни я мечталъ! Вотъ я, можетъ быть, въ самой лучшей порѣ своей, когда весь міръ долженъ быть въ моемъ обладаніи, а я не обладаю даже калошами! Все это только пока, теперъ? Ну, а что впереди? Все та же жалкая газетная работа въ Орлѣ? Миѣ стало казаться, что далеко не все благополучно и въ нашей близости, въ согласованности нашихъ чувствъ, мыслей, вкусовъ, а значить, и въ ея вѣрности: этотъ «вѣчный раздоръ между мечтой и существенностью», «вѣчную неосуществимость» полноты и цѣльности любви я переживалъ въ ту зиму со всей силой новизны для меня и какъ будто страшной незаконности по отношенію лично ко миѣ.

Больше всего мучился я, когда бывалъ съ ней на балахъ, въ гостяхъ. Когда она танцевала съ кѣмъ-нибудь, кто былъ красивъ, ловокъ, и я видѣлъ ея удовольствіе, оживленіе, быстрое мельканіе ея юбокъ и ногъ, музыка больно била миѣ по сердцу своей бодрой звучностью, а вальсами влекла къ слезамъ. Всѣ любовались, когда она танцевала съ Турчаниновымъ, — тѣмъ противоестественно высокимъ офицеромъ въ черныхъ полубачкахъ, съ продолговатымъ, матово-смуглымъ лицомъ, съ неподвижными темными глазами. Она была довольно высока, — все-таки онъ былъ на двѣ головы выше ея и, тѣсно обнявъ и плавно, длительно кружа ее, какъ-то настойчиво, непроницаемо смотрѣлъ на нее сверху внизъ, а въ ея поднятѣмъ къ нему лицѣ было что-то счастливое и несчастное,

прекрасное и вмѣстѣ съ тѣмъ безконечно ненавистное мнѣ. Какъ молилъ я тогда Бога, чтобы произошло нѣчто невѣроятное, — чтобы онъ вдругъ наклонился и поцѣловалъ ее и тѣмъ сразу разрѣшилъ, подтвердилъ тяжкія ожиданія, замиранія моего сердца!

— Ты только о себѣ думаешь, хочешь, чтобы все было только по твоему, — сказала она разъ. — Ты бы, вѣрно, съ радостью лишилъ меня всякой личной жизни, всякаго общества, отдѣлилъ бы меня ото всѣхъ, какъ отдѣляешь себя...

И точно: по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь и особенно любовь къ женщинѣ входило чувство жалости, сострадающей нѣжности, я жестоко не любилъ — особенно на-людяхъ — минутъ ея веселости, оживленія, желанія нравиться и вообще чѣмъ-нибудь блистать и горячо любилъ ея простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, отъ которыхъ у нея тотчасъ же по дѣтски вспухали губы... Въ обществѣ я дѣйствительно чаще всего держался отчужденно, недобрымъ наблюдателемъ, втайнѣ даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, рѣзко обострившей мою впечатлительность, зоркость, проникаемость на счетъ всякихъ людскихъ недостатковъ и низостей... Зато какъ хотѣлъ я близости съ ней и какъ страдалъ, не достигая ея!

Я часто читалъ ей стихи.

— Послушай, до чего это изумительно! — восклицала я, восхищаясь. — «Уноси мою душу въ звенящую даль, гдѣ, какъ мѣсяцъ надъ рошей, печаль!»

Но она особаго изумленія не испытывала:

— Да, это очень хорошо, — говорила она, уютно лежа на диванѣ, подложивъ обѣ руки подъ щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. — Но почему «какъ мѣсяцъ надъ рошей»? Это Фетъ? У него вообще слишкомъ много описаній природы.

Я негодовалъ: описаній! — пускался доказывать, что нѣтъ никакой отдѣльной отъ насъ природы, что каждое

малѣйшее движеніе воздуха есть движеніе нашей собственной жизни. Она смѣялась:

— Это только науки, миленькій, такъ живутъ!

Я читаль:

Какая грусть! Конецъ аллен  
Опять съ утра исчезъ въ пыли,  
Опять серебряныя змѣи  
Черезъ сугробы поползли...

Она спрашивала:

— Какія змѣи?

И нужно было объяснять, что это — метель, поземка...

Я, блѣднѣя, читаль:

Ночь морозная мутно глядитъ  
Подъ рогожу кибитки моей...  
За горами, лѣсами, въ дыму облаковъ,  
Свѣтитъ пасмурный призракъ луны...

— Миленькій, — говорила она, — вѣдь я-же этого ничего никогда не видала!

Я читаль уже съ тайнымъ укоромъ:

Солнца лучъ промежъ тучъ былъ и жгучъ и высокъ,  
Предъ скамьей ты чертила блестящій песокъ...

Она слушала одобрительно, но, вѣрно, только потому, что представляла себѣ, что это она сама сидитъ въ саду, чертя по песку хорошенькимъ зонтикомъ:

— Это, правда, релестно, — говорила она. — Но довольно стиховъ, поди ко мнѣ... Все-то ты недоволенъ мной!

Я нерѣдко рассказываль ей о своемъ дѣтствѣ, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отцѣ, сестрѣ: она слушала съ безпощаднымъ безучастіемъ. Я хотѣлъ милой грусти, удивленія, рассказывая о той бѣдности, которая наступала порой въ жизни нашей семьи, — о томъ, напримѣръ, какъ однажды мы сняли всѣ старинныя ризы со всѣхъ нашихъ образовъ и повезли

ихъ закладывать въ городъ Мещериновой, одинокой старухѣ страшнаго восточнаго вида, — горбоносою, усатою, съ выкаченными бѣлками, въ шелкахъ, шаляхъ и перстняхъ, — въ пустомъ дому которой, загроможденномъ всякимъ музейнымъ убранствомъ, весь день дикимъ и мертвымъ голосомъ кричалъ попугай: и что-же видѣлъ вмѣсто грусти, умиленія?

— Да, это ужасно, — невнимательно говорила она.

Чѣмъ дальше жилъ я въ городѣ, тѣмъ больше чувствовалъ себя въ немъ какъ то совершенно ни къ чему, — даже Авилова почему-то измѣнилась ко мнѣ, стала суха, насмѣшлива; чѣмъ темнѣй и скучнѣй становилась моя городская жизнь, тѣмъ чаще тянуло меня быть наединѣ съ ней, — что-нибудь читать, рассказывать, высказываться. Въ моей комнатѣ въ гостиницѣ было узко, сѣро, страшно грустно за себя — за чемоданишко и нѣсколько книжекъ, составлявшихъ все мое богатство, за одинокія ночи, которыя такъ бѣдно и холодно не то что спать, а скрѣе одолѣвать я въ ней, все сквозь сонъ поджидая разсвѣта, перваго морознаго, глубоко-зимняго удара въ колоколь на сосѣдней колокольнѣ. Въ ея комнатѣ тоже было тѣсно, она была въ концѣ коридора, возлѣ лѣстницы въ антресоляхъ, зато окнами выходила въ садъ, была тиха, тепла, хорошо убрана; въ сумерки въ ней топилась печка, она же умѣла лежать въ подушкахъ дивана какъ-то удивительно пріятно, вся сжавшись и подобравъ подъ себя свои на рѣдкость хорошенькія туфельки. Я тихонько говорилъ:

Шумѣла полночная вьюга  
 Въ лѣсной и глухой сторонѣ,  
 Мы сѣли съ ней другъ противъ друга,  
 Валежникъ свисталъ на огнѣ...

Но всѣ эти вьюги, лѣса, поля, поэтически-дикарскія радости уюта, жилья, огня были особенно чужды ей.

Мнѣ долго казалось, что достаточно сказать: «знаешь эти осеннія накатанныя дороги, тугія, похожія на лиловую резину, изсѣченныя шипами подковъ и блестяшія подъ низкимъ солнцемъ слѣпящей золотой полосой?» чтобы вызвать ея восторгъ. Я рассказывалъ ей, какъ мы однажды съ братомъ Георгіемъ ѣздили поздней осенью покупать на срубъ березу: въ поварской у насъ вдругъ рухнулъ потолокъ, чуть не убилъ дрезняго старика, нашего бывшаго повара, вѣчно лежавшаго въ ней на печи, и вотъ мы поѣхали въ рошу, покупать эту березу на матицу. Шли непрестанные дожди и все мелкими, быстро сыплющимися сквозь солнце каплями, мы рысью катили въ телѣгѣ съ мужиками сперва по большой дорогѣ, потомъ по рошѣ, которая стояла въ этомъ дробномъ, дождевомъ и солнечномъ сверканіи на своихъ зеленыхъ, но уже мертвыхъ и залитыхъ водой полянахъ съ удивительной вольностью, картинностью и покорностью... Я говорилъ, какъ несказанно жаль было мнѣ эту громадную, раскидистую березу, сверху до низу осыпанную мелкой ржавой листвою, когда мужики косолопо и грубо обошли, оглядѣли ее кругомъ и потомъ, поплевавъ въ рубчатыя, звѣриныя ладони, взялись за топоры и дружно ударили въ ея весь пестрый отъ бѣлизы и черни стволъ... «Ты не можешь себѣ представить, какъ страшно мокро было все, какъ все блестяло и переживалось!» — говорилъ я и кончилъ признаніемъ, что хочу написать объ этомъ рассказъ. Она пожала плечами:

— Ну, миленькій, о чемъ-же тутъ писать! Что-жъ все погоду описывать!

Однимъ изъ самыхъ сложныхъ и мучительныхъ наслажденій была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прескрасное, какъ любилъ я ее! Часто думалъ, слушая: «Если мы когда-нибудь разстанемся, какъ я буду слушать это безъ нея! Какъ я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не дѣлясь съ ней этой любовью, радостью!» Но на счетъ того, что мнѣ не нрави-

лось, я былъ такъ рѣзокъ и смѣлъ въ сужденіяхъ, что она порой выходила изъ себя.

— Надя! — кричала она, бросая клавиши и круто повертываясь къ сосѣдней комнатѣ. — Надя, послушай, что онъ здѣсь несетъ!

— И буду нести! — восклицалъ я еще смѣлѣй. — Три четверти каждой изъ этихъ сонатъ — пошлость, гамъ, кавардакъ! Ахъ, здѣсь слышенъ стукъ гробовой лопаты! Ахъ, тутъ мотыльки на лугу кружатся, а тутъ гремятъ водопады!

Она увѣрила себя въ своей страстной любви къ театру, а я ненавидѣлъ его, все больше убѣждался, что талантливость большинства актеровъ и актрисъ есть только ихъ наилучшее по сравненію съ другими умѣніе быть пошлыми, наилучше притворяться по самымъ пошлымъ образцамъ творцами, художниками. Всѣ эти вѣчныя свахи въ шелковыхъ повойникахъ луковаго цвѣта и турецкихъ шальяхъ, съ подобострастными ужимками и сладкимъ голоркомъ изгибающіяся передъ Титъ Титычами, съ неизмѣнной гордой истовостью откидывающимися назадъ и непремѣнно прикладывающими растопыренную лѣвую руку къ сердцу, къ боковому карману длиннополаго сюртука, эти свиноподобные городничіе и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревво хрипящіе Осипы, поганенькіе Рептиловы, фатовски негодующіе Чацкіе, Фамусовы, играющіе перстами и выпячивающіе, точно сливы, жирныя актерскія губы, Гамлеты въ плащахъ факельщниковъ, въ шляпахъ съ кудрявыми перьями, съ развратно-томными, подведенными глазами, съ черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями, — все это приводило меня просто въ содрганіе. А опера! Риголетто, изогнутый въ три погибели, съ ножками, разъ навсегда раскинутыми врозь вопреки всѣмъ законамъ естества и связанными въ колѣнкахъ! Сусанинъ, гробно и блаженно закатывающій глаза къ небу и выводящій съ перекатами: «Ты взойдешь, моя заря!» Мельникъ изъ «Русалки» съ худыми, какъ сучья, дико рас-

кинутыми и грозно трясущимися руками, съ которыхъ однако не снято обручальное кольцо, и въ такихъ лохмотьяхъ, въ столь истерзанныхъ зубчатыхъ порткахъ, точно его рвала цѣлая стая бѣшеныхъ собакъ! Въ спорахъ о театрѣ мы никогда ни до чего не договаривались: теряли всякую уступчивость, всякое пониманіе другъ друга. Вотъ знаменитый провинціальный актеръ, гастролируя въ Орлѣ, выступаетъ въ «Запискахъ сумасшедшаго», и всѣ жадно слѣдятъ, восхищаются, какъ онъ, сидя на больничной койкѣ, въ халатѣ и съ неумѣренно-небритымъ бабьимъ лицомъ, долго, мучительно-долго молчитъ, замирая въ какомъ-то идиотски-радостномъ и все растущемъ удивленіи, потомъ тихо, тихо подымаетъ палецъ и наконецъ, съ невѣроятной медленностью, съ нестерпимой выразительностью, звѣрски выворачивая челюсть, начинаетъ слогъ за слогомъ: «Се-го-дня-шняго дня...» Вотъ, на другой день, онъ еще великолѣпнѣе притворяется Любимомъ Торцовымъ, а на третій — сизоносимъ, засаленнымъ Мармеладовымъ: «А осмѣлюсь-ли, милостивый государь мой, обратиться къ вамъ съ разговоромъ приличнымъ?» — Каждый разъ послѣ такого вечера мы съ ней кричимъ другъ на друга, не давая спать Авиловой до трехъ часовъ ночи, и я клянусь уже не только сумасшедшаго, Торнова и Мармеладова, но и Гоголя, Островскаго, Достоевскаго...

— Но въ концѣ концовъ, — кричитъ она, уже блѣдная, съ потемнѣвшими глазами и потому особенно прелестная. — почему, собственно, приходите вы въ такую ярость? Надя, спроси его!

И такой же крикъ подымался между нами послѣ каждой нашей встрѣчи съ людьми изъ всякаго орловскаго общества. Я страстно желалъ дѣлиться съ ней наслажденіемъ своей наблюдательности, изошреніемъ вмѣстѣ съ ней этой наблюдательности, хотѣлъ заразить ее своимъ безпощаднымъ отношеніемъ къ окружающему — и съ отчаяніемъ видѣлъ, что выходитъ нѣчто совершенно противополож-

ное моему желанію сдѣлать ее наперстницей, соучастницей своихъ чувствъ и мыслей. Я однажды сказалъ:

— Если бъ ты знала, сколько у меня враговъ!

— Какихъ? Гдѣ? — спросила она удивленно.

— Всякихъ, всюду: въ гостиницѣ, въ магазинахъ, на улицѣ, на вокзалѣ...

— Кто-же эти враги? — спросила она, все еще не понимая, въ чемъ дѣло.

— Да всѣ, всѣ! Какое количество мерзкихъ лицъ и тѣлъ! Иному кажется, кинжалъ бы въ бокъ вонзился! Вѣдь это даже апостоль Павелъ сказалъ: «Не всякая плоть такая-же плоть, но иная плоть у человѣковъ, иная у скотовъ...» Нѣкоторые просто страшны! На ходу такъ кладутъ ступни, такъ держать тѣло въ наклонъ, точно они только вчера поднялись съ четверенекъ!

Она, наконецъ, поняла.

— Какъ тебѣ не совѣстно! — сказала она съ безразличнымъ сожалѣніемъ. — Неужели ты, правда, такой злой, гадкій? Не понимаю я тебя вообще! Ты весь изъ какихъ-то удивительныхъ противоположностей!

## Х.

И все-таки, приходя по утрамъ въ редакцію, я все радостнѣй, родственнѣй встрѣчалъ на вѣшалкѣ ея сѣрую шубку, въ которой была какъ-бы сама она, какая-то очень женственная часть ея, а подъ вѣшалкой — милые сѣрые ботики, часть наиболѣе трогательная. Отъ нетерпѣнія поскорѣе увидеть ее я приходилъ раньше всѣхъ, садился за свою нелѣпую работу, — просматривалъ и правилъ провинціальныя корреспонденціи, прочитывалъ столичныя газеты, составлялъ по нимъ «собственныя телеграммы», чуть не заново переписывалъ нѣкоторые рассказы провинціальныхъ беллетристовъ, а самъ слушалъ, ждалъ — и зотъ наконецъ: быстрые шаги, шелестъ юбки! Она под-

бѣгала, вся точно совсѣмъ новая, съ прохладными и пахучими руками, съ молодымъ и особенно полнымъ послѣ крѣпкаго сна блескомъ глазъ, поспѣшно оглядывалась и кидалась цѣловать меня. Такъ же забѣгала она порой ко мнѣ въ гостиницу, вся морозно пахнущая мѣхомъ шубки, зимнимъ воздухомъ. Я цѣловалъ ея яблочко-холодное лицо, обнимая подъ шубкой все то теплое, нѣжное, что было ея тѣломъ и платьемъ, она смѣясь, увертывалась, — «пусти, я по дѣлу пришла!» — звонила коридорному, при себѣ приказывала убрать комнату, сама помогала ему...

Я однажды нечаянно услышалъ ея разговоръ съ Авиловсой, — онѣ какъ-то вечеромъ сидѣли въ столовой и откровенно говорили обо мнѣ, думая, что я въ типографіи. Авилова спрашивала:

— Лика, милая, но что-же дальше? Ты знаешь мое отношеніе къ нему, онѣ, конечно, очень милъ, я понимаю, ты увлеклась... Но дальше-то что?

Я точно въ пропасть полетѣлъ. Какъ, я «очень милъ», не болѣе! Она всего на всего только «увлеклась!»

Отвѣтъ былъ еще ужаснѣе:

— Но что-же я могу? Я не вижу никакого выхода...

При этихъ словахъ во мнѣ вспыхнуло такое бѣшенство, что я уже готовъ былъ кинуться въ столовую, крикнуть, что выходъ есть, что черезъ часть ноги моей больше не будетъ въ Орлѣ, — какъ вдругъ она опять заговорила:

— Какъ же ты не видишь, что я дѣйствительно люблю его! А потомъ, ты его все-таки не знаешь, — онѣ въ тысячу разъ лучше, чѣмъ кажется!

Въ самомъ дѣлѣ, я въ ту зиму могъ казаться гораздо хуже, чѣмъ былъ. Я жилъ напряженно, тревожно, часто держался съ людьми жестко, заносчиво, легко впалъ въ тоску, въ отчаяніе; однако легко и мѣнялся, какъ только видѣлъ, что ничто не угрожаетъ нашему съ ней ладу, никто на нее не посягаетъ: тутъ ко мнѣ тотчасъ возвращалась вся прирожденная мнѣ беззаботность, веселость, готовность быть добрымъ, простосердечнымъ, радост-

нымъ. Если я зналъ, что какой-нибудь вечеръ, на который мы собирались съ ней, не принесетъ мнѣ ни обиды, ни боли, какъ празднично я собирался, какую бодрость чувствовалъ въ каждомъ своемъ движеніи, какъ нравился самъ себѣ, глядясь въ зеркало, любясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, бѣлоснѣжной рубашкой, подкрахмаленныя складки которой расклеивались, разрывались при надѣваніи съ восхитительнымъ трескомъ! Какимъ счастьемъ были для меня балы, если на нихъ не страдала моя ревность! Каждый разъ передъ баломъ я переживалъ жестокія минуты, — нужно было надѣвать фракъ покойнаго мужа Авиловой, совершенно, правда, новый, кажется, даже ни разу не надѣванный, и однако всего меня какъ-бы пронзавшій. Но минуты эти забывались — стоило только выйти изъ дома,дохнуть морозомъ, увидеть пестрое звѣздное небо, быстро сѣсть въ извозчичьи санки... Богъ знаетъ, зачѣмъ украшали ярко блиставшіе входы балныхъ собраній какими-то красно-полосатыми шатрами, зачѣмъ разыгрывалась передъ ними такая щеголеватая свирѣпость квартальныхъ, командовавшихъ съѣздомъ! Но все равно — это былъ ужъ балъ, этотъ странный входъ, ярко и бѣло заливавшій перемѣшанный сахарный снѣгъ передъ нимъ, и вся эта игра въ быстроту и въ ладъ, четкій полицейскій крикъ, мерзлые усы въ струну, блестящіе сапоги, топчущіе въ снѣгу, новые шинели, какъ-то особенно вывернутыя и спрятанныя въ карманы руки въ бѣлыхъ перчаткахъ... Чуть не всѣ подъѣзжавшіе мужчины были въ формахъ, — много формъ было когда-то въ Россіи, — и всѣ всегда были какъ-то вызывающе возбуждены своими чинами, формами, — я еще тогда замѣтилъ, что люди, даже всю жизнь владѣющіе всякими высшими положеніями, никогда за всю жизнь не могутъ къ намъ привыкнуть. Эти подъѣзжавшіе всегда и меня возбуждали, тотчасъ становились предметомъ моей мгновенно обостряющейся непріязненной воркости. Зато женщины были почти всѣ милы, же-

ланны. Онѣ очаровательно освобождали себя въ вестибюль отъ мѣховъ и капоровъ, быстро становясь какъ разъ тѣми, которымъ и надлежало итти по краснымъ коврамъ широкихъ лѣстницъ столь волшебными, умножающимися въ зеркалахъ толпами. А потомъ — эта великолѣпная пустота залы, предшествующая балу, ея свѣжій холодъ, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющей алмазнымъ сіяніемъ, огромныя нагія окна, лоскъ и еще вольная просторность паркета, запахъ живыхъ цвѣтовъ, пудры, духовъ, бальной бѣлой лайки — и все это волненіе при видѣ все прибывающаго бальнаго люда, ожиданіе звучности перваго грома съ хоръ, первой пары, вылетающей вдругъ въ эту ширь еще дѣвственной залы, — пары всегда самой легкой, увѣренной, ловкой...

Я уѣзжалъ всегда раньше ихъ. Когда пріѣзжалъ, еще длился съѣздъ, внизу еще заваливали служителей пахучими шубами, шубками, шинелями, воздухъ вездѣ былъ почти рѣзокъ для тонкаго фрака. Тутъ я, въ этомъ чужомъ фракѣ, съ гладкой прической, стройный, какъ будто еще больше похудѣвшій, ставшій ледянымъ, всѣмъ чужой, одинокій, — какой-то странно-гордый молодой человѣкъ, состоящій въ какой-то странной роли при редакціи, — чувствовалъ себя сперва такъ трезво, ясно и такъ отдѣльно ото всѣхъ, точно былъ чѣмъ-то вродѣ ледяного зеркала. Потомъ дѣлалось все люднѣй и шумнѣй, музыка гремѣла привычнѣй, въ дверяхъ залы уже тѣснились, женщинъ все прибывало, воздухъ становился все гуще, теплѣй, и я какъ-бы хмелѣлъ, на женщинъ смотрѣлъ все смѣлѣе, а на мужчинъ все болѣе вызывающе, скользилъ въ толпѣ все ритмичнѣй, извинялся, задѣвая какой-нибудь фракъ или мундиръ, все вѣжливѣй и надменнѣй... Потомъ вдругъ видѣлъ ихъ, — вотъ онѣ, осторожно, съ полуулыбками, пробираются въ толпѣ — и сердце слегка обрывалось — родственно и какъ-то неловко и удивленно: онѣ и не онѣ, тѣ и не тѣ... Особенно она — совсѣмъ не та! Меня каждый разъ поражала въ эту минуту ея юность, тонкость: схваченный

корсетомъ станъ, легкое и такое непорочно-праздничное платье, обнаженныя отъ перчатокъ до плечей и озябшія, ставшія отрочески сиреневыми руки, еще неувѣренное выраженіе лица... только прическа высокая, какъ у свѣтской красавицы, и въ этомъ что-то особенно влекущее, но какъ-бы уже готовое къ свободѣ отъ меня, къ измѣнѣ мнѣ и даже какъ-будто къ какой-то сокровенной порочности... Вскорѣ къ ней кто-нибудь подбѣгалъ, съ привычной бальной посяишностью низко кланялся, она передавала вѣеръ Авиловой и какъ-будто разсѣяннo, но съ граціей клала руку ему на плечо и, кружась, скользя на носкахъ, исчезала, терялась въ кружащейся толпѣ, шумѣ, музыкѣ. И я какъ-то прощально и уже съ холодомъ враждебности смотрѣлъ ей вслѣдъ...

Маленькая, живая и всегда вся крѣпко и какъ будто весело собранная Авилова тоже удивляла меня на балу своей молодостью, сіяющей миловидностью. Это на балу вдругъ исчезло однажды то глупое затменіе, съ которымъ я не только первое время знакомства, но и довольно долго потомъ смотрѣлъ на нее какъ на очень неравную себѣ, какъ на женщину, которая уже была матерью, хозяйкой дома, издательницей газеты, главное, вдовой, хотя этой вдовѣ было въ то время всего двадцать шесть лѣтъ. Однажды на балу я вдругъ живо почувствовалъ эти двадцать шесть лѣтъ и впервые, не рѣшаясь вѣрить себѣ, догадался о причинѣ странной перемѣны, происшедшей въ ея обращеніи со мной въ ту зиму, — этой сухости, постоянной легкой ироніи, съ которой она стала со мной шутить, разговаривать...

## XI.

Потомъ мы надолго разстались.

Началось съ того, что неожиданно пріѣхалъ докторъ.

Войдя однажды въ солнечное морозное утро въ прихожую редакціи, я вдругъ почувствовалъ крѣпкій запахъ

каких-то очень знакомых папиросъ и услыхаль оживленные голоса и смѣхъ въ столовой, — нѣчто совсѣмъ необычное для нея въ столь ранній часъ. Я приостановился — что такое? Это накурилъ на весь домъ докторъ, это говорилъ онъ, — какъ всегда много, громко, съ оживленіемъ того сорта людей, — ихъ было особенно много въ провинціи, — которые, достигнувъ извѣстнаго возраста, какъ-то такъ и оставались въ немъ безъ всякихъ перемѣнъ на многіе годы, съ неизмѣннымъ отличнымъ самочувствіемъ, непрестаннымъ куреніемъ и немолчной говорливостью. Я оторопѣлъ тѣмъ болѣе, что какъ нарочно былъ совершенно далекъ даже отъ мысли о какомъ-нибудь несчастіи, — бѣжалъ въ редакцію въ это морозное, но уже предвесеннее, весело и рѣзко блестящее утро съ самой беззаботной бодростью. Что значить этотъ внезапный пріѣздъ? Какое-нибудь рѣшительное, твердое требованіе къ ней? И какъ войти, какъ держать себя? — Ничего страшнаго не произошло однако въ первыя минуты. Я быстро справился съ собой, быстро вошелъ, пріятно изумился... Докторъ, по своей добротѣ, даже нѣсколько смутился, поспѣшилъ, смѣясь и какъ бы извиняясь, сказать, что пріѣхаль «отдохнуть на педѣлку отъ провинціи». Я быстро замѣтилъ, что она была какъ-то не въ мѣру возбуждена. Почему-то возбуждена была и Авилова. Все же можно было надѣяться, что всему причиной докторъ, неожиданный гость, человекъ только что явившійся изъ уѣзда въ губернію и потому съ особеннымъ оживленіемъ и удовольствіемъ пьющій послѣ ночи въ вагонѣ горячій чай въ новой столовой. Я уже началъ успокаиваться. Но тутъ-то и ждалъ меня ударъ: изъ всего того, что говорилъ докторъ, я вдругъ понялъ, что онъ пріѣхаль не одинъ, а съ Богомолковымъ, молодымъ, богатымъ и даже знаменитымъ въ нашемъ городѣ кожевникомъ, давно уже имѣвшимъ виды на нее; а затѣмъ услыхаль веселый смѣхъ:

— Говорить, что влюбленъ въ тебя, Лика, безъ ума, пріѣхаль съ самыми рѣшительными намѣреніями! Такъ

что теперь судьба сего несчастнаго въ твоёмъ полномъ распоряженіи: захочешь — помилуешь, не захочешь — на вѣки погубишь...

Я помертвѣлъ. Богомоловъ былъ не только богатъ: онъ былъ изъ тѣхъ немногихъ, съ кѣмъ жизнь въ богатствѣ не пропала бы даромъ: онъ былъ уменъ, характеромъ живъ и пріятенъ, кончилъ университетъ, жила въ заграничѣ, говорилъ на двухъ иностранныхъ языкахъ; съ виду онъ могъ въ первую минуту почти испугать: онъ былъ чудовищно, нечеловѣчески толстъ, — не то какой-то до противоестественной величины разросшійся и сказочно упитавшійся младенецъ, не то громадный, весь насквозь свѣтящійся жиромъ и кровью молодой іокширъ; однако все въ этомъ іокширѣ было такое великолѣпное, чистое, здоровое, что даже радость охватывала: въ голубыхъ глазахъ — небесная лазурь, цвѣтъ лица несказанный по своей дѣвственности, во всемъ-же обращеніи, въ смѣхѣ, въ звукѣ голоса, въ игрѣ глазъ и губъ что-то застѣнчивое и безконечно милое; ножки и ручки у него были трогательно маленькія, одежда красивая — костюмы изъ англійской матеріи, носки, рубашки, галстуки шелковые... Я быстро взглянулъ на нее, увидаль ея неловкую улыбку... И все вдругъ стало мнѣ дикимъ, чужимъ, далекимъ, самъ себѣ я вдругъ показался всему этому дому постыдно лишнимъ, ненужнымъ, къ ней меня охватила ненависть, отвращеніе ..

Послѣ того мы никогда и часу въ день не могли провести наединѣ, она не разставалась то съ отцомъ, то съ Богомоловымъ. Авилову не покидала загадочно-веселая усмѣшка, она проявила къ Богомолу такую любезность, привѣтливость, что онъ съ перваго-же дня сталъ совсѣмъ своимъ человѣкомъ въ домѣ, появлялся въ немъ съ утра и сидѣлъ до поздняго вечера, въ гостиницѣ у себя только ночевалъ. Началась кромѣ того репетиція любительскаго драматическаго кружка, котораго она была членомъ, — кружокъ готовился къ спектаклю на масляницѣ и черезъ нее привлечь на маленькія роли не только Богомолова, но

даже и доктора. Она все говорила, что переносить ухаживания Богомолова, — очень скромныя къ тому-же, — только ради отца, и я всячески крѣпился, дѣлалъ видъ, что вѣрю, даже бывалъ на этихъ репетиціяхъ... Какое это было мученіе! Какой стыдъ за нее и какое зрѣлище чело-вѣческаго убожества! Потомъ насталъ и самый спектакль. Я сунулся было за кулисы — тамъ сходили съ ума, одѣваясь, гриммируясь, крича, ссорясь, выбѣгая изъ уборныхъ, наталкиваясь другъ на друга и не узнавая другъ друга, — ужъ слишкомъ не въ мѣру были всѣ разряжены, слишкомъ мертвы были парики и бороды, слишкомъ неподвижны размалеванныя лица съ пластырно-розовыми наклейками на лбахъ и носахъ, съ подведенными, блестящими глазами, съ начерченными, крупными и тяжело, какъ у манекеновъ, моргающими рѣсницами. Я, столкнувшись съ ней, тоже не узналъ ее, пораженъ былъ ея кукольно-стью — какимъ-то розовымъ, граціозно-старомоднымъ платьецемъ, густымъ бѣлокурымъ парикомъ, лубочной красотью и дѣтскостью конфетнаго лица... Богомоловъ игралъ желтоволосаго дворника, — его нарядили съ особенной изобразительностью, подобающей созданію бытового типа, — а докторъ стараго дядюшку, отставного генерала: онъ и началъ спектакль, сидя на дачѣ, въ плетеномъ креслѣ, подъ досчатымъ зеленымъ деревомъ, стоящимъ на голомъ полу, въ новенькомъ чесучевомъ костюмѣ, тоже весь розово размалеванный и залѣпленный, съ огромными молочными усами и подусниками, откинувшись въ креслѣ и надутю глядя въ широко раскрытую газету, весь, несмотря на прекрасное лѣтнее утро, ярко освѣщенный снизу лампочками лампы и при всѣхъ своихъ сѣдинахъ изумительно моложавый; онъ долженъ былъ сказать, почитавши минуту, что-то густо-ворчливое, но все только глядѣлъ, ничего не могъ сказать, несмотря на отчаянный шипъ изъ суфлерской будки: только тогда, когда она выскочила наконецъ изъ-за кулисъ (съ дѣтски-игривымъ, очаровательно-рѣзвымъ смѣхомъ) и кинулась на

него сзади, захвативъ ему глаза руками, крича: «угадай, кто?» — только тогда закричалъ и онъ, отчекнивая каждое слово: «Пусти, пусти, коза, отлично знаю, кто!»

Въ залѣ было полутемно, на сценѣ солнечно, ярко. Я, сидя въ первомъ ряду, взглядывалъ то на сцену, то вокругъ себя; рядъ состоялъ изъ самыхъ богатыхъ, удушаемыхъ своей полнотой штатскихъ и самыхъ видныхъ чинами и фигурами полицейскихъ и военныхъ, и весь былъ точно скованъ тѣмъ, что творилось на сценѣ, — напряженные позы, неопредѣленные, недоконченные улыбки... Я не могъ досидѣть даже до конца перваго дѣйствія. Какъ только что-то стукнуло на сценѣ, — знакъ, что скоро занавѣсь, — я вдругъ всталъ и быстро пошелъ вонъ. Тамъ, на сценѣ, разыгрались уже во всю, — въ свѣтлый и естественный коридоръ, гдѣ ко всему привычный старикъ помогаль мнѣ одѣваться, какъ-то особенно неестественно доносились неумѣренно бойкіе хлопки и восклицанія артистовъ... Я наконецъ выскочилъ на улицу. Чувство какого-то гибельнаго одиночества достигло во мнѣ до восторга. Было безлюдно, чисто, огни фонарей блестя неподвижно. Я быстро шелъ, но все-таки не домой, — тамъ, въ моей узкой комнатѣ, въ гостиницѣ, было ужъ слишкомъ страшно, — а въ редакцію. Я прошелъ вдоль присутственныхъ мѣстъ, свернулъ на пустую площадь, посреди которой поднимался соборъ, теряясь чуть блестящимъ золотымъ куполомъ въ звѣздномъ небѣ.. Даже въ скрипѣ моихъ шаговъ по снѣгу было что-то высокое, страшное, вѣчное... Въ тепломъ домѣ была тишина, мирный и медленный стукъ часовъ въ освѣщенной столовой. Ребенокъ спалъ, нянька, отворившая мнѣ, сонно взглянула на меня и ушла. Я прошелъ въ эту уже столь знакомую мнѣ и столь для меня особенную комнату подъ лѣстницей, сѣлъ въ темнотѣ на знакомый, теперь какой-то роковой диванъ... Я и ждалъ и ужасался той минуты, когда вдругъ прійдутъ, шумно войдутъ, на перебой стануть говорить, смѣяться, садиться за самоваръ, дѣлиться впе-

чатлѣніями, — всего-же больше того мгновенія, когда раздается ея смѣхъ, ея голосъ... Комната была жутко полна ею, ея отсутствіемъ и присутствіемъ, всѣми ея запахами ея самой, ея платьевъ, духовъ, мягкаго халатика, лежавшаго возлѣ меня на валикѣ дивана... Въ окно грозно синѣла зимняя ночь, за черными сучьями деревьевъ въ саду сверкала алмазность звѣздъ...

На первой недѣлѣ поста она уѣхала съ отцомъ и Богомоловымъ (отказавъ ему). Я почти пересталъ даже разговаривать съ ней. Она собиралась въ отъѣздъ, все время плача, каждую минуту надѣясь, что я вдругъ оставлю ее...

## ХІІ.

Шли провинціальныя великопостныя будни. Извозчики безъ дѣла стояли на углахъ, зябли, скучали, иногда отчаянно махали крестъ на крестъ руками, несмѣло окликали проходящаго офицера: «Ваше благородіе!» Галки болтали порой уже нервно, оживленно, но вороны каркали еще жестко, круто, безнадежно...

Разлука казалась особенно ужасна и удивительна по ночамъ. Просынаясь среди ночи, я поражался: какъ теперь жить и зачѣмъ жить? Ужели это я, — тотъ, кто почему-то лежитъ въ темнотѣ этой бессмысленной ночи, въ какомъ-то губернскомъ городѣ, населенномъ тысячами людей, чуждыхъ мнѣ до неправдоподобія, въ этомъ номерѣ съ узкимъ окномъ, всю ночь сѣрѣющимъ какимъ-то длиннымъ нѣмымъ дьяволомъ! Во всемъ городѣ единственно близкій человѣкъ — Авилова. Но точно-ли близкій? Какая двойственная и въ чемъ-то очень неловкая близость!

Теперь я приходилъ въ редакцію поздно. Авилова, изъ пріемной увидавъ меня въ прихожей, радостно улыбалась, — она опять стала мила, ласкова, оставила усмѣшки надо мною, я неизмѣнно видѣлъ теперь ея ровную любовь ко

миѣ, постоянное вниманіе, заботливость, часто проводилъ цѣлые вечера съ ней вдвоемъ, — она подолгу играла для меня, а я полулежалъ на диванѣ, все закрывая глаза отъ подступающихъ слезъ музыкальнаго счастья и всегда особенно обостряющейя вмѣстѣ съ нимъ любовной боли и какой-то всепрощающей нѣжности, свойственной всѣмъ любовнымъ разлукамъ. Войдя въ пріемную, я цѣловалъ ея маленькую крѣпкую руку и шелъ въ комнату для постоянныхъ сотрудниковъ. Тамъ курилъ передовикъ, глупый, задумчивый человекъ, высланный въ Орель подъ надзоръ полиціи, довольно странный съ виду: простонародно-бородатый, въ бурой сермяжной поддевкѣ и длинныхъ смазныхъ сапогахъ, вонявшихъ очень крѣпко и пріятно, притомъ лѣвша: половины правой руки у него не было, остаткомъ ея, скрытомъ въ рукавѣ, онъ прижималъ къ столу листъ бумаги, а лѣвой писалъ: долго сидитъ, думаетъ, густо курить, а тамъ вдругъ прижметъ листъ покрѣпче и застрочитъ, застрочитъ, — сильно, быстро, съ обезьяньей ловкостью. Потомъ приходилъ коротконогій старичекъ въ изумленныхъ очкахъ, иностранный обозрѣватель; въ прихожей онъ снималъ казакинчикъ на заячьемъ мѣху и финскую шапку съ наушниками, послѣ чего, въ своихъ сапожкахъ, шароварчикахъ и фланелевой блузѣ, подпоясанный ремешкомъ, оказывался такимъ маленькимъ и щуплымъ, точно ему было десять лѣтъ; густые сѣро-сѣдые волосы его торчали очень грозно, высоко и въ разныя стороны, дѣлали его похожимъ на дикообраза; грозны были и его блестящіе очки; онъ приходилъ всегда съ двумя коробками въ рукахъ, коробкой гильзы и коробкой табаку, и за работой все время набивалъ папиросы: привычно глядя въ столичную газету, накладывалъ, наминалъ въ машинку, въ ея мѣдную створчатую трубочку, свѣтлаго, волокнистаго табаку, разсѣяннo нашаривалъ гильзу, ручку машинки втыкалъ себѣ въ грудь, въ мягкую блузу, а трубочку — въ папиросную дудку гильзы и ловко стрѣлялъ, порой чуть не черезъ всю комнату... Потомъ

заходили метранпажъ, корректоръ. Метранпажъ входилъ спокойно, независимо; онъ былъ удивителенъ по своей вѣжливости, молчаливости и непроницаемости; былъ тоже очень невеликъ, необыкновенно худъ и сухъ, по индуски черенъ волосомъ, лицомъ оливково-зеленъ, съ черными усиками и гробовыми пепельными губами, одѣтъ всегда съ крайней аккуратностью и чистоплотностью: черные брючки, синяя блуза, большой крахмальный воротникъ, лежавшій поверхъ ея ворота, — все блистало чистотой, новизной; я иногда разговаривалъ съ нимъ въ типографіи: тогда онъ нарушалъ свою молчаливость, ровно и пристально смотрѣлъ мнѣ въ глаза своими сплошь темными глазами и говорилъ, какъ заведенный, не повышая голоса и всегда одно и то же: о несправедливости, царящей въ мірѣ — всюду, вездѣ, во всемъ. Корректоръ заходилъ то и дѣло — постоянно чего-нибудь не понималъ или не одобрялъ въ той статьѣ, которую правилъ, просилъ у автора статьи какого-нибудь разъясненія или измѣненія: «тутъ, простите, что-то не совсѣмъ ловко сказано»; былъ толстъ, неуклюжъ, съ мелко-кудрявыми и какъ-бы всегда мокрыми волосами, входя, гнулъ отъ нервности и страха, что все видятъ, какъ онъ тяжело пьянъ, наклонялся къ тому, у кого просилъ разъясненія, затаивая алкогольное дыханіе, издалека указывая на непонятную ему или неудачную по его мнѣнію строку трясущейся и блестящей свекольной рукой... Сидя въ этой комнатѣ, я тоже курилъ, разсѣянно правилъ разныя чужія рукописи, а больше всего просто смотрѣлъ въ окно и думалъ: какъ и что писать мнѣ самому?

Теперь у меня было еще одно тайное страданіе, еще одна горькая и сладкая «неосуществимость». Я опять сталъ кое-что писать, — теперь больше въ прозѣ, — и опять сталъ печатать написанное. Но я думалъ не о томъ, что я писалъ и печаталъ. Я мучился желаніемъ писать что-то совсѣмъ другое, совсѣмъ не то, что я могъ писать и писалъ, — что-то настоящее. Образовать въ себѣ изъ даваемого жизнью нѣчто истинно достойное писанія — какое

это рѣдкое счастье, какой душевный трудъ! И вотъ моя жизнь стала все больше и больше превращаться въ эту новую борьбу съ «неосуществимостью», въ поиски и уловленіе этого другого, тоже неуловимаго счастья, въ преслѣдованіе его, въ непрестанное думанье о немъ...

Къ полудню приходила почта. Я выходилъ въ пріемную, опять видѣлъ красиво и заботливо убранную, неизмѣнно склоненную къ работѣ голову Авиловой и все то милое, что было въ мягкомъ лоскѣ ея шагреновой туфельки, стоящей подѣ столомъ, въ мѣховой накидкѣ на ея плечахъ, на которой тоже лоснился отблескъ сѣраго зимняго дня, зимняго окна, за которымъ сѣрѣло воронье снѣжное небо. Я выбиралъ изъ почты новую книжку столичнаго журнала, торопливо разрѣзалъ ее... Новый рассказъ Чехова! Въ одномъ видѣ этого имени было что-то такое, что я только взглядывалъ на рассказъ, — даже начала не могъ прочесть отъ завистливой боли того наслажденія, которое предчувствовалось. Въ пріемной появлялось и смѣнялось между тѣмъ все больше народу: приходили всякіе заказчики объявленій, приходило множество самыхъ разнообразныхъ людей, которые тоже были одержимы (и тоже совершенно неизвѣстно, почему и зачѣмъ) похотью писательства, чаще всего удивительной по своему несоотвѣтствію съ лицомъ, мучимымъ ею: тутъ можно было видѣть благообразнаго старичка въ пуховомъ шарфѣ и пуховыхъ варежкахъ, принесшаго чуть не цѣлую дестъ дешовой бумаги большого формата, на которой стояло заглавіе: «Пѣсни и думы», выведенное со всѣмъ канцелярскимъ блескомъ времянь гусиныхъ перьевъ, молоденькаго, алаго отъ смущенія офицера, который передавалъ свою рукопись съ короткой и вѣжливо-четкой просьбой просмотрѣть ее и при печатаніи ни въ коемъ случаѣ не обнаруживать его настоящей фамиліи, — «поставить лишь инициалы, если это допустимо по правиламъ редакціи», за офицеромъ — потнаго отъ волненія и шубы пожилого священника, желавшаго напечатать подѣ псевдонимомъ

Spectator свои «Деревенскія картинки», а за священником — уѣзднаго судебного дѣателя... Дѣатель былъ человѣкъ необыкновенно аккуратный, онъ до странности неторопливо снималъ въ прихожей новыя калоши, новыя перчатки на мѣху, новое хорьковое пальто, новую боярскую шапку и оказывался на рѣдкость худъ, высокъ, зубастъ и чистъ, чуть не полчаса вытиралъ, войдя, свои рыжіе усы бѣлоснѣжнымъ носовымъ платкомъ, межъ тѣмъ, какъ я жадно слѣдилъ за каждымъ его движеніемъ, упиваясь своей писательской проницательностью:

— Да, да, онъ непремѣнно долженъ быть такъ чистъ, аккуратенъ, неторопливъ, заботливъ о себѣ, разъ онъ рѣдкозубъ и съ густыми рыжими усами... разъ у него уже лысѣеть этотъ яблокомъ выпуклый лобъ, ярко блестятъ глаза, горять пятна на скулахъ, велики и плоски ступни, велики и плоски руки съ крупными, круглыми ногтями!

Къ завтраку нянька приводила съ гулянья мальчика. Авилова выбѣгала въ прихожую, быстро и ловко присаживалась, снимала съ него бѣлую барашковую шапочку, разстегивала синюю, на бѣломъ барашкѣ, поддевичку, цѣловала въ свѣжее, раскраснѣвшееся личико, онъ разсѣянно глядѣлъ куда-то въ сторону, думалъ что-то свое, далекое, что-то говорилъ, безучастно позволяя раздѣвать и цѣловать себя, а я ловилъ себя на зависти ко всему этому: къ блаженной безсмысленности мальчика, къ материнскому и домашнему счастью Авиловой, къ старческой тиши и няньки... Я уже завидовалъ всѣмъ, у кого жизнь наполнена готовыми дѣлами и заботами, а не ожиданіемъ, не выдумываньемъ чего-то для какого-то самаго страннаго изъ всѣхъ человѣческихъ дѣлъ, называемаго писаніемъ, завидовалъ всякому, кто имѣетъ въ жизни простое, точное, опредѣленное дѣло, исполнивъ которое нынче, онъ могъ быть совершенно спокоенъ и свободенъ до завтра!

Послѣ завтрака я уходилъ. На городъ густо валилъ дремотными хлопьями тотъ великодушный снѣгъ, что всегда обманываетъ своей нѣжной, особенно бѣлой бѣлиз-

ной, будто ужь совсѣмъ близка весна. По снѣгу мимо меня безшумно летѣлъ беззаботный, только что, должно быть, гдѣ нибудь, на скорую руку выпившій, бодрый, какъ - бы весь готовый къ чему - то хорошему, ладному извозчикъ... Что, казалось бы, обыкновеннѣй? Но теперь чуть не все меня какъ - то ранило — чуть не всякое мимолетное впечатлѣніе — и, ранивъ, мгновенно рождало порывъ не дать ему, этому впечатлѣнію, пропасть даромъ, исчезнуть безслѣдно, молнію корыстнаго стремленія тотчасъ захватить его въ свою собственность и что-то извлечь изъ него. Вотъ онъ мелькнулъ, этотъ извозчикъ, и все, чѣмъ и какъ онъ мелькнулъ, рѣзко мелькнуло и въ душѣ и, оставшись въ ней какимъ-то страннымъ подобіемъ мелькнувшаго, какъ еще долго и тщетно томить ее! Дальше — богатый подъѣздъ, возлѣ тротуара передъ нимъ чернѣетъ сквозь бѣлые хлопья лаковый кузовъ кареты, видны какъ бы сальные шины большихъ заднихъ колесъ, погруженныхъ въ старый снѣгъ, мягко засыпаемый новымъ, — я иду и, взглянувъ на спину возвышающагося на козлахъ толстоплечаго, по дѣтски подпоясаннаго подъ мышки кучера въ толстой, какъ подушка, бархатной конфедераткѣ, вдругъ вижу: за стеклянной дверцей кареты, въ ея атласной бонбоньеркѣ, сидитъ, дрожитъ и такъ пристально смотритъ, точно вотъ-вотъ скажетъ что-нибудь, какая-то премилая собачка, уши у которой совсѣмъ какъ завязанный бантъ. И опять, точно молнія, радость и боль: ахъ, не забыть — настоящій бантъ! Только что дѣлать съ нимъ? Что извлечь изъ него? Господи, что?

Я заходилъ въ библіотеку. Это была столѣтняя, рѣдкая по богатству библіотека. Но какъ уныла была она, до чего никому не нужна! Старый, полузаброшенный домъ, огромные, голые сѣнцы, холодная, одинокая лѣстница во второй этажъ, казенная, обитая по войлоку клеенкой, дверь. Три огромныхъ, сверху до низу установленныхъ книгами, мертвенно-молчаливыхъ комнаты. Длинный при-

лавокъ, конторка, маленькая, плоскогрудая, непривѣтливо-тихая, не поднимающая глазъ завѣдующая въ чемъ-то черненькомъ, постномъ, съ худыми, блѣдными руками, съ чернильнымъ пятномъ на третьемъ пальцѣ, и запущенный отрокъ въ сѣрой блузѣ, съ мягкой, давно не стриженной мышинной головой, исполняющій ея приказанія... Я проходилъ въ «кабинетъ для чтенія», круглую, пахнущую угаромъ комнату съ круглымъ столомъ по срединѣ, на которомъ лежали «Епархіальныя Вѣдомости», «Русскій Паломникъ». За столомъ сидѣлъ, гнулся, какъ-то затаенно перелистывалъ страницы толстой книги одинъ неизмѣнный читатель — тощій юноша, гимназистъ въ старенькой, легкой шинелькѣ, все время осторожно подтиравшій носъ комочкомъ платка... Кому еще было тутъ сидѣть, кромѣ насъ двоихъ, одинаково удивительныхъ по своему одиночеству во всемъ городѣ и по тому, что оба читали? Гимназистъ читалъ нѣчто для гимназиста совершенно дикое — о сошномъ письмѣ. Да и на меня не разъ глядѣла завѣдующая съ большимъ недоумѣніемъ: я спрашивалъ въ огромные томы череpletннѣю «Сѣверную Пчелу», «Московскій Вѣстникъ», «Полярную Звѣзду», «Сѣверные Цвѣты», «Современникъ» Пушкина... Бралъ, впрочемъ, и новое — всякія «Біографіи замѣчательныхъ людей»: все затѣмъ, чтобы въ нихъ искать какой-то поддержки себѣ, съ завистью сравнивать себя съ замѣчательными людьми.. Въ этой старой комнатѣ я, помню, впервые прочелъ Радищева — и съ большимъ восхищеніемъ. «Я взглянулъ окрестъ — душа моя страданіями челоѣчества уязвлена стала!» Этотъ языкъ, этотъ строй души я понималъ...

Выйдя подъ вечеръ изъ библіотеки, я тихо шелъ по темнѣющимъ улицамъ. Тамъ и сямъ падалъ медленный звонъ. Томимый грустью и о себѣ, и о ней, и о далекомъ, несчастномъ родномъ домѣ, я заходилъ въ церковь. И тутъ было что-то никому не нужное. Пусто, сумракъ, огоньки рѣдкихъ свѣчей, нѣсколько старухъ, стариковъ. За свѣчной кассой стоитъ церковный староста, неподвижный, истовый, съ му-

жицкимъ прямымъ рядомъ въ сѣрыхъ волосахъ, поводитъ глазами съ торговой строгостью. Сторожъ еле таскаетъ разбитыя ноги, въ одномъ мѣстѣ поправляя наклонившуюся и слишкомъ жарко тающую свѣчу, въ другомъ дуетъ на догорающую и распространяя запахъ гари и воска, потомъ тиская ее въ старческомъ кулакѣ въ одинъ восковой комокъ съ прочими огарками, — и видно, какъ глубоко надоѣло ему все это наше непонятное земное существованіе и всѣ таинства его: крещенія, причастія, вѣнчанія, похороны, и всѣ праздники, всѣ посты, изъ году въ годъ идущіе вѣчной чередой... Священникъ, въ одной рясѣ, безъ ризы непривычно тонкій и высокій, какъ-то по домашнему и по женски простоволосый, стоитъ лицомъ къ закрытымъ царскимъ вратамъ, глубоко поклоняется имъ, такъ что отвисаетъ, отдѣляется отъ груди епитрахиль, и со вздохомъ возвышаетъ голосъ, отдающийся въ грустномъ, покаянномъ сумракѣ, въ печальной пустотѣ: «Господи, Владыко живота моего...» Тихо выйдя изъ церкви, я опять вдыхалъ зимній воздухъ, видѣлъ сизые сумерки. Низко, съ притворнымъ смиреніемъ клонилъ передо мной густую сѣдую голову нищій, приготовивъ ковшикомъ ладонь, когда-же ловилъ и зажималъ пятакъ, взглядывалъ и вдругъ поражалъ: яркіе бирюзовые глаза застарѣлаго пьяницы и невѣроятно-огромный клубничный носъ — тройной, состоящій изъ трехъ крупныхъ, бугристыхъ и пористыхъ клубникъ... Ахъ, какъ опять мучительно-радостно: тройной клубничный носъ!

Я шель внизъ по Болховской, глядя въ темнѣющее небо — въ небѣ мучили очертанія крышъ старыхъ домовъ, непонятная, успокаивающая прелесть этихъ очертаній... Старый человѣческій кровъ — кто объ этомъ писалъ? Зажигались фонари, тепло освѣщались окна магазиновъ, чернѣли фигуры идущихъ по тротуарамъ, вечеръ синѣлъ, какъ синька, въ городѣ становилось сладко, уютно... Я, какъ сыщикъ, преслѣдовалъ то одного, то другого прохожаго, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то

понять, поймать въ немъ, войти въ него.. Писать! Вотъ о крышахъ, о калошахъ, о спинахъ надо писать, а вовсе не затѣмъ, чтобы «бороться съ произволомъ и насиліемъ, защищать угнетенныхъ и обездоленныхъ, давать яркіе типы, рисовать широкія картины общественности, современности, ея настроеній и теченій!» Я ускорялъ шаги, спускался къ Орлику. Сумерки были уже совсѣмъ сини, фонарь при входѣ на мостъ горѣлъ уже ярко, свѣтло, подъ фонаремъ гнулся, запустивъ руки подмышки, по собачьи глядѣлъ на меня, по собачьи весь дрожалъ крупной дрожью и деревянно бормоталъ: «ваше сіятельство!» стоявшій прямо на снѣгу босыми красными лапами золоторотецъ въ одной рваной ситцевой рубашкѣ и короткихъ розовыхъ подштанникахъ, съ опухшимъ угреватымъ лицомъ, съ мутно-льдистыми глазками. Я быстро, какъ воръ, хваталъ и за-таивалъ его въ себѣ, совалъ ему за это цѣлый гривенникъ.. Ужасна жизнь! Но точно-ли «ужасна»? Можетъ, она что-то совершенно другое, чѣмъ «ужасъ»? Вотъ я на-дняхъ сунулъ пятакъ такому-же голому пропойцѣ и наивно воскликнулъ: «Это все-таки ужасно, что вы такъ живете!»—и нужно было видѣть, съ какой неожиданной дерзостью, твердостью и злобой на мою глупость хрипло крикнулъ онъ мнѣ въ отвѣтъ: «Ровно ничего ужаснаго, молодой человѣкъ!» — А за мостомъ, въ нижнемъ этажѣ большого дома, ослѣпительно сіяла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завѣшанная богатствомъ и разнообразіемъ колбасъ и окороковъ, что почти не видна была бѣлая и свѣтлая внутренность самой колбасной, тоже завѣшенной сверху до низу. «Соціальные контрасты!» — думалъ я ѣдко, въ пику кому-то, проходя въ свѣтъ и блескъ витрины.. На Московской я заходилъ въ извозчичью чайную, сидѣлъ въ ея говорѣ, тѣснотѣ и парномъ теплѣ, смотрѣлъ на мясистыя, алыя лица, на рыжія бороды, на ржавый шелушащійся подносъ, на которомъ стояли передо мной два бѣлыхъ чайника съ мокрыми веревочками, привязанными къ ихъ крышечкамъ и ручкамъ.. На-

блюденіе народнаго быта? Ошибаетесь — только вотъ этого подноса, этой мокрой веревочки!

... ..

Случалось, я шель въ такой вечеръ на вокзалъ. За триумфальными воротами начиналась темнота, уѣздная, ночная глушь. И вотъ, я видѣлъ какой-то уѣздный городишко, невѣдомый, несуществующій, только вообразившійся, но такъ, точно вся моя жизнь прошла въ немъ. Видѣлъ широкія, занесенныя снѣгомъ улицы, черняющія въ снѣгу хибарки, красный огонекъ въ одной изъ нихъ... И съ восторгомъ твердилъ себѣ: да, да, вотъ такъ и написать, всего три слова: снѣга, хибарка и лампада въ ней... больше ничего! — Полевой зимній вѣтеръ уже доносилъ крики паровозовъ, ихъ шинѣние и этотъ сладкій, до глубины души волнующій чувствомъ дали, простора запахъ каменнаго угля. Навстрѣчу, чернѣя, неслись извозчики съ сѣдоками — пришелъ московскій почтовый? И точно — буфетная зала жарка отъ народа, огней, запаховъ кухни, самовара, носятся, развѣвая фалды фраковъ, татары лакеи, все кривоногіе, темноликіе, широкоскулые, съ лошадиными глазами, съ круглыми, какъ ядра, стриженными сизыми головами... За общимъ столомъ — цѣлое купеческое общество, ѣдятъ холодную осетрину съ хрѣномъ скопцы: большія и тугія бабьи лица цвѣта шафрана, узкіе глаза, лисьи шубы... Въ книжномъ вокзальномъ кіоскѣ было для меня всегда особенное очарованіе, — и вотъ я, какъ голодный волкъ, брожу вокругъ него, тянусь, разглядывая надписи на желтыхъ и сѣрыхъ корешкахъ суверинскихъ книгъ... Однако все это такъ взволновываетъ мою вѣчную жажду дороги, вагоновъ и обращается въ такую тоску по ней, по той, съ кѣмъ бы я могъ быть такъ несказанно счастливъ въ пути куда-то, что я спѣшу вонъ, кидаюсь на извозчика порѣзвѣй и мчусь въ городъ, въ редакцію. Какъ хорошо всегда это смѣшеніе — сердечная боль и быстрота! Сидя въ санкахъ, вмѣстѣ съ ними ны-

ря и стучаясь изъ ухаба въ ухабъ, поднимаю голову — ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькаетъ, бѣлѣетъ, свѣтится блѣдное лицо. Какъ оно высоко, какъ чуждо всему! Тучи идутъ, открываютъ его, опять заволакиваютъ — ему все равно, нѣтъ никакого дѣла до нихъ! Я до боли держу голову закинутой назадъ, не свожу съ него глазъ и все стараюсь понять, когда оно, сіяя, вдругъ все выкатывается изъ тучъ: какое оно? Все изнутри ярко свѣтящееся, но какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Такъ и скажу гдѣнибудь! Въ прихожей наталкиваюсь на удивленную Авилу. «Ахъ, какъ кстати! Ёдемъ на концертъ!» На ней что-то черно-кружевное, очень красивое, сдѣлавшее ее еще меньше, стройнѣй, открывающее плечи, руки, нѣжное, чуть смуглое начало грудей, она причесана у парикмахера, слегка напудрена, отчего глаза кажутся ярче, темнѣй. Я самъ одѣваю ее, съ трудомъ удерживаясь, чтобы вдругъ не поцѣловать это столь близкое голое плечо, одѣваю самъ... На эстрадѣ двусвѣтной, блестящей всѣми люстрами залы Дворянскаго собранія — столичныя знаменитости: красавица пѣвица и огромный, черно-угольный красавецъ пѣвецъ, поражающій, какъ всѣ пѣвцы, удивительнымъ здоровьемъ, грубовеликолѣпной силой молодого жеребна. Онъ, блистая лаковыми туфлями на большихъ ступняхъ, удивительно снитымъ фракомъ, бѣлой грудью и бѣлымъ галстукомъ, вызывающе и героически гремитъ отвагой, мужественностью, требовательностью. Она, то расходясь, то сливаясь съ нимъ, поспѣшно отвѣчаетъ ему, перебиваетъ его нѣжными упреками, жалобами, страстной печалью и восторженной радостью, торопливо-блаженными, хохочущими флюритурами... Празднично, богато дробятся алмазы люстръ, роскошно горячъ, дунистъ воздухъ... Разъѣздъ, какъ всегда послѣ концерта, особенно бодръ, безтолковъ. Ночь уже совсѣмъ ясна, чиста. И все крѣпко, легко, восхитительно: и снѣгъ, и луна, и веселые фонари, и рѣзвые извозчики...

## XIII.

Часто я вскакивалъ чѣмъ свѣтъ. Взглянувъ на часы, видѣлъ, что еще нѣтъ семи. Страстно хотѣлось опять вернуться, хоть минуту еще полежать въ теплѣ; въ комнатѣ холодно сѣрѣло, въ тишинѣ еще спящей гостиницы слышно было только нѣчто очень раннее — какъ гдѣ-то въ концѣ коридора шаркаетъ платяной щеткой коридорный, стучаетъ по пуговицамъ. Но охватывалъ такой страхъ опять даромъ истратить день, охватывало такое нетерпѣніе какъ можно скорѣй — и нынче уже какъ слѣдуетъ! — засѣсть за столъ, что я кидался къ звонку, настойчиво гналъ по коридору его зовущее дребезжаніе. Какъ все чуждо, противно — эта гостиница, этотъ грязный коридорный, шаркающій гдѣ-то тамъ щеткой, убогій жестяной умывальникъ, изъ котораго косо бьетъ въ лицо ледяная струя! Какъ жалка моя молодая худоба въ жиденькой ночной рубашкѣ, какъ застылъ голубь, комкомъ сжавшійся за стеклами на зернистомъ сифу подоконника! Сердце вдругъ загоралось радостной, дерзкой рѣшимостью: нѣтъ, нынче же вонъ, назадъ, въ Батурино, въ родной, прелестный домъ! Однако, наспѣхъ выпивъ чаю, кое-какъ прибравъ нѣсколько книжечекъ, лежавшихъ на нищемъ столикѣ, приставленномъ возлѣ умывальника къ двери въ другой номеръ, гдѣ жила какая-то поблекшая, печально-красивая женщина съ восьмилѣтнимъ мальчикомъ, я крѣпко погружался въ свое обычное утреннее занятіе: въ приготовленіе себя къ писанію — въ напряженный разборъ того, что есть во мнѣ, въ выискиваніе внутри себя чего-то такого, что вотъ-вотъ, казалось, опредѣлится, во что-то образуется... ждалъ этой минуты и уже волновался, чувствовалъ страхъ, что опять, опять дѣло кончится только ожиданіемъ, все растущимъ волненіемъ, холодящими руками, а тамъ полнымъ отчаяніемъ и бѣгствомъ куда-нибудь въ городъ, въ редакцію. Въ головѣ уже опять пута-

лось, шло что-то дикое по своей произвольности, беспорядочности, по множеству самых разнородныхъ чувствъ, мыслей, представлений... Основное было всегда свое, личное, — развѣ и впрямь занимали меня тогда другіе люди, какъ-бы напряженно ни слѣдилъ я за ними? Что-жь, думалъ я, можетъ быть, просто начать повѣсть о самомъ себѣ? Но какъ? Вродѣ «Дѣтства, отрочества»? Или еще проще? «Я родился тамъ-то и тогда...» Но, Боже, какъ это сухо, ничтожно — и не вѣрно! Я вѣдь чувствую совсѣмъ не то! Это стыдно, неловко сказать, но это такъ: я родился во вселенной, въ безконечности времени и пространства, гдѣ будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потомъ что-то, называемое солнцемъ, потомъ земля... Но что это такое? Что я знаю обо всемъ этомъ, кромѣ пустыхъ словъ? Земля была сперва газообразной свѣтящейся массой... Потомъ, черезъ миллиарды лѣтъ, этотъ газъ сталъ жидкостью, потомъ жидкость отвердѣла, и съ тѣхъ поръ прошло еще два милліона лѣтъ, появились на землѣ одноклѣточные: водоросли, инфузоріи... А тамъ — безпозвоночные: черви, моллюски... А тамъ амфибіи... А за амфибіями — гигантскія пресмыкающіяся... А тамъ какой-то пещерный человѣкъ и открытіе имъ огня... Дальше же какая-то Халдея, Ассирія, какой-то Египеть, будто-бы все только возвигавшій пирамиды, да бальзамировавшій муміи... Какой-то Артаксерксъ, приказавшій бичевать Геллеспонтъ... Перикль и Аспазія, битва при Фермопилахъ, Марафонская битва... Впрочемъ, задолго до всего этого были еще тѣ легендарные дни, когда Авраамъ всталъ со стадами своими и пошелъ въ землю Обѣтованную... «Вѣрою Авраамъ повиновался призванію итти въ страну, обѣщанную ему въ наслѣдіе, и пошелъ, не зная куда онъ идетъ...» Да, не зная! Вотъ такъ же, какъ я! «Вѣрою повиновался призванію...» Вѣрой во что? Въ любовную благодать Божьяго велѣнія. «И пошелъ, не зная, куда...» Нѣтъ, зная: къ какому-то счастью, то есть, къ тому, что будетъ мило, хорошо, дастъ радость, то есть чувство люб-

ви,—жизнь... Такъ и я жилъ всегда—только тѣмъ, что вызвало любовь, радость отъ чего-нибудь. Такъ шелъ я и къ ней — для радости любви. И только оттого такъ и мучился — отъ тщетнаго желанія полноты любви, совершенства радостнаго... А что такое — писать? Это непрестанно и наиболѣе напряженно узнать и чувствовать жизнь, ища въ ней радующаго, то есть дающаго любовь... страдать всѣмъ, что мѣшаетъ любви, оскорбляетъ ее...

За дверью возлѣ столика межъ тѣмъ уже слышались голоса, женскій и дѣтскій, стучала педаль умывальника, плескалась вода, заваривался чай, начинались уговоры: «Костенька, кушай-же булочку!» Я вставалъ и принимался ходить по комнатѣ. Вотъ еще этотъ Костенька... Мать, напоивъ его чаемъ, уходила куда-то до полудня. Возвратясь, что-то готовила на керосинкѣ, кормила его и опять уходила. И что это было за мученіе — смотрѣть, какъ этотъ Костенька, ставшій какимъ-то общимъ номернымъ ребенкомъ, весь день шатается по номерамъ, заглядываетъ то къ одному, то къ другому жильцу, если тотъ сидитъ дома, что-то несмѣло говорить, порой старается подольститься, сказать что-нибудь угодливое, а его никто не слушаетъ, иные даже гонять неловкой скороговоркой: «Ну, иди, иди, братецъ, не мѣшай, пожалуйста!» Въ одномъ номерѣ жила маленькая и старенькая дама, очень серьезная, очень приличная, считавшая себя выше всѣхъ прочихъ жильцовъ, всегда проходившая по коридору, не глядя ни на кого изъ встрѣчныхъ, почему-то часто, даже слишкомъ часто запиравшаяся въ уборной и потомъ шумѣвшая въ ней водой. Дама эта имѣла крупнаго, широко-спиннаго мопса, раскормленнаго до жирныхъ складокъ на загривкѣ, съ вылупленными стеклянно-кружевенными глазами, съ развратно переломленнымъ носомъ, съ презрительно-выдвинутой нижней челюстью и прикушеннымъ между двумя клыками жабьимъ языкомъ. У него неизмѣнно было одно и то же выраженіе морды — ничего не выражающее, — однако онъ былъ до крайности нервень. И

вотъ, если Костенька, кѣмъ-нибудь удаленный изъ номера, попадался въ коридоръ этому мопсу, тотчасъ-же слышно было, какъ мопса схватываетъ за горло злое удушье, клокотанье, хрипъ, быстро переходившій въ негодующее бѣшенство и разрѣшавшійся громкимъ и свирѣлымъ лаемъ, отъ котораго Костенька закатывался истерическимъ воплемъ...

Снова сѣвъ за столъ, я томился убожествомъ жизни, ея, при всей ея обыденности, пронзительной сложностью. Теперь мнѣ хотѣлось что-то сказать уже о Костенькѣ и еще о чемъ-то въ этомъ родѣ. Вотъ, напримѣръ, на подворьи Никулиной однажды съ недѣлю жила, работала швея, длинная, пожилая мѣщанка, что-то все кроила на столѣ, заваленномъ обрѣзками, потомъ прилаживала сметанное въ швейную машину и начинала стрекотать, строчить... Чего стоитъ одно то, какъ она, когда кроила, всячески кривила свой крупный, сухой ротъ, слѣдуя ходу, изгибамъ ножницъ, какъ она наслаждалась за самоваромъ чаемъ, все стараясь сказать что-нибудь льстивое Никулинсой, какъ она, притворно-оживленно заговаривая ее, тянула — будто-бы безсознательно — свою крупную, рабочую руку къ корзиночкѣ съ ломтями бѣлаго хлѣба и косилась на граненую вазочку съ вареньемъ! А хромоножка на костыляхъ, что встрѣтилъ я на дняхъ на Карачевской! Всѣ хромые, горбатые ходятъ вызывающе, заносчиво. Эта скромно ныряла навстрѣчу мнѣ, держа черныя палки костылей въ обѣихъ рукахъ, при ныряньи равномерно упираясь въ нихъ и вскидывая плечи, подъ которыми торчали черныя рогульки, и пристально смотрѣла на меня... шубка коротенькая, какъ у дѣвочки, глаза умные, ясные, чистые, сплошь темные и тоже какъ у дѣвочки, а межъ тѣмъ все уже знающіе въ жизни, въ ея печаляхъ и загадочности... Какъ прекрасны однако бываютъ нѣкоторые несчастные люди, ихъ лица, глаза, изъ которыхъ такъ и сморить вся ихъ душа!

Потомъ я опять пытался погрузиться въ обдумываніе того, съ чего надо начать писать свою жизнь. Да, съ чего! Все-таки надо же прежде всего сказать, если ужъ не о вселенной, въ которой я появился въ ея извѣстный мигъ, то хотя бы о Россіи: дать понять читателю, къ какой странѣ я принадлежу, въ итогъ какой жизни я появился на свѣтъ. Однако что-же я знаю даже и объ этомъ? Опять ровно ничего! Родовой бытъ славянъ, раздоры славянскихъ родовъ... Славяне отличались высокимъ ростомъ, русыми волосами, храбростью, гостепримствомъ, боготворили солнце, громъ и молнію, почитали дѣшихъ, русалокъ, водяныхъ, «вообще силы и явленія природы»... Что еще? Призваніе князей, Царьградскіе послы у князя Владиміра, сверженіе Перуна въ Днѣпръ при общемъ народномъ плачѣ... Ярославъ Мудрый, усобицы его сыновей и внуковъ... Всеволодъ Большое Гнѣздо... Но мало того, — я ровно ничего не знаю даже о теперешней Россіи! Ну, да, раззоряющіеся помѣщики, голодающіе мужики, земскіе начальники, жандармы, полицейскіе, сельскіе священники, непременно обремененные многочисленнымъ семействомъ... А дальше что? Вотъ Орель, одинъ изъ самыхъ коренныхъ русскихъ городовъ, — хоть бы его-то жизнь, его людей узнать, а что-же я узналъ? Улицы, извозчики, развѣзанный снѣгъ, магазины, вивѣски, — все вивѣски, вивѣски... Архіерей, губернаторъ, гигантъ, красавецъ и звѣрь приставъ Рашевскій... Кто еще? Еще Палицынъ: слава Орла, одинъ изъ столповъ его, одинъ изъ тѣхъ зубровъ чудаковъ, которыми ископи славится Россія; старъ, родовитъ, другъ Хомякова, Аксакова, Лѣскова, живетъ въ чемъ-то вродѣ древне-русскихъ палатъ, бревенчатая стѣны которыхъ покрыты рѣдкими древними иконами, ходитъ въ какомъ-то широкомъ кафтанѣ, расшитомъ разноцвѣтными сафьянами, стрижется въ скобку, туголикъ, узкоглазъ, очень, видно, остеръ умомъ, начитанъ, по слухамъ, удивительно... Что еще знаю я объ этомъ Палицынѣ?

Но тутъ меня охватывало возмущеніе: да почему я обязанъ что-то и кого-то знать съ точнѣйшей и совершенной полнотью, а не писать такъ, какъ знаю и какъ чувствую! Я опять вскакивалъ и принимался ходить, радуясь своему возмущенію, хватаясь за него, какъ за спасеніе. И неожиданно видѣлъ Святогорскій монастырь, гдѣ былъ весной, разноплеменный станъ богомольцевъ возлѣ его стѣнъ на берегу Донца, послушника, за которымъ гонялся по двору монастыря, напрасно домогаясь, чтобы онъ устроилъ меня гдѣ-нибудь на ночь, то, какъ онъ, пожимая плечами, бѣжалъ отъ меня и весь на-бѣгу развѣвался, — руки, ноги, волосы, полы подрясника, — и какая у него была тонкая, гибкая талія, юношеское, все въ веснушкахъ, лицо, испуганные зеленые глаза и совершенно необыкновенная пышность, взбитость легкихъ, тонкихъ, каждымъ волоскомъ вьющихся свѣтло-золотыхъ волосъ... Потомъ видѣлъ эти весенніе дни, когда я, казалось, безъ конца плылъ по Днѣпру... Потомъ расвѣтъ въ степи подъ Путивлемъ... то, какъ я проснулся на жесткой вагонной лавкѣ, весь закопченый отъ этой жесткости и утренняго холода въ вагонѣ. увидалъ, что за бѣлыми отъ пота стеклами ничего не видно, — совершенно неизвѣстно, гдѣ идетъ поѣздъ! — и почувствовалъ, что это-то и восхитительно, эта неизвѣстность... съ утренней рѣзкостью чувствъ вскочилъ, открылъ окно, облокотился на него: бѣлое утро, бѣлый сплошной туманъ, пахнетъ весеннимъ утромъ и туманомъ, отъ быстрого бѣга вагона бьетъ по рукамъ, по лицу точно мокрымъ бѣльемъ...

#### XIV.

И вотъ однажды случилось такъ, что почему-то проспалъ я свой положенный срокъ. А проснувшись, остался лежать, какъ лежалъ, глядя напротивъ, въ окно, на розный бѣлый свѣтъ зимняго дня и чувствуя рѣдкое спокой-

ствіе, рѣдкую трезвость ума и души и какую-то малость, простоту всего окружающаго. Я долго лежалъ такъ, чувствуя, какъ легка мнѣ комната, — насколько она меньше меня, ничѣмъ и никакъ не связана со мной. Потомъ всталъ, умылся и одѣлся, привычно покрестился на образокъ, висѣвшій надъ изголовьемъ моей дешевенькой желѣзной кровати, — тотъ самый, что, какъ это ни удивительно, и теперь виситъ въ моей спальнѣ: темнооливковая, гладкая, окаменѣвшая отъ времени дощечка въ серебряномъ грубомъ окладѣ, означающемъ своими выпуклостями трехъ сидящихъ за трапезой Авраама ангеловъ, восточно-дикіе, запеченные лики которыхъ коричнево глядятъ изъ его округлыхъ дыръ, — наслѣдіе рода моей матери и ея благословіе мнѣ на жизненный путь, на исходъ въ міръ, на-люди изъ того подобія иночества, которымъ было мое дѣтство, отрочество, время первыхъ юныхъ лѣтъ, вся та глужая, сокровенная пора моего земного существованія, что кажется мнѣ теперь совсѣмъ особой порой его, заповѣдной, сказочной, давностью времени преображенной какъ бы въ нѣкое огдѣльное, даже мнѣ самому чужое бытіе... Покрестившись на этотъ образокъ, я пошелъ за покупкой, которую выдумалъ лежа. По дорогѣ вспомнилъ сонъ, который видѣлъ въ эту ночь: была масляница, я опять жилъ у Ростовцевыхъ, сидѣлъ съ отцомъ въ циркѣ, глядѣлъ на арену, на которую бѣжало цѣлое маленькое стадо черныхъ пони, цѣлыхъ шесть штукъ... онѣ были нарядно подсѣдланы маленькими мѣдными сѣделками съ бубенчиками и очень круто взнузданы, — красныя бархатныя поводья уздѣчекъ были такъ натянуты къ сѣделкамъ, что онѣ въ дугу гнули толстыя короткія шеи, на которыхъ черной щеткой торчали коротко подстриженныя гривки, — а изъ челокъ торчали у нихъ красныя султаны... онѣ бѣжали дружно, равнымъ рядомъ, мелкой рысцой, звеня бубенчиками, зло, упрямо согнувъ черныя головы, — всѣ масть въ масть, ростъ въ ростъ, всѣ одинаково бокастыя, корот-

коногія, — и, выбѣжавъ, вдругъ уперлись, грызя удила и тряся султанами... директоръ во фракъ долго вскрикивалъ, долго стрѣлялъ бичемъ, пока наконецъ заставилъ ихъ упасть на колѣни и закланяться публикѣ, послѣ чего вдругъ заскакавшая обрадованнымъ галопомъ музыка быстро понесла, погнала ихъ вереницу вдоль круга арены, точно преслѣдуя... Я сходилъ въ писчебумажный магазинъ, купилъ толстую тетрадь въ черной клеенкѣ. Возвратясь, сталъ пить чай, думая: «Да, довольно. Буду только читать, да иногда, безъ всякихъ притязаній, кое-что вкратцѣ записывать — всякія свои мысли, чувства, наблюденія...» И, обмакнувъ перо, старательно и четко вывелъ:

— Алексѣй Арсеньевъ. Записи.

Потомъ долго сидѣлъ безъ движенія, думая, что записать. Сидѣлъ до самаго завтрака, накурилъ всю комнату, но не мучился, былъ только грустенъ и тихъ. Наконецъ записалъ:

— Въ редакцію заходилъ извѣстный толстовецъ, князь Н., просилъ напечатать его отчетъ по сбору и расходамъ на тульскихъ голодающихъ. Небольшой, довольно полный. Какіе-то мягкіе, вродѣ кавказскихъ, сапоги, каракулевая шапка, пальто съ каракулевымъ воротникомъ, — все старое, вытертое, но дорогое и чистое, — мягкая сѣрая блуза, подпоясанная ремешкомъ, подъ которымъ круглится животъ, и золотое пенснэ. Держался очень скромно, но мнѣ было очень непріятно его благообразное, холеное, молочное лицо и холодные глаза. Я его сразу возненавидѣлъ. Я, конечно, не толстовецъ. Но все-таки я совсѣмъ не то, что думаютъ всѣ! Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость и ненавижу только то, что мѣшаетъ этому!

Итти завтракать въ редакцію не хотѣлось. Я пошелъ въ старый трактиръ на Московской. Тамъ выпилъ нѣсколько рюмокъ водки, закусывая селедкой; ея распластанная головка лежала на тарелкѣ, я глядѣлъ и думалъ: «Это тоже надо записать — у селедки перламутровыя щеки». По-

томъ ѣлъ селянку на сковородкѣ. Народу было немало, пахло блинами и жареными снѣтками, въ низкой залѣ было чадно, бѣлые половые бѣгали, танцую, выгибая спины и откидывая затылки, хозяинъ, во всемъ являвшій собой образецъ тоже русскаго духа, внимательно косилъ за каждымъ изъ нихъ глазами, картинно стоя за стойкой, играя давно усвоенную роль строгости и благочестія; между столиками, занятыми мѣщанами, тихо ходили въ грубыхъ башмакахъ съ ушками и тихо кланялись низенькія черныя монашенки, похожія на галокъ, протягивали черныя книжечки съ галуннымъ серебрянымъ крестомъ на переплетѣ, я мѣщане, хмурясь, выбирали изъ кошельковъ какія похуже копѣйки... Все это было какъ-бы продолженіемъ моего сна, я, слегка хмелья отъ водки, селянки и воспоминаній дѣтства, чувствовалъ близость слезъ... Воротаясь домой, легъ и заснулъ. Съ грустью и раскаяніемъ въ чемъ-то очнувшись въ сумерки, посмотрѣлся, причесываясь, въ зеркало, съ неудовольстіемъ замѣтилъ излишнюю артистичность своихъ волосъ и пошелъ въ парикмахерскую. Въ парикмахерской сидѣлъ подъ бѣлымъ балахономъ кто-то низкорослый, съ голымъ плоскимъ черепомъ, съ торчащими ушами, — нетопырь, которому парикмахеръ удивительно густо и пышно взмывливалъ верхнюю губу и щеки. Ловко снявъ всю эту млечность бритвой, парикмахеръ опять немножко взмылилъ и опять снялъ, — на этотъ разъ исподнизу, небрежными, короткими толчками, и нетопырь раскорякой привсталъ, потянулъ за собой балахонъ, наклонился, багрово покраснѣлъ и сталъ одной рукой придерживать на груди, другой умываться.

— Спрыснуть прикажете? — спросилъ парикмахеръ.

— Вали, — сказалъ нетопырь.

И парикмахеръ зашипѣлъ пульверизаторомъ, легонько похлопалъ по щекамъ нетопыря салфеткой.

— Пожалуйте-съ, — сказалъ онъ четко, раскидывая балахонъ. И нетопырь всталъ и оказался довольно страшень: черепъ ушастый, большой, лицо худое и широкое, сафьян-

ное, глаза послѣ бритья младенчески блестящи, дыра рта черна, а самъ низокъ, плечистъ, туловище короткое, научное, ноги тонки и какъ-то по татарски, по наѣзднически кривы. Сунувъ парикмахеру на чай, онъ надѣлъ бѣлое шелковое кашнэ, ослѣпное черное пальто и котелокъ, закурилъ сигару и вышелъ. Парикмахеръ обратился ко мнѣ:

— Знаете, кто это? Первѣйшій богачъ, купецъ Ермаковъ. Знаете, сколько онъ всегда даетъ на чай? Вотъ-съ:

Онъ раскрылъ ладонь и, весело смѣясь, показалъ:

— Ровно двѣ копѣйки!

Потомъ я, по своему обыкновенію, пошелъ бродить по улицамъ. Увидѣвъ церковный дворъ, вошелъ въ него, потомъ вошелъ въ церковь, — уже образовалась отъ одиночества, отъ грусти привычка къ церквямъ. Тамъ было тепло и грустно-празднично отъ блеска свѣчей, жарко горѣвшихъ цѣлыми пучками на высокиихъ подсвѣчникахъ вокругъ налоя, на налоѣ лежалъ мѣдный крестъ съ фальшивыми рубинами, передъ нимъ стояли священнослужители и умиленно-горестно пѣли: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...» Въ сумракѣ возлѣ входа стоялъ большой старикъ въ длинной чуйкѣ и кожаныхъ калошахъ, грубый и крѣпкій, какъ старая лошадь, и сурово (въ назиданіе кому-то) гудѣлъ, подпѣвая. А въ толпѣ возлѣ налоя стоялъ странникъ, тепло освѣщенный спереди золотымъ восковымъ свѣтомъ. Онъ былъ лещерно худъ, склоненнаго лица его, иконописно-тонкаго и темнаго, почти не видно было за космами длинныхъ темныхъ волосъ, первобытно, иночески и женски висѣвшихъ вдоль щекъ; въ лѣвой рукѣ онъ твердо держалъ высокій деревянный посохъ, за долгіе годы натертый рукой до блеску, за плечами у него былъ черный кожаный мѣшокъ, онъ стоялъ одиноко, неподвижно, отрѣшенно отъ всѣхъ... Я глядѣлъ и опять слезы навертывались мнѣ на глаза — отъ неудержимо поднимавшагося въ груди сладкаго и скорбнаго чувства родины, Россіи, всей ея темной древности... Кто-то сзади,

снизу, легонько постучалъ мнѣ по плечу свѣчкой: я обернулся — за мной гнулась старушка въ салопчикѣ и большой шали, съ однимъ добрымъ торчащимъ зубомъ: «Кресту, батюшка!» Я съ радостной покорностью взялъ свѣчку изъ ея холодной, мертвой ручки съ синеватыми ноготками, шагнулъ къ слѣпящему подсвѣчнику, неловко и стыдясь за свою неловкость, кое-какъ пристроилъ свѣчку къ прочимъ и вдругъ подумалъ: «Уѣду!» И, отступивъ и поклонившись, скоро и осторожно пошелъ въ сумракъ къ выходу, оставляя за собой милый, уютный свѣтъ и тепло церкви. На паперти встрѣтила непривѣтливая темнота, вѣтеръ, гудѣвшій гдѣ-то вверху... «Ѥду!» — сказалъ я, надѣвая шапку. — «Въ Смоленскъ...»

Почему Смоленскъ? Сказочные Брянскіе лѣса, снѣга... «Брынскіе» лѣса, «брынскіе» разбойники, лубочныя базарныя книжечки, дикая прелесть темной и вольной русской мечты... Въ какой-то простонародной улицѣ — теперь хотѣлось именно этого, простонародности, старой, темной Руси, — я зашелъ въ кабакъ. Въ кабакъ за однимъ столикомъ кричалъ, роняя голову, притворяясь пьянымъ, играя излюбленное русское — умиленіе надъ своей гибелью — какой-то гадкій малый: «Я ошибкой — роковою — какъ-то въ каторгу попалъ!» На него брезгливо смотрѣлъ изъ-за другого столика кто-то съ черными рѣдкими усиками, съ закинутой назадъ головой, — судя по длинной шеѣ, по острому, крупному и подвижному кадыку, игравшему подъ тонкой кожей горла, воръ. Возлѣ стойки покачивалась длинная хмельная женщина въ жидкомъ, прилипшемъ къ тощимъ ногамъ платьѣ, видимо, прачка: она, доказывая сидѣльцу подлость кого-то, была по стойкѣ стекловидно-блестящими, тонкими, состиранными пальцами; граненый стаканчикъ съ водкой стоялъ передъ ней, она порой брала его, держала и все не пила — опять ставила и опять говорила, хлопая пальцами. Я хотѣлъ выпить пива, но прѣлый воздухъ въ кабакъ былъ слишкомъ воюющъ, лампочка горѣла слишкомъ убого; съ подоконни-

ковъ маленькихъ замерзшихъ оконъ, съ тряпокъ, гнившихъ тамъ, текло... «Извозчикъ!» — крикнулъ я, выйдя.

У Авиловой, къ несчастью, сидѣли въ столовой гости. «— А-а! — сказала она. — Нашъ милый поэтъ! Вы не знакомы?» — Я поздоровался съ ней, откланялся гостямъ. Напротивъ нея сидѣлъ размытый, морщинистый господинъ съ подстриженными усами, выкрашенными въ коричневую краску, съ коричневой накладкой на темени, въ бѣломъ пикейномъ жилетѣ, въ черной визиткѣ; быстро вставъ, онъ отвѣтилъ мнѣ чрезвычайно вѣжливымъ поклономъ, съ гибкостью удивительной для его возраста; борты визитки были у него обшиты черной тесьмой, что мнѣ всегда очень нравилось, вызывало зависть и мечту о такой визиткѣ. Середину стола занимала безъ умолку и очень умѣло говорившая дама, подавшая мнѣ точно тюленью лапу, крѣпко налитую ручку, на гляншевитой подушечкѣ которой были видны зубчатая полоски, оставшіяся отъ швовъ перчатки. Она говорила ловко, но послѣшно, нѣсколько задыхаясь: она была совсѣмъ безъ шеи, довольно толста, особенно сзади, возлѣ подмышекъ, каменно кругла и тверда въ талии, стянутой корсетомъ; на плечахъ у нея лежалъ дымчатый мѣхъ, запахъ котораго, смѣшанный съ запахомъ сладкихъ духовъ, шерстяного платья и теплаго тѣла, былъ очень душенъ.

Въ десять гости поднялись, налюбезничали и ушли; по той почтительности, съ которой одѣваль даму господинъ, видна была ихъ тайная близость. Авилова засмѣялась.

— Охъ, наконецъ-то! — сказала она. — Пойдемъ, посидимъ у меня. Здѣсь надо открыть форточку... Но, дорогой мой, что вы какой-то такой? — съ ласковой укоризной сказала она, протягивая мнѣ обѣ руки.

Я сжалъ ихъ и отвѣтилъ:

— Я завтра уѣзжаю..

Она взглянула испуганно и удивленно:

— Куда?

-- Въ Смоленскъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ-то не могу больше такъ жить....

— А въ Смоленскѣ что? Но давайте сядемъ хоть тутъ...  
Я ничего не понимаю...

Мы сѣли на тахту, покрытую лѣтнимъ чехломъ изъ полосатаго тика.

— Вотъ видите этотъ тикъ? — сказалъ я. — Вагонный. Я даже этого тика не могу видѣть спокойно, тянетъ ѣхать.

Она усѣлась поглубже, маленькія ноги ея въ легкихъ туфелькахъ легли передо мною.

— Но почему Смоленскъ? — спросила она, даже какъ-то несмѣло глядя на меня недоумѣвающими глазами.

Я наклонился и поцѣловалъ ея чулокъ, возлѣ подъема.

— Потомъ въ Витебскъ... въ Полоцкъ...

— Зачѣмъ?

— Не знаю. Прежде всего — очень нравятся слова: Смоленскъ, Витебскъ, Полоцкъ...

— Нѣтъ, безъ шутокъ?

— Я не шучу. Развѣ вы не знаете, какъ хороши нѣкоторыя слова? Смоленскъ вѣчно горѣлъ въ старину, вѣчно его осаждали... Я даже что-то родственное чувствую къ нему — тамъ когда-то, при какомъ-то страшномъ пожарѣ погорѣли какія-то древнія грамоты нашего рода, отчего мы лишились какихъ-то большихъ наслѣдныхъ правъ и родовыхъ привелегій...

— Чась отъ часу не легче! Вы очень тоскуете? Она вамъ не пишетъ?

— Пишетъ. Но не въ томъ дѣло. Вся эта орловская жизнь не по мнѣ. «Знаетъ олень кочующій пастбища свои...» И литературныя дѣла совсѣмъ никуда. Сижу все утро и въ головѣ такой вздоръ, точно я сумасшедшій. Вотъ у насъ въ городѣ бѣгаетъ по улицамъ дурачекъ — все размахиваетъ руками, дирижируетъ воображаемымъ оркестромъ, дудитъ въ слюнявыя губы. Вотъ и я такъ-же. Потомъ есть у насъ въ Батуриѣ дочь лавочника, — уже

потеряла надежду выйти замужъ и потому живетъ только острой и злой наблюдательностью. Вотъ и я въ этомъ родѣ.

— Какой еще ребенокъ! — сказала она ласково и пригладила мнѣ волосы.

— Быстро развиваются только низшіе организмы, — отвѣтилъ я. — И потомъ, кто не ребенокъ? «До самой старости мы дѣти!» Вотъ я разъ ѣхалъ въ Орель, со мною сидѣлъ членъ елецкаго окружного суда, почтенный, серьезный человекъ, похожій на пиковаго короля.. Долго сидѣлъ, читалъ «Новое Время», потомъ всталъ, вышелъ и пропалъ. Я даже обезпокоился, тоже вышелъ и отворилъ дверь въ сѣни. За грохотомъ поѣзда онъ не слышалъ и не видалъ меня — и что-же мнѣ представилось? Онъ залихватски плясалъ, выдѣлывалъ ногами самыя отчаянныя штуки въ ладъ колесамъ.

— Мудрецъ мой глупенькій! — сказала она.

И, поднявъ глаза, вдругъ негромко спросила:

— Хотите, поѣдемъ въ Москву?

Потомъ стала смущенно улыбаться:

— Поѣдемъ за городъ, въ Стрѣльну, къ Яру... Что вы себя все мучите!

Что-то представилось мнѣ, что-то жутко и дико содрогнулось во мнѣ.. Я покраснѣлъ, забормоталъ, отказываясь, благодарности... Всю жизнь вспоминалъ я потомъ эту минуту съ болью большой, невозвратимой потери...

Слѣдующую ночь я проводилъ уже въ вагонѣ, въ голломъ купѣ третьяго класса. Былъ совсѣмъ одинъ, даже немного боязно было. Слабый свѣтъ фонаря печально дрожалъ, качался по деревяннымъ лавкамъ. Я стоялъ возлѣ чернаго холоднаго окна, изъ невидимыхъ отверстій котораго остро и свѣжо дуло, и, загородивъ лицо отъ свѣга руками, напряженно вглядывался въ ночь, въ лѣса. Тысячи красныхъ пчелъ неслись, развѣвались тамъ, иногда, вмѣстѣ съ зимней свѣжестью, пахло ладаномъ, горящими въ паровозѣ дровами... О, какъ сказочно мрачна, строга,

величава была эта лѣсная ночь, безконечная, узкая и глубокая простѣка лѣснаго пути, великіе, темные призраки вѣковых сосенъ, тѣснымъ, дремучимъ строемъ шедшихъ вдоль него! Свѣтлые четырехугольники оконъ косо бѣжали по бѣлымъ сугробамъ у подножія лѣса, — выше все тонуло во тьмѣ и тайнѣ...

Утромъ было внезапное, бодрое пробужденіе: все свѣгло, спокойно, поѣздъ стоитъ — уже Смоленскъ, большой вокзалъ, горячій чай, кофе... Я выскочилъ изъ вагона, жадно глотнулъ чистаго воздуха... У дверей вокзала толпился возлѣ чего-то народъ: я подбѣжалъ — это лежалъ убитый на охотѣ дикій кабанъ, грубый, огромный, могучій, закофенѣвшій и промерзшій, страшно жесткій даже на видъ, весь торчащій сѣрыми длинными иглами густой щетины, пересыпанной сухимъ снѣгомъ, съ свинными глазками, съ двумя крѣпко закушенными бѣлыми клыками... «Остаться? — подумалъ я. — Нѣтъ, дальше, въ Витебскъ!»

Въ Витебскъ я пріѣхалъ къ вечеру. Вечеръ былъ морозный, свѣтло-желтый. Всюду было очень снѣжно, глухо и чисто, дѣйствиительно, городъ показался мнѣ древнимъ и не-русскимъ: высокіе, въ одно слитые дома съ крутыми крышами, съ небольшими окнами, съ глубокими и грубыми полукруглыми воротами въ нижнихъ этажахъ... Сперва встрѣчались все только старые евреи, въ лапсердакахъ, въ бѣлыхъ чулкахъ, въ башмакахъ, съ пейсами, похожими на трубчатые, вьющіеся бараньи рога, съ безкровными лицами, съ вопросительными, сплошь темными глазами. Но на главной улицѣ было гулянье — медленно и жеманно двигалась по тротуарамъ густая толпа полныхъ барышень, наряженныхъ съ провинціальной еврейской пышностью въ бархатныя толстыя шубки, лиловыя, голубыя и гранатовыя. За ними, но довольно отдѣльно, цѣлыми стадами шли молодые люди, всѣ въ котелкахъ, но тоже съ пейсами, съ дѣвичьей нѣжностью и округлостью восточно-конфетныхъ лицъ, съ шелковистой юношеской опушкой вдоль щекъ, съ темными антилопными взглядами...

Въ какомъ остромъ чувствѣ удивительнаго одиночества, удивительной свободы отъ всего въ мірѣ шелъ я въ этой толпѣ, въ этотъ субботній вечеръ, въ этомъ столь древнемъ, какъ мнѣ казалось, городѣ, во всей заброшенности его и чудной новизнѣ для меня!

Темнѣло, я куда-то свернулъ, увидалъ желтый костель съ двумя звонницами и поспѣшилъ войти. Войдя, увидалъ полумракъ, ряды скамеекъ, впереди, на престолѣ, полукругъ огоньковъ. И тотчасъ медлительно, задумчиво и гнусаво запѣлъ гдѣ-то надо мной органъ, потекъ глухо и плавно, потомъ сталъ возмущаться, расти — рѣзко, металлически... сталъ кругло дрожать, скрежетать, какъ-бы вырываясь изъ-подъ чего-то, глушившаго его, потомъ вдругъ вырвался и звонко разлился чистыми, небесно-высокими пѣснопѣніями... Впереди, среди огоньковъ, то подымалось, то падало горловое бормотаніе, гнусаво раздавались латинскіе возгласы. Въ сумракѣ, по обѣимъ сторонамъ уходящихъ впередъ толстыхъ каменныхъ колоннъ, терявшихся вверху въ темнотѣ, привидѣніями шли одинъ за другимъ черные латники, — желѣзныя ноги, доспѣхи, шлемы. Въ высотѣ надъ алтаремъ сумрачно умирало большое гнѣздо таинственно-прозрачныхъ самоцвѣтовъ, — карминъ, индиго, что-то желто-топазовое... Я сталъ на колѣни подъ каменнымъ кубомъ, на которомъ возвышался желѣзный рыцарь, опустилъ голову... Сердце во мнѣ истекало безсильной болью и безсильной нѣжностью ко всему, ко всѣмъ...

**Ив. Бунинъ.**

## Camera obscura

### XXVII.

Онъ спустился въ городъ; не ускоряя шага, пересѣкъ платановую аллею и вошелъ черезъ холь въ гостиницу. Поднимаясь по лѣстницѣ, онъ встрѣтилъ знакомую старуху-англичанку, она улыбнулась ему. «Здравствуйте», — шопотомъ сказала Кречмаръ и прошелъ. Онъ прошаталъ по длинному корридору и вошелъ въ номеръ. Въ комнатѣ никого не было. На коврикѣ у постели было пролито кофе, блестя упавшая ложечка. Онъ исподлобья посмотрѣлъ на дверь въ ванную. Въ это мгновеніе раздался изъ сада звонкій смѣхъ Магды. Кречмаръ высунулся въ окно. Она шла рядомъ съ американцемъ теннисистомъ, помахивая золотой отъ солнца ракетой. Американецъ увидѣлъ Кречмара въ окнѣ третьяго этажа. Магда обернулась и посмотрѣла вверхъ. Кречмаръ, беззвучно двигая губами, сдѣлалъ движеніе рукой, словно что-то медленно сгребалъ въ охапку. Магда кивнула и побѣжала въ домъ. Кречмаръ тотчасъ отошелъ отъ окна и, пристѣвъ на корточки, отперъ чемоданъ, поднялъ крышечку, но вспомнивъ, что искомсе не тамъ, пошелъ къ шкапу и сунулъ руку въ карманъ автомобильнаго пальто. Онъ провѣрилъ, вдвинута ли обойма. Затѣмъ закрылъ шкапъ и сталъ у двери. Сразу, какъ только она откроетъ дверь. (Шуплый ангелъ надежды, который тянетъ за рукавъ даже въ минуту безпросвѣтнаго отчаянія, былъ едва живъ, — на что надѣяться? Надо сразу, обдумать можно потомъ). Онъ мысленно слѣдилъ: вотъ теперь она вошла въ гостиницу со сторсны сада, вотъ теперь поднимается на лифтѣ,

пятнадцать секунд лишних — если по лестницѣ, — вотъ сейчасъ допесется стукъ каблуковъ по корридору. Но воображеніе обогнвало, опережало ее, все было тихо, надо начать сначала. Онъ держалъ браунингъ, уже поднявъ его, было чувство словно оружіе — естественное продолженіе его руки, напряженной, жаждущей облегченія: нажать вогнутую гашетку.

Онъ едва не выстрѣлилъ прямо въ бѣлую, еще закрытую дверь въ тотъ мигъ, когда вдругъ послышался изъ корридора ея легкій резиновый шагъ, — да, конечно, она была въ теннисныхъ туфляхъ, — каблуки не при чемъ. Сейчасъ, сейчасъ... Еще другіе шаги.

«Позвольте, сударыня, мнѣ зайти за подносомъ», — сказала по-французски голсъ за дверью. Магда вошла вмѣстѣ съ горничной, — онъ машинально сунулъ браунингъ въ карманъ.

«Въ чемъ дѣло? Что случилось? — спросила Магда. — Зачѣмъ ты меня заставляешь бѣгать наверхъ?» Онъ, не отвѣчая, глядѣлъ исподлобья на то, какъ горничная ставитъ на подносъ посуду, поднимаетъ ложечку съ пола. Вотъ она все взяла, уходитъ, вотъ закрылась дверь.

«Бруно, что случилось?»

Онъ опустилъ руку въ карманъ. Магда поморщилась, сѣла на стулъ, стоящій близъ кровати, нагнулась и стала расшнуровывать бѣлую туфлю. Онъ видѣлъ ея затылокъ, загорѣлую шею. Невозможно стрѣлять, пока она снимаетъ башмачекъ. На вѣткѣ было красное пятно, кровь просочилась сквозь бѣлый чулокъ. «Это ужасъ, какъ я натерла», — проговорила она и, оглянувшись на Кречмара, увидѣла тупой черный пистолетъ. «Дчракъ, — сказала она чрезвычайно спокойно. — Не играй съ этой штукой».

«Встань! Слышишь?» — какъ-то замушукалъ Кречмаръ и схватилъ ее за кисть.

«Я не встану, — отвѣтила Магда, свободной рукой спускающая съ ноги чулокъ. — И вообще отстань, — у меня страшно болить, все присохло».

Онъ тряхнулъ ее такъ, что затрещалъ стулъ. Она схватилась за рѣшетку кровати и стала смѣяться.

«Пожалуйста, пожалуйста, убей, — сказала она. — Но это будетъ то же самое, какъ эта пьеса, которую мы видѣли, съ чернокожимъ, съ подушкой...»

«Ты лжешь, — зашепталъ Кречмаръ. — Ты лжешь, — все оплевано, все исковеркано... Ты и этотъ негодяй...» Онъ оскалился, верхняя губа дергалась, — заикался и не могъ попасть на слово.

«Пожалуй, убери. Я тебѣ ничего не скажу, пока ты не уберешь. Я не знаю, что случилось, но я знаю одно, — я тебѣ вѣрна, я тебѣ вѣрна...»

«Хорошо, — прсговорилъ Кречмаръ. — Да-да, дамъ тебѣ высказаться, а потомъ застрѣлю.»

«Не нужно меня убивать, — увѣряю тебя, Бруно.»

«Дальше, дальше, поторопись!»

(«...Если я сейчасъ оченьъ быстро задвигаюся, — подумала она, — то успѣю выбѣжать въ корридоръ. Онъ можетъ не успѣть погнаться, сразу начну орать, и сбѣгутся люди. Но тогда все пойдетъ на смарку, все...»).

«Я не могу говорить, пока у тебя пистолеть. Пожалуйста, спрячь его.»

(«А если выбить у него изъ руки?»...)

«Нѣтъ, — сказалъ Кречмаръ. — Сперва ты мнѣ признаешься... Мнѣ донесли, я все знаю...»

«Я все знаю, — продолжалъ онъ срывающимся голосомъ, шагая по комнатѣ и ударяя краемъ ладони по мебели. — Я все знаю. Вѣдь это поразительно смѣшно: облысѣлъ и видѣлъ васъ въ вагонѣ, вы вели себя, какъ любовники. Ванная, — какъ удобно, заперлась и перешла, — нѣтъ, я тебя конечно убью.»

«Да, я такъ и думала, — сказала Магда. — Я знала, что ты не поймешь. Ради Бога, убери эту штуку, Бруно!»

«Что тутъ понимать! — крикнулъ Кречмаръ. — Что тутъ можно объяснить!»

«Во-первыхъ, Бруно, ты отлично знаешь, что онъ къ женщинамъ равнодушенъ —»

«Молчать! — заораль Кречмаръ. — Это съ самаго начала — пошлая ложь, шулерское изощреніе!»

«Ну, если онъ кричить, все хорошо», — подумала Магда).

«Нѣтъ, это все же именно такъ, — сказала она. — Но однажды я ему въ шутку предложила: Знаете что? Я васъ растормошу. Мы будемъ другъ другу говорить нѣжности, и вы своихъ мальчиковъ забудете. Ахъ, мы оба знали, что это все пустое. Вотъ и все, вотъ и все, Бруно!»

«Пакостное вранье. Я не вѣрю. Вы говорили о томъ, что ты къ нему перебѣгаешь въ номеръ, пока... пока льется вода. И это слышала писатель, человѣкъ, который —»

«Ахъ, мы часто такъ играли, — развязно проговорила Магда. — Правда, ничего изъ этого не выходило, но было очень смѣшно. И я не отрицаю про ванную. Я сама ему сказала, что, если мы были бы влюблены другъ въ друга, то было бы очень ловко и просто, — переходный пунктъ, — а твой писатель — дуракъ».

«Такъ ты можешь быть и жила съ нимъ въ шутку? Пакость какая, Боже мой!»

«Конечно нѣтъ. Какъ ты смѣла? Онъ бы просто не сумѣлъ. Мы съ нимъ даже не цѣловались, — это уже противно».

«А если я спрошу его объ этомъ, — безъ тебя, конечно, безъ тебя».

«Ахъ, пожалуйста! Онъ тебѣ скажетъ то же самое. Только, знаешь, выйдетъ немножко глупо».

Въ этомъ духѣ они говорили битый часъ. Магда крѣпилась, крѣпилась, но наконецъ не выдержала, съ ней сдѣлалась истерика. Она лежала ничкомъ на постели, въ своемъ бѣломъ нарядномъ теннисномъ платьѣ, босая на одну ногу, и, постепенно успокаиваясь, плакала въ подушку. Кречмаръ сидѣлъ въ креслѣ у окна, за которымъ было

солнце, веселье англійскіе голоса съ тенниса, — и перебиралъ все, что произошло, всё мелочи съ самаго начала знакомства съ Горномъ, и среди нихъ вспоминались ему такія, которыя теперь освѣщены были тѣмъ же мертвеннымъ свѣтомъ, какимъ нынче катастрофически озарилась жизнь: что-то оборвалось и погибло навсегда, — и какъ бы яснооко, правдоподобно ни доказывала ему Магда, что она ему вѣрна, всегда отнынѣ будетъ ядовитый привкусъ сомнѣнія. Наконецъ онъ всталъ, подошелъ къ ней, посмотрѣлъ на ея сморщенную розовую пятку съ чернымъ квадратомъ пластыря, — когда она успѣла наклеить? — посмотрѣлъ на золотистую кожу нетоистой, но крѣпкой икры и подумалъ, что можетъ убить ее, но разстаться съ нею не въ силахъ. «Хорошо, Магда, — сказалъ онъ угрюмо. — Я тебѣ вѣрю. Но только ты сейчасъ встанешь, переодѣнешься, мы уложимъ вещи и уѣдемъ отсюда. Я сейчасъ физически не могу встрѣтиться съ нимъ, — я за себя не ручаюсь, — нѣтъ, не потому, что я думаю, что ты мнѣ измѣнила съ нимъ, не потому, но — однимъ словомъ — я не могу — слишкомъ я живо успѣлъ вообразить, и то, что мнѣ читалъ Зегелькранцъ, слишкомъ тоже было выпукло. Ну, вставай...»

«Поцѣлуй меня», — тихо сказала Магда.

«Нѣтъ, не сейчасъ, я хочу поскорѣе отсюда уѣхать... я тебя чуть не убилъ въ этой комнатѣ, и навѣрное убью, если мы сейчасъ, сейчасъ же, не начнемъ собирать вещи».

«Какъ тебѣ угодно, — сказала Магда. — Только ты подумай, каково мнѣ, — конечно не важно, что я оскорблена тобой и твоимъ милымъ Розенкранцемъ. Ну ладно, ладно, давай укладываться».

Молча и быстро, не глядя другъ на друга, они наполнили чемоданы, горничная принесла счетъ, мальчикъ пришелъ за багажомъ.

.....

Горнъ игралъ въ покеръ на терасѣ, подъ тѣнью платана. Ему очень не везло. Только что онъ попался съ такъ

называемой «полной рукой» противъ «масти» и «карре». Онъ уже подумывалъ, не бросить ли и не пойти ли провѣдать на теннисъ Магду, которая прилежно отправилась учиться бэкъ-хенду у американскаго игрока, — онъ уже серьезно подумывалъ объ этомъ, какъ вдругъ, сквозь кусты сада, на дорогѣ около гаража, увидѣлъ автомобиль Кречмара; автомобиль неуклюже взялъ поворотъ и скрылся. «Въ чемъ дѣло, въ чемъ дѣло...» — пробормоталъ Горнъ и, расплатившись (онъ проигралъ немало), пошелъ искать Магду. На теннисъ ея не оказалось. Онъ поднялся наверхъ. Дверь въ номеръ Кречмара была открыта. Пусто, валяются листы газетъ, обнаженъ красный матрацъ на двуспальной кровати.

Онъ потянулъ нижнюю губу двумя пальцами по скверной своей привычкѣ и прошелъ въ свою комнату, предполагая, что найдетъ тамъ записку. Записки никакой не было. Недоумѣвая, онъ спустился въ холъ. Молодой черноволосый французъ съ орлинымъ носомъ, нѣкій *Monsieur Martin*, не разъ танцовавшій съ Магдой, посмотрѣлъ черезъ газету на Горна и, улыбувшись, сказалъ: «Жалко, что они уѣхали. Почему такъ внезапно? Назадъ въ Германию?» Горнъ издалъ неопредѣленно утвердительный звукъ.

### XXVIII.

Есть множество людей, которые, не обладая специальными знаніями, умѣютъ однако и воскресить электричество, послѣ таинственнаго событія, изываемаго «короткимъ замыканіемъ», и починить пожичкомъ механизмъ остановившихся часовъ, и нажарить, если нужно, котлетъ. Кречмаръ къ ихъ числу не принадлежалъ. Въ дѣтствѣ онъ ничего не строилъ, не мастерилъ, не склеивалъ, какъ иные ребята. Въ юности онъ ни разу не разобралъ своего велосипеда, и, когда лопалась шина, катилъ хромую, пишущую, какъ дырявая галюна, машину въ ремонтное за-

введеніе. На войнѣ онъ славился удивительной нерасторопностью, неумѣніемъ ничего сдѣлать собственными руками. Изучая реставрацію картинъ, паркетацию, рантиуалацию, онъ самъ боялся къ картинѣ прикоснуться. Неудивительно поэтому, что автомобилемъ, напримѣръ, онъ управлялъ прескверно.

Медленно и не безъ труда выбравшись изъ Ружинара, онъ чуть-чуть подбавилъ ходу, благо шоссе было прямое и пустынное. О томъ, что именно происходитъ въ нѣдрахъ машины, почему вертятся колеса, — онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, — зналъ только дѣйствіе того или иного рычага.

«Куда мы, собственно, ѣдемъ?» — спросила Магда, сидѣвшая рядомъ.

Онъ пожалъ плечами, глядя впередъ, на бѣлую дорогу.

Теперь, когда они выѣхали изъ Ружинара, гдѣ улочки были полны народу, гдѣ приходилось трубить, судорожно запинаться, косолапо вилять, теперь, когда они уже свободно катили по шоссе, Кречмаръ беспорядочно и угрюмо думалъ о разныхъ вещахъ, — о томъ, что дорога постепенно идетъ въ гору, и вѣроятно сейчасъ начнутся повороты, о томъ, какъ Горнъ залутался пуговицей въ Магдиныхъ кружевахъ, о томъ, что еще никогда не было у него такъ тяжело и смутно на душѣ.

«Мнѣ все равно куда, — сказала Магда, — но я хотѣла бы знать. И, пожалуйста, держись правой стороны, ты чортъ знаетъ, какъ ѣдешь».

Онъ рѣзко затормазилъ, только потому, что вдалекѣ появился автобусъ.

«Что ты дѣлаешь, Бруно? Просто держись правѣе».

Автобусъ съ туристами прогремѣлъ мимо. Кречмаръ отпустилъ тормазъ.

«Не все ли равно, куда? — думалъ онъ. — Куда ни поѣзжай, отъ этой муки не избавишься. Какъ мерзко зеленѣютъ эти холмы. Они чортъ знаетъ какъ миловали другъ друга...»

«Я тебя ни о чемъ не буду больше спрашивать, — сказала Магда, — только ради Бога труби передъ поворотами. У меня голова болитъ. Я хочу куда-нибудь доѣхать наконецъ».

«Ты мнѣ клянешься, что ничего не было? — хрипло проговорилъ Кречмаръ, и сразу почувствовалъ, какъ слезы горячей мути застилаютъ зрѣніе. Онъ заморгаль, до рога олять забѣлѣла.

«Клянусь, — сказала Магда. — Я устала клясться. Убей меня, но больше не мучь. И знаешь, мнѣ жарко, я сниму пальто».

Онъ затормазилъ; остановились.

Магда засмѣялась: «Почему для этого, собственно говоря, нужно останавливаться? Ахъ, Бруно...»

Онъ помогъ ей освободиться отъ кожанаго пальто, при чемъ съ необычайной живостью вспомнилъ, какъ давнымъ давно, въ дрянномъ кафѣ, онъ въ первый разъ увидѣлъ, какъ она двигаетъ лопатками и плечами, сгибаетъ прелестную шею, вылѣзая изъ рукавовъ пальто.

Теперь у него слезы лились по щекамъ неудержимо. Магда обняла его за шею и прижалась щекой къ его склоненной головѣ.

Автомобиль стоялъ у самаго парапета, толстаго каменнаго парапета, за которымъ былъ обрывъ, поросшій ежевикой, и въ глубинѣ бѣжала вода; съ лѣвой же стороны поднимался скалистый склонъ, съ соснами на верхушкѣ. Палило солнце, трещали кузнечики; далеко впереди раздавался звонъ и стукъ, человекъ въ темныхъ очкахъ билъ камни, сидя при дорогѣ. Прокатилъ открытый, очень пыльный Рольсъ-Ройсъ, и откуда-то отвѣтило эхо на его гудокъ.

«Я тебя такъ люблю, — всхлипывая, говорилъ Кречмаръ. — Я тебя такъ, такъ люблю». Онъ судорожно мялъ ей руки, гладилъ ее по спинѣ, и она тихо и нѣжно посмѣивалась. Затѣмъ онъ длительно поцѣловалъ ее въ губы.

«Дай мнѣ теперь самой управлять, — попросила Магда. — Я вѣдь научилась лучше тебя».

«Нѣтъ, я боюсь, — сказала онъ, улыбаясь и вытирая слезы. — И знаешь, я по правдѣ не знаю, куда мы ѣдемъ, но вѣдь это забавно, — наугадъ».

Онъ пустилъ моторъ, тронулись снова. Ему показалось, что теперь машина идетъ свободнѣе и послушнѣе, и онъ сталъ держать руль не такъ напряженно. Излучины дороги все учащались, — съ одной стороны отвѣсно поднималась скалистая стѣна, съ другой былъ парапетъ, солнце било въ глаза, стрѣлка скорости вздрагивала и поднималась.

Приближался крутой виражъ, и Кречмаръ рѣшилъ его взять особенно лихо. Наверху высоко надъ дорогой, старуха собирала ароматныя травы и видѣла, какъ справа отъ скалы мчался къ повороту этотъ маленькій черный автомобиль, а слѣва, на неизвѣстную еще встрѣчу, двое сгорбленныхъ велосипедистовъ.

## XXIX.

Старуха, собирающая на пригоркѣ ароматныя травы, видѣла, какъ съ разныхъ сторонъ близятся къ быстрому виражу автомобиль и двое велосипедистовъ. Изъ люльки яично-желтого почтсваго дирижабля, плывущаго по голубому небу въ Тулонъ, летчикъ видѣлъ петлистое шоссе, овальную тѣнь дирижабля, скользящую по солнечнымъ склонамъ и двѣ деревни, отстоящихъ другъ отъ друга на двадцать километровъ. Быть можетъ, поднявшись достаточно высоко, можно было бы увидѣть заразъ провансальскіе холмы и, скажемъ, Берлинъ, гдѣ тоже было жарко, — вся эта щека земли, отъ Гибралтара до Стокгольма, озарялась въ этотъ день улыбкой прекрасной погоды. Берлинъ въ частности успѣшно торговалъ мороженымъ; Ир-

ма, бывало, шалѣла отъ счастья, когда уличный торговецъ близъ бѣлаго своего лотка лопаткой намазывалъ на тонкую вафлю толстый, сливочнаго отѣнка, слой, отъ котораго сладко ныли передніе зубы, и начиналъ танцевать языкъ. Аннелиза, выйдя утромъ на балконъ, замѣтила какъ разъ такого мороженника, и странно было, что онъ — весь въ бѣломъ, а она — вся въ черисмѣ. Въ то утро она проснулась съ чувствомъ сильнѣйшаго безпокойства, и теперь, стоя на балконѣ, слыхватилась, что впервые вышла изъ состоянія матоваго оцѣпенѣнія, къ которому за послѣднее время привыкла, но сама не могла понять, чѣмъ вышче такъ странно взволнована. Она вспомнила вчерашній день, совершенно обыкновенный, — дѣловитую поѣздку на кладбище, пчелъ, садящихся на цвѣты, которые она привезла, влажное поблескиваніе буксовой ограды, вѣтерокъ, тишину, мягкую зелень. «Такъ въ чемъ же дѣло? — спросила она себя. — Какъ это странно». Съ балкона былъ виденъ мороженникъ въ бѣломъ колпакѣ. Солнце ярко освѣщало крыши, — въ Берлинѣ, въ Парижѣ и дальше, на югѣ. Желтый дирижабль плылъ въ Тулонъ. Старуха собирала надъ обрывомъ ароматныя травы: рассказовъ хватить на цѣлый годъ: «Я видѣла... Я видѣла...»

### XXX.

Кречмару было неясно, кто та и какъ онъ узналъ, распредѣлялъ, осмыслилъ всѣ эти свѣдѣнія: время, которое прошло отъ виража до сихъ поръ (нѣсколько недѣль), мѣсто его теперешняго пребыванія (больница въ Ментонѣ), операція, которой онъ подвергся (трепанация черепа), причина долгаго безпамятства (кровоизліяніе въ мозгу). Настала однако опредѣленная минута, когда всѣ эти свѣдѣнія сказались собраны воедино, — онъ былъ живъ, отчетливо мыслить, знать, что поблизости Магда и французенка-сидѣлка, знать, что послѣднее время пріят-

но дремалъ и что сейчасъ проснулся... а вотъ который часъ — неизвѣстно, вѣроятно раннее утро. Лобъ и глаза еще покрывала плотная повязка, мягкая наощупь; темя же уже было открыто, и странно было трогать частыя колочки отращающихъ волосъ. Въ памяти у него, въ стеклянной памяти, глянецито переливался какъ бы цветной фотографическій снимокъ: загибъ бѣлой дороги, черно-зеленая скала слѣва, справа — синеватый парапеть, спереди — вылетѣвшіе навстрѣчу велосипедисты, — двѣ пыльных обезьяны въ красно-желтыхъ фуфайкахъ, — рѣзкій поворотъ руля, автомобиль взвился по блестящему скату щебня, и вдругъ, на одну долю мгновения, выросъ чудовищный телеграфный столбъ, мелькнула въ глазахъ растопыренная рука Магды, и волшебный фонарь мгновенно потухъ. Дополнялось это воспоминаніе тѣмъ, что вчера или третьяго дня, или еще раньше, — когда въ точности неизвѣстно, — рассказала ему Магда, вѣришь Магдинъ голосъ, — почему только голосъ? почему онъ ее такъ давно не видѣлъ по-настоящему? да, повязка, скоро вѣроятно можно будетъ снять... Что же Магдинъ голосъ рассказывалъ? «...если бы не столбъ, ми бы, знаешь, бухъ черезъ парапеть въ пропасть. Было очень страшно. У меня весь бокъ въ синякахъ до сихъ поръ. Автомобиль перевернулся, — разбить вдребезги. Онъ стоялъ все-таки двадцать тысячъ марокъ. Auto... mille, beaucoup mille marks — (обратилась она къ сидѣлкѣ) — vous comprenez? Бруно, какъ по-французски двадцать тысячъ?» «Ахъ, не все ли равно... Ты жива, ты цѣла». «Велосипедисты оказались очень милыми, г.смогли все собрать, портпледъ, знаешь, полетѣлъ въ кусты, а ракеты такъ и пропали». Отчего неприятно? Да, этотъ ужасъ въ Ружинарѣ. Онъ съ браунингомъ въ рукѣ, она входитъ — въ теннисныхъ туфляхъ... Глупости, — все разъяснилось, все хорошо... Какой часъ? Когда можно будетъ снять повязку? когда позволять встать съ постели? Слабость... Все это было должно быть въ газетахъ, въ нѣмецкихъ газетахъ.

Онъ повертѣлъ головой, досадуя на то, что завязаны глаза. Слуховыхъ впечатлѣній было набрано за это время сколько угодно, — а зрительныхъ никакихъ, — такъ что въ концѣ концовъ неизвѣстно, какъ выглядить палата, какое лицо у сидѣлки, у доктора... Который часъ? Утро? Онъ выпался, окно вѣрно открыто, ибо вотъ слышно, какъ процокали неторопливо копыта, а вотъ — шумъ воды, звонъ ведра, — тамъ должно быть, дворъ, фонтанъ, утренняя свѣжая тѣнь платановъ. Онъ лежалъ нѣкоторое время неподвижно, стараясь обращать невнятные звуки въ соответствующіе цвѣта и очертанія, и вскорѣ услышалъ звуки другіе, — голоса Магды и сидѣлки въ сосѣдней вѣроятно комнатѣ. Сидѣлка учила Магду правильно произносить: «*Soucoupe.Soucoupe*», — повторила Магда нѣсколько разъ и засмѣялась.

Неувѣренно улыбаясь, чувствуя, что онъ дѣлаетъ что-то противозаконное, Кречмаръ осторожно освободилъ и поднялъ на брови повязку, оказалось однако, что въ комнатѣ густая, бархатная темнота, — не видать даже, гдѣ окно, нѣтъ ни малѣйшей щелки свѣта. Значить, все-таки ночь, и притомъ безлунная, черная. Вотъ какъ обманываютъ звуки.

Весело звякнуло по сосѣдству блюдце. «*Café magnifique, thé pop. Moi ne pas — thé*».

Кречмаръ нащупалъ рядомъ столикъ, наткнулся на лампочку. Онъ шелкнулъ, — разъ, еще разъ, — но темнота не сдвинулась съ мѣста: штепсель вѣроятно не былъ вставленъ. Тогда онъ поискалъ пальцами, нѣтъ ли спичекъ, — и дѣйствительно нашелъ коробокъ. Въ немъ была всего одна спичка, онъ чиркнулъ ею, раздался звукъ, похожій на вспышку, но огонька не появилось. Онъ ее отбросилъ и почуялъ вдругъ легкій запахъ горѣлаго.

Странное явленіе...

«Магда, — позвалъ онъ громко, — Магда!»

Звукъ шаговъ и открывающейся двери. Но ничего не измѣнилось, — за дверью было тоже темно.

«Зажги свѣтъ, — сказалъ онъ. — Пожалуйста, свѣта».

«Не смѣй трогать повязку, Бруно! — крикнулъ голосъ Магды, стремительно и увѣренно приближаясь въ безпросвѣтномъ мракѣ. — Вѣдь докторъ сказалъ... ахъ, Господи!»

«Какъ, какъ ты меня видишь? — спросилъ онъ, заикаясь. — Я не... Моментально зажги свѣтъ. Слышишь? Моментально!»

«Тише, тише, не волнуйтесь», — заговорилъ по-французски голосъ сидѣлки.

Эти звуки, эти шаги, эти голоса двигались какъ бы въ другой плоскости. Онъ былъ самъ по себѣ, и они — сами по себѣ. И между ними и той темнотой, въ которой онъ пребывалъ, существовала какая-то плотная преграда. Онъ напрягался, пялился, теръ вѣки, вертѣлъ головой такъ и сякъ, рвался куда-то, но не было никакой возможности проткнуть эту цѣльную темноту, являющуюся какъ бы частью его самого.

«Не можетъ быть, — съ силой сказалъ Кречмаръ. — Я сойду съ ума. Открой окно, сдѣлай что-нибудь...»

«Окно открыто», — отвѣтила она тихо.

«Можетъ быть, солнца нѣтъ... Магда, можетъ быть, когда будетъ солнце, я хоть что-нибудь увижу... Хотя бы мерцаніе... Можетъ быть, очки — »

«Лежи спокойно, Бруно. Дѣло не въ солнцѣ. Тутъ свѣтло, чудное утро. Бруно, ты мнѣ дѣлаешь больно».

«Я... Я...» — судорожно набирая воздухъ, началъ Кречмаръ, и, набравъ воздуху, сталъ равномерно кричать.

### XXXI.

Сознаніе полной слѣпоты едва не довело Кречмара до помѣшательства. Раны и ссадины зажили, волосы отросли, но адовое ощущеніе плотной, черной преграды оставалось неизмѣннымъ. Послѣ припадковъ смертельнаго

ужаса, послѣ криковъ и метаній, послѣ тщетныхъ попытокъ сдернуть, сорвать что-то съ глазъ, снѣ внадалѣ въ полубоморочное состояніе, а потомъ снова начинало нарастать что-то ваическое, нестерпимое, сравнимое только съ легендарнымъ смятеніемъ человѣка, проснувагося въ могилѣ.

Мало-по-малу однако эти припадки стали рѣже, онъ часами молчалъ, неподвижно лежа на спинѣ и слушая звуки провансальскаго дня, но вдругъ онъ вспоминалъ утро въ Ружинарѣ, съ котораго все, собственно говоря, и началось, и тогда принимался стечать, вспоминая уже другое, небо, зеленые холмы, на которые онъ такъ мало, такъ мало смотрѣлъ, и опять поднималась волна могильнаго ужаса.

Еще въ менсонскомъ госпиталѣ Магда прочла ему вслухъ письмо отъ Горна изъ Парижа, такого содержанія:

«Я не знаю, Кречмаръ, чѣмъ я былъ больше ужаленъ, — тѣмъ ли оскорбленіемъ, которое Вы мнѣ нанесли Вашимъ внезапнымъ безпричиннымъ и крайне неучтивымъ отъѣздомъ, или бѣдой, приключившейся съ Вами. Несмотря на обиду, которая не позволяетъ мнѣ даже навѣстить Васъ, я, повѣрьте, всей душою скорблю за Васъ, особенно, когда вспоминю Вашу любовь къ живописи, къ роскошнымъ краскамъ и утонченнымъ оттѣнкамъ, ко всему тому, что дѣлаетъ зрѣніе божественнымъ подаркомъ свыше. Есть люди (Вы и я принадлежимъ къ ихъ числу), которые живутъ именно глазами, зрѣніемъ, — всѣ остальные чувства — только послушная свита этого короля чувствъ.

Сегодня я изъ Парижа уѣзжаю въ Англію, а оттуда — въ Нью-Йоркъ и врядъ ли скоро увидю опять родную страну. Передайте мой дружескій привѣтъ Вашей спутницѣ, отъ капризнаго нрава которой, — кто знаетъ? — быть можетъ, зависѣла Ваша, Кречмаръ, измена мнѣ, — да, ибо нравъ ся лишь по отношенію къ Вамъ отличается постоянствомъ, зато въ натурѣ у нея

есть свойство, — очень, впрочемъ, обыкновенное у женщинъ, — невольно требовать поклонения и невольно проникаться чувствомъ смутной непріязни къ мужчинамъ, равнодушному къ женскимъ чарамъ, — даже если этотъ мужчина, простосердечностью своей, уродливой наружностью и любовными вкусами смѣшонъ и противенъ ей. Повѣрьте, Кречмаръ, что, если бы Вы, пожелавъ отдѣлаться отъ моего присутствія, надобѣвшего Вамъ обомимъ, сказали мнѣ это безъ обиняковъ, я только оцѣнилъ бы Вашу прямоту, и тогда прекрасное воспоминаніе нашихъ бесѣдъ о живописи, о прозрачныхъ краскахъ великихъ мастеровъ, не было бы такъ печально омрачено тѣнью Вашего предательскаго бѣгства.

«Да, это — письмо гомосексуалиста, — сказалъ Кречмаръ. — Все равно, я радъ, что онъ отбылъ. Можетъ быть, Богъ меня наказалъ, Магда, за то, что я тебя заподозрилъ, но горе тебѣ, если — »

«Если что, Бруно? Пожалуйста, пожалуйста, договаривай!»

«Нѣтъ, ничего. Я вѣрю тебѣ. Ахъ, я вѣрю тебѣ».

Онъ помолчалъ и вдругъ сталъ издавать тотъ глухой звукъ, полустонъ, полумычаніе, которымъ у него всегда начинался приступъ ужаса передъ стѣной темноты.

«Прозрачныя краски, — повторилъ онъ нѣсколько разъ нутряннымъ, дрожащимъ голосомъ. — Да, да, прозрачныя краски!»

Когда онъ успокоился, Магда сказала, что пойдетъ обѣдать, поцѣловала его въ щеку и быстро засѣменила по тѣневой сторонѣ улицы. Она вошла въ маленькій прохладный ресторанный залъ за мраморный столикъ въ глубинѣ. За сосѣднимъ столикомъ сидѣлъ Горнъ и пилъ бѣлое вино. «Пересядь ко мнѣ, — сказалъ онъ. — Какая ты стала трусиха!»

«Замѣтятъ и донесутъ», — отвѣтила она опасно, но все же пересѣла къ нему.

«Пустяки. Кому какое дѣло? Ну, что онъ сказалъ на письмо? Правда, составлено великолѣпно?»

«Да, все хорошо. Въ среду мы ѣдемъ въ Цюрихъ къ специалисту. Ты возьми, пожалуйста, три спальныхъ мѣста. Только себѣ ты возьми въ другомъ вагонѣ, — какъ-никакъ безопаснѣе».

«Даромъ не дадутъ», — лѣниво процѣдилъ Горнъ.

«Бѣдный мой», — пѣжно усмѣхнулась Магда. И вынула пачку денегъ изъ своей сумочки.

### XXXII.

Хотя Кречмаръ уже нѣсколько разъ (глубокой ночью, полной дневныхъ звуковъ) выходилъ на прогулку въ небольшой садъ госпиталя, къ путешествію въ Цюрихъ онъ оказался мало подготовленнымъ. На вокзалѣ у него закружилась голова, — и ничего нѣтъ страннѣе и безвыходнѣе, чѣмъ когда у слѣплого головокруженіе, — онъ шалѣлъ отъ множества звуковъ вокругъ него, шаговъ, голосовъ, стуковъ, отъ боязни наткнуться на что-нибудь, даромъ что вела его Магда. Въ поѣздѣ его поташнивало оттого, что онъ никакъ не могъ мысленно отождествить вагонную тряску съ поступательнымъ движеніемъ экспресса, — какъ бы онъ мучительно ни напрягалъ воображеніе, стараясь представить себѣ пробѣгающій ландшафтъ. Еще было хуже, когда оказались въ Цюрихѣ, и приходилось куда-то двигаться среди невидимыхъ людей и несуществующихъ, но постоянно чусмыхъ имъ перекладинъ, перегородокъ, выпирающихъ угловъ. «Не бойся, не бойся», — говорила Магда съ раздраженіемъ, — «я тебя веду. Вотъ теперь стопъ. Сейчасъ сядемъ въ автомобиль. Да чего ты боишься, въ самомъ дѣлѣ, — прямо, какъ маленькій».

Профессоръ, званіи считавшій огулъ, долго, при помощи особаго зеркала, осматривалъ дно его глаза, и, судя по жирному и маленькому его голосу, Кречмаръ пред-

ставилъ его себѣ карапузистымъ старичкомъ, хотя въ дѣйствительности профессоръ былъ очень худъ и молоджавъ. Онъ повторилъ то, что Кречмаръ отчасти уже зналъ, — что вслѣдствіе кровоизліянія произошло сдавленіе глазныхъ нервовъ какъ разъ тамъ, гдѣ они скрещиваются въ мозгу, — быть можетъ разсосется, быть можетъ наступитъ полная атрофія и т. д., и т. д., но во всякомъ случаѣ общее состояніе Кречмара таково, что сейчасъ наиболѣе важнымъ является совершенный для него покой, слѣдуетъ пожить два-три мѣсяца уединенно и тихо, лучше всего гдѣ-нибудь въ горахъ, а затѣмъ, сказалъ профессоръ, затѣмъ — будетъ видно...

«Будетъ видно?» — повторилъ за нимъ Кречмаръ съ угрюмой усмѣшкой (какой каламбуръ).

Магда, оставивъ его одного въ номерѣ гостиницы, поспѣшила нѣсколько конторъ, ей дали адреса; посоветовавшись съ Горномъ, она выбрала мѣсто и поѣхала, съ Горнемъ же, посмотрѣть на сдаваемое тамъ шале. Это оказалась двухэтажная дачка, съ чистыми комнатками, ко всѣмъ дверямъ были придѣланы чашечки для святой воды. Дачка принадлежала нелюдимой ирландской четѣ, уѣхавшей на лѣто въ Норвегію, и сдавалась недешево. Горнъ оцѣнилъ ея расположеніе, — на юру, среди сльника, въ сторонѣ отъ деревни, -- и, намѣтивъ для себя самую солнечную комнату въ верхнемъ этажѣ, велѣлъ Магдѣ домишко снять. Затѣмъ, въ деревнѣ, они наняли кухарку. Горнъ съ ней поговорилъ очень внушительно. Онъ сказалъ: «Высокое жалованіе, которое вамъ предлагается, объясняется тѣмъ, что вы будете служить у человѣка, страдающаго слѣпотою на почвѣ душевнаго расстройства. Я — врачъ, приставленный къ нему, — но въ виду тяжелаго его состоянія, онъ разумѣется не долженъ знать, что, кромѣ его племянницы, живетъ при немъ докторъ. Посему, тетушка, ежели вы, хотя бы косвенно, хотя бы нѣжнѣйшимъ шопоткомъ, хотя бы въ разговорѣ вотъ, скажемъ, съ барышней на кухнѣ, упомянете вслухъ о моемъ

пробываніи въ домѣ, — вы будете отвѣтственны передъ закономъ за нарушеніе образа леченія, установленнаго врачомъ, — это карается въ Швейцаріи довольно, кажется, строго. Вдобавокъ, я не совѣтую вамъ входить въ комнату къ моему пациенту или вообще вести съ нимъ какіе-либо разговоры: на него находятъ припадки бѣшенства, онъ уже одну старушку совершенно замаялъ и растопталъ, и я бы не желалъ, чтобы это повторилось. А главное, — когда будете болтать на базарѣ, помните, что, если вслѣдствіе разбуженнаго вами любопытства, къ намъ станутъ шляться мѣстные обыватели, мой пациентъ, при нынѣшнемъ его состояніи, можетъ разнести домъ. Поняли?»

Старуху онъ такъ занугалъ, что она едва не отказалась отъ выгоднаго мѣста и согласилась только тогда, когда Горнъ завѣрилъ ее, что слѣпного безумца она видѣть не будетъ, что онъ тихъ, если его не раздражать и находится постоянно подъ наблюденіемъ племянницы и врача.

Первымъ вѣхалъ Горнъ. Онъ перевезъ весь багажъ, опредѣлилъ, кто гдѣ будетъ жить, распорядился вынести ненужныя ломкія вещи, и, когда все было устроено, поднялся къ себѣ въ комнату и, музыкально пошвыстывая, сталъ прибивать кнопками къ стѣнѣ кое-какіе рисунки перомъ довольно непристойнаго свойства — эскизы къ иллюстраціямъ, заказаннымъ ему еще въ Берлинѣ художественно-порнографическимъ издательствомъ. Около пяти онъ увидѣлъ въ бинокль, какъ подъѣзжаетъ далеко внизу наемный автомобиль, оттуда, въ ярко-красномъ джамперѣ, выскочила Магда, помогла выйти Кречмару, онъ былъ въ темныхъ очкахъ и походилъ на сову. Автомобиль попятился, рванулся опять впередъ и скрылся за поворотомъ. Магда взяла Кречмара подруку, и онъ, вода передъ собой палкой, двинулся вверхъ по тропинкѣ. На нѣкоторое время ихъ скрыла еловая хвоя, вотъ мелькнули опять, опять скрылись, и вотъ наконецъ появились на площадкѣ сада, гдѣ мрачная, но уже всей душой преданная Горну кухарка опасно вышла къ нимъ навстрѣчу и,

стараясь не глядѣть на безумца, взяла изъ руки Магды вѣсесерь.

Горнъ межъ тѣмъ, свѣсившись изъ верхняго окна, дѣлалъ Магдѣ смѣшные знаки привѣтствія, прижимая ладонь къ груди, — деревянно раскидывалъ руки и кланялся, какъ Петрушка, — все это продѣлывалось, конечно, совершенно безмолвно. Магда снизу улыбнулась ему и, подругу съ Кречмаромъ, вошла въ домъ.

«Поведи меня по вѣмъ комнатамъ и все рассказывай», — произнесъ Кречмаръ. Ему было все равно, но онъ думалъ этимъ доставить ей удовольствіе, — она любила новоселье.

«Маленькая столовая, маленькая гостиная, маленький кабинетъ, — объясняла Магда,водя его по комнатамъ нижняго этажа. Кречмаръ трогалъ мебель, оцупывалъ предметы, старался ориентироваться.

«Окно, значитъ, тамъ, — говорилъ онъ, доврчиво показывая пальцемъ на сплошную стѣну. Онъ больно ударился ляжкой о край стола и сдѣлалъ видъ, что это онъ нарочно, — забродилъ ладонями по столу, будто устанавливая его размѣръ.

Потомъ они вдвоемъ пошли вверхъ по деревянной скрипучей лѣстницѣ, и наверху, на послѣдней ступенькѣ, сидѣлъ Горнъ и тихо трясся отъ беззвучнаго смѣха. Магда погрозила ему пальцемъ, онъ осторожно всталъ и отступилъ на цыпочкахъ: ненужная мѣра, ибо лѣстница оглушительно стрѣляла подъ тяжелыми шагами слѣпца.

Вошли въ корридоръ; Горнъ, стоя въ глубинѣ у своей двери, показалъ на эту дверь, и Магда кивнула. Онъ нѣсколько разъ присѣлъ, зажимая ладонью ротъ. Магда сердито тряхнула головой, — опасныя игры, онъ на радостяхъ паясничалъ, какъ мальчишка. «Вотъ твоя спальня, а вотъ — моя», — говорила она, открывая поочередно двери. «Почему не вмѣстѣ?» — съ грустью спросилъ Кречмаръ. «Ахъ, Бруно, ты знаешь, что оказалъ профессоръ...»  
Послѣ того, какъ они всюду побывали (кромѣ комнаты

Горна), онъ захотѣлъ опять, въ обратномъ порядкѣ, уже безъ ея помощи, обойти домъ, чтобы доказать ей, какъ она ясно все объясвила, какъ онъ все ясно усвоилъ. Однако онъ сразу запутался, тѣкался въ стѣны, виновато улыбался, чуть не разбилъ умывальной чашки. Ткнулся онъ и въ угловую комнату (гдѣ устроился Горнъ), входъ туда былъ только изъ корридора, но онъ уже совершенно заплуталъ и думалъ, что выходитъ изъ своей спальни. «Твоя комнатка?» — спросилъ онъ, нащупывая дверь. «Нѣтъ, нѣтъ, тутъ чуланъ, — сказала Магда. — Ты, ради Бога, запомни, а то голову себѣ разобьешь. И вообще, я не знаю, хорошо ли тебѣ такъ много ходить, — ты же думай, что я позволю тебѣ всегда путешествовать такъ, — это только сегодня...»

Впрочемъ, онъ самъ чувствовалъ уже изнеможеніе. Магда уложила его. Когда онъ уснулъ, она перешла къ Горну. Еще не изучивъ акустики дома, они говорили шопотомъ, но могли бы говорить громко: оттуда до спальни Кречмара было достаточно далеко.

### XXXIII.

.....

### XXXIV.

Зегелькранцъ ошибался, думая, что Кречмаръ, коли еще живъ, вспоминаетъ о немъ съ отвращеніемъ и ненавистью. Кречмаръ не вспоминалъ его вовсе, ибо запрещалъ себѣ возвращаться къ той нестерпимой минутѣ изумленія, гибели, смертельной тоски, — тамъ, на тѣнистомъ холму, у журчащаго источника... Плотный бархатный мѣшокъ, въ которомъ онъ теперь существовалъ, давалъ нѣкій строгій, даже благородный строй его мыслямъ и чувствамъ. Гладкимъ покровомъ тьмы онъ былъ отдѣленъ

отъ недавней очаровательной, мучительной, ярко-красочной жизни, прервавшейся на головокружительномъ виражѣ. Питаясь воспоминаніями о ней, онъ словно перебиралъ миниатюры: Магда въ узорномъ передникѣ, приподнимающая портьеру, Магда подъ блестящимъ зонтикомъ, проходящая по малиновымъ лужамъ, Магда, стоящая голою передъ зеркаломъ и грызущая желтую булочку, Магда въ лоснящемся трико или въ переливчатомъ бальномъ платьѣ, съ загорѣлыми оранжевыми руками. Затѣмъ онъ думалъ о женѣ, и вся эта пора жизни съ Аннелизой пропитана была нѣжнымъ блѣднымъ свѣтомъ, и только изрѣдка въ этомъ молочномъ туманѣ что-то вспыхивало на мигъ, — бѣлокурая прядь волосъ при свѣтѣ лампы, бликъ на рамѣ картины, стеклянный шарикъ, которымъ играла дочь, — и снова — опаловый туманъ, и въ немъ — тихія, какъ бы плавательныя движенія Аннелизы. Все, даже самое грустное и стыдное въ прошлой жизни, было прикрыто обманчивой прелестью красокъ, его душа жила тогда въ постоянномъ цвѣтномъ возбужденіи, ходила въ перламутровыхъ шорахъ, онъ не видѣлъ тѣхъ пропастей, которыя открылись ему теперь. Да и полно, умѣлъ ли онъ до конца пользоваться даромъ остраго зрѣнія. Онъ съ ужасомъ замѣчалъ теперь, что вообразивъ, скажемъ, пейзажъ, среди котораго однажды пожилъ, онъ не умѣетъ назвать ни одного растенія, кромѣ дуба и розы, ни одной птицы, кромѣ вороны и воробья. Кречмаръ теперь понималъ, что онъ въ сущности ничѣмъ не отличался отъ тѣхъ узкихъ специалистовъ, которыхъ нѣкогда такъ презиралъ, отъ рабочаго, знающаго только свою машину, отъ виртуоза, ставшаго лишь придаткомъ къ музыкальному инструменту. Специальностью Кречмара было въ концѣ концовъ живописное любострастіе. Лучшей его находкой была Магда. А теперь отъ Магды остался только голосъ, да шелестъ, да запахъ духовъ, — она какъ бы вернулась въ ту темноту (темноту маленькаго кинематографа), изъ которой онъ ее когда-то извлекъ.

Не всегда впрочемъ Кречмаръ могъ угѣшаться нравственными разсужденіями, не всегда удавалось ему себя убѣдить, что физическая слѣпота есть въ нѣкоторомъ смыслѣ духовное прозрѣніе. Напрасно онъ обманывалъ себя тѣмъ, что нынѣ его жизнь съ Магдой счастливѣе, глубже и чище, напрасно думалъ о ея трогательной преданности. Конечно, это было трогательно, конечно, она была лучше самой вѣрной жены, эта незримая Магда, этотъ ангельскій холодокъ, этотъ голось, уговаривающій его не волноваться... Но какъ только онъ ловилъ въ кромѣшной тѣмѣ мимолетную пугливую руку и старался выразить свою благодарность, въ немъ сразу просыпалась такая жажда ее узрѣть, что всякая мораль летѣла къ чорту, онъ чувствовалъ, какъ надвигается безуміе, лицо его дергалось, онъ мучительно пытался родить свѣтъ. Подъ предлогомъ, что всякое волненіе ему вредно, Магда рѣшительно запрещала ему трогать ее, но иногда ему удавалось ее схватить, и тогда онъ оцупывалъ ея голову и тѣло, стараясь увидѣть ее черезъ осязаніе и все равно не видя ничего. Горнъ, который очень любилъ сидѣть съ нимъ въ одной комнатѣ, жадно слѣдилъ за его движеніями. Магда упиралась слѣпому въ грудь, поднимала глаза къ небу, съ комической резиньяціей, или показывала Кречмару языкъ, что было особенно, конечно, смѣшно по сравненію съ выраженіемъ безысходной нежности на лицѣ слѣпого. Магда ловкимъ поворотомъ вырывалась и отходила къ Горну, который сидѣлъ на подоконникѣ, босой, въ бѣлыхъ штанахъ и по поясъ голый, — ему нравилось жить спиной на солнцѣ. Кречмаръ полулежалъ въ креслѣ, одѣтый въ пижаму и халатъ; его лицо обросло жесткимъ курчавымъ волосомъ, и ярко розовѣлъ на вискѣ шрамъ, — онъ походилъ на бородатаго арестанта. «Магда, вернись», — умоляюще говорилъ онъ, протягивая руку. «Тебѣ вредно, тебѣ вредно», — равнодушно отвѣчала она, поглаживая Горна по его длинной и мохнатой спинѣ. Кречмаръ не унимался, дергался, яростно протиравъ гла-

за. «Я хочу тебя, — говорилъ онъ. — Гораздо вреднѣе, что вотъ уже два мѣсяца мы не...» (тутъ слѣдоваль само-дѣльный, такъ сказать, глаголь, домашній, ласкательный, изъ ихъ любовнаго лексикона). Горнъ подмигиваль Магдѣ. Она многозначительно улыбалась, стуча себя пальцемъ по лбу. Кречмаръ продолжалъ ее звать, словно теревь на току. Порою Горнъ, любившій рискъ, подходилъ босикомъ на цыпочкахъ и очень легко дотрагивался до него, — и Кречмаръ издаваль мурлыкающій звукъ, хотѣль обнять мнимую Магду, но Горнъ, беззвучно отойдя, уже опять сидѣль на подоконникѣ и грѣль спину. «Мое счастье, умоляю», — задыхался Кречмаръ и вставаль съ кресла и шель на нее, — Горнъ на подоконникѣ поджималь ноги, Магда сердилась, кричала на Кречмара, кричала, что тотчасъ удегъ, бросить его, если онъ не будетъ слушаться, и онъ, съ виноватой усмѣшкой, пробирался обратно къ своему креслу. «Ладно, ладно, — вздыхаль онъ. — Почитай мнѣ что-нибудь, — газету, что-ли». Она опять поднимала глаза къ небу.

Горнъ осторожно пересаживался на диванъ, браль Магду къ себѣ на колѣни, она разворачивала газету и читала вслухъ, и Кречмаръ сокрушенно киваль, медленно поѣдая невидимыя вишни, выплевывая въ ладонь невидимыя косточки. Картина получалась чрезвычайно мирная. Горнъ смѣшилъ Магду, вытягивая и опять вбирая губы въ подражаніе ея манерѣ читать или дѣлалъ видъ, что сейчасъ уронить ее, и у нея срывался голось.

«Да, можетъ быть все это къ лучшему, — думаль Кречмаръ. — Наша любовь теперь строже и тише и одухотвореннѣе. Если она не бросаетъ меня, значитъ дѣйствительно любить. Это хорошо, это хорошо». И вдругъ ни съ того, ни съ сего онъ начиналь громко рыдать, рваль мракъ руками, умоляль, чтобы его повезли къ другому профессору, къ третьему, къ четвертому, только бы прозрѣть, все, что угодно, операцию, пытку, прозрѣть... Горнъ, по-

зѣвая, бралъ изъ вазы на столѣ пригоршню вишенъ и отправлялся въ садъ.

Въ первое время совместнаго житья, онъ и Магда были очень осмотрительны, хотя и позволяли себѣ всякія невинныя шутки. Онъ ходилъ либо босикомъ, либо въ войлочныхъ туфляхъ. Передъ дверью своей комнаты, въ корридорѣ, онъ на всякій случай устроилъ баррикаду изъ ящичковъ и сундуковъ, черезъ которую Магда по ночамъ перелѣзала. Кречмаръ, впрочемъ, послѣ перваго обхода дома, пересталъ интересоваться расположеніемъ комнатъ; зато спальню свою и кабинетъ изучилъ досконально, Магда описала ему всѣ краски тамъ, — синіе обои, желтый абажуръ, — но, по наущенію Горна, нарочно всѣ цвѣта измѣнила: Горну казалось весело, что слѣпой будетъ представлять себѣ свой мірокъ въ тѣхъ краскахъ, которыя онъ, Горнъ, продиктуетъ. Въ своихъ комнатахъ у Кречмара почти было ощущеніе, что онъ видитъ мебель и предметы, и онъ чувствовалъ сохранность, безопасность. Когда же онъ изрѣдка сиживалъ въ саду, то кругомъ была невѣдомая бездна, ибо все было слишкомъ велико, воздушно и многошумно, чтобы можно было описать.

Онъ старался научиться жить слухомъ, угадывать движенія по звукамъ, и вскорѣ Горну стало затруднительно незамѣтно входить и выходить; какъ бы беззвучно ни открывалась дверь, Кречмаръ сразу поворачивался въ ту сторону и спрашивалъ: «Это ты, Магда?» А затѣмъ сердился на нерасторопность своего слуха, когда Магда отвѣчала ему изъ другого угла. Проходили дни, и чѣмъ острѣе онъ напрягалъ слухъ, тѣмъ неосторожнѣе становились Горнъ и Магда, привыкая къ невидимости своей любви. вмѣсто того, чтобы, какъ прежде, обѣдать на кухнѣ подѣ обожающимъ взглядомъ старой Эмилиі, Горнъ преспокойно садился съ Магдой и Кречмаромъ за столъ и ѣлъ съ виртуозной беззвучностью, не прикасаясь металломъ къ фарфору и пользуясь нарочито громкимъ разговоромъ Магды, чтобы жевать и глотать. Однажды онъ поперхнулъ

ся. Кречмаръ, надъ которымъ наклонялась Магда, наливая ему въ чашку кофе, вдругъ услышалъ въ концѣ овальнаго стола странный звукъ, — какъ будто шумное человѣческое придыханіе. Магда поспѣшно затараторила, но онъ прервалъ ее: «Что это было? Что это было?» Горнъ межъ тѣмъ взялъ свою тарелку и на цыпочкахъ удалился; однако, проходя въ полуоткрытую дверь, уронилъ вилку. «Что это такое? Кто тамъ?» — повторилъ Кречмаръ. «Ахъ, это Эмилія. Чего ты волнуешься?» «Но вѣдь она сюда никогда не входитъ...» «А сегодня вошла». «Я думаю, что у меня начинаются слуховыя галлюцинаціи, — сказала Кречмаръ виновато. — Вчера, напримѣръ, мнѣ показалось, что кто-то босикомъ шлепаегъ по коридору». «Такъ можно и съ ума сойти», — сухо произнесла Магда.

Днемъ она уходила на часокъ гулять вмѣстѣ съ Горнмъ. Шли на почтамтъ за газетами или поднимались къ водопаду. Какъ то они возвращались домой, поднимались уже по крутой тропинкѣ, ведущей къ шалѣ, и Горнъ говорилъ: «Я совѣтую тебѣ не приставать къ нему съ бракомъ. Увѣряю тебя, тѣмъ самымъ, что онъ броситъ жену, онъ причислитъ ее къ лику святыхъ и не дастъ ее въ обиду. Гораздо проще и милѣе выйдетъ, если тебѣ удастся постепенно забрать въ свои руки, хотя бы половину его капитала».

«Деньги, большія деньги», — задумчиво сказала Магда.

«Да, это должно выгорѣть, — продолжалъ Горнъ. — Съ чеками у насъ пока выходитъ отлично. Онъ подписываетъ, какъ машина. Но не слѣдуетъ слишкомъ этимъ злоупотреблять. Дай Богъ, къ зимѣ можно будетъ бросить его. Передъ тѣмъ купимъ ему собаку, — маленькій знакъ вниманія».

«Тише ты, — сказала Магда. — Вотъ уже камень».

Этотъ камень, большой сѣрый камень, похожій на овалу, и поросшій съ краю вьюномъ, отмѣчалъ тотъ предѣлъ, послѣ котораго опасно было громко разговаривать. Они пошли молча и черезъ нѣсколько минутъ уже подходили

къ саду. Магда вдругъ засмѣялась, указывая на бѣлку. Горнѣ швырнулъ въ нее палой, но не попалъ. «Они, говорятъ, страшно портятъ деревья», — сказала Магда тихо. «Кто портитъ деревья?» — громко спросилъ голосъ Кречмара.

Онѣ стоялъ среди кустовъ на каменныхъ ступенькахъ тамъ, гдѣ тропинка переходила въ садовую площадку. «Магда, съ кѣмъ ты тамъ говоришь?» — продолжалъ онѣ, и вдругъ остуился, и тяжѣло сѣлъ, выронивъ трость. «Какъ ты смѣешь такъ далеко заходить?» — воскликнула она и грубовато помогла ему подняться; зернышки гравія впились ему въ ладони, онѣ топырилъ пальцы и отдувался. «Я старалась поймать бѣлку, — объяснила Магда. — А ты что думалъ?» «Мнѣ казалось, — началъ Кречмаръ. — Кто тутъ! — вдругъ отрывисто крикнулъ онѣ, повернувшись въ сторону Горна, который осторожно шелъ по травѣ. «Никого нѣтъ, я одна, чего ты бѣсишься!» — забормотала Магда и, не выдержавъ, хлопнула Кречмара по рукѣ. «Поведи меня домой, — сказалъ онѣ, чуть не плача. — Тутъ такъ шумно, деревья, вѣтеръ, бѣлки. Я не знаю, что кругомъ происходитъ... Такъ шумно».

«Я буду теперь запирать тебя», — проговорила она, раздраженно его подталкивая.

Подошелъ вечеръ, обыкновенный вечеръ. Магда и Горнѣ лежали рядышкомъ на диванѣ и курили, а въ двухъ саженьяхъ отъ нихъ Кречмаръ, неподвижный, какъ сова, сидѣлъ въ кожаномъ креслѣ, уставившись на нихъ неподвижными, мутно-голубыми глазами. Магда, по его просьбѣ, рассказывала ему все дѣтство. Онѣ рано пошелъ спать, долго поднимался по лѣстницѣ, стараясь установить подошвой и тростью индивидуальность каждой ступени. Среди ночи онѣ проснулся, нащупалъ на голомъ циферблатѣ дешеваго будильника стрѣлки: было половина второго. Странное безпокойство. Что-то все мѣшало ему послѣднее время сосредоточить умъ на тѣхъ важныхъ, хорошихъ мысляхъ, которыя однѣ помогали бороться съ

ужасомъ слѣпоты. Онъ лежалъ и думалъ: «Въ чемъ дѣло? Ангелиза? Нѣтъ, она далеко. Она на самой глубинѣ его слѣпоты, милая, блѣдная, грустная тѣнь, которую нельзя тревожить. Магдины запреты? И это не то. Вѣдь это временно. Ему дѣйствительно вредно. Да и слѣдуетъ научиться чисто и духовно относиться къ Магдѣ. Ей тоже, бѣдненькой, вѣроятно не легко отказывать... Въ чемъ же дѣло?»

Онъ сползъ съ постели и постоялъ у двери Магды. Она запиралась на ключъ, и, такъ какъ былъ только одинъ выходъ въ коридоръ, черезъ ея комнату, то онъ былъ у себя запертъ. «Какая она у меня умница», — подумалъ онъ нѣжно и приложилъ ухо къ двери, чтобы послушать, какъ она дышитъ во снѣ, но ничего не услышалъ. «Тихая, какъ мышка, — прошепталъ онъ. — Вотъ бы ее сейчасъ погладить по головѣ и сразу уйти». Она могла забыть запереться. Безъ особой надежды онъ нажалъ. Нѣтъ, она не забыла.

Онъ вдругъ вспомнилъ, какъ отрокомъ въ душную лѣтнюю ночь, въ чьей-то усадьбѣ на Рейнѣ, онъ перелѣзъ въ комнату къ горничной (которая, впрочемъ, дала ему затрещину и выгнала его) по карнизу, — но тогда онъ былъ легокъ, ловокъ и зрячъ. «А почему бы не попробовать?» — подумалъ онъ съ меланхолическимъ озорствомъ. — «Ну, разобьюсь. Не все ли равно?» Онъ нашелъ свою трость и, высунувшись въ окно, повелъ ею по широкому карнизу, потомъ вбокъ и вверхъ, къ сосѣднему окну. Чуть звякнуло стекло отворенной рамы. «Какъ она крѣпко спитъ, устааетъ за день, возится со мной». Втягивая обратно трость, онъ зацѣпилъ за что-то, трость выскользнула и съ мягкимъ стукомъ упала, законъ притяженія, а въ общемъ можно предположить, что окно не на второмъ этажѣ, а на первомъ. Держась за подоконникъ, онъ перелѣзъ на карнизъ, нащупалъ рядомъ водосточную трубу, переступилъ черезъ ея холодное желѣзное колѣно и сразу схватился за слѣдующій подоконникъ. «Какъ просто!» —

подумаль онъ, не безъ гордости. «Ку-ку, Магда», — тихо сказалъ онъ, уже собираясь вползти въ открытое окно. Онъ поскользнулся и чуть не упаль въ подразумеваемый садъ. Сильно забилось сердце. Переваливъ черезъ подоконникъ, онъ толкнулъ что-то, трескъ, бухнулъ на полъ плотный предметъ, вѣроятно книга. Кречмаръ остановился. Капли пота шекотали лицо, къ ладони пристало что-то липкое, — древесный клей, выступающій отъ жары, домъ — основый. «Магда, а, Магда?» — сказалъ онъ, улыбаясь. Тишина. Онъ нашель постель, она была дѣвственно прикрыта чѣмъ-то кружевнымъ.

Кречмаръ сѣлъ на постель и сталъ соображать. Если постель была бы открытая, теплая, то тогда понятно, — животикъ заболѣлъ, она сейчасъ вернется. «Подождемъ, все-таки», — пробормоталь онъ. Погодя онъ вышелъ въ коридоръ, и прислушался. Ему показалось, что гдѣ-то, очень далеко, раздается тихій, ноющій звукъ, — не то скрипъ, не то шорохъ. Ему стало почему-то страшно, онъ громко крикнулъ: «Магда, гдѣ ты?» Вопросительная тишина. Затѣмъ гдѣ-то стукнуло. «Магда, Магда!» — повториль онъ и двинулся по коридору. «Да-да, я здѣсь», — раздался ея спокойный голосъ. «Что случилось, Магда? Почему ты до сихъ поръ не легла?» Она столкнулась съ нимъ, — въ коридорѣ было темно, — и на мгновение коснувшись ея, онъ почувствовалъ, что она горячая. «Я лежала на солнцѣ, — сказала она. — Какъ всегда по утрамъ». «Сейчасъ ночь, — выговориль онъ съ трудомъ. — Я не понимаю, Магда, Тутъ что-то не то. Сейчасъ ночь. Я нащупалъ стрѣлки. Сейчасъ половина второго». «Глупости. Сейчасъ шесть часовъ и чудное солнце. Будильникъ твой испорченъ. Слишкомъ часто трогаетъ стрѣлки. Но позволь, — какъ ты выбрался сюда?» «Магда, это правда, что утро? Это правда?» Она вдругъ подошла къ нему вплотную и обвила, какъ встарь, его шею. «Хотя и утро, — сказала она тихо, — но, если ты хочешь, если ты хочешь, Бруно, въ видѣ большого исключенія...

Это былъ для нея трудный шагъ, но единственный правильный. Кречмаръ не успѣлъ обратить вниманіе на сырость воздуха, на то, что птицы еще не поютъ. Было только одно, — свирѣпое, восхитительное наслажденіе, послѣ котораго онъ сразу уснулъ и спалъ до полудня, — до настоящаго полудня. Когда онъ проснулся, Магда выругала его за героическій переходъ изъ окна въ окно, еще пуще разсердилась, увидя его грустную улыбку и ударила его по щекѣ.

Днемъ онъ сидѣлъ въ гостиной и вспоминалъ, какое это было счастье утромъ и гадаль, черезъ сколько дней оно повторится. Вдругъ онъ явственно услышалъ, какъ кто-то коротко откашлялся, — это не могла быть Магда, — она была въ саду. «Кто тутъ?» — спросилъ онъ. Никто не отвѣтилъ. «Опять галлюцинація», — тревожно подумалъ Кречмаръ и вдругъ понялъ, что именно его такъ тревожило ночью, — да-да, вотъ эти странные звуки, которые онъ иногда слышитъ, шорохъ, дыханіе, легкіе шаги.

«Скажи, Магда, — обратился онъ къ ней, когда она вернулась, — тутъ никого не бываетъ въ домѣ, кромѣ Эмилиі? Ты увѣрена?» «Дуракъ», — замѣтила она лаконично.

Но однажды осознанная мысль уже больше не давала ему покоя. Онъ помрачнѣлъ, сидѣлъ весь день на одномъ мѣстѣ, прислушиваясь. Горна это забавляло чрезвычайно и, несмотря на то, что Магда умоляла его быть осторожнымъ, онъ настолько мало стѣснялся, что разъ, напри- мѣръ, сидя въ двухъ саженьяхъ отъ Кречмара, очень искусно сталъ по-птичьи посвистывать, и Магда принуждена была Кречмару объяснять, что птичка съѣла на подоконникъ и поетъ. «Прогони ее», — хмуро сказалъ Кречмаръ. «Кышъ, кышъ», — произнесла Магда, прикладывая ладони къ выпученнымъ губамъ Горна.

«Знаешь что? — черезъ нѣсколько дней сказалъ Кречмаръ, — мнѣ бы хотѣлось какъ-нибудь покалякать съ этой Эмилией».

«Лишнее, — отвѣтила Магда. — Она абсолютная дура и страшно боится тебя».

Минуты двѣ Кречмаръ о чемъ-то напряженно думалъ.

«Не можетъ быть», — проговорилъ онъ тихо и раздѣльно.

«Что, Бруно, не можетъ быть?»

«Ахъ, пустыя мысли, — отвѣтилъ онъ утрюмо, — пустыя мысли».

«Вотъ что, Магда, — проговорилъ онъ минуту спустя, — я ужасно обрость, вели парикмахеру придти изъ деревни».

«Лишнее, — сказала Магда. — Тебѣ очень идетъ борода».

Кречмару показалось, что кто-то, не Магда, а какъ бы около Магды, гнусаво усмѣхнулся.

### XXXV.

Максъ, вернувшись домой, съ напускной веселостью предложилъ Аннелизѣ выйти пройтись, былъ теплый солнечный вечеръ, на балконахъ сидѣли мужчины въ жилетахъ, въ небѣ порой раздавалось жужжаніе аэроплана. «Мнѣ вѣроятно придется на-дняхъ уѣхать, — сказалъ Максъ. — По дѣлу». Она посмотрѣла точь-въ-точь тѣмъ же взглядомъ, какъ нѣкогда, когда онъ съ Ирмой вернулся изъ Спортъ-Паласа, и, вспомнивъ это, Максъ отвелъ глаза. Они молча прошли до конца улицы. «Да, это нужно», — вдругъ произнесла Аннелиза. Максъ откашлялся. Они молча вернулись по той же сторонѣ улицы. На слѣдующій день онъ выѣхалъ въ Цюрихъ. Тамъ онъ сѣлъ въ автомобиль и черезъ часъ съ небольшимъ оказался въ деревнѣ, недалеко отъ которой жилъ Кречмаръ. Онъ остановился у почтамта, и служащая — очень словоохот-

дивая дѣвица, объяснила, какъ доѣхать до шале, и добавила, что Кречмаръ живетъ съ племянницей и докторомъ. Максъ немедленно покатилъ дальше. Онъ понималъ, что это за племянница, но присутствіе доктора его удивило, это доказывало, что Кречмаръ окруженъ нѣкоторой заботой. «Можетъ быть я зря ѣду, — подумалъ Максъ, — можетъ быть, онъ вполне доволенъ Нѣтъ, разъ ужъ я тутъ... Она считаетъ, что такъ нужно. Приѣду, поговорю съ этимъ докторомъ. Несчастный, безвольный человѣкъ, погибшая жизнь, кто могъ предвидѣть...»

Магда въ то утро вмѣстѣ съ Эмилией была въ деревнѣ по хозяйственнымъ дѣламъ (надо было, напримѣръ, хорошенько выругать прачку за розовые подтеки на бѣломъ джамперѣ). Автомобиль Макса она однако проглядила, но зато, зайдя на почтамтъ за газетами, узнала, что только что полный господинъ справлялся о Кречмарѣ и поѣхалъ къ нему.

Въ это время въ маленькой гостиной, освѣщенной солнцемъ черезъ стеклянную дверь на веранду, сидѣли другъ противъ друга Кречмаръ и Горнъ. Горнъ нарочно оставался теперь дома, такъ какъ желалъ сполна насладиться послѣдними днями этого чрезвычайно забавнаго житія. Было рѣшено черезъ недѣлю ѣхать въ Берлинъ, и уже тамъ нельзя было рассчитывать на такое увеселеше, — слишкомъ рисковано. Горнъ сидѣлъ на складномъ стульчикѣ, совершенно голый. Отъ ежедневныхъ солнечныхъ ваннъ въ саду или на крышѣ, (гдѣ онъ, нѣжно вой, изображалъ золоту арфу), его худощавое, но сильное тѣло съ черной шерстью въ формѣ распростертаго орла на груди было кофейно-желтаго цвѣта. Ногти на ногахъ были грязны и зазубрены. Недавно онъ облилъ голову подъ краномъ на кухнѣ, такъ что темные его волосы лежали плоско и лоснились. Въ красныхъ выпученныхъ губахъ онъ держалъ длинный стебелекъ травы и, скрестивъ мохнатая ноги, и подперевъ подбородокъ рукой, на кисти которой горѣлъ Магдинъ браслетъ, онъ не спускалъ глазъ съ лица Кречмара, кото-

рый тоже, казалось, пристально смотреть на него. На Кречмаръ былъ широкой мышинаго цвѣта халатъ, бородатое лицо выражало мучительное напряженіе. Онъ прислушивался, — послѣднее время онъ только и дѣлалъ, что прислушивался, и Горнъ это зналъ и внимательно наблюдалъ отраженія какихъ-то ужасныхъ мыслей, пробѣгающія по лицу слѣпого, и при этомъ испытывалъ восторгъ, ибо все это было изумительной каррикатурой, высшимъ достиженіемъ каррикатурнаго искусства. Затѣмъ Горнъ, желая еще обострить забаву, легонько шлепнулъ себя по колѣну, и Кречмаръ, который какъ разъ поднималъ руку къ нахмуренному своему челу, замеръ съ приподнятой рукой. Тогда, медленно подавшись впередъ, Горнъ тронулъ это чело пушистымъ концомъ длинной былинки, которую только что сосалъ. Кречмаръ странно и отрывисто вздохнулъ, отогналъ невидимую муху. Горнъ пощекоталъ ему губы, — снова отгоняющій жестъ. Это было весьма смѣшно. Вдругъ слѣпой рѣзко двинулся, насторожившись. Горнъ повернулъ голову и увидѣлъ черезъ стеклянную дверь краснолицаго толстяка, какъ будто знакомаго, съ автомобильными очками надъ бровями, остолбенѣвшаго отъ изумленія на каменной площадкѣ веранды.

Горнъ, глядя на него, приложилъ палецъ къ губамъ и хотѣлъ еще показать, что сейчасъ выйдетъ къ нему, но тотъ рванулъ дверь и вступилъ въ гостиную.

«Конечно, я васъ знаю. Ваша фамилья Горнъ», — сказалъ Максъ, тяжело дыша и смотря въ упоръ на этого голаго человѣка, который ухмылялся и все прикладывалъ палецъ къ губамъ, нисколько не стыдясь своей отвратительной наготы. Кречмаръ межъ тѣмъ всталъ, розовая краска шрама словно разлилась по всему его лбу, онъ сталъ вдругъ кричать, кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно изъ этой мѣшанины грудныхъ звуковъ стали образовываться слова. «Максъ, я тутъ одинъ, — кричалъ онъ. — Максъ, скажи, что я одинъ Горнъ въ Америкѣ, Горна здѣсь нѣтъ. Максъ, я умоляю. Я вѣдь со-

вершено слѣпъ». «Дуракъ», — сказалъ Горнъ, махнувъ рукой, и побѣжалъ къ двери, ведущей на лѣстницу. Максъ схватилъ трость, лежавшую на полу около кресла, догналъ Горна, — Горнъ обернулся, выставивъ ладони, — и Максъ, добрыйшій Максъ, который въ жизни своей не ударилъ живого существа, со всей силы треснулъ Горна палкой по головѣ около уха. Тотъ отскочилъ, продолжая однако усмѣхаться, — и вдругъ произошла замѣчательная вещь: словно Адамъ послѣ грѣхопаденія, Горнъ, стоя у стѣны и осклабясь, пятерней прикрылъ свою наготу. Максъ кинулся на него снова, но голый увильнулъ и взбѣжалъ по лѣстницѣ. Въ это мгновеніе что-то навалилось сзади на Макса. Это былъ Кречмаръ, — онъ кричалъ, онъ держалъ въ рукѣ мраморное пресспапье. «Максъ, — захлебывался онъ, — Максъ! Я все понимаю, дай мнѣ пальто, дай скорѣе пальто, оно тутъ въ шкапу!» «Желтое?» — спросилъ Максъ, борясь съ одышкой. Кречмаръ сразу нащупалъ въ карманѣ то, что ему было нужно, и пересталъ кричать.

«Я немедленно везу тебя прочь отсюда, — сказалъ Максъ. — Снимай халатъ и надѣвай пальто. Оставь это пресспапье. Дай, я тебѣ помогу... Это чудовищно, что они тутъ дѣлали съ тобой. Вотъ... Бери мою шляпу, — ничего, что ты въ ночныхъ туфляхъ. Пойдемъ, пойдемъ, Бруно, у меня тамъ, внизу, автомобиль, — главное, скорѣе убраться изъ этого застѣнка!»

«Нѣтъ, — сказалъ Кречмаръ, — нѣтъ. Я сперва долженъ съ ней поговорить, — она должна подойти ко мнѣ вплотную, вплотную. Сейчасъ вернется, подождемъ ее. Я хочу, Максъ. Это продолжится одну минуту».

Но Максъ вытолкнулъ его на веранду, затѣмъ въ садъ, и, увидя оттуда внизу на дорогѣ свой автомобиль, заоралъ и замахалъ, призывая шофера. «Только, чтобы она подошла ко мнѣ, — повторялъ Кречмаръ, — совсѣмъ близко. Ради Бога, скажи, Максъ. Можетъ быть, она уже здѣсь?»

Можетъ быть, она уже вернулась? Можетъ быть, она идетъ рядомъ?»

«Нѣтъ, Бруно, успокойся. Идемъ, пожалуйста. Никого нѣтъ, только этотъ голый смотреть изъ окна. Пойдемъ, милый, пойдемъ».

«Я пойду, — сказалъ Кречмаръ. — Но только ты скажи мнѣ, если ее увидишь, мы ее можемъ встрѣтить. Тогда не мѣшай ей, пускай она ко мнѣ приближи, прибли, бли, приблизитблится — »

Они стали спускаться по тропинкѣ, но черезъ нѣсколь-ко шаговъ Кречмаръ вдругъ повалился навзничъ въ глубокомъ обморокѣ, Максъ едва успѣлъ его поддержать. Подоспѣлъ запыхавшійся шоферъ. Онъ и Максъ понесли Кречмара въ автомобиль. Въ это время подѣхала таратайка, изъ нея выскочила Магда. Она подбѣжала, крикнула что-то, но автомобиль попятился, чуть ее не задавилъ, и сразу ринулся впередъ и скрылся за поворотомъ.

### XXXVI.

Анжелиза получила телеграмму изъ Цюриха во вторникъ, а въ среду, около восьми часовъ вечера, услышала въ прихожей голосъ Макса, стукъ чемодана о косякъ, шаги, движеніе. Дверь открылась, Максъ ввелъ Кречмара. Онъ былъ чисто выбритъ, въ темно-синихъ очкахъ, на блѣдномъ лбу былъ шрамъ, незнакомый блѣдно-лиловый костюмъ казался слишкомъ просторнымъ. «Привезъ», — спокойно сказалъ Максъ, и Анжелиза заплакала, прижимая платокъ ко рту. Кречмаръ безмолвно поклонился по направленію невнятнаго плача. «Пойдемъ помыть руки», — сказалъ Максъ, медленно ведя его черезъ комнату.

Потомъ сидѣли втроемъ въ столовой, ужинали. Анжелиза все не могла привыкнуть смотрѣть на мужа. Ей каза-

лось, что онъ все-таки чувствуетъ ея взглядъ. Печальная торжественность его движеній, манера ощупывать воздухъ доводила ее до какого-то тихаго изступленія жалости. Максъ поворилъ съ Кречмаромъ, какъ съ ребенкомъ, и дѣловито рѣзалъ ему ветчину.

Его помѣстили въ бывшую комнату Ирмы, — Аннелиза сама удивилась тому, какъ легко ей было, ради этого нечаяннаго жильца, нарушить сонъ комнатки, все въ ней измѣнить, переставить, приноровить ее къ удобствамъ слѣпца.

Кречмаръ молчалъ. Правда, сначала, то-есть еще въ Цюрихѣ, проѣздомъ въ Берлинъ, онъ не переставая, съ тяжелой, бредовой настойчивостью, упрасивалъ Макса вызвать Магду на минутное свиданіе, — онъ клялся, что это послѣдняя встрѣча продлится не болѣе минуты; дѣйствительно, долго ли нужно, чтобы въ привычной темнотѣ нащупать и крѣпко схвативъ одной рукой, сразу ткнуть стволомъ браунинга въ грудь или въ бокъ и выстрѣлить — разъ, еще разъ, до семи разъ. Максъ упорно отказывался просьбу его уважить, — и тогда-то онъ замолчалъ, молча ѣхалъ до Берлина, молча прибылъ и затѣмъ промолчалъ три дня... Аннелиза такъ и не услышала его голоса, — словно бы онъ не только ослѣплъ, но и онѣмѣлъ.

Черная увѣсистая вещь, сокровищница смерти, лежала въ глубокомъ карманѣ пальто, завернутая въ шелковистое кашнэ. Запершись въ уборной вагона, онъ перемѣстил браунингъ въ задній карманъ штановъ, а затѣмъ, когда пріѣхалъ, — въ свой чемоданъ, и ключъ отъ чемодана ночью держалъ въ кулакѣ, но къ утру, во время какой-то сложной и смутной погони, потерявъ его и, проснувшись, долго его искалъ, шарилъ въ безпросвѣтной тѣмѣ постели, и, найдя его, наконецъ, отперъ чемоданъ и снова переложилъ браунингъ въ карманъ штановъ, такъ, чтобы онъ оставался всегда, всегда при немъ.

И онъ продолжалъ молчать. Присутствіе Аннелизы въ домѣ, ея шаги, ея шопотъ, (она почему-то говорила съ прислугой и съ Максомъ шопотомъ) были въ концѣ концовъ столь же условны и призрачны, какъ его воспоминаніе о ней. Да, шелестящее, слабо пахнущее одеколономъ воспоминаніе, больше ничего. Подлинная жизнь, та хитрая, увертливая, мускулистая, какъ змѣя, жизнь, жизнь, которую слѣдовало пресѣчь немедленно, находилась гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ, — гдѣ? Нензвѣстно! Съ необычайной ясностью онъ представлялъ себѣ, какъ послѣ его отъѣзда, она и Горнь — оба гибкіе, проворные, со страшными лучистыми глазами на выкатѣ — собираютъ вещи, какъ Магда цѣлуетъ Горна, трепеща жаломъ, извиваясь среди открытыхъ сундуковъ, какъ наконецъ они уѣзжаютъ, — но куда, куда? Милліонъ городовъ, и сплошной мракъ.

Прошло три нѣмьхъ дня. На четвертый, рано утромъ, такъ случилось, что онъ остался безъ надзора: Максъ только что уѣхалъ на службу, Аннелиза, не спавшая всю ночь, еще не выходила изъ своей спальни. Кречмаръ, въ мучительной жаднѣ немедленнаго дѣйствія, пошелъ ходить по квартирѣ, ощупывая мебель и косяки. Уже нѣкоторое время звонилъ въ кабинетъ телефонъ, и это напоминало о томъ, что въ Берлинѣ есть издательства, къ которымъ тотъ, невидимый, былъ причастенъ, общіе знакомые, возможность что-нибудь узнать, — но Кречмаръ не могъ припомнить ни одного телефоннаго номера, все было гдѣ-то записано, ничего не хранилось въ головѣ. Звонъ напряженно раздувался и спадалъ опять. Кречмаръ снялъ незримую трубку и приложилъ ее къ уху. Смутно-знакомый мужской голосъ спрашивалъ господина Гогенварта, то-есть Макса. «Нѣтъ дома», — отвѣтилъ Кречмаръ. «Ахъ, вотъ какъ», — замаялся голосъ и вдругъ бодро сказалъ: — «Это вы, господинъ Кречмаръ?» «Да, да, а вы кто?» «Шиффермюллеръ. Я вотъ по какому поводу. Я только что звонилъ въ контору къ господину Гогенарту, но его еще не было. Я думалъ, что успѣю застать его до-

ма. Какъ удачно, что вы тутъ, господинъ Кречмаръ. Вѣроятно, все въ порядкѣ, но, какъ-никакъ, я почелъ своимъ долгомъ... Дѣло въ томъ, что сейчасъ забѣжала сюда фройляйнъ Петерсъ за своими вещами. Я ее пустилъ въ вашу квартиру, но я не знаю... можетъ быть, какія-нибудь распоряженія...» «Все въ порядкѣ», — сказалъ Кречмаръ, съ трудомъ двигая одеревенѣвшими, какъ отъ кокаина, губами. «Что вы говорите?» «Все въ порядкѣ», — повторилъ Кречмаръ. «Я не слышу, простите?» «Все въ порядкѣ», — повторилъ Кречмаръ чуть яснѣе и дрожа повѣсилъ трубку.

Какимъ то чудомъ ничего не задѣвъ, онъ пробрался въ переднюю, хотѣлъ было отъскочить трость и шляпу, но это выходило слишкомъ долго, слишкомъ сложно. Поспѣшно поглаживая края ступеней подошвами, и скользя ладонью по периламъ, неловко подгибая колѣни на площадкахъ и повторяя «въ порядкѣ, въ порядкѣ», — Кречмаръ спустился и вотъ оказался на улицѣ. Мелкое, мокрое сразу закололо его въ лобъ: шелъ дождь. Онъ двинулся, потративъ окликое желѣзо палисадника и прислушиваясь, не проѣзжаетъ ли таксомоторъ. Вотъ — неторопливый и влажный шелестъ шинъ. Кречмаръ отрывисто крикнулъ. Шелестъ безстрастно удалится. «Ахъ, надо скорѣе», — пробормоталъ онъ.

«Хотите, я помогу вамъ перейти?» — предложилъ пріятный женскій голосъ у самаго плеча. «Ради Бога, автомобиль», — сказалъ Кречмаръ.

Звукъ мотора, шелестъ. Кто-то помогъ ему влѣзть. Кто-то захлопнулъ дверцу. «Прямо, прямо», — тихо произнесъ Кречмаръ, — а когда уже автомобиль тронулся, онъ поддался впередъ, наткнулся пальцемъ на стекло, постучалъ, сообщилъ адресъ.

Будемъ считать повороты. Первый — это вѣроятно Моцштрассе. Слѣва заскрежеталъ и звякнулъ трамвай. Кречмаръ вдругъ повелъ рукой вокругъ себя, ощупалъ сидѣніе, переднюю стѣнку, полъ, пораженный мыслью, что

быть можетъ кто-нибудь съѣлъ вмѣстѣ съ нимъ. Опять поворотъ — это должно быть Викторія-Луизенъ-Плацъ. Или Прагеръ-Плацъ? Сейчасъ будетъ Кайзеръ-Аллее. Остановились. Неужели прѣехали? Не можетъ быть, просто перекрестокъ. Еще по крайней мѣрѣ пять минутъ ѣзды до — .... Но дверца открылась. «Пожалуйста», — сказала голось шофера. — Пятьдесятъ шестой номеръ».

Кречмаръ вышелъ на панель. Передъ нимъ въ воздухѣ, радостно приближаясь, появилось полное изданіе того голоса, который только что звучалъ въ телефонѣ. Шиффермюллеръ, швейцаръ дома, сказалъ: «Какъ неожиданно, какъ приятно, господинъ Кречмаръ. Фройляинъ Петерсъ у васъ наверху, она — » «Тише, тише, — пробормоталъ Кречмаръ. — Заплатите тутъ. У меня съ глазами — » Онъ наткнулся колѣномъ на что-то звонкое и какъ будто валкое, — дѣтскій велосипедъ, можетъ быть. «Да, впустите же меня въ домъ, — сказалъ онъ. — Дайте мнѣ ключъ отъ моей квартиры. Скорѣе же. Теперь введите меня въ лифтъ. Скорѣе же. Нѣтъ, нѣтъ, оставайтесь внизу. Я одинъ поднимусь. Я самъ нажму кнопку...»

Лифтъ мягко застоналъ, голова слегка закружилась, потомъ ударило подъ пятки, доѣхалъ.

Онъ вышелъ, шагнулъ, но, несовсѣмъ рассчитавъ направление, сошелъ одной ногой въ бездну, нѣтъ, не въ бездну, а просто внизъ, на слѣдующую ступеньку лѣстницы, и невольно съѣлъ. «Правѣе, гораздо правѣе», — шептала онъ и, вытянувъ руку, добрался до двери. Стараясь не слишкомъ царапать и звякать, онъ нашелъ скважину, сунулъ въ нее ключъ, повернулъ, знакомая пѣсня отворяющейся двери.

Слѣва, слѣва, да, — въ небольшой угловой гостиной, проворно шуршала бумага, затѣмъ что-то легко, легко хрустнуло, какъ будто суставы присѣдающаго на корточкахъ человѣка. «Вы сейчасъ мнѣ будете нужны, господинъ Шиффермюллеръ, — сказала Магдинъ голось. — Вы

должны будете мнѣ помочь все это — » Голосъ осѣкся. «Увидѣла», — подумалъ Кречмаръ и вынулъ изъ кармана пистолеть. Слѣва, въ комнатѣ, туго щелкнуло, Магда крикнула и пѣвуче продолжала: «...все это снести внизъ. Или лучше позовите — » Тутъ голосъ ея какъ бы обернулся на словѣ «позовите», и послѣдовала тишина.

Кречмаръ, держа въ правой рукѣ браунингъ, нащупалъ лѣвой косякъ открытой двери, вошелъ, захлопнулъ дверь за собой и спиной прислонился къ ней.

Тишина продолжалась. Онъ зналъ, что онъ съ Магдой одинъ въ этой комнатѣ, откуда только одинъ выходъ, — тотъ, который онъ заслонялъ. Комнату онъ словно видѣлъ воочию: слѣва — полосатый диванчикъ, у правой стѣны — столикъ, и на немъ фарфоровая балерина, въ углу у окна — шкапчикъ съ драгоценными миниатюрами, посрединѣ — другой столъ, побольше, и два полосатыхъ стула.

Выпрямивъ руку, онъ сталъ поводить браунингомъ передъ собой, стараясь вынудить какой-нибудь уяснительный звукъ. Чутьемъ, впрочемъ, онъ зналъ, что Магда гдѣ-то около горки съ миниатюрами, — оттуда шло какъ бы легчайшее ядовито-душистое тепло, и что-то дрожало тамъ, какъ дрожить воздухъ въ зной. Онъ началъ суживать дугу, по которой водилъ стволомъ, и вдругъ раздался тихій скрипъ. Выстрѣлить? Нѣтъ, еще рано. Нужно подойти ближе. Онъ ударился о столъ и остановился. Ядовитое тепло куда-то передвинулось, но звука перехода онъ не уловилъ за громомъ и трескомъ собственныхъ шаговъ. Да, теперь оно было лѣвѣе, у самого окна. Запереть за собой дверь, тогда будетъ свободнѣе. Ключа не оказалось. Тогда онъ взялся за край стола и, отступая, потянулъ его къ двери. Опять тепло передвинулось, сузилось, уменьшилось. Онъ заставилъ дверь и сталъ опять водить передъ собой браунингомъ и опять нашелъ во мракѣ живую дрожащую точку. Тогда онъ ти-

хо двинулся впередъ, стараясь не скрипѣть, чтобы не мѣшать слуху. Онъ наткнулся на твердое и, не опуская браунинга, изслѣдовалъ препятствіе. Небольшой сундукъ. Онъ отодвинулъ его налѣво отъ дивана и опять пошелъ по діагонали комнаты, загоня невидимую добычу въ уголь. Его слухъ и осязаніе были такъ обострены, что теперь онъ отлично чувалъ ее. Это былъ не звукъ дыханія, и не біеніе сердца, а нѣкое сборное впечатлѣніе, звучаніе самой ея жизни, которое сейчасъ, вотъ сейчасъ, будетъ прекращено, и тогда наступитъ покой, ясность, освобожденіе отъ тьмы.. Но онъ почувствовалъ внезапно какое-то полегчаніе въ томъ углу, — повелъ пистолетомъ въ сторону, и уголь опять наполнился теплымъ присутствіемъ. Затѣмъ оно какъ бы стало понижаться, это присутствіе, оно опускалось, опускалось, вотъ поползло, вотъ стелется по полу. Кречмаръ не выдержалъ и нажалъ собачку. Выстрѣлъ словно лягнулъ тьму, и тотчасъ послѣ этого что-то взвилось и ударило его — сразу въ голову, въ плечо и въ грудь. Онъ упалъ, запутавшись, — въ чемъ? — въ стулѣ, въ летающемъ стулѣ. Падая, онъ выронилъ браунингъ, мгновенно нацунать его, по одновременно почувствовалъ быстрое дыханіе, холодная, проворная рука попыталась выхватить то, что онъ самъ хваталъ, Кречмаръ вцѣпился въ живое, въ шелковое, и вдругъ — невѣроятный крикъ, какъ отъ щекотки, но хуже, и сразу: звонъ въ ушахъ и нестерпимый толчокъ въ бокъ, какъ это больно, нужно посидѣть минутку совершенно смирно, посидѣть, потомъ потихоньку пойти по песку къ синей волнѣ, къ синей, нѣтъ, къ сине-красной, въ золотистыхъ прожилкахъ волнѣ, какъ хорошо видѣть краски, льются онѣ, льются, наполняютъ ротъ, охъ, какъ мягко, какъ душно, нельзя больше вытерпѣть, она меня убила, какіе у нея выпуклые глаза, базедова болѣзнь, надо все-таки встать, итти, волны, я же все вижу, — что такое слѣнота? отчего я раньше не зналъ... но слишкомъ душно, булькаетъ, не надо булькать, еще разъ, еще, — перевалить, нѣтъ, не могу...

Онъ сидѣлъ на полу, опустивъ голову, и потомъ вяло наклонился впередъ и криво упалъ на бокъ.

Тишина. Дверь широко открыта въ прихожую. Столъ отодвинутъ, стулъ валяется рядомъ съ мертвымъ тѣломъ человѣка въ блѣдно-лиловомъ костюмѣ. Браунинга не видно, — онъ подъ нимъ. На столикѣ, гдѣ нѣкогда, во дни Аннелизы, бѣлѣла фарфоровая балерина (перешедшая затѣмъ въ другую комнату), лежитъ вывернутая дамская перчатка. Около полового дивана стоитъ щегольской сундучокъ съ цвѣтной наклейкой: Сольфи, Отель Адриатикъ. Дверь изъ прихожей на лѣстницу тоже осталась открытой.

**В. Сиринъ.**

## Домъ въ Пасси

Романъ \*).

### КЕЛЬЯ.

На этотъ разъ генераль быстро выпроводилъ Рафу. Тому очень хотѣлось поговорить съ Мельхиседекомъ, подразспросить его. Но пришлось подчиниться. Противорѣчить онъ никакъ не могъ, да и доводъ былъ серьезный: «на лѣстницѣ встрѣтилъ мать, она будетъ сердиться — вѣчно ты по гостямъ...» Мельхиседекъ на прощанье поцѣловалъ его въ лобъ.

— Онъ дѣйствительно мой другъ, — сказалъ генераль, когда Рафа вышелъ. — Какъ бы и внукъ. Впрочемъ, у меня настоящій внукъ есть. Въ Россіи. Вы, отецъ Мельхиседекъ, можете бытъ помните, когда мы къ вамъ въ Пустынь пріѣзжали съ Ольгой Сергѣевной, то съ нами дѣвочка была, такая маленькая, все мать за ручку держала. Да-да-да...а. Это и есть Машенька.

Генераль налилъ чаю Мельхиседеку и себѣ.

— Ольга Сергѣевна въ самомъ началѣ революціи скончалась, въ Москвѣ. Надорвалась. На салазкахъ дрова таскала, черезъ всю Москву. Въ очередяхъ мерзла, мѣшечницей въ Саратовъ ѣдила. Сыпнякъ захватила. Царство небесное, царство небесное. Я въ то время подъ Новочеркасскомъ дрался.

Генераль всталъ, подошелъ къ комоду, гдѣ лежали гильзы, табакъ, машинка — принялся набивать папиросу.

— Старъ становлюсь, слабъ. Часто плачу, отецъ Мельхиседекъ. Вотъ и сейчасъ, увидѣлъ васъ. Все прежнее... Но ничего, смѣлѣе, смѣлѣе, кричалъ лордъ Гленарванъ. Колоннами и массажи!

\*) См. «Совр. Зап.» кн. 51.

Онъ примялъ папачкой табакъ въ машинкѣ, вставилъ въ гильзу, втокнулъ содержимое — папирота отскочила. Обрѣзалъ ножницами вытѣзавшіе хвосты, закурилъ.

— Ольга Сергѣевна такая и была-съ... да, прямая, трудная — она, можетъ, и во время умерла, генеральшей жила, генеральшей скончалась. Все равно, не могла согнуться. Ну, а Машенька стала не то что дѣвочкой, а давно замужемъ, и у нея сынъ, Ваня, постарше вотъ этого малаго. Тоже она бьется. Я, даже, не знаю, по совѣсти, какъ изворачивается. Пока мужъ былъ живъ, такъ сякъ. Онъ тамъ въ какой-то главрыбѣ служилъ, но и мужъ померъ. Да съ другой то стороны и хорошо, что померъ...

— А какъ звали ея мужа? — спросилъ Мельхиседекъ.

И когда генераль сказалъ, вынулъ изъ кармана книжечку, надѣлъ очки и записалъ.

— Почему-же хорошо, что зять вашъ умеръ?

— Эту самую главрыбу черезъ полгода по его смерти всю раскассировали, кого въ Соловки, большинство къ стѣнкѣ — тамъ у нихъ это просто-съ... Такъ по крайней мѣрѣ онъ естественной смерти дождался, не насильственной отъ руки палача.

Мельхиседекъ уложилъ вновь очки въ глубины ясы.

— Такъ-такъ... Ну, это разумѣется.

— Машенька-же теперь одно рѣшеніе приняла.

Фигура генерала высилась надъ столомъ прямо, плечи слегка приподняты. Свѣтъ сверху освѣщаль лысину. Лицо, въ тѣняхъ, съ сухимъ и крѣпкимъ носомъ, казалось еще худощавѣй.

— Объ этомъ одинъ только мальчикъ этотъ знаетъ, да теперь вы. Машенька сюда ѣдетъ, вотъ въ чемъ дѣло.

Генералу трудно было удержаться. То садясь, то вставая, рассказалъ онъ про дочь все, что зналъ. И бутылку литровую, гдѣ позвякивало теперь десятка три желтенькихъ полтинниковъ, тоже показалъ Мельхиседеку.

— Фондъ благоденствія, о. Мельхиседекъ. Счастливъ

быль-бы, если-бы тамъ золотые лежали, но и простые полтиннички, трудовые французскіе грошики — и то сила!

— А еще больше сила, Михаилъ Михайловичъ, въ желаніи, т. е. въ стремленіи обоюдномъ встрѣтиться. Если Богъ благословить — то великая сила-съ... Душевно сочувствую, душевно. Машеньку-то я помню — ну, теперь, разумѣется, и не узналъ-бы.

Они замолчали. Генераль, въ потертомъ пиджакѣ, мягкихъ туфляхъ, ходилъ взадъ впередъ по комнатѣ, пощелкивая пальцами сложенныхъ за спиной рукъ. Мельхиседекъ опрокинулъ чашку, сидѣлъ смирно. Генераль вдругъ остановился.

— Очень радъ, что вы пришли нынче ко мнѣ, о. Мельхиседекъ. — Неожиданно. Яко изъ-подъ земли возстаху. Клопсъ и отдѣлка. А вѣдь вы одинъ, пожалуй, во всемъ этомъ Парижѣ, помните Ольгу Сергѣевну, Машеньку знаете, мое имѣніе... Вы мнѣ сказали, — изъ Сербіи пріѣхали? Что-же тутъ думаете дѣлать ?

— Что мнѣ назначать, Михаилъ Михайловичъ. — Мало-ли дѣла... всего за жизнь не передѣлаешь. Но если ужъ сказать, имѣется для Парижа и особенное. Можетъ быть, изъ-за него преимущественно я сюда и пріѣхалъ, въ этотъ Вавилонъ-то вашъ, какъ это говорится, всемірный Вавилонъ городъ-Парижъ. И у васъ я не совѣмъ напрасно.

Мельхиседекъ распустилъ вдругъ морщинки у глазъ легкимъ и нѣсколько лукавымъ вѣромъ.

— Я вѣдь не такой ужъ простодушный монашекъ-старичекъ, я, знаете-ли, и умыслы всякіе имѣю, и на васъ, Михаилъ Михайловичъ, какъ на давняго сочувственника рассчитываю.

— Одну минуту, отецъ Мельхиседекъ. — Подогрѣю.

Генераль взялъ чайникъ, вышелъ съ нимъ въ кухню и поставилъ на газъ. Сѣдыя его брови пошевеливались, усы нависали надъ сухимъ подбородкомъ. Вернулся онъ съ нѣкимъ рѣшеніемъ.

— Независимо отъ того, что вы мнѣ расскажете, пред-

лагаю остаться у меня ночевать. И никакихъ возраженій. Чѣмъ черезъ весь городъ въ свой отельчикъ тащиться, переночуете у меня. Да. И никакихъ возраженій. Прекрасно. А теперь слушаю. Къ вашимъ услугамъ.

Отливая свѣжій, очень горячей чай, Мельхиседекъ разсказалъ, въ чемъ состояло «особенное» его дѣло. Уже нѣсколько времени находился онъ въ перепискѣ съ архимандритомъ Никифоромъ, проживающимъ въ Парижѣ — съ этимъ Никифоромъ встрѣчался еще во время паломничества на Афонъ, и не со вчерашняго дня возникла у нихъ мысль: основать подъ Парижемъ скитъ, небольшой монастырекъ. Никифоръ кое-что присмотрѣлъ — именно, старинное аббатство, нѣкогда принадлежавшее цистерціанцамъ. Оно въ запущеніи. Надо его нѣсколько возстановить, приспособить — и тогда отлично все устроится. А потомъ завести при немъ школу, воспитывать и обучать дѣтей. Кое-что удалось уже собрать и денегъ.

Генералъ вдругъ засмѣялся.

— А меня въ этотъ монастырь игуменомъ? Посохъ, лиловая мантия... исподай ти деспота?

Мельхиседекъ внимательно на него посмотрѣлъ, но не улыбнулся.

— Нѣтъ, я не за тѣмъ къ вамъ обращаюсь, Михаилъ Михайловичъ. Въ игумены вамъ еще рано... У насъ настоятелемъ видимо будетъ архимандритъ Никифоръ. А вотъ ежели-бы вы къ этому серьезно отнеслись, то какъ мірянинъ намъ могли-бы посодѣйствовать. Могли бы къ содружеству нашихъ сочувственниковъ примкнуть. Поддерживали-бы насъ въ обществѣ, можетъ быть, что нибудь и собрали-бы среди русскихъ — на подвисномъ листѣ.

— Такъ, такъ, все понялъ. И съ благословенія архіепископа? Вы какъ — подъ здѣшнимъ начальствомъ, или подъ тамошнимъ, сербскимъ?

— Принадлежу къ юрисдикціи архіепископа Игнатія.

— Охъ, эти мнѣ ваши архіерейскія распри... Архигіереусы... Архі-ерей, архигіереусъ, значитъ первожрецъ...

— Первосвященникъ, а не первожрецъ, — тихо сказалъ Мельхиседекъ.

— Ну да, да, конечно, первосвященникъ... Извините меня, о. Мельхиседекъ — срывается иной разъ. Да. Что же до содѣйствія, то охотно, хотя, прямо скажу: болѣе по личному къ вамъ отношенію, о. Мельхиседекъ. Ибо въ эмигрантской жизни монастырь... ..м-м! м-мъ! — генераль нѣсколько разъ хмыкнулъ. — Такая страда, всѣ бьются. Не сказали-бы: роскошь, не по сезону въ сторонкѣ сидѣть да канончики тянуть. Для васъ, во всякомъ случаѣ, о. Мельхиседекъ, охотно.

— А вы не только для меня.

Поднялся разговоръ о монастыряхъ. Мельхиседекъ неторопливо и спокойно объяснялъ, что скитъ задуманъ трудовой, всѣ монахи должны работать и окупать свою жизнь. Они будутъ, одновременно, и обучать дѣтей, и ихъ воспитывать. Тутъ особенно видѣлъ Мельхиседекъ новое въ православіи: въ прежнихъ нашихъ монастыряхъ этого не бывало.

— Очень хорошо, — сказалъ генераль, — Все это прекрасно. Что же говорить, я самъ, вы вѣдь помните, къ вамъ въ Пустынь прѣзжалъ. И мнѣ нравилось... гостиница ваша, чистые корридоры, половички, герань, грибные супы, мальвы въ цвѣтникахъ, длинныя службы... А все-таки — только прѣхать, погостить, помолиться, да и домой. Нѣтъ, мнѣ трудно было-бы съ этими астрами и геранями сидѣть... А теперь и тѣмъ болѣе. Я слишкомъ жизненный человекъ. А вы мистики. Иисусова молитва! «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ!» — и это произносите вы въ келіи на вечернемъ правилѣ десятки, сотни разъ. Извините меня, это можетъ Богу надобѣсть. Возьмемъ жизненный примѣръ: положимъ, взялся я любимой женщиной твердить — разъ по пятисотъ въ день: люблю тебя, люблю тебя, спаси меня... Да она просто возненавидитъ...

— То женщина, Михаилъ Михайловичъ, а то Господь. Генераль захохоталъ.

— Разу-мѣется, это армейская грубость. Еще разъ прошу извиненія. Я самъ въ Бога вѣрую и въ церковь къ вашему архи-гереусу хожу, и религію высоко чту, но этотъ, знаете - ли, монашескій мистицизмъ, погруженіе себя здѣсь-же въ иной міръ — не по мнѣ, не по мнѣ-съ, о. Мельхиседекъ, какъ вамъ угодно...

Мельхиседекъ поигралъ прядями бороды.

— Я и не жду отъ васъ, Михаилъ Михайловичъ, что-бы вы жили созерцательною жизнью. Я вашу натуру знаю.

— Да, вотъ моя натура... Какая есть, такая и есть. Хотя я за бортомъ жизни, но боѣвой духъ не угасъ. Если-бы вы благословили меня на бранное поле, на освобожденіе родины, а-а, тутъ-бы я... атакационными колоннами... Мы бы имъ показали — попрежнему, одинъ противъ десяти, но показали-бы. А вы бы на бой благословили, какъ нѣкогда преподобный Сергій противу татаръ...

Мельхиседекъ улыбнулся.

— И мнѣ до Сергія далековато, и вы, Михаилъ Михайлычъ, маленько до Дмитрія Донского не достали... Да и времена не тѣ. Другія времена. У Дмитрія-то рать была, Русь за нимъ... а у васъ что, Михаилъ Михайловичъ, позвольте спросить? Картъ д'идантитѣ въ бумажникѣ, да эта комнатка-съ, болѣе на келію похожая, чѣмъ на княжескія хоромы...

Генераль опять захохоталъ — и довольно весело.

— Все мое достояніе — картъ д'идантитѣ! А вы лукавый, правда, человекъ, о. Мельхиседекъ! Такъ, съ виду тихій, а потихоньку что нибудь и отмочите.

\*

Мельхиседекъ не сразу согласился ночевать. Но генераль настаивалъ.

— Искреннее удовольствіе доставите. Свою кровать уступаю, самъ на тюфякъ, на полу.

Но Мельхиседекъ поставилъ условіемъ, что на полу ляжетъ онъ, и въ прихожей. Такъ меньше для него стѣснительно.

Занялись устройствомъ на новомъ мѣстѣ.

— Вотъ вы о скитѣ говорили, о. Мельхиседекъ, а вѣдь знаете, тутъ у насъ въ этомъ домѣ, въ своемъ родѣ тоже русскій уголь — скитъ не скитъ — а такъ чуть-ли что не общежитіе, хотя у каждого отдѣльная квартирка, или комната.

— Знаю, я у сосѣдки вашей даже былъ — у Капитолины Александровны. Русское гнѣздо, въ самомъ, такъ сказать, сердцѣ Парижа. Утѣшительно. Что-же, согласно живете? — т. е., я хочу сказать: здѣшніе русскіе?

Генераль стелилъ простыню на матрасикѣ въ прихожей.

— Ничего, согласно. Да вѣдь большинство и на работу цѣлый день.

— Трудящіеся, значить.

— Да, ужъ тутъ у насъ маловато буржуевъ-съ...

— Такъ, та-акъ-съ... Небезынтересно было бы, если бы вы сообщили имена ихъ, также краткія характеристики.

Имена! Характеристики! Для чего это вамъ, о. Мельхиседекъ?

— А такое у меня обыкновеніе: гдѣ мнѣ даютъ приютъ, тамъ я въ вечернее правило вставляю всѣхъ членовъ семьи и молюсь за благоденствіе и спасеніе ихъ. Здѣсь у васъ, собственно, не семья, но мнѣ показалось, что есть нѣкое объединеніе, потому и нахожу умѣстнымъ ближе ознакомиться.

И онъ опять вынулъ свою книжечку.

— Извольте, — сказалъ генераль. — Поѣдемъ снизу. Ложа копсѣржки, гарсоньерка — мимо. Съ перваго этажа начинается Россія. Капитолина Александровна — одинокая, служить. Возрастъ: двадцать шесть, двадцать семь. Своеобразная и сумрачная дѣвица. На мой взглядъ — даже съ норовомъ.

— Знакомъ-сь. У меня и отѣтка есть.

— Напротивъ нея — Дора Львовна, массажистка, съ сыномъ Рафаиломъ, вамъ также извѣстнымъ.

— Дора... по нашему Дарія? — Иудейка?

— Да, происхожденія еврейскаго. А замужемъ была за Луизинимъ.

— Нѣтъ елливъ ни іудей. Все едино.

— Затѣмъ я. Противъ меня Валентина Григорьевна, портниха, съ матерію старушкой. Немудрящая, и что называется, чистое сердце. Шьетъ отлично. Вдова.

— Очень хорошо-сь. Дальше.

— Надо мною художникъ, патлатая голова. Выше тамъ шофферъ Левъ и рабочій на заводѣ, имени не знаю. Раннимъ рано по лѣстницѣ спускаются. Тоже все русскіе. Но долженъ сказать, есть еще жилица, напротивъ художника, эта будетъ француженка. Именемъ Женевьева.

— А-а, имя хорошее. Святая, покровительница столицы.

— Та то была святая, только че наша Женевьевка. Наша намъ нѣсколько дѣло портитъ. Тутъ ужъ до скита далеко, это, я вамъ скажу, такой получается скитъ... м-м... и не дай Богъ.

— Чѣмъ-же занимается она?

Генераль загнулся. Съдвѣя брови его слѣдвали неопредѣленное движеніе.

— Что-же тутъ говорить... Блудница. Такъ и записать можете, о. Мельхиседекъ. Безъ ошибки.

Мельхиседекъ покачалъ головой.

— Ай-ай-ай..

— До трехъ дома, а тамъ на работу. По кафе, по бульварамъ шляется. Изю дня въ день.

— Какъ непріятно, какъ непріятно! Же-не-вье-ва... — записывалъ Мельхиседекъ. --- Сбившаяся съ пути дѣвушка. Ну, что-жъ что блудница. И за нее помолимся. За нее даже особо.

— Вы думаете, это Соня Мармеладова? Пьяненькій отецъ, нищета, самопожертвованіе? Очень мало сходства. Мало. Она лучше всѣхъ насъ зарабатываетъ. И ее гораздо больше уважаютъ. Въ сберегательную кассу каждую субботу деньги тащить.

— Нѣтъ-съ, я ничего не думаю. Разныя бываютъ... А характера какого?

— Богъ ее знаетъ, встрѣчаю на лѣстницѣ. Тихая какая-то, вялая. Ей, навѣрно, все равно...

— Закаменѣлая.

Мельхиседекъ дважды подчеркнулъ слово «Женевьева» и спряталъ въ карманъ книжечку.

— Что-же до васъ касается, — обратился къ Михаилу Михайловичу, — то главнымъ, что движетъ сейчасъ вашу жизнь, насколько я понимаю, является желаніе встрѣтить дочь?

— Совершенно правильно. А еще-съ: сверженіе татарскаго ига и возстановленіе родины.

Мельхиседекъ слегка улыбнулся.

— Задачи немалыя.

На этомъ они разстались. Мельхиседекъ притворилъ дверь, снялъ рясу, и похудѣвшій, совсѣмъ легенькій, съ бѣлой бородой-парусомъ, сталъ на молитву. «Канончикъ» его былъ довольно сложный, занималъ много времени.

Генераль-же разложилъ пасьянсъ. Онъ раскладывалъ его тщательно, карту къ картѣ. Самый видъ стройныхъ колоннъ доставлялъ ему удовольствіе. Оно возрастало, когда пасьянсъ выходилъ. И еще расло, если выходилъ на заказанную тему. Нынче генераль загадалъ на Машеньку. Приѣдетъ, или нѣтъ? Карты долго колебались. Онъ задумчиво группировалъ, подбиралъ разныя масти въ колоннахъ — сложными маневрами довелъ, наконецъ, до того, что оставшимся картамъ вдругъ нашлось мѣсто. Валеты, тройки, девятки покорно дожились куда надо. Генераль любилъ этотъ моментъ.

— Прорвались... — бормоталъ про себя. — Трах-тарарах-тах-тахъ!

Ему казалось, что таинственный противникъ сломленъ. И сложивъ орудія производства, перекрестивъ на ночь лобъ, сталъ раздвѣваться. Изъ его маленькой передней, совершенно сейчасъ темной, худенькій старичекъ долго еще посылалъ безмолвныя радіо.

.....

### ДЪЛА.

Холодно. Городъ въ рыжемъ туманѣ. Едва видно солнце — изъ другого міра — блеклое, розовато-кирпичное. Угольщики не успѣваютъ втаскивать мѣшки по винтообразнымъ лѣстницамъ. Мрутъ немолодые французы отъ удара. Особенно полны бистро — лицами багровыми, шарфами, каскетками. Вечеромъ, въ синѣющей мглѣ, туманныя огни и страшны на заиндевѣломъ асфальтѣ автобусы, грозной судьбой проносящіеся.

Городъ Парижъ дымить всѣми глиняными трубами надъ черепицами крышъ -- не надымится. Холодно людямъ старыхъ домовъ, среди нихъ и дому въ Пасси, русскому. Лишь у Доры Львовны тепло вполнѣ: двѣ саламандры. У Валентины Григорьевны полутепло (мать за вѣдуетъ тонкой). У Капы на четверть тепло (послѣ службы затопливаетъ крохотную печурку). О генералѣ и Левѣ лучше не говорить: одному не на что, другому некогда. Анатолій Иванычъ протапливаетъ послѣднія стаэлевскія деньжонки. За годѣномъ слѣдитъ замѣчательно. Отъ старичка Жанена научился аккуратно вынимать угольки изъ пелла -- отдѣльно, и опять въ печку, чтобы не пропадали.

Несмотря на холодъ, много выходитъ. Правда, у него теплое пальто со скунсовымъ воротникомъ, гетры, плюшевая шляпа. Это для теплоты и удобства. А для солидности палка съ серебрянымъ набалдашникомъ. Оба Жа-

нена — и родовитая жена съ бѣлыми буклями, бархаткой на шеѣ, и худенькій старичекъ въ старомъ жакетѣ и туфляхъ уважають его за скунса, за трость, за любезность. «Это большой русскій баринъ», говоритъ мсье Жанень угольщику. «У него въ Россіи огромныя помѣстья. Именно ему трудно... но вѣдь революція! Впрочемъ, у него есть богатые родственники въ Швеціи. Ему присылають деньги изъ Стокгольма».

Когда Анатолій Иванычъ идетъ въ три часа по улицѣ Помпъ, видъ у него вполне пассійскій: можно подумать, хорошій текущій счетъ, сейфъ, своя машина... (Жена уѣхала на ней въ Каннъ, мужъ садится въ первый классъ автобуса. Но вѣдь не такъ легко отличить и Женевьеву, въ эти же часы выходящую на службу, отъ пассійской честной барышни, тоже съ выцвѣченными волосами, накрашенными губами и равнодушнымъ холодомъ глазъ)

Въ одинъ такой день ѣхалъ Анатолій Иванычъ въ первомъ классѣ, сидѣлъ лицомъ впередъ. Женевьева во второмъ у окна, лицомъ назадъ, и ея лѣвой ногѣ мѣшалъ овальный кожухъ колеса. Передъ его глазами торчалъ на высотѣ шофферъ въ кожаной курткѣ съ шарфомъ на шеѣ и обгорѣлымъ отъ холода лицомъ. Предъ ней, за дамой, покачивались на площадкѣ пассажиры. Ни онъ ее не замѣтилъ, ни она его. Оба, однако, дышали однимъ воздухомъ: смѣсью бензина съ духами. Автобусъ мягко покачивался, дрожалъ масляно-бензиннымъ сердцемъ.

Въ самомъ движеніи его — теплая, стремительная сила. Какъ во снѣ струились Этуали, авеню Фридландъ съ каменнымъ Балъзакомъ; внизъ стремящаяся, къ церкви св. Филиппа Рудьскаго, узкая улица Фобуръ Сентъ-Онорэ. Такіе-же неслись навстрѣчу автобусы, съ такими-же мордато-обгорѣлыми шофферами, звонками, тормозами.

Какія мысли у Женевьевы? Никакихъ. Иной разъ взглянетъ на фасонъ шляпки, на собачку съ давленою мордочкой... ждетъ остановки у Маллэнъ. И Анатолій Иванычъ не рѣшалъ міровыхъ вопросовъ, когда по авеню Габріэль

мчалъ его автобусъ мимо ресторановъ Елисейскихъ Полей, мимо скверовъ, садовъ, мимо дома палъво, единственнаго въ Парижѣ, чей фасадъ въ колоннахъ, какъ въ русской усадьбѣ. Можетъ быть, вспоминалъ губы Доры Львовны и безсмысленный ея взглядъ — столько взглядовъ за жизнь, столько губъ! Или думалъ о Капъ: «Капочка отличная, но тяжелый характеръ»... Тоже не рѣдкій случай. Дора очень славная, хорошо, что разумная, и не психопатка. Все это мило и симпатично, и никакъ жизнь не устраиваетъ.

Онъ слѣзъ. Женевьева поѣхала дальше — тонкое и равнодушное ея лицо до самой Оперы покачивалось за стекломъ. Онъ-же шелъ медленно мимо Вебера международного, мимо *taverne Royale*, гдѣ засѣдали раньше французы окрестные, предъ панно конца прошлаго вѣка (съ сюжетами увеселяющими). Всѣ эти мѣста выхожены. Все-таки, не теряютъ прелести. Всегда пріятно чувствовать за спиной площадь Конкордъ съ обелискомъ и стрѣлами автомобилей — предъ собой-же тяжеловатая колонна Мадленъ.

У знаменитаго ресторана Анатолій Ивановъ остановился. Это онъ уважалъ. Небольшія зеркальныя окна со шторами, краснаго атласа диваны и кресла, зеркала, нѣсколько всегда сонныхъ лакеевъ, во фракахъ. Старомодное и неброское, вродѣ московскаго Тѣстова.

Предъ фасадомъ Мадленъ поглазвлъ, по обычаю, перешелъ улицу, когда ажанъ остановилъ потокъ автомобилей, и безсмысленно пошелъ вдоль лѣвой стороны храма. Въ небольшую дверь съ навѣсикомъ на тротуаръ вошли двѣ дамы. Старушка въ черномъ вышла. «Капелла Антонія Падуанскаго!»

Онъ когда-то слышалъ о ней. «Хорошій былъ, Падуанскій... съ мальчикомъ всегда изображается». Анатолій Ивановъ вдругъ почувствовалъ себя смиреннымъ и маленькимъ. Вотъ, у него этотъ мѣховой воротникъ, трость, десять франковъ въ карманѣ, комбинаціи въ головѣ и не-

извѣстность на завтра. А въ прошломъ? Тоже, можетъ быть, лучше не вспоминать? Но для такихъ и жили Падуанскіе. Если-бы всѣ были добродѣтельны, то и святыни-бъ не надо.

Изъ низенькой передней повернулъ онъ направо — тоже низенькая, узкая и длинная комната со сводами. Горитъ много свѣчей. Стоять стульчики. Сразу-же слѣва — розовый св. Антоній на пьедесталѣ съ младенцемъ Иисусомъ на рукахъ (это и есть «съ мальчикомъ»). Яичко золотое. Цвѣты, медальки, образки — вся нехитрая бутафорія католицизма. Въ стѣнахъ плитки съ надписями: «*merciements*». Анатолій Ивановъ по православному перекрестился и неловко сталъ прямо противъ розоваго Антонія, загораживая дорогу. Чувство дѣтскости, смиренности и ничтожества возрасло. «Ты вѣдь знаешь, какой я, и что... помоги, святой Антоній, вотъ я къ тебѣ всюю душой... Помоги».

Что имѣлъ онъ въ виду? Удачную продажу? Выгодную жепитьбу? Возможно. Розовая статуя святого много передъ собой перевидала. Ничтожеству-ли, слабости-ль человѣческой удивляться? И можетъ быть, не весьма огорчился святой малому обращенію человѣка въ катакомбной криптѣ.



Въ эти-же самые часы Женевьева работала съ той безсознательной добросовѣстностью, которая одинакова: въ ней, въ барышнѣ за прилавкомъ, дактило за машинкой. Она знала, что вялое свое, гибкое тѣло съ плавными бедрами (основою заработка) надо въ нѣкоторые часы выставлять: какъ на рынкѣ овощи, фрукты, рыбу. А для этого слѣдуетъ дѣлать круги по бульварамъ, съ видомъ независимо-горделивымъ: дама, вышедшая за покупками. Потомъ, по неписаному закону, зайти въ кафэ (здѣсь уже аллюромъ миссъ Вселенной). И надъ чашкою кофе сидѣть

долго, въ безразличіи оцѣпенѣнья. Впрочемъ, переводя взоръ по посѣтителямъ. Старику изъ провинціи, съ красными жилками на лицѣ, пьющему у окна витель — загадочно улыбнуться. Начать флиртъ съ веселымъ толстолицымъ коммивояжеромъ — и какъ только поднялся онъ и ушелъ (зря пропали заряды), вновь омертвѣть и пустыми глазами глядѣть на проходящихъ гарсоновъ — единственныхъ людей, съ ней разговаривающихъ по товарищески (нѣкоторыхъ знаетъ она и ближе, но никого не помнить по именамъ. И ее всѣ въ лицо знаютъ здѣсь, но никто не знаетъ, кто она).

Женевьева можетъ быть парижанкой, можетъ происходить изъ Гренобля, Тура или Нанта: никому до этого нѣтъ дѣла и никто этимъ не интересуется. На своей службѣ она дѣльная работница. Прогуловъ не знаетъ. Обязанности исполняетъ добросовѣстно и равнодушно. Когда очередной слѣгі спрашиваетъ, есть-ли у нея кто близкій, Женевьева покойно отвѣчаетъ:

— Non, monsieur.

Впрочемъ, вопросы такіе рѣдки.

...Нынче работа не весьма клеилась — изъ-за холода. Это обычно. Она не огорчалась. Потеплѣть, все будетъ наверстано. Сдѣлала кругъ мимо магазиновъ Лафайетъ, поглазѣла на свѣтовые каскады, на катанье со снѣговыхъ горъ въ окнахъ, на безликихъ манекеновъ, медленно за стекломъ вращающихся (ей они очень нравились). Искупалась въ зеленомъ и фіолетовомъ свѣтѣ, поочередно сверху насылаемомъ... Предрождественская толпа — толстая ма-маша съ дѣтьми, очереди передъ панорамами. Долго ей тутъ не приходится быть. Людской потокъ, что стремится къ Прэнтанъ — безчисленное море тѣлъ, лицъ, взглядовъ, смывающихъ, замывающихъ каждое отдѣльное лицо — вынесъ ее, съ однимъ-двумя перебойми у боковыхъ улицъ (волны поперечныхъ автомобилей), къ улицѣ Троншэ, тоже сверкавшей красною пестротой свѣта — столь

изячно-дробнаго, разсыпаннаго, такого парижскаго... Тутъ ужь свободнѣе. Двѣ знакомыхъ товарки подрагивали на углу улицы Матюрень. Женевьева улыбнулась имъ, и кивнула. Онѣ улыбнулись тоже. Какъ проходящіе корабли — Женевьева взяла курсъ на Мадлэнъ, а Жоржетта съ Денизой на Лафайетъ. Ихъ дальнѣйшее плаваніе въ сине-туманномъ Парижѣ, пронзаемомъ тысячью острыхъ огней, гудковъ, скрежетовъ автобусныхъ, не совсѣмъ одинаково. Жоржетта направилась въ кафэ, Дениза получила ангажементъ, Женевьева спокойной своей походкой дошла до Мадлэнъ, и когда огибала храмъ справа, столкнулась съ изящнымъ господиномъ въ скунсѣ, выходящимъ изъ капеллы Антонія Падуанскаго. По скунсу собралась было встрѣлится, но замѣтила знакомое пассійское лицо — при потушенныхъ огняхъ прошла мимо. Сосѣдей въ кліентурѣ быть не могло. Анатолій Ивановичъ, при всей разсѣянности своей, тоже обратилъ на нее вниманіе, хотѣлъ было поклониться. Но Женевьева уже вдали покачивала на ходу бедрами, оставляя эротическую фосфоресценцію. Это не занимало его сейчасъ: не безъ задумчивости брелъ онъ къ метро — собирался навѣстить Олимпіаду Николаевну.

А равновѣсіе трехъ встрѣтившихся дѣвицъ быстро возстановилось. Черезъ полчаса Женевьева получила ангажементъ, а Дениза сидѣла въ кафэ, потомъ обѣ дѣлали круги дальнѣйшіе, а выступала со своимъ номеромъ Жоржетта. Потомъ всѣ трое въ разныхъ кафэ сидѣли, въ разныхъ отеляхъ лежали — сочетаній оказалось порядочно. Зимній Парижъ, холодный, предпраздничный, тасоваль ихъ какъ хотѣлъ.

\*\*

Олимпіадѣ Николаевнѣ было подъ пятьдесятъ. Но на видъ не болѣе тридцати пяти. Она обладала удобнымъ свойствомъ, не столь рѣдкимъ у парижскихъ дамъ съ бюджетомъ отъ пятнадцати тысячъ въ мѣсяць: если не

молодѣть, то удерживать позиціи. Это не такъ трудно ей и давалось: помогала гигиена, техника и ровный характеръ. Основное правило жизни ея — не волноваться. Она любила себя спокойною, самоувѣренной любовью, твердо вѣрила въ свою звѣзду и со всѣми данными этими прожила довольно бурную жизнь. Бурность связана была съ красотою. Если Женевьева считала, что бедра кормятъ ее, то бѣлотѣлая, могучая Олимпіада съ гораздо большимъ правомъ могла сказать: «квартира моя — это я. Платья мои — я, брилліанты тоже я».

Происхожденія средне-низшаго, она рано вышла замужъ въ Калугѣ за доктора. Потомъ ее увезъ актеръ, въ Нижнемъ застрѣлился. На ней женился пароходовладѣлецъ. Потомъ влюбился инженеръ, потомъ попала она къ крупному картежнику въ Москвѣ. Началась война — она въ Польшѣ, съ санитарнымъ поѣздомъ. Нарядъ сестры милосердія весьма къ ней шелъ. И въ «маломъ Парижѣ» познакомилась она съ лодзинскимъ фабрикантомъ — начался разводъ съ судовладѣльцемъ. Тотъ умеръ во-время. Олимпіада превратилась въ польскую гражданку. По окончаніи войны много шатались они съ мужемъ по Европѣ, играли по всѣмъ Біаррицамъ и Довиллямъ. Мужъ проигрывалъ, Олимпіада выигрывала (ей везло). Правда, въ случаяхъ ея проигрыша платилъ онъ, она-же ему своихъ выигрышей не отдавала (но и проигрывала рѣдко — опять таки даръ характера и нѣкоторый опытъ молодости — уроки упсастаго игрока изъ Москвы).

Наступила минута, когда мужъ окончательно ей надобѣлъ. Она устроилась такъ, чтобы жить въ Парижѣ, его-же почаще, подольше засылать «на корону» — управлять тамъ дѣлами и имѣньями. Это давало ей свободу. Польская гражданка изъ Калуги посѣщала премьеры, пила чай у Ритца, причесывалась у Антуана и каждое утро Дора Львовна разминала ее все еще прекрасное, съ розовѣющею нѣжностью блондинки тѣло. У ней было много друзей и среди французовъ — титулованныхъ или промыш-

ленниковъ. Называли ее *la belle Olympre*. Съ русскими тоже водилась — безъ особеннаго разбора. Что-то русское, почвенное сидѣло въ ней, несмотря ни на какіе Парижи: скучно съ одними иностранцами. И потому — съ нѣкимъ опасеніемъ хлопотъ и просьбъ о помощи — предъ соотечественниками все-же не закрывала она дверей.

Анатолій Иванычъ сѣлъ въ метро на бульварѣ Османнѣ. Черезъ десять минутъ сороконожка станціи Трокадеро выносила его изъ глубинъ. Рядомъ ахали двѣ мидинетки — вѣчнымъ аханьемъ притворнаго страха — какъ бы не оступиться при выходѣ — хохотали, держались другъ за дружку. Анатолій Иванычъ любилъ эти лѣстницы. Поднявшись, оглянувся — нельзя-ли опять спуститься и подняться? Но было уже поздно, сонный типъ въ будкѣ — сзади. Зато выйдя на свѣтъ Божій, пересѣкши синюю въ вечерней мглѣ площадь съ золотыми огнями, онъ на улицѣ Франклэнъ не сѣлъ въ подъемникъ дома Олимпіады, а пошелъ пѣшкомъ: насколько любилъ ползучія гусеницы метро, столь-же ненавидѣлъ лифты — боялся ихъ. И медленно подымался сейчасъ по тихой, въ коврѣ, лѣстницѣ. Олимпіада жила въ четвертомъ этажѣ, съ балкономъ, видомъ на Трокадеро и зарѣче Парижа. Богатые французы обитали за массивными дверьми... Все здѣсь порядокъ, «благообразіе». Шаги неслышны по бобрику. «У консьержки, навѣрно, *les quelques six-sept cents mille francs d'économie*. Да, у нихъ все прочно, у французовъ».

Отворила горничная — изъ тѣхъ безразлично-послушныхъ парижскихъ существъ, что съ парадной своей стороны, обращенной къ хозяевамъ и гостямъ, напоминаютъ дѣтскія тѣни, въ дѣйствительности-же полны той самой жизни, страстей, зависти и желаній, какъ и ихъ повелители. Такая тѣнь — нынче Жюльетта, завтра Полина — прошептала, что мадамъ нѣсколько сейчасъ занята. «*Умсье rendez-vous?*» И безразличнымъ жестомъ пригласила въ гостиную. Столь-же привычно повернула выключатель

-- въ люстрѣ вспыхнулъ нѣжный свѣтъ, сразу выхватившей комнату изъ небытія. Мягкій коверъ — будто бобрѣкъ съ лѣстницы забрелъ и сюда. Виды Варшавы на стѣнахъ, мощный диванъ ампиръ изъ деревенскаго дома подъ Кѣльцами. Корельской березы рояль, узенькій, старомодный: не Шопень ли игралъ на немъ нѣкогда? Кустъ блѣдной сирени въ корзинкѣ.

Летейская тѣнь удалилась. Анатолій Иванычъ потушилъ свѣтъ. Комната тотчасъ угасла, зато другой міръ явился: за окнами, дальше рѣшетки балкона, за башнею Трокадеро замерцалъ золотистою чешуею Парижъ. Мракъ синѣлъ и туманѣлъ. Но драконъ шевелился въ немъ, отливая безчисленными, огнезлатистыми точками. Анатолій Иванычъ сѣлъ въ кресло. Было тепло, тихо, покойно. Изъ двери справа узенькая стрѣла свѣта по ковру. Голоса. Олимпіадинъ узналъ онъ сразу, другой, мужской, будто тоже знакомый.

Надъ дракономъ въ окнѣ вознеслась узкая золотая цѣпочка башнею, задрожала, обнаружила надъ собой красную голову, а на тѣлѣ выскочила цифра 6, и красная голова заструилась, замигала переливчатымъ пламенемъ.

Въ комнатѣ двинули стулья, встали. Дверь отворилась. Олимпіада вошла походкою плавной, медленной, точно пажъ долженъ нести шлейфъ королевскаго ея платья.

— Какая тьма...

Опять тайная сила пронеслась въ люстру. Мантии на Олимпіадѣ не оказалось, просто атласный пеньюаръ съ мѣхомъ. Сзади Михаилъ Михайлычъ.

— Анатолий тутъ, вонъ онъ гдѣ прячется. Одиный, въ темнотѣ... очень остроумно!

Анатолій Иванычъ подошелъ къ ручкѣ. Давнее знакомство, еще съ Польши, баккара съ мужемъ, нѣкія общія предпріятія съ Олимпіадой, все это установило какъ бы товарищескія, слегка за панибрата отношенія.

— А мы съ генераломъ цѣлые проекты строили... Да, трудныя времена.

Все тѣмъ-же плавнымъ шагомъ подошла она къ сирени, тронула ее у корня. Глаза стали серьезны. Тяжеловатая ноздри раздулись.

— Hélène!

Летейская тѣнь вынырнула изъ глубины.

— Вы не поливаете сирени. Совсѣмъ сухая!

— Я поливаю.

— Нѣтъ, сухая.

Тѣнь покорно исчезла. Въ передней раздался звонокъ. Олимпіада взглянула на ручные часы.

— Это мой адвокатъ. Дѣла, дѣла.. Генераль, попробуйте, какъ я совѣтую. Можетъ, что и выйдетъ. Я вѣдь дала вамъ карточку? Такъ. Анатолий, чай будетъ въ столовой, мнѣ только нѣсколько словъ, да подписать двѣ бумаги. Вотъ. У васъ, разумѣется, тоже неважно? Да, поговоримъ. Михаилъ Михайловичъ, если меня не дождетесь, то передайте Дорѣ Львовицѣ, чтобы захватила завтра эту книжку.

И la belle Olympe, положивъ руль вправо на бортъ, выплыла въ свой кабинетъ.

Анатолий Ивановъ ласково улыбнулся генералу.

— По-годите уходить. Выпьемъ по чашкѣ чаю.

Генераль имѣлъ видъ нѣсколько подавленный.

— Что-же мнѣ здѣсь чай пить. Я какъ проситель, съ письмомъ.

Анатолий Ивановъ взялъ его за рукавъ, слегка погладилъ.

— И я. И я тоже. Это... ничего!

Онъ серьезно, по-дѣтски, расширилъ глаза.

— Вы на халаты атласные.. не обращайтесь вниманія. Это — такъ полагается. А стѣсняться.. Не надо. Она вамъ общалась?

— Д-да-да.. что-то вродѣ консьержа въ замкѣ подъ Парижемъ.

Генераль вынулъ карточку, повертѣлъ въ рукахъ. Слегка пожалъ плечами.

— Я могу и консьержемъ, конечно...

— Консьержемъ, консьержемъ...

Анатолий Ивановичъ все улыбался — лукаво и поощрительно. Въ такое дурацкое, молъ, время, ничему удивляться не приходится.

Но въ столовой вниманіе его быстро оталеклось. На столикѣ стояла шхуна, изящно сдѣланная. Онъ показалъ на нее генералу.

— Это... мой подарокъ. И вмѣстѣ — реклама!

Онъ хитро улыбнулся.

— У нея здѣсь бываетъ немало народу, видятъ . иной разъ и мнѣ заказъ перепадеть. Есть вѣдь любители кораблей. Она меня познакомила съ однимъ старенькимъ французскимъ адмираломъ, премилѣйшимъ... Два брига заказалъ, и фрегатъ... А иногда мы съ ней и большія дѣла устраиваемъ.

Анатолий Ивановичъ блаженно улыбнулся. Вновь переживалъ радость хорошей комбинаціи. Но и генерала вѣсколько подбодрила шхуна.

— Вѣдь замѣчательно сработана, дѣйствительно... Вы что-же, морякомъ были, что-ли? Инженеромъ корабельнымъ?

— Нѣтъ! Никогда. И даже боюсь моря. Я по дипломатическому вѣдомству.

Генералъ посмотрѣлъ на него пристально. «Со странностями малый Прямо чудаковатъ».

Когда тѣнь съ именемъ Эленъ внесла чай, они сѣли у тяжелого дубоваго стола съ дневною скатертью — добротной красноватой матеріи.

Анатолий Ивановичъ задумался, побалтывая ложечкой въ стаканѣ.

— Я былъ младшимъ секретаремъ посольства, и казалось, все такъ навсегда, и служба, Россія. А теперь видите.. тоже очень нуждаюсь. Пожалуй, не меньше васъ. Тоже.. борюсь, но иногда падаю духомъ.

Онъ помолчалъ, потомъ вдругъ взялъ опять генерала за рукавъ, привѣтливо, и какъ бмъ съ грустью. — Вотъ и

подумаешь: къ чему? Вѣчно возиться, бороться, бѣгать, заниматься. Я сегодня къ Антонію Падуанскому заходилъ, помолился ему... Это, какъ вы думаете, поможетъ?

Въ комнатѣ тихо, свѣтло. Отопленіе слегка потрескиваетъ. Иногда по трубамъ что-то мелодически перебѣгаетъ. Генералъ сидитъ подъ струящимся свѣтомъ, въ незнакомой комнатѣ полузнакомой хозяйки, глядитъ на мало-знакомаго обитателя Пасси — полусосѣда, полутоварища. Ему тоже кажется, что пріоткрылась нѣкая стѣна изъ свѣтло-теплой столовой. Море житейское! Ему-ли не знать по немъ плаваній?

Но сейчасъ онъ бурчить:

— Что-жъ это къ Падуанскому? Вы развѣ католикъ?

— Нѣтъ, православный.

— Тогда лучше ужъ къ Сергію, или Серафиму.

Анатолій Иванычъ вдругъ забезпокоился.

— Напрасно къ Падуанскому? Значить, скорѣе-бы вышло, если-бы обратился къ преподобному Сергію?

Генералъ слегка фукнулъ.

— Опасаетесь, что вмѣсто Маклакова попали къ Моро-Джіаффері?

— Нѣтъ, но конечно естественнѣе мнѣ, какъ православному...

— Ничего, Богъ дастъ и Падуанскій, поможетъ.

Генералъ помѣшивалъ чай ложечкой, задумчиво смотрѣлъ на Анатолія Иваныча. Онъ уже нѣсколько освоился и съ мѣстомъ. Вѣжливый человѣкъ съ мигающими глазами, будто чего-то стѣсняющійся, не раздражалъ его.

— А по правдѣ говоря, очень многимъ русскимъ здѣсь нужна сейчасъ помощь. Дѣло серьезное-съ, очень серьезное...

— Серьезное, отозвался почтительно Анатоліій Иванычъ.

— И не столь въ смыслѣ матеріальномъ. Разумѣется, всѣмъ трудно. Приходится вотъ такъ пороги околачивать. Но главное не въ этомъ. Мы, военные, отлично зна-

емь, что такое въ борьбѣ моральная сторона. Самый ловкій и правильный маневръ можетъ разбиться о духовную стойкость. Вспомните у Толстого, Шенграбенское сраженіе. Да такихъ примѣровъ можно и изъ нынѣшней войны привести десятки. А такъ какъ нынѣшняя жизнь, по напряженности своей, очень похожа на войну, то и приходится съ опытомъ войны считаться.

— Конечно, война! Совершенно правильно.

Анатолій Ивановичъ все сочувственнѣе на него смотрѣлъ. Этотъ сухощавый старикъ, бѣдно одѣтый, среднее между испанскимъ грандомъ и аристократическимъ консьержемъ, нравился ему все болѣе.

— Я даже скажу вамъ такъ: наше положеніе походить на труднѣйшую фазу военныхъ дѣйствій — на отступленіе... Какъ мы въ Польшѣ, въ пятнадцатомъ году, лѣтомъ отступали... Сохранить въ отступленіи порядокъ и не пасть духомъ, не разложиться — это, знаете-ли... Здѣсь не мѣсто, разумѣется, рассказывать. Но какъ вспомнишь эти ночи іюльскія — въ темнотѣ полкъ движется, и съ трехъ сторонъ зарева. Только узенькій коридорчикъ туда, гдѣ Россія. Съ трехъ сторонъ нѣмцы. Какъ они насъ, почти безоружныхъ, вовсе не окружили — удивляюсь.

Генераль помолчалъ.

— Здѣсь, въ эмиграціи, многіе не выдерживаютъ, какъ и у насъ на фронтѣ случалось. Выскочить изъ окопа молоденькій прапорщикъ. Скажемъ, у него зубъ болитъ. Да изъ-за зубной боли трахъ, въ лобъ себѣ изъ погана. Вы замѣчаете, какъ часты стали у насъ самоубійства? Газъ, верональ, мало-ли что. Даже и преступления появились — ослабѣлъ народъ, оно понятно. Вотъ гдѣ духовная поддержка и нужна-съ. Это все равно, разумѣется, Сергій или Антоній, важна бодрость въ отступленіи, чтобы его достойно вынести. На заранѣе подготовленные позиціи! — Знаемъ мы эти позиціи. Вродѣ тогдашнихъ окопишекъ — бухнешься въ нихъ на зарѣ, и лежишь цѣлый день. Но что подѣлать, приходится... и теперь какъ

тогда, въ младшихъ бодрость поддерживать. Въ нашемъ, военномъ кругу, есть здѣсь извѣстное товарищество, связь. Въ нѣкоторой степени крѣпить. А нужно-бы и вообще, на всю эмиграцію.

— Вотъ именно на всю! Вы правильно сказали, совершенно правильно. На всю!

Анатолій Иванычъ вполнѣ оживился. У него былъ такой видъ, что онъ готовъ, сейчасъ-же, поддерживать и укрѣплять не только военныхъ, но и всю эмиграцію. А, пожалуй, и весь свѣтъ.



Онъ это и высказалъ. По его мнѣнію, русскіе должны были объединиться, устроить содружескія артели, образовать общій фондъ и въ концѣ концовъ избрать себѣ правительство, въ противовѣсъ третьему интернаціоналу. Центръ долженъ быть въ Парижѣ, а отдѣленія разбросаны по всему свѣту.

Генераль допилъ чай, всталъ. Ему вдругъ стало нѣсколько не по себѣ. Что-то ужъ очень, тово... занеслись. И самъ онъ впалъ зачѣмъ то въ разглагольствованія и воспоминанья — въ чужомъ мѣстѣ, куда попалъ отступая — передъ полузнакомымъ человѣкомъ двусмысленнаго, не-солиднаго тона...

Анатолій Иванычъ сталъ его удерживать — будто былъ тутъ хозяиномъ. Генералу это еще меньше понравилось. Онъ вѣжливо, но прохладно попрощался и вышелъ.

...Нѣсколько словъ и двѣ бумаги Олимпіады затянулись. Ожидая ее, Анатолий Иванычъ подошелъ къ невысокому буфету и досталъ коньяку. Видъ бутылки со звѣздочками и коричневато-златистой жидкостью не огорчила его. Первую рюмку онъ выпилъ сразу, не отходя, вторую налилъ до краевъ, бережно донесъ къ столу и уважительно поставилъ на серебряный подносикъ: къ такому коньяку не могъ отнестись легкомысленно. Эту вторую выпилъ.

уже медленно, заѣдая кусочкомъ сахара. Но фатально вторая повлекла третью, погружая въ коричневато-золотистыя фантазіи.

Въ этомъ состояніи — мечтательной разслабленности — и застала его Олимпіада Изъ гостиной выходилъ адвокатъ. Она была нѣсколько недовольна, поправляла у зеркала волосы Свѣтлые глаза глядѣли хмуро.

— Столько всякихъ неприятностей Съ этой Польшей чортъ ногу сломить. А еще былъ-бы рядомъ толковый мужчина А вы вѣдь знаете, онъ тамъ по части скачекъ да картъ. Дѣла всѣ на мнѣ. Вы, конечно, уже выпиваете Дайте и мнѣ рюмку Устала Толстѣешь отъ коньяку — обращаюсь въ Стаэле. Ну, одну рюмочку.

Анатолій Ивановичъ налилъ, она прочно, по мужски опрокинула. Ноздри слегка раздулись.

— Вотъ Теперь тепло.

Она провела рукой по горлу и верхней части груди

— Анатолий, у васъ, конечно, тоже нѣту денегъ? Вы потому и пришли? Скажите прямо: занимать, или совѣтоваться?

Анатолій Ивановичъ сталъ ласково и бессмысленно улыбаться. Олимпіада налила себѣ вторую.

— Коньякъ неплохой, это мнѣ подарокъ. По вашей улыбкѣ я вижу, что и занимать, и совѣтоваться. Превосходно. Взаимы я вамъ дамъ пятьдесятъ.

Онъ всталъ, поцѣловалъ ей ручку.

— Мнѣ нравится въ васъ эта бессмысленная улыбка, и вообще ваша бессмысленность Я вамъ ни чуточки не доверяю, и все-таки веду съ вами дѣла, потому что у васъ пріятный характеръ. А я больше всего не люблю раздражаться, волноваться.

Она сѣла въ кресло, вытянула могучія ноги, опершись пятками на низкій пуфъ, и ея крупное, холеное тѣло какъ бы успокоилось въ удобномъ футлярѣ Полузакрыла глаза, подняла голую руку и опять поправила волосы —

низкій завитокъ знаменитаго парикмахера точно лѣнивый звѣрь.

Начался разговоръ о дѣлѣ — все о той-же картинѣ, которую греку онъ, разумѣется, не продалъ, и теперь рѣшилъ безъ Друцкого попробовать съ Олимпіадой. Она сначала посмѣивалась. Потомъ стала серьезнѣй. Фрагонарь... да, отказываться нельзя. Были и собственные предложенія, но это мельче. Она сдѣлала надъ собой усиліе, встала съ стола къ столу и въ спокойномъ, дѣловомъ тонѣ принялась обсуждать, къ кому обратиться, что спрашивать.

### ПОВЕДЕНІЕ ДОРЫ.

— Ай, какіе пустяки! Если тебѣ Фанни говоритъ, что беретъ твоего святошу въ Ниццу, такъ ужъ она зря не скажетъ!

Дора сдѣлала нѣсколько заключительныхъ пассовъ по округлымъ, съ жиркомъ и начинающимъ сбиваться (какъ кисель) ляжкамъ Фанни — отошла отъ постели.

— Я нисколько и не сомнѣваюсь, что ему будетъ хорошо у тебя. Все-таки, жаль разставаться.

Подъ струею воды въ умывальникѣ она мыла руки.

— Ну, да, да, что за сантиментальности. Я-же ему двоюродная тетка. Онъ меня обожаетъ. Какойнибудь мѣсяць-полтора на Котъ д'Азюръ. Подумасшь, велика радость одному цѣлый день сидѣть и съ этимъ твоимъ генераломъ объ орденахъ и архіереяхъ разглагольствовать...

Фанни лежала на постели совершенно голая, въ голубомъ чепчикѣ, съ намазаннымъ кремомъ лицомъ. Кремъ клался для того, чтобы предотвратить морщины, но живые глаза, нервность и подвижность Фанни портили все. Да и годы мѣшали. Она соскочила съ постели, подошла къ вѣсамъ. Неважно сложена Фанни — съ полнымъ бюстомъ, низкимъ тазомъ, несовсѣмъ правильными ногами ( кое-гдѣ

синѣли на нихъ узлы венъ). Но бодрое, неунывающее не покидало ее никогда.

— Дора, ты великая массажистка. До тебя я приняла полкило, а теперь убавляю.

— Очень рада. А насчетъ Рафы — конечно, ему очень полезно пожить въ новыхъ условіяхъ, и на солнцѣ. Я не со всѣмъ знаю, какъ онъ самъ относится...

Зазвонилъ телефонъ. Фанни накинула халатикъ, подошла къ аппарату.

— Софья Соломоновна? Да, я. Ну, какъ вчера сошло? А Іезекіиль Лазаревичъ? Выигралъ? Ну, ему всегда везетъ. Въ пятницу? Я кажется занята. Если не ошибаюсь, бриджъ у Дубовскихъ.

Дора, слегка улыбаясь, вытирала руки о мохнатое полотенце. Все это знала она наизусть: вѣчныя перекрещиванія примѣрокъ съ дневными сиема, бриджей съ поккерами, благотворительныхъ баловъ съ вечерами писателей. Да, телефонъ Фанни работалъ. По финансовому положенію мужа, и по добротѣ характера, состояла она въ черномъ списокѣ всѣхъ Союзовъ, Комитетовъ, Землячествъ. Всѣ присылали ей билеты. Если бы ходила аккуратно, то и ногъ не хватило-бы.

Но сейчасъ это лишь мелькнуло передъ Дорой. Занята она была другимъ.

— Ну, такъ имѣй въ виду, въ среду я уѣзжаю. Рѣшай не позже понедѣльника. И позвони. Совѣтую попросту спросить молодца. Онъ умный. Пойметъ, что у тети Фанни скучно не будетъ.

Дора Львовна одѣлась и вышла. Начинаясь ея трудовой день — отъ груди къ животамъ, отъ спинъ къ ляжкамъ — если-бы внезапно остановились вѣсы и замолкли доктора, отправляющіе здоровенныхъ дамъ на отдыхъ, тотчасъ лишилась-бы она и скромной квартирки въ Пас-си. Но вѣсы дѣйствовали. Доктора не унывали. И материальное пока Дору не угнетало. Дунта-же не была покойна.

Во-первыхъ, Рафа. Конечно, сидѣть съ генераломъ, слоняться по дому и по квартирамъ русскихъ не такое ужъ замѣчательное занятіе. Учится онъ мало и случайно; дѣйствительно, набирается отъ генерала всякой старомодной премудрости. Теперь не то, вовсе не то нужно! Этакихъ генераловъ поставляли барскія усадьбы. А въ эмиграціи, при борьбѣ за существованіе... Нѣтъ, скорѣе въ Лицей — надо было еще осенью отдать. Будетъ онъ бѣгать въ беретикѣ, пойдутъ всякія compositions, башо... — и незамѣтно станетъ инженеромъ, уѣдетъ въ колоніи. Дальше думать не хотѣлось. Дальше опять начинались какія-то печальныя вещи — вродѣ одинокой старости при непрерывныхъ чужихъ животахъ и ляжкахъ. Дора Львовна вздыхала, помалкивала. «Объ этомъ незачѣмъ думать. Природа такъ создала, значить, и надо жить».

А вотъ сейчасъ: отпустить, все-таки, Рафу на югъ, или отказаться? Тоже вопросъ — это второе, что ее занимаетъ.

Конечно, ему любопытно. Но весь духъ Фанниной жизни... «Безтолковщина, роскошь, карты, шумъ, синема...» Въ будущемъ видѣла она Рафу юношею серьезнымъ, трудолюбивымъ, никакъ не снобомъ въ широкихъ штанахъ. «Эти замашки легко прививаются, а изволь-ка отъ нихъ отвыкнуть».

Здравый смыслъ говорилъ, что скорѣе пускать не слѣдуетъ. И весь день, передвигаясь съ авеню Анри Мартэнъ на Малаковъ, съ Малакова на Токио и Куръ ля Рэнъ, отъ большихъ животовъ къ малымъ, отъ однихъ вентъ къ другимъ, ощущала она какую-то занозу — къ вечеру надо принять рѣшеніе. Оно, будто-бы, и вполнѣ ясно, но не такъ легко дается. «Надуваю какъ-то себя...», подумала, сѣдаясь въ автобусъ, съ которымъ всегда возвращалась.

Сошла съ него и медленно брела по улицѣ Помпъ. Порошилъ снѣжокъ, таялъ, дѣлая пестрыми тротуары: слѣды печатались чернымъ въ бѣлосой мглѣ, кое-гдѣ прерываемой проталинами. Машины скользили. Пѣшеходы

тѣснѣй жались къ домамъ, и желтый свѣтъ кондитерскихъ, быстро, книжныхъ магазиновъ косымъ столбомъ выхватывалъ культурно-европейскія снѣжинки неба парижскаго. Здѣсь, свернувъ въ переулочекъ, можно было увидѣть за невысокой стѣной каштаны дома Жапенъ. Можетъ быть, одно окно свѣтится — то, настоящее, которое какъ разъ и нужно. А можетъ быть, только что оно погасло, и нѣкій худощавый и высокій человѣкъ, такъ удачно тогда помогшій купить вино, поднявъ скунсовый воротникъ, съ пустымъ желудкомъ вышелъ за добычей и вотъ-вотъ съ нимъ встрѣтишься, хоть бы у той лавченки.

А можно-ли, встрѣтившись, не взволноваться? Рафино рожденье... Какъ все неожиданно случилось! Ну, конечно, слабость. Отъ волненія, смущенія не спала ночь. «Рафа, вѣдь, раздѣвался у себя въ комнатѣ, могъ войти». «Какъ послѣдняя...» «Да, но съ другой стороны... Не маленькая, свободный человѣкъ, захотѣла и полюбила. Тѣло тоже имѣетъ свои права» — и шли естественно-научныя размышленія.

А онъ, самъ-то онъ? Случайность? Можетъ, завтра будетъ стыдиться, не узнаетъ на улицѣ?

На другой день никуда не годилась согрѣшившая Дора — всѣ массажи ея чуть дышали, животы и груди удивлялись, какъ небрежно, слабо, неумѣло обращались съ ними крѣпкія прежде руки.

«Ну да, ну все это чепуха, мало-ли что бываетъ съ одинокой женщиной...» «Да и онъ не подумаетъ обо мнѣ вспомнить... Но какъ разъ тѣмъ-же вечеромъ, какъ рѣшила это и частію даже успокоилась (эпизодъ, пустякъ) онъ и явился, около десяти. Рафа уже спалъ. Сидѣли вдвоемъ. И всѣ эти мысли ушли. Опять онъ улыбался, былъ тихъ, очень нѣженъ, настолько нѣженъ... Стыда она не чувствовала. Подозрѣвала-ли Капа, что онъ тутъ-же, чуть ли не за стѣной? Что ушелъ въ третьемъ часу ночи и вповь Дора не спала, теперь уже вовсе ослабѣвшая, въ блаженной усталости, въ ощущеніи жизни, любви, силы?»

Уходя, Анатолий Ивановичъ сказалъ, что придетъ на другой день вечеромъ. Дора купила бутылку Brâne Cantenas, спрятала его, спрятала и угощеніе, разставила все лишь когда Рафа заснулъ. Чтобы не будить его, входную дверь не заперла.

Сыръ честерь, заварной черный хлѣбъ, ветчинка и шпроты такъ и простояли до полуночи — никто ихъ не тронулъ. Подогрѣлся и Brâne Cantenas — никто не откупорилъ его. Неприятное чувство хозяйки... Дора одно лишь подумала — что нибудь вовсе особенное его задержало? Но прошло еще два-три дня, и еще семь дней. «Это ужъ совсѣмъ странно...» А онъ не нашелъ ни сколько страннымъ. Въ нѣкій моментъ встрѣтилъ ее, выходя отъ Капы, такъ-же любезно и мило, какъ тогда въ виноторговлѣ — на недоумѣнный взоръ улыбнулся, взялъ подъ руку и повелъ по улицѣ Помпъ, объясняя, что тогда никакъ не могъ, неожиданно его вызвали по дѣламъ. «Отчего-же потомъ не зашли?» А вотъ все разные пустяки... Но онъ всегда, и съ великимъ удовольствіемъ зайдетъ, напримѣръ, завтра. Дора смотрѣла на него сбоку, видѣла, какъ онъ слегка нагибалъ впередъ голову, точно близорукой — кто онъ ей, свой, чужой, любовникъ, учтивый сосѣдъ? Нужно-бы сразу рѣшить: или идти по другому, или совсѣмъ не идти. Но она именно шла и смотрѣла, и не совсѣмъ по разумному шла. А на завтра онъ дѣйствительно явился, и дѣйствительно такъ, что и Рафа спалъ, и честерь опять былъ, и Brâne Cantenas не пропалъ понапрасну.

Когда уходилъ, она спросила:

— Вы часто у Капы бываете?

— Да, бываю. Она прекрасная дѣвушка, но съ тяжелымъ характеромъ...

Дора смотрѣла пристально.

— Она вновь ваша любовница?

— Я служилъ одно время шофферомъ у Стаэле. Она жила тамъ лектрисой. Мы очень дружили.

— Конечно, любовница...

— Я иногда захожу къ ней. Она прекрасная дѣвушка.

— Я не ревнивая, сказала Дора покойно. — И не имѣю на васъ никакихъ правъ. Но мнѣ хотѣлось-бы, все-таки... ну, напримѣръ, какъ держаться съ Капитолиной Александровной? Она знаетъ... что вы ко мнѣ заходите?

— Это неважно. Лучше ей, разумѣется, не знать... — Онъ говорилъ разсѣянно, какъ о неинтересномъ. — У нея тяжелый характеръ.

«Хорошо», думала Дора, оставшись одна: «конечно, она болѣзненная дѣвушка, меланхоличка и, должно быть, истеричка. А я здоровая массажистка сорока трехъ лѣтъ. И такъ легко сблизилась съ нимъ, что, понятво, никакихъ на него правъ не имѣю. Такихъ, какъ я, у него были десятки. И мы, здоровыя и случайныя, должны оберегать этихъ достоевскихъ дѣвушекъ, которыя, впрочемъ, тоже довольно легко отдаются, но потомъ разводять безконечныя исторіи». Дора долго чистила зубы, мылась, причесывалась, все старалась дѣлать медленнѣе и покойнѣе, чтобы не смотря ни на что получше заснуть и вообще не терять силъ понапрасну: завтра вѣдь трудовой день. Дѣйствительно, улеглась очень покойно. Чтобы лучше спать, приняла таблетку діала, и въ концѣ концовъ, правда, спала. А на другой день работала, все шло разумно и философично, но нельзя сказать, чтобы въ глубинѣ покой. Что то должно придти, какъ-то окончательно выясниться. Тогда то, собственно, настоящее и начнется. Дора всѣ эти дни ждала. И когда Фанни предложила взять Рафу на февраль въ Ниццу, ее именно то и смутило, что хоть это и неправильно, а все-же что-то есть... Рафы не будетъ, все иное, она свободная и помолодѣвшая. Становилось даже стыдно — точно Рафа мѣшаетъ? Онъ чудесный мальчикъ, единственное, что прочно привязываетъ ее къ жизни... — раньше Дора покойнѣе къ нему относилась, но сейчасъ вдругъ предсталъ онъ въ особо-пронзительномъ; сантиментальномъ родѣ. Стало казаться, что только въ немъ

все — вмѣстѣ съ тѣмъ такъ-же сильно хотѣлось, чтобы сейчасъ онъ уѣхалъ.

Такъ подходила она къ своему дому, въ мокромъ, летящемъ сибѣгѣ. Окно у Жанень не свѣтилось. Скуновъ воротникъ стрѣлялъ уже гдѣ-то по Парижу.



Почти у подъѣзда встрѣтила Капу. Та шла наклонивъ голову въ небольшой шляпкѣ, угловато, несовсѣмъ складными шагами. Держала въ рукѣ сумочку и какъ будто на нее внимательно смотрѣла. Оттого лишь въ послѣдній моментъ и замѣтила Дору — когда та взялась за мѣдную шишку — особый приборъ въ ихъ домѣ: надо потянуть, и немолодая, нелегкая дверь съ рѣзбою медленно пріотворится. Дора не оказала на нее никакого дѣйствія: Капины сѣрые глаза равнодушно глядѣли изъ пещеръ — на Дору-ли, на дверь, на-троттуаръ, кому какое дѣло?

Дора первая протянула руку — бѣлую, сильную свою руку, и взглянула спокойнымъ, медицински-основательнымъ взоромъ: съ истеричками иначе нельзя.

— Сыро сегодня. У меня ноги промокли.

— У меня тоже, отвѣтила Капа.

Онѣ въ скудномъ освѣщеніи подымались по лѣстницѣ.

— Сейчасъ-же снимите чулки, разотрите ноги спиртомъ. Самое время гриппа.

Небогатый свѣтъ скользнулъ по лицу Капы, усталому, съ большими кругами подъ глазами. Глаза на этотъ разъ, встрѣтившись съ Дориными, чуть пристальнѣй на нихъ остановились. Она слегка улыбнулась.

— Хорошо. Такъ и сдѣлаю.

Вкладывая ключъ, Дора еще разъ обернулась.

— Навѣрно, у васъ холодно. Рафа вамъ мгновенно затопить. У насъ и растопки есть, и булетки. Прислать его?

— Нѣтъ, благодарю васъ. Я сама.

— Какъ хотите.

Дора вошла къ себѣ, зажгла свѣтъ въ передней. Рафа

былъ дома. Она не видѣла его въ эту минуту — онъ занимался чѣмъ-то у себя, но какъ всегда безошибочно опредѣлила его присутствіе: квартирка была живая, въ глубинѣ ея маленькій человекъ занимался какими-то своими нехитрыми дѣлами, наполняя собою все.

Раздѣвшись, Дора черезъ столовую прошла къ нему, въ ихъ общую комнату — больше походила эта комната на Рафу, впрочемъ. Его столъ, кровать, игрушки, книги, архіереи въ изголовьѣ. Дора все это знала и любила. Но сейчасъ чувствовала себя неблестяще. «Почему это я о ней вдругъ такъ забеспокоилась?» Показался натянутымъ самый тонъ. «Фальшь, неправда...» — Ее смущало, почти раздражало что-то. «Еще я-же и виновата выйду? И буду извиняться?»

— Я знаю, что это мама пришла. Я твои шаги еще на лѣстницѣ узнаю.

Лампа съ темнымъ абажуромъ, бросавшая рѣзкій свѣтъ на столъ и бумагу, оставляла нѣсколько въ тѣни лицо Рафы съ черными локонами надъ черными глазами. Но бѣлая, изящная рука ярко была освѣщена. При входѣ матери онъ всталъ, держа эту бумагу, подошелъ, прислонился головою къ теплой материнской груди. Дора его поцѣловала.

— Что это у тебя?

— Подписной листъ. Я долженъ собирать со знакомыхъ, кто сколько можетъ.

Дора взяла бумагу. «Комитетъ помощи Свято-Андреевскому скиту близъ города Бовэ»... «Архимандритъ Никифоръ»... И на первомъ мѣстѣ, въ списокѣ жертвователей: «Рафаиль Лузинъ, 5 франковъ».

«Пожалуй, что Фанни права. У него здѣсь, дѣйствительно, слишкомъ однообразныя впечатлѣнія».

— Откуда ты это получилъ?

— Листы принесть генералу іеромонахъ Мельхиседекъ. Я тамъ присутствовалъ.

— И тебѣ дали листъ?

— Pas exact. Отецъ Мельхиседекъ сначала сталъ смѣяться. Но потомъ, когда я настаивалъ, сдѣлался болѣе серьезный и въ концѣ согласился. Генераль также одобрилъ. Онъ сказалъ, что если я и мало соберу, все-таки это будетъ хорошо.

У Рафы былъ очень значительный, почти важный видъ — человѣка, увѣреннаго въ своей правотѣ и готоваго отразить нападеніе. Дора Львовна, впрочемъ, и не собиралась нападать. По ея педагогическимъ взглядамъ, не надо оказывать давленія на ребенка: кромѣ свободы, которую всегда защищала, помнила она и законъ обратнаго дѣйствія: стоить лишь приказать, какъ разъ вызовешь чувство противоположное — сопротивленія, вражды. И она стала развивать обходный маневръ.

— Значить, ты теперь мытарь?

Рафа не зналъ, что такое мытарь.

Она объяснила, но онъ не согласился: тѣ взидали налоги, а онъ собираетъ пожертвованія. Дора спорить не стала. Велѣла ему накрывать на столъ. Сама живо поджарила свиныя котлетки съ капустой, и за обѣдомъ спросила, помнитъ-ли онъ, какъ они три года назадъ были подѣ Ниццей, въ Cagnes. Рафа отлично помнилъ. И удивился, почему его объ этомъ спрашиваютъ.

— Тебѣ тамъ вѣдь нравилось?

— Да, хорошее мѣсто.

— Тетя Фанни приглашаетъ тебя въ Ниццу, на мѣсяць.

Онъ неопредѣленно поболталъ головой. Докончивъ обглаживать ножку котлеты — съ лоснящимися разводами на щекахъ — сказалъ:

— А она позволить мнѣ собирать подписку?

— Тетя Фанни тебя очень любитъ.

Рафа спокойно, и нѣсколько равнодушно смотрѣлъ на мать черными своими, прекрасными глазами. То, что тетя Фанни любитъ его, Рафу не удивляло. Онъ привыкъ къ любви. Странно было-бы его не любить! Разумѣется, тетя Фанни сдѣлала ему на рожденіе хорошіе подарки.

И онъ милостиво согласился.

— Пусть подарить мнѣ хорошее ю-ю...

— А ты будешь по мнѣ скучать? вдругъ спросила Дора.

Онъ улыбнулся, всталъ, обнялъ ее.

— Да. Такъ себѣ. Если будетъ весело, то соскучаюсь не очень.

— Соскучусь, поправила Дора, и вдругъ нѣжно его поцѣловала. — Хорошо, что тутъ нѣтъ генерала твоего...

Сидя у ней на колѣняхъ, онъ рассказалъ, какъ гуляли они сегодня съ генераломъ въ паркѣ Мюзеттъ. «Тамъ, знаешь, одна дѣвчонка, Симоннъ, все меня дразнила. Она мнѣ кричала *ainsi: chateau, chateau!* Я хотѣлъ тоже ее обругать, но вспомнилъ, генераль говоритъ, что съ дѣвчонками нельзя ругаться. И я удержался».

Дора Львовна порадовалась. «Ну, видишь, какой умникъ». «Да, и не обругалъ ее. Но потомъ, знаешь-ли, все-таки немного побилъ».

«Въ этой неустроенной жизни онъ довольно сильно отъ меня отвыкъ...» думала Дора позже, когда Рафа уже спалъ, и нѣжныя дѣтскія его черты стали еще нѣжнѣй, трогательнѣй на бѣлизнѣ подушки. Этотъ маленькій человекъ будто-бы былъ предложенъ, въ беззащитномъ своемъ снѣ, какъ агнецъ — таинственной безднѣ... Онъ дышалъ ровно, легкая тѣнь лежала вокругъ глазъ, придавала невыразимую грусть лицу, съ прозрачною кожей, синими кое-гдѣ жилками — въ нихъ стучало вѣчнымъ, неумоляемымъ стукомъ сердце.

— Они считаютъ, что въ человекѣ живетъ бессмертная душа, и продолжаетъ жить послѣ смерти. Это было бы очень хорошо... Но это непонятно!

Подъ «они» разумѣла она странныхъ людей вроде генерала, Мельхиседека и еще другихъ — ихъ появилось въ послѣднее время довольно много въ интеллигенціи. Дора Львовна въ юности считала религію признакомъ реакціи, но теперъ относилась нѣсколько иначе. Все-таки, это

для нея чуждый міръ. И сейчасъ, глядя на Рафу, она даже вздохнула: ей бы очень хотѣлось, чтобы у него была безсмертная душа. Но она увѣрена была, что этого нѣтъ и не можетъ быть.

— И вѣдь я въ первый разъ расстаюсь съ нимъ.

\*\*

На Лионскомъ вокзалѣ, подъ огромнымъ стекляннымъ навѣсомъ, клокотали и дымили паровозы. Линія пригородовъ тащила маленькіе старомодные вагончики. На путяхъ дальняго слѣдованія стояли пульмановскіе составы гармоніей, со спальными и вагономъ рестораномъ. По временамъ паровозы прочищали себя внутренности — пускали изъ поршней облака пара, со свистомъ и шипомъ, наводя оцѣпленіе. Паръ клубами валилъ къ желѣзо-стеклянной крышѣ — на минуту становилось похоже на баню. Носильщики катили вагонетки съ вещами. У третьяго класса гоготали солдаты въ голубомъ—вѣчнымъ гоготомъ молодыхъ жеребцовъ. Пожилыя дамы, марсельскаго происхожденія, съ усиками, въ черныхъ платьяхъ, съ дешевенькими чемоданчиками и кульками, расправляя юбки чинно усаживались въ купэ. Виднѣлось нѣсколько смуглыхъ марокканскихъ рожъ — сухой, противный говоръ.

Фанни катила по перрону къ первому классу, едва поспѣвая за носильщикомъ, стараясь не потерять ныряющую его ладью на колесикахъ. Суета, многословіе, волненіе расходилось отъ нея кругами, какъ отъ камня, брошеннаго въ прудъ.

— А, вотъ и путешественникъ! Таки ужъ онъ здѣсь, пора, сейчасъ займемъ компартиманъ, у тебя все съ собой, ничего не забылъ? Здравствуй, Дора, устроимъ его отлично... Все хорошо.

Рафа и Дора Львовна ждали уже у синяго вагона, гдѣ африканцамъ быть не полагалось. Только что вошла худенькая англичанка, потомъ сытая французская дама съ мужемъ. — Рафа въ каскеткѣ, новомъ пальто, спортивныхъ

штанахъ ниже колѣнъ — дальше пестрые чулки, желтые башмаки: хоть бы и не изъ русскаго дома въ Пасси. Въ рукѣ очень приличный чемоданъ.

Проволновавшись сколько полагается, раза три пересчитавъ вещи, Фанни усѣлась, съ видомъ довольной изнеможенности, на бархатномъ диванѣ съ бѣлой кружевной накидкой — Р. Л. М. Обмахнула лицо платкомъ.

— Дора, ты можешь быть совершенно покойна. У те-ти Фанни твоему молодцу плохо не будетъ. Привезу жирнаго, веселаго...

Рафа не очень ее слушалъ. Съ видомъ знатока осматривалъ купе, вышелъ въ коридоръ, потрогалъ оконное стекло.

— Это старый вагонъ. На Р. Л. М. все вообще плохое. И постоянныя крушенія.

— Ты слышишь, какъ онъ разсуждаетъ? Откуда ты это знаешь?

Рафа пожалъ плечами съ такимъ видомъ, что стоить-ли, молъ, разглагольствовать съ теткой о вещахъ самоочевидныхъ?

Дора Львовна держалась покойно. Собою владѣла, считала, что распускаться не слѣдуетъ. Но было у ней несо-всѣмъ пріятное чувство: точно передъ Рафой она въ чемъ-то виновата. Сплавляетъ? Нѣтъ, пустяки, конечно. «Очень глупо было-бы не дать ему возможности провести мѣсяць на югъ...»

Когда подошелъ часъ послѣднихъ поцѣлуевъ и вѣ-ромъ стали захлопываться двери, Рафа тоже присмирѣлъ. Дора крѣпко и нѣжно, слегка поблѣднѣвъ, его поцѣло-вала.

— Если соску... чусь, сейчасъ-же къ тебѣ пріѣду.

— Непремѣнно. Пиши!

Фанни кивала изъ окна. Онъ вспрыгнулъ на площадку: Дверь захлопнули, содроганіе прошло по тѣлу поѣзда, онъ качнулся и тронулся. Личико Рафы съ темными локонами было видно за стекломъ, Дора шла за поѣздомъ:

Потомъ тяжкая змѣя все сильнѣй стала надавать, обращаясь въ стрѣлу, пущенную изъ лука — ей летѣть въ вѣчернѣющей мглѣ полей французскихъ, громыхая и блестя огнями — къ дальнему морю. Буржуа и марокканцы, Рафа, Фанни и солдаты въ голубыхъ шинеляхъ — все уравнено въ нѣкоемъ небытіи.

### ПАРОХОДЪ КАПИТОЛИНА.

.....

Генераль собирался уже уходить, подошелъ къ ручкѣ Доры. На лѣстницѣ послышались голоса. Дора отворила дверь. Генераль вышелъ на площадку, высунулся въ пролетъ — быстро побѣжалъ внизъ. Дора нагнулась надъ перилами. Кого-то медленно, поддерживая, вели вверхъ. Показалась фуражка шоффера, Людмила. Генераль поддерживалъ Капу съ другой стороны.

Ноги Доры похолодѣли. Непрiятно было-бы двигать ими. Капа безцвѣтными, нѣсколько осоловѣлыми глазами провела по всему окружающему, пока Людмила вставляла дверной ключъ. Запахло Людмилиными духами.

Черезъ нѣсколько минутъ, уложивъ Капу, Людмила мыла въ кухнѣ руки. Ея худое, изящное тѣло было въ нѣкоемъ волненіи. Брызги изъ-подъ крана попадали на рукава.

— Вѣчныя съ ней исторіи. Въ двѣнадцать часовъ сѣла въ ресторанчикъ мерлана. И, конечно, именно ей и попался несвѣжій. Тошнота, рвота... хорошо, что и я нынче случайно тамъ завтракала...

Дора стояла лицомъ къ свѣту. Была нѣсколько блѣдна, черная выбившаяся прядь, какъ и древніе глаза, придавали ей оттѣнокъ Рахили.

— А какой у ней пульсъ?

— Я того-же самаго мерлана ѣла — мерланъ какъ мерланъ, ничего не случилось... Ну, впрочемъ, вѣдь это Кап-

ка. У насъ въ Севастополѣ пароходъ одинъ такой былъ. То пожаръ на немъ, то взрывъ большевики устроили. Выйдетъ въ море - - сейчасъ буря. Просто двадцать два несчастья. Назывался онъ какъ разъ «Капитолина».

— У нея сердце слабое, сказала Дора. — Я еще по гриппу помню. У меня есть дигитались. А вы пульсъ пока посчитайте.

Генераль поднялся наверхъ («если что нужно, пусть постучать въ потолокъ»). Дора прошла къ себѣ, принялась разбирать на полкѣ скляночки. «Я снова при ней... Сейчасъ придетъ Анатолий, а я тутъ». Все получается какъ-то странно. «Пароходъ Капитолина...» Эта угловатая дѣвушка со своими глазищами и невропатологической конституціей просто входитъ въ ея жизнь. Дора знала себя. Теперь ужъ не можетъ она не найти дигиталиса (да и вотъ онъ, какъ разъ, съ бѣленькою наклейкой, капельницей при склянкѣ). Доктора никакого не надо. Эта Людмила посидитъ десять минутъ, оставитъ слѣдъ дорогихъ духовъ и уѣдетъ въ maison. Но кормить и лѣчить будетъ она, Дора, полу-докторъ, полу-массажистъ, полу-благодѣтель человечества. «Это всегда такъ и было. Деньги, помощь, лѣкарство, это я. Тотъ самый Богъ, въ котораго вѣрятъ генераль съ Рафаиломъ и всѣ Рафаиловы архiereи, выбралъ для разныхъ христіанскихъ дѣлъ меня, еврейку, а не христіанку». По добросовѣстности своей, Дора тотчасъ-же поправила: «Впрочемъ, я не возражаю. И не отказываюсь. Тѣмъ болѣе, что и Богъ, если онъ существуетъ, конечно, одинъ и для христіанъ и для евреевъ».

Все это такъ — и все-же.. что-то связывало ее съ этой «Капитолиной». И не спрашивали ее, хочетъ она того, или нѣтъ.

Когда Дора вернулась, Людмила грѣла на кухнѣ воду. Пульсъ оказался, конечно, слабый. Капа покорно приняла дигитались. Лежала на постели укрытая старой шубкой, остроугольная, ставшая совсѣмъ небольшой. Дора сидѣла съ ней рядомъ, будто здоровье и судьбу ея взвѣ-

шивала на медицинскихъ вѣсахъ бѣлыми своими руками.

— Теперь вамъ будетъ лучше. Сердце правильнѣй работаетъ. Организмъ легче одолѣетъ яды.

Дора говорила ровно, твердо, какъ съ больными. Но собственное ея сердце, хоть безъ дигиталиса, билось довольно сильно — нѣсколько больше, чѣмъ бы полагалось. «Все равно, надо молчать, сохранять спокойствіе».

Она не потеряла его и когда раздался стукъ въ дверь ея квартиры.

— Ко мнѣ прачка. Я потомъ зайду еще...

— Людмила, сказала Капа, когда она ушла. — Какъ ты думаешь, справедливость существуетъ на свѣтѣ?

— А на чтó она тебѣ?

— Ну, да такъ это я говорю, вообще...

— Нѣтъ. Не существуетъ.

— И я такъ думаю.

Людмила не весьма одобряла философствованья. И промолчала. Но полежавъ немного, Капа опять заговорила.

— Эта Дора ко мнѣ всегда очень добра. Я ничего, кромѣ хорошаго, отъ нея не видала. И все-таки ее не люблю. Развѣ это справедливо?

Она перевела на Людмилу сѣрые, пещерные глаза, и вдругъ холодно доложила:

— Просто не люблю! Она сидѣлка изъ больницы.

Людмила усмѣхнулась.

— Твое дѣло. И твое право. А въ жизни, милая моя, существуетъ только сила, ловкость, да удача.

— А у кого нѣтъ удачи?

— Нѣтъ, Капка, я не стану съ тобой разглагольствовать. На-ка вотъ тебѣ грѣлку.

И положила ей къ ногамъ горячія бутылки.

— Я эту Дору вовсе и не хочу видѣть, а она тутъ. Если-бы Анатолій зашелъ... но его именно и нѣтъ. Совсѣмъ пропалъ. Все дѣла, дѣла. Въ Фонтенбло надо картины американцу предлагать...

«Все вреть, разумѣется, какіе тамъ американцы» (Людмила вслухъ этого не сказала).

— Говорить, если хорошо заработаетъ, повезетъ меня лѣтомъ на югъ.

На мѣстѣ Доры сидѣла Людмила. Глаза ея, дѣйствительно, были сини и холодноваты. Но Капа съ любовью взяла ея длинную руку, съ тонкими, такими изящными пальцами, погладила.

— Я думаю, онъ никуда меня не повезетъ.

Теперь Людмилину руку поднесла къ глазамъ, погладила, поцѣловала.

— Какъ мнѣ тепло отъ твоей грѣлки. Я скоро оправлюсь. Очень тебя люблю.

Людмила докурила, рѣшительно затушила окурокъ, нагнулась къ Капѣ. Въ глазахъ ея что-то дрогнуло. Она поцѣловала Капу.

— Ну, если у меня одно дѣльце удался, то тебѣ дѣйствительно перепадетъ. Тогда везу тебя въ Жуанъ-лэ-Пэнъ.

Анатолій Ивановичъ сидѣлъ на сомье, слегка разставивъ ноги. Пестрые носочки выглядывали изъ-подъ брюкъ — чудно разглаженныхъ. Блестѣли ботинки. Голубые глаза его ласково улыбались, сѣдоватые волосы разобраны на боковой проборъ. Увидѣвъ Дору, онъ всталъ, все улыбаясь, поцѣловалъ ея руку.

— Дорочка, я страшно радъ васъ видѣть.

Дора Львовна, слегка смутившись, поцѣловала его въ лобъ.

— Ну, и я тоже... Да, видите, какая исторія. Она сказала про Капу.

— У нея сердце слабое. Сами по себѣ явленія отравленія несильны, все-таки, я дала дигиталисъ.

— Ахъ, Капочка... да, бѣдная Капочка.

— Понимаете, вѣдь она лежитъ тутъ совсѣмъ рядомъ, чуть не за стѣной.

— Да, за стѣной...

— Опасности нѣтъ, но... да.

Дора Львовна не совсѣмъ могла выразить, что то ее смушало. Надо бы ѣхать въ Фонтенбло...

Анатолій Иванычъ разсѣянно, несовсѣмъ покойно пробѣжалъ глазами по комнатѣ.

— Дорочка, вы знаете, у меня такія дѣла... Но на ближайшихъ дняхъ должно выясниться. Мы съ Олимпиадой Николаевной одну перуанку обрабатываемъ, если удастся — а уже на девяносто процентовъ удалось, она въ принципѣ покупать... то не менѣе тридцати тысячъ. Все это требуетъ расходовъ... ахъ, ужасно трудно, Дорочка...

Дора Львовна сидѣла, слегка потирая крѣпкія свои руки. Ей опредѣленно теперь казалось, что рѣка, довольно быстрая, съ нѣкимъ головокруженіемъ въ водоворотахъ, несетъ ее...

— Только бы мнѣ сейчасъ перевернуться, эти нѣсколько дней. А тамъ мы могли бы уѣхать.

— Будемъ говорить прямо, — голосъ Доры былъ покоемъ, лишь слегка глуше. — Нужны деньги? Сколько?

Анатолій Иванычъ изобразилъ на лицѣ тревогу, удивленіе, нѣкоторое волненіе.

— Мнѣ... мнѣ ужасно неловко.

Дора Львовна встала.

— Я не Стаэле, сказала она, подходя къ письменному столу. — Больше пятисотъ не могу дать.

— ...Черезъ нѣсколько дней...

Она улыбнулась.

— Ну, тамъ увидимъ.

Въ окно глядѣло все то-же нѣжно-голубоватое небо съ сѣткою тонкихъ вѣтвей садика Жанень. Въ фонтенблосскомъ лѣсу грандіозные дубы еще сложнѣе, могущественнѣй простирають ввысь арматуру свою. Какъ далеко!

«Что-же тутъ удивительнаго? Развѣ могло быть иначе?»

Дора олять сѣла, у окна. Анатолій Ивановичъ спряталъ бумажникъ. По лицу его вѣтерокъ носилъ улыбку — смѣсь ласковости и униженности — что-то хотѣлъ сказать, да не выходило.

— А въ Фонтенбло соберемся, какъ только немножко съ дѣлами...

«Это естественно. Вольно-же мнѣ было лѣзть со своими романами».

— Дорочка, вы какъ-то разстроились, почему это?

Онъ подсѣлъ совсѣмъ близко, взялъ ея руку, гладилъ, пристально на нее уставился. Опять глаза измѣнились. Въ голубизнѣ ихъ что-то подрагивало, влажнѣло. Дора тоже пристально на него смотрѣла. «Нѣтъ, все-таки не жиголо. Все-таки онъ не жиголо».

— Если вамъ непріятно, что я попросилъ займы, то могу вернуть...

«Если-бы былъ настоящій жиголо, проще бы и вышло». Онъ отнялъ руку, потянулся къ боковому карману съ бумажникомъ. Глаза, въ тайной глубинѣ своей отразили такую тоску... Дора улыбнулась.

— Мнѣ ничего не непріятно.

Онъ въ нерѣшительности остановилъ руку — ѣхать-ли ей дальше за бумажникомъ, повернуть-ли къ ласкѣ Дориной руки? Но послѣднее было пріятнѣй. И выгоднѣе.

— Я самъ очень стѣсняюсь брать у васъ... но всего на нѣсколько дней.

— Напрасно стѣсняетесь. Ничего нѣтъ плохого.

«Какъ глупо, что я Рафаила отправила. Ахъ, какъ все глупо!»

— Насчетъ Фонтенбло вы не оправдывайтесь, сказала она вдругъ твердо, какъ полагалось Дорѣ прежнихъ, разсудительныхъ лѣтъ. — Куда-же тамъ ѣхать.

И встала. День кончался. Нѣкая дверь захлопнулась. Изъ-за той двери, тѣмъ-же разумнымъ голосомъ произнесла Дора:

— Мнѣ пора къ Капитолинѣ Александровнѣ. Во вся-

комъ случаѣ, надо слѣдить за сердцемъ. Я-бы совѣтовала и вамъ зайти, но позже. Не надо, чтобы она знала, что вы были здѣсь.

✱

Людмила, дѣйствительно, скоро ушла. Дора смѣнила ее какъ разъ во-время, во-время сняла грѣлки, дала теплаго молока, помѣрила температуру — вообще захватила Капу въ нѣкую медицинскую сѣть. Капа испытывала двойное чувство: раздраженія и необходимости быть благодарной. Чтѣ она могла возразить? Въ чемъ упрекнуть? Дора дѣлала все первосортно. Все — необходимое и полезное. Людмила была мила, но уѣхала. Дора-же вѣхала. Людмила подруга, Дора сосѣдка. Но изъ Дориной сѣти не выбьешься, да и выбиваться не надо — все вѣдь и правильно, и полезно. Сопротивляться нельзя. «Если она сейчасъ банки рѣшить ставить, то и поставить, если найдеть полезнымъ дать касторки — проглочу». А если было-бы Доры? «Ну, и лежала-бы одна, какъ собака... развѣ генераль-бы зашелъ»... Значить, нельзя не быть благодарной.

А Дора какъ нарочно въ ударѣ — вся полумедицина эта ее заполонила.

Физически Капа чувствовала себя къ вечеру уже прилично. Она лежала съ прищуренными глазами, смотрѣла, какъ Дора, у стола, въ большихъ роговыхъ очкахъ, читала газету. Капа — одна замкнутая крѣпость, Дора другая. Дора не знала, что дѣлается въ этой головѣ съ сѣрыми глазами, полуприкрытыми. Дора для Капы далеко не та, что въ дѣйствительности — и за бѣлыми ея руками нельзя распознать, что газету она читаетъ машинально, мало что понимая. Но чувствовали обѣ одно, общее: не-весело, неловко другъ съ другомъ.

— Какъ вы думаете, много въ меня яду попало?

Дора отложила газету, сняла очки.

— Не особенно. Все-таки, этотъ рыбій ядъ очень силенъ.

— Еще какую-нибудь косточку пососала бы и конецъ?

— Возможно.

Капа помолчала.

— Нѣтъ, гадость эти отравленія. Я бы травиться не стала.

— Ну еще-бы, надѣюсь!

«Хорошо надѣяться... Здоровенная, живетъ отлично, сына обожаетъ».

И не совѣмъ доброжелательно спросила Капа:

— Что-же, вы очень боитесь смерти?

Дора смотрѣла на нее пристально. Черные ея глаза, овальнаго разрѣза, носъ съ горбинкою, полноватыя щеки показались Капѣ особенно еврейскими.

— Всякій разумный человѣкъ боится смерти.

— А я не боюсь, сказала Капа вызывающе. — Я даже люблю смерть. Во всякомъ случаѣ, больше чѣмъ жизнь.

— Люблю смерть... Не очень-то вѣрю, что это вы серьезно.

Капа почувствовала глухое раздраженіе. Что-то злое въ ней подымалось.

— Вы, евреи, особенно всегда цѣпляетесь за жизнь. Животное чувство!

Дора тоже начала волноваться.

— Вы признаете и самоубійство?

Капа поморщилась.

— Гадость. Мерзкое занятіе. Крюкъ, петля, или разные эти вероналы...

— По христіанс. умъ ученію, чкъ я слыхала, самоубійство грѣхъ?

— Считается. Мало-ли что считается.

— Вы-же вѣдь сами противъ.

— Противъ. Но грѣхъ или не грѣхъ, это совѣмъ другой вопросъ.

— Я не знаю, грѣхъ или нѣтъ, сказала Дора. — Но по моему самоубійство слабость. Вы упрекаете насъ въ животномъ чувствѣ, но если мы боимся смерти, то не бо-

имся жить. А вѣдь бываетъ такъ, что для жизни не меньше нужно мужества, чѣмъ чтобы умереть.

Капа отвернулась къ стѣнѣ.

«А я, можетъ быть, какъ разъ жить то и боюсь, но все равно никогда ей этого не скажу. Не люблю, и не скажу. Она добродѣтельная, а я не люблю. И вообще ничего не хочу говорить. Вотъ еще, затѣяли философскія разсужденія...»

Дора надѣла роговые очки и опять принялась за газету. Сердце ея билось. Она читала о каких-то смѣнахъ въ министерствѣ и о томъ, что въ Германіи непокойно. Теперь уже все понимала, но волненіе ея не улеглось — скорѣй даже возрасло, лишь въ нѣсколько иную сторону. Мало было дѣла до министерствъ, партій и раздоровъ. Все это скользило. И не удивилась она за своими очками, когда вдругъ изъ-за разетнаго листа выплыла набережная Ниццы. Аккуратный мальчикъ въ спортивныхъ штанахъ поглядѣлъ на нее милыми, темными глазами. Рафа, Рафа... И онъ, конечно, уйдетъ. Но сейчасъ еще съ ней, какая радость... «Въ сущности, вѣдь сегодня ничего и не произошло...»

На поверхности это такъ, въ глубинѣ не совсѣмъ, но сейчасъ Дора больше склонна къ поверхности, и заглушая въ себѣ что-то, перестраивалась на обычный ладъ — какъ неразбитая армія на другой день послѣ несовсѣмъ удачнаго сраженія.

— Дора Львовна, сказала въ нѣкій моментъ Капа со своей постели, изъ глухого, одиокаго своего міра: я совсѣмъ отдышалась. Благодарю за заботу. Идите, что-же вамъ тутъ со мной...

Дора ее осмотрѣла, и нашла, что, правда, ей много лучше.

— Я пришло къ вамъ Валентину Григорьевну. А передъ сномъ зайду сама.

**Бор. Зайцевъ.**

*(Продолженіе слѣдуетъ)*

# Древній путь

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

### III.

Никогда еще не былъ такъ одинокъ озаренный съ заката соборъ. Отдыхала площадь, голуби ходили подъ бѣлой стѣной. И великое надъ площадью небо, и набережная, и снѣга рѣки, все было въ деревенской зарѣ.

Противъ училища, около церковной ограды, у брошенныхъ повозокъ, зарядныхъ ящиковъ и пушекъ работали реалисты. Они вытаскивали изъ зарядныхъ ящиковъ лотки со снарядами и снимали съ пушекъ тяжелые замки. Реалистамъ помогалъ молодой плечистый солдатъ въ нагольной, съ ямщицкой сборкой поддевкѣ.

Тяжелый, на высокихъ колесахъ зарядный ящикъ потащили къ рѣкѣ. На спускѣ онъ пошелъ быстрѣе и, погрѣмѣвъ межъ прорубей, играя колесами, легко покатился по рѣчной дорогѣ. Между женскимъ монастыремъ и церковью Покрова, на отмѣченномъ елками участкѣ, стояли вытасенныя баграми высокія льдины. Ящикъ подогнали къ проруби. Онъ плюхнулся и со всѣми снарядами пошелъ подъ ледъ. Всѣ радостно закричали.

Реалисты столпились вокругъ солдата. Опустившись на колѣно, снявъ шоферскія рукавицы, онъ разбиралъ пулеметъ. Кинувъ на ледъ похожій на сердце стальной замокъ, онъ вытащилъ длинное дуло, и изъ пулемета неожиданно хлынула маслянистая вода. Поднявъ голову, солдатъ улыбнулся, и Сережа увидѣлъ, что у него синіе глаза и женскія брови.

Потомъ въ прорубь начали бросать длинныя, съ мѣдными гильзами, трехдюймовые снаряды. Сережа лежалъ на краю проруби и смотрѣть, какъ ихъ заворачивало течениемъ зеленой воды, какъ они медленно шли ко дну, ложились на каменные плиты съ тупымъ и легкимъ трескомъ и, ставши толстыми, по рыбьи поблескивали зеленоватой мѣдью.

Солнце, уходя, освѣщало открытую рѣку съ далекою насыпью катка, елками и мостами. Это низкое солнце дѣлало все чудеснымъ. Вытащенные на снѣгъ льдины играли синимъ и голубымъ, избы по берегу стали коричневыми. Было вольно, чисто и печально. Цвѣта теплаго жемчуга были снѣга, и монастырь на берегу поднималъ свои травяныя главы. Рѣка шла къ острову, перекинутые на него съ береговъ мосты казались легкими и сквозными.

Изъ-за мостовъ, на пустыхъ дровняхъ, выѣхалъ мужикъ. Онъ гналъ лошадь, нахлестывалъ и озирался. Сережа посмотрѣлъ вверхъ. На зарѣ, высоко въ небѣ летѣлъ нѣмецкій аэропланъ. Онъ дѣлалъ круги, онъ снижался. На его желтыхъ, какъ шелкъ, крыльяхъ всѣ увидѣли жуткіе черные кресты. Всѣ слышали густое, по разному мѣняющееся лѣніе, и вдругъ подъ нимъ, надъ рѣкой, чудесно раскрывшись, просіяла желтая ракета. Рождая въ небѣ призрачный свѣтъ, она догорѣла падучей звѣздой.

Солдаты медленно натянули кожаныя, съ раструбами по локоть, рукавицы.

— Почему вы не ушли? — спросилъ Сережа.

— А Богъ знаетъ, — отвѣтилъ онъ. — Надоѣло съ большевиками. Хочу домой къ матери ѣхать.

Всѣ смотрѣли на него. Онъ поправилъ папаху, улыбнулся, а лицо его стало печально.

— А вы издалека? — спросилъ Сережа.

— Изъ Архангельска, милый.

Онъ пошелъ по рѣкѣ. Папаху по удалому была надѣ-

та набекрень, спину обтягивала нагольная поддевка, и шелъ онъ какъ-то весело и отчаянно, словно въ этотъ день ему было некуда идти.

## IV.

Въ небѣ, по субботнему, горько пахло дымомъ. Дарья спала за пологомъ, а Яковъ сидѣлъ у окна. Послѣ бессонной ночи у него блестѣли глаза, на худыхъ скулахъ выступилъ румянецъ. Въ это утро за всѣхъ работала старуха мать. Яковъ долго смотрѣлъ, какъ она, съ засученными рукавами, въ высоко повязанномъ повойникѣ, сажала на деревянной лопатѣ приглаженные мокрыми ладонями хлѣбы.

— Охъ, Христовый, — вздохнувъ, сказала она, — какъ теперь жить?

Мать вынула круглые караваи. Они быстро согрѣли дубовый столъ, накинутыя холстины, и въ избѣ запахло горячимъ ржанымъ хлѣбомъ. Послѣ полудня на хуторъ заѣхалъ Замошскій мужикъ. Яковъ надѣлъ тулупъ, попрашался и покормо сѣлъ въ чужія дровни.

— Всѣхъ гонять, — сказалъ по дорогѣ мужикъ. — Ой, Яшка, чужіе пришли, въ лаптяхъ, шубы худыя, кто съ радостями, кто подѣ страхомъ.

По сырымъ, крѣпко осѣвшимъ снѣгамъ летѣлъ вѣтеръ, поля были тусклы, ровны, березы шумѣли, какъ вода, и отъ полевого вѣтра и бессонницы Яковъ быстро озябъ. Мужикъ правилъ, сидя посреди дровней на пяткахъ, Яковъ сидѣлъ къ нему спиной и смотрѣлъ на убѣгавшую изъ-подъ саней дорогу.

Въ Замошьѣ, около высокой съ синими старыми избы, толпился народъ. Посреди дороги покормо ждалъ съ подводой больной глазами старикъ Баранъ. И на высокомъ крыльцѣ и на дворѣ стояли люди. У воротъ, среди чужихъ, Яковъ увидѣлъ темное лицо брата. Алексѣй отвернулся.

Къ Якову подошелъ плотникъ Боровиковъ, коренастый мужикъ съ голымъ и морщинистымъ, какъ у скопца, лицомъ. Поздоровавшись, онъ покачалъ головой и сказалъ:

— Эхъ, Яшъ, если-бы не было этого дѣла.

— А назадъ не поворишь, — помолчавъ, добавилъ онъ. — Теперь, выходитъ, пойдемъ хоронить пристава съ приставихой.

Стало нехорошо. Яковъ посмотрѣлъ на покорнаго, съ отвалившимися красными вѣками старика, на бѣлую, въ розовой гречкѣ кобылу и увидѣлъ брошенные на сани отщепенная осенней землей лопаты.

На крыльцѣ показался солдатъ. Онъ безъ улыбки осмотрѣлъ затихшій народъ и медленно спустился съ крыльца. Короткая шинель была разстегнута, папахъ примята, шея замотана зеленой обмоткой. Лѣвой рукой онъ придерживалъ ремень закинутой за плечо винтовки, его припухшее у глазъ лицо было нездороваго цвѣта.

Пасмурилось. Толпа вышла изъ деревни на прямую барскую дорогу съ толстыми и толлыми березами. Въ головѣ разговаривали, а задніе молчали. Много было чужихъ, но всѣмъ было тяжело идти на старое мѣсто. Въ Городищенскомъ паркѣ, на крестѣ дорогъ, шeredніе люди остановились и окружили солдатъ.

— Чего тамъ стали?

— Да солдатъ говорить, нужно бы зайти и мельника убить, — отвѣтилъ незнакомый мужикъ.

Когда Яковъ подошелъ, говорилъ уже не солдатъ, а Боровиковъ. Онъ былъ маленькаго роста, его закрывали высокіе мужики. Яковъ услышалъ:

— Братцы, зачѣмъ мельника бить? Онъ нашъ работникъ. Мало-ли онъ намъ добра сдѣлалъ?

Рядомъ съ Боровиковымъ, все такъ же придерживая лѣвой рукой ремень закинутой за плечо винтовки, стоялъ солдатъ въ примятой папахѣ.

— А чего, — сказалъ онъ. — Надо зайти. Выбѣсть всѣхъ и зарывать.

— Такъ какъ же, товарищи? Такъ рѣшимъ, али поднятїемъ рукъ?

— А все-таки не оставили бы Сергѣя Кириллыча? — снова сказалъ Боровиковъ.

У рѣки росли прямыя голыя снизу ели. Вверху тяжело ходили ихъ плотныя зеленыя маковицы. Слѣва, за елями, стояла сѣрая рубленая мельница. Здѣсь все были, молоты, знали широкій у рѣчной плотины дворъ, мельницу съ забѣленными у входа мучной пылью бревнами и стоявшій въ сторонѣ низкій, съ палисадникомъ домъ.

На пустомъ дворѣ ходили двѣ утки. Загремѣвъ, выскочилъ черный лохматый песъ и, натягивая цѣпь, началъ рваться и лаять. Старикъ былъ на мельницѣ. Въ треухѣ, въ сѣрой по колѣна курткѣ и русскихъ сапогахъ, онъ вышелъ на шумъ, увидѣлъ мужиковъ и остановился на порогѣ. Его лицо съ сѣдой чухонской бородкой смертно поблѣднѣло.

— Къ тебѣ пришли, Сергѣй Кириллычъ, — среди общаго молчанья сказалъ, выступившій впередъ, Боровиковъ.

Мельникъ не отвѣтилъ.

— Надо на обыскъ, — качнувшись, поглядѣвъ на стоявшій въ другомъ концѣ двора домъ, сказалъ солдатъ.

— Пусть главари пойдутъ, — отвѣтилъ ему кто-то изъ толпы зло и глухо, — мы поднасилыные. Мы и на дворѣ подождемъ.

Замолчали.

— Есть у тебя левольвертъ, Сергѣй Кириллычъ? — спросилъ Боровиковъ.

Глядя прямо передъ собой, мельникъ непослушными руками растегнулъ снизу свою сѣрую куртку, вынулъ изъ кармана обвисшихъ на колѣняхъ штановъ короткій съ толстымъ барабаномъ потертый до темноты бульдогъ и отдалъ его солдату. Небо было въ тучахъ. Сѣрое, въ бѣ-

ловатыхъ неясныхъ пятнахъ, оно медленно плыло надъ широкимъ дворомъ, шумѣли ели, холодно бѣлѣла высокая замерзшая плотина. На другой сторонѣ двора, на порогъ низкаго дома выбѣжала мельничиха, а съ ней десятилѣтній простоволосый мальчикъ. Мужики смотрѣли на опустившаго голову старика. Онъ поднялъ на народъ глаза, медленно снялъ треухъ и, оставшись съ бѣлой, подстриженной по-мужицки въ скобку головой, сказалъ:

— Разстрѣливайте. Пусть нашего и поколѣнія нѣтъ!

Яковъ отвелъ глаза и посмотрѣлъ въ ноги. Когда онъ снова поднялъ голову, къ мельнику подошелъ Боровиковъ. Онъ только сказалъ:

— Живи, Сергѣй Кириллычъ. Тебѣ никто худого не сдѣлаетъ.

## V.

За рѣкой, въ сосновомъ лѣсу, на полянѣ стоялъ домъ приставы. Вдали, на мельницѣ, хрипло лаялъ растревоженный песъ. Дровни подогнали къ заднему крыльцу и въ домъ вошелъ солдатъ съ шестью мужиками. Часть людей осталась возлѣ строенія, а остальные пошли по старымъ слѣдамъ и остановились вдали, у лѣсной опушки, гдѣ въ снѣгу лежало закоянѣвшее за ночь тѣло. Слышно было какъ въ домѣ спорили, возились, какъ, выходя, тяжело ступая, мужики зашумѣли на заднемъ крыльцѣ. Изъ-за дома выѣхали дровни. Рядсмъ, направляя коня къ опушкѣ, съ вожжами въ рукахъ шелъ старикъ Баранъ, а во всю длину его саней лежало большое и бѣлое.

Подъ разбитымъ окномъ темнѣло мѣсто костра. Бумажный пепель за ночь унесло далеко по снѣгу. Яковъ стоялъ въ сторонѣ. Онъ все боялся, что привяжутся, но обошлось безъ него. Чужіе мужики разобрали лопаты и пошли въ лѣсъ. Около дома остался Боровиковъ, замощскій чернобородый кузнецъ, хуторянинъ въ бѣломъ, обшитомъ по борту кожей полукафтаны и бывший страж-

никъ Никифоровъ, печальный, чахоточный, высокій человекъ въ манджурской папахѣ. Подошелъ солдатъ. Вынувъ бумажку, прижавъ ее къ стѣнѣ дома, онъ поглядѣлъ исподлобья и спросилъ:

— Какъ звать?

— Яковъ Савровъ.

— Ты въ караулъ назначенъ, — кинулъ солдатъ и, помусливъ карандашъ, медленно записалъ имя. Переписавъ всѣхъ, онъ спряталъ бумажку, поглядѣлъ въ разбитое окно дома и, обернувшись, пересмотрѣвъ мужиковъ запущшими зелеными глазами, остановивъ на Никифоровѣ свой взглядъ, усмѣхнувшись, сказалъ:

— Гадость надо убратъ. Пусть твоя баба полъ вымоетъ.

Солдатъ ушелъ. Никифоровъ сѣлъ на крыльцо, досталъ кисеть и, наклонивъ голову, скрывая отъ мужиковъ лицо, сталъ медленно свертывать.

— Это въ укорь-то, значить? — въ полголоса сказалъ Якову Боровиковъ. — Ну онъ больше къ народу и въ стражникахъ тянулъ.

— Ты не знаешь, какъ дѣло было? — спросилъ Яковъ.

— А, братъ, — сурово отвѣтилъ Боровиковъ, — здѣсь только тотъ, кто былъ, знаетъ, сколько пуль всадилъ.

Небо на закатѣ просвѣтлѣло. Отъ мельницы пришла Дарья въ полушубкѣ, темномъ платкѣ и высокихъ сапогахъ. Она отвела мужа за домъ и сказала:

— Пойдемъ, Яшъ, не стали-бы стрѣлять.

— Я бы, Дарьюшка, ушелъ, — отвѣтилъ онъ грустно, — да бѣсъ ихъ возьми, въ караулъ назначили. Ты хлѣбца мѣя принеси.

Когда она ушла, Яковъ сѣлъ на крыльцо пустого дома. Лѣсъ передъ вечеромъ шумѣлъ полно и долго. По лѣсу торопясь шла баба въ бѣломъ платкѣ, направляясь къ тому страшному мѣсту, гдѣ межъ стволовъ мужики рыли могилу. Передъ домомъ росла тонкая и прямая сосна съ раздвоенной вершиной. Свѣтъ подъ ней по февраль-

скому былъ въ мелкихъ шишкахъ и сухой иглъ. По вечернему затеплились ея восковые суки, по вечернему на снѣжную поляну палъ легкой отсвѣтъ зимней зари.

## VI.

Въ сумеркахъ надъ полемъ уже косо летали первая порошинки. Небо было пушисто и сѣро, лѣсъ стоялъ зеленый и прямой. Дарья несла завязанный въ платокъ, покрытый хлѣбомъ горшокъ шей. Въ полѣ къ полуголой ели уже былъ выставленъ отъ Городища постъ. Тамъ стоялъ туго запоясанный по тулупу Боровиковъ и одѣтый въ черное стражникъ.

Въ бревенчатой, срубленной на краю парка школѣ топили печь. Сидя на корточкахъ, въ разстегнутомъ бѣломъ полукафтани, Терентій подкладывалъ дрова. Въ углу, въ шалкѣ и въ армякѣ лежалъ большой голенастый мужикъ Савелій. Яковъ сидѣлъ на разостланномъ на полу тулупѣ и слушалъ разговоръ чернобородаго, устраивавшагося на ночь кузнеца. Опустившись рядомъ, Дарья достала изъ кармана деревянную ложку, и Яковъ, развязавъ узелокъ, перекрестился, снялъ теплый и влажный хлѣбъ и поставилъ промежъ вытянутыхъ ногъ глиняный горшокъ со щами.

Она глядѣла на него. Съ растрепанной бородой, съ спутанными волосами, онъ ѣлъ, опустивъ глаза, зачерпнувъ, проводилъ ложкой по краю и вытягивалъ длинную и худую шею.

Темнѣло. На волѣ началъ падать снѣгъ. Онъ валился чуть косо, большими и бѣлыми хлопьями. Печка медленно разгоралась, тяжелыя и сырыя полѣнья сипѣли, на берестѣ таялъ ледъ.

— А вотъ не знаю, милый, — уклончиво говорилъ мужику кузнецъ, — такъ и скажу, что не знаю. Да и какъ узнаешь? Каждый пятится отъ худого дѣла.

Лежавшій въ углу Савелій сѣлъ, отогнулъ поднятый воротникъ армяка и поправилъ низко надѣтую шапку. Онъ подождалъ, не скажетъ ли еще чего кузнецъ, но всѣ молчали.

— Вызвали его на крыльцо, — твердо сказалъ Савелій, — онъ вышелъ безъ оружія. Они тамъ говорить начали, говорить и выстрѣлили. Онъ на уходъ къ лѣсу побѣгъ. Они со сторонъ стрѣляютъ. Его сзади лопнули. Я подошелъ, а ужъ и мозги изъ головы вывалились.

— И чего онъ въ городъ не уѣхалъ, дуракъ, — медленно сказалъ одинъ изъ мужиковъ.

— Да если бъ онъ худой былъ, — отвѣтилъ кузнецъ.

Терентій отошелъ отъ огня, сѣлъ спиною къ стѣнѣ и обхватилъ руками обернутыя бѣлыми сукожными оборамми тонкія ноги. Яковъ опустилъ ложку и задумался. Дарья вздохнула. Окна потемнѣли, крестовины рамъ забѣлѣли отъ свѣжаго снѣга.

— Вотъ какъ дѣло было, — спокойно, въ наступившей тишинѣ, сказалъ Терентій. — Мы сошлись туда на закатѣ солнца. Въ этотъ часъ. Вызвали его на крыльцо, съ нимъ вышла жена. «Что вы, братцы, собрались сюда, навѣрно, вы, братцы, пришли меня бить? Вѣдь это будетъ нехорошо, вѣдь это будетъ самосудъ». Окружили его. Кто-то торнулъ штыкомъ въ пузо. Онъ не упалъ, а побѣжалъ къ лѣсу по чистой полянѣ. Убѣжалъ онъ саженей семьдесятъ, а кто-то сбоку, со стороны приложился... Онъ и сунулся. Подбѣжали къ нему, ударили въ упоръ, въ голову. Савелій правду говорить: мозги были выѣхавши.

— Вѣрно, — сказалъ изъ угла Савелій, — его вызвали на крыльцо, начали говорить: тебя бить будемъ. Онъ сразу на уходъ. Его на бѣгу ранили, а когда легъ — убили. Савка али солдатъ убить?

Потрескивая, разгоралась печь, и на проконопаченную бѣлымъ мохомъ бревенчатую стѣну падалъ свѣтъ.

— Въ это время, — снова сказалъ изъ темноты Терентій, — жена то кричала и просила у народа: не троньте

хоть меня. — «Нѣтъ, барыня, мы тебя не тронемъ. Иди спать въ свою комнату». Прошла она въ комнату, а тутъ на улицѣ: нѣтъ, нельзя намъ ее оставить. Она расскажетъ, кто билъ, а нѣмцы придутъ, будетъ плохо. Надо слѣды скрывать. Посмотрѣли въ окошко. Видятъ, ходитъ по комнатѣ. Ну, въ домъ не пошли, а въ окно выстрѣлъ дали, звеня побили. Она, раненая, побѣжала въ свою спальню, на постель свою. Солдатъ говорить: дайте я ее прикончу. Пошелъ въ эту комнату и ударилъ въ спину...

— Ой, бросьте, не поворите того, что худое было, — сказала Дарья.

— Ой, Яшенька, — качая головой и причитая, тихо сказала она, — не могу я этого слышать.

— Я, милая, Бога молю, — шепотомъ сказать онъ, — чтобы нѣмцы скорѣе пришли.

— Яшъ, а Яшъ, — шепнула она, — брось ты этихъ, отойди къ роднѣ въ Бердию, пусть перетихнетъ.

Въ корридорѣ послышались шаги. Толкнувъ дверь, вошелъ солдатъ. Его шинель была застегнута, папахъ побѣлѣла отъ снѣга. Приставивъ къ стѣнѣ винтовку, онъ снялъ папаху и оббилъ ее о косякъ. За нимъ, внося холодъ, вошелъ Санька въ острой барашковой шапкѣ и дѣвка въ полусапожкахъ, въ черномъ полупальто и бѣломъ платкѣ. Она поздоровалась съ Дарьей, сѣла рядомъ и вытерла рукавомъ румяное, влажное отъ снѣга лицо.

— Въ яму-то закопали? — спросилъ солдата Савелій.

— Закопали, бѣсовы!

— А сильная женщина, — сказали Санька. — На семь пудовъ, вотъ какая.

— Она едва въ эти двери влѣзала, — сказали Савелій. — Теперь нѣтъ такихъ бабъ, словно три бабы вмѣстѣ сложены.

Солдатъ засмѣялся. Онъ сѣлъ съ Санькой на лавку у окна. Санька передала ему кисетъ. Разставивъ ноги, склонивъ голову, солдатъ медленно сталъ разматывать ремешокъ.

— Въ крови заплывши лежали, — сказалъ Санька. — Даже страшно какіе здоровые.

— Надо знать, — увѣренно отвѣтилъ Савелій, — что въ такихъ здоровыхъ людяхъ много крови.

— Приставиха жирнѣй, — сказалъ солдатъ. — Ее не скоро порѣшили. Все какъ-то не нять было бить. Штыкомъ колоди, да не помирала, — настолько жирна. Какъ бросили въ яму — такъ твякнуло.

— Васъ бы бѣсовъ разстрѣлять за такія дѣла, — сказала дѣвка.

Всѣ посмотрѣли въ ея сторону. Она сидѣла около Дарьи на свѣту, вытянувъ ноги, и на ея подковаанныхъ полусапожкахъ таялъ снѣгъ.

— Ишь ты какая, смѣлая, — сказалъ солдатъ.

— А кто штыкомъ кололъ? — рѣзко отвѣтила она. — Барыню то, говорятъ, всё штыкомъ мертвую колоди.

Мужики угрюмо молчали.

— Вотъ послухай-ка, Дарьюшка, — сказала дѣвка, — про Саньку говорили, будто онъ съ ней жилъ. Тьфу! Брешетъ народъ. Стала бы она съ такой дрянью спать. Санька пришелъ къ могилѣ, а ему смѣяся: твою пасестру убили... Ой, тошненько, они свою работу насилу до ямы донесли. Въ простыняхъ да въ крови такъ и бросили. А какая барыня была: толстая, черная, волосы носила съ высокимъ чубомъ. Я, бывало, ей ягоды брала. Ой, поглядѣла я, пальцы то переломлены, какъ кольца сдирали, а у него руки выворочены — какъ тасили. Съ насмѣшками въ могилу бросали. Тую внизъ, а его наверхъ. Съ усмѣшками все.

— А, будетъ болтать, — сказалъ солдатъ, — убили и конецъ!

— Безвинныхъ людей убили, — хрипло сказалъ кузнецъ. — Я говорю, зачѣмъ ихъ было бить, можно миновать было.

— Такъ ты бы тогда сказалъ.

— А что говорить? Такъ ничего не сдѣлаешь. У каждаго своя судьба.

— Ты бы сказала, — насмѣшливо добавилъ солдатъ.  
— Я бы тогда тебя перваго изъ винтовки вгорячахъ приложилъ.

— Приложить каждаго, другъ, можно...

— Намъ развѣ интересно, — лѣниво сказалъ солдатъ.

Онъ вычеркнулъ спичку. Огонь освѣтилъ измятую, грязной поддѣльной смушки папаху и зеленоватое, съ толстымъ носомъ лицо. За окномъ густо падалъ снѣгъ, и Дарья молча стала собираться домой.

## VII.

За рѣкой посинѣло. Въ шесть часовъ ударили ко все-нощной. Когда Анастасія Михайловна вышла изъ дому, начинались сумерки. Въ садахъ успокоились вороны. Снѣгъ казался бѣлѣе, дома ниже. На главной улицѣ вивѣшивали бѣлые флаги.

Соборъ былъ темень, холоденъ и пустъ. Стоявшій у закрытаго свѣчнаго ящика староста не узналъ Анастасію Михайловну. На ней былъ простой черный платокъ. Передъ иконой Богородицы въ холодномъ мѣдномъ под-свѣчникѣ горѣли три свѣчи. Слабо былъ освѣщенъ лампадами алтарь, тяжелымъ казалось золото развернутаго складнемъ иконостаса. На клиросѣ пѣлъ и отвѣчалъ на возгласы псаломщикъ. Онъ, въ шубѣ, стоялъ передъ аналоемъ съ прилѣпленной свѣчей. Всенощная шла безъ молящагося народа. Было пусто, словно въ церкви стоялъ бѣдный гробъ.

Перекрестившись, Анастасія Михайловна опустила на колѣни. Начинали Великое Славословіе. Холодны были плиты пола. Пѣли въ два голоса: псаломщикъ и сторожъ. Покоянно, на колѣняхъ, она слушала, преклонивъ главу.

Слава въ вышнихъ Богу  
И на землѣ миръ,  
Въ человѣцѣхъ благоволеніе...

Никогда еще не бѣлъ такъ скорбень вечеръ. За стѣнами — опустѣвшій городъ, сумерки, ожиданіе врага. Соборная пустота и холодъ на родной землѣ. — Господи, врага встрѣчаемъ, — думала она, — врагъ спасетъ отъ своихъ. А на клиросѣ пѣли единымъ дыханіемъ:

Хвалимъ Тя, славославимъ Тя, кланяемся, слово-  
словимъ Тя, благодаримъ Тя,  
Великія ради Славы Твоея,  
Господи, Царю Небесный, Боже, Отче,  
Вседержителю, Господе, Сыне Единородный...

Она стояла на колѣняхъ передъ образомъ Богоматери. На Ея груди при неровномъ свѣтѣ туманно переливалась подвѣска изъ мелкаго рѣчного жемчуга. Ликъ Ея былъ нѣженъ и кротокъ, къ плечу припадалъ Младенецъ. Анастасія Михайловна вспомнила, какъ дѣвушкой выстаивала съ покойной матушкой всепоющую, какъ уставала, становилась на колѣни, начинала сильнѣе молиться, а церковь тихо пѣла, прославляя и кланяясь, и въ тишинѣ казалась, что пѣтъ никого, всѣ едины и, какъ тихое вечернее пѣніе, — свѣтъ надъ главами городскихъ храмовъ. И межъ лѣсовъ и озеръ, въ смолкшихъ по вечернему погостахъ, надъ малыми куполами деревянныхъ церквей — легче зарисвѣтъ, и небо радостно, а земля по вечернему мирна и благословенна.

На всякъ день благославолю Тя  
И восхваляю имя Твое во вѣкъ,  
И во вѣкъ вѣка...

Тепломъ наливалось сердце, по щекамъ текли слезы, и слезы были радостны и легки, какъ спадающій на весеннюю траву теплый дождь, и счастливо и смиренно припа-

дала она передъ Владыницей, а когда поднимала глаза, колеблясь, оживаль Ея ликъ и милостива и благостна была Ея улыбка. И все любила она: тихость храма, славословіе вечернее, украшавшіе Владычицу теплые жемчуга, воды протекавшей за храмомъ Великой, вечерніе тополя, и уже же было стѣнь: все едино хвалило милость и радость Ея.

...Буди, Господи, милость Твоя на насъ, яко же уповахомъ на Тя.

Благословенъ еси, Господи, научи мя оправданіемъ Твоимъ.

Господи, прибѣжище быль еси намъ въ родъ и родъ...

И теперь, глядя на образъ, она плакала: отъ горечи сердца и, казалось, въ скорби былъ ликъ Богородицы, въ слезахъ смуглая щека. И среди снѣговъ, въ пустотѣ зимняго вечера, передъ приходомъ врага — только Она надъ забытымъ въ снѣгахъ чернымъ городомъ, — Ея древній, скорбный ликъ.

Медленно, въ холодѣ, горѣли овѣчи, неподвижно висѣли на древкахъ тканья золотомъ хоругви. Быстро правили службу. Было время смиренія, когда закрыты Царскія Врата, и золото вѣтвей — на алой церковной занавѣси. Привычно читаль псаломщикъ и, кончивъ, сказалъ:

— Именемъ Господнимъ благослови, Отче!

Въ темной рябѣ, въ одной епитрахили, священникъ вышелъ сѣверными дверьми.

— Боже, ущедри ны и благослови ны, просвѣти лицо Твое на ны и помилуй ны.

— Аминь, — отвѣтилъ чтець.

— Свѣтъ истинный, просвѣщающій и освѣщающій всякаго человѣка, идущаго въ мѣръ...

А уже на клиросѣ быстро запѣли. Благодарственно побѣдное пѣніе глухо звучало въ пустомъ соборѣ.

— Слава Тебѣ, Христе Боже, — поднимавъ узкое худое лицо, сказалъ священникъ.

Хоръ отвѣтилъ. Псаломщикъ прочелъ молитвы. Взявшись лѣвой рукой за епитрахиль, священникъ остановился противъ Царскихъ Вратъ, лицомъ къ пустому и темному храму, и началъ говорить отпустить. Онъ кончилъ и стоялъ въ большихъ, видныхъ изъ-подъ рясы сапогахъ, узкогрудый и худой.

— Вы одна сегодня, Анастасія Михайловна?

— Да, батюшка, одна.

Онъ вздохнулъ.

— Такія времена, такія времена, — сказалъ онъ, — Божье попушенье.

— Благословите меня, батюшка.

— Господь благословить.

Она поцѣловала его руку, подошла къ Скорбящей и помолилась у Голгофы, гдѣ на траурномъ подножьи бѣлѣла Адамова голова, гдѣ на крестѣ былъ вознесенъ измученный, съ кровоточащими ладонями Спаситель. Ей стало спокойно, печально и легко.

Въ пустой притворъ залетали хлопья. Ровно бѣлѣло крыльцо, темныя гранитныя колонны были холодны и блестящи. Когда она спускалась, вверху ударилъ колоколь, нервно загудѣла мѣдь. Черезъ площадь цѣпью шли нѣмцы въ круглыхъ желѣзныхъ шапкахъ.

## VIII.

Одинъ изъ автомобилей, зеленый и длинный, съ двумя нѣмецкими офицерами, прокладывая свѣжіе слѣды, проѣхалъ по главной улицѣ и остановился противъ кирпичнаго дома. У воротъ стоялъ бородатый, въ черной шубѣ купецъ. Машина была русская, за рулемъ, въ смятой фуражкѣ съ очками, сидѣлъ пѣнный шоферъ.

— Эй, борода! — крикнулъ онъ. — Отворяй ворота!

— Въ чемъ дѣло? — испуганно спросилъ купецъ.

— А чортъ ихъ знаетъ, — спокойно отвѣтили шофферъ. — Видно къ тебѣ на постой.

Одинъ изъ офицеровъ, въ острой, затянутой матеріей каскѣ, сидѣль отвалившись, поднявъ съраго мѣха воротникъ. Другой, съ молодымъ, краснымъ отъ снѣга лицомъ, сидѣль очень прямо, подтянувъ къ животу растегнутую револьверную кобуру и держаль въ рукахъ стѣкъ.

Собравшійся на панели народъ помогъ отложить ворота, автомобиль попятился на средину дороги, дернулся, захрипѣлъ и въѣхаль съ неподвижно сидящими нѣмцами на широкой купеческой дворъ. Молодой офицеръ выскочилъ первый. Худошавый, въ черныхъ крагахъ, въ прусской высокой фуражкѣ, онъ осмотрѣлъ дворъ и стѣкомъ указаль шофферу на каретный сарай. Хозяинъ поклонилъ, но они, не глядя на него, вошли въ домъ.

— Первые идутъ сердитые, — сказали у воротъ.

— Теперь до Новгорода пойдутъ, — отвѣтилъ мѣщанинъ, — вотъ такъ-то вездѣ будутъ бѣлые флаги вывѣшивать.

— А ужъ и наши бѣжали, — сказала закутанная въ большой платокъ женщина. — Цѣлую недѣлю, какъ паутина, по всѣмъ дорогамъ тянулись. Сегодня, вижу, послѣдніе защитники поѣхали. Сперва деревенскія сами, а потомъ броневикъ гремитъ по сугробамъ.

— А мужики-то съ мѣшками пріѣхали на базаръ, — смѣясь сказалъ мѣщанинъ, — хотѣлось имъ лавочки-то пограбить. Вотъ теперь разпихиваютъ добро, прячутъ.

Вверху тяжело роилось сѣрое небо.

— Дураки, чего радуетесь, зубы скалите, — сказалъ долго молчавшій купецъ. — Враги пришли.

— А намъ свои хуже враговъ.

— Повѣрите-ли, — отвѣтилъ куцу горожанинъ въ круглой барашковой шапкѣ, — нѣмцевъ встрѣчаемъ, а и грустно и радостно.

— А ужь избави Богъ отъ своихъ, — снова сказала женщина. — Что бы Богъ здоровья далъ нѣмцамъ. Дадутъ при себѣ спокойно пожить.

Купецъ не отвѣтилъ. Онъ былъ сѣдъ и хмуръ.

Въ домѣ зажгли свѣтъ. Онъ упалъ на снѣгъ, и Сережа увидѣлъ, какъ чиста и пушиста пороша. За соборомъ потемнѣло, снѣгъ падалъ крупными хлопьями. Онъ заносилъ крыши, сады, побѣлѣвшую дорогу, онъ падалъ сквозь голыя липы у Покрова.

Тамъ, противъ училища, остановился запряженный черными толстоногими конями, крытый брезентомъ фургонъ. На дорогѣ стояли тяжело нагруженные ранцами нѣмцы. Отъ нихъ пахло желѣзомъ и потомъ. Съ лицами, полускрытыми холодными касками, повѣсивъ на шею винтовки, они молча курили крѣпкій табакъ и смотрѣли на окруженную голыми липами церковь и брошенные у ограды русскія пушки.

## IX.

Когда началъ падать снѣгъ, вѣхали въ деревню. Тимофей остановилъ подводу у воротъ отцовскаго дома. Онъ вбѣжалъ въ горницу и приказалъ матери накрывать на столъ.

Разматывая платокъ, вошла комиссарша. Круглолицая, съ подрумяненными скулами, она сѣла въ передній уголь и, опустивъ, какъ кукла, руки, начала жаловаться, что остудила ноги.

Василій Максимовъ сидѣлъ на постели и хмурился. Вошелъ комиссаръ, лысый коммунистъ и чужой мужикъ.

— Вотъ, товарищи, — сказалъ Тимофей, — невесело живемъ.

Комиссаръ досталъ обшитую войлокомъ фляжку и подбѣжалъ Василю къ столу. Комиссаршѣ налили въ граненый стаканъ. Всѣ выпили. Спустивъ на плечи платокъ, растегнувъ жакетъ, комиссарша показала господское съ кру-

живнымъ воротомъ платье. Ея подвитые бѣлые волосы разсыпались кудельками по лбу, глаза заблестѣли.

— Угощайтесь, товарищи, — сказалъ Тимофей, — сейчасъ мамаша свинины зажарить.

На улицѣ, головой къ закрытымъ воротамъ, стоялъ сѣрый конь, на которомъ прѣхалъ Тимофей. Рядомъ была брошена казенная подвода. Улица опустѣла, у забора были привязаны посѣдланные кони, ординарцы трѣлись по избамъ. На казенной подводѣ лежали запорошенные снѣгомъ мѣшки съ мелкимъ сахаромъ. Тимофей быстро перетащилъ тяжелый мѣшокъ на свои дровни, открылъ ворота и воткнулъ коня во дворъ. Онъ вернулся, не раздумывая, подошелъ къ ординарческому коню и, вынуть изъ кармана складной ножъ, сръзалъ кожу, оставивъ сѣдло голенькимъ. Кожу онъ спряталъ въ пустую собачью будку. Падаль онѣгъ. Отъ выпитаго спирта кружилась голова. Онъ засмѣялся и сказалъ:

— И такъ хорошъ! И безъ кожи доѣдешь.

Въ растегнутой шинели Тимофей вернулся въ избу. На столѣ стояла разведенная въ желѣзномъ ковшѣ водка и сковорода съ зажаренной свиной. За столомъ рядомъ съ отцемъ сидѣлъ, облокотившись о столъ, захмелѣвшій комиссаръ и слушалъ рассказъ мужика.

— Я къ вокзалу ѣхалъ, — говорилъ мужикъ. — На! Аэропланъ бѣлый съ крестами летитъ и совершенно низко. А отъ линіи — нѣмцы! Изъ рощи выскочить и скроется подъ откосъ. Мужикъ ѣхалъ, видитъ — стой! Остановили, обыскали и дальше пошли..

— А въ городѣ? — спросилъ комиссаръ.

— Въ городѣ бѣлый флагъ о сдачѣ вывѣшивали.

— Вернемся, мы эти проводы вспомнимъ, — поглядѣвъ замутившимися глазами, сказалъ комиссаръ.

Тимофей подалъ знакъ отцу. Василій поднялся.

— Все хвастаютъ, — спускаясь съ крыльца, сказалъ отцу Тимофей. — Тутъ бы вечеромъ нѣмцы налетѣли, вотъ была бы крошиловка.

— А кто это съ нимъ? — спросилъ отецъ.

— Шкура его, съ города портниха.

Они отперли клѣтъ и подошли къ санямъ.

— А Илья, — сказалъ отецъ, увидавъ мѣшокъ, — двадцать полушубковъ привезъ и шапокъ съ сотню. А комплектъ идетъ за керенку.

Онъ стоялъ въ криво надѣтой шапкѣ и улыбался.

— Э, да и ты хлебнулъ славно! — смѣясь, сказалъ Тимофей.

Они взяли мѣшокъ и перенесли въ клѣтъ.

— У насъ дѣло лучше, — сказалъ Тимофей, — сахаръ будемъ продавать, да и то, какъ лѣкарство.

— А коммунисты уходятъ, — весело сказалъ отецъ.

— Имъ что! — сказалъ Тимофей. — У нихъ все грабленое. — Гдѣ можно, тамъ и берешь. Комиссаръ керенки скатертями везетъ. Онъ, бродяга, въ моихъ саняхъ ѣхаль. Эхъ, если бы былъ у меня парень, другъ рѣшительный!

— Ай, Тимка! — сказалъ отецъ.

— Ничего, ничего, — потрепавъ отца п плечу, сказалъ Тимофей. — Я шутя!

На улицѣ справляли подводы. Три ординарца сидѣли верхомъ, а четвертый осматривалъ сѣдло и ругался. Засунувъ руки въ прямые карманы шинели, Тимофей вышелъ за ворота. Подводчикъ, поглядывая на освѣщенные окна, подбивалъ положенное въ сидѣнье сѣно. Къ Тимофею подошелъ Илья, мужикъ съ длинными, какъ у обезьяны, руками.

— Слушай, — спросилъ онъ, — правда, нѣмцы у насъ будутъ?

— Видишь, драпа даютъ, -- отвѣтилъ Тимофей.

— Что за люди нѣмцы, я ихъ никогда не видѣлъ?

— А вотъ, какъ на вокзалѣ всыпали бабамъ, — усмѣхнувшись, сказалъ Тимофей, -- сразу легче стало, -- не стали полушубки брать!

Изъ избы вышли всѣ разомъ. Снѣгъ путался въ конской гривѣ. Комиссару было худо. Шатаясь, онъ дошелъ до дороги и повалился въ сани. Тимофей помогъ комиссаршѣ, усадилъ ее и, приложивъ руку къ папахѣ, сказалъ:

— Прощайте, товарищи! Надѣюсь, скоро свидимся!

Деревня затихла. Въ эту субботу никто не топилъ бань. Широкая улица уходила въ поле. Въ растегнутой шинели Тимофей вышелъ за околицу, остановился и послушалъ. — Ну, въ городѣ теперь нѣмцы, — подумалъ онъ. Въ сумеркахъ терялся плетень, дорогу заметало. Было глухо. Равная поля, шелъ снѣгъ.

## X.

Въ полночь далеко, верстъ за пятьдесятъ, ударилъ глухой и тяжкій взрывъ. Тимофей проснулся. Въ темной избѣ тяжело храпѣлъ отецъ. Подтянувъ тулупъ, Тимофей накрылся съ головой, вздохнулъ и сталъ задремывать. Сквозь находящій сонъ ему прислышалось, будто бы въ деревнѣ зашумѣли, но уже трудно было слушать, онъ дышалъ все ровнѣе и, когда сталъ засыпать, кто-то сильно застучалъ въ оконное стекло. Встряхнувшись, онъ вскочилъ и, босой, побѣжалъ къ окну. На завалинкѣ стоялъ мужикъ:

— Василій, никакъ ты спишь! — закричалъ мужикъ, приложивъ ладони ко рту.

— Батка! — крикнулъ Тимофей, нашарилъ сапоги и, вынувъ изъ голенищъ обертки, торопливо сталъ обуваться.

— Что такое? — спустивъ съ кровати ноги, сипло спросилъ Василій.

Мать проснулась и, ничего не понимая, отерла рукой сонное лицо. Лѣвый сапогъ трудно было натянуть, но Тимофей, поймавъ ушки, топнулъ объ полъ и, надѣвъ папаху, накинувъ шинель, выбѣжалъ съ отцомъ на улицу.

Была слышна далекая стрѣльба, въ деревнѣ раздавались голоса, плакали бабы, скрипѣли ворота, на улицу выгоняли коней, скоть, тонко блеяли выбѣжавшія на морозъ изъ теплыхъ хлѣвовъ овцы. Снѣгъ пересталъ, черныя ночныя тучи закрывали небо. У калитки стоялъ, надѣвшій долгую шубу, Илья.

— Нѣмцы всѣхъ забираютъ, — встревоженно сказалъ онъ. — А подо Псковомъ наши сопротивленіе оказываютъ. Мы къ Порхову свою армію строить пойдемъ.

У сосѣдней избы уже накладывали на дровни скарбъ и вездѣ, какъ во время ночного пожара, были жалкими голосами, плакали и выкликали бабы. Накинувъ платокъ, мать побѣжала на голоса.

— Теперь все кончено, — сказалъ Илья. — Весь мужичникъ тронулся. Какъ подо Псковомъ дали взрывъ, такъ и пошли. А пошла ихъ полная дорога. Кто на лошадахъ, кто пѣшкомъ.

— А ты куда? — спросилъ Василій. — Тоже уходить?

— Справился уходить и я, — нетвердо отвѣтилъ тотъ и взялся за поясъ. — Что будетъ, а мнѣ оставаться нельзя.

Тимофей посмотрѣлъ въ сторону города.

— Василій, надо и тебѣ уѣзжать, — сказалъ Илья.

— У тю! — отвѣтилъ спокойно тотъ, — какого бѣса.

Бабы плакали на дальнихъ хуторахъ.

— Василій, — помолчавъ, сказалъ Илья, — дай мнѣ мѣру муки.

— У насъ лишней нѣтъ.

— Дай. Все равно уходить. Вся деревня справляется.

— Пусть пошли, — сказалъ Василій, — а муки не дамъ.

Время не такое.

Тимофей остался одинъ. Со стороны города все было тихо. Подошла мать.

— Ой, сынокъ, — сказала она со слезами. — Весь народъ бѣжитъ, а подо Псковомъ, говорятъ, наши дерутся. Я поглядѣла, порядочные мужики къ Порхову поѣхали.

Она помолчала, а потомъ робко прибавила:

— Не время-ли, сынокъ, тебѣ справляться?

— Переночую, — спокойно отвѣтил Тимофей.

— А вдругъ тебя, Тимъ, нѣмцы захватятъ?

— Что я, дуракъ? — сказала онъ. — Будутъ нѣмцы, услышу, успѣю справиться.

— Какъ знаешь, — покорно сказала она, — я то, милый, рада, что ты у насъ погостишь.

Изъ деревни тронулся обозъ. Слышно было, какъ онъ вышелъ на шоссе, какъ въ ночи, сухо потрескивая, потянулись немазанная телѣги.

— Всѣ ушли, — прислушавшись, сказала мать. — Только по деревнямъ бабы поютъ.

Она первый разъ осталась наединѣ съ сыномъ. Сперва робко, боясь, что онъ уйдетъ, а потомъ смѣлѣе, она стала рассказывать, какъ жили безъ него. Тимофей слушалъ. Такъ, бывало, лѣтомъ, когда за блѣдныя дуга склонилось солнце, остывала пыль, и съ рѣки тянуло сырой травой, процѣдивъ удой, она сидѣла съ бабами на завалинкѣ, а рядомъ, прижавшись къ колѣну, смиренно стоялъ набѣгавшійся Тимофей, и она, подъ бабій разговоръ, то поправляла на немъ опояску, то одергивала рубаху, то, вздохнувъ, гладила сына по головѣ.

## XI.

Утромъ деревня стояла безъ дыма. Крыши несли грузъ свѣжаго снѣга, и мѣрозная тѣнь отъ избъ занимала половину широкой улицы. Утромъ Василій Максимовъ почистилъ конюшню, запрягъ вороного въ навозницу и выѣхалъ съ сыномъ въ поле. Они остановились на горкѣ, гдѣ подъ снѣгомъ лежала продернутая льдомъ осенняя пахота, и начали срывать навозъ. Полемя отъ города шла одѣтая по воскресному, въ бѣломъ шелковомъ платкѣ и новомъ полушубкѣ знакомая дѣвка Акулина Никанорова.

— Ты откуда, Кушка? — спросилъ Василій.

— Съ города, — отвѣтила она, остановившись на краю поля.

— Зачѣмъ была?

— Была тамъ, — широко улыбаясь, сказала она, — съ нѣмцами шутила, пригласила къ себѣ нѣмца въ гости.

Противъ солнца свѣтились облитые серебромъ снѣга, и уголь поля зачернѣлъ навозными бабками, когда съ порховской дороги свернула обозъ. Первыми, послѣ ночного бѣгства, возвращались домой богатые, на хорошихъ коняхъ, мужики. Приставшіе за ночь кони медленно тянули нагруженные дровни, а за телѣгами брелъ привязанный скоть.

— То-то тихо обратно идутъ, — сказалъ Тимофей.

Онъ стоялъ, опираясь на вилы, въ папахѣ и короткомъ полушубкѣ. Отецъ закурилъ. Въ деревнѣ Барашкахъ отворили ворота, слышно было, какъ мужики загоняли скоть. Потомъ все затихло. Народъ разошелся по избамъ и легъ спать.

Принимаясь за работу, Тимофей посмотрѣлъ въ сторону города. Поле отливало золотистымъ зерномъ. Вдали шли два человѣка.

— Смотри! — сказалъ онъ отцу. — Цѣлиной по снѣгу стелятъ два нѣмца.

— Надо бѣжать, — сказалъ отецъ.

— Нельзя бѣжать, — остановилъ его Тимофей. — Могутъ на мушку взять. Я эти дѣла знаю.

Нѣмцы направлялись къ нимъ. Шли они налегкѣ, съ винтовками за плечами, широкимъ и быстрымъ шагомъ. Тимофей бросилъ работу.

— Моэнъ, — поровнявшись, сказалъ худощавый.

— Моэнъ, — отвѣтилъ Тимофей и поздоровался за руку.

— Барашки, Барашки, — улыбаясь, нетвердо сказала нѣмецъ и засмѣялся. Онъ отстегнулъ висѣвшую на поясѣ фляжку и пальцемъ показалъ, сколько Тимофей можетъ выпить.

— Денькую, пань, — сказали Тимофей и сдѣлалъ три большихъ глотка сладкой, настоенной на анисѣ водки.

Нѣмецъ досталъ изъ кармана сложенную вчетверо записку. Тимофей взялъ ее, отдалъ фляжку и воткнулъ вилы въ снѣгъ.

— Акулина Никанорова, деревня Барашки, — прочелъ онъ вслухъ. — Правду сказала, не похвастала, — подумалъ онъ и обернулся къ отцу:

— Къ Кушкѣ въ гости!

— Ай, боюсь, — отвѣтилъ Василій, — я ихъ, главное дѣло, боюсь.

Тимофей взялъ нѣмца за плечо и повернулъ лицомъ на сосѣдную деревню.

— Вотъ Барашки, пань, — сказалъ онъ, — Акулина Никанорова, — и на пальцахъ сосчиталъ: — Какъ пойдете — шестой домъ.

Нѣмецъ закивалъ головой и, попрощавшись, пошелъ съ пріятелемъ цѣлиной на деревню.

— Ну, батька, — сказалъ Тимофей, бросая вилы въ навозницу, — теперь мнѣ надо ѣхать!

Когда сѣраго, запряженного въ отцовскія дровни коня повернули головой къ открытымъ воротамъ, и Тимофей стоялъ на дворѣ съ веселымъ лицомъ, мать, плохо видя отъ слезъ, увязывала въ сѣняхъ его сапоги, шелковый поясъ и голубую рубаху.

## XII.

Передъ приходомъ нѣмцевъ у купца Лосева квартировалъ автомобильный взводъ. Въ день отступленія хозяинъ купилъ у солдатъ ящикъ чая и сибирскаго масла. Подъ вечеръ къ Лосеву зашелъ постоялецъ въ новой щегольской поддевки и хромовыхъ сапогахъ.

— Вотъ зашелъ къ вамъ, хозяинъ, попрощаться, — сказалъ солдатъ.

— Ну что-жь, счастливо, — отвѣтилъ Лосевъ, — теперь куда-жь?

— Да вотъ хочу домой къ матери ѣхать.

— А мать-то далеко?

— Въ Архангельскѣ.

— Погодите, молодой человѣкъ, — посмотрѣвъ на него, сказалъ Лосевъ. — Я вамъ чайничекъ на дорогу подарю.

— Да нѣтъ, спасибо. Я налегкѣ.

Онъ попрощался и пошелъ со двора: дубленая поддѣвка стянута на спинѣ сборкой, папахъ — набекрень.

Наступилъ вечеръ. Съ темнотой городъ затихъ, небо потяжелѣло. Лосевъ стоялъ у калитки.

— Ну, какъ у васъ, Василій Васильевичъ, — подойдя къ нему, спросилъ сосѣдь. — Мои сукины дѣти ушли и топоръ утащили. Настоящіе большевики.

— Я про своихъ не могу сказать, что большевики, — отвѣтилъ Лосевъ. — Вотъ вчера разбили лампу и заплатили. Кто-же теперь изъ солдатъ платитъ.

Началъ падать снѣгъ, и нѣмецкіе автомобили въѣхали на главную улицу. Вокругъ машинъ собрался народъ, и Лосевъ увидѣлъ въ толпѣ постояльца. Солдатъ смотрѣлъ на нѣмцевъ, засунувъ руки въ грудные карманы поддевки...

Съ дорогъ свезли снѣгъ, днемъ по главной улицѣ съ барабанами и флейтами проходили нѣмецкія роты; вечеромъ доносило зорю. Въ понедѣльникъ утромъ морозило. Неожиданно ударили въ набатъ, часто, часто и оборвали... Лосевъ закрылъ лавку и пошелъ къ собору.

— Потушили, — поравнявшись, сказалъ знакомый прикащикъ. — Разгораться (было) начало, да, славу Богу, вода близко.

— А гдѣ горѣло?

— На бензиновомъ складѣ. Оставшійся солдатъ поджегъ. Зажегъ-то въ одномъ углу, да, слава Богу, огонь

еще не подошелъ къ бочкамъ. Его ужъ нѣмцы судить по-вели.

Около управскаго дома народъ окружалъ коренастаго съдоусаго сторожа Василия, одѣтаго въ тяжелую ночную шубу и старую полицейскую фуражку.

— Я этого солдата знаю, — говорилъ Василій. — Онъ ежедневно въ складъ на караулъ ходить. Третьяго дня, когда Совѣтъ ушелъ, хозяинъ меня позвалъ и говоритъ: «Ты, Василій, гляди, никого на складъ не пускай. Всѣ запасы нѣмцамъ надо въ цѣлости сдать». Стою вчера — откуда ни возьмись солдатъ. Совѣ въ калитку! «Нельзя». «Да вѣдь мы хозяева». «Были вы, а теперь другіе»... Ночь я прокараулилъ, утромъ пошелъ въ ряды, да забылъ кошелекъ. Пришлось вернуться. Подхожу къ воротамъ, а изъ калитки — солдатъ! Дверь на складъ настезъ, дымъ валить. Я закричалъ, а тутъ и въ набатъ ударили.

— Жаль мальчика, — сказалъ высокій мѣщанинъ. — Я видѣлъ, какъ его нѣмцы вели: молодой человекъ, красивый, здоровый.

### XIII.

Утромъ два нѣмца водили солдата по городу. Это было его послѣднее желаніе.

Онъ шелъ впереди съ изжелта-блѣднымъ лицомъ. За ночь западали глаза, соохлись губы. Сѣрая въ межкую смущку, съ зеленымъ верхомъ папаха была надвинута набекрень, желтая поддѣвка расплжута. Онъ много курилъ, часто останавливался, смотрѣлъ на открывшуюся межъ домовъ рѣку, и съ его лица не сходила грустная и отчаянная улыбка.

Ему разрѣшили брать у прохожихъ папиросы. На панели собирался народъ: всѣ знали, что онъ приговоренъ. Остановившись, солдатъ снималъ кожанья, съ распухбомъ по локоть рукавицы, бралъ ихъ подъ мышку и закуривалъ. Тяжело было смотрѣть на его подтянутое ли-

цо, на обутое въ хромовые сапоги ноги, твердо стоявша въ рыхломъ снѣгу. Закуривъ, поднеся руку къ папахъ, онъ молча благодарилъ, и у людей падало сердце.

Его водили въ крѣпость, что на островкѣ межъ двухъ мостовъ, гдѣ ошибочно назначили мѣсто разстрѣла. Вокругъ низкой церкви Николы бѣлѣлъ дворъ. Противъ церковной паперти стояла богатыня съ двумя толстыми берегами у крыльца, и когда солдата вели по крѣпостному двору мимо церкви, богатынки вышли на крыльцо и крестились на него, какъ на мертваго. А былъ онъ выше средняго роста, плечистъ, чернобровъ, ему давали двадцать три года.

На высокомъ берегу стояла полуразсыпавшаяся сѣрая крѣпостная стѣна. У крутого подножья на промерзшую землю бѣлыми языками намело снѣгъ, въ бойницахъ жили галки, по гребню росла сухая трава.

Надвигался солнечный день. Въ школахъ шли уроки, на базаръ прѣхало съ десяткомъ дрожней, часы тягуче званивали время.

На обратномъ пути солдатъ остановился на мосту, положилъ на перила руки и долго смотрѣлъ на рѣку и снѣжныя поля. Подъ мостомъ лежала синяя тѣнь, на главахъ женскаго монастыря по утреннему чисто сияли кресты. Нѣмцы съ ружьями стояли поодаль и ждали.

Онъ оторвался и пошелъ къ городу, опустивъ голову, заложивъ назадъ руки.

За мостомъ онъ выпрямился, но насильная улыбка уже не скрывала мертвенной блѣдности его лица.

#### XIV.

— Пойдемъ, — сказала Валя.

Она была въ бѣломъ, а косы не за спиною, а по плечамъ. Она взяла его за руку, и они побѣжали по гимназическому корридору. На площадкѣ у дверей стоялъ старикъ въ аломъ кафтанѣ.

— Это въ садъ — спросила она.

— Въ тропическій садъ, — почтительно поправилъ онъ и распахнулъ дверь.

Пахнуло тепломъ и запахомъ цвѣтовъ. Все радостно золотилось. За деревьями, повѣсивъ хоботы и хвосты, шли сѣрые слоны, а на полянѣ шумѣлъ циркъ. Въ домѣ, средь зелени, кричали, звонили, смѣялись и пѣли. И какіе то пестрые веселые клоуны показывались въ окнахъ, выскакивали, кувыркались. Они побѣжали мимо, узенькой аллеей, и онъ чувствовалъ ея теплую руку. По сторонамъ блестяли широкіе листья и цвѣли бѣлые колокольчики. Они добѣжали до площадки. Старая, потрескавшаяся широкая лѣстница, поросшая лучками травы, веселыми уступами падала внизъ. А за нею не было ничего, кромѣ блѣдно голубого.

— Давай прыгать, — сказала она.

Держась за руки, они начали прыгать. Сначала выходило неловко, а потомъ заиграла въ деревьяхъ музыка, съ легкимъ ритмомъ, и они прыгали подъ тактъ. Тактъ — ступенька, тактъ — другая.

— Смотри, Валя, какъ я умѣю, — сказалъ онъ, набравъ воздуха, ширѣлъ и подпрыгнулъ, чтобы прометѣть двѣ ступеньки, но сразу понесся и, очень медленно, по итичь, сталъ опускаться, но не дотронулся до ступеней, а радостно изумился, какъ его подбало. Онъ леталъ и радостно говорилъ:

— Валя, какъ я раньше не зналъ. Какъ же я раньше не зналъ, милая Валя...

...За рѣткой держался сѣрый холодокъ. Щеки остыли. Пачель посыпали золой и подъ подошвой хрустѣлъ уголь. Въ пустой раздѣлѣкъ Сережа увидѣлъ зябрую черными шинелями стѣну. Остъ раздѣлся, побѣжалъ вверхъ, а классы уже строились на молитву въ большой залъ, гдѣ стоялъ утренній суровый свѣтъ.

На первомъ урокъ всѣ записывали. Прямой и высокій учитель объяснялъ геометрическую задачу, глухимъ и

спокойнымъ голосомъ, чертилъ на доскѣ и подъ его крѣпкой рукой постукивалъ и крошился мѣлъ. Стояло ровное казенное тепло, всѣ хорошо слушали, въ партахъ лежали коньки, а подъ партами на паркетѣ темнѣли мокрые слѣды -- то таялъ снѣгъ, набившійся въ привинченныя къ каблукамъ пластинки. За высокой кафедрой на стѣнѣ висѣлъ портретъ курчаваго въ бѣломъ отложномъ воротничкѣ поэта, а справа -- карта Россіи: много нѣжной зелени цвѣта выросшей подъ колодой травы.

На третьемъ урокѣ въ классѣ лежалъ солнце. Сережа лѣниво слушалъ. По корридору прошелъ сторожъ и крѣпкій колокольчикъ наполнилъ пустую и солнечную залу. Въ классахъ открыли окна, а мальчики побѣжали въ Покровскій паркъ играть въ снѣжки.

На набережной учились маршировать нѣмцы, уже пахло корою липъ и въ солнечномъ снѣгу хорошо стояла зеленая, сдѣланная изъ деревянныхъ копьевъ рѣшетка.

Перемена прошла быстро. Въ окнѣ показался сторожъ, и на улицѣ раздался звонокъ. Мальчики побѣжали, но на дорогѣ снова начали играть, загребая снѣгъ, быстро лѣпя снѣжки и подступая. Такъ они побѣжали къ училищу, и уже въ дверяхъ Сережа увидѣлъ, что по дорогѣ два вооруженныхъ нѣмца ведутъ знакомаго солдата, съ которымъ они разбирали пулеметъ. Сережа задержался, но всѣ торопились и со смѣхомъ и криками втокнули его въ корридоръ. Они вбѣжали въ классъ, а слѣдомъ вошелъ учитель. Остановившись на кафедрѣ, онъ подождать пока всѣ разсядутся и затихнуть. Отъ снѣга горѣли порозовѣвшія ладони, всѣ сидѣли вздохмаченные и румяные.

Нестерпимымъ казалось солнечное, медленно идущее время. Учитель не приходилъ. Одни мѣняли марки, другіе, собравшись у первой парты, разглядывали купленный у нѣмцевъ электрической фонарь, который можно вѣшать на пуговицу шинели.

Сережа вышелъ въ корридоръ. Въ шестомъ классѣ шелъ урокъ: подъ ногами учителя поскрипывалъ паркетъ,

доносило мѣрный голосъ. Въ концѣ корридора, около столика съ колокольчикомъ сидѣлъ стриженный ежикомъ сторожъ. Подбѣжавъ къ нему, Сережа спросилъ время. Сторожъ растегнулъ мундиръ, досталъ толстые серебряные часы, отвѣтилъ и, посмотрѣвъ на Сережу, строго добавилъ:

— Ровно черезъ пять минутъ на площади разстрѣляютъ солдата.

— Какого солдата? — спросилъ Сережа.

— А вотъ, — отвѣтилъ сторожъ, — его недавно нѣмцы вели:

## XV.

Срокъ истекалъ. Купцы закрыли ряды. Тико и жутко стало на площади. Мѣсто было извѣстно: около собора, у сѣверной стѣны, подъ высокими, забранными желѣзной рѣшеткой окнами. Нѣмецкіе постовые ходили, опираясь на ружья, и народъ поспѣшно отступалъ. Покрытый соборной тѣнью участокъ былъ пустъ и холоденъ, въ чистомъ небѣ блѣбла грань колокольни. Въ городъ обозомъ ѣхали мужики, но задержались въ народѣ. У газетной будки стоялъ принесенный изъ церкви аналой, а около, съ крестомъ и евангеліемъ, ждалъ блѣдный жидкобородый соборный священникъ.

Еще минутная стрѣлка не стала прямо, когда мужики, чтобы лучше видѣть, стали на дровни. Всѣмъ былъ слышенъ твердый шагъ повизгивающихъ на камняхъ тяжелыхъ салогъ. Нѣмецкое отдѣленіе велъ коренастый, лѣтъ подъ сорокъ офицеръ. Нѣмцы остановились на чистомъ мѣстѣ, спиной къ толпѣ, подравнялись и опустили ружья къ ногъ. Офицеръ задержался у будки. Онъ былъ одѣтъ по походному, въ каскѣ, автомобильныхъ крагахъ, съ револьверомъ у пояса; у него было красное на морозѣ лицо съ твердымъ румянцемъ на свѣже-выбритыхъ щекахъ, былъ твердъ стеклянный взглядъ голубыхъ глазъ. Онъ,

спокойно смотрѣлъ, какъ солдатъ снялъ папаху, перекрестился и, подойдя къ священнику, поцѣловалъ крестъ.

Въ это время другой стороной мужикъ везъ положенный на дровни большой бѣлый, сколоченный изъ свѣжаго лѣса гробъ. Рядомъ шелъ пожилой управскій человѣкъ.

— Хоронить около ограды, — сказалъ олъ. — Ближе къ нѣмецкому кладбищу.

Исповѣдь кончилась. Женщины начали пробиваться впередъ. Солдатъ шелъ среди конвоировъ къ собору. Онъ снялъ папаху, перекрестился, сталъ лицомъ на народъ, и блѣднымъ пятномъ казалось его лицо на синеватой соборной стѣнѣ.

Толпа затихла. Какая-то дѣвушка билась на рукахъ и кричала:

— Уведи меня! Уведи! Не надо! Родвенькіе, не надо!

И тутъ женщины заплакали въ нѣсколько голосовъ, раздалась команда, залпъ отдало въ пустыхъ рядахъ, съ соборныхъ крестовъ сорвались и безъ крика полетѣли галки. Народъ, смѣшавшись, бѣжалъ: одни въ городъ, а другіе къ собору, гдѣ мягко подкосивъ ноги, мѣшкомъ, у стѣны легъ солдатъ, куда уже принесли снятый съ крестьянскихъ дровней бѣлый гробъ.

## XVI.

— Ой, милые! — плакала и крестилась старуха въ черномъ платкѣ. — Пресвятая Богородица! Не суди Ты, Пресвятая Мать Богородица. И гробъ ему и исповѣдь на рынкѣ. Сразу въ гробъ, и не раздѣвали.

— За падлу считаютъ, — сказала молодая женщина и посмотрѣла на поблѣднѣвшаго Сережу.

— Боже мой, не дай видѣть страсти эти.

— А переносить все спокойно, — сказала молодая. — Вышелъ, спокойно сталъ.

— Къ стѣнкѣ-то стаяь, одну руку — въ полушубокъ и выровнялся. — Такой здоровый, милые. Какъ ударили — сердце задрожало...

И снова пустота, снова голуби у рядовъ, снова пробило на колокольнѣ четверть. Стоя на дровняхъ, проѣхалъ мужикъ, солнце склонялось, тѣни легли и въ училище шли дѣвочки съ ращами.

А на бульварѣ игралъ духовой оркестръ. Нѣмецкіе музыканты въ шинеляхъ, безкозыркахъ, въ безпалыхъ шерстяныхъ перчаткахъ, играли на набережной, передъ двухэтажнымъ сиреневымъ домомъ, занятымъ офицерскимъ постоемъ. Оркестръ кончилъ, музыканты продували трубы, и Сережа увидѣлъ, какъ во второмъ этажѣ, открывъ форточку, высунулся пожилой офицеръ съ пробормомъ, съ затянутой воротничкомъ шеей. Красный, улыбаясь, держа на подоконникѣ руку съ сигарой, онъ что-то весело приказывалъ вытянувшемуся капельмейстеру.

Сережа пошелъ берегомъ. Чернѣли голыя липы, на скамейкахъ лежалъ снѣгъ. На закатѣ свѣтился гладкій у прорубей ледъ и такъ же, какъ въ тотъ вечеръ, монастырь поднималъ травяныя главы и на рѣчномъ просторѣ лежалъ тотъ-же легкій и печальный свѣтъ.

Къ вечеру надъ мостами печальнымъ косякомъ летѣли галки, они играли высоко надъ рѣкой, то разсыпаясь, то сбиваясь въ мелькающія крикливыя стаи. Медленно уходило за голыя зарѣчныя рощи солнце, синѣли поля, зернисто подмерзали снѣгъ, въ пустомъ небѣ потухали монастырскіе кресты и послѣ недавнихъ слезъ стыли щеки.

.....  
.....

Л. Зуровъ.



Ужасны чужіе глаза  
и каменно сжатые рты.  
Какія слова мнѣ сказать,  
чтобъ стала съ людьми я на ты?  
И утро и полдень и день  
прошли. Пламенѣть закатъ...  
Но вотъ уже смертная тѣнь  
ложится на жизненный скатъ.

Екатерина Бакунина.

### СЛОЖНОСТИ.

Къ простотѣ возвращаться... Зачѣмъ?  
Зачѣмъ — я знаю, положимъ.  
Но дано возвращаться не всѣмъ:  
Такіе, какъ я — не можемъ.

Сквозь колючій кустарникъ иду,  
Онъ цѣпокъ, мнѣ не пробиться.  
Но пускай, ослабѣвъ, упаду,  
До второй простоты не дойду,  
Назадъ — нельзя возвратиться.

## О ВОСКРЕСЕНЬИ.

Не пытай ни о чемъ дорогой,  
Легкой ткани льняной не трогай  
И въ пыли не пытай слѣдовъ...  
Не ищи невозможныхъ словъ.  
Посмотри, какъ блаженны дѣти,  
Будемъ просты сердцемъ и мы:  
Нѣту словъ объ этомъ на свѣтѣ,  
Кромѣ словъ — послѣднихъ — **Θомы**.

## ЗДѢСЬ.

Чаша земная полна  
Отравленнаго вина.  
Я знаю, знаю давно —  
Пить ее нужно до дна...  
    Пьемъ, — но гдѣ же оно?  
    Есть ли у чаши дно?

## ТАМЪ.

Когда я воскресъ изъ мертвыхъ,  
    Одно меня поразило:  
Что это возстанье изъ мертвыхъ,  
И все, что когда нибудь было, —  
    Все просто; все такъ, какъ надо.  
    Мнѣ раньше бы догадаться!  
И грызла меня досада,  
    Что не успѣлъ догадаться...

3. Гиппиусъ.

## ИЗЪ ЦИКЛА «AD DIONISAM»

На востокъ отъ солнца, на западъ отъ луны  
 Мои безсмертные, блаженные сны.  
 Безсонный вѣтеръ мнѣ дуетъ въ лицо —  
 Подъ плащемъ таю золотое кольцо.  
 Мерцаетъ въ немъ древній лунный опалъ,  
 Свѣтъ его тусклый — тысячи жаль.  
 И то-же сіянье въ глазахъ твоихъ  
 Медлитъ и нѣжитъ, какъ медленный стихъ.  
 Змѣиная, злая восходитъ звѣзда.  
 И знаю — я твой, навсегда, навсегда.  
 Лишь въ сердцѣ безсмертномъ струятся сны —  
 На востокъ отъ солнца, на западъ отъ луны.

Илья Голенищевъ-Кутузовъ.

\*\*

Надъ солнечною музыкой воды,  
 Тамъ, гдѣ съ горы сорвался берегъ въ море,  
 Цвѣтутъ лѣса и таетъ бѣлый дымъ  
 Весеннихъ тучъ на утреннемъ дозорѣ.

Я снова всталъ душой изъ зимней тьмы  
 И здѣсь, въ горахъ, за сѣрою агавой  
 Который разъ мнѣ такъ раскрылся миръ  
 Мучительной, но солнечной забавой.

Въ молчаньи, на оранжевую землю  
 Течетъ смола, чуть слышный шумъ вдали  
 Напоминаетъ мнѣ, что море внемлетъ,  
 Неспѣшно покрывая край земли.

Молчить весна. Все ясно мнѣ безъ словъ,  
Какъ больно мнѣ, какъ мнѣ легко дышать.  
Я снова здѣсь, мнѣ въ мѣрѣ больно снова,  
Я ничему не въ силахъ помѣшать.

Шумить прибой на телеграфной сѣти,  
И пѣна бьетъ на улицу спѣша,  
И дивно молодъ первозданный вѣтеръ,  
Не помнить ни о чемъ его душа.

Покрылось море темной синевою,  
Клубясь, на солнце облако нашло  
И, окружась полоской огневою,  
Поплыло прочь въ небесное стекло.

Въ необъяснимомъ золотомъ движеніи,  
Съ довѣремъ дивнымъ поручась судьбѣ,  
Себя не видя въ легкомъ отраженіи,  
Въ исчезновеніи не плача о себѣ...

Ложусь на теплый верескъ, забывая  
О томъ, какъ долго мучился, любя,  
Глаза, на солнцѣ грѣясь, закрываю  
И снова навсегда люблю Тебя.

**Борисъ Поплавскій.**

## ПОѢЗДКА ВЪ «LES-CHEVREUSE»

## I.

Это было перваго апрѣля  
 Девятьсотъ тридцать второго года.  
 (Тысячу опустимъ для удобства).  
 Въ мірѣ было холодно и сыро.  
 Шли дожди. Подъ непрестаннымъ душемъ  
 Городскими черными грибами  
 Расцвѣтали зонтики поспѣшно,

А въ лѣсу: грибы-дождевики.  
 Въ мірѣ было холодно и пусто.  
 Днемъ надъ нимъ текло слѣлое солнце  
 Съ древнимъ радио<sup>душіемъ</sup>, а ночью —  
 Безучастно леденѣли въ небѣ  
 Городскія неживыя звѣзды.

Лишь звѣзда забытыхъ переулковъ,  
 Полумертвая звѣзда окраинъ,  
 Да большія звѣзды горъ и пляжей,  
 Да живыя звѣзды деревень —  
 Всѣмъ своимъ дрожаніемъ и блескомъ  
 Трепетали: о судьбѣ, о смерти,  
 О борьбѣ, о тайнѣ, о любви,  
 И протягивали къ намъ лучи,  
 Острые, какъ мудрость или жалость.

---

Въ мірѣ было холодно и гулко.  
 Стервенѣли страны и народы,  
 (Ночью мнился мнѣ тревожный звукъ —

Скрилъ зубовъ... иль трескъ послѣднихъ троновъ?)  
Страны загорались, надъ землею  
Рѣяли пары небытія,  
Въ день, когда — используя свободу —  
(Это было третьяго апрѣля)  
Я набралъ разнообразныхъ фруктовъ  
У безстыдной радостной торговли  
Съ жадными и щедрыми глазами,  
И, смѣшавшись съ праздничной толпою  
Сѣрозубыхъ жителей предмѣстій  
И демократичныхъ парижанъ,  
Сѣлъ въ гремучій, юркій дачный поѣздъ,  
Бойко любѣжавшій въ Lès-Chevreuse.

## II.

Быль ранній часъ. Въ купѣ, со мною рядомъ,  
Сидѣла пара, обнимаясь крѣпко.  
Въ окнѣ мелькала живопись предмѣстій:  
Застѣнчивая зелень и заборы,  
Приземистые низкіе вокзалы,  
Заброшенные люди и дома,  
Ныряющіе въ пыль — и неизбежный  
Рекламой обезчещенный домишка,  
Несущій міру вѣсть о Дюбоннѣ.

---

Чуть-чуть покачиваясь въ тактъ колесамъ,  
Выстукивавшимъ что-то на мотивы  
И Соломона, и Экклезіаста,  
Я незамѣтно началъ слушать шопотъ  
Моихъ сосѣдей.

О, скучныя и вязкія слова,  
О, жалкіе любовники, какъ жалокъ

Быль ихъ любви неспражничный языкъ.  
 О, бѣдные, когда-бъ они узнали,  
 Какъ говорили о любви — другіе,  
 Предтечи ихъ: Петрарка или Данте,  
 Овидій, Пушкинъ, Тютчевъ или Блокъ...

И стыдно стало мнѣ за ихъ любовь:  
 Весь день склоняться надъ какой-то блузкой,  
 Или томиться гдѣ-нибудь въ конторѣ,  
 Иль какъ-нибудь иначе продавать  
 Свой день, свой трудъ, свой потъ, свою судьбу  
 Тому, кто дастъ тебѣ немного денегъ,  
 И, послѣ — оплетенныхъ скукой — дней,  
 Дождаться воскресенья, дня свободы,  
 Когда ты міру — другъ, и вѣтру — братъ,  
 И встрѣтиться съ желанною своею, —  
 И ничего ей не умѣть сказать,  
 И ничего отъ бѣдной не услышать  
 Умиѣ, музыкальнѣе, живѣй  
 Вотъ этихъ нищихъ зачерствѣлыхъ словъ,  
 О томъ, что день сегодня — сыроватый,  
 Что скоро, вотъ, появится клубника,  
 И, помолчавъ, и словно просыпаясь  
 Отъ долгаго и душнаго объятя,  
 Вздохнувъ, дрожащимъ голосомъ сказать —  
 О шляпѣ, башмакахъ иль о погодѣ...

### III.

Я пересѣлъ напротивъ, чтобъ взглядѣться  
 Въ попутчиковъ...

И вотъ, по ихъ глазамъ,  
 По ихъ губамъ, рукамъ — я вдругъ увидѣлъ,  
 Съ недоумѣньемъ и почти съ испугомъ:  
 Имъ былъ открытъ какой-то тайный міръ,

Что проступаетъ сквозь слова и вещи,  
Сквозь сѣрые невзрачные предметы...  
Имъ былъ открытъ прекрасный тайный міръ.

Вагонъ летѣлъ, и въ старенькомъ купѣ  
Я видѣлъ пыль, нечистыя скамейки,  
И смятую газету (что противнѣй  
Прочитанной газеты!), и сосѣдей,  
Еще нестарыхъ, но помятыхъ жизнью.  
Я слышалъ стукъ и скрипъ оконной рамы  
Да дробь колесъ... Они-жъ, со мною рядомъ,  
На то же глядя, видѣли такое,  
Такое слышали, и знали о такомъ,  
Что я подобенъ былъ слѣпцу, со зрячимъ  
Сидящему: предъ ними тѣ же краски,  
И звѣзды тѣ же, тѣ же — мракъ и пѣсня,  
И дѣвушка, несущая корзинку,  
Но какъ несхожи межъ собой видѣнья,  
Что — позже — каждый унесетъ къ себѣ.

Онъ говорилъ ей: ты блѣдна сегодня,  
Мой милый кроликъ, дорогая крошка...  
И женщина пьянѣла, и безумье  
Мутило ей глаза горячимъ счастьемъ.

Смиренный и божественный языкъ  
Прикосновеній, взглядовъ и молчаній:  
Отъ рукъ къ рукамъ, отъ глазъ къ роднымъ глазамъ,  
Отъ сердца — къ сердцу шли большіе токи  
Той радости, которой нѣтъ названья,  
Той прелести, которой мѣры нѣтъ,  
Той щедрости, которой нѣтъ предѣла.

Да, есть еще таинственнѣйшій міръ  
Неясныхъ музыкальныхъ измѣреній,  
Есть царская симфонія любви,

Въ которой расплавляются слова,  
 Червя, истлѣвая, умирая, —  
 Какъ осенью обугленный листокъ,  
 Какъ обезкровленное скукой сердце,  
 Какъ сердце, недождавшееся счастья.

Кондукторъ что-то крикнулъ. Поѣздъ сталъ.  
 Я долго шелъ. Быть можетъ — за любовью...

**Довидъ Кнуть.**

*Лиди Червинской,*

Въ столовой нашей желтые обои —  
 Осенній неподвижный листопадъ.  
 И нашу лампу зажигать не стоитъ —  
 Въ окнѣ еще не догорѣлъ закатъ.  
 Дни «роковые», сны... а что осталось?  
 — Одна непримиренная усталость...  
 Что-жь, побесѣдуемъ за чашкой чая,  
 (Давно бесѣды мирны и тихи)  
 И если ты захочешь, прочитаю  
 Усталые и грустные стихи.

**Юрій Софiевъ.**

\*\*

Стихи растутъ, какъ звѣзды и какъ розы,  
Какъ красота, ненужная въ семьѣ.  
А на вѣнцы и на апофеозы  
Одинъ отвѣтъ: — Откуда мнѣ сіе?  
Мы спимъ — и вотъ, сквозь каменные плиты,  
Небесный гость въ четыре лепестка.  
О мѣръ, пойми! Пѣвцомъ во снѣ открыты  
Законъ звѣзды — и формула цвѣтка.

Москва, 1918 г.

Марина Цвѣтаева.

\*\*

Ты осудишь, — мы не виноваты.  
Мы боролись, мы не шли къ грѣху.  
Запахъ поля, запахъ горькой мяты  
У Тебя не слышентъ наверху.

Все у насъ печально и убого,  
— На окраинѣ низкіе дома,  
Межъ полей размытая дорога,  
За плечами нищая сума.

Такъ стоишь часами за деревней,  
День прошелъ, — какъ не бывало дня.  
Этотъ мѣръ, заброшенный и древній,  
Веселѣе не былъ до меня.

Да и завтра веселѣе тоже  
Онъ стоять не будетъ у дверей.  
Мы несчастны. Очень. Боже, Боже,  
Почему Ты съ нами не добрый.

Анатолій Штейгеръ.

## Изъ воспоминаній \*)

XXXV.

### УХОДЪ.

Съ вечера 27-го чувствовалось особенно тяжелое, напряженное настроеніе. Сначала матери не было за чаемъ, она занималась корректурами. Мы сидѣли за столомъ вчетверсѣмъ: отецъ, Душанъ Петровичъ, Варвара Михайловна и я. Отецъ пилъ чай изъ сухой земляники. Черезъ нѣкоторое время пришла мать. Я встала, взяла свою чашку и вышла. Скоро пришла Варвара Михайловна и сказала мнѣ, что, какъ только я ушла, отецъ взялъ свой стаканъ съ земляничкой и тоже ушелъ къ себѣ. Долго въ эту ночь мы не спали съ Варей. Намъ все мерещилось, что кто то ходитъ, разговариваетъ наверху, въ кабинетъ отца. Передъ утромъ мы услышали стукъ въ дверь.

— Кто тутъ?

— Это я, Левъ Николаевичъ. Я сейчасъ уѣзжаю... Совѣмъ... Пойдемте, помогите мнѣ уложиться.

— Ты развѣ уѣзжаешь одинъ? — со страхомъ спросила я.

— Нѣтъ, я беру съ собой Душана Петровича.

Я ждала его ухода, ждала каждый день, каждый часъ, но тѣмъ не менѣе, когда онъ сказалъ: «я уѣзжаю совѣмъ», меня это поразило, какъ что-то новое, неожиданное. Никогда не забуду его фигуру въ дверяхъ, въ блузѣ, со свѣчей и его свѣтлое, прекрасное, полное рѣшимости лицо.

Когда мы пришли наверхъ, Душанъ Петровичъ былъ уже тамъ. Онъ молчалъ, но по его нервнымъ, суетливымъ движеніямъ видно было, что онъ страшно волнуется. Я стала помогать отцу укладываться, но сердце билось, руки дрожали, я все дѣлала не то, что надо, спѣшила, роняла вещи...

\*) См. Совр. Зап. кн. 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51.

Отецъ же на видъ былъ совершенно спокоенъ. Онъ что-то аккуратно укладывалъ въ коробочки, перевязывалъ ихъ бичевкой. Онъ указалъ мнѣ на кипу рукописей, которыя лежали на креслѣ у письменнаго стола.

— Вотъ, Саша, я выбралъ изъ ящиковъ всѣ свои рукописи. Пожалуйста, возьми и сохрани ихъ. Я мама написала, что отдаю ихъ тебѣ на сохраненіе.

Лицо у него было розовое, движенія ровныя, не было замѣтно никакой поспѣшности, и только прерывающійся голосъ выдавалъ волненіе.

Я отнесла рукописи къ себѣ и спросила его, взялъ ли онъ дневникъ. Онъ отвѣтилъ, что взялъ, и просилъ меня уложить карандаши и перья. Я хотѣла уложить нѣкоторыя медицинскія принадлежности, необходимыя для его здоровья, но онъ сказалъ, что это совершенно лишнее. Отецъ бралъ съ собой только самыя необходимыя вещи. Мнѣ съ трудомъ удалось уговорить его взять нѣкоторыя лѣкарства, электрической фонарикъ и мѣховое пальто.

Мы двигались чуть слышно и все время останавливали другъ друга: «Тише, тише, не шумите!» Двери были затворены и, когда я спросила, кто затворилъ ихъ, отецъ сказалъ, что тихо, едва ступая, онъ подошелъ къ спальнѣ матери, затворилъ ея дверь и дверь изъ корридора.

— Ты останешься, Саша, — сказалъ онъ мнѣ. — Я вызову тебя черезъ нѣсколько дней, когда рѣшу окончательно, куда я поѣду. А поѣду я по всей вѣроятности къ Машенькѣ \*) въ Шамордино. Скажи мама, что нынче была послѣдняя капля, переполнившая чашу. Засылая, я слышала шаги въ кабинетѣ, посмотрѣлъ въ щель и увидалъ, что она прерываетъ мои бумаги. Мнѣ стало такъ противно, такъ гадко. Я лежалъ, не могъ заснуть, сердце билось. Я считалъ пульсъ, было 97. А потомъ она вошла ко мнѣ и спросила о моемъ здоровьи. Я всю ночь не спалъ и къ утру рѣшилъ уйти.

Укладывали вещи около получаса. Отецъ уже сталъ волноваться, торопиль, но руки у насъ дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались. Отецъ сказалъ, что ждать больше не можетъ и, надѣвъ свою синюю поддевку, калоши, коричневую, вязаную шалочку и рукавицы, пошелъ на конюшню сказать, чтобы запрягали лошадей. Я сошла съ нимъ внизъ, таща готовыя вещи.

\*) Марія Николаевна Толстая.

Варвара Михайловна собирала провизию на дорогу.

Мы хотѣли уже выносить вещи, какъ вдругъ отворилась наружная дверь и отецъ безъ шапки вошелъ въ переднюю.

— Что случилось?

— Да такая темнота, зги не видать! Я пошелъ по дорожкѣ, сбился, наткнулся на акацію, упалъ, потерялъ шапку, искалъ, не нашелъ и долженъ былъ вернуться! Достань мнѣ, Саша, другую шапку!

Я побѣжала, принесла двѣ. Отецъ взялъ вязанную — похуже и опять вышелъ, захвативъ съ собою электрической фонарикъ.

Черезъ нѣсколько минутъ и мы пошли на конюшню, таща на себѣ тяжелые связки и чемоданы. Было грязно, ноги скользили, и мы съ трудомъ подвигались въ темнотѣ. Около флигеля замелькалъ синенькій огонекъ. Отецъ шелъ намъ навстрѣчу.

— Ахъ, это вы, — сказалъ онъ, — ну, на этотъ разъ я дошелъ благополучно. Намъ уже запрягаютъ. Ну, я пойду впередъ и буду свѣтить вамъ. Ахъ, зачѣмъ вы дали Сашѣ самыя тяжелыя вещи? — съ упрекомъ обратился онъ къ Варварѣ Михайловнѣ.

Онъ взялъ изъ ея рукъ корзину и понесъ ее, а Варвара Михайловна помогла мнѣ тащить чемоданъ. Отецъ шелъ впереди, изрѣдка нажимая кнопку электрическаго фонаря и тотчасъ же отпуская ее, отчего казалось еще темнѣе. Отецъ всегда экономилъ и тутъ, какъ всегда, жалѣлъ тратить электрическую энергію. Такъ подвигались мы то въ полномъ мракѣ, то направляемые свѣтомъ фонаря. Когда мы пришли на конюшню, Адрианъ Павловичъ заводитъ въ дышло вторую лошадь. Отецъ взялъ узду, надѣлъ ее, но руки его дрожали, не слушались и онъ никакъ не могъ застегнуть пряжку.

Сначала отецъ торопилъ кучера, а потомъ сѣлъ въ уголкѣ каретнаго сарая на чемоданъ и сразу упалъ духомъ.

— Я чувствую, что вотъ-вотъ насъ настигнуть, и тогда все пропало. Безъ скандала уже не уѣхать.

Но вотъ лошади готовы, кучеръ одѣлся. Фила съ факеломъ вскочилъ на лошадь.

— Трогай!

— Постой, постой! — закричала я, — постой, папаша! Дай поцѣловать тебя!

— Прощай, голубушка, прощай! Ну, да мы скоро увидимся, — сказала она. — Поѣзжай!

Пролетка тронулась и поѣхала не мимо дома, а прямой дорогой, которая идетъ яблочнымъ садомъ и выходитъ на такъ называемый «пришпектъ».

Все это случилось такъ быстро, такъ неожиданно, что я не успѣла отдать себѣ отчета въ томъ, что произошло. И тутъ, стоя въ темнотѣ возлѣ конюшни, я въ первый разъ ясно поняла, что отецъ уѣхалъ совсѣмъ изъ Ясной Поляны, можетъ быть, навсегда и что, можетъ быть, я уже больше никогда не увижу его.

Было около пяти часовъ утра, когда мы съ Варварой Михайловной вернулись домой. Съ сильно бьющимся сердцемъ вошла я въ свою комнату и тутъ, считая часы, просидѣла до восьми. Въ восемь часовъ я вздохнула съ облегченіемъ: поѣздъ, съ которымъ долженъ быть уѣхать отецъ, уже ушелъ. Я пошла къ Ильѣ Васильевичу.

— Гдѣ Левъ Николаевичъ?

Илья Васильевичъ потутился и молчалъ.

— Вы знаете, что Левъ Николаевичъ уѣхалъ совсѣмъ?

— Знаю, они мнѣ говорили, что хотѣли уѣхать, и я нынче дотадаюсь по пальто, что ихъ нѣтъ.

Постепенно вѣсть объ отъѣздѣ отца облегла весь домъ. Большая часть прислуги молчала, не смѣя выражать своего мнѣнія, только старушки — няня и Дунечка, громко сокрушались и, хотя и жалѣли графиню, но говорили, что она сама виновата.

Адрианъ Павловичъ, отвозившій отца на станцію, привезъ мнѣ письмо:

«Доѣхали хорошо. Поѣдемъ, вѣроятно, въ Оптину. Письма мои читай. Черткову скажи, что, если впродолженіи недѣли до 4-го числа не будетъ отъ меня отбѣны, то пусть пошлетъ «заявленіе» въ газеты. Пожалуйста, голубушка, какъ только узнаешь, гдѣ я, а узнаешь это очень скоро, извѣсти меня обо всемъ. Какъ принято извѣстіе о моемъ отъѣздѣ и все, чѣмъ подробнѣе, тѣмъ лучше. 28-го октября. Щекино».

Въ страшномъ волненіи, не находя себѣ мѣста, прождала я до одиннадцати часовъ. Было невыносимо тяжело сообщать матери объ уходѣ отца. Но вотъ въ спальнѣ послышались шаги. Я пошла въ залу и черезъ нѣсколько минутъ туда стремительно вбѣжала мать.

— Гдѣ папа? — испуганно спросила она.

— Отецъ уѣхалъ.

— Куда?

— Не знаю.

— Какъ не знаешь, куда уѣхалъ? Совсѣмъ уѣхалъ?

— Онъ оставилъ тебѣ письмо. Вотъ оно.

Я подаю ей письмо. Она послѣшно схватила его. Глаза ея быстро бѣгали по строчкамъ.

Вотъ что писалъ отецъ:

«4 часа утра 28 октября 1910 года.

Отъѣздъ мой огорчить тебя, сожалѣю объ этомъ, но пойми и повѣрь, что я не могъ поступить иначе. Положеніе мое въ домѣ становится, стало невыносимо. Кромѣ всего другого, я не могу болѣе жить въ тѣхъ условіяхъ роскоши, въ которыхъ жилъ, и дѣлаю то, что обыкновенно дѣлаютъ старики моего возраста — уходить изъ мірской жизни, чтобы жить въ уединеніи, въ тиши послѣдніе дни своей жизни.

Пожалуйста, пойми это и не ѣди за мной, если и узнаешь, гдѣ я. Такси твой пріѣздъ только ухудшитъ твое и мое положеніе, но не измѣнитъ моего рѣшенія.

Благодарю тебя за твою честную сорокавосемилѣтнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всемъ, чѣмъ я былъ виноватъ передъ тобой, такъ же, какъ и я отъ всей души прощаю тебя во всемъ томъ, чѣмъ ты могла быть виновата передо мной. Совѣтую тебѣ помириться съ тѣмъ новымъ положеніемъ, въ которое ставитъ тебя мой отъѣздъ, и не имѣть противъ меня недобраго чувства. Если захочешь что сообщить мнѣ, передай Сашѣ, она будетъ знать, гдѣ я, и перешлетъ мнѣ что нужно. Сказать же о томъ, гдѣ я, она не можетъ, потому что я взялъ съ нея обѣщаніе не говорить этого никому. Левъ Толстой».

«Собрать вещи и рукописи мои и переслать мнѣ я поручаю Сашѣ».

— Ушелъ, ушелъ совсѣмъ! — закричала мать: — Прощайте, я не могу больше жить безъ него! Я утоплюсь!

Она бросила на полъ письмо и побѣжала. Я позвала Булгакова, который только что пришелъ отъ Чертковыхъ, и просила его помочь мнѣ послѣдить за матерью. Булгаковъ тотчасъ же побѣжалъ за ней. А она, какъ была, безъ каблуковъ, въ одномъ платьѣ, побѣжала въ аллею, дальше, по направленію къ пруду. Я смотрѣла на нее изъ окна залы. Но вотъ я увидала, что она приближается къ пруду. Я бросилась со всѣхъ ногъ съ лѣстницы внизъ. Въ

этотъ моментъ мать увидала бѣгущаго за ней Булгакова и бросилась въ сторону. Я побѣжала наперерѣзъ, обогнала Булгакова и подоспѣла въ тотъ моментъ, когда мать подбѣжала къ пруду. Она побѣжала по доскамъ плота, на которомъ полоскали бѣлье, но поскользнулась и упала навзничь. Я бросилась къ ней, но она скатилась съ плота въ сторону и упала въ воду. Я не успѣла удержать ее. Она стала погружаться въ воду, но я уже летѣла за ней, а слѣдомъ за мной подоспѣвшій Булгаковъ. Стоя по грудь въ водѣ, я вытащила мать и передала ее Булгакову и прибѣжавшему на помощь лакею Ванѣ. Они подхватили ее и понесли. Тутъ же подоспѣлъ Семень Николаевичъ, который, подбѣгая къ плоту, поскользнулся и со всего размаха упалъ.

— Вотъ и я тоже поскользнулась и упала, — сказала мать.

Ее взяли подъ руки и повели.

— Саша! — воскликнула она. — Сейчасъ же телеграфируй отцу, что я топилась!

Я ничего не отвѣтила матери. Отъ быстрого бѣга, холодной воды, пережитыхъ волненій, духъ захватило, сердце въ груди бѣшено колотилось и я съ трудомъ передвигала ноги.

Придя домой, я переодѣлась и снова пошла наверхъ. Я ходила по комнатамъ, волнуясь и не зная, что дѣлать. И вотъ вижу въ окно, что мать въ одномъ халатѣ бѣжитъ по аллеѣ къ пруду. Я крикнула Булгакову и Ванѣ, которые снова побѣжали за ней и силой привели ее домой. Такъ продолжалось весь этотъ, казавшійся мнѣ безконечнымъ, кошмарный день. Мать, не переставая, плакала, била себя въ грудь то тяжелымъ пресспанье, то молоткомъ, колола себя ножами, ножницами, булавками. Когда я отнимала у нея всѣ эти предметы, она хотѣла выброситься въ окно, въ колодезь.

Я рѣшила слѣдить за ней и днемъ и ночью, пока не прїѣдутъ остальные члены семьи, которымъ я тотчасъ же послала срочныя телеграммы. Братъ Андрей былъ въ Крапивнѣ \*) и могъ быть въ Ясной Полянѣ въ тотъ же день. Кромѣ того я послала въ Тулу за врачомъ по нервнымъ болѣзнямъ.

Нѣсколько разъ мать умоляла сказать ей, куда по-

\*) Крапивна — уѣздный городъ Тульской губ.

вхаль отецъ, и видя, что ничего не добьется отъ меня, послала на станцію узнать, куда были взяты билеты. Узнавъ, что билеты были выданы на поѣздъ № 9, она послала телеграмму на имя отца:

«Вернись немедленно. Саша».

Лакей Ваня, которому она вручила эту телеграмму, въ смущеніи принесть ее мнѣ, не зная исполнять ли ему приказаніе матери.

Я не задержала телеграммы, но одновременно съ ней послала другую: «Не безпокойся, дѣйствительны только телеграммы, подписанныя Александрой». Впослѣдствіи я узнала, что обѣ эти телеграммы не были получены. Отецъ пересѣлъ на другой поѣздъ.

Къ вечеру гріѣхалъ Андрей. Черезъ часъ послѣ него — докторъ изъ Тулы. Докторъ сейчасъ же прошелъ къ матери, долго говорилъ съ ней, опредѣлилъ истерію, но не нашелъ никакихъ признаковъ умственного расстройства. Несмотря на это, онъ предупредилъ насъ, что не исключаетъ возможности самоубійства.

— Развѣ не бываетъ случаевъ, когда истерички, желая напугать окружающихъ, печально лишаютъ себя жизни, — сказалъ онъ и просилъ установить за матерью постоянный и тщательный надзоръ.

Ночью около матери дежурили «старушка Шмидтъ» и Булгаковъ. Я нѣсколько разъ вставала узнать, что дѣлается. Мать ходила всю ночь изъ комнаты въ комнату, то громко рыдая, то успокаиваясь. Она уже не дѣлала попытокъ къ самоубійству.

— Я его найду, я убѣгу. Какъ вы меня устережете? Выпрыгну въ окно, пойду на станцію. Что вы со мной сдѣлаете? Ахъ, только бы узнать, гдѣ онъ! Ужъ тогда то я его не выпущу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери...

28 октября вечеромъ мною была получена телеграмма, посланная на имя Черткова: «Ночуемъ Оптиной, завтра Шамордино. Адресъ Подборки. Здоровъ. Николаевъ».

На другой день состояніе матери не улучшилось. Иногда она истерически рыдала, восклицая:

— Левочка, Левочка! Что ты со мной надѣлалъ! Вернись, Левочка, дорогой мой!

Порой она начинала упрекать отца, сердилась на него и почему-то въ такія минуты мнѣ казалось, что она ничего съ собой не сдѣлаетъ.

Пріѣхала Таня и всѣ братья, за исключеніемъ Льва, который былъ за границей. Вечеромъ они собрались у меня въ комнатѣ и стали обсуждать, что имъ дѣлать. Всѣ, за исключеніемъ старшаго брата Сергѣя, считали, что отцу надо вернуться. Илья рѣзко говорилъ, что отецъ, всю жизнь проповѣдующій христіанство, въ данномъ случаѣ совершилъ злой, нехристіанскій поступокъ — вмѣсто того, чтобы прощать мать и терпѣть ее, онъ ушелъ. Остальные поддерживали его. И когда я возражала, Илья сердито кричалъ мнѣ:

— Ты хочешь сказать, Саша, что то, что отецъ бросилъ больную мать, есть христіанскій поступокъ? Нѣтъ, ты живи съ ней, терпи ее, будь съ ней ласкова — это будетъ истинное христіанство.

Илья дѣлалъ удареніе на словѣ «христіанство».

— Я согласна съ Ильей, — сказала Таня, — отецъ былъ бы послѣдовательнѣе, если бы остался съ матерью.

— Но что же намъ теперь дѣлать? — спросилъ Миша. — Вѣдь мама нельзя оставить одну!

— Да, — сказали Андрей. — Но я не могу здѣсь торчать, у меня служба.

— И у меня служба! — сказалъ Илья.

— А у меня Таничка и Михаилъ Сергѣевичъ, — сказала Таня, — а вѣдь ты, Саша, вѣроятно уѣдешь къ отцу?

— Да. Я считаю свой долгъ по отношенію къ матери исполненнымъ, — сказала я.

И я стала говорить о томъ, что много, много разъ за эти пять мѣсяцевъ сплошнаго страданія умоляла ихъ помочь, разлучить, хотя бы на время, родителей, помѣстить мать въ санаторію, и каждый разъ они слѣшили уѣхать, кто къ своей семьѣ, кто къ службѣ. Теперь отецъ ушелъ и вотъ, вмѣсто того, чтобы радоваться, что онъ наконецъ освободился отъ страданій, они упрекаютъ его и думаютъ только о томъ, какъ сдѣлать, чтобы онъ вернулся и снова принялъ на себя ярмо.

— Вы только потому и хотите, чтобы онъ вернулся, чтобы снова взвалить эту тяжесть на плечи 82-лѣтняго старика!

Горько мнѣ было и я чувствовала, что нечего было ждать особой поддержки отъ семьи. Только одинъ Сережа сказалъ:

— Саша права. Я не хотѣлъ бы, чтобы отецъ возвращался и нынче же напишу ему объ этомъ.

И онъ написалъ отцу короткое, но доброе, сочувственное письмо, въ которомъ высказывалъ мнѣніе, что отцу слѣдовало, какъ это ни тяжело, разстаться съ матерью еще двадцать шесть лѣтъ тому назадъ, что онъ понимаетъ отца и не осуждаетъ его и, что бы ни случилось, отецъ не долженъ упрекать себя. Всѣ остальные написали отцу, уговаривая его вернуться. Мать тоже написала письмо:

«29 октября 1910 года.

Левочка, голубчикъ, вернись домой, милый, спаси меня отъ вторичнаго самоубійства. Левочка, другъ всей моей жизни, все сдѣлаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсѣмъ; съ друзьями твоими будемъ вмѣстѣ дружны, буду лѣвиться, буду кротка, милый, вернись, вѣдь надо спасти меня, вѣдь и по евангелію сказано, что не надо ни подъ какимъ предлогомъ бросать жену. Милый, голубчикъ, другъ души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной передъ вѣчной нашей разлукой.

Гдѣ ты? Гдѣ? Здоровъ ли? Левочка, не истязай меня, голубчикъ, я буду служить тебѣ любовью и всѣмъ своимъ существомъ и душой, вернись ко мнѣ, вернись ради Бога, ради любви Божьей, о которой ты всѣмъ говоришь, я дамъ тебѣ такую же любовь, смиренную, самоотверженную! Я честно и твердо общаю, голубчикъ, и мы все опростимъ дружески; уѣдемъ куда хочешь, будемъ жить, какъ хочешь.

Ну, прощай, прощай, можетъ быть навсегда. Твоя Соня.

Неужели ты меня оставилъ навсегда? Вѣдь я не переживу этого несчастья, вѣдь ты убьешь меня. Милый, спаси меня отъ грѣха, вѣдь ты не можешь быть счастливымъ и спокоенъ, если убьешь меня.

Левочка, другъ мой милый, не скрывай отъ меня, гдѣ ты, и позволь мнѣ пріѣхать повидаться съ тобой, голубчикъ мой, я не разстрою тебя, даю тебѣ слово, я кротко, съ любовью отнесусь къ тебѣ.

Тутъ всѣ мои дѣти, но они не помогутъ мнѣ своимъ самоувереннымъ деспотизмомъ; а мнѣ одно нужно, нужна твоя любовь, н е о б х о д и м о повидаться съ тобой. Другъ мой, допусти меня хоть проститься съ тобой, сказать въ послѣдній разъ, какъ я люблю тебя. Позови меня или пріѣзжай самъ. Прощай, Левочка, я все ищу тебя и зову. Какое истязаніе моей души».

Въ ночь съ 29-го на 30-ое я съ Варварой Михайловной уѣхала. Поѣхали на Тулу, Калугу, Сухиничи, Козельскъ. Въ Козельскѣ взяли двухъ ямщиковъ, одного для себя, другого для вещей, и поѣхали въ Шамордино. Дорога ужасная, темнота и грязь, лошади едва двигаются. Ъхали часа два съ половиной. Но вотъ передъ нами замелькали огоньки. Жутко. Сердце такъ и стучить: а что, если мы не застанемъ отца въ Шамординѣ, и онъ уѣхалъ дальше, неизвѣстно куда? Подъѣзжаемъ къ монастырской гостиницѣ.

— Кто у васъ стоитъ? — спрашиваю у вышедшей насть встрѣчать пожилой, благообразной монахини.

— Левъ Николаевичъ Толстой, — не безъ гордости отвѣтила она.

— Онъ дома?

— Нѣтъ, къ сестрицѣ пошли, къ Маріи Николаевнѣ.

Я тотчасъ же, не раздѣваясь, попросила монахиню про- водить меня къ тетѣ Машѣ. Мы прошли большой мона- стырскій дворъ, церковь, еще какія то строенія и након- ецъ монахиня указала мнѣ маленькій домикъ. Я посту- чалась. Отперла молодая послушница.

— Вамъ кого?

— Да вы пустите меня! — сказала я, волнуясь съ каж- дой минутой все больше и больше. — Пустите, я племян- ница Маріи Николаевны!

— Ну пожалуйста.

Я тихонько вошла въ домъ, прошла въ одну комнату, въ другую, все тихо. Окликнула тетю Машу. Она испуган- но спросила:

— Кто это? Кто?

— Я. Саша. Гдѣ папа?

— Ахъ ты! — Она лежала на постели въ своей ком- натѣ. Мы обнялись и крѣпко поцѣловались. — Папа толь- ко что вышелъ.

— Здоровъ?

— Да, здоровъ.

— Ну слава Богу. Такъ я немножко посижу у тебя, — сказала я ей, — а потомъ пойду къ нему въ гостиницу.

— Да какъ же вы разошлись съ нимъ? Вѣдь онъ толь- ко что ушелъ. (Какъ потомъ оказалось, Душанъ Петро- вичъ повелъ отца по какой-то сокращенной дорогѣ, и мы разошлись).

Вошла Лиза Оболенская\*), гостившая въ это время у тети Маши. Онѣ были ужасно взволнованы, спрашивали меня и въ свою очередь рассказывали о тяжеломъ впечатлѣніи, которое произвело на нихъ положеніе отца. Поговоривъ съ ними, я собралась уходить, какъ вдругъ дверь отворилась, и мы лицомъ къ лицу столкнулись съ отцемъ. Онъ поцѣловалъ меня и сейчасъ же спросилъ:

— Ну что, какъ тамъ?

— Да теперь все благополучно, тамъ теперь братья и Таня съѣхались, мама немного успокоилась, — отвѣтила я. — Я тебѣ привезла письма.

— Ну давай.

Онъ сѣлъ къ столу и внимательно сталъ читать. Пришла Варвара Михайловна. Тети Маша и Елизавета Валеріановна стали спрашивать ее, что дѣлается въ Ясной Полянѣ. Варвара Михайловна отвѣчала шепотомъ, боясь помѣшать отцу. Но онъ сказалъ:

— Пожалуйста, говорите громко, вы несколько не мѣшаете мнѣ, напротивъ, все это ужасно интересно.

— Да, произнесъ онъ въ раздумьи, окончивъ чтеніе писемъ, — какъ мнѣ ни страшно, но я не могу вернуться... Нѣтъ, не вернусь! — рѣшительно сказалъ онъ. — Отъ Сережи очень хорошее письмо: и кратко, и добро, и умно. Спасибо ему! Ну расскажи, расскажи все подробно!

Я начала рассказывать про то, что произошло безъ него, какъ мама приняла его отъѣздъ, что говорила, кто былъ при ней, что сказалъ докторъ.

— Такъ ты говоришь, что докторъ не находитъ ее нормальной? — переспросилъ онъ меня.

— Нѣтъ, не находитъ.

— Да, впрочемъ, что сами знаютъ, — сказалъ онъ, махнувъ рукой. — Я писалъ тебѣ, но ты не успѣла получить моихъ писемъ. Я хотѣлъ, чтобы ты передала Танѣ и Сережѣ, что мнѣ неммыслимо вернуться къ ней.

Привожу здѣсь полностью эти два письма ко мнѣ. Я получила ихъ уже въ Астаповѣ.

«28 октября 1910 года. Станція Козельскъ.

Добѣхали, голубчикъ Сага, благополучно — ахъ, если бы только у васъ бы было не очень неблагополучно. Теперь половина восьмого. Переночуемъ и завтра по-

\*) Елизавета Валеріановна Оболенская — дочь Маріи Николаевны Толстой.

ѣдемъ, е(сли) б(уду) ж(ивъ), въ Шамордино. Стараюсь быть спокойнымъ и долженъ признаться, что испытываю то же безпокойство, какое и всегда, ожидая всего тяжелаго, но не испытывая того стыда, той неловкости, той не-свободы, которую испытывалъ всегда дома. Пришлось отъ Горбачева ѣхать въ третьемъ классѣ; было неудобно, но очень душевно пріятно и поучительно. Ёль хорошо и на дорогѣ, и въ Бѣлевѣ, сейчасъ будемъ пить чай и спать, стараться спать. Я почти не усталъ, даже меньше, чѣмъ обыкновенно. О тебѣ ничего не рѣшаю до получения извѣстій отъ тебя. Пиши въ Шамордино и туда же посылай телеграммы, если будетъ что нибудь экстренное. Скажи батѣ\*), чтобы онъ писалъ и что я прочелъ отмѣченное въ его статьѣ мѣсто, но второпяхъ, и желать бы перечестъ — пускай пришлетъ. Варѣ скажи, что ее благодарю, какъ всегда, за ея любовь къ тебѣ и прошу и надѣюсь, что она будетъ беречь тебя и останавливать въ твоихъ порывахъ. Пожалуйста, голубушка, мало словъ, но кроткихъ и твердыхъ.

Пришли мнѣ или привези штучку для заряжанія пера (чернила взяты), начатыя мною книги Монтень, Николаевъ II томъ\*\*). Письма всѣ читай и пересылай нужные: Подборки, Шамордино.

В(ладимиру) Г(ригорьевичу) скажи, что очень радъ и очень боюсь того, что сдѣлалъ. Постараюсь написать сюжеты снова и просящихся художественныхъ писаній. Отъ свиданія съ нимъ до времени считаю лучшимъ воздержаться. Онъ, какъ всегда, пойметъ меня. Прощай, голубчикъ, цѣлую тебя, несмотря на твою сопливость\*\*\*).

Еще пришли маленькія ножницы, карандаши, халатъ».

«29 октября 10 года. Оптина Пустынь.

Сергѣенко †) все про меня расскажетъ, милый другъ Саша. Трудно. Не могу не чувствовать большой тяжести. Главное не согрѣшить, въ этомъ и трудъ. Разумѣется, согрѣшилъ и согрѣшу, но хоть бы поменьше. Этого, глав-

\*) Батя — Владиміръ Григорьевичъ Чертковъ.

\*\*\*) Николаевъ П. П. «Лоняте о Богѣ, какъ совершенной основѣ жизни».

\*\*\*) Въ то время я страдала сильными насморками.

†) Алексѣй Петровичъ Сергѣенко — секретарь Владиміра Григорьевича Чертова.

ное, прежде всего желаю тебѣ. Тѣмъ болѣе, что знаю, что тебѣ выпала страшная, не по силамъ по твоей молодости задача.

Я ничего не рѣшилъ и не хочу рѣшать. Стараюсь дѣлать только то, чего не могу не дѣлать, и не дѣлать того, чего могъ бы не дѣлать. Изъ письма къ Чертковымъ ты увидишь, какъ я, не то, (что) смотрю, а чувствую. Очень надѣюсь на доброе вліяніе Тани и Сережи. Главное, чтобы они поняли и постарались внушить ей, что мнѣ съ этимъ подглядываніемъ, подслушиваніемъ, вѣчными укоризнами, распоряженіемъ мной, какъ вздумается, вѣчнымъ контролемъ, манускриптовой ненавистью къ самому близкому и нужному мнѣ человѣку, съ этой явной ненавистью ко мнѣ и притворствомъ любви, — что такая жизнь мнѣ не неприятна, а прямо невозможна, — если кому нибудь топиться, то ужъ никакъ не ей, а мнѣ, — что я желаю одного: свободы отъ нея, отъ этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ея существо.

Разумѣется, этого они не могутъ внушить ей, но могутъ внушить, что всѣ ея поступки относительно меня не только не выражаютъ любви, но какъ будто имѣютъ явную цѣль убить меня, чего она и достигнетъ, такъ какъ надѣюсь, что въ третій припадокъ, который грозитъ мнѣ, я избавлю и ее и себя отъ этого ужаснаго положенія, въ которомъ мы жили, и въ которое я не хочу возвращаться.

Видишь, милая, какой я плохой. Не скрываюсь отъ тебя. Тебя еще не выписываю, но выпишу, какъ только будетъ можно и очень скоро. Пиши, какъ здоровье. Цѣлую тебя. Л. Толстой.

Вдемъ въ Шамордино. Душанъ разрывается и физически мнѣ прелестно».

Какъ видно по этимъ письмамъ, отецъ не могъ и не хотѣлъ вернуться въ Ясную, и поэтому ему особенно тяжело были письма изъ дома, въ которыхъ онъ чувствовалъ недовольство, что онъ оставилъ мать.

— Я не могу вернуться и не вернусь къ ней, — повторялъ онъ: я хотѣлъ здѣсь остаться, я даже избу ходилъ напимать; ну, да нечего загадывать.

Онъ казался мнѣ нездоровымъ и грустнымъ; видно было, что его огорчили мои рассказы и письма. Онъ понялъ, что его мѣстопробываніе, если не открыто, то вотъ-вотъ откроется и его не оставятъ въ покоѣ.

Мы сидѣли у тети Маши и молча пили чай, охваченные тревогой и страхомъ.

— Развѣ ты можешь пожалѣть о томъ, что сдѣлалъ или обвинить себя, если что-нибудь случится съ матерью? — спросила я.

— Разумѣется, нѣтъ, — сказалъ онъ. — Развѣ можетъ человѣкъ жалѣть о чемъ-нибудь, когда онъ не могъ поступить иначе. Но если что-нибудь случится съ ней, мнѣ будетъ очень, очень тяжело.

Тетенька вполнѣ понимала положеніе отца и глубоко сочувствовала ему.

— Пускай Левочка уѣзжаетъ. Если Соня пріѣдетъ сюда, я ее встрѣчу, — сказала она твердо и рѣшительно.

Отецъ посидѣлъ недолго, всталъ, простился съ тетей Машей и собрался уходить.

— Левочка, ты не уѣдешь, не простившись со мной? — спросила тетя Маша.

— Нѣтъ, нѣтъ, утро вечера мудренѣе, — сказалъ сказалъ отецъ, — увидимъ завтра.

— Пожалуйста, не уѣзжай, не простившись со мной, — еще разъ повторила тетенька.

— Нѣтъ, нѣтъ, надо все обдумать, — сказалъ отецъ, очевидно думая о другомъ, и пошелъ въ гостиницу.

А тетя Маша отозвала Душана Петровича и меня и просила насъ въ случаѣ, если Левъ Николаевичъ соберется ѣхать утромъ, непременно прислать ей сказать объ этомъ, не стѣсняясь временемъ. Мы обѣщали исполнить ея просьбу и пошли вмѣстѣ съ отцемъ въ гостиницу. Елизавета Валеріановна Оболенская пошла съ нами.

Придя домой, отецъ сказалъ, что хочетъ быть одинъ. Въ номерѣ было душно. Онъ отворилъ форточку и сѣлъ къ столу писать письма.

Мы же пошли въ номеръ къ Душану Петровичу, достали путеводитель, раскрыли карту и стали на всякій случай обсуждать, куда ѣхать. Я чувствовала, что привезенныя мною вѣсти до такой степени встревожили отца, что онъ можетъ всякую минуту собраться и уѣхать дальше.

Открытая форточка въ его комнатѣ безпокоила меня; я раза два входила къ нему, спрашивая, не позволить ли онъ закрыть.

— Нѣтъ, мнѣ жарко, оставь, — каждый разъ отвѣчалъ онъ мнѣ. Онъ что-то писалъ, и видно было, что я нарушала ходъ его мыслей.

Черезъ нѣкоторое время я просила Душана Петровича пойти къ нему, но отецъ сказалъ, чтобы его оставили въ покоѣ. Черезъ полчаса онъ пришелъ къ намъ, неся въ рукѣ письмо.

— Я написалаъ мама, — сказалъ отецъ, — пошли слѣдующей почтой.

Вотъ это письмо:

«31 октября 1910 года.

Свиданіе наше и тѣмъ болѣе возвращеніе мое теперь совершенно невозможно. Для тебя это было бы, какъ всѣ говорятъ, въ высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, такъ какъ теперь мое положеніе вслѣдствіе твоей возбужденности, раздраженія, болѣзненнаго состоянія стало бы, если это только возможно, еще хуже. Совѣтую тебѣ примириться съ тѣмъ, что случилось, устроиться въ своемъ новомъ на время положеніи, а главное лѣчиться. Если ты не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти въ мое положеніе и если ты сдѣлаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постарайся помочь мнѣ найти тотъ покой, возможность какой нибудь человѣческой жизни, помочь мнѣ усилюсь надъ собой и сама не будешь желать теперь моего возвращенія. Твое же настроеніе теперь, твое желаніе и попытки самоубійства, болѣе всего другого показывая твою потерю власти надъ собой, дѣлаютъ для меня невыносимымъ возвращеніе. Избавить отъ испытываемыхъ страданій всѣхъ близкихъ тебѣ людей, меня и, главное, самое себя, никто не можетъ, кромѣ тебя самой. Постарайся направить всю свою энергію не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь — теперь мое возвращеніе, — а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь.

Я провелъ два дня въ Шамординѣ и Оптиной и уѣзжаю. Письмо мое пошло съ дороги. Не говорю, куда ѣду, потому что считаю и для тебя, и для себя необходимой разлуку. Не думай, что я уѣхалъ потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалѣю отъ всей души, но не могу поступить иначе, чѣмъ поступаю. Письмо твое я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнять то, что желала бы. И дѣло не въ исполненіи какихъ нибудь моихъ желаній, требованій, а только въ твоей уравновѣшенности, спокойномъ, разумномъ отношеніи къ жизни. А пока этого нѣтъ, для меня жизнь съ тобой невыносима. Воз-

вернуться къ тебѣ, когда ты въ такомъ состояннн, значило бы для меня отказаться отъ жизни. А я не считаю себя вправѣ сдѣлать это.

Прощай, милая Соня. Помогай тебѣ Богъ. Жизнь не шутка и бросать ее по своей волѣ мы не имѣемъ права. И мѣрить ее по длинѣ времени тоже не разумно. Можетъ быть, тѣ мѣсяцы, которые намъ осталось жить, важнѣе всѣхъ прожитыхъ годовъ и надо прожить ихъ хорошо. Л. Т.»

Мы сидѣли за столомъ и смотрѣли въ раскрытую карту. Форточка была отворена. Я хотѣла затворить ее.

— Оставь! — сказалъ отецъ. — Жарко. Что это вы смотрите?

— Карту, — сказалъ Душанъ Пепровичъ, — если ѣхать, надо знать куда.

— Ну, покажите мнѣ.

И мы всѣ, наклонившись надъ столомъ, стали совѣщаться, куда ѣхать. Воспользовавшись этимъ, я незамѣтно для отца одной рукой прихлоннула форточку. Онъ былъ разгоряченъ и могъ легко простудиться.

Предполагали ѣхать до Новочеркасска. Въ Новочеркасскѣ остановиться у Елены Сергѣевны Денисенко \*), попытаться взять тамъ съ помощью Ивана Васильевича \*\*) заграничные паспорта и, если удастся, ѣхать въ Болгарію. Если же не удастся, — на Кавказъ, къ единомышленникамъ отца.

Разговаривая такъ, мы незамѣтно для себя все болѣе и болѣе увлекались нашимъ планомъ и горячо обсуждали его.

— Ну, довольно, — сказалъ отецъ, вставая изъ-за стола. — Не нужно дѣлать никакихъ плановъ, завтра увидимъ.

Ему вдругъ стало непріятно говорить объ этомъ, непріятно, что онъ вмѣстѣ съ нами увлекся и сталъ строить планы, забывъ свое любимое правило: жить только настоящимъ

Я голодентъ, — сказалъ онъ. — Чего бы мнѣ поѣсть?

Мы съ Варварой Михайловной привезли съ собой геркулеса, сухіе грибы, яйца, спиртовку и жиро сварили ему овсянку. Онъ ѣлъ съ аппетитомъ, похваливая нашу стряпню. Объ отъѣздѣ болѣе не говорили. Отецъ только нѣ-

\*) Дочь Марии Николаевны Толстой

\*\*) Мужъ Елены Сергѣевны Денисенко.

сколько разъ тяжело вздохнулъ и на мой вопросительный взглядъ сказалъ:

— Тяжело.

У меня сжималось сердце, глядя на него: такой онъ былъ грустный и встревоженный. Мало говорилъ, вздыхалъ и рано ушелъ спать.

Мы тотчасъ же разошлись по своимъ комнатамъ и, такъ какъ очень устали отъ дороги, уснули какъ убитые.

Около четырехъ часовъ утра я услышала, что кто то стучить къ намъ въ дверь. Я вскочила и отперла. Передо мной, какъ и нѣсколько дней тому назадъ, стоялъ отецъ со свѣчей въ рукахъ. Онъ былъ совсѣмъ одѣтъ.

— Одѣвайся скорѣе, мы сейчасъ ѣдемъ! — сказала она: — Я уже началъ укладывать вещи, пойдѣ помоги мнѣ.

Онъ плохо спалъ, его мучило, что мѣстопробываніе его будетъ открыто. Въ четыре часа онъ разбудилъ Душана Петровича, послалъ за ямщиками, которыхъ мы на всякій случай оставили ночевать на деревнѣ. Онъ не забылъ распорядиться и о лошадяхъ для насъ и послалъ служку монастырской гостиницы за мѣстнымъ ямщикомъ.

Помня обѣщаніе, данное мною тетѣ Маши, я тотчасъ же послала за ней. Было совсѣмъ темно. При свѣтѣ свѣчи я торопливо собирала вещи, завязывала чемоданы. Пришелъ Душанъ Петровичъ. Козельскіе ямщики подали лошадей, нашего же ямщика съ деревни все еще не было. Я просила отца уѣхать, не дожидаясь насъ. Онъ очень волновался, нѣсколько разъ послалъ на деревню за лошадьми и, наконецъ, рѣшилъ ѣхать, не дождавшись тети Маши и Е. В. Оболенской, которымъ написалъ слѣдующее письмо:

«Шамординскій монастырь. 31 октября 1910 года 4 ч. утра.

Милые друзья Машенька и Ливанька. Не удивляйтесь и не осудите насъ, меня за то, что мы уѣзжаемъ, не простившись херсенько съ вами. Не могу выразить вамъ обѣимъ, особенно тебѣ, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участіе въ моемъ испытаніи. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывалъ бы къ тебѣ такую нѣжность, какую я чувствовалъ эти дни и съ которой уѣзжаю. Уѣзжаемъ мы такъ непредвидѣнно, потому что боюсь, что меня застанетъ здѣсь Софія Андреевна. А поѣздъ только одинъ, въ восьмомъ часу. Прости ме-

ня, если я увезу твои книжечки и «Кругъ Чтенія»; я пишу Черткову, чтобы онъ выслалъ тебѣ «Кругъ Чтенія» и «На каждый день». А книжечки возвращу. Цѣлую васъ, милые друзья, и такъ радостно люблю васъ. Л. Т.»

Минуть черезъ десять послѣ отъѣзда отца и Душана Петровича подъѣхала тетя Машиа.

— Гдѣ Левочка?

— Уѣхалъ.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой, и мы не простились! Ну, что-жъ дѣлать, что дѣлать, только бы ему было хорошо!

Она сѣла на лавочку на крыльцѣ. Всѣ молчали.

— Пускай Соня пріѣдетъ сюда, я сумѣю ее встрѣтить, — вздохнувъ, сказала она.

Она была очень грустна, но тверда духомъ и думала только о томъ, чтобы было лучше для отца.

А между тѣмъ лошадей изъ деревни все еще не было. Мы съ Барварой Михайловной ужасно волновались и почти уже не надѣялись поспѣть на поѣздъ. Но вотъ приходятъ ямщикъ пѣшкомъ безъ лошадей.

— Гдѣ же лошади?

— Да у мезя, барышня, экипажъ сломанъ.

— Боже мой, Боже мой, что же дѣлать?

До отъѣзда осталось два часа, дорога пятнадцать верстъ ужасная. «Опоздали!» — подумала я.

— Что у тебя есть? Телѣга есть?

— Какъ не быть? Телѣга есть, бричка есть, только не на лессорахъ.

— Ахъ, все равно, только скорѣе, скорѣе запрягай, голубчикъ, милый... Скорѣе, скорѣе, ради Бога скорѣе!

Не зная, послалъ ли этотъ милый человѣкъ мое пожеланіе замѣтить ли мое отчаяніе, но не прошло и пятнадцати минутъ, какъ пара лохматыхъ, сытыхъ маленькихъ лошадокъ стояла у подъѣзда. Всю дорогу мужичекъ погонялъ своихъ лошадей. Онѣ были всѣ въ мылѣ, онъ уже не хассталъ ихъ, а только съ жалостью и отчаяніемъ въ голосѣ понукалъ:

— Ну, маленькія, нуо, нуо! ! Пожалуйста, нуо!

Подъѣзжая къ Козельску, мы увидали впереди наши два экипажа и одновременно поѣздъ, который уже подходилъ къ вокзалу.

Сѣли въ поѣздъ безъ билетовъ, едва успѣвъ втащить багажъ. Отецъ былъ все такъ же взволнованъ и очень торопился.

— Если бы опоздали, я не уѣхала бы безъ васъ, а остался бы ждать въ Козельскѣ въ гостиницѣ, — сказала онъ мнѣ.

Въ вагонѣ то и дѣло подсаживались любопытные, то къ Варварѣ Михайловнѣ, то къ Душану Петровичу, то ко мнѣ.

— Кто съ вами ѣдетъ? Это Левъ Николаевичъ Толстой? Куда же онъ ѣдетъ?

Въ купэ, куда насъ перевели, былъ какой-то господинъ. Онъ сейчасъ же узналъ отца и сталъ съ нимъ говорить. Я отвела его въ сторону и просила не беспокоить отца, такъ какъ онъ очень усталъ.

— Да, я знаю, простите.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ, взявъ свои вещи, перешелъ въ общее отдѣленіе, уступивъ намъ все купэ.

— Я вѣдь знаю многое по газетамъ, — говорилъ онъ мнѣ, — я истинный поклонникъ Льва Николаевича. Располагайте мной, какъ хотите. Если Левъ Николаевичъ согласится, я могу предложить свой домъ въ Бѣлевѣ \*), никто его не побеспокоитъ тамъ.

Отецъ лежалъ. Когда мы спрашивали его о здоровьи, онъ говорилъ, что усталъ, но чувствуетъ себя хорошо. Попросилъ газету. На слѣдующей большой станціи я купила ему нѣсколько газетъ. Почитавъ ихъ, онъ огорчился.

— Все уже извѣстно, всѣ газеты полны моимъ уходомъ, — сказала онъ.

Онъ попросилъ его прикрыть пледомъ и сказала, что попробуетъ поспать. Я ушла въ общее отдѣленіе.

Пассажиры читали газеты и разговоръ шелъ объ уходѣ Льва Николаевича Толстого изъ Ясной Поляны. Противъ меня сидѣли два молодыхъ человѣка, пошло-франтовато одѣтые, съ папиросами въ зубахъ.

— Вотъ такъ штуку выкинуть старикъ, — сказала одинъ изъ нихъ. — Небось это Софіи Андреевнѣ не особенно понравилось, — и глупо захохоталъ, — взялъ да ночью и удралъ.

— Вотъ тебѣ и ухаживала она за нимъ всю жизнь, сказала другой, — не очень то, видно, сладки ея ухаживанія ..

Но вскорѣ они узнали, что Толстой ѣдетъ въ сосѣднемъ купэ и, сконфуженно косясь на насъ, умоляли. Вѣсть.

\*) Бѣлевъ — уѣздный городъ Тульской губ.

что Толстой ѣдетъ въ этомъ поѣздѣ, разнеслась по всѣмъ вагонамъ съ быстротой молніи. Нѣсколько разъ любопытныя врывались къ отцу въ отдѣленіе, но я рѣзко отклоняла такія посѣщенія и, насколько было возможно, оберегала его отъ любопытныхъ.

Скоро и кондуктора, всѣ съ сочувствіемъ относившіеся къ намъ, стали меня поддрезивать.

— Что вы ко мнѣ пристали? — говорилъ одинъ изъ кондукторовъ, сѣдой, почтеннаго вида человѣкъ съ умнымъ, проидцательнымъ лицомъ какому то пассажиру, — что вы въ самомъ дѣлѣ ко мнѣ пристали? Вѣдь говорю же я вамъ, что Толстой на предпоследней станціи уже слѣзъ!

Проснувшись, отецъ попросилъ ѣсть. Я обратилась къ кондукторамъ, прося указать мнѣ мѣстечко, гдѣ я могла бы на спиртовкѣ сварить овсянку. И тутъ они проявили большое сочувствіе. Провели меня въ служебное отдѣленіе, гдѣ сидѣло человѣкъ пять кондукторовъ. Они помогали мнѣ кто чѣмъ могъ, спрашивая, сочувствовали. Овсянка вышла вкусная, и отецъ съ большимъ удовольствіемъ, похваливая, съѣлъ всю кастрюлю. После этого онъ заснулъ.

### XXXVI.

#### БОЛѢЗНЬ И СМЕРТЬ.

Въ четвертомъ часу отецъ позвалъ меня и просилъ накрыть, говоря, что его знобитъ.

— Спину получилъ подоткни, очень зябнетъ спина.

Мы не очень встревожились, такъ какъ въ вагонѣ было прохладно, всѣ зябли и кутались въ теплыя одежды. Мы накрыли отца поддевкой, пледомъ, свиткой, а онъ зябъ все сильнѣе и сильнѣе. Душанъ Петровичъ поставилъ градусникъ. Когда его вынули, онъ показывалъ 38,1

Никогда еще я не испытывала такого чувства тревоги! Ноги подкосились, я съѣла на диванѣ противъ отца и какъ то невольно начала повторять:

«Господи, помоги, спаси, помоги...»

Отецъ, понявъ, въ какомъ я была состояніи, протянулъ мнѣ руку, крѣпко сжалъ мою и сказалъ:

— Не унывай, Саша, все хорошо, очень хорошо.

Въ Горбачевѣ я вышла на платформу. Какой то господинъ въ очкахъ спрашивалъ кондуктора, тутъ ли Толстой и, когда узналъ, что здѣсь, вскочилъ въ нашъ поѣздъ. Кромѣ того во все время путешествія какой то человѣкъ съ рыжими усами прохаживался по нашему вагону. Почему то его лицо бросилось намъ въ глаза. Скоро мы замѣтили, что онъ появлялся въ разныхъ платьяхъ: то въ формѣ желѣзнодорожнаго служащаго, то въ штатскомъ. Одинъ изъ кондукторовъ тайственно сообщилъ мнѣ, что человѣкъ этотъ, узнавъ, что Толстой ѣдетъ въ этомъ поѣздѣ, изъ Горбачева телеграфировалъ что то Тульскому губернатору. Я поняла, что за нами слѣдитъ полиція.

А между тѣмъ жаръ у отца все усиливался и усиливался. Заварили чай и дали ему выпить съ краснымъ виномъ, но и это не помогло, ознобъ продолжался.

Не могу описать состоянія ужаса, которое мы испытывали. Въ первый разъ я почувствовала, что у насъ нѣтъ пристанища, дома. Накуренный вагонъ второго класса, чужіе и чуждые люди кругомъ и нѣтъ угла, гдѣ можно было бы пріютиться съ больнымъ старикомъ.

Проѣхали Данковъ, подѣхали къ какой-то большой станціи. Это было Астапово. Душанъ Петровичъ убѣждалъ и черезъ четверть часа пришесть съ какимъ-то господиномъ, одѣтымъ въ желѣзнодорожную форму. Это былъ начальникъ станціи. Онъ обѣщалъ дать въ своей квартирѣ комнату, гдѣ можно было уложить больного и мы рѣшили здѣсь остаться. Отецъ всталъ, его одѣли и онъ, поддерживаемый Душаномъ Петровичемъ и начальникомъ станціи, вышелъ изъ вагона, мы же съ Варварой Михайловной собирали вещи.

Когда мы пришли на вокзалъ, отецъ сидѣлъ въ дамской комнатѣ на диванѣ въ своемъ коричневомъ пальто, съ палкой въ рукѣ. Онъ весь дрожалъ съ головы до ногъ, и губы его слабо шевелились. Я предложила ему лечь на диванъ, но онъ отказался. Дверь изъ дамской комнаты въ залу была затворена и около нея стояла толпа любопытныхъ, дожидаясь прохода Толстого. То и дѣло въ комнату врывались дамы, извинялись, оправляли передъ зеркаломъ прически и шляпы и уходили.

Душанъ Петровичъ, Варвара Михайловна и начальникъ станціи ушли готовить комнату. Мы сидѣли съ отцемъ и ждали.

Но вотъ за нами пришли. Снова взяли отца подъ ру-

ки и повели. Когда проходили мимо публики, столпившейся въ залѣ, всѣ сняли шляпы, отецъ, дотрагиваясь до своей шляпы, отвѣчалъ на поклоны. Я видѣла, какъ трудно ему было итти; онъ то и дѣло пошатывался и почти висѣлъ на рукахъ тѣхъ, кто его вель.

Въ комнатѣ начальника станціи, служившей ему гостиной, была уже поставлена у стѣнки пружинная кровать и мы съ Варварой Михайловной принялись стелить постель. Отецъ сидѣлъ въ шубѣ и все такъ же зябъ. Когда постель была готова, мы предложили ему раздѣться и лечь, но онъ отказался, говоря, что не можетъ лечь, пока все не будетъ приготовлено для ночлега такъ какъ всегда. Когда онъ заговорилъ, я поняла, что у него начинается обморочное состояніе. Ему очевидно казалось, что онъ дома и онъ удивленъ, что все было не въ порядкѣ, не такъ, какъ онъ привыкъ...

— Я не могу лечь. Сдѣлайте такъ, какъ всегда. Поставьте ночной столикъ у постели, стулъ.

Когда это было сдѣлано, онъ сталъ просить, чтобы на столикъ поставили свѣчу, спички, записную книжку, фонарикъ и все, какъ бывало дома. Когда сдѣлали и это, мы снова стали просить его лечь, но онъ все отказывался. Мы поняли, что положеніе очень серьезно и что, какъ это бывало и прежде, онъ могъ каждую минуту впасть въ полное безсознательство. Душанъ Петровичъ, Варвара Михайловна и я стали понемногу раздѣвать его, не спрашивая болѣе, и почти перенесли на кровать.

Я сѣла возлѣ него и не прошло пятнадцати минутъ, какъ я замѣтила, что лѣвая рука его и лѣвая нога стали судорожно дергаться. То же самое появлялось временами въ лѣвой половинѣ лица.

Мы просили начальника станціи послать за станціоннымъ докторомъ, который могъ бы помочь Душану Петровичу. Дали отцу крѣпкаго вина, поставили клизму. Онъ ничего не говорилъ, стоналъ, лицо было блѣдно, и судороги, хотя и слабыя, продолжались.

Часамъ къ девяти стало лучше. Дыханье было ровное, спокойное. Отецъ тихо стоналъ.

Станціонный докторъ, самъ совершенно больной человекомъ, ничѣмъ не могъ помочь намъ. Но присутствіе его очевидно было пріятно Душану Петровичу, облегчая его положеніе. Съ докторомъ пришла его жена. Она тяготила насъ, такъ какъ желала сидѣть въ комнатѣ больного,

надоѣдала своими совѣтами, разспросами и всѣмъ мѣшала.

Отецъ проснулся въ полномъ сознании. Подозвавъ меня, онъ улыбнулся и участливо спросилъ:

— Что, Саша?

— Да что-жь, нехорошо. — Слезы были у меня на глазахъ и въ голосѣ.

— Не унывай, чего же лучше: вѣдь мы вмѣстѣ.

Къ ночи стало легче. Поставили градусникъ, жаръ быстро спадалъ, и ночь отецъ спалъ хорошо.

Разумѣется, никто изъ насъ не раздѣвался и мы поочередно сидѣли у постели отца, наблюдая за каждымъ его движеніемъ. Среди ночи онъ подозвалъ меня и сказалъ:

— Какъ ты думаешь, можно будетъ намъ завтра ѣхать?

Я сказала, что по моему нельзя, придется въ самомъ лучшемъ случаѣ переждать еще день. Онъ тяжело вздохнулъ и ничего не отвѣтилъ.

— Ахъ, зачѣмъ вы сидите? Вы бы шли спать! — нѣсколько разъ втеченіе ночи обращался онъ къ намъ.

Иногда онъ бредилъ во снѣ.

— Удрать... Удрать... Догонять...

Онъ просилъ не сообщать въ газеты про его болѣзнь и вообще никому ничего не говорить о немъ. Я успокаивала его.

На другой день, помѣривши температуру, мы ожили: градусникъ показывалъ 36,2. Состояніе довольно бодрое. Отецъ все время разговаривалъ о томъ, что надо ѣхать дальше. Его очень беспокоило, что могутъ узнать, гдѣ онъ, и онъ, подозвавъ меня, продиктовалъ слѣдующую телеграмму Черткову: «Вчера захворалъ, пассажиры видѣли, ослабѣвши шель съ поѣзда, боюсь огласки, нынче лучше, ѣдемъ дальше, примите мѣры, извѣстите».

Воспользовавшись хорошимъ состояніемъ отца, я рѣшила спросить у него то, что мнѣ необходимо было знать въ случаѣ, если болѣзнь его затянется и будетъ опасной и продолжительной. Я чувствовала, что на мнѣ лежитъ громадная отвѣтственность; я считала себя обязанной извѣстить семью, какъ я обѣщала, въ случаѣ болѣзни отца. Вотъ почему я спросила, желаетъ ли онъ, чтобы я дала знать семьѣ, если болѣзнь окажется продолжительной и серьезной. Отецъ очень встревожился и нѣсколько разъ убѣдительно просилъ меня ни въ какомъ случаѣ не давать знать семьѣ о его мѣстопребываніи и болѣзни.

— Черткова я желалъ бы видѣть, — прибавилъ онъ. Я тотчасъ же послала Черткову телеграмму слѣдующаго содержания: «Вчера слѣзла Астапово, сильный жаръ, забытье, утромъ температура нормальная, теперь снова ознобъ. Бхатъ немислимо, выражалъ желаніе видѣться вами. Фролова» (Мой псевдонимъ). Черезъ нѣсколько часовъ я получила отвѣтъ, что Чертковъ будетъ на слѣдующій день утромъ въ Астаповѣ.

Въ это же утро отецъ продиктовалъ мнѣ слѣдующія мысли въ свою записную книжку: «Богъ есть неограниченное все, человѣкъ есть только ограниченное проявленіе Бога». Я записала и ждала, что онъ будетъ диктовать дальше.

— Больше ничего.

Онъ полежалъ нѣкоторое время молча, какъ бы обдумывая что-то и потомъ снова подозвалъ меня.

— Возьми записную книжку и перо и пиши:

«или еще лучше такъ: Богъ есть то неограниченное все, чего человѣкъ сознаетъ себя ограниченной частью. Истинно существуетъ только Богъ. Человѣкъ есть проявленіе Его въ веществѣ, времени и пространствѣ. Чѣмъ больше проявленіе Бога въ человѣкѣ (жизнь) соединяется съ проявленіемъ (жизнями) другихъ существъ, тѣмъ больше онъ существуетъ. Соединеніе этой своей жизни съ жизнями другихъ существъ совершается любовью.

«Богъ не есть любовь, но чѣмъ больше любви, тѣмъ больше человѣкъ проявляетъ Бога, тѣмъ больше истинно существуетъ.

«Бога мы признаемъ только черезъ сознаніе Его проявленія въ насъ. Всѣ выводы изъ этого сознанія и руководство жизни, основанныя на немъ, всегда вполнѣ удовлетворяютъ человѣка и въ познаніи самого Бога, и въ руководствѣ въ своей жизни, основанномъ на этомъ сознаніи».

Черезъ нѣкоторое время онъ снова позвалъ меня и сказалъ:

— Теперь я хочу написать Танѣ и Сережѣ.

Его очевидно мучило то, что онъ просилъ меня не вызывать ихъ телеграммой, и онъ хотѣлъ имъ объяснить, почему не рѣшается увидѣть ихъ.

Нѣсколько разъ онъ долженъ былъ прекращать диктовать изъ-за подступающихъ къ горлу слезъ, и минутами я едва могла разслышать его голосъ, такъ тихо, тихо онъ

говоришь. Я записала стенограммой, потомъ переписала и принесла ему подписать.

«Милыя мои дѣти Таня и Сережа!

Надѣюсь и увѣренъ, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвалъ васъ. Призваніе васъ однихъ безъ мама было бы великимъ огорченіемъ для нея, а также и для другихъ братьевъ. Вы оба поймете, что Чертковъ, котораго я призвалъ, находится въ исключительномъ положеніи по отношенію ко мнѣ. Онъ посвятилъ свою жизнь на служеніе тому дѣлу, котсрому я служилъ послѣднія сорокъ лѣтъ моей жизни. Дѣло это не столько мнѣ дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нѣтъ — его важность для всѣхъ людей и для васъ въ томъ числѣ.

Благодарю васъ за ваше хорошее отношеніе ко мнѣ. Не знаю, прощаюсь ли или нѣтъ, но почувствовалъ необходимость высказать то, что высказалъ.

Еще хотѣлъ прибавить тебѣ, Сережа, совѣтъ о томъ, чтобы ты подумалъ о своей жизни, о томъ, кто ты, что ты, въ чемъ смыслъ человѣческой жизни, и какъ долженъ проживать ее всякій разумный человѣкъ. Тѣ, усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюціи и борьбы за существованіе не объясняютъ тебѣ смыслъ твоей жизни и не дадутъ руководства въ поступкахъ; а жизнь безъ объясненія ея значенія и смысла и безъ вытекающаго изъ нея неизмѣннаго руководства есть жалкое существованіе. Подумай объ этомъ. Любя тебя, вѣроятно, накалунѣ смерти, говорю это.

Прощайте, старайтесь успокоить мать, къ которой я испытываю самое искреннее чувство состраданія и любви. Любящій васъ отецъ Левъ Толстой».

— Ты имъ передай это послѣ моей смерти, -- сказалъ онъ и опять заплакалъ.

Съ девяти часовъ снова начался ознобъ, и жаръ сталъ увеличиваться. Онъ очень стоналъ, метался, жаловался на головную боль. Къ четыремъ часамъ температура была уже 39,8.

Нѣсколько разъ приходилъ желѣзнодорожный врачъ, но онъ мало внушалъ намъ довѣрія, а главное онъ всегда приходилъ со своей скучной, болтливой и безтактной женой, которая насъ очень тяготила. Въ концѣ концовъ мы старались отклонять его посѣщенія.

Начальникъ станціи, Иванъ Ивановичъ Озолинъ, милѣйшій человѣкъ, помощь, доброту и сердечную отзывчи-

вость котораго я никогда не забуду, все время между служебными обязанностями помогалъ намъ. Своихъ трехъ маленькихъ дѣтей Озолины помѣстили въ крошечную комнату, что, впрочемъ, мало огорчало ихъ. Все время были слышны ихъ веселые голоса и смѣхъ, а самая маленькая дѣвочка что-то напѣвала вѣрнымъ, звучнымъ голосомъ. Я слушала звуки этого веселаго, наивнаго напѣва, и мнѣ становилось еще грустнѣе: такъ великъ былъ контрастъ между беззаботными, радостными звуками и тѣмъ тяжелымъ, удрученнымъ настроеніемъ, въ которомъ мы находились.

Въ этотъ день отецъ позвалъ къ себѣ Ивана Ивановича Озолина и его жену, благодарилъ ихъ за гостеприимство и спрашивалъ про дѣтей, сколько ихъ, какого возраста. Озолины вышли изъ комнаты съ растроганными, радостными лицами.

Вечеромъ случилась бѣда, которая могла бы имѣть очень дурныя послѣдствія. Мы замѣтили, что пахнетъ угаромъ и у всѣхъ насъ разболѣлись головы. Когда Варвара Михайловна взглянула въ печь, то увидала въ ней большое тлѣвшее полѣно. Прислуживавшая намъ дѣвушка положила сушить его на лучинки. Труба была уже закрыта. Мы сейчас же открыли трубу, отворили форточку въ соседней комнатѣ и даже въ комнатѣ отца, загородивъ постель ширмами и закрывши его съ головой.

Когда Душанъ Петровичъ вмѣстѣ съ станціоннымъ врачомъ выслушалъ отца, онъ нашелъ въ легкихъ хрипы. Началось воспаленіе. Кромѣ того, насъ сильно встревожилъ появившійся кашель и ржаво-кровяная мокрота.

Посоветовавшись, мы рѣшили послать телеграмму Сережѣ съ просьбой вызвать къ намъ доктора Никитина. Мнѣ было тяжело рѣшиться на этотъ шагъ, я обѣщала отцу никого не вызывать къ нему. Но, съ другой стороны, я не могла взять на себя ответственность и не вызвать хорошаго, знающаго врача. Послѣ большихъ колебаній я послала срочную телеграмму брату Сергѣю, чтобы онъ привезъ врача.

Позднѣе вечеромъ температура немваго понизилась — 37,3, хотя отецъ постоянно стоналъ и просилъ пить.

Повидимому, настроеніе у него было очень подавленное.

Въ ночь съ 1-го на 2-ое ноября жаръ поднялся и къ пяти часамъ утра втораго достигъ 39,1. Сердце работало

слабо, пульсъ 90 съ перебойми, дыханье 38-40. Все время отца мучила страшная жажда. Попросивъ чашку чая съ лимономъ, онъ съ большимъ удовольствіемъ ее выпилъ и сказалъ:

— Вотъ какъ хорошо, можетъ быть, легче станеть.

Я пошла его съ маленькой ложечки, онъ попросилъ принести ложку побольше:

— Ужъ очень маленькая, мало поладаетъ.

Варвара Михайловна принесла большую, приподняла ему голову, а я пошла.

— Вотъ хорошо, и те пролили, — сказалъ онъ довольно твердымъ голосомъ, какъ будто ему дѣйствительно стало легче отъ питья.

Каждый разъ, когда по улыбкѣ и выраженію лица мы замѣчали, что ему лучше, мы начинали вѣрить, что онъ выздоровѣеть. Но какъ только онъ начиналъ громко стонать и жаловаться, мы снова падали духомъ и намъ казалось, что все кончено. Такъ было все эти дни.

Все утро отецъ громко стоналъ. Ко всемъ его страданіямъ прибавилась еще мучительная изжога.

Въ семь часовъ снова помѣрили температуру. Было 39,2. Отецъ самъ посмотрѣлъ градусникъ и сказалъ:

— Да, нехорошо; прибавилось.

Вообще въ первые дни болѣзни онъ часто по собственному желанію ставилъ градусникъ и самъ смотрѣлъ, прося посвѣтить, когда бывало темно.

— Чѣмъ вы опредѣляете это? — спросилъ онъ Душана Петровича: — что это за болѣзнь?

— Я думаю, катарръ легкихъ, — сказалъ Душанъ Петровичъ.

— А при этомъ бываетъ такой жаръ?

— Да.

Но всемъ намъ было совершенно ясно, что это былъ не катарръ, а ползучее воспаленіе въ легкихъ.

Въ девять часовъ утра пріѣхалъ Владиміръ Григорьевичъ со своимъ секретаремъ А. П. Сергѣенко. Очень трогательно было ихъ свиданіе съ отцемъ, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ разлуки. Оба плакали. Я не могла удержаться отъ слезъ, глядя на нихъ, и плакала въ сосѣдней комнатѣ.

Видно было, что отецъ очень обрадовался Черткову и, собирая послѣднія силы, долго разспрашивалъ его о Софій Андреевнѣ, о томъ, что съ ней, что слышалъ Влади-

міръ Григорьевичъ, спрашивалъ о здоровьи жены Владиміра Григорьевича, его матери.

Положеніе становилось все серьезнѣе и серьезнѣе. Нѣсколько разъ отецъ отхаркивалъ ржаво-кровоаную мокроту, жаръ все повышался. Въ одиннадцатъ часовъ утра температура была 39,6, сердце работало слабо, съ перебоями. Давали шампанское, которое отецъ пилъ съ большой неохотой, боясь, что оно вызоветъ изжогу. Но, несмотря на сильный жаръ, можетъ быть подъ вліяніемъ радостнаго свиданія съ Владиміромъ Григорьевичемъ, въ этотъ день настроеніе отца не было подавленнымъ, онъ даже шутилъ. Онъ вспомнилъ, какъ Душанъ Петровичъ смѣшно выговаривалъ слова: «перошки, прошу дать мнѣ покой». Отецъ при этомъ такъ добродушно и весело смѣялся, что мы, несмотря на тяжелое, подавленное настроеніе, не могли удержаться отъ улыбки.

Около трехъ часовъ температура стала нѣсколько понижаться, но отецъ стоналъ, жалуюсь на боль въ боку. Я спросила у него, тяжело ли ему? Отецъ отвѣтилъ, думая, что я спрашиваю не про физическое, а про нравственныя страданія:

— Разумѣется, тяжело, все еще нѣтъ естественной жизни.

Весь этотъ день меня мучило, что я противъ воли отца вызвала брата Сергѣя и доктора Никитина. И я рѣшила, тѣмъ болѣе, что, мнѣ казалось, состояніе отца нѣсколько улучшается, послать Сережѣ телеграмму, чтобы онъ не пріѣжалъ. Такъ какъ я не знала, гдѣ находится братъ, я телеграфировала черезъ Анну Константиновну Черткову: «отецъ проситъ васъ не пріѣзжать, письмо его слѣдуетъ, непосредственной опасности нѣтъ, если будетъ, сообщу». И съ этой же почтой я отправила письмо Сережѣ и Танѣ.

Организовался болѣе или менѣе правильный уходъ. Постоянно въ комнатѣ находился одинъ или два дежурныхъ, которые слѣдили за пульсомъ, давали подкрѣпляющія сердце средства, вино, часто, первое время по желанію отца, измѣряли температуру. Всѣ достали себѣ мягкія туфли, чтобы не раздражать больного стукомъ каблучковъ. Мы совнавали, что положеніе очень, очень серьезное и дѣлали, что можно, чтобы облегчить страданія и помочь организму справиться съ болѣзью. Всѣ, кромѣ пріѣхавшихъ, были измучены бессонными ночами и волне-

ніями, подобныхъ которымъ мнѣ еще никогда не приходилось испытывать.

Около трехъ часовъ вошелъ начальникъ станціи Иванъ Ивановичъ Озолинъ. Видъ у него былъ встревоженный, разстроенный. Онъ сообщилъ, что получена телеграмма изъ Щекина о томъ, что вышелъ экстренный поѣздъ, который долженъ прибыть въ Астапово около девяти часовъ вечера. Въ этомъ поѣздѣ выѣхала изъ Ясной Поляны моя мать со всей семьей.

Всѣмъ было ясно, что свиданіе отца съ матерью могло быть губительно для его здоровья.

Ужасъ охватилъ насъ всѣхъ. Что дѣлать? Рѣшено было просить Душана Петровича переговорить съ братьями и матерью и убѣдить ихъ не входить къ отцу. Но для меня было ясно, что, такъ какъ отецъ самъ добровольно порвалъ съ матерью, ушелъ отъ нея, никто не имѣлъ права насиловать его волю. Я рѣшила не впускать мать до тѣхъ поръ, пока отецъ самъ этого не пожелаетъ, даже если бы доктора и семья нашли возможнымъ это сдѣлать.

Днемъ отецъ нѣсколько разъ ставилъ градусникъ и смотрѣлъ температуру. На мой вопросъ, болитъ ли у него бокъ, отвѣчалъ, что нѣтъ. Въ четвертомъ часу состояніе ухудшилось. Онъ громко стоналъ, дыханье было частое и тяжелое. Варвара Михайловна спросила, тяжело ли ему?

— Да, тяжело.

— Жарко?

— Да, жарко.

Онъ снова попросилъ градусникъ и, когда Варвара Михайловна поставила его и сказала вслухъ:

— Безъ пяти четыре.

Отецъ сейчасъ же добавилъ:

— Значить, вынимать десять минутъ пятого.

Меня не было въ комнатѣ, когда отецъ вынулъ градусникъ и, увидявъ, что онъ указываетъ 39,2, громко сказалъ:

— Ну, мать, не обижайтесь!

И, когда Варвара Михайловна переспросила, онъ снова повторилъ:

— Ну, мать, не обижайтесь.

Въ восемь часовъ вечера пріѣхалъ братъ Сергѣй. Онъ былъ очень разстроенъ, непременно желалъ видѣть отца, а вмѣстѣ съ тѣмъ самъ сознавать, что свиданіе разстро-

ить и взволнуетъ его. Мы долго колебались. Братъ стоялъ въ сосѣдней комнатѣ и смотрѣлъ на отца, потомъ вдругъ рѣшительно сказалъ:

— Нѣтъ, я пойду. Я скажу ему, что въ Горбачевѣ случайно узналъ отъ кондуктора, что онъ здѣсь, и пріѣхалъ.

Отецъ очень взволновался, увидавъ его, обстоятельно спрашивалъ, какъ братъ узналъ, гдѣ онъ находится, что знаетъ о матери, гдѣ она и съ кѣмъ. Сережа отвѣтилъ, что онъ изъ Москвы, что мать въ Ясной Полянѣ, съ ней докторъ, сестра милосердія и младшіе братья.

— Я вижу, что мать нельзя допускать къ нему, — сказалъ братъ, выходя изъ комнаты, — это слишкомъ его взволнуетъ.

Отецъ позвалъ меня.

— Сережа то каковъ!

— А что, папаша?

— Какъ онъ меня нашелъ! Я очень ему радъ, онъ мнѣ пріятель... Онъ мнѣ руку поцѣловалъ, — сквозь рыданія съ трудомъ проговорилъ отецъ.

Въ этотъ же вечеръ пріѣхалъ, вызванный нами изъ Данкова, земскій врачъ Семеновскій. Онъ выслушалъ отца вмѣстѣ съ Душаномъ Петровичемъ и желѣзнодорожнымъ врачомъ и опредѣлилъ такъ же, какъ и они, воспаленіе легкихъ. Отецъ добродушно позволялъ докторамъ выстукивать и выслушивать себя и, когда они кончили, спросилъ доктора Семеновскаго, можно ли ему будетъ уѣхать черезъ два дня? Семеновскій отвѣтилъ, что едва ли можно будетъ выѣхать черезъ двѣ недѣли. Отецъ очень огорчился, ничего не сказалъ и повернулся къ стѣнѣ.

Въ девять часовъ пришелъ экстренный поѣздъ. Душанъ Петровичъ пошелъ встрѣчать. Какъ всегда бываетъ, засуетились, забѣгали по платформѣ, и черезъ нѣсколько минутъ въ окно я увидала фигуру матери подъ руку съ кѣмъ то изъ братьевъ. Она просила показать ей домъ, въ которомъ находился отецъ.

Возвратившись, Душанъ Петровичъ передалъ намъ, что вся семья согласилась съ тѣмъ, что матери не слѣдуетъ входить къ отцу, считая, что потрясеніе можетъ быть губительно для его жизни.

Третьяго утромъ пріѣхалъ докторъ Никитинъ. Едва увидавъ его, отецъ сталъ спрашивать, кто его вызвалъ. Никитинъ сказалъ, что вызвала его я. Повидимому, пріѣздъ Дмитрія Васильевича огорчилъ отца. Онъ чувство-

валь, что постепенно дѣлается извѣстнымъ, гдѣ онъ находится.

Мы же всѣ чрезвычайно обрадовались прїѣзду Никитина. Да и вообще въ это утро настроеніе было бодрое, полное надежды. Температура понизилась до 36,8. Но сердце работало плохо, пульсъ былъ около ста, съ частыми перебоями.

Отецъ охотно позволилъ себя выслушать, и Никитинъ такъ же, какъ и другіе врачи, опредѣлялъ воспаленіе нижней доли лѣваго легкаго. На всѣ наши вопросы Никитинъ отвѣчалъ, что, хотя состояніе очень тяжелое, надежда есть.

Нѣсколько разъ въ день приходили братья, спрашивая о здоровьи. Иногда потихоньку входили въ домъ, иногда подходили къ окну, стучали въ него и я отворяла форточку и сообщала имъ о ходѣ болѣзни. Всѣ братья старались по очереди находиться около матери, слѣдить за ней и утѣшались ея те входитъ къ отцу. Кромѣ того, при матери былъ докторъ психіатръ, который, впрочемъ, скоро уѣхалъ, и сестра милосердія.

На вокзалѣ толпились корреспонденты со всѣхъ концовъ Россіи. Они старались поймать каждаго выходящаго изъ нашего домика, узнать самыя свѣжія новости, и сообщить въ свою редакцію. Говорили, что мать охотно бесѣдуетъ съ корреспондентами, благодаря чему во многихъ газетахъ стали появляться не совсѣмъ точныя свѣдѣнія. Въ этотъ день, по настойчивой просьбѣ сестры, я пошла въ вагонъ экспресснаго поѣзда. Мать желала говорить со мной.

Я не видѣла въ ней раскаянія, напротивъ, видѣла желаніе всѣхъ осудить. Она говорила о сочувствіи, которое выражаютъ ей газеты, о виновности Черткова, моей. Она спрашивала о нашемъ путешествіи и увѣряла, что скрыться все равно нельзя, такъ какъ у нея есть два тайныхъ друга, которые сообщили ей о томъ, гдѣ находится Левъ Николаевичъ, и что теперь Столыпинъ командируетъ двухъ полицейскихъ, чтобы они безотлучно слѣдили за отцемъ.

Она не представляла себѣ, насколько плохо былъ отецъ и говорила, что когда онъ поправится, она ужъ конечно не упуститъ его, будетъ по пятамъ слѣдить за нимъ.

— Куда онъ, туда и я, — повторяла она.

Подъ конецъ разговора она спросила, вспоминалъ ли отецъ о ней?

Я отвѣтила, что вспоминалъ, но очень боялся, и теперь боится, что она можетъ приѣхать.

— Навѣрное онъ со злобой говорилъ обо мнѣ?

— Нѣтъ, безъ всякой злобы, скорѣе съ жалостью.

— Онъ знаетъ, что я топила?

— Да, знаетъ.

— Ну и что же?

— Онъ сказалъ, что если бы ты убила себя, ему было бы очень тяжело, но онъ не обвинилъ бы себя въ этомъ, такъ какъ не могъ поступить иначе.

Потомъ мать стала говорить о томъ, что отецъ ушелъ для того, чтобы жить какъ будто простой жизнью, а теперь снова окружилъ себя докторами, роскошью.

— Я должна была летѣть сюда въ поѣздѣ, который стоилъ пятьсотъ рублей!

И она стала такъ нехорошо говорить про отца, что я рѣзко оборвала ее и ушла.

Въ этотъ день Душанъ Петровичъ хотѣлъ подложить подъ голову отцу подушечку, которую привезла мать. Она сама сшила ему эту подушку и дома онъ всегда на ней спалъ. Объ этомъ просила Душана Петровича мать, а ему не пришло въ голову, что это могло взволновать отца. Отецъ сейчасъ же спросилъ:

— Откуда это?

Душанъ Петровичъ растерялся и, не зная что отвѣтить, сказалъ:

— Татьяна Львовна привезла.

Узнавъ, что сестра въ Астаповѣ, отецъ взволновался и обрадовался. Подозвавъ Владиміра Григорьевича, онъ сталъ спрашивать его, какъ Таня приѣхала.

— Вѣроятно Татьяна Львовна сказала Софіи Андреевнѣ, что поѣдетъ въ Кочеты, а сама поѣхала сюда, — сказалъ онъ.

Отецъ все время беспокоился, что могутъ узнать, гдѣ онъ. Ему и въ голову не приходило, что во всѣхъ газетахъ уже давно есть подробныя сообщенія о его болѣзни въ Астаповѣ и вокзалъ полонъ корреспондентовъ.

Сестра вошла къ нему. Онъ радостно встрѣтилъ ее и сейчасъ же сталъ спрашивать о матери. Таня отвѣчала ему, но когда отецъ спросилъ, возможно ли, что Софія Андреевна приѣдетъ сюда, сестра хотѣла отвести разговоръ и сказала, что она не хочетъ говорить съ нимъ о

матери, такъ какъ это слишкомъ волнуешь его. Но онъ со слезами на глазахъ просилъ:

— Почему ты не хочешь отвѣчать мнѣ? Ты развѣ не понимаешь, какъ мнѣ, для моей души нужно знать это?

Сестра растерялась, что-то сказала и поспѣшно вышла изъ комнаты.

Отецъ долго не могъ успокоиться, не понимая, почему Таня не захотѣла отвѣчать ему.

Въ четыре часа, узнавъ, что пріѣхали Горбуновъ и Гольденвейзеръ, отецъ пожелалъ видѣть ихъ. Душанъ Петровичъ отговаривалъ его, говоря, что онъ устанетъ, но отецъ настойчиво потребовалъ свиданія съ ними, сказавъ:

— Когда устану, они увидятъ и сами уйдутъ.

При свиданіи этомъ меня не было.

Послѣ кто-то рассказывалъ мнѣ, что Иванъ Ивановичъ Горбуновъ долго говорилъ съ отцемъ объ издаваемыхъ имъ въ Посредникѣ книжечкахъ «Путь жизни», а уходя, сказалъ отцу:

Что, еще повоюемъ, Левъ Николаевичъ?

— Вы повоюете, а я уже нѣтъ, — отвѣтилъ отецъ.

Въ пять часовъ отецъ попросилъ позвать Сережу. Его не было. Тогда онъ попросилъ позвать Черткова. Вошли Чертковъ и Никитинъ и отецъ сталъ диктовать имъ телеграмму братьямъ, которые, какъ онъ думалъ, были въ Ясной Полянѣ при матери: «Состояніе лучше, но сердце такъ слабо, что свиданіе съ мама было бы для меня губительно».

— Вы понимаете? — спросилъ онъ Владиміра Григорьевича. — Если она захочетъ меня видѣть, я не смогу указать ей, а между тѣмъ свиданіе съ ней будетъ для меня губительно, — еще разъ повторилъ онъ и заплакалъ.

Черезъ полчаса онъ позвалъ Варвару Михайловну и спросилъ, послали ли телеграмму и кто давалъ деньги. Варвара Михайловна сказала, что, вѣроятно, Саша.

— То-то, зачѣмъ же Владиміръ Григорьевичъ будетъ на меня тратить. У меня есть свои деньги. Возьмите въ столикъ кошелекъ, тамъ рублей десять мелочью, и еще въ записной книжкѣ рублей пятьдесятъ, тратьте ихъ. Передайте это Сашѣ.

За все время его болѣзни меня поражало, что, несмотря на жаръ, сильное ослабленіе сердца и тяжелыя физическія страданія, у отца все время было ясное сознаніе. Онъ за-

мѣчалъ все, что дѣлалось кругомъ до мельчайшихъ подробностей. Такъ, напримѣръ, когда отъ него всѣ вышли, онъ сталъ считать, сколько всего пріѣхало народа въ Астапово и счелъ, что всѣхъ пріѣхало девять человекъ.

Какъ-то онъ спросилъ дѣвушку, каждое утро вытиравшую у него въ комнатѣ полъ, замужемъ ли она, сколько ей лѣтъ, хорошо ли ей здѣсь живется? Она смущенно отвѣчала ему.

Днемъ Чертковъ читалъ ему газеты и прочелъ четыре полученныхъ на его имя письма, привезенныя имъ изъ Ясной Поляны. Отецъ ихъ внимательно выслушалъ и, какъ всегда это дѣлалъ дома, просилъ помѣтить на конвертахъ, что съ ними дѣлать.

Вечеромъ температура была 37,7. Отецъ уже не просилъ, чтобы ему ставили градусникъ, хотя и не противился, когда мы это дѣлали. Появилась ужасная икота. Мы давали ему пить сахарную воду, содовую съ молокомъ, но ничего не помогало. Отецъ икалъ громко и, повидимому, мучительно. Сердце ослабѣло, и вообще состояніе значительно ухудшилось. Всѣ упали духомъ. Но Никитинъ и Душанъ Петровичъ все еще продолжали надѣяться. Въ этотъ день семья Озолиныхъ перешла въ маленькую комнату къ сторожу, уступивъ намъ всю квартиру. Ивалъ Ивановичъ остался съ нами.

Ночь съ третьяго на четвертое ноября была одна изъ самыхъ тяжелыхъ. Съ вечера еще было довольно спокойно. Сознаніе было ясное. Мнѣ помнится, что въ этотъ вечеръ, когда кто-то поправлялъ его постель, отецъ сказалъ:

— А мужики-то, мужики, какъ умираютъ! — и заплакалъ.

Часовъ съ одиннадцати начался бредъ. Отецъ просилъ насъ записывать за нимъ, но это было невозможно, такъ какъ онъ говорилъ отрывочныя, непонятныя слова. Когда онъ просилъ прочитать записанное, мы терялись и не знали, что читать. А онъ все просилъ:

— Да прочтите же, прочтите!

Мы пробовали записывать его бредъ, но чувствуя, что записанное не имѣло смысла, онъ не удовлетворялся и снова просилъ прочитать.

Не зная, что дѣлать, я разбудила Владиміра Григорьевича. Когда отецъ обратился къ нему съ той же просьбой,

мнѣ вдругъ пришло въ голову почитать отцу «Кругъ Чтенія». Это помогло. Отецъ успокоился.

Почти всю ночь мы поочередно читали «Кругъ Чтенія» и отецъ замолкалъ и внимательно слушалъ, иногда останавливая читающаго, прося повторить неразслышанныя имъ слова, иногда спрашивая, чья была прочитанная мысль. Утро также было тревожно. Отецъ что-то говорилъ, чего окружающіе никакъ не могли понять, громко стоналъ, охалъ, прося насъ понять его мысль, помочь ему.

И мнѣ казалось, что мы не понимаемъ не потому, что мысли его не имѣютъ смысла,—я ясно видѣла по его лицу, что для него онѣ имѣютъ глубокой, важный смыслъ, а мы не понимаемъ ихъ только потому, что онъ уже не въ силахъ передать ихъ словами.

Минутами онъ говорилъ твердо и ясно. Такъ Владиміру Григорьевичу онъ сказалъ:

— Кажется, умираю, а можетъ быть и нѣтъ.

Потомъ сказалъ что-то, чего мы не поняли и дальше:

— А впрочемъ надо еще постараться немножко.

Днемъ провѣтривали спальню и вынесли отца въ другую комнату. Когда его снова внесли, онъ пристально посмотрѣлъ на стеклянную дверь противъ его кровати, и спросилъ у дежурившей Варвары Михайловны:

— Куда ведетъ эта стеклянная дверь?

— Въ коридоръ.

— А что за коридоромъ?

— Сѣнцы и крыльцо.

Въ это время я вошла въ комнату.

— А что эта дверь заперта? — спросилъ отецъ, обращаясь ко мнѣ.

Я сказала, что заперта.

— Странно, а я ясно видѣлъ, что изъ этой двери на меня смотрѣли два женскихъ лица.

Мы сказали, что этого не можетъ быть, потому что изъ коридора въ сѣнцы дверь также заперта.

Видно было, что онъ не успокоился и продолжалъ съ тревогой смотрѣть на стеклянную дверь.

Мы съ Варварой Михайловной взяли пледъ и завѣсили ее.

— Ахъ, вотъ теперь хорошо, — съ облегченіемъ сказалъ отецъ, повернулся къ стѣнѣ и на время затихъ.

Появился еще новый зловѣщій признакъ. Отецъ, не переставая, перебиралъ пальцами. Онъ бралъ руками

одинъ край одѣяла и перебиралъ его пальцами до друго-го края, потомъ обратно и такъ безъ конца. Это ужасно встравожило меня. Я вспоминала Машу...

Временами отецъ лежалъ совершенно неподвижно, молчалъ, даже не стоналъ и смотрѣлъ передъ собой. Въ этомъ взглядѣ было для меня что-то новое, далекое. «Конецъ» — мелькало у меня въ головѣ.

Иногда онъ старался что-то доказать, выразить какую-то свою неотвязную мысль. Онъ пробовалъ говорить, но чувствовалъ, что говорить не то, громко стоналъ, охалъ.

— Ты не думай! — сказала я ему.

— Ахъ, какъ не думать, надо, надо думать.

И онъ снова старался сказать что-то, метался и страдалъ.

Измучившись, онъ заснулъ. Проснулся около трехъ часовъ, какъ будто въ болѣе спокойномъ состояніи и попросилъ пить. Варвара Михайловна принесла ему чаю съ лимономъ. Когда она вышла изъ комнаты, онъ, обратившись ко мнѣ, сказалъ:

— Какая Варичка хорошая сидѣлка, только женщины умѣютъ такъ ухаживать!

Я предложила ему умыться. Онъ согласился. Я взяла теплой воды, прибавила туда одеколону и стала ваткой обмывать его лицо. Онъ улыбался, жмурился, лицо было ласковое и спокойное, повидимому ему было очень пріятно это обтираніе. Когда я кончила обтирать одну сторону, онъ повернулся ко мнѣ другой и ласково сказалъ:

— Ну, теперь другую, и уши не забудь помыть.

Нѣсколько часовъ онъ провелъ спокойно. Мы снова ободрились и стали надѣяться.

Въ виду того, что требовалось постоянное присутствіе врача, Семеновскій не всегда могъ пріѣзжать, а Душанъ Петровичъ былъ измученъ волненіями и бессонными ночами, я предложила Никитину вызвать на помощь доктора Григ. Моис. Беркенгейма. Онъ охотно согласился.

Къ вечеру снова начался бредъ, и отецъ просилъ, умоляя насъ понять его мысль помочь.

— Саша, пойди, посмотри, чѣмъ это кончится, — говорилъ онъ мнѣ.

Я старалась отвлечь его.

— Можетъ быть ты хочешь пить?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ... Какъ не понять... Это такъ просто.

И снова онъ просилъ:

— Пойдите сюда, чего вы бонтесь, не хотите мнѣ помочь, я всёхъ прошу...

Чего бы я ни дала, чтобы понять и помочь!

Но сколько я не напрягала мысль, я не могла понять, что онъ хочетъ сказать. Онъ продолжалъ говорить что-то невнятно.

Искать, все время искать...

Въ комнату вошла Варвара Михайловна. Отецъ привсталъ на кровати, протянулъ руки и громкимъ радостнымъ голосомъ, глядя на нее въ упоръ, крикнулъ:

— Маша! Маша!

Варвара Михайловна выскочила изъ комнаты, испуганная, потрясенная.

Всю ночь я не отходила отъ отца. Онъ все время метался, стоналъ, охалъ. Снова просилъ меня записывать. Я брала карандашъ, бумагу, но записывать было печего, а онъ просилъ прочитать свои слова.

— Прочти, что я написалъ. Что же вы молчите? Что я написалъ? — повторялъ онъ, возбуждаясь все болѣе и болѣе.

Въ это время мы старались дежурить вдвое, но тутъ случилось, что я осталась одна у постели отца. Казалось, онъ задремалъ. Но вдругъ сильнымъ движеніемъ онъ привсталъ на подушкахъ и сталъ спускать ноги съ постели. Я подошла.

— Что тебѣ, папаша?

Пусти, пусти меня! — и онъ сдѣлалъ движеніе, чтобы сойти съ кровати.

Я знала, что если онъ встанетъ, я не смогу удержать его, онъ упадетъ, я всячески пробовала успокоить его, но онъ изо всёхъ силъ рвался отъ меня.

— Пусти, пусти, ты не смѣешь меня держать, пусти!

Видя, что я не могу справиться съ отцемъ, такъ какъ мои увѣщанія и просьбы не дѣйствовали, а силой его удерживать у меня не хватало духа, я стала кричать:

— Докторъ, докторъ, скорѣе сюда!

Кажется въ это время дежурилъ докторъ Семеновскій. Онъ вошелъ вмѣстѣ съ Варварой Михайловной, и намъ удалось успокоить отца. Видно было, что онъ ужасно страдалъ.

Я разбудила Владиміра Григорьевича, который сталъ читать отцу, какъ и въ предыдущую ночь «Кругъ Чтенія»

и онъ затихъ, только изрѣдка охаль и икаль. Утромъ онъ усталымъ, измученнымъ голосомъ сказалъ:

— Я очень усталъ, а главное вы меня мучаете.

Въ этотъ день изъ Москвы пріѣхалъ Беркенгеймъ и привезъ, какъ мы его просили въ телеграммѣ, новую кровать. Та, на которой лежалъ отецъ, была очень старая, плохая, съ испорченными, выпирающими пружинами. Никитинъ предложилъ отцу перейти на новую кровать, но онъ отказался. За послѣдніе дни онъ вообще неохотно исполнялъ то, что требовали доктора. Онъ уже не только не просилъ мѣрить температуру, но съ трудомъ соглашался на это. Ему хотѣлось полнаго покоя и было непріятно, когда его тревожили.

Черезъ нѣкоторое время онъ все-таки позволилъ себя перенести на другую кровать, сказавши Никитину ласковымъ голосомъ:

— Ну, перенесите меня, если это доставить вамъ удовольствіе.

Беркенгеймъ былъ въ комнатѣ, когда устанавливали кровать. Отецъ слѣдилъ глазами за тѣмъ, что дѣлали, потомъ вдругъ спросилъ:

— Кто со мной не здоровался?

И когда ему сказали, что всѣ поздоровались, онъ сказалъ:

— Нѣтъ, кто-то не поздоровался.

Тогда Григорій Моисеевичъ, не рывавшійся побезпокоить отца, подошелъ къ нему. Отецъ ласковымъ голосомъ сказалъ:

— Спасибо вамъ, голубчикъ.

Беркенгеймъ поцѣловалъ руку отца и, зѣрѣдавъ, вышелъ изъ комнаты. Хотя Григорій Моисеевичъ меньше Никитина и другихъ врачей надѣялся на хорошій исходъ болѣзни, онъ хлопоталъ больше всѣхъ. Онъ потребовалъ, чтобы изъ комнаты отца были вынесены всѣ оставшіяся картины и мягкая мебель. Онъ сейчасъ же велѣлъ мнѣ сварить овсянку и пробовалъ хоть понемногу давать ее отцу. Онъ привезъ съ собой изъ Москвы кефиръ и отецъ, узнавъ объ этомъ, попросилъ дать ему и выпилъ полъ стакана. Сваривши овсянку и смѣшавши ее съ желткомъ такъ, какъ это всегда дѣлалъ отецъ дома, я принесла ее. Насъ всѣхъ очень обрадовало и утѣшило, когда отецъ немного поѣлъ. Пока мы были погружены въ уходъ за отцемъ, слѣдя за малѣйшими ухудшеніями и улучшеніями

ми, то падая духомъ, то снова ободряясь, за стѣнами нашего дома кишмя кишѣли корреспонденты, ловя каждое слово, телеграфисты не успѣвали отпирать подаваемые телеграммы. Ихъ было столько, что срочныя телеграммы шли, какъ обыкновенныя. Киносъемщики поминутно снимали все, что только могли: мою мать, братьевъ, нашъ домикъ, станцію. Приѣхалъ старецъ изъ Оптиной Пустыни -- отецъ Варсанофій и просилъ всѣхъ моихъ родныхъ пустить его къ отцу для того, чтобы вернуть его передъ смертию «въ лоно православной церкви».

Все это до меня доносилось изъ разговоровъ окружающихъ, но одинъ разъ я тоже чуть не попала въ кинофильму. Гольденвейзеръ, дежурившій въ сѣняхъ, позвалъ меня, сказавъ, что на крыльцѣ стоитъ моя мать и проситъ выйти къ ней на минутку, чтобы распросить о здоровьи отца. Я вышла на крыльцо и стала отвѣчать на ея вопросы, но она попросила меня пустить ее въ сѣни, клянясь, что въ домъ она не войдетъ. Я собиралась отворить дверь, какъ вдругъ услыхала трескъ и, обернувшись, увидала двухъ киносъемщиковъ, вертѣвшихъ ручку аппарата. Я замахала руками, закричала, прося ихъ перестать снимать и, обратившись къ матери, просила ее сейчасъ же уйти.

— Вы меня не пускаете къ нему, — отвѣтила она на мои упреки, — такъ пускай хоть люди думаютъ, что я у него была!

Съ тяжелымъ камнемъ на сердцѣ вернулась я въ нашъ домикъ!

А Душанъ Петровичъ писалъ тетушкѣ Маріи Николаевнѣ въ Шамордино:

«Вчера мнѣ С. А. сказала, что больше отъ Льва Николаевича не останеть. Если Левъ Николаевичъ выздоровѣетъ, въ чемъ Софія Андреевна почти не сомнѣвается и если уѣдетъ на югъ, за границу, она за нимъ, не пожалѣетъ 5.000 руб. сыщику, который будетъ за Львомъ Николаевичемъ слѣдить, куда поѣдетъ. Это вамъ сообщаютъ не ради осужденія Софіи Андреевны, а ради характеристики».

Вчера и сегодня строчили ея рѣчи пять корреспондентовъ (2 русскихъ, 3 еврей), которые ходили къ ней въ вагонъ. Софія Андреевна говорила имъ вродѣ того, что Левъ Николаевичъ уѣхалъ ради рекламы».

Мы съ сестрой Таней сидѣли около отца. Онъ все вре-

мя икалъ. Таня спросила меня, не дать ли ему что-нибудь выпить.

— Какъ, должно быть, мучительна ему эта икота, — прибавила она.

— Итъ, совсѣмъ не мучительна, — сказалъ онъ, услыхавъ нашъ разговоръ.

Днемъ мы всѣ сидѣли въ столовой. Около отца была Таня и докторъ Семеновскій. Сестрѣ показалось, что отецъ среди бреда сказалъ слово: «Соня» или «сода». Она не разслышала и переспросила:

— Ты хочешь видѣть Соню?

Отецъ ничего не отвѣтилъ и отвернулся къ стѣнѣ.

Когда доктора ставили компрессъ, братъ Сергѣй сказалъ, что кажется компрессъ плохо поставленъ. Отецъ спросилъ:

— Что, плохо дѣло?

— Не плохо дѣло, а плохо компрессъ поставленъ, — отвѣтилъ братъ.

— А, а, а!

Въ этотъ день положеніе рѣзко измѣнилось къ худшему. Всѣ сознавали, что надежды почти нѣтъ. Мнѣ же казалось, что лѣченіе — вспрыскиванія, кислородъ, клизмы, все это бесполезно и только нарушаетъ покой стна, мѣшаетъ той внутренней работѣ, которою онъ былъ весь поглощенъ, готовясь къ смерти.

Вечеромъ отецъ спокойно уснулъ. Когда онъ проснулся, я предложила ему умыться. Онъ сказалъ:

— Пожалуй, вымой.

И когда я обтирала ему усы и бороду, онъ ловилъ ватку губами и старался забрать ее въ ротъ. Вѣроятно, во рту сильно сохло. Окончивъ, я просила его поѣсть. Онъ сначала отказался, но потомъ согласился и съѣлъ полстаканчика овсянки и выпилъ миндальнаго молока.

Ночь съ 5-го на 6-ое прошла сравнительно спокойно. Къ утру температура 37,3, сердце слабо, но лучше, чѣмъ наканунѣ. Всѣ доктора, кромѣ Беркенгейма, который все время смотрѣлъ на болѣзнь безнадежно, ободрились и на наши вопросы отвѣчали, что хотя положеніе серьезно, надежда еще есть.

Въ 10 часовъ утра пріѣхали вызванные изъ Москвы моими родными и докторами врачи Щуровскій и Усовъ.

Увидавъ ихъ, отецъ сказалъ:

— Я ихъ помню.

И потомъ, помолчавъ немного, ласковымъ голосомъ прибавилъ:

— Милые люди.

Когда доктора изслѣдовали отца, онъ, очевидно, принявъ Усова за Душана Петровича, обнялъ и поцѣловалъ его, но потомъ, убѣдившись въ своей ошибкѣ, сказалъ:

— Нѣтъ, не тотъ, не тотъ.

Щуровскій и Усовъ нашли положеніе почти безнадежнымъ.

Да я знала это и безъ нихъ, хотя съ утра всѣ ободрись, но я уже почти не надѣялась. Всѣ душевныя и физическія силы сразу покинули меня. Я едва заставляла себя дѣлать то, что было нужно, и не могла уже сдерживаться отъ подступающихъ къ горлу рыданій...

Все слилось въ моей памяти въ какое-то сплошное страданіе \*).

Въ этотъ день онъ точно прощался со всѣми нами. Около него съ чѣмъ-то возились доктора. Отецъ ласково посмотрѣлъ на Душана Петровича и съ глубокой нѣжностью сказалъ:

— Милый Душанъ, милый Душанъ!

Въ другой разъ мѣняли простыни, я поддерживала отцу спину. И вотъ я почувствовала, что его рука ищетъ мою руку. Я подумала, что онъ хочетъ опереться на меня, но онъ крѣпко пожалъ мнѣ руку одинъ разъ, потомъ другой. Я сжала его руку и припала къ ней губами, стараясь сдержать подступившія къ горлу рыданія.

Въ этотъ день отецъ сказалъ намъ съ сестрой слова, которыя заставили меня очнуться отъ того отчаянія, въ которое я впала, заставили вспомнить, что жизнь для чего-то послана намъ и что мы обязаны, независимо отъ какихъ-либо обстоятельствъ, продолжать эту жизнь, по мѣрѣ слабыхъ силъ своихъ стараясь служить Пославшему насъ и людямъ.

Кровать стояла среди комнаты. Мы съ сестрой сидѣли около. Вдругъ отецъ сильнымъ движеніемъ привсталъ и почти сѣлъ. Я подошла.

— Поправить подушки?

— Нѣтъ, — сказалъ онъ, твердо и ясно выговаривая

---

\*) Я могла записать нѣкоторыя подробности лишь благодаря записямъ В. М. Феокириной и Атемѣя Петровича Сергѣенко, записывавшаго съ нашихъ словъ всѣ событія и слова отца.

каждое слово, — нѣтъ. Только одно совѣтую помнить, что на свѣтѣ есть много людей, кромѣ Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.

И снова опустился на подушки.

Это были послѣднія слова, обращенныя къ намъ.

Положеніе сразу ухудшилось. Дѣятельность сердца сильно ослабѣла, пульсъ едва прощупывался, губы, носъ и руки посинѣли, и лицо какъ то сразу похудѣло, точно сжалось. Дыханье было едва слышно. Всѣ думали, что это конецъ.

Но доктора все еще не теряли или дѣлали видъ, что не теряютъ надежды. Они что-то впрыскивали, давали кислородъ, клали горячіе мѣшки къ конечностямъ и жизнь снова стала возвращаться. Пульсъ сталъ сильнѣе, дыханье глубже.

Никитинъ держалъ мѣшокъ съ кислородомъ. Отецъ отстранилъ его.

— Это совершенно бесполезно, — сказалъ онъ.

Вечеромъ кто-то сказалъ мнѣ, что меня желаетъ видѣть отецъ Варсанофій. Всѣ родные и доктора наотрѣзъ отказали ему въ просьбѣ видѣть отца, но онъ все же напелъ нужнымъ обратиться съ тѣмъ же и ко мнѣ. Я написала ему слѣдующее письмо:

«Простите, батюшка, что не исполняю Вашей просьбы и не прихожу бесѣдовать съ Вами. Я въ данное время не могу отойти отъ больного отца, которому поминутно могу быть нужна. Прибавить къ тому, что вы слышали отъ всей нашей семьи, я ничего не могу.

Мы — всѣ семейные — единогласно рѣшили впереди всѣхъ соображеній подчиняться волѣ и желанію отца, каковы бы они ни были. Послѣ его воли мы подчиняемся предписанію докторовъ, которые находятъ, что въ данное время что-либо ему предлагать или насиловать его волю было бы губительно для его здоровья. Съ искреннимъ уваженіемъ къ Вамъ Александра Толстая, 6 ноября 1910 г. Астапово».

На это письмо я получила отъ отца Варсанофія отвѣтъ, который я здѣсь привожу:

«Ваше Сіятельство,

Достопочтенная графиня Александра Львовна. Миръ и радваніе желаю Вамъ отъ Господа Иисуса Христа.

Почтительно благодарю Ваше Сіятельство за письмо Ваше, въ которомъ пишете, что воля родителя Вашего

для Васъ и всей семьи Вашей поставляется на первомъ планѣ. Но Вамъ, графиня, извѣстно, что графъ выражалъ сестрѣ своей, а Вашей тетускѣ монахинѣ матери Маріи желаніе видѣть насъ и бесѣдовать съ нами, чтобы обрѣсти желанный покой своей душѣ, и глубоко скорбѣлъ, что это желаніе его не исполнилось. Въ виду сего почтительно прошу Васъ, графиня, не отказать сообщить графу о моемъ прибытіи въ Астаново и, если онъ пожелаетъ видѣть меня хоть на двѣ-три минуты, то я немедленно приду къ нему. Въ случаѣ же отрицательнаго отвѣта со стороны графа, я возвращусь въ Оптину Пустынь, предавши это дѣло волѣ Божьей.

Грѣшный игуменъ Варсанофій, недостойный богомолецъ Вашъ.

1910 годъ ноября 6-го дня. Астаново».

На это письмо я уже не отвѣтила. Да мнѣ было и не до того.

Намъ всею казалось, что состояніе отца лучше и снова вслыхнула надежда. Ставили клизму изъ соляного раствора.

Отцу было неприятно всякій разъ, какъ его тревожили доктора, что онъ нѣсколько разъ выражалъ. Когда Никитинъ предложилъ ему ставить клизму, говоря, что отъ этого пройдетъ икота, отецъ сказалъ:

— Богъ все устроитъ.

Въ другой разъ онъ сказалъ:

— Все это глупости, все пустяки, къ чему лѣчиться.

Вечеромъ въ столовую пришли братья, доктора. Щуровскій много говорилъ съ Владиміромъ Григорьевичемъ о болѣзни отца, причемъ не отчаивался. Онъ находилъ, что силы у отца еще есть.

Затѣмъ все разошлись спать, и остались только Беркенгеймъ и Усовъ.

Я заснула. Меня разбудили въ десять часовъ. Отцу стало хуже. Онъ сталъ задыхаться. Его приподняли на подушки и онъ, поддерживаемый нами, сидѣлъ, свѣсивъ ноги съ кровати.

— Тяжело дышать, — хрипло, съ трудомъ проговорилъ онъ.

Всеихъ разбудили. Доктора давали ему дышать кислородомъ и предложили дѣлать впрыскиваніе морфія. Отецъ не согласился.

— Нѣтъ, не надо, не хочу, — сказалъ онъ.

Посоветовавшись между собой, доктора рѣшили впрыснуть камфору для того, чтобы поднять дѣятельность ослабѣвшаго сердца.

Когда хотѣли сдѣлать уколь, отецъ отдернулъ руку. Ему сказали, что это не морфій, а камфора, и онъ согласился.

Послѣ впрыскиванія отцу какъ будто стало лучше. Онъ позвалъ Сережу.

— Сережа!

И когда Сережа подошелъ, сказалъ:

— Истина... Я люблю много... Какъ они...

Это были его послѣднія слова. Но тогда намъ казалось, что опасность миновала. Всѣ успокоились и снова разсѣлись спать и около него остались одни дежурные.

Всѣ эти дни я не раздѣвалась и почти не спала, но тутъ мнѣ такъ захотѣлось спать, что я не могла себя пере-силить. Я легла на диванъ и тотчасъ же заснула, какъ убитая.

Меня разбудили около одиннадцати. Собрались всѣ. Отцу опять стало плохо. Сначала онъ стоналъ, метался, сердце почти не работало. Доктора впрыснули морфій, отецъ спалъ до четырехъ съ половиной утра. Доктора что-то еще дѣлали, что-то впрыскивали. Онъ лежалъ на спинѣ и часто и хрипло дышалъ. Выраженіе лица было строгое, серьезное, и какъ мнѣ показалось, чужое.

Онъ тихо умиралъ.

Говорили о томъ, что надо влустить Софію Андреевну.

Я подошла къ нему, онъ почти не дышалъ. Въ послѣдній разъ поцѣловала я его лицо, руки...

Ввели мать. Онъ уже былъ безъ сознанія. Я отошла и сѣла на диванъ. Почти всѣ, находившіеся въ комнатѣ, глухо рыдали, мать что-то говорила, причитала. Ее просили замолчать. Еще одинъ, послѣдній вздохъ... Въ комнатѣ мертвая тишина. Вдругъ Щуровскій что-то сказалъ громкимъ, рѣзкимъ голосомъ, моя мать отвѣтила ему, и всѣ громко заговорили.

Я поняла, что онъ уже не слышитъ...

Александра Толстая.

## Живое о живомъ

11-го августа — въ Коктебелѣ — въ 12 ч. пополудни — скончался поэтъ Максимилианъ Волошинъ.

Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было, послѣ естественнаго удара смерти — удовлетворенность: въ полдень: въ свой часъ.

Жизни ли? Не знаю. Поэту всегда пора и всегда рано умирать, и съ возрастными годами жизни онъ связанъ меньше, чѣмъ съ временами года и часами дня. Но, во всякомъ случаѣ, въ свой часъ сутокъ и природы. Въ полдень, когда солнце въ самомъ зенитѣ, т. е. на самомъ теменѣ, въ часъ, когда тѣнь побѣждена тѣломъ, а тѣло растворено въ тѣлѣ міра — въ свой часъ, въ волошинскій часъ.

И достовѣрно — въ свой любимый часъ природы, ибо 11 августа (по новому, т. е. по старому конецъ іюля), — явно полдень года, самое сердце лѣта.

И достовѣрно въ самый свой часъ Коктебеля, изъ всѣхъ своихъ безсчетныхъ обликовъ запечатлѣвающагося въ насъ въ обликѣ того солнца, которое какъ Богъ глядитъ на тебя неустанно и на которое глядѣть нельзя.

Эта печать коктебельскаго полдневаго солнца на лбу cadaго, кто когда-нибудь подставилъ ему лобъ. Солнца такого сильнаго, что загаръ отъ него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами, и такого добраго, что, не взирая на всѣ свои 50 градусовъ — отъ перваго дня до послѣдняго дня — десятилѣтіями позволяло поэту сей двойной символъ: высшей свободы отъ всего и высшаго уваженія: непокрытую голову. Какъ въ храмѣ.

Пишу и вижу: голова Зевеса на могучихъ плечахъ, а на дремучихъ, невѣроятнаго завива кудряхъ, узенькій полярный вѣночекъ, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацію, равно какъ его бѣлый парусиновый балахонъ, о которомъ такъ долго и жарко спорили (особенно дамы), есть ли или нѣтъ подъ нимъ штаны.

Парусина, полынь, сандалін — что чище и вѣчнѣе, и почему человѣкъ не въ правѣ предпочитать чистое (стирающееся, какъ парусина, и смѣняющееся, но неизмѣнное, какъ сандалін и полынь) — чистое и вѣчное — грязному (городскому) и случайному (модному)? И что убійственнѣе — городского и моднаго — на берегу моря, да еще такого моря, да еще на такомъ берегу! Моя формула одежды: то, что не красиво на вѣтру, есть уродливо. Волошинскій балахонъ и полынный вѣночекъ были хороши на вѣтру.

Итакъ, въ свой часъ — въ 12 часовъ пополудни, кста-ти, слово, которое онъ бы съ удовольствіемъ отмѣтилъ, ибо любилъ архаику и вѣсомость словъ, въ свой часъ сутокъ, природы и Коктебеля. Остается четвертое и главное; въ свой часъ сущности. Ибо сущность Волошина — полдневная, а полдень изъ всѣхъ часовъ сутокъ — самый тѣлесный, вещественный, съ тѣлами безъ тѣней и съ тѣлами, спящими безъ сновъ, а если ихъ и видящими — то одинъ сплошной сонъ земли. И, одновременно, самый магическій, миѳическій и мистическій часъ сутокъ, такой же маго-миѳо-мистическій, какъ полночь. Часъ Великаго Пана, *Démon de Midi* и нашего скромнаго русскаго полудѣннаго, о которомъ я въ дѣтствѣ, въ Калужской губерніи, своими ушами: — «Лѣнка, идемъ купаться!» — «Не пойду-у: полудѣнный утащитъ». Магія, миѳика и мистика самой земли, самого земнаго состава.

Таково и творчество Волошина, въ которомъ, по женски-геніально-непосредственному слову поэтессы Аделаиды Герцкы, меньше моря, чѣмъ материка, и больше береговъ, чѣмъ рѣки. Творчество Волошина — плотное, вѣсомое, почти-что творчество самой матеріи, съ силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той — мало насквозь прогрѣтой, — сожженной, сухой какъ кремень земли, по которой онъ такъ много ходилъ и подъ которой нынѣ лежитъ. Ибо этотъ грузный, почти баснословно-грузный человѣкъ («семь пудовъ мужской красоты», какъ онъ скромно оновѣщаль) былъ необычайный ходокъ, и жилистыя ноги въ сандаліяхъ носили его такъ же легко и заносили такъ же высоко, какъ козы ножки — козочекъ. Неутомимый ходокъ. Ненасытный ходокъ. Сколько разъ — онъ и я — по звенящимъ отъ засухи тропкамъ, или вовсе безъ тропокъ, по хребтамъ, въ самый полдень, съ непокрытыми головами, безъ палокъ,

безъ помощи рукъ, съ камнемъ во рту (говорять, отбиваетъ жажду, но жажду бесѣды онъ у насъ не отбивалъ), итакъ, съ камнемъ во рту, но несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совмѣстность — какъ только свидѣвшіеся друзья — въ непрерывности бесѣды и ходьбы — часами — лѣтами — все вверхъ, все вверхъ. Потъ лиль и высыхаль, нѣтъ, высыхаль, не успѣвъ пролиться, бесѣда не пересыхала — онъ былъ неутомимый собесѣдникъ, т. е. тотъ же ходокъ по дорогамъ мысли и слова. Рожденный пѣшеходъ И такой же лазунъ.

Не такимъ онъ мнѣ предсталъ впервые, въ дверяхъ залы нашего московскаго дома въ Трехпрудномъ, о, совсѣмъ не такимъ! Звонокъ. Открываю. На порогѣ цилиндръ. Изъ-подъ цилиндра безмѣрное лицо въ оправѣ выющейся недлинной бороды.

крадчивый голосъ: — Можно мнѣ видѣть Марину Цвѣтаеву? — Я. — А я — Максъ Волошинъ. Къ вамъ можно? — Очень!

Прошли наверхъ, въ дѣтскія комнаты. — Вы читали мою статью о васъ? — Нѣтъ. — Я такъ и думалъ и потому вамъ ее принесъ. Она уже мѣсяцъ, какъ появилась.

Помню имена: Марселина Дебордь-Вальморъ, Ларю-Мардрюсъ, Ноайль — вступленіе. Потомъ объ одной мнѣ — первая статья за жизнь (и, кажется, послѣдняя большая) о моей первой книгѣ «Вечерній альбомъ». Помню о романтикѣ сущности внѣ романтической традиціи — такую фразу: «Герцогъ Рейхштадскій, Княжна Джаваха, Маргарита Готье — герои очень юныхъ лѣтъ»... цитату:

Если думать — то гдѣ же игра?

и утверженіе: Цвѣтаева не думаетъ, она въ стихахъ — живетъ, и главный упоръ статьи, стихи «Молитва»:

Ты далъ мнѣ дѣтство лучше сказки,  
И дай мнѣ смерть — въ семнадцать лѣтъ!

Вся статья — самый беззабѣтный гимнъ женскому творчеству и семнадцатилѣтью.

— Она давно появилась, больше мѣсяца назадъ, неужели вамъ никто не сказалъ? — Я газетъ не читаю и никого не вижу. Мой отецъ до сихъ поръ не знаетъ, что я выпустила книгу. Можетъ быть знаетъ, но молчитъ. И въ гим-

нази молчать. — А вы — въ гимназiи? Да, вы вѣдь въ формѣ. А что вы дѣлаете въ гимназiи? — Пишу стихи.

Нѣкоторое молчанiе, смотритъ такъ пристально, что можно бы сказать, безсовѣстно, если бы не широкая, все ширѣющая улыбка явнаго расположенiя — явно располагающая.

— А вы всегда носите это..?

.. Чепецъ? Всегда, я бритая.

— Всегда бритая?

— Всегда.

— А нельзя ли было бы... это... снять, чтобы я могъ увидѣть форму вашей головы. Ничто такъ не даетъ человѣка, какъ форма его головы.

— Пожалуйста.

Но я еще руки поднять не успѣла, какъ онъ уже — осторожно — по мужски и по медвѣжьи, обѣими руками — снялъ.

— У васъ отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю...

Смотритъ взглядомъ ваятеля или даже рѣзчика по дереву — на чурбанъ — кстати, глаза точь-въ-точь какъ у Врублевскаго Пана: двѣ свѣтящiяся точки — и, просительно:

— А нельзя ли было бы ужъ заразъ снять и...

Я: — Очки?

Онъ, радостно: — Да, да, очки, потому что, знаете, ничто такъ не скрываетъ человѣка, какъ очки.

Я, на этотъ разъ опережая жестъ: — Но предупреждаю васъ, что я безъ очковъ ничего не вижу.

Онъ, спокойно: — Вамъ видѣть не надо, это мнѣ нужно видѣть.

Отступаетъ на шагъ и, созерцательно: — Вы удивительно похожи на римскаго семинариста. Вамъ, навѣрно, это часто говорятъ?

... Никогда, потому что никто не видѣлъ меня бритой.

— Но зачѣмъ же вы тогда брѣтаетесь?

— Чтобы носить чепецъ.

— И вы... вы всегда будете бриться?

— Всегда.

Онъ, съ негодованiемъ: — И неужели никто никогда не полюбопытствовалъ узнать, какая у васъ голова? Голова, вѣдь это — у поэта — главное!.. А теперь, давайте бесѣдовать.

И вотъ бесѣда — о томъ, что пишу, какъ пишу, что люблю, какъ люблю — полная отдача другому, вниманіе, проникновеніе, глазъ не сводя съ лица и души другого — и какихъ глазъ: свѣтлыхъ почти до-бѣла, острыхъ почти до боли (такъ слезы выступаютъ, когда глядишь на сильный свѣтъ, только здѣсь свѣтъ глядитъ на тебя), не глазъ, а сверль, глазъ дѣйствительно — прозорливыхъ. И оттого, что не большихъ, только больше видящихъ — и видныхъ. Въѣшше же: двѣ капли морской воды, въ которой бы прожгли зрачекъ, за которой бы зажгли — что? ничего, такія брызги остаются на рукахъ, когда по ночному волошинскому саду несутся съ криками: скорѣй! скорѣй! море свѣтится! Не двѣ капли морской воды, а двѣ искры морского живого фосфора, двѣ капли живой воды.

Подъ дозоромъ этихъ глазъ я, тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь — личное, сплошь — лишнее: о Наполеонѣ, любимомъ съ дѣтства, о Наполеонѣ II, съ Ростановскаго Aiglon, о Саррѣ Бернарѣ, къ которой годъ назадъ сорвалась въ Парижъ, которой тамъ не застала и кромѣ которой тамъ все-таки ничего не видѣла, о томъ Парижѣ — съ N majuscule повсюду — съ заглавнымъ N на влобьяхъ зданій — о Его Парижѣ, о моемъ Парижѣ.

Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушаетъ, изрѣдка, въ перерывы моего дыханія, вставляя:

— А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо — вы знаете? — Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и Наполеона II-го — и какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти съ Первымъ на Св. Елену и съ Вторымъ въ Шенбруннъ.

Наконецъ въ секунду, когда я совсѣмъ захлебнулась:

— Вы здѣсь живете? — Да, т. е. не здѣсь, конечно, а... — Я понимаю: въ Шенбруннѣ. И на Св. Еленѣ. Но я спрашиваю: это ваша комната? — Это — дѣтская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя сестра — Ася.

— Я бы хотѣлъ посмотреть вашу.

Провожу. Комната съ каюту, по красному полю золотыя звѣзды (мой выборъ обоевъ: хотѣлось съ наполеоновскими пчелами, но такъ какъ въ Москвѣ таковыхъ не оказалось, примирилась на звѣздахъ) — звѣздахъ, къ счастью, почти сплошь скрытыхъ портретами Отца и Сына — Жерара, Давида, Гро, Лавренса, Мейсонье, Вере-

шагина — вплоть до кіота, въ которомъ Богоматерь за-  
ставлена Наполеономъ, глядящимъ на горящую Москву.  
Узенькій диванъ, къ которому вплотную письменный  
столъ. И все.

Максъ, даже не попробовавшій протиснуться:

— Какъ здѣсь — тѣсно!

Кстати, особенность его толщины, вошедшей въ по-  
говорку. Никогда не ощущала ее избыткомъ жира, все-  
гда — избыткомъ жизни, какъ оно и было, ибо онъ ее  
легко носилъ (хочется сказать: она то его и носила!) и  
съ своими семью пудами никогда не возбуждалъ смѣха,  
всегда серьезныя чувства, какъ въ женщинахъ любовь, въ  
мужчинахъ — дружбу, въ тѣхъ и другихъ — ифкій свя-  
щенный трепеть, никогда не дававшій сходить съ нимъ  
окончательно, вплотную, великій барьеръ божественнаго  
уваженія, т. е. его божественнаго происхожденія, данный  
еще и физически, въ видѣ его чуднаго котоваго живота.

— Какъ здѣсь тѣсно!

Дѣйствительно, не только все пространство, несущее-  
ствующее, а весь воздухъ вытѣсненъ его зевесовымъ яв-  
леніемъ. Одной бы его головы хватило, чтобы ничему не  
умѣститься. Такъ какъ сѣсть, т. е. пролѣзть, ему невоз-  
можно, бесѣдуемъ стоя.

Вкрадчивый голосъ: А Франси Жамма вы никогда не  
читали? А Клоделя вы..

Въ отвѣтъ самоутверждаюсь, т. е. утверждаю свою лю-  
бовь къ совсѣмъ не Франси Жамму и Клоделю, а — къ  
Ростану, къ Ростану, къ Ростану.

*Et maintenant il faut que Ton Altesse dorme...*

-- Вы понимаете? Ton (любовь) — и все-таки Altesse!

*Ame pour qui la mort fut une guérison...*

— А для кого — не?

*Dorme dans le tombeau de sa double prison,  
De son cercueil de bronze et de son uniforme...*

-- Вы понимаете, что Римскаго короля похоро-  
нили въ австрійскомъ!

Слушасть истоиво, теперь вижу, что меня, а не Роста-  
на, мое семнадцатилѣтіе во всей чистотѣ его самосоже-  
нія — не оспаривасть — только отъ времени до времени  
— робко — А Апри до Ренье вы не читали — «La double  
maîtresse?» А Стѣфана Маллармэ Вы не...

И внезапно — au beau milieu Victor Hugo'ской оды Наполеону II — уже не вкрадчиво, а срочно:

— А нельзя ли будетъ пойти куда-нибудь въ другое мѣсто?

— Можно, конечно, внизъ тогда, но тамъ семь граду-совъ и больше не бываетъ.

Онъ, уже совсѣмъ сдавленнымъ голосомъ: — У меня астма и я совсѣмъ не переношу низкихъ потолковъ, — знате.., задыхаюсь.

Осторожно свожу по узкой мезонинной лѣстницѣ. Въ залѣ — совсѣмъ пустой и ледяной — вздыхаетъ всей душой и тѣломъ, и съ ласковой улыбкой, нѣжнѣйше: — У меня какъ то въ глазахъ зарябило — отъ звѣздъ.

Кабинетъ отца съ бюстомъ Зевеса на вышкѣ шкафа.

Сидимъ, онъ на диванѣ, я на валикѣ (я — выше), гадаемъ, т. е. глядимъ: онъ мнѣ въ ладонь, я ему въ темя, въ самый темянной водоворотъ: волосоворотъ. Изъ гаданія, не служака, помню только одно:

— Когда вы любите человѣка, вамъ всегда хочется, чтобы онъ ушелъ, чтобы о немъ помечтать. Ушелъ по-дальше, чтобы помечтать подольше. Кстати, я долженъ идти, до свиданья, спасибо вамъ.

— Какъ? Уже?

— А вы знаете, сколько мы съ вами пробесѣдовали? Пять часовъ, я пришелъ въ два, а теперь семь. Я скорѣ опять приѣду.

Пустая передняя, скрипъ параднаго, скрипъ мостковъ подъ шагами, калитка...

Когда вы любите человѣка, вамъ всегда хочется, чтобы онъ ушелъ, чтобы о немъ помечтать.

Черезъ день письмо, открываю: стихи.

Къ вамъ душа такъ радостно влекома!  
 О какая вѣсть благодать  
 Отъ страницъ Вечерняго Альбома!  
 (Почему альбомъ, а не тетрадь?).  
 Отчего скрываетъ челнокъ черный  
 Чистый лобъ, а на глазахъ очки?  
 Я отмѣтилъ только взглядъ покорный

И младенческой овалъ щеки.  
 Я лежу сегодня — невралгія,  
 Боль, какъ тихая віолончель...  
 Вашихъ словъ касанія благія  
 И стихи, крылатый взмахъ качель,  
 Убаюкиваютъ боль: скитальцы,  
 Мы живемъ для трепета тоски...  
 Чьи прохладно-ласковые пальцы  
 Въ темнотѣ мнѣ трогаютъ виски?  
 Ваша книга — это вѣсть оттуда,  
 Утренняя благостная вѣсть.  
 Я давно ужъ не пріемлю чуда,  
 Но какъ сладко видѣть: чудо — есть!.

Разрываясь отъ носторга (первые хорошіе стихи за жизнь, посвящали много, но плохіе) и только съ большимъ трудомъ забирая въ себя улыбку, — домашнимъ, конечно, ни слова! — къ концу дня иду къ своей единственной пріятельницѣ, старшей меня на двадцать лѣтъ, и которой я уже, естественно, рассказала первую встрѣчу. Еще въ передней молча протягиваю стихи.

Читаетъ: — «Къ вамъ душа такъ радостно влекома — О какая вѣсть благодать — Отъ страницъ Вечернаго Альбома — Почему альбомъ, а не тетрадь?»

Прерывая: Почему — альбомъ? На это вы ему отвѣтите, что въ тетрадку вы пишете въ гимназій, а въ альбомъ — дома. У насъ въ Смольномъ у всѣхъ были альбомы для стиховъ.

— Почему скрываетъ чепчикъ черный  
 Чистый добъ, а на глазахъ — очки?

А, вотъ видите, онъ тоже замѣтилъ и, дѣйствительно, странно: такая молодая дѣвушка и, вдругъ — въ чепцѣ! (Впрочемъ, бритая была бы еще хуже!). И эти ужасные очки! Я всегда вамъ говорила... — «Я отмѣтилъ только взглядъ покорный и младенческой овалъ щеки». — А вотъ это очень хорошо! Младенческой! То-есть на рѣдкость младенческой! — «Я лежу сегодня — невралгія — Боль какъ тихая віолончель — Вашихъ словъ касанія благія — И стихи, крылатый взмахъ качель — Убаюкиваютъ боль. Скитальцы, — Мы живемъ для трепета тоски...» — Да! Вотъ именно для трепета тоски! (И вдругъ, отъ слога

къ слогу все болѣе и болѣе омрачѣвая и на послѣднемъ, какъ туча):

— Чьи прохладно-ласковые пальцы  
Въ темнотѣ мнѣ трогаютъ виски?

— Ну вотъ видите — пальцы... Фу, какая гадость! Я говорю вамъ: онъ просто пользуется, что вашего отца нѣтъ дома... Это всегда такъ начинается: пальцы.. Мой другъ, верните ему это письмо съ подчеркнутыми строками и припишите: «Я изъ порядочнаго дома и вообще»... Онъ все-таки долженъ знать, что вы дочь вашего отца... Вотъ что значить расти безъ матери! А вы (заминка) можете-быть, дѣйствительно, отъ избытка чувствъ, въ полной невинности, погладдили его... по... виску? Предупреждаю васъ, что они этого совсѣмъ не понимаютъ, совсѣмъ не такъ понимаютъ.

— Но — во-первыхъ, я его не гладила, а, во-вторыхъ — если бы даже — онъ поэтъ!

— Тѣмъ хуже. Въ меня тоже былъ влюбленъ одинъ поэтъ, такъ его пришлось — Юлію Сергѣевичу — сбросить съ лѣстницы.

Такъ и ушла съ этимъ несуетнымъ видѣніемъ будущаго: массивнаго Максимилиана Волошина, летящаго съ нашей узкой мезонинной лѣстницы — къ намъ же въ залу.

Дальше — хуже. То-есть черезъ день: бандероль, вскрываю: Henri de Régnier, «Les rencontres de Monsieur de Bréot».

Восемнадцатый вѣкъ. Приличный господинъ, по превращающійся, временами, въ фавна. Праздникъ въ его замкѣ. Двѣ дамы — маркизы, конечно, — гуляющія по многолюдному саду и ищущія уединенія. Гротъ. Тутъ выясняется, что маркизы искали уединенія вовсе не для души, а потому что съ утра не переставая пьютъ лимонадъ. Стало быть — уединяются. Поднимаютъ глаза: у входа въ гротъ, заслоняя солнце и выходя, огромный фавнъ, т. е. тотъ самый Monsieur de Bréot.

Въ негодованіи захопываю книгу. Эту — дрянъ, эту — мерзость — мнѣ? Съ книгой въ рукахъ и съ несызъянимъ чувствомъ брезгливости къ этимъ рукамъ за то, что такую дрянъ держатъ, иду къ своей пріятельницѣ, и ввсжу ее непосредственно въ гротъ. Вскрываетъ, вѣрнѣй выскакиваетъ, какъ оженная.

— Милый другъ, это просто — порнографія! (Пауза). За это, собственно, слѣдовало бы сослать въ Сибирь, а этого... поэта во всякомъ случаѣ, ни въ коемъ случаѣ, не пускайте черезъ порогъ! (Пауза). Нечего сказать — маркизы! Вы видите, какъ я была права! Милый другъ, выбросьте эту ужасную книгу, а самого его, съ этими (брезгливо) холодными висками... — спустите съ лѣстницы! Я вамъ говорю, какъ мать, и это же бы вамъ сказалъ вашъ отецъ — если бы зналъ... Бѣдный Иванъ Владиміровичъ!

Тотчасъ же садитесь и пишите: Милостивый Государь — нѣтъ, какой же онъ государь! — просто безъ обращенія: Москва, число. — Послѣ происшедшаго между нами — нѣтъ, не надо между нами, а то онъ еще будетъ хвастаться — тогда такъ: Ставлю васъ въ извѣстность, что послѣ нанесеннаго мнѣ оскорбленія въ видѣ присланнаго мнѣ порнографическаго французскаго романа, вы навсегда лишились права преступить порогъ моего дома. Подпись, Все.

— По моему — слишкомъ торжественно. Онъ будетъ смѣяться. И я совсѣмъ не хочу, чтобы онъ больше ко мнѣ никогда не пришелъ.

— Ну, какъ знаете, но предупреждаю васъ, что: тѣ стихи, эта книга — а третье будетъ... словомъ онъ поведетъ себя какъ тотъ Monsieur — какъ его? — въ томъ... нечего сказать! — гротъ.

Мое письмо вышло проще, но не кротче. «Совершенно не понимаю, какъ вы, зная книги, которыя я люблю, рѣшились прислать мнѣ такую мерзость, которую вамъ тутъ же, безъ благодарности, возвращаю».

На слѣдующій день — явленіе самого Макса, съ большимъ пакетомъ подмышкой.

— Вы очень на меня сердитесь?

— Да, я очень на васъ сердилась.

— Я не зналъ, что вамъ не понравится, вѣрнѣе, я не зналъ, что вамъ понравится, вѣрнѣе, я такъ и зналъ, что вамъ не понравится — а теперь я знаю, что вамъ понравится.

И книга за книгой — всѣ пять томовъ Жозефа Балзама Дюма, котораго, прибавлю, люблю по нынѣшній день, а перечитывала всего только прошлой зимой — всѣ пять томовъ, ни страницы не пропустивъ. На этотъ разъ Максъ зналъ, что мнѣ понравится.

Чтобы не оставлять ни тѣни на безупречномъ другѣ столькихъ женскихъ душъ и безкорыстномъ созерцателѣ, а когда и строителѣ столькихъ судебъ, чтобы не оставлять ни пятнышка на томъ солнцѣ, которымъ былъ и есть для меня Максъ, установлю, что вопреки опасеніямъ моей заботливой и опытной въ поэтахъ пріятельницы — здѣсь и тѣни не было «развращенія малолѣтнихъ». Дѣло несравненно проще и чище. Максъ всегда былъ подѣ ударомъ какого-нибудь писателя, съ которымъ ужъ тогда, живымъ или мертвымъ, ни на мигъ не разставался, и котораго внушалъ — всѣмъ. Въ данный часъ его жизни этимъ живымъ или мертвымъ былъ Анри де Ренье, котораго онъ мнѣ съ первой встрѣчи и подарилъ — какъ самое дорогое, очередное самое дорогое. Не вышло. Почти что наоборотъ — вышло. Не только я ни романовъ Анри де Ренье, ни драмъ Клоделя, ни стиховъ Франси Жамма тогда не приняла, а пришлось ему, на двадцатилѣтіе старшему, матѣрому, бывалому, проваливаться со мной въ безсмертное младенчество одѣ Викторъ Гюго и въ мое брѣнное собственное, и бродить со мною рука объ руку по пяти томамъ Бальзамо, шести Мизераблей и еще шести Консуэлы и Графини Рудольштадтъ Жоржъ Зандѣ. Что онъ и дѣлалъ — съ неизбывнымъ терпѣніемъ и выносливостью, и съ только, иногда, очень тяжелыми вздохами, какъ только собаки и очень тучные люди вздыхаютъ: вздохомъ всего тѣла и всей души. Первое недоразумѣніе оказалось послѣднимъ, ибо первый же томъ Мемуаровъ Казановы, съ первой же открывшейся страницы, былъ ему возвращенъ безъ всякой обиды, а просто: Спасибо: гроты, вродѣ твоего маркиза, возьми, пожалуйста, — въ чемъ меня очень поддержала мать Максимилиана Волошина, Елена Оттобальдовна.

— Въ семнадцать лѣтъ — Мемуары Казановы. Максъ, ты просто дуракъ! — Но, мама, эпоха та же, что въ Жозеффѣ Бальзамо и въ Консуэлѣ, которые ей такъ нравятся... Мнѣ казалось... — Тебѣ казалось, а ей не показалось. Ни одной порядочной дѣвушкѣ въ семнадцать лѣтъ не могутъ показаться Мемуары Казановы! — Но самъ Казанова, мама, нравился каждой семнадцатилѣтней дѣвушкѣ! — Дурамъ, а Марина умная, итальянкамъ, а Марина — русская. А теперь, Максъ, точка.

Каждая встрѣча начинается съ оцупи, люди идутъ въ слѣпую и нѣтъ, по мнѣ, худшихъ временъ — любви, дру-

жбы, брака, — чѣмъ пресловутыхъ первыхъ временъ. Не худшихъ временъ, а болѣе трудныхъ временъ, болѣе смутныхъ временъ.

Очередной подарокъ Макса, кромѣ Консуэлы, Жозефа Бальзамо и Мизераблей — не забыть восхитительной женской книги «Трагическій Звѣринецъ» и прекраснаго Аксёля — былъ подарокъ мнѣ жиной героини и живого поэта, героини собственной поэмы: поэтессы Черубины де Габриакъ. Знаю, что многіе это имя знаютъ, для тѣхъ же, кто не знаетъ, въ двухъ словахъ:

Жила-была молодая дѣвушка, скромная школьная учительница, Елизавета Ивановна Димитріева, съ маленькимъ физическимъ дефектомъ — поскольку помню — хромала. Изъ ея преподавательской жизни знаю одинъ только случай, а именно вопросъ школьникамъ попечителя Округа:

— Ну кто же, дѣти, вашъ любимый русскій царь?

и единогласный отвѣтъ школьниковъ:

— Гришка Отрепьевъ!

Въ этой молодой школьной дѣвушкѣ, которая хромала, жилъ нескромный, нешкольный, жестокий даръ, который не только не хромалъ, а, какъ Пегасъ, земли не зная. Жилъ внутри, одинъ, сжирая и сжигая. Максимилианъ Волошинъ этому дару далъ землю, т. е. поприще, этой безымянной — имя, этой обездоленной — судьбу. Какъ онъ это сдѣлалъ? Прежде всего онъ понялъ, что школьная учительница такая то и ея стихи — кони, плащи, шпаги, — не совпадаютъ и не совпадутъ никогда. Что боги, давшіе ей ея сущность, дали ей этой сущности обратное — виѣшность: лица и жизни. Что здѣсь, передъ лицомъ его — всегда трагическій, здѣсь же катастрофическій союзъ души и тѣла. Не союзъ, а разрывъ. Разрывъ, котораго она не можетъ не сознавать и отъ котораго она не можетъ не страдать, какъ непрерывно страдали: Джорджъ Эллиотъ, Шарлотта Бронтѣ, Жюли де Леспинасъ, Мери Веббъ и другія, и другія некрасивыя любимицы боговъ. Некрасивость лица и жизни, которая не можетъ не мѣшать ей въ дарѣ: въ свободномъ самораскрытіи души. Очная ставка двухъ зеркалъ: тетради, гдѣ ея душа, и зеркала, гдѣ ея лицо и лицо ея быта: Тетради, гдѣ она похожа, и зеркала, гдѣ она не похожа. Жестокий самосудъ ума, сводящійся къ двумъ раскрытымъ глазамъ. Я такую себя не могу любить, я съ такой собой — не могу жить. Э та — не я.

Это о Елизаветѣ Ивановнѣ Димитріевой между двухъ зеркалъ: настольнымъ и настѣннымъ, Елизавета Ивановна Димитріева на смерть обиженная бы — даже на островѣ, безъ одного человѣка, Елизавета Ивановна Димитріева наединѣ съ самой собой.

Но есть еще Елизавета Ивановна Димитріева — съ людьми. Максимиліанъ Волошинъ зналъ людей, т. е. зналъ всю ихъ беспощадность, ту — людскую — и, особенно, мужскую — ничѣмъ не оправданную требовательность, ту жесточайшую несправедность, не ищущую въ красавицѣ души, но съ умницы непремѣнно требующую красоты, — умные и глупые, старые и молодые, красивые и уроды, но ничего не требующіе отъ женщины, кромѣ красоты. Красоты же — непременно. Любятъ красивыхъ, некрасивыхъ — не любятъ. Таковъ законъ въ послѣдней самоѣдской юртѣ, за которой непосредственно полюсь, и въ эстетской пріемной петербургскаго Аполлона. Руку на сердце положи — можетъ школьная скромная, хромая, можетъ Е. И. Д. оплатить по счету свои стихи? Можетъ Е. И. Д. надѣяться на любовь, которую не можетъ не вызвать ея душа и даръ. Стали бы, любя ея ту, любить такую? На это отвѣчу: да. Женщины и большіе, совсѣмъ большіе поэты, да и то — большіе поэты! — вспомнимъ Пушкина, любившаго неодушевленный предметъ — Гончарову. Стало-быть, только женщины. Но думаетъ ли молодая дѣвушка о женской дружбѣ, когда думаетъ о любви, и думаетъ ли молодая дѣвушка о чемъ-либо другомъ, кромѣ любви? Такая дѣвушка, съ такими стихами...

Слѣдовательно, надежды на любовь къ ней въ этомъ ея тѣлѣ — нѣтъ, больше скажу: это ея физическое явленіе равняется безнадежности на любовь. Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, т. е. влюбись въ нихъ, т. е. въ нее, весь Аполлонъ — и прійди она завтра въ редакцію Аполлона самолично — такая, какъ есть, прихрамывая, въ шапочкѣ, съ муфточкой — весь Аполлонъ почувствуетъ себя обокраденнымъ, и мало разлюбитъ, ея возненавидитъ весь Аполлонъ. Отъ оскорбленнаго: «а я-то ждалъ, что»... до снисходительнаго: «какъ жаль, что»... Ни этого «ждалъ», ни «жаль» Е. И. Д. не должна прослышать.

Какъ же быть? Во-первыхъ и въ главныхъ: дать ей самой передъ собой быть, и быть цѣликомъ. Освободить ее отъ этого средняго тѣла. — физического и бытового, — дать другое тѣло: ея. Дать ей быть ею! Той самой, что

въ стихахъ, душѣ дать другую плоть, дать ей тѣло этой души. Какое же у этой души должно быть тѣло? Кто, какая женщина должна по существу писать эти стихи, по существу эти стихи писала?

Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, о, несмѣтно богатая, явно (Байронъ въ женскомъ обличіи, но даже безъ хромоты), т. е. внѣшне счастливая, явно, чтобы въ полной безкорыстности и чистотѣ быть несчастной по своему. Роскошь чисто-внутренней, чисто-позтовой несчастности — красотѣ, богатству, дару вопреки. Торжество самой субстанции поэта: вопреки всему, черезъ все, ни изъ-за чего — несчастности. И главное забыла: свободная — явно: отъ страха своего отраженія въ зеркалѣ пріемной Аполлона и въ глазахъ его редакторовъ.

Какъ же ее будутъ звать? Черубина роддалась въ Коктебелѣ, гдѣ тогда гостила Е. И. Д. Однажды, годъ спустя, держу у Макса на башнѣ какой-то окаменѣлый корень, принесенный приливомъ, оставленный отливомъ. — А это, что у тебя сейчасъ въ рукахъ, это — Габріакъ. Его на песокъ, прямо изъ волны, взяла Черубина. И мы сразу поняли, что это — Габріакъ. — А Габріакъ — что? — Да тотъ самый корень, что ты держишь. По нему и стала зваться Черубина. — А Черубина откуда? — Керубина, т. е. женское отъ Херувимъ, только мы К замѣнили Ч, чтобы не совсѣмъ отъ Херувима. Я, впадая: — Понимаю. Отъ чернаго Херувима.

Итакъ, Черубина де Габріакъ. Француженка съ итальянскимъ именемъ, либо итальянка съ французской фамиліей. Единственная дочь, живетъ въ строгой семьѣ, гдѣ и не пытаются выслѣдить — не выслѣдятъ никогда, если пишутъ — то ужъ, конечно, не печатаютъ. Гонорара никакого не нужно. Въ Аполлонъ никогда не прійдетъ. Пусть и не пытаются выслѣдить — не выслѣдятъ никогда, если же выслѣдятъ — бѣда и ей и имъ. Единственная достовѣрность: по воскресеньямъ бываетъ въ костелѣ, но невидима, ибо поетъ въ хорѣ. Все.

Какъ же все это — Аполлону, т. е. людямъ, т. е. всему внѣшнему міру, внушить? Какъ вообще вещи внушаютъ: въ нее повѣривъ. Какъ въ себя такую повѣрить? Заставить другихъ повѣрить. Кругъ. И въ этомъ кругѣ, благомъ на этотъ разъ, постепенное превращеніе Е. И. Д. въ Черубину де Габріакъ. Написала, — повѣрила уже буквамъ новаго почерка — виду буквъ и смыслу словъ повѣ-

рилъ адресать - отвѣту адресата, т. е. вѣрѣ адресата -- многоликаго адресата, единству вѣры многихъ — повѣрила Е. И. Д. и въ какую то секунду -- полное превращеніе Е. И. Д. въ Ч. де Г.

— Начнемте, Елизавета Ивановна? --- Начнемте, Максимилианъ Александровичъ!

Въ редакцію Аполлона пришло письмо. Острый отвѣсный почеркъ. Стихи. Женскіе. Въ листкѣ заложень не цвѣтокъ, пахучій листокъ, въ бумажномъ листкѣ — древесный листокъ. Адресъ «До востребованія Ч. де Г.».

Въ редакцію Аполлона черезъ нѣсколько дней пришло другое письмо — опять со стихами, и такъ продолжали приходить, нереложенные то листкомъ маслинн, то тамариска, а редакторы и сотрудники Аполлона — какъ начали, такъ и продолжали ходить какъ безумные, влюбленные въ даръ, въ почеркъ, въ имя — незнакомой, скрывшей лицо.

Гдѣ-то въ Петербургѣ, черезъ ровъ рода, богатства, католичества, дѣвчества, генія, въ неприступномъ, какъ крѣпость, но достовѣрномъ — стоитъ же гдѣ-то! — особнякъ живетъ дѣвушка. Эта дѣвушка присылаетъ стихи, ей отвѣчаютъ цвѣтами, эта дѣвушка по воскресеньямъ поетъ въ костелѣ — ее слушаютъ. Увидѣть ее нельзя, но не увидѣть ее — умереть.

И вотъ началась эпоха Черубини де Габриакъ.

Влюбился весь Аполлонъ — именъ не надо, ибо носители иныхъ уже подъ землей — будемъ брать Аполлонъ какъ единство, каковымъ онъ и былъ — пересталъ спать весь Аполлонъ, сталъ жить отъ письма къ письму весь Аполлонъ, захотѣлъ увидѣть весь Аполлонъ. Ихъ было много, она — одна. Они хотѣли видѣть, она — скрыться. И вотъ — увидѣли, т. е. выслѣдили, т. е. изобличили. Какъ лунатика — окликнули и окликомъ сбросили съ башни ея собственнаго Черубининаго замка — на мостовую прежняго быта, о которую разбилась вдребезги.

— Елизавета Ивановна Димитріева — Вы? — Я.

Одно имя назову --- Сергѣя Маковскаго, поведшаго себя, по словамъ М. Волошина, безупречнымъ рыцаремъ, т. е. не только не удивившагося ей, такой, а сумѣвшаго убѣдить ее, что все давно зналъ, а если не показывалъ, то только затѣмъ, чтобы дать ей, Е. И. Д., самораскрыть себя въ Черубинѣ до конца. За зтотъ кровный жестъ — Сергѣю Маковскому спасибо.

Это былъ конецъ Черубины. Больше она не писала. Можетъ-быть писала, но больше ее никто не читалъ, больше ее голоса никто не слышалъ. Но знаю, что ее дружбѣ съ М. В. конца не было. Изъ стиховъ ея помню только уцѣлѣвшія за двадцатилѣтне жизни и памяти — строки:

Въ небѣ вьется красный плащъ, —  
Я лица не увидала!

и еще:

Даже Ронсара сонеты  
Не разомкнули мнѣ грусть.  
Все, что сказали поэты,  
Знаю давно наизусть!

И — въ отвѣтъ на какой-то букетъ:

И ликъ безстыдныхъ орхидей  
Я ненавижу въ свѣтскихъ лицахъ!

— образъ Ахматовскій, ударъ — мой, стихи, написанные и до Ахматовой и до меня — до того правильно мое утверждение, что всѣ стихи, бывшіе, сущіе и будущіе, написаны одной женщиной — безымянной.

И послѣднее, что помню:

О, суждено ль, чтобъ я узнала  
Любовь и смерть въ тринадцать лѣтъ!

— магически и естественно перекликающееся съ моимъ:

Ты далъ мнѣ дѣтство лучше сказки  
И дай мнѣ смерть, — въ семнадцать лѣтъ!

Съ той разницей, что у нея суждено (смерть), а у меня — дай. Такъ же странно и естественно было, что Черубина, которой я подъ непосредственнымъ ударомъ ея судьбы и стиховъ, сразу послала свои, изъ всѣхъ нихъ, въ своемъ отвѣтномъ письмѣ, отвѣтила именно эти, именно эти двѣ строки. Помню узкій лиловый конвертъ съ острымъ почеркомъ и сильнымъ запахомъ духовъ, черубинины конвертъ и почеркъ, меня въ моей рожденной простотѣ скорѣе оттолкнувшіе, чѣмъ привлекшіе. Ибо я то, и трижды: какъ женщина, какъ поэтъ и какъ неэстетъ, любила не гордую иностранку въ хорахъ и на хо-

рахъ жизни, а именно школьную учительницу Димитріеву — съ душой Черубины. Но дѣло то вѣдь для Черубины было — не въ моей любви.

Черубина де Габріакъ умерла два года назадъ въ Туркестанѣ. Не знаю, зналъ ли о ея смерти Максъ.

---

Почему я такъ долго на этомъ случаѣ остановилась? Во-первыхъ, потому, что Черубина въ жизни Макса была не случаемъ, а событіемъ, т. е. онъ самъ на ней долго, навсегда остановился. Во-вторыхъ, чтобы дать Макса въ его истой сферѣ — женскихъ и поэтовыхъ душъ и судебъ. Максъ въ жизни женщинъ и поэтовъ былъ providentiel, когда же это, какъ въ случаѣ Черубины, Аделаиды Герцкы и моемъ, сливалось, когда женщина оказывалась поэтомъ, или, что вѣрнѣе, поэтъ — женщиной, его дружбѣ, бережности, терпѣнію, вниманію, поклоненію и сотворчеству не было конца. Это былъ прежде всего человѣкъ со-бытійный. Какъ вся его душа — прежде всего — существованіе, которое иные, не глубоко глядящіе, называли мозаикой, а любители ученыхъ терминовъ — эклектизмомъ.

То единство, въ которомъ было все, и то все, которое было единствомъ.

.....

---

Эта страсть М. В. къ мифотворчеству, была, сказалась и на мнѣ.

— Марина! Ты сама себя вредишь избыткомъ. Въ тебѣ матеріалъ десяти поэтовъ и всѣхъ замѣчательныхъ. А ты не хочешь (вкрадчиво) всѣ свои стихи о Россіи, напр., напечатать отъ лица какого-нибудь е го, ну хоть Пѣтухова? Ты увидишь (разгораясь), какъ ихъ черезъ десять дней вся Москва и весь Петербургъ будутъ знать наизусть. Брюсовъ напишетъ статью. Яблоновскій напишетъ статью. А я напишу предисловіе. И ты никогда (подымаетъ палецъ, глаза страшные), ни-ког-да не скажешь, что это ты. Марина (умоляюще), т. е. не понимаешь., какъ это будетъ чудесно! Тебя — Брюсовъ, напр., — будетъ колоть стихами Пѣтухова: «Вотъ, если бы г-жа Цвѣтаева, вмѣсто того, чтобы носить собственные зеленые глаза, обратилась

къ родимымъ зеленымъ полямъ, какъ г. Пѣтуховъ, которому тоже семнадцать лѣтъ...» Пѣтуховъ станетъ твоей *bête poigée*, Марина, тебя имъ замучать, Марина, и ты никогда — понимаешь? н и к о г д а! — уже не сможешь написать ничего о Россіи подъ своимъ именемъ, о Россіи будетъ писать только Пѣтуховъ. -- Марина! ты подъ конецъ возненавидишь Пѣтухова! А потомъ (совсѣмъ ужъ захлебнувшись) нѣтъ! зачѣмъ потомъ, сейчасъ же, одновременно съ Пѣтуховымъ мы создадимъ еще поэта, — поэтессу или поэта? — и поэтессу и поэта, это будутъ близнецы, поэтическіе близнецы, Крюковы, скажемъ, братъ и сестра. Мы создадимъ то, чего еще не было, т. е. гениальныхъ близнецовъ. Они будутъ писать твои романтическіе стихи.

— Максъ! — а мнѣ что останется?

— Тебѣ? — Все, Марина. Все, чѣмъ ты еще будешь!

Какъ умолялъ! Какъ обольщаль! Какъ соблазнительно расписывалъ анониматъ такой славы, славу такого анонимата!

— Ты будешь, какъ тотъ король, Марина, во владѣніяхъ котораго никогда не заходило солнце. Кромѣ тебя въ русской поэзіи никого не останется. Ты своими Пѣтуховыми и близнецами выживешь всѣхъ, Марина, и Ахматову, и Гумилева, и Кузмина...

— И тебя, Максъ!

— И меня, конечно. Отъ насъ ничего не останется. Ты будешь — всѣ, ты будешь — все. И (глаза бѣлые, шепотъ) тебя самой не останется. Ты будешь — тѣ.

Но Максимо мифотворчество роковымъ образомъ преткнулось о скалу моей нѣмецкой протестантской честности, губительной гордыни все, что пишу — подписывать. А хорошій былъ бы Пѣтуховъ поэтъ! А тѣхъ поэтическихъ близнецовъ по сей день оплакиваю.

\*

\*\*

Сосуществованіе поэта съ поэтомъ — равенство извѣстнаго съ безвѣстнымъ. Я сама тому живой примѣръ, ибо никто никогда съ такой благоговѣйной бережностью не относился къ моимъ такъ называемымъ зрѣлымъ стихамъ, какъ 36-лѣтній М. В. къ моимъ 16-лѣтнимъ. Такъ люди считаются только съ патентованнымъ, для

нихъ — изъ-за большинства голосовъ славы — несомнѣннымъ. Ни въ чемъ и никогда М. В. не далъ мнѣ почувствовать преимуществъ своего опыта, не говоря уже объ имени. Онъ меня любилъ и за мои промахи. Какъ всякаго, кто чѣмъ-то былъ. Ничего отъ мэтра (а времена были сильно мэтровыя!), все отъ спутника. Могу сказать, что онъ стихи любилъ совершенно такъ, какъ я, т. е. какъ если бы самъ ихъ никогда не писалъ, всей силой безнадежной любви къ недоступной силѣ. И, одновременно, всякій хороший стихъ слушалъ, какъ свой. Всякая хорошая страка была ему личнымъ даромъ, какъ любящему природу — солнечный лучъ. («Было, было, было», — а какъ это бывшее несравненно больше есть, чѣмъ суще! Какъ есть навсегда есть! Какъ бы вшаго — нѣтъ!). Помню одну только одну его поправку, попытку поправки — за весь толстый «Вечерній Альбомъ» въ самомъ началѣ знакомства:

«И мы со вздохомъ, въ темныхъ лапахъ  
Сожжемъ, тоскуя, корабли»...

— А вы не думаете, Марина (пауза, выжидательные глаза)... Ивановна, что это немножко трудно — и сложно — сжигать корабли — въ темныхъ лапахъ? что для этого — въ лапахъ — какъ будто мало мѣста. Причемъ, несомнѣнно, въ медвѣжьихъ, т. е. очень сильныхъ лапахъ, которыя сильно жмутъ. Въдь корабли, какъ будто, принято сжигать на морѣ, а здѣсь — медвѣжьи лапы — явно — лѣсь, дремучій. Трудно же предположить, что медвѣдь расположился съ вами на берегу моря, на которомъ — тутъ же — горятъ ваши корабли.

Такъ это у меня и осталось въ памяти: коктебельскій пустынный берегъ, на немъ медвѣдь, т. е. Максъ, со мною, а тутъ же у берега, чтобы удобнѣе, цѣлая флотилія кораблей, которые горятъ.

.....

Максина книга стиховъ. Вижу ее, тутъ же отданную въ ярко-красный переплетъ, въ одинъ томъ — въ одинъ домъ — со стихами Аделаиды Горцыкъ.

Не царевичъ я, похожій  
На него — я былъ иной.

Ты вѣдь знаешь, я — прохожій,  
Близкій всѣмъ, всему чужой.

Мы другъ друга не забудемъ  
И, цѣлуя дольний прахъ,  
Понесу я сказку людямъ  
О царевнѣ Таіахъ.

Эти стихи я слушала двойною болью: оставленной и уходящаго, мнѣ, еще третьей болью: оставшейся въ стонѣ: не мнѣ! А эту царевну Таіахъ воочію вскорѣ увидѣла въ мастерской Макса въ Коктебелѣ: огромное каменное египетское улыбающееся женское лицо, въ память котораго и была названа та, мнѣ неизвѣстная, любимая и оставленная земная женщина.

Я сказала, что стихи Макса я переплела со стихами А. Герцыкъ. Сказать о ней — мой отдѣльный живой долгъ, ибо она въ моей жизни такое же событіе, какъ Максъ, а я въ ея жизни событіе можетъ быть большее, чѣмъ въ жизни Макса. Пока же:

Одно изъ жизненныхъ призваній Макса было сводить людей, творить встрѣчи и судьбы. Безкорыстно, ибо случилось, что двое, имъ сведенные, скоро и надолго забывали его. Къ его собственному опредѣленію себя какъ коробейника идей, могу прибавить и коробейника друзей. Убѣдившись сейчасъ, за жизнь, какъ люди на дружески скупы (почти какъ на деньги: убудетъ! мнѣ меньше останется!), насколько все и всѣхъ хотятъ для себя, ничего для другого, насколько страхъ потерять въ людяхъ сильнѣе радости дать, не могу не настаивать на этомъ рожденномъ Максиномъ свойствѣ: щедрости на самое дорогое, прямо обратной ревности. Люди, какъ Плюшкинъ ржавый гвоздь, и самаго завалящаго знакомаго отъ глазъ берегутъ — а вдругъ въ хозяйствѣ пригодится? Да, ревности въ немъ не было никакой — никогда, кромѣ рвенія къ богатству ближняго — бывшаго всегда. Онъ такъ же давалъ, какъ другіе берутъ. Съ жадностью. Давалъ, какъ отдавалъ. Онъ и свой коктельбелскій домъ, такимъ трудомъ добытый, такъ выколоченный, такой заслуженный, такой е го по духовному праву, кровный, внутренно-свой, какъ бы съ

нимъ сорожденный, похожій на него больше, чѣмъ его гипсовый слѣпокъ, — не ощущалъ своимъ, физически своимъ. Комнаты (по смѣхотворной цѣнѣ) сдала Елена Оттобальдовна. Максъ физически не могъ славать комнату друзьямъ. Еще меньше — чужимъ. Этотъ человекъ, никогда ни передъ кѣмъ ни за что ни въ чемъ не стѣснявшійся, въ человѣческихъ отношеніяхъ — плававшій, стоялъ передъ вами, какъ малый ребенокъ или какъ быкъ, опустивъ голову. — Марина! я правда не могу. Это невыносимо. Поговори съ мамой... Я... И топотъ убѣгающихъ сандалій по лѣстницѣ.

Зато море, степь, горы — три коктебельскихъ стихій и собирательную четвертую — пространство, онъ ощущалъ такъ своими, какъ никакой кламарскій рантье свой «павильонъ». Полюнь онъ произносилъ какъ: моя. А Карадагъ (название горы) просто какъ: я. Но одна физическая собственность, т. е. собственность, признанная и физически, у него была: книги. Здѣсь онъ былъ лютъ. И здѣсь, и единственно здѣсь — капризенъ, давалъ, что хотѣлъ, а не то, что хотѣлъ — ты. — Максъ, можно..? — Можно, Марина, только увѣрю, что тебѣ не понравится... Возьми лучше... — Нѣтъ, не не-понравится, а ты боишься, что слишкомъ понравится, и что я, какъ кончу, буду опять сначала, и такъ до конца лѣта. — Марина, увѣрю тебя, что... — Или что замажу въ черешняхъ. Максъ, я очень аккуратна. — Я знаю, и дѣло не въ томъ, а въ томъ, что тебѣ гораздо будетъ интереснѣй Капитанъ Фракассъ. — Но я не хочу Фракассъ, я хочу Жанлисъ. Максъ, милый Максъ, дорогой Максъ, Плюшкинъ-Максъ, вѣдь ты же ее сейчасъ не читаешь! — Но ты мнѣ обѣщася, что никому не дашь изъ рукъ, даже поддержать? Что ты вернешь ее мнѣ не позже какъ черезъ недѣлю, здѣсь же, изъ рукъ въ руки и въ томъ же видѣ... — Нѣтъ, на три секунды раньше, и на три страницы толще! Максъ, я ее удлинню!

Даваль, голубчикъ, но со вздохомъ, вздохомъ, который былъ еще слышенъ на послѣдней ступенькѣ лѣстницы. Даваль — всѣ, даваль — всѣмъ. Но сколько выпущенныхъ изъ рукъ книгъ — столько побѣдъ надъ этой, единственной изъ страстей собственничества для меня священной: страстью къ собственной книгѣ. Святая жадность.

Возвратимся къ Аделаидѣ Герцыкъ. Въ первую горячую голову нашего съ нимъ схождения, онъ живописалъ мнѣ ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любить мои стихи, ждетъ меня къ себѣ. Пришла и увидѣла — только неотразимую. Подружились страстно. Кстати, одна спечатка — и везло же на нихъ Максъ! Въ статьѣ обо мнѣ, говоря о моихъ старшихъ предшественницахъ: «древнія заплатки Аделаиды Герцыкъ...» — Но, М. А., я не совсѣмъ понимаю, почему у этой поэтессы — заплатки? И почему еще и древнія? Максъ, сіяя: А это не заплатки, это заплатки, женскія народныя пѣсни такія, отъ п л а ч а. А потомъ, А. Герцыкъ мнѣ, философски: — Милая, въ опечаткахъ иногда глубокая мудрость: каждые стихи, въ концѣ концовъ, — заплатка на прорѣхахъ жизни. Особенно — мои. Слава Богу еще, что древнія! Ничего вѣтъ плачевнѣе — новыхъ заплатъ!

И вотъ, можетъ-быть годъ спустя нашего съ А. Г. схождения, Максъ мнѣ: — Марина! (мы давно уже были на «ты»), а ты знаешь, что я тебя тогда Аделаидѣ Казиміровнѣ — подарилъ. — То-есть какъ? — Развѣ ты не знаешь (глубоко серьезно), что можно дарить людей — безъ ихъ вѣдома, и что это неизмѣнно удается, т. е. что тотъ, кого ты даришь, становится неотъемлемой духовной собственностью того, кому даришь. Но я тебя въ хорошія руки подарилъ.

— Максъ, а случайно — не продалъ?

Онъ совершенно серьезно: — Нѣтъ. А могъ бы. Потомъ что А. Г. очень жадна на души, она тебя у меня цѣлый вечеръ выпрашивала и очень многихъ предлагала взамѣнъ: и Булгакова и Бердяева и какую то переводчицу съ польскаго. Но они, во-первыхъ, мнѣ были ненужны, а, во-вторыхъ, я друзьямъ друзей только дарю... Въ концѣ вечера она тебя получила. Ты довольна?

Молчаніе. Онъ, заискивающе: — Я вѣдь зналъ, кому тебя дарю. Какъ породистаго щенка — въ хорошія руки.

— Максъ, а тебѣ не жаль?

— Нѣтъ. Мнѣ никогда не жаль и никогда не меньше (Пауза). — Марина, а тебѣ — жаль?

— Максъ, я теперь собака — другого садовника!

А какъ было жаль, какъ сердце сжалось — отъ такой свободы, своей отъ него, его отъ меня, его отъ всѣхъ. Хотя и расширилось радостью, что А. Г., которая мнѣ такъ

правилась, меня цѣлый вечеръ выпрашивала. Сжалось — расширилось — въ этомъ его, сердца, и жизнь.

При первомъ свиданіи съ Аделаидой Казиміровной: — А я теперь знаю, почему вы меня такъ особенно любите! Нѣтъ, нѣтъ, не за стихи, не за Германію, не за сходство съ собой — и за это, конечно, — но я говорю о с о б е н н о любите... — Говорите! — Потому что Максъ вамъ меня подарилъ. Не смотрите, пожалуйста, такими невинными глазами! Онъ мнѣ самъ рассказаль.

— Марина! (Молчать, переводя дыханіе.). — Марина! Максъ Александровичъ васъ мнѣ не подарилъ, онъ васъ мнѣ проигралъ.

— Что-о-о?

— Да, милая. Когда онъ мнѣ принесъ вашу книгу, я сразу обнаружила полное отсутствіе литературныхъ вліяній, а М. А. настаивалъ на необнаруженномъ. Мы цѣлый вечеръ проспорили и въ кониѣ держали пари: если М. А. въ теченіе мѣсяца этого вліянія не обнаружитъ, онъ мнѣ васъ проигрываетъ, какъ самую любимую вещь. Потому что онъ васъ очень любилъ, Марина, и еще любить, но только такъ и поскольку разрѣшаю я. Никакого вліянія, кромѣ Наполеона, который не есть вліяніе литературное, онъ обнаружить не могъ — потому что, я это сразу знала, никакого литературнаго вліянія и не было — и я васъ черезъ мѣсяць, день въ день, часъ въ часъ — получила. О, онъ очень старался васъ отстоять, т. е. вашего духовнаго отца изобличить, онъ даже пытался представить Наполеона, какъ писателя, ссылаясь на его воззванія къ солдатамъ: «Soldats, du haut de ces rugamides quarante siècles vous regardent...», но тутъ я его изобличила и заставила замолчать. Такъ, милая, вы и сдѣлались моей собственностью. (Съ неподдѣльнымъ негодованіемъ): А самъ теперь ходитъ и хвастается, что подарилъ... это очень некрасиво.

Максъ стоялъ на своемъ. Аделаида Казиміровна стояла на своемъ. Совмѣстно я ихъ спросить какъ то не рѣшилась. Можетъ-быть тайно боясь, что вдругъ — въ порывѣ великодушія — начнутъ меня другъ другу передавать, т. е. откажутся оба, и опять останусь собака безъ хозяина, либо, по сказкѣ Киплингъ, кошка, которая гуляетъ сама по себѣ. Такъ правды я и не узнала, кромѣ единственной правды своей къ нимъ обоимъ любви и благо-

дарности. Но -- проигралъ или подарилъ -- «Передайте Маринѣ», писала она въ послѣднемъ письмѣ тому, кто мнѣ эти слова передалъ -- «что ея книга Версты, которую она намъ оставила, уѣзжая, -- лучшее, что осталось отъ Россіи». Это отвѣтственное напутствіе я привожу не изъ самохвальства, а чтобы показать, что она Максимымъ подаркомъ -- или проигрышемъ -- до конца осталась довольна.

Такъ она и осталась -- Максимиліанъ Волошинъ и Аделаида Герцыкъ -- какъ тогда сопереpletенные въ одну книгу (моей молодости), такъ нынѣ и навсегда сплетенные въ единствѣ моей благодарности и любви.

**Марина Цвѣтаева.**

*(Окончаніе слѣдуетъ)*

# Царство Божіе

## I.

Что такое царство Божіе?

Много недоразумѣній между Христомъ и христіанствомъ, но, кажется, нѣтъ большаго, чѣмъ это, — въ сердцѣ Евангелія — сердцѣ Господнемъ.

Гдѣ царство Божіе? «Не на землѣ, а на небѣ», — отвѣчаютъ христіане; «на землѣ, какъ на небѣ», — отвѣчаютъ Іудеи. Кто, въ этихъ двухъ отвѣтахъ, ближе ко Христу, — тѣ, кто отвергъ Его, или тѣ, кто принялъ?

Да будетъ воля твоя и на землѣ, какъ на небѣ, —

здѣсь, для христіанъ, глухо, мертво, звучитъ «на землѣ»; живо, внятно, — только «на небѣ». Вотъ почему и главное прошеніе молитвы Господней:

да придетъ царствіе Твое, --

такъ безсильно, глухо, мертво. Сколько вѣковъ повторяютъ люди эту молитву — живое біеніе сердца Господня, — съ каждымъ днемъ, все глуше, мертвѣе, безсильнѣе! Если царство Божіе не на землѣ и на небѣ, а только на небѣ, то и приходитъ ему некуда. Вотъ, гдѣ могъ бы сказать Господь: «тѣ, кто со Мною, Меня не поняли». Поняли Его свои, дѣти Израиля, но не приняли и тоже, хотя по-иному, распяли. Эллины, если-бы къ нимъ пришелъ Господь и проповѣдалъ у нихъ царство Божіе, не только небесное, но и земное, можетъ быть, не распяли бы Его до плоти, но сдѣлали бы хуже, — посмѣялись бы надъ Нимъ, какъ надъ Павломъ, въ Ареопагѣ:

объ этомъ послушаемъ тебя въ другое время (Д. А. 17, 31-32).

## II.

То, что намъ, Арійцамъ, Эллинамъ, «псамъ», трудно, почти невозможно, — дѣлямъ Божіимъ, Семитамъ, легко: не раздѣлять метафизически, холодно, и не смѣшивать мифологически, кощунственно, а плотски, кровно, огненно соединять два міра, тотъ и этотъ; два порядка, божескій и человѣческій. Наша движущая сила, религіозная или антирелигіозная, — въ уходѣ отъ міра къ Богу или отъ Бога къ міру; сила же Семитовъ — обратная, въ соединеніи Бога съ міромъ. Глазъ нашъ, арійскій, видитъ лишь безконечность времени; глазъ же семитскій видитъ Конецъ — тотъ горизонтъ всемірной исторіи, гдѣ земля сходится съ небомъ, время съ вѣчностью.

Въ этомъ религіозномъ опытѣ — сила всѣхъ вообще Семитовъ, Иудеевъ же особенно. Чувствовать съ такою силою Бога, входящаго въ исторію, дано было только одному народу — Израилю. «Царство небесное», по-еврейски, *malekut schamajim*, по-арамейски, *malekûta dischemajim*, открывалось еще на Синаѣ; на Сіонѣ же, когда воцарится Мессія, — откроется, явится, уже окончательно. Въ этомъ-то именно смыслѣ, и употребляется слово «царство» въ простомъ народѣ, во времена Иисуса. «Царство небесное», значитъ не только «сущее на небѣ», но и «сходящее съ неба на землю».

Въ книгѣ Даниила всемірная исторія, чѣмъ больше удаляется сознательно, вольно, отъ цѣли своей — царства Божія, тѣмъ больше приближается къ нему невольно, безсознательно. Кончится внезапно все старое, и начнется новое: царство Божіе съ неба на землю падетъ, какъ созрѣвшій плодъ съ дерева; здѣсь еще, на землѣ, во времени, осуществится, какъ новый эонъ всемірной исторіи, гдѣ все земное сдѣлается вдругъ небеснымъ, и небесное — земнымъ.

Скоро, во дни жизни нашей, да воцарится Господь, и да придетъ Помазанникъ Его (Мессія), и да освободитъ народъ Свой, ---

такое прошеніе древне-іудейской молитвы *Kadisch*.

Богъ идетъ судить землю: трепещи предъ лицомъ Его, вся земля.

...Да веселятся небеса, и да торжествуетъ земля;  
да шумить море, и что наполняетъ его.

Да радуется поле и все, что на немъ, и да ликуютъ  
всѣ деревья дубравныя,

предъ лицомъ Господа, ибо идетъ, ибо идетъ су-  
дить землю (Ис. 95, 9; 11-13).

Вотъ что значить: «да будетъ воля Твоя и на землѣ,  
какъ на небѣ». Главное здѣсь удареніе для насъ на сло-  
вѣ «небо», а для первохристіанъ, такъ же какъ для Іуде-  
евъ, на словѣ «земля». Вѣсть о царствѣ Божьемъ, концѣ  
всемірной исторіи, звучить для насъ, какъ похоронный  
колоколь, а для нихъ, какъ зовущая къ побѣдному бою  
труба.

### III.

То же удареніе на словѣ «земля» — въ Блаженствахъ  
и въ притчахъ.

Блаженны кроткіе, ибо они наслѣдуютъ землю  
(Мт. 5, 5).

Царство Божіе — «сѣмя, брошенное въ землю» (Мк.  
4, 26), зрѣющая на землѣ «жатва», «сокровище, скры-  
тое въ землѣ» (Мт. 13, 38, 44).

Царство небесное подобно купцу, ищущему хоро-  
шихъ жемчужинъ, который, нашедши одну драгоцѣн-  
ную жемчужину, пошелъ и продалъ все, что имѣлъ, и  
купилъ ее (Мт. 13, 45-46).

Какъ бы двумя цвѣтами переливается жемчужина  
Царства: голубымъ, холоднымъ, небеснымъ, и розовымъ,  
теплымъ, земнымъ. Вся красота, вся драгоцѣнность жем-  
чужины — въ этомъ сочетаніи двухъ цвѣтовъ. Только  
одинъ голубой остался въ позднемъ христіанствѣ, а  
розовый — потухъ.

Съ неба на землю сходить царство Божіе, — это ог-  
ненное жало притупить, значить умертвить Евангеліе; уже  
не физически-плотски, какъ это сдѣлалъ Израиль, а ду-  
ховно-метафизически, какъ мы это дѣлаемъ, — убить  
Христа.

## IV.

«Царство Божіе есть Церковь; большаго, лучшаго царства на землѣ не будетъ, — будетъ только на небѣ»: такъ думаютъ или чувствуютъ христіане нашихъ дней, какъ будто не для нихъ сказано это слово Господне о Царствѣ:

Сынъ человѣческой придетъ во славу Отца Своего, съ Ангелами Своими.

...Есть же нѣкоторые изъ стоящихъ здѣсь, которые не вкусятъ смерти, какъ уже увидятъ Сына человѣческаго, грядущаго въ царствіи Своемъ (Мт. 16, 27-28).

Такъ, въ I-омъ Евангеліи, а во II-омъ:

...смерти не вкусятъ, какъ уже увидятъ царствіе Божіе, пришедшее въ силу (Мк. 9, 1).

Надо быть глухимъ, какъ мы глухи къ словамъ Господнимъ, чтобы не понять, что, по этому слову, Церковь, во времени, въ исторіи, не можетъ быть царствомъ Божіимъ въ концѣ временъ. Церковь есть путь въ далекую страну, возвращеніе блуднаго сына, міра, въ отчій домъ; но Церковь не Царство, какъ путь не домъ. Въ Церкви успокоиться, какъ въ Царствѣ, все равно, что поселиться на большой дорогѣ, какъ дома. Только-что Церковь сказала: «я — Царство», міръ остановился на пути своемъ, и Царство сдѣлалось недосягаемымъ! ради «безконечнаго прогресса», отмѣненъ Конецъ; ради «царства человѣческаго», все равно, мірскаго ли государства, или церковнаго, — теократіи, отмѣнено царство Божіе.

«Взять на себя иго Царства», — эта заповѣдь Талмуда (Гамалиль, 110 г. по Р. Х.), которую могла бы повторить и Церковь, — наиболѣе противоположна евангельскимъ словамъ о царствѣ Божьемъ: въ Евангеліи оно — буря, въ Талмудѣ — длительный порядокъ вещей.

Два религіозныхъ опыта — близость Конца и близость Царства — въ первохристіанствѣ нерасторжимые, въ христіанствѣ позднѣйшемъ, расторгнуты. Первое же слово Господне о Царствѣ два эти опыта соединяетъ, какъ та драгоценная жемчужина Царства соединяетъ два цвѣта.

Время исполнилось, и приблизилось царствіе Божіе; обратитесь же и вѣруйте въ Блаженную Вѣсть (Мк. 1, 15).

«Время исполнилось», «кончилось»; наступаетъ вѣчность — царство Божіе.

Знайте, что близко, при дверяхъ (Мк. 13, 29).

Царство небесное, отъ дней Іоанна Крестителя до нынѣ силою берется (Мт. 11, 12).

Царство Божіе достигло до васъ (Мт. 12, 28), «нашло на васъ».

Вотъ (уже) царство Божіе среди васъ (Лк. 17, 21).

Этимъ все начинается и кончается въ Евангеліи.

Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, какъ онѣ пожелтѣли и поспѣли къ жатвѣ (Іо. 4, 35).

Это, можетъ быть, послѣдняя жатва на землѣ, не въ иносказательномъ, а въ прямомъ смыслѣ; послѣднее, «блаженное лѣто» міра, потому что «времени уже не будетъ» (Откр. 10, 6), — наступаетъ вѣчность: посланы будутъ, въ одинъ и тотъ же день, жнецы на жатву земную, и Ангелы — на жатву небесную.

Съ какою силою чувствуетъ сѣмь Іисусъ близость Конца, можно судить по тому, что, посылая учениковъ на проповѣдь, Онъ велитъ имъ спѣшить, нигдѣ не останавливаясь: если въ одномъ городѣ не примутъ ихъ, идти немедленно въ другой:

ибо истинно говорю вамъ: не успеете сбойти городовъ Израилевыхъ, какъ придетъ Сынъ Человѣческій (Мт. 10, 23).

Все для Него въ Израилѣ, въ мірѣ и въ Немъ самомъ, — какъ на остріѣ ножа: сейчасъ Конецъ.

## V.

Нѣтъ никакого сомнѣнья, что всѣ эти слова Іисуса о Концѣ подлинны: вложить ихъ въ уста Его не могло бы придти въ голову никому, уже во второмъ поколѣньи учениковъ, когда написаны были Евангелія, и когда всѣ,

о комъ сказано: «смерти не вкусятъ, какъ уже увидятъ царствіе Божіе», --вкусили смерть, а Царства не увидѣли.

Ръ этомъ — великій, скрытый, но тѣмъ болѣе неодолимый, «соблазнъ», skandalon, не только первыхъ вѣковъ христіанства: вся его исторія до нашихъ дней опредѣляется замедленіемъ Царства, отсрочкой Конца, вольнымъ или невольнымъ отъ него отреченіемъ, убылью въ христіанствѣ эсхатологіи. Слишкомъ очевиднымъ казалось, что конецъ всемірнѣй исторіи отмѣненъ ея продолженіемъ; сверхъестественный ходъ ея опровергнуть естественнымъ, вѣчностью — временемъ.

Гдѣ обѣтованіе пришествія Его? Ибо, съ тѣхъ поръ, какъ стали умирать отцы, отъ начала творенія, все остается такъ же (II Петр. 3, 4).

Это — (о кончинѣ міра) — слышали мы давно; но вотъ, состарѣлись, ждавши день за днемъ, и ничего не дождались (Clement, I Epist., 23, 3).

Если Конецъ не пришелъ, значитъ, Иисусъ ошибся? Выводъ этотъ кажется намъ неотразимымъ, можетъ быть, потому что у насъ нѣтъ религіознаго опыта, хотя бы издали приближающагося къ Иисусову опыту. Мы живемъ во времени; Онъ — во времени и въ вѣчности. Мы раздѣляемъ ихъ; Онъ соединяетъ. Вѣчность для Него не мысль, какъ для насъ, а жизнь. Наша мѣра одна — время; двѣ мѣры у Него — вѣчность и время.

День одинъ у Господа, какъ тысяча лѣтъ, и тысяча лѣтъ, какъ одинъ день (Пс. 89, 5).

Это знаетъ Онъ, чувствуетъ такъ, какъ никогда никто изъ людей не зналъ и не чувствовалъ. Всѣ наши слова одновѣтно-временны, тусклы и сѣры; каждое слово Его, какъ та жемчужина царства Божія, переливается двумя цвѣтами — розовымъ, теплымъ, земнымъ, — времени, и голубымъ, холоднымъ, небеснымъ, — вѣчности.

Если бы доказано было, съ астрономической точностью, что въ 16-17-мъ году кесаря Тиберія, къ землѣ приближалась комета, которая могла бы ее уничтожить, и лишь рѣ послѣдней точкѣ пути своего, увлекаемая силой притяженія окружающихъ ее небесныхъ тѣлъ, пронеслась мимо земли; если бы доказано было, съ такою же точностью, что въ извѣстный періодъ времени, вѣроятно,

очень близкій къ тому, когда мы живемъ, та же комета вернется снова на ту же роковую точку и уже отъ пути своего не уклонится, взойдетъ надъ землею великимъ свѣтиломъ Конца, въ тотъ предреченный день, когда

земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ... воспламененныя небеса разрушатся, и разгорѣвшіяся стихіи растаютъ (II Петр. 3, 10, 13);

если бы, наконецъ, доказано было, что одинъ только человекъ на землѣ, Иисусъ, зналъ объ этихъ двухъ возможныхъ Концахъ, настоящемъ и будущемъ, но не зналъ, какой изъ двухъ совершится, то, можетъ быть, мы поняли бы, что значить, въ устахъ Его:

время исполнилось — кончилось; близко, при дверяхъ, конецъ.

## VI.

Нѣтъ, Иисусъ не ошибся: Онъ видѣлъ то, что дѣйствительно совершалось въ мірѣ — восходившее тогда, хотя еще не во внѣшнемъ, а только во внутреннемъ небѣ, въ Его же собственномъ сердцѣ, великое свѣтило Конца, и зналъ безошибочно, что внѣшній Конецъ совпадетъ съ внутреннимъ, потому что Сынъ человѣческой для того и пришелъ, чтобы эти два Конца совпали въ царствѣ Божіемъ; зналъ, что люди могутъ войти въ Царство сейчасъ, если только захотятъ; но захотятъ ли, — не зналъ въ началѣ служенія, и лишь въ концѣ узналъ:

Иерусалимъ, Иерусалимъ, избивающій пророковъ и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ Я хотѣлъ собрать дѣтей твоихъ, какъ насѣдка собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, и вы не захотѣли! (Мт. 23, 37).

Это и значить: чудо царства Божія уже наступало, уже входило во время, въ исторію, и могло бы войти окончательно, если бы люди этого такъ захотѣли, какъ Онъ.

Лучше всѣхъ бывшихъ и будущихъ историковъ зналъ Иисусъ царящій въ исторіи законъ необходимости — страшную силу человѣческой слабости, косности, тупости, трусости, лжи, маловѣрія; но зналъ и то, что если

преодолѣть ихъ людямъ невозможно, то «все возможно Богу» (Мк. 10, 27).

Нѣтъ, Иисусъ не ошибся: дѣйствительно, одну минуту, все въ Немъ самомъ, въ людяхъ и въ мірѣ, колебалось, какъ на остріѣ ножа, чтобы въ слѣдующую минуту; упасть въ ту или другую сторону, — въ какую именно, этого Онъ опять не зналъ — не могъ, не хотѣлъ, не долженъ былъ знать, чтобы Своей и человѣческой свободы не нарушить. Царство Божіе, благой конецъ «дурной безконечности» — всемірной исторіи, было, дѣйствительно, одну минуту такъ близко и возможно, какъ еще никогда, потому что только въ тѣ дни былъ на землѣ истинный Царь, помазанникъ Божій — Христосъ; а въ слѣдующую минуту, когда люди отвергли Его, было оно такъ же далеко и невозможно. Мимо человѣчества Царство прошло, какъ чаша мимо усть. Двѣ были чаши: страданій Голгоѣскихъ и царства Божія; та прошла бы мимо Сына человѣческаго, если бы не прошла эта мимо человѣчества. Зналъ Иисусъ, что есть двѣ чаши; но мимо кого какая пройдетъ, не зналъ — не могъ, не хотѣлъ, не долженъ былъ знать, до конца, до Гевсиманіи, гдѣ все еще молится:

да минуетъ Меня чаша сія (Мт. 26, 39).

## VII.

«Могъ ли Онъ не лгать передъ самимъ Собою, говоря, въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ служенія Своего: царство Божіе наступитъ сейчасъ?» — спрашиваетъ кто-то изъ лѣвыхъ критиковъ. Этотъ нелѣпый вопросъ показываетъ только, до какой слѣпоты доводитъ людей недостатокъ религіознаго опыта. Надо бы спросить: не «могъ ли не лгать Иисусъ», а «могъ ли лгать?» Не былъ ли Онъ умнѣе, чѣмъ это кажется лѣвымъ критикамъ? На смѣхъ не только умнымъ врагамъ своимъ, но и глупымъ дѣтямъ, могъ ли говорить сегодня: «царство Божіе наступитъ сейчасъ», а завтра: «не сейчасъ», — если бы между сегодняшнимъ и завтрашнимъ днемъ не произошло что-то рѣшающее, понятное всѣмъ: «и вы не захотѣли?»

Надо бы также спросить: легче ли два-три мѣсяца говорить: «конецъ міра будетъ сейчасъ», чѣмъ два-три года? Или для Того, Кто вышелъ, хотя бы на одно мгно-

венье, изъ времени въ вѣчность, нѣтъ вовсе такой ошутимой между временами разницы, какъ для насъ, погруженныхъ во время безвыходно? Чтѣ для Него значить «сейчасъ», намъ трудно понять, потому что мы и Онъ говоримъ на разныхъ языкахъ: мы — на языкѣ только времени, Онъ — на языкѣ времени и вѣчности. Въ лучшемъ случаѣ, мы видимъ одинъ далекій, будущій Конецъ; Онъ видитъ ихъ два: близкій, наступающій, — въ первые дни служенья Своего: «время исполнилось — кончилось», а въ послѣдніе дни, — далекій, будущій:

это еще не конецъ... Проповѣдана будетъ сія Блаженная Вѣсть царствія по всей вселенной, во свидѣтельство всѣмъ народамъ; и тогда придетъ конецъ (Мт. 24, 6, 14).

### VIII.

Какъ бы двѣ мѣры перемежаются въ Немъ: мѣра Сына Человѣческаго — время, и мѣра Сына Божьяго — вѣчность: если у Господа «тысяча лѣтъ, какъ день вчерашній», — мигъ, то двѣ тысячи лѣтъ христіанства — два дня — два мига.

Когда Иисусъ говоритъ: «близко, при дверяхъ», то главное здѣсь не то, насколько близко Царство, а то, что оно будетъ н а в ѣ р н о е, какъ завтра навѣрное солнце взойдетъ, или сегодня навѣрное будетъ гроза, если туча надвинулась, и вдали уже сверкаетъ молнія.

Полнаго знанія о томъ, когда будетъ Конецъ, у Сына Человѣческаго быть не можетъ. Съ бѣльшею ясностью этого нельзя сказать, чѣмъ говоритъ Иисусъ:

дня же того или часа никто не знаетъ, — ни Ангелы небесные, ни Сынъ; знаетъ только Отецъ (Мк. 13, 32).

Сыну открылъ Отецъ все, кромѣ этого. Въ этой единственной точкѣ, надо было Сыну отдѣлиться отъ Отца, чтобы войти изъ того міра въ этотъ, изъ вѣчности во время, — жить, страдать и умереть. Если бы зналъ Иисусъ н а в ѣ р н о е, что Конецъ сейчасъ, или такъ же навѣрное зналъ, что не сейчасъ, то, въ обоихъ случаяхъ, не возвѣстилъ бы Блаженной Вѣсти такъ, какъ возвѣстилъ; не

жилъ бы и не умеръ такъ, какъ жилъ и умеръ. Самое беззащитное, открытое, уязвимое мѣсто въ сердцѣ Его, самое человѣческое въ Сынѣ человѣческомъ, родное людемъ, близкое, братское, — это незнаніе: сейчасъ или не сейчасъ Конецъ. Это вольное незнаніе, какъ бы отпаденіе, отреченіе Сына отъ Отца, — можетъ быть, величайшая, неизреченнѣйшая изъ всѣхъ Его жертвъ. Здѣсь главная, тайная мука Его, сомнѣніе, искушеніе, до креста неодолимое; начало страданій — Страстей Господнихъ; здѣсь же Геосиманское бореніе, Агонія, не только Христа, но и всего христіанскаго человѣчества.

Доколѣ же, Владыка святой и праведный, не судишь и не мстишь.. за кровь нашу? —

вопліють души убійныхъ свидѣтелей Божіихъ изъ-подъ жертвенника передъ престоломъ Всевышняго.

И сказано имъ, чтобы успокоились еще на малое время (Откр. 6, 9-11).

Малое — для нихъ, а для насъ — великое: «агонія» всемірной исторіи, «дурная безконечность», вмѣсто благого Конца.

## IX.

Если Учитель соединяетъ двѣ мѣры, человѣческую — времени, и божескую — вѣчности, то ученики смѣшиваютъ ихъ. Съ точностью передаютъ они слова Его о томъ, что Сыну должно пострадать, но не понимаютъ ихъ и ужасаются.

Слѣва сего не поняли они, и оно было закрыто отъ нихъ, такъ что они не постигли его, а спросить Его... боялись (Лк. 9, 45).

Вотъ почему такъ трудно понять, что значить для самого Иисуса отсрочка Конца.

Все еще земля горитъ подъ ногами Марка-Петра, а въ третьемъ Евангеліи, уже остываетъ. Видя, что Конецъ не наступаетъ, люди начинаютъ устраиваться для продолженія міра.

Вдругъ — тотчасъ, послѣ скорби дней тѣхъ...  
 силы небесныя поколеблются...  
 и всѣ племена земныя... увидятъ Сына человѣческаго,  
 грядущаго на облакахъ небесныхъ (Мт. 24,  
 29-30), ---

такъ, въ первомъ Евангеліи, а въ третьемъ:

не тотчасъ Конецъ (Лк. 21, 9).

Этимъ-то все и рѣшается въ христіанствѣ. Павелъ уже переводитъ стрѣлку на часахъ всемірной исторіи съ ночного счета --- Конца, на дневной — продолженія міра:

молимъ васъ, братія... не спѣшить... и не смущаться...  
 отъ слова; будто уже наступаетъ день Христовъ (II  
 Тссс. 2, 1).

Но огненное жало Евангелія, чувство Конца, стынеть медленно. «М а р а н ъ а ѳ а, Господь грядетъ», — все еще воздыханіе Павла, такъ же, какъ всего первохристіанства. «Молимся мы, да придетъ Господь и да разрушитъ міръ», скажетъ Оригенъ. «Все воздыханіе наше --- о кончинѣ вѣка сего, *vota nostra suspirant saeculi hujus occasum*», скажетъ и Тертуллианъ.

Се гряду скоро, -

трижды повторяетъ Господь въ Откровеніи (22, 7; 12, 20). Смерти не вкуситъ, какъ уже увидитъ Сына человѣческаго, «грядущаго въ силѣ», Іоаннъ на Патмосѣ. Слово Господне о скоромъ пришествіи Царства исполнится, хотя и не такъ, какъ было понято, — не въ Исторіи, а въ Мистеріи. Но если бы все христіанство уже не видѣло рочію Пришествія - Присутствія Господня, Парузіи, то и христіанства бы не было.

## X.

Правда ли, что съ точки зрѣнія самого Іисуса, какъ утверждаетъ лѣвая критика, не можетъ быть и рѣчи о постепенномъ ростѣ и развитіи царства Божія въ исторіи, во времени; что оно совсѣмъ есть, или его совсѣмъ нѣтъ? Правда, въ томъ смыслѣ, что нельзя отчасти родиться, или быть рожденнымъ, а можно только совсѣмъ; но не

правда, что нельзя долго расти, развиться, во чревъ матери: такъ и Царство Божіе долго можетъ расти въ чело-вѣчествѣ.

Царство Божіе подобно тому, какъ если чело-вѣкъ бросить сѣмя въ землю;

и спитъ, и встаетъ, ночью и днемъ; и, какъ сѣмя рас-теть, не знаетъ онъ.

Ибо земля сама собою производитъ сначала зелень, потомъ колось, потомъ полное зерно въ колось.

Когда же созрѣетъ плодъ, тотчасъ — вдругъ, чело-вѣкъ посылаетъ серпъ, потому что настала жат-ва (Мк. 4, 26).

Это и значить: царство Божіе, вопреки отсрочкѣ Конца, совершается во времени, въ исторію; медленная въ немъ постепенность развитія сочетается съ мгновенною внезапностью Конца: долго грозная сила копится въ тучѣ, прежде чѣмъ разразится молніей; туча — исторія, молнія — Конецъ.

Въ царствѣ Божіемъ происходитъ взаимодействіе двухъ силъ — постепенной, чело-вѣческой, и Божеской, внезапной. Та же и здѣсь антиномичность, «согласная про-тивоположность», какъ во всѣхъ глубинахъ религіознаго опыта.

## XI.

Только при свѣтѣ Конца, мы понимаемъ, видимъ, что такое царство Божіе. Можно сказать съ точностью мате-матической формулы: наше познаніе Царства прямо-про-порціонально чувству Конца и обратно-пропорціонально чувству исторической безконечности, того, что мы назы-ваемъ «безконечнымъ прогрессомъ».

Житницы мои сломаю и построю большія, и со-беру туда весь хлѣбъ мой и все добро мое.

И скажу душѣ моей: душа! много добра у тебя на многіе годы; покойся, ѣшь, пей, веселись, —

такъ говорить Безконечный Прогрессъ, и слышитъ:

Безумный! въ эту ночь душу твою возьмутъ у те-бя; кому же достанется то, что ты заготовилъ? (Лк. 12, 16-20).

## XII.

Бѣсы исповѣдуютъ Господа раньше людей. Ближе къ Нему могутъ быть бѣсноватые, чѣмъ здоровые: къ царству Божію, земному, *malekut schaim*, можетъ быть ближе террористъ съ бомбою, чѣмъ провожающій его на казнь священникъ. Быть настоящимъ революціонеромъ нельзя, не вѣря, что завтра будетъ революція: такъ же нельзя быть и настоящимъ христіаниномъ, не вѣря, что завтра будетъ царство Божіе. Надо, конечно, дѣлать мудрую поправку на время — законъ исторической необходимости, — ту самую, которую дѣлаетъ Господь: «дня того или часа не знаетъ никто»; но первично-парадоксальное чувство Конца остается: «близко, при дверяхъ»; завтра — сегодня — сейчасъ Конецъ.

## XIII.

«Иисусъ есть Христосъ» — Царь: въ этихъ трехъ словахъ — все христіанство. Но самъ Иисусъ никогда не называетъ Себя ни «Христомъ», ни «Сыномъ Божіимъ», а только «Сыномъ человѣческимъ». Лѣвая критика предполагаетъ, что слово «Сынъ человѣческой», въ мессіанскомъ значеніи, основано на ошибочномъ переводѣ арамейскаго *Bar Nasch* (*Bar Enach*, по-еврейски; у Данила, *Ben Adam*): «человѣкъ»; что, слѣдовательно, Иисусъ называлъ Себя просто «человѣкомъ», и только позднѣйшіе христіане, не понявъ, что значитъ, въ устахъ Его, «человѣкъ», сдѣлали изъ этого слова мессіанское наименованіе: «Сынъ человѣческой». Но, должно быть, слово «Человѣкъ», въ устахъ самого Иисуса, звучало такъ, что не могло быть передано иначе, какъ этимъ загадочнымъ, на языкѣ греческихъ классиковъ несуществующимъ вовсе, сочетаніемъ словъ: «Сынъ человѣческой». Слова этого иѣтъ ни въ Посланіяхъ Павла, ни во всемъ Новомъ Заветѣ (кромѣ видѣнія первоученика Стефана, Д. А. 7, 56), ни у раннихъ Отцовъ; только къ началу II-го вѣка, у гностиковъ, Маркіона, Валентиніана и Офитовъ, оно появляется снова.

«Нынѣ Иисусъ уже не Сынъ человѣческой, а Сынъ Божій», учитъ Посланіе Варнавы, въ концѣ I-го вѣка. Имя

«Сынъ человѣческой», въ смыслѣ первичномъ, евангельскомъ, здѣсь уже забыто, или еще не понято. Лучшая порука въ исторической подлинности этого слова и есть именно то, что Церковь не поняла его и не усвоила.

Кто этотъ Сынъ человѣческой? (Io. 12, 34), —

спрашиваютъ Иудеи самого Иисуса; такъ же могли бы и мы спросить, черезъ двѣ тысячи лѣтъ: это и для насъ все еще непонятное имя Непонятнаго, неизвѣстное — Неизвѣстнаго.

#### XIV.

Имя «Сынъ человѣческой» ничего не значило бы, въ устахъ Иисуса, если бы не напоминало Даніилова пророчества:

вотъ, съ облаками небесными, шель какъ бы Сынъ человѣческой, Ваг Епаш; дошелъ до Ветхаго деньми, и подведенъ былъ къ Нему.

И данъ Ему власть, и слава, и царство, чтобы всѣ народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вѣчное, оно же не прейдетъ, и царство Его не разрушится (Дан. 7, 13-14).

Именемъ этимъ утверждаетъ Иисусъ Свою нерасторжимую связь съ Израилемъ:

ибо спасеніе отъ Иудеевъ (Io. 4, 22).

Именемъ этимъ говоритъ Иисусъ, что Онъ есть Тотъ, въ Комъ исполнилось Даніилово пророчество. Полнаго, однако, пониманія не могъ Онъ ожидать отъ слушателей и какъ бы нарочно, загадывалъ имъ загадку этимъ прозрачно-темнымъ именемъ, чтобы заставить ихъ самихъ подумать, кто Онъ такой. Только «посвященные», можетъ быть, знаютъ, — «вамъ дано знать тайну царства Божія», — что «Сынъ человѣческой», Ваг Епаш, въ смыслѣ Даніилова пророчества, — самъ Иисусъ; остальные же думаютъ, что Онъ говоритъ о третьемъ лицѣ. Самъ Себя называть «Мессіей-Христомъ» не могъ Иисусъ, потому что нужно было, чтобы люди узнали и признали Его свободно; сами для себя сдѣлали Его Христомъ — Царемъ единствен-

нымъ, не извнѣ, а изнутри; поняли, узнали, что «это Онъ».

Кто же Ты?

— спрашиваютъ Иудеи, кажется, съ искреннимъ недоумѣ-  
ньемъ (Іо. 8, 25). Но на этотъ вопросъ — единственный  
отвѣтъ Его: «Я».

Если не увѣруете, что это Я, то умрете во грѣ-  
хахъ вашихъ.

Когда вознесете — (на крестъ) — Сына человѣче-  
скаго, тогда узнаете, что это Я (Іо. 8, 24, 28).

Разъ только въ жизни открылъ Иисусъ, что значить  
«Сынъ человѣческой», когда на вопросъ первосвященника:

Ты ли Христосъ, Сынъ Благословеннаго? —

отвѣтилъ: «Я» (Мк. 14, 71-72) и это Ему стоило жизни.

## XV.

«Каждый день Кушей, совершалось шествіе вокругъ  
жертвенника (въ Иерусалимскомъ храмѣ), съ возглашені-  
емъ Псалма (117, 15): «О, Господи, спаси же!» — вспоми-  
наетъ Мишна.

«Молились же такъ: Ани we-Ну, спаси!» — сообщаетъ  
рабби Іегуда. Въ этомъ Ани we-Ну — то неизреченное имя  
Божіе, которое Богъ откроетъ людямъ только тогда, ко-  
гда придетъ Мессія. «Ани we-Ну, значить: «Я и Онъ»; «Я  
есмь Онъ», объясняетъ Мишна. «Чтобы открыть тайну  
этого имени и пришелъ Иисусъ», учитъ раввинъ XX-го  
вѣка, и, можетъ быть, поняли бы его, хотя и проклинали,  
раввины I-II вѣка.

Когда Иисусъ открываетъ тайну Свою ученикамъ:

Я и Отець одно (Іо. 10, 10, 15), --

то это и значить: «Я есмь Онъ», Ани we-Ну.

## XVI.

Именемъ «Сынъ человѣческой» Иисусъ какъ бы гово-  
рить людямъ: «Я такой же человѣкъ, какъ вы». Но въ  
этомъ принятіи человѣческаго равенства чувствуется, мо-  
жетъ быть, больше всего, иная, нечеловѣческая природа,

иное существо Иисуса: сколько бы ни погружался въ чело-  
вѣчество, Онъ не можетъ погрузиться въ него до кон-  
ца, потому что у Него иной удѣльный вѣсъ. *Bar Elash*,  
«Сынъ челоувѣческой», въ устахъ Его, звучитъ какъ *Bar*  
*Elaha*, «Сынъ Божій».

Если бы людей спросили жители другой планеты, по-  
комъ судить имъ о челоувѣчествѣ, то не на кого бы лю-  
дямъ указать, не о комъ бы сказать, кромѣ Иисуса:

вотъ, Челоувѣкъ. *Esse Homo.*

Можно во Христа не вѣрить, но нельзя не призначь,  
что было что-то въ челоувѣкѣ Иисусѣ, что заставило лю-  
дей преклониться передъ Нимъ, какъ ни передъ кѣмъ, ни-  
когда еще не преклонялись они и, вѣроятно, никогда уже  
не преклонятся.

Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя выше вся-  
каго челоувѣческаго имени,

дабы предъ именемъ Иисуса преклонилось всякое  
колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ,

и всякій языкъ исповѣдалъ, что Господь Иисусъ  
есть Христось-Царь (Филипп. 2, 9-11).

## XVII.

Послѣ одной неудачной попытки превратить Иисуса въ  
«миоѣ», сдѣлана была другая, столь же неудачная, — до-  
казать, что Иисусъ не Христось, самъ Себя никогда не на-  
зывалъ «Христомъ», и никѣмъ не былъ Имъ признаваемъ  
при жизни, а былъ только послѣ смерти признанъ. Но  
крестная надпись, *titulus crucis*:

Иисусъ Назорей, Царь Іудейскій (Іо. 19, 19), —

самое первое и подлинное, историческое свидѣтельство о  
жизни и смерти челоувѣка Иисуса, дѣлаеть невозможнымъ  
сомнѣніе, что Онъ осужденъ и казненъ римскою властью,  
какъ Мессія, Царь Израиля, «противникъ кесаря» (Іо. 19,  
12), «виновникъ мятежа», *auctor seditionis*. Если же Онъ  
умеръ за это, то съ этимъ, конечно, и жилъ. Надо отверг-  
нуть историческую подлинность распятія, надо превра-  
тить Иисуса въ «миоѣ», чтобы отвергнуть мессіанство Хри-  
ста.

Что же значить «Иисусъ есть Христосъ-Царь»? Этотъ вопросъ ставится и разрѣшается жизнью всего христіанскаго человѣчества, всемірной исторіей. Чтобы заглушить вопросъ или пройти мимо него, какъ мы заглушаемъ или проходимъ мимо, надо уничтожить христіанство.

И одѣли Его въ багряницу, и сплетши терновый вѣнецъ, возложили на Него ;

И начали привѣтствовать Его: «радуйся, царь Іудейскій!»

И били Его по головѣ тростью, и плевали на Него, и, становясь на колѣни, кланялись Ему (Мк. 15, 17-19).

Это люди сдѣлали съ Нимъ; и все-таки повѣрили, что Богъ

посадила Его одесную Себя, на небесахъ, превыше всякаго начала, и власти, и силы, и всякаго имени, именуемаго не только въ семь вѣкѣ, но и въ будущемъ;

и все покорилъ подъ ноги Его, и поставилъ Его выше всего (Ефес. 1, 20-22).

Можно во Христа не вѣрить, но нельзя не признать, что не было въ мірѣ большей силы, чѣмъ та, которая заставила людей въ это повѣрить. Сколько бы люди ни забывали объ этомъ, вспомнить когда-нибудь, что единый Царь царствующихъ и Господь господствующихъ — этотъ поруганный, осмѣянный, ослепленный, терніемъ вѣнчанный, распятый Царь.

## XVIII.

Кажется, и людямъ нашихъ дней, меньше всего думающимъ о царствѣ Божіемъ, чаще всего приходитъ въ голову, что европейская, бывшая христіанская, цивилизація доживаетъ свои послѣдніе дни. Если даже «конецъ Европы» не значить еще «конецъ всемірной исторіи», а значить только подъемъ на одинъ изъ тѣхъ переваловъ ея, откуда виденъ ея горизонтъ — дѣйствительный Конецъ, то, за двѣ тысячи лѣтъ христіанства, не былъ никто на

такомъ высокомъ перевалѣ, какъ мы, и никому не открылся горизонтъ всемірной исторіи, конецъ ея, съ такою ясностью, какъ намъ.

Если же, по найденной нами формулѣ, познаніе царства Божія прямо-пропорціонально чувству Конца и обратно-пропорціонально чувству исторической безконечности, то мы, какъ никто, могли бы знать, что такое царство Божіе. Почему же не знаемъ? почему такъ забыли о немъ, какъ, за двѣ тысячи лѣтъ христіанства, не забывалъ никто? почему самая непонятная для насъ, невозможная, бессильная, безнадежная изъ всѣхъ молитвъ: «да придетъ царствіе Твое»? Кажется, все потому же: потому что два религіозныхъ опыта, нерасторжимыхъ въ первомъ же словѣ Иисуса о Царствѣ, -- опытъ Конца: «время исполнилось — кончилось», и опытъ Царства: «приблизилось», — для насъ уже расторгнуты; потому что царство Божіе для насъ уже не на землѣ и на небѣ, а только на небѣ, и вѣсть о немъ, нѣкогда звавшая къ побѣдному бою труба, теперь звучитъ, какъ похоронный колоколъ; потому что Церковь, какъ Царство Божіе на землѣ, есть на половинѣ прерванный, сдѣлавшійся домою, путь, и люди успокоились въ Церкви, какъ въ Царствѣ; уже потерявъ надежду вернуться въ отчій домъ, поселились на большой дорогѣ, какъ дома; и, наконецъ, главное, потому что мы все еще не «обратились», не «перевернулись», не «прокинулись», не поняли, что больные, а не здоровые, имѣютъ нужду во врачѣ; не праведниковъ пришелъ Господь призвать къ покаянію, а грѣшниковъ; что не святые, богатые, сытые, пьяные, а нищие, голодные, жаждущіе, — такіе, какъ мы, — можетъ быть, первые услышатъ изъ устъ Его: «блаженны»; мытари и блудницы могутъ войти въ царство Божіе впередъ тѣхъ, «праведныхъ». Кажется, мы не знаемъ, что такое царство Божіе, потому что все еще не поняли, что значить:

брачный пиръ готовъ, а званые не были достойны.

Итакъ, пойдите на распутія, и всѣхъ, кого найдете, зовите на брачный пиръ.

И рабы тѣ, вышедши на дороги, собрали всѣхъ, кого только нашли, и злыхъ, и добрыхъ; и брачный пиръ наполнился возлежащими (Мт. 22, 8-10).

Можетъ быть, эти, на распутьяхъ найденные и лишь

въ послѣднюю минуту званые, злые съ добрыми смѣшанные, — мы. Кажется, Господу сейчасъ нужнѣ святыхъ, ушедшихъ изъ міра и спасшихся, грѣшные, погибающіе съ міромъ, почти отчаявшіеся, готовые всунуть шею въ петлю, но всетаки надѣющіеся, хотя и сами этого не знающіе, — что въ послѣднюю минуту Онъ придетъ и спасетъ ихъ, вынетъ ихъ шею изъ петли, — точно такіе, какъ мы.

О, если бы мы только могли сказать, какъ разбойникъ на крестѣ:

помяни меня, Господи, когда приидешь въ царствіе Твое! —

мы, можетъ быть, слышали бы:

сегодня же будешь со Мною въ раю (Лк. 23, 42-43).

Не завтра, не черезъ двѣ тысячи лѣтъ, а сегодня, сейчасъ, — въ этомъ вся Блаженная Вѣсть, Евангеліе.

Если бы мы только поняли, что значитъ:

да будетъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ,

мы, можетъ быть, спаслись бы, и съ того самаго мѣста, въ ту самую минуту, гдѣ и когда поняли бы это, начался бы для насъ путь къ царству Божию; если бы мы только поняли, что намъ, можетъ быть, больше, чѣмъ кому-либо, за двѣ тысячи лѣтъ христіанства, сказано:

люди будутъ издыхать отъ страха и ожиданія бѣдствій, грядущихъ на вселенную, ибо силы небесныя поколеблются.

...Когда же начнетъ сбываться то, тогда восклонитесь и подымите головы ваши, потому что приблизилось избавленіе ваше (Лк. 21, 26-28).

Ужасъ Конца для однихъ — радость избавленія для другихъ: въ этомъ вся Блаженная Вѣсть о царствѣ Божіемъ.

## XIX.

Кажется иногда, что злѣйшіе враги Господни ближе сейчасъ къ христіанской эсхатологіи, религіозному опыту Конца, чѣмъ слишкомъ благополучные христіане. Взрывчатая сила всѣхъ революцій (а что мы вступили

сейчасъ въ революціонную зону и выйдемъ изъ нея нескоро, это, кажется, уже поняли всѣ), взрывчатая сила эта есть не что иное, какъ тайная, демонически-извращенная, но, можетъ быть, все еще, въ глубокихъ корняхъ своихъ, христіанская эсхатологія, чувство Конца.

Кто-то изъ евангельскихъ критиковъ, вынужденный употребить, говоря о концѣ міра, слово *Zusammenbruch*, «крушеніе всего», такъ же не подозрѣваетъ, что говоритъ на языкѣ соціальной революціи, какъ Марксъ, употребляя то же слово, не подозрѣваетъ, что говоритъ на языкѣ христіанской эсхатологіи: оба, какъ Мольеровскій мѣщанинъ, не знаютъ, что «говорятъ прозой». Но, что бы ни говорили вожди безчисленныхъ, вовлеченныхъ въ соціальную революцію, насѣкомоподобныхъ, человѣческихъ множествъ — этой «саранчи» Апокалипсиса, — отъ самихъ этихъ множествъ пахнетъ уже и сейчасъ вулканической сѣрой Конца. И въ грозно-полыхающемъ надъ нами заревѣ соціального пожара преломляется въ красный свѣтъ демонической революціи все еще, можетъ быть, бѣлый свѣтъ Революціи Божественной.

## XX.

О, если бы только могли мы понять, какъ слѣдуетъ Елеонскую рѣчь о Концѣ, мы, можетъ быть, спаслись бы!

Такъ просто, что и ребенку понятно, и съ такимъ опять величьемъ, какого никогда не достигало человѣческое слово, изображаетъ Господь Страшный Судъ.

Когда же придетъ Сынъ человѣческій во славу Своей, и всѣ святые Ангелы съ Нимъ, тогда сядетъ на престолѣ славы Своей;

и соберутся передъ Нимъ всѣ народы; и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ пастухъ отдѣляетъ овецъ отъ козловъ.

И поставитъ овецъ по правую сторону отъ Себя, а козловъ — по лѣвую.

...И скажетъ тѣмъ, кто по лѣвую сторону: идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный...

Ибо алкалъ Я, и вы не дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы не напоили Меня; нагъ былъ, и не одѣли Меня; боленъ и въ темницѣ, и не посѣтили Меня.

Тогда... тѣ скажутъ Ему въ отвѣтъ: Господи! когда мы видѣли Тебя алчущимъ, или жаждущимъ, или странникомъ, или нагимъ, или больнымъ, или въ темницѣ, и не послужили Тебѣ?

И скажетъ имъ: истинно говорю вамъ: такъ какъ вы не сдѣлали этого одному изъ сихъ меньшихъ, то не сдѣлали Мнѣ (Мт. 25, 31-35).

Гдѣ это могли бы понять люди лучше всего? Въ церк-вахъ? Нѣтъ, въ революціонныхъ подпольяхъ, на котор-гахъ, въ тюрьмахъ, въ больницахъ, въ публичныхъ до-махъ, — всюду, гдѣ челоѣкъ раздавленъ наибольшимъ социальнымъ гнетомъ.

Дѣтская и простонародная, какъ будто для варваровъ и дикарей написанная, картинка Страшнаго Суда становит-ся вдругъ исполненной и дѣйствительнѣйшей картиной всемірной исторіи.

Нынѣ судъ міру сему (Io. 12, 31).

Самое близкое къ намъ, сегодняшнее — завтрашнее, — то, что мы называемъ «социальной проблемой», рѣша-ется «нынѣ», сегодня, на Страшномъ Судѣ всемірной ис-торіи, въ вѣчномъ Пришествіи - - Присутствіи Господа (греческое слово *parousia* для этихъ двухъ понятій одно). Каждый сытый, богатый, праздный, — въ каждомъ тру-дящемся, нищемъ, голодномъ, вдругъ узнаетъ Его, Сына челоѣческаго, Брата челоѣческаго.

Больше взять на себя «социальную проблему», боль-ше въ нее воплотиться нельзя, чѣмъ это дѣлаетъ Онъ; людямъ нельзя яснѣе сказать, чѣмъ Онъ говоритъ: «бу-детъ ли равенство ваше въ рабствѣ, ненависти, смерти, или въ свободѣ, въ любви, въ жизни вѣчной; будетъ ли равенство ваше дьявольскимъ или, божескимъ, — этотъ вопросъ — Я».

Именно здѣсь, какъ нигдѣ, именно сейчасъ, какъ нико-гда, въ наши именно глаза, какъ въ нищбы, заглянулъ Ис-сусъ.

## XXI.

Ужасъ христіанскаго челоѣчества въ томъ, что міромъ овладѣли сейчасъ, какъ никогда, не злые люди и не глу-пые, а совсѣмъ не люди — челоѣкообразные, «пле-вель», не-сущіе, не только русскіе, но и всемірные слу-

ги Мамоновы — Марковсы, гнусная помѣсь буржуа съ пролетаріемъ. И люди ими запуганы такъ, что уже не смѣютъ быть людьми и спѣшаютъ потерять человѣческое лицо свое, чтобы сдѣлаться такими же безличными, какъ тѣ, надъ ними царящіе «не-люди». Больше, можетъ быть, и сейчасъ людей, а человѣкообразныхъ меньше, чѣмъ это намъ кажется; но сплоченные въ дьяволу церковь — Всемирный Интернаціональ, они всемогуши, а люди безсилны, безвластны, потому что разрознены: Церкви Вселенской, единственнаго мѣста, гдѣ могли бы они соединиться, все еще нѣтъ. Вотъ почему, если дѣло христіанскаго человѣчества и дальше пойдетъ, какъ сейчасъ, то человѣкъ, потерявъ лицо свое окончательно, пріобрѣтетъ насѣкомообразную мордочку, и кучка термитовъ-титановъ (такими кажутся они запуганнымъ людямъ), или даже одинъ изъ нихъ, единственный, станетъ во главѣ человѣческаго термитника, что и будетъ концомъ всемірной исторіи — царствомъ Не-сущаго.

Не-люди хоронятъ людей заживо, а тѣ и пошевелиться не могутъ, какъ въ летаргическомъ снѣ. Сонъ стряхнуть, встать изъ гробовъ и увидѣть, какъ могильщики сами въ вырытую могилу рухнуть, — вотъ понятное всѣмъ начало царства Божія.

Если Богу и намъ будетъ угодно, то, можетъ быть, завтра, когда насъ ударятъ по одной щекѣ, мы подставимъ другую; но сегодня свято и праведно — напомнить чело­вѣкамъ, что здѣсь еще, на землѣ, въ исторіи, Страшный Судъ начинается; здѣсь еще услышатъ они приговоръ:

идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный (Мт. 25, 41).

И пойдутъ, и сгорятъ, и ничего отъ нихъ не останется, кромѣ кучки смраднаго лепла. Это увидѣтъ — тоже понятное намъ всѣмъ, начало царства Божія.

## XXII.

Грѣшныя Царство начнутъ — кончатъ святыя.

Мечъ обоюдоострый да будетъ въ рукѣ ихъ, для того, чтобы совершать мщеніе надъ народами, судъ надъ племенами (Пс. 149, 6-7).

...«Господи! вотъ здѣсь два меча». Онъ сказалъ имъ: «довольно» (Лк. 22, 38).

И одинъ изъ нихъ ударилъ раба первосвященникова и отсѣкъ ему правое ухо (Лк. 22, 49-50).

Не было бы, можетъ быть, и христіанства, если бы Господь не сказалъ Петру:

вложи мечъ въ ножи (Io. 10, 18, 11).

Но, если бы Петръ не обнажилъ меча, можетъ быть, тоже христіанства бы не было.

Завтра, можетъ быть, святыя падутъ отъ меча, но праведно и свято сегодня обнажить мечъ на овладѣвшихъ міромъ, «нѣ-людей». Сущихъ противъ не-сущихъ Крестовый походъ — тоже понятное всѣмъ людямъ начало царства Божія.

Были святыя, одинокія, отъ міра ушедшія, безвластные, бессильные; будетъ «народъ святыхъ»:

царство, и власть, и величіе царственное дано будетъ народу святыхъ (Дан., 7, 27).

Такъ же, какъ сейчасъ править міромъ «народъ окаянныхъ», Всемирный Интернаціональ, будетъ править «народъ святыхъ».

Будутъ царствовать съ Нимъ (Христомъ) тысячу лѣтъ (Откр. 20, 6), —

еще до конца міра, — во времени, въ исторіи.

### XXIII.

Все это и значить: съ того самаго мѣста, въ тотъ самый мигъ, гдѣ и когда мы это поймемъ, начнется для насъ путь къ царству Божію, и, если оно еще не наступитъ, то приблизится безмѣрно уже здѣсь, на землѣ, въ каждой точкѣ пространства и времени.

Буду ходить предъ лицомъ Господнимъ на землѣ живыхъ (Пс. 114, 9).

Если мы это поймемъ, то сердце наше, размагниченная стрѣлка на компасѣ, слова намагнитятся, дрогнетъ и обратится къ магнитному сѣверу — царству Божію; сно-

ва почувствуемъ мы, что «близко, при дверяхъ»: «не преидеть родъ сей, какъ все это будетъ», по непреложнѣйшему слову Господню:

небо и земля преидуть, но слова Мои не преидуть  
(Мт. 24, 35).

Только бы не успокоиться на большой дорогѣ, какъ дома, — въ Церкви, какъ въ Царствѣ.

Ищущій да не покоится... пока не найдетъ; а найдя, удивится; удивившись, в о с ц а р с т в у е т ь; восцарствовавъ, упокоится (Agraphon).

#### XXIV.

Первыя точки царства Божія теплятся уже и сейчасъ, какъ первыя звѣзды въ ночи.

Все или почти все наше искусство — «Не-божественная Комедія», притча о царствѣ Не-божемъ. Но если было въ Средніе Вѣка и еще за много вѣковъ до христіанства, въ древнихъ мистеріяхъ, иное искусство, то, можетъ быть, и снова будетъ. Иная Десятая Симфонія иного Бетховена, можетъ быть, возславить уже не древній хаосъ, а новый космосъ, новое небо и землю, — царство Божіе.

Все, или почти все наше знаніе учитъ насъ биться головой объ стѣну, голую или обитую подушками, какъ въ одиночной камерѣ для буйныхъ помѣшанныхъ, — о «законъ тождества» — смерти. Но если было иное знаніе, отъ Гераклита до Паскаля, ломающее стѣну, то, можетъ быть, и снова будетъ.

Въ ночь самоубійства, уже съ холодкомъ пистолетнаго дула на вискѣ, вспоминаетъ бѣсноватый Кирилловъ «минуты вѣчной гармоніи»; вспоминаетъ и то, что понялъ въ одну изъ нихъ: почему Ангель Откровенія «клянется Живущимъ во вѣки вѣковъ, что времени уже не будетъ» (10, 6): «время исполнилось — кончилось»; наступила вѣчность — царство Божіе.

Влюбленный мальчикъ еще не знаетъ, но, можетъ быть, узнаетъ, выросши, что въ благоуханіи розы — дыханіи устъ возлюбленной, есть уже райское вѣяніе новой земли и новаго неба — царства Божія.

Послѣ изгнанія, такого долгаго, что мы успѣли въ

немъ состарѣтся, снова, можетъ быть, вернемся мы въ отчій домъ; ранимъ утромъ, откроемъ окно, всею грудью вдохнемъ росистую свѣжесть черемухи, такую знакомую, вчерашнюю, какъ будто чужбины вовсе не было; вслушаемся въ райскій щебетъ только-что проснувшихся птицъ; взглянемся въ родное, голубое, безъ единого облачка, небо, такое же далекое — близкое, какъ въ самомъ раннемъ дѣтствѣ, — и вдругъ поймемъ, что значить:

все готово; приходите на брачный пирь.

## XXV.

Бѣдный Аѳанасій Ивановичъ: Когда умерла Пульхерія Ивановна, лучше бы и ему умереть съ нею, чѣмъ пять лѣтъ мучиться такъ, что на него было страшно и жалко смотрѣть.

«Боже! — думалъ я, — пять лѣтъ всеистребляющаго времени; старикъ уже безчувственный... котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнія на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ рассказовъ, — и такая долгая, такая жаркая печаль... Нѣсколько разъ силился онъ выговорить имя покойницы, но на половинѣ слова... лицо его судорожно исковеркивалось, и плачь дитяти поражалъ меня въ самое сердце» (Гоголь, Старосвѣтскіе помѣщики).

Если бы не гдѣ-то на небѣ, въ далекой вѣчности, а тутъ же, на землѣ, въ томъ же старосвѣтскомъ домикѣ подъ очеретовою крышею, съ жарко-натопленными комнатами и разнообразно-поющими дверями, снова увидѣлъ Аѳанасій Ивановичъ живую Пульхерію Ивановну, сидящую на томъ же высокомъ стулѣ, въ томъ же старенькомъ, коричневемъ съ ивѣточками, платьѣ, съ тѣмъ же лицомъ въ милыхъ, добрыхъ морщинкахъ; если бы онъ могъ ее спросить, какъ бывало, спрашивалъ:

— «А что, Пульхерія Ивановна, можетъ быть, пора закусить чего нибудь?» —

и услышать отвѣтъ:

— «Чего же бы теперь, Аѳанасій Ивановичъ, закусить? развѣ коржиковъ съ саломъ, или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ быть, рыжиковъ соленыхъ?» —

и все было бы точно такое же, какъ до разлуки ихъ,

и совсѣмъ, совсѣмъ иное, потому что оба знали бы, что не разлучатся уже никогда; если бы все это было, то, можетъ быть, Аванасій Ивановичъ понялъ бы, что значить царство Божіе — радость вѣчнаго свиданья любящихъ другъ друга и вмѣстѣ любящихъ Его.

## XXVI.

Не будутъ уже ни алкать, ни жаждать... и не будетъ палить ихъ солнце и никакой зной, ибо Агнецъ будетъ пасти ихъ и водить ихъ на живые источники воды.

И отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ.

И смерти не будетъ уже; ни плача, ни вопля, ни боли уже не будетъ, ибо прежнее прошло; се, творю все новое (Откр. 7, 16-17; 21,4).

Для тѣхъ, кто больше, чѣмъ вѣрить, — кто знаетъ, что это будетъ, — это уже есть.

Истинно, истинно говорю вамъ: кто соблюдетъ слово Мое, тотъ не увидитъ смерти вовекъ (Іо. 10, 8, 51).

Мы, нищіе, услышимъ: «Блаженны»; мы, алчущіе, услышимъ: «насытитесь»; мы, плачущіе, услышимъ: «утѣшитесь».

Гарь сгорѣвшаго міра будетъ для насъ лишь утренней гарью въ туманѣ, смѣшанной съ запахомъ мяты, полыни и вереска, тамъ, на горѣ Блаженствъ. Снова увидимъ лицо Его, снова услышимъ голосъ Его:

«Блаженны нищіе духомъ»...

Небо нагорное сине,

Верески смольнымъ духомъ

Дышать въ блаженной пустынѣ...

«Блаженны нищіе духомъ»...

Кто это, люди не знаютъ,

Но одуванчики пухомъ

Ноги Ему осыпають.

Въ царствѣ Божьемъ, люди узнають, Кто это.

О, только бы легкой пушинкой прикинуть къ ногамъ Твоимъ, Господи, въ Царствѣ — Блаженствѣ Твоемъ!

Д. Мережковскій.

# Итальянская Африка

## I

### ГРЕКИ ВЪ АФРИКЪ.

Седьмого апрѣля 1931 года пароходъ компании Флоріо — Città di Livorno увезъ насъ изъ Александріи на западъ вдоль сѣвернаго берега Африки въ ту сказочную страну, гдѣ когда-то жила Атлантида, гдѣ искателямъ приключеній ранняго Греческаго Средневѣковья мерещились Киклопы и «Бдоки Лотоса» (Лотофаги), забывшіе родину, гдѣ росъ садъ боговъ съ золотыми яблоками, населенный очаровательными Гесперадами и охраняемый сказочными птицами, гдѣ жилъ въ водахъ Сирты морской геній Тритонъ и многообразный Протей, гдѣ подпиралъ небо могучій Атлантъ. Въ эту страну сказокъ и сновъ ранней Греціи давно влекло меня желаніе увидѣть руины славнаго города Африканской Греціи — Кирены, когда-то царицы Киренаики и владительницы морей между Египтомъ и Карфагеномъ. Здѣсь по представленіямъ бѣдныхъ грековъ Эллады жили милліардеры Запада, соперники Сиракузцевъ, Сибаритовъ и Кротонцевъ, предшественники Американцевъ послѣ Колумбіева періода.

Посѣтить Киренаику — дѣло сложное. Работа археолога въ Киренѣ дѣлается и частью уже сдѣлана, но увидѣть то, что сдѣлано, посѣтить руины когда-то цвѣтущихъ городовъ Греческой Африки не такъ легко. Со времени турко-итальянской войны Киренаика съ Триполитаніей, частью семито-римской, не греческой Африки, — итальянская провинція, колонія, какъ ихъ зовутъ официально. На дѣлѣ, даже послѣ новой войны 1921 и слѣдующихъ годовъ, болѣе сложной и болѣе серьезной, чѣмъ первая, итальянцы держатъ крѣпко въ своихъ рукахъ только береговую полосу и тѣ немногія и плохія дороги, которыя соединяютъ между собой города береговой по-

лосы — Тобрукъ, Дерну, Аполлонію, Бенгази. Все, что на югъ отъ этой береговой полосы — земля бедуиновъ, гдѣ все еще царствуютъ Сенусси (хотя ихъ столица и въ рукахъ итальянцевъ), гдѣ итальянцу, особенно офицеру, показаться опасно, и гдѣ двигаются только колонны итальянскихъ и эритрейскихъ солдатъ въ ихъ карательныхъ экспедиціяхъ. Такъ длится вотъ уже много лѣтъ. Въ послѣдніе годы итальянская администрація, особенно новый губернаторъ Киренаики, молодой генералъ Граціони, начала новую болѣе энергичную политику въ Киренаикѣ. Итальянскія войска заняли, къ великому смятенію англичанъ и Египта, столицу Сенусси, оазисъ Курру, рядъ военныхъ операцій стремятся искоренить набѣги и грабежи такъ называемыхъ «возставшихъ» (*ribelli*), население ближайшихъ къ берегу мѣстъ эвакуируется въ прибрежные города и живетъ въ концентраціонныхъ лагеряхъ, чтобы лишить «*ribelli*» поддержки и пищи, строятся новыя большія великолѣпныя дороги: изъ Дерны въ Кирену и изъ Кирены въ Барку, откуда идетъ желѣзная дорога въ столицу Киренаики Бенгази, планируется постройка защитныхъ портовъ и т. д.

Но все это дѣло будущаго и стоитъ огромныхъ денегъ фашистской Италіи. Сейчасъ посѣтить Триполитанію, уже болѣе или менѣе умиротворенную, просто, посѣтить же строптивую Киренаику куда сложнѣе и труднѣе. Простому туристу нечего объ этомъ думать. Ни у одного туриста нѣтъ двухъ недѣль времени — съ рискомъ, что двѣ недѣли могутъ превратиться въ три и больше — чтобы посѣтить руины одного города. Къ тому же врядъ ли туристъ получитъ специальную визу для посѣщенія Киренаики въ Римѣ или Неаполѣ. Соотвѣтственныя власти, вѣроятно, дадутъ ему совѣтъ отложить посѣщеніе Киренаики до того времени, когда новыя дороги будутъ закончены и будутъ совершенно «свободны», т. е. не подъ угрозой «бандитовъ» и «возставшихъ».

Мое положеніе было иное. Я — археологъ и историкъ, и меня посѣщеніе руинъ Кирены и Киренаики интересуетъ въ высокой степени. Кромѣ того раскопки Кирены — одна изъ самыхъ блестящихъ страницъ въ исторіи итальянской оккупации, и итальянцы рады показать то, что слылаю, если не туристамъ, то специалистамъ. Поэтому, когда я, по дорогѣ къ своимъ раскопкамъ въ Дурѣ и Джерошѣ, попросилъ разрѣшеніе посѣтить на обратномъ пу-

ти изъ Сиріи въ Европу Киренаику, мое намѣреніе было сочувственно встрѣчено директоромъ раскопокъ въ Италиі, а Министерство Колоній не только дало мнѣ визу, но и обошлось со мной какъ съ «гостемъ правительства», т. е. дало распоряженіе, чтобы мнѣ было оказано всяческое содѣйствіе въ Киренаикѣ. Благодаря этому я и попалъ въ Киренаику, и готовъ подѣлиться съ читателемъ тѣмъ, что я здѣсь видѣлъ.

Путешествіе сюда, какъ я уже сказалъ, не столько трудно, сколько длинно и проблематично. Изъ Александриі, по собраннымъ въ Италиі справкамъ, я долженъ былъ направиться въ Бенгазѣ. Сдѣлавъ я это, въ Кирену я бы не попалъ. Къ счастью, одинъ изъ руководителей раскопокъ въ Киренѣ, котораго я встрѣтилъ въ Египтѣ, предупредилъ меня, что отъ Бенгази въ Кирену сухимъ путемъ проѣхать нельзя — дорога не «свободна», а «мокрымъ», т. е. по морю проѣхать можетъ быть и можно, но требуетъ много времени и что поэтому лучше покинуть пароходъ на первой его остановкѣ послѣ Александриі, въ Дернѣ, и отсюда попытаться пробраться въ Кирену. Такъ я и сдѣлалъ, и благодаря этому попалъ въ Кирену. Въ Дернѣ мѣстный комиссаръ встрѣтилъ меня очень любезно и на слѣдующій день отправилъ меня съ женой изъ этого симпатичнаго оазиса, превращающагося постепенно въ благоустроенный и привлекательный арабо-итальянскій городъ, на автокарѣ, т. е. на грузовикѣ, обслуживающемъ постройку дороги, въ Кирену. Съ нами ѣхалъ д-ръ Тедески, директоръ госпиталя, и его два фельдшера вакцинировать персоналъ постройки дороги, такъ какъ въ Дернѣ наблюденъ былъ случай оспы.

Нельзя сказать, чтобы дорога въ Кирену изъ Дерны была очаровательна. Мѣстность красивая, холмистая, съ рѣзкими красками и мягкими контурами, но дорога, особенно послѣ дождей — а дожди здѣсь идутъ постоянно — отвратительна и небезопасна. Тѣмъ не менѣе кое-какъ мы взобрались на два уступа, которыми плато Киренаики подымается надъ моремъ, и выѣхали на плато. По дорогѣ отъ времени и до времени виднѣлись въ пустынной мѣстности руины фермъ и городовъ, рощи одичавшихъ оливковъ, слѣды оградъ когда-то обработанныхъ полей. Въ свое время грекамъ Киренаики удалось добиться того, чего не добились ни арабы, ни турки, ни — пока еще — итальянцы: превратить плато Кирены въ поля и сады.

Здѣсь, на Киренейскомъ плато, въ древнемъ греческомъ поселеніи, современное имя котораго Губба (древнее «Ты-же Господи вѣси», можетъ быть Фесте), гдѣ нынѣ стоятъ укрѣпленные бараки войскъ и дорожныхъ рабочихъ, начался холодный дождь съ сильнымъ вѣтромъ и шофферъ нашего автокара отказался ѣхать дальше. Пришлось рѣшиться на возвращеніе въ Дерну и отказаться отъ плана посѣтить Кирену. И вдругъ, какъ *deus ex machina*, въ Губбѣ появляется маленькій грузовикъ и въ немъ существо мужескаго пола въ сѣромъ дождевикѣ, котораго мои спутники громко привѣтствуютъ, какъ *Professore Olivigio*, директора раскопокъ въ Киренаикѣ. Перегрузившись въ нѣсколько минутъ и снявши фотографію всей нашей компаніи на фонѣ греческаго монументальнаго фонтана въ Губбѣ, мы, въ военныхъ непромокаемыхъ пальто, приготовленныхъ для насъ предусмотрительнымъ покровителемъ нашимъ, согрѣтые глоткомъ *acqua di vita*, буквально попятели подъ проливнымъ дождемъ на западъ, въ Кирену.

Рѣдко я переживалъ болѣе траги-комическое пѣтешество: дождь хлещетъ, автомобиль виляетъ задомъ и вертится на своей оси, отъ времени и до времени увязаетъ въ густой жидкой глинѣ, вытаскиваемъ его по ступицу въ грязи, и все это въ ледяной и мокрой атмосферѣ той Африки, отъ которой ждешь не холода, а тропической жары. И все-таки геройскія усилія арабскаго шофера — молодецъ изъ молодецовъ — вывезли насъ на тѣ десять километровъ уже готоваго шоссе, которое ведетъ въ руины Кирены. Къ позднему завтраку мы попали подъ крышу прямо въ блюдо горячихъ макаронъ и въ стаканъ добраго кьянти.

Казалось бы, конецъ нашимъ злоключеніямъ! Не тутъ-то было. Пять дней прожили мы въ Киренѣ — о чемъ ниже — подъ крылышкомъ нашего гостепріимнаго хозяина. На шестой мы направились внизъ въ Аполлонію, древнюю гавань Кирены, ловить пароходъ, идущій по берегу въ Бенгази и Триполи. Дорога изъ Кирены въ Аполлонію очаровательна. Спустились въ самомъ розовомъ настроеніи. Но въ Аполлоніи парохода не нашли: опоздалъ на день; почему — вѣдаетъ Богъ. Провели день въ Аполлоніи, позавтракали въ прелестномъ домикѣ одного изъ колонновъ новой Италии, бывшаго офицера, поболтали за чаемъ у исполняющаго обязанности комиссара, пообедали

въ губернаторскомъ домѣ, гдѣ провели ночь — въ обществѣ вице-комиссара, горячаго, убѣжденнаго и крайняго фашиста, и легли спать, собираясь съѣсть на пароходѣ рано утромъ. Но нѣтъ! Сейчасъ уже вечеръ, сильный прибой послѣ солнечнаго яснаго дня все еще шумитъ и волны штурмуютъ берегъ. Пароходъ тутъ, качается то ближе, то дальше, хочетъ выгрузиться и нагрузиться, но съѣсть на него нельзя. И въ отчаяніи дѣлюсь съ читателемъ здѣсь, въ Аполлоніи, въ губернаторскомъ домѣ, своими киренскими впечатлѣніями. Уѣдемъ ли завтра? Кто знаетъ?

Но это крики большой души. Пройдутъ — если не погрузимся завтра — томительные пять дней ожидания въ Дербъ, куда придется вернуться, уѣдемъ въ Триполи, и забудутся тревоги и скука сидѣнія у моря въ ожиданіи парохода. Впечатлѣнія же пребыванія въ Киренаикѣ останутся навсегда, сильныя и богатая, рѣдко богатая даже для меня, много видѣвшаго руинъ въ многоскитальческой жизни моей.

## II.

Кирена — одно изъ оригинальнѣйшихъ явленій греческой жизни, близкое и интересное намъ, русскимъ, у которыхъ имѣются свои Кирены на Черномъ морѣ, греческія и греко-иранскія поселенія въ устьѣ Дѣльфы, въ Керченскомъ проливѣ, въ Крыму. Въ порывѣ бурной экспансіи, на зарѣ жизни своей, молодая, сильная и плодovitая Греція создавала одну за другой новыя Греціи на западѣ и на востокѣ: на берегахъ Чернаго моря на востокѣ, въ Италиі, Сициліи, Галліи, Испаніи и Африкѣ — на западѣ. Въ VIII - VII вѣкахъ шла эта колонизація и къ VI - V вв. до Р. Хр. нѣкоторые города западныхъ Грецій были богаче и роскошнѣе городовъ собственной Греціи и М. Азіи. Сиракузы, Агригентъ, Селинунтъ, Кумы, Неаполь, Сибарисъ, Кротонъ, Тарентъ были соперницами Афинъ, Коринѳа, Родоса, Милета, Эфеса и Смирны. И вмѣстѣ съ ними славу богатства, культуры и искусства оспаривала у матери-родины дорійская Кирена, дочь славнаго островнаго города Феры (нынѣ Сонторинъ), внучка Спарты и племянница Пелопоннесскихъ Аркадцевъ.

Почему бросило предприимчивыхъ дорійцевъ на суровое плато Киренаики, объ этомъ можно только гадать.

Климатъ Киренакаго плато суровый — дождливый и холодный, почва далеко не перваго качества, металловъ нѣтъ, нѣтъ и дѣйствительно хорошихъ гаваней на берегу не очень гостеприимнаго моря. И тѣмъ не менѣе греки явились сюда «en force», осыли здѣсь, пришли къ соглашенію съ ливійцами, мѣстнымъ населеніемъ и сейчасъ еще сидящимъ въ Киренаикѣ, и сдѣлали все, что было въ ихъ силахъ, для превращенія бѣднаго плато Киренаики въ поля, оливковыя рощи и сады. Возможно, что въ экспанси своей на западъ греки, захвативъ что можно было въ Сициліи и Ю. Италиі, естественно двинулись дальше на югъ и западъ, къ берегамъ Африки, столь близкимъ къ берегамъ Сициліи, но здѣсь принуждены были удовольствоваться наименѣе лакомымъ кускомъ сѣв. побережья Африки, такъ какъ лучшее уже было въ рукахъ египтякъ и финикійцевъ. Вполнѣ мыслимо и то, что ливійцы не только не оказали имъ сопротивленія, но рады были имъ и вошли съ ними въ мирное соглашеніе немедленно, предпочитая грековъ семитамъ-финикійцамъ и египтянамъ.

Какъ бы то ни было, работа грековъ въ Киренаикѣ не можетъ не вызывать нашего удивленія и восхищенія. Сейчасъ плато Киренаики полу-пустыня, гдѣ отъ времени и до времени виднѣются стада козъ и барановъ и темныя палатки бедуиновъ. На побережьи кое-какъ живутъ довольно жалкія полу-европейскія современные поселенія, опорные пункты итальянскаго владычества. Единственное исключеніе—это быстро растущая столица Киренаики Бенгази, развивающаяся однако на счетъ Италиі и будущаго расцвѣта Киренаики. Болѣе или менѣе естественная жизнь имѣется въ немногихъ прибрежныхъ оазисахъ, главнымъ образомъ Деръѣ съ ея ароматными бананами и той же Бенгази, обычная экономическая и социальная жизнь оазисовъ Африки, не имѣющая сама по себѣ никакого будущаго.

Иначе было въ древности, какъ объ этомъ такъ ясно говорятъ и литературныя свидѣтельства и особенно руины. Города побережья были большими и цвѣтущими поселеніями съ прекрасными искусственными гаванями и съ богатымъ Hinterland'омъ. Наиболѣе крупными изъ нихъ были: Тевхира (позже Арсиноя, нынѣ Токра), Эвесперида (нынѣ Бенгази, въ эллинистическую эпоху Береника) и Аполлонія, составлявшія вмѣстѣ съ двумя крупнѣйшими городами плато: Киреной, чисто греческимъ центромъ, и

Баркой, ливійско-греческой столицей, такъ называемое пятиградіе Киренаики — Пентаполисъ греческой Африки.

Эти пять городовъ однако были только главными центрами Киренаики. Если ѣхать изъ Дерны въ Кирену, а изъ Кирены черезъ Барку въ Бенгази сухимъ путемъ и не очень торопиться, то по дорогѣ можно видѣть и при желаніи исстѣить руины не менѣе десятка городовъ и деревень древне-греческаго періода и сотенъ разбросанныхъ повсюду фермъ, частью укрѣпленныхъ, частью нѣтъ. То же на побережьи, мало еще разслѣдованномъ. Несомнѣнно, что Кирена имѣла не одинъ портъ — Аполлопю, а нѣсколько (по крайней мѣрѣ три), имѣла свои порты и ливійская Барка, руины одного изъ которыхъ — Птолемоида (нынѣ Толметта) знакомы всѣмъ, когда либо шедшимъ вдоль береговъ Ливіи на одномъ изъ пароходовъ Флорію. Болѣе чѣмъ вѣроятно, кромѣ того, что и всѣ остальные прибрежныя современныя поселенія имѣли каждое своихъ болѣе цвѣтущихъ предшественниковъ въ древности. Наконецъ, на границѣ съ пустыней имѣется цѣль укрѣпленныхъ фортовъ, которыхъ я лично не видѣлъ и потому не знаю, созданіе ли они греческаго, эллинскаго или римскаго періода.

Конечно, древность намъ статистическихъ данныхъ не завѣщала. Мы не знаемъ ни общаго числа городовъ Киренаики, ни количества фермъ внѣ городовъ, ни тѣмъ менѣе количества населенія, жившаго и въ тѣхъ, и въ другихъ. Археологія даетъ пока только общее впечатлѣніе богатства и процвѣтанія страны въ древности, вполне подтверждающее сужденія древнихъ о Киренаикѣ въ наиболѣе блестящую ея эпоху. Даже руины городовъ Киренаики еще не нанесены на карту и не измѣрены, не говоря уже о руинахъ фермъ.

Но стоитъ только съ высоты акрополей древней Кирены взглянуть на окружающій ее некрополь, или еще лучше проѣхать или пройти изъ руинъ Кирены въ различныхъ направленіяхъ по ея городу мертвыхъ, прорѣзанному древними дорогами, расходящимися изъ Кирены во всѣ стороны (нынѣ все это пространство вмѣстѣ съ площадію гроба сбіявлено заповѣднымъ, собственно-стату государства, археологической зоной), чтобы понять степень процвѣтанія этого города: на четыре-пять километровъ вглубь страны все пространство внѣ стѣнъ города — второй богатѣйшій городъ, городъ мавзолеевъ и

гробницъ, некрополь Кирены. На плоскихъ мѣстахъ высятся руины башенъ, круглыхъ и четырехугольныхъ, храмиковъ разныхъ формъ, огромныхъ саркофаговъ, стелъ — все надгробные памятники киренейцевъ. По обрывистымъ склонамъ горныхъ рѣкъ (вада) лѣпятся въ рядъ одинъ богатый архитектурный фасадъ за другимъ и одна полоса ихъ надъ другой — три, четыре, пять этажей фасадовъ: дорическихъ и ионическихъ по преимуществу, богатыхъ и бѣдныхъ, съ надписями и безъ нихъ. За этими фасадами въ скалѣ зяюють отверстія погребальныхъ комнатъ, загробныхъ подземныхъ домовъ тѣхъ же киренейцевъ, которые покрыли плоскія мѣста окрестностей города своими мавзолеями. Какія средства нужны были, чтобы занять десятки квадратныхъ километровъ плодородной почвы городомъ мертвыхъ, чтобы поддерживать его, чтобы выстроить всѣ эти чудеса погребальной архитектуры! А сколько гробницъ надъ землей безъ мавзолеевъ и сколько гробницъ въ скалахъ безъ фасадовъ хранить оазисы другихъ, менѣе богатыхъ древнихъ киренейцевъ!

Этого мало. Какъ только выѣдешь изъ некрополя Кирены, начинаются другіе некрополи — некрополи тѣхъ деревень и поселеній, что окружали Кирену. Несомнѣнно богатой, цвѣтущей и густо населенной была древняя Киренаика, не подь стать современной!

Въ чемъ секретъ этого процвѣтанія? Наше литературное преданіе объ исторіи, социальномъ, экономическомъ и культурномъ развитіи Киренаики очень бѣдно. Только въ послѣднее время археологическое разсѣдованіе Киренаики и систематическія раскопки въ Киренѣ, о которыхъ ниже, освѣтили кое-какія точки во мракѣ нашего незнанія.

Все, что археологія и эпиграфика дали намъ для болѣе глубокаго пониманія основъ экономической жизни Кирены, ясно свидѣтельствуетъ о томъ, что Киренаика съ начала ея жизни и до конца была страной почти исключительно земледѣльческой и скотоводческой. Такъ называемый «Стела Церезлій», вѣроятно, IV в. до Р. Хр., говоритъ намъ, напримѣръ, какъ въ тяжкую годину жизни Греціи, когда голодъ нѣсколько лѣтъ подрядъ царилъ въ ней, на помощь пришла Кирена щедрыми дарами зерна. Даръ этотъ увѣковѣченъ въ простомъ спискѣ озаглавленномъ: «сколькимъ далъ городъ зерно, когда голодъ слу-

чится въ Элладѣ». Одна недавно открытая надпись Кирены, еще не изданная, говорящая о цѣнахъ на продукты и о налогахъ въ Киренѣ, почти исключительно перечисляетъ разнообразныя злаки, производившіяся въ области Кирены. Наконецъ, вся культовая жизнь Кирены, ея наиболѣе почитаемыя боги и богини — за исключеніемъ Отческихъ боговъ Аполлона и Артемиды, организація ея ранней правовой жизни отражаютъ почти исключительно аграрный строй жизни населенія страны.

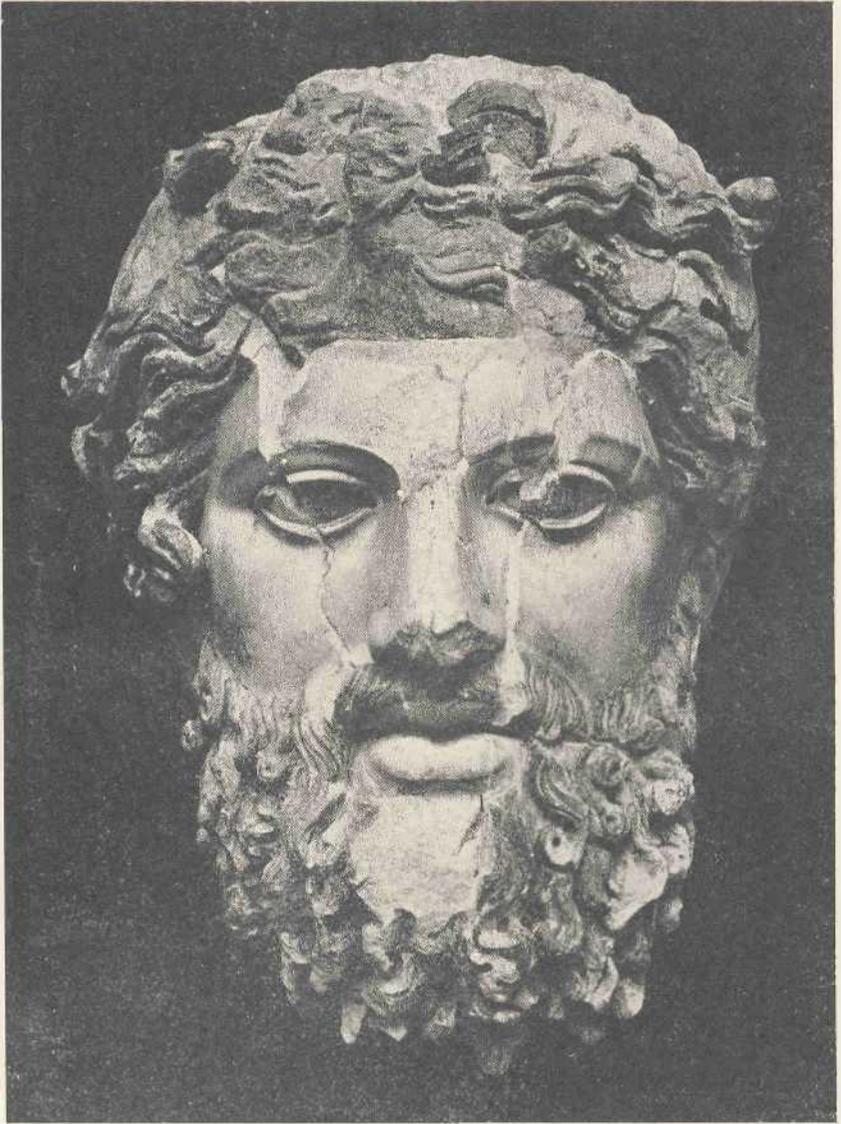
Ясно, что когда отношенія киренскихъ грековъ съ ливійцами были хороши, и ливійцы работали рука объ руку съ греками, когда границы плато на югѣ были хорошо охраняемы и не было постоянныхъ набѣговъ со стороны бедующей пустыни, когда разные элементы населенія греческихъ городовъ жили мирно и не ссорились одинъ съ другимъ, страна была богата, несмотря на то, что была исключительно земледѣльческой и скотоводческой. Объясненіе этому интересному явленію надо несомнѣнно искать въ томъ, что древній міръ съ его растущимъ населеніемъ и ограниченной площадью обработанной подъ зерновые растенія, овощи и плодовые деревья земли всегда нуждался въ пищевыхъ продуктахъ. Перепроизводство ихъ греческому міру незнакомо, недопроизводство было явленіемъ постояннымъ. Поэтому земледѣліе и скотоводство въ древности были наиболѣе прочными источниками богатства для тѣхъ частей греческаго міра, гдѣ оно могло развиваться нормальнымъ образомъ.

Среди этихъ продуктовъ, которые земля Киренаики производила въ изобиліи, въ нашемъ преданіи, литературномъ и археологическомъ, крупную роль играетъ хорошо знакомый всѣмъ любителямъ древности и въ особенности нумазматамъ сильфій, тотъ самый сильфій, который вѣшаютъ и грузятъ на корабль слуги и рабы ранняго Киренскаго царя Аркесилая на знаменитой вазѣ Лувра, и который является какъ бы гербомъ Кирены на ея монетахъ въ теченіе ряда вѣковъ. Исторія сильфія интересна и поучительна для экономической исторіи древности и не разъ была предметомъ специальныхъ изслѣдованій какъ историковъ и археологовъ, такъ особенно ботаниковъ и фармакологовъ.

Эта дико-растущая ферула, которая, какъ кажется, никогда огороднымъ растеніемъ не сдѣлалась, одно время была въ большой модѣ въ греческомъ мірѣ, какъ припра-



Развалины Кирены



Голова Птоломея

ва съ сильнымъ прянымъ запахомъ и острымъ вкусомъ, какъ лакомый овощъ, какъ дѣйствительное средство противъ многихъ болѣзней. Такъ какъ росъ сильфій только въ Киренаикѣ и конкуррента ему до Александра Великаго не было, то вывозъ его былъ важной статьёй въ экономикѣ Киренаики.

Тѣмъ не менѣ исторія сильфій показываетъ, что онъ далеко не былъ одной изъ основъ богатства Киренаики. Собираніе и вывозъ его длились недолго. Весьма вѣроятно, что вывозъ сильфій былъ монополіей правительства Кирены и что правители, сначала цари, затѣмъ магистраты республики, принимали всяческія мѣры, чтобы охранить тѣ части Киренаики, гдѣ росъ сильфій. Такъ какъ эта охрана подрывала главный источникъ доходовъ мѣстныхъ полукочевниковъ ливійцевъ, то первый ударъ сильфію нанесли они, уничтожая его на тѣхъ земляхъ, которыя отняты были у ихъ стада греками.

Слѣдующій ударъ сильфію нанесенъ былъ завоеваніемъ Персидскаго царства Александромъ Великимъ. Ботаники Александра нашли, что въ Азій произрастаетъ *en passe* злакъ того же характера и почти того же качества, что и киренскій сильфій. Ввозъ изъ Азій понизилъ цѣны на сильфій и сдѣлалъ его собираніе и вывозъ гораздо менѣ выгоднымъ.

Окончательно погубила вывозъ сильфій римская администрація Киренаики, когда Киренаика въ первомъ вѣкѣ до Р. Хр. сдѣлалась римской провинціей. Хозяевами тѣхъ земель, на которыхъ росъ сильфій и которыя принадлежали государству, сдѣлались римскіе откупщики-публиканы. Главнымъ источникомъ ихъ доходовъ было скотоводство *en grand*. Такъ какъ собираніе сильфій было дѣломъ сложнымъ и дорогимъ, а кромѣ того вывозъ его обложенъ былъ высокою пошлиною, то публиканы не принимали никакихъ мѣръ къ охранѣ сильфій, а тотъ сильфій, что еще росъ въ Киренаикѣ, былъ стравленъ козамъ, а затѣмъ и верблюдамъ римскихъ арендаторовъ киренской общественной земли.

И сильфій исчезъ изъ Киренаики навсегда. Въ римское время при Цезарѣ и затѣмъ въ эпоху имперіи онъ былъ величайшей рѣдкостью. Въ наше время ботаники и археологи напрасно стараются найти его въ Киренаикѣ, къ сожалѣнію, вполне безуспѣшно.

Итакъ, сильфій въ исторіи Киренаики — эпиводъ. Ос-

новой ея процвѣтанія былъ не онъ, а пшеница, ячмень, овесъ, бобы, оливковое масло и т. д. Въ этомъ сомнѣнн быть не можетъ. Иной вопросъ, какими методами греки сдѣлали бѣдное плато Киренаики богатой земледѣльческой страной съ тѣмъ разнообразіемъ продуктовъ, о которомъ говоритъ только что упомянутая, еще не опубликованная, надпись города Кирены. Объ этомъ мы пока только гадаемъ. Нѣтъ сомнѣній, что, какъ и въ Тунисъ, секретъ процвѣтанія лежитъ не только въ упорномъ трудѣ и использованіи каждой пяди земли, но и въ огромномъ умѣнн каптировать, сохранять и распредѣлять имѣющуюся воду, какъ воду источниковъ, такъ и воду атмосферическихъ осадковъ.

### III.

Я уже сказалъ, что объ исторіи Киренаики мы плохо осведомлены и что только археологія способна пролить свѣтъ на ея интересное историческое развитіе. Дѣйствительно, Киренаика — Эльдorado для археологовъ, болѣе нетронутое, чѣмъ М. Азія, болѣе сохраненное, чѣмъ кирпичная Мессолотамія, болѣе интересное, чѣмъ Тунисъ и Алжиръ, наиболѣе близкіе по своимъ историческимъ судьбамъ Киренаикѣ. Когда прекратилась городская жизнь въ Киренаикѣ, мы точно не знаемъ. Но знаемъ, что, какъ и въ Тунисъ и въ большей степени, чѣмъ въ М. Азіи, разъ прекратившись, вѣроятно, послѣ завоеванія арабами, она не возобновилась, за исключеніемъ двухъ или трехъ прибрежныхъ оазисовъ. Города были брошены и умерли, и не было никого, кто бы растаскалъ кости ихъ скелетовъ, какъ это было во многихъ древнихъ городахъ М. Азіи и Сиріи. Не было въ Киренаикѣ и того систематическаго грабежа, которымъ славны римляне и византійцы и отъ котораго такъ пострадали Греція и М. Азія, откуда произведенія искусства тысячами вывозились сначала въ Римъ, а затѣмъ въ Византію: Киренаика была далека и имя Кирены не было достаточно славнымъ въ анналахъ греческаго пластическаго искусства. Наконецъ, когда для другихъ частей античнаго міра начался періодъ ихъ грабежа для заполнения европейскихъ музеевъ путемъ хищническихъ раскопокъ, сначала «археологовъ»-кустарей, а затѣмъ торговцевъ древностями, Кирена и Киренаика

опять-таки избѣжали общей участи. Мѣсто было слишкомъ опасное и дикое и для археологовъ ранняго періода и для торговцевъ древностями.

А между тѣмъ богатство Киренаики и особенно Кирены древностями, и древностями первоклассными, поразительно. Въ Тунисѣ и Алжирѣ, археологическая исторія которыхъ такъ напоминаетъ исторію Киренаики, за преисторіей идетъ бѣдный древностями пунической періодъ и затѣмъ эпоха римской имперіи, богатая, кривливая, но стандартизированная и бѣдная творчествомъ. Не то въ Киренѣ, въ этомъ отношеніи близкой къ М. Азіи. Съ VII в. до Р. Хр. здѣсь царитъ Греція и каждый періодъ греческаго искусства отражается и во ввозѣ предметовъ искусства, крупныхъ и мелкихъ, и въ мѣстномъ, не бѣдномъ творчествомъ производствѣ. Даже въ римское, мѣстѣ богатое для Киренаики время искусство Кирены остается греческимъ и цѣпляется за старыя традиціи. И при этомъ, напомню вновь, Киренаику никто и никогда систематически не грабилъ: ни городовъ ея, ни ея некрополей. Не удивительно, что случайныя посѣщенія Кирены археологами давали богатѣйшую жатву статуй и надписей, не мудрено, что первые удары кирки и заступа англійскихъ археологовъ обогатили Британскій музей шедеврами греческой пластики, и вполне понятно, что какъ только итальянцы начали здѣсь систематическія раскопки, имъ удалось въ нѣсколько лѣтъ создать въ Киренѣ и въ Бенгази музеи, полныя шедевровъ греческой пластики. А что будетъ, когда начнется систематическое разслѣдованіе нетронутыхъ некрополей городовъ Киренаики и особенно самой Кирены?

Все, что даютъ намъ кирки и заступы рабочихъ раскопщиковъ, руководимыхъ опытными археологами, среди которыхъ нынѣшній директоръ раскопокъ проф. Оливеріо занимаетъ видное мѣсто, обогащаютъ наше знаніе какъ исторіи Кирены, такъ и исторіи древняго міра вообще. Не моя задача пересказывать вновь въ свѣтѣ новыхъ находокъ то, что мы знаемъ объ исторіи Кирены и Киренаики. Сдѣлаютъ это другіе, когда настанетъ время подвести итоги того, что сдѣлала Италия для исторіи Киренаики. Не хочу предвосхищать результатовъ ихъ изслѣдованія. Позволю себѣ однако дать нѣсколько иллюстрацій того, какъ много дали намъ новые тексты, найденные въ Киренѣ для древней исторіи вообще, а фрагменты ар-

хитектуры, скульптуры и керамики и т. д., добытые тамъ же, для исторіи греческаго искусства.

Архаическому періоду исторіи Киренаики принадлежить очень немногo текстовъ, притомъ текстовъ по большей части краткихъ и малосодержательныхъ. Но болѣе поздніе тексты, главнымъ образомъ II в. до Р. Хр., бросаютъ страженный свѣтъ и на эту эпоху. Такъ, такъ называемая «стела договоровъ» вводитъ насъ въ атмосферу, конечно полумифическую, того времени, когда Кирена впервые была основана выходцами изъ Феры, отражая вѣроятно какъ Киренскую, такъ и ферскую традицію и дала поводъ для оживленныхъ дебатовъ о достовѣрности преданія объ основаніи Кирены. Какъ документъ, который дается право гражданства группѣ новыхъ колонистовъ, стела вводитъ насъ въ ту эпоху, когда разраставшаяся греческая колонія была отъ времени и до времени сценой борьбы между старыми и новыми элементами въ населеніи, между киренской аристократіей рожденія и бурливой демократіей людей безъ рода и безъ племени, новыхъ поселенцевъ, появившихся изъ-за моря по зову, и, можетъ быть, безъ зова города.

Какъ эта стела, такъ и регулировка отношеній между ливійцами и греками въ другой историческѣйшей стелѣ, о которой много уже написано, такъ называемой стелѣ конституцій, позволяютъ намъ лучше понять и тѣ обрывочныя и скудныя данныя, которыя наше литературное преданіе сохранило намъ и которыя характеризуютъ режимъ древнихъ тирановъ Кирены — Баттиадовъ, правившихъ въ Киренѣ болѣе двухъ столѣтій (отъ VII в. до Р. Хр. до середины V в. до Р. Хр.), и ихъ борьбу съ греческими элементами населенія, шедшими какъ и въ остальной Греціи по пути эволюціонной или революціонной демократизаціи строя Кирены и Киренаики. Несомнѣнно, что Баттиады (можетъ быть не всѣ въ той же мѣрѣ) старались опереться на всѣ элементы населенія Киренаики, какъ на грековъ, такъ и на ливійцевъ, и для этого стремились — какъ и всѣ греческіе тираны, предшественники Александра Великаго — слить во единo ливійцевъ и грековъ, создать изъ этого сліянія новую націю, примирить и объединить греческую Кирену и ливійскую Барку. Во многомъ ихъ работа была успѣшна. Уже древнѣйшіе колонисты далеко не были чистыми греками. Еще менѣе киренейцы болѣе позднихъ періодовъ. Одинъ взглядъ на портреты

киренейцевъ эллинистическаго и римскаго времени по-казываетъ, какъ много чуждаго, ливійскаго въ ихъ внѣш-номъ обликѣ. И все-таки послѣднее слово въ борьбѣ въ раннемъ періодѣ киренской исторіи (до Александра) оста-лось за греками и объединеніе, о которомъ думали Бат-тиады, не состоялось. Баттиады исчезли — въ послѣдней стадіи вассалы властителей Египта персидскихъ царей, — греческія республики остались со всѣмъ, что такъ для нихъ характерно: національной исключительностью, вну-тренними распрями, соперничествомъ между отдѣльными городами, но рядомъ съ этимъ острымъ чувствомъ своей великой культурной миссии, сознаниемъ тѣхъ обяза-тельствъ, которыя включаетъ въ себя право носить имя эллина, болѣзненной любовью къ матери-родинѣ и last but not least кипучимъ творчествомъ во всѣхъ областяхъ жизни.

Если архаическій періодъ Кирены, эпоха ея царей для насъ пока еще темень и остатки этого періода немно-численны, то эпоха республики — V и IV вѣка до Р. Хр. — представлена гораздо болѣе ярко и полно. Импозантны руины храма Зевса V в. до Р. Хр. на верхушкѣ одного изъ двухъ холмовъ Кирены, этого архитектурнаго шедевра, столь близкаго храмамъ Сициліи и Италии того же вре-мени. Грандіозенъ и богатъ второй (по времени) храмъ Аполлона внизу у источника, замѣнившій скромный и уз-кій первый архаическій храмъ. Строги и прозрачны ли-ніи архитектурныхъ фасадовъ многихъ гробницъ Кире-ны, которыя кажутся намъ болѣе архаичными, чѣмъ онѣ есть на самомъ дѣлѣ. И наконецъ поразителенъ размахъ творчества въ тѣхъ немногихъ скульптурахъ V в. до Р. Хр., которыми отъ времени и до времени награждаетъ насъ почва Кирены. Какъ глубоко совершененъ, на примѣръ, одинъ изъ рѣдкихъ портретовъ этой эпохи, недавно най-денная въ Киренѣ голова небольшой бронзовой статуи.

Еще богаче творчество IV в. во всѣхъ областяхъ, твор-чество того времени, когда вся колониальная Греція пере-жила эпоху своего наиболѣе могучаго подъема. Но IV в. уже былъ періодомъ, когда надвигалась вездѣ въ прече-скомъ мірѣ эпоха новаго подчиненія преческихъ респуб-ликъ монархіи. Въ концѣ этого вѣка Кирена вновь прину-ждена была подчиниться болѣе сильнымъ сосѣдямъ. И теперь, какъ и въ эпоху послѣднихъ Баттиадовъ, ея госпо-дами сдѣлались властители Египта, наслѣдники Алексан-

дра въ странѣ фараоновъ, греко-македонская династія Птолемеевъ.

Было ли время эллинизма, время господства Птолемеевъ въ Киренаикѣ временемъ упадка? Кто знаетъ? Думаю, что нѣтъ. Правда, политической свободѣ киренейскихъ городовъ пришелъ конецъ. Какъ ни силенъ былъ въ Киренѣ греческій республиканскій духъ, какъ ни ярко проявлялся онъ въ специфическомъ эллинскомъ романтизмѣ, столь ярко сказывающемся, напримѣръ, въ новомъ опубликованіи старыхъ дельфійскихъ и киренскихъ нормъ сакрального права на такъ называемой «стелѣ декреталій» III в. до Р. Хр., гдѣ намъ такъ интересно читать на камнѣ эллинской эпохи нормы права, которыя были живы въ эпоху Эсхила и уже умирали во времена Платона, все же господами и вершителями судебъ Киренаики были теперь не отцы города Кирены, ея совѣтъ, народъ и магистраты, а далекій царь, сидѣвшій въ Александріи и представленный въ Киренѣ вице-царемъ, членомъ александрійскаго дома. «Стела конституцій», найденная въ Киренѣ, — какъ ее ни датировать, времемъ ли первого или временемъ третьяго Птолемея, — была дѣломъ новыхъ господъ. Конституція, какъ мы ее читаемъ на этомъ камнѣ, не была создана гражданами Кирены для самихъ себя, а была продиктована имъ свыше. Въ конституціи этой Птолеми оставили за собой рѣшающее слово въ дѣлахъ Кирены, сохранивъ за городомъ только призракъ свободы.

Интересно въ этомъ документѣ между прочимъ и то, какъ Птолеми вновь послѣ ряда столѣтій пытались поднять нить политики соглашенія, соединенія и амальгамы ливійцевъ и прековъ, а не господства и подчиненія, вырванную изъ рукъ Баттіадовъ греками Кирены. Объ этомъ такъ опредѣленно говорятъ параграфы конституціи Кирены, продиктованные Киренѣ Птолемеями, которыми дѣти смѣшанныхъ браковъ объявляются гражданами Кирены и въ которыхъ такъ заботливо охраняется связь между греческими городами Киренаики и ливійскимъ ея населеніемъ. Все это въ Киренѣ несомнѣнно не было новшествомъ, а возобновленіемъ старой традиціи, традиціи Баттіадовъ. Недаромъ же въ Египтѣ Птолеми держатся иной, рѣзко про-эллинской политики.

Но ограниченіе политической свободы греческихъ городовъ къ упадку благосостоянія и къ пониженію культурнаго уровня не повело. Стоитъ взглянуть на скульпту-

ру этого времени, мѣстную и ввозную. Несомнѣнно, статуя Афродиты, украшающая теперь Музей Термъ въ Римѣ, — шедевръ греческой эллинистической пластики. Немного имѣется и эллинистическихъ портретовъ, которые могутъ помѣряться съ чудной портретной головой, которую приято считать портретомъ Береники, той самой, которую прославилъ Каллимахъ, и которая несомнѣнно есть эллинистическій оригиналь III в. и интересной головой одного изъ первыхъ Птолемеевъ, нынѣ въ Киренѣ, здѣсь воспроизводимой. То же богатство и тотъ же подъемъ творчества отражаются и въ произведеніяхъ художественнаго ремесла, пока еще — вплоть до изслѣдованія некрополей — рѣдкихъ въ музеяхъ Кирены и Бенгази.

Если въ IV в. до Р. Хр. Кирена можетъ похвастаться однимъ изъ величайшихъ математиковъ Греціи, Феодоромъ, ученикомъ котораго былъ Платонъ, для этого побывавшій въ Киренѣ; если въ то же приблизительно время въ Киренѣ родилась и процвѣтала одна изъ наиболѣе могучихъ вполнѣдствіи школъ софистической философіи, школа Аристиппа, позднѣе создавшая въ Афинахъ Эпикура, то и въ эпоху эллинизма Кирена творчествомъ не обдѣнѣла. Правда, ея сынамъ теперь тѣсно въ провинціальной Киренѣ. Въ греческомъ мірѣ теперь появились столицы, и выдающіеся киренцы ищутъ болѣе широкихъ горизонтовъ, эмигрируютъ въ Александрію и здѣсь тѣсно связываются со дворомъ и музеемъ Птолемеевъ. Но все же и знаменитый Каллимахъ, создатель эллинистической поэзіи, и славный Эратосѣенъ, одинъ изъ отцовъ эллинистической науки, хотя и живутъ въ Александріи, но киренцы по рожденію, воспитанію и несомнѣнно по духу. Не случайность и то, что въ Афинахъ въ школѣ Платона двое изъ ея директоровъ, посредственный Лахидъ и творческій Корнеодъ, такъ много сдѣлавшій для теоріи познанія, — киренцы. Но упадокъ надвигался. Принесли его съ собой однако не македонцы и александійскіе греки, а римляне, такъ жестоко и такъ грубо ограбившіе, унижившіе и развратившіе Грецію. На черные годы римской имперіи въ дѣла греческой Африки неожиданный и яркій свѣтъ бросаетъ одна только что открытая, поразительно сохранившаяся стена. Предоставимъ тому, кто нашель ее, проф. Оливеріо, сообщить намъ текстъ этого интереснѣйшаго документа и сдѣлать изъ него необходимыя историческіе выводы. Поэтому только два слова объ этомъ документѣ.

Въ срединѣ II в. до Р. Хр. шла затяжная и глубокая смута въ Египтѣ. Два царя — Филометоръ и Еввергетъ — оспаривали престоль одинъ у другого, внутри страны шла война мѣстныхъ жителей противъ греко-македонскихъ властителей, а извнѣ прозила опасность вторженія въ Египетъ сирійскихъ царей. Распря Филометора и Еввергета развивалась не безъ вмѣшательства Рима. Проблемы сирійская и египетская уже давно были проблемами дня въ римскомъ сенатѣ. Уже болѣе 50 лѣтъ обсуждались онѣ «отцами» въ куріи и дѣлателями римской политики — капиталистами и банкирами на форумѣ. Кого изъ двухъ соперниковъ въ Египтѣ поддержать, несомнѣнно было одной изъ важнѣйшихъ проблемъ дня въ Римѣ въ пятидесятихъ годахъ второго вѣка. Сначала римляне или одна изъ сильныхъ политическихъ партій Рима поставили ставку на Филометора. Новый документъ даетъ понять, какъ Еввергетъ перетянулъ Римъ на свою сторону. Стела даетъ намъ текстъ завѣщанія Еввергета, которымъ, на случай своей безвременной кончины, этотъ беззащитный политикъ, правившій тогда на Кипрѣ и въ Киренѣ, дѣлаетъ своимъ наследникомъ римскій народъ.

Не стану говорить объ историческомъ значеніи этого новаго факта. Это дѣло издателя надписи, результатовъ изслѣдованія котораго не хочу предвосхищать. Напомню одно. Завѣщаніе Еввергета открываетъ собою серію подобныхъ же. Послѣ Еввергета одинъ восточный царь за другимъ передаютъ этимъ же путемъ свои права Риму: сначала Аттаръ III Пергамскій, затѣмъ Никомедъ Византійскій и наконецъ сынъ только что упомянутаго Птолемея VII, Еввергетъ II Акіонъ въ Киренѣ. Но вина римлянъ была, что того же не сдѣлали Мифродатъ V Понтийскій и Аріаратъ Каппадокійскій. Что это? Отчаяніе восточныхъ претендентовъ, психическая зараза однихъ другими, или что иное? Стела Еввергета изъ Кирены позволяетъ думать, что эти завѣщанія не были дѣломъ свободной воли царей, а продиктованы были имъ изъ Рима, какъ цѣна престола. За власть униженные и порабощенные цари платили предательствомъ. А римляне умывали руки и говорили: намъ много не нужно, мы не имперіалисты, «bella gerant alii», а намъ все дается безъ войны, по доброй волѣ властителей нашихъ будущихъ подданныхъ.

Развратъ и смута были лозунгами дня въ Киренѣ послѣ Еввергета, а съ ними вмѣстѣ и раззореніе. За власть

въ Киренѣ Акіонъ несомнѣнно заплатилъ дорого. Еще глубже стало раззореніе и униженіе, когда мѣсто Акіона во дворцѣ царей заняли римскіе чиновники второго ранга. Правитель новой римской провинціи самъ даже не жилъ въ Киренѣ, а на Критѣ, въ Горванѣ. Въ Киренѣ же царили его помощники и могучіе публичаны, захватившіе все, что когда то принадлежало царямъ и присоединявшіе къ этому многое изъ того, что раньше принадлежало гражданамъ греческихъ городовъ, обычными для публикановъ способами: налогами и реквизиціями, ростовщическими займами и экзекуціями. Впрочемъ, даже для нихъ Кирена была *quantité negligible*. И поэтому особенно заботиться объ ея процвѣтаніи и безопасности не стоило. Наступили времена, похожія на положеніе дѣла въ данный моментъ. Населеніе стянулось въ города, вѣгъ ихъ шла война, царили бедуины Мармарики и Сирты. Надвигалась нищета, а съ нею безлюдіе.

Когда полумракъ, царящій въ социальной и экономической исторіи Кирены въ эпоху повдней республики Рима, пронизывается на минуту лучемъ свѣта въ эпоху Августа благодаря находкѣ въ Киренѣ интереснѣйшей стелы, на которой выгравированы пять эдиктовъ Августа, относящихся прямо или косвенно къ Киренѣ, Кирена предстаетъ передъ нами какъ небольшой бѣдный городъ съ группой римскихъ колонистовъ, угнетающихъ прековъ, и съ греческимъ сильно обѣднѣвшимъ населеніемъ, ненавидящимъ и боящимся римскихъ угнетателей. Не мѣсто въ этомъ краткомъ очеркѣ пересказать то, что сдѣлали римскіе императоры и прежде всего Августъ для Кирены. Не сомнѣвается въ томъ, что они положили предѣлъ анархіи, упорядочили границы, положили предѣлъ тому пожару, который охватилъ Африку въ самомъ концѣ I в. до Р. Хр., опраничили произволь и насилія римскихъ чиновниковъ и откупщиковъ. Но въ полномъ размѣрѣ благосостояніе въ Киренаику не вернулось. Рынокъ римской имперіи, питаемый такими богатѣйшими земледѣльческими провинціями какъ Африка и Египеть, не былъ тѣмъ, чѣмъ были для ранней Киренаики Греція классической эпохи съ ея ограниченной сферой греческой колонизаціи, экономическимъ кругозоромъ, и эллинистическій міръ, не выходившій долгое время за предѣлы Востока.

Сильнымъ ударомъ поэтому для Киренаики былъ тотъ погромъ, который произвели въ Египтѣ и Киренаикѣ въ

правление Траяна евреи, вѣроятно, тѣ, что нахлынули въ Египетъ и Киренаику послѣ жестокой расправы съ ними на ихъ родинѣ Веспасіана и Тита. Надписи и руины красно-рѣчииво говорятъ о томъ жестокомъ разрушеніи, которому подвергли евреи-фанатики, озлобленные и ослѣпленные ненавистью ко всему греко-римскому, свою пріемную родину. Тысячи людей погибли, сотни зданій лежали въ развалинахъ. Адриану пришлось затратить огромныя средства, чтобы поставить Киренаику на ноги. О его дѣятельности говорятъ опять-таки десятки надписей и исторія почти всѣхъ большихъ зданій города Кирены. Но Адриановскій Ренессансъ длился недолго. Настала смута III в. по Р. Хр., а съ нею конецъ благосостоянія Кирены. Дальнѣйшая ея исторія уже не исторія ея жизни, а ея медленной смерти, отъ которой пробудили ея кирки и заступы современныхъ археологовъ.

#### IV.

Что же открыли археологи въ Киренѣ? Позволю себѣ пригласить читателя прогуляться со мной по руинамъ Кирены и внимательно присмотрѣться къ тѣмъ частямъ ихъ, которыя уже освободили кирка и лопата отъ вѣкового мусора. Ихъ еще немного, этихъ раскопанныхъ островковъ, но они позволяютъ уже составить себѣ сужденіе объ общемъ видѣ города въ разные періоды его развитія.

Древнѣйшее зданіе города это храмъ Аполлона Киренейскаго, бога родины киренейцевъ, руководителя ихъ въ ихъ странствованіяхъ, приведшихъ ихъ въ Кирену. Древнее святилище расположилось не на верхушкѣ, а на склонѣ позднѣйшаго акрополя и цитадели Кирены, тамъ, гдѣ изъ обрывистой стѣны высокаго холма бьетъ обильный источникъ чистой и свѣжей воды, который ливійцы звали Кира. Имя это удержали и колосисты. Кирой или Киреной звали они нимфу источника, гения покровителя города, ливійскую супругу Аполлона Корнейскаго, ихъ руководителя. Она гостеприимно принимала ихъ и около нея они поселились. Свято было это мѣсто и немудрено, что около него расположились всѣ древнѣйшія и наиболѣе почитаемыя святилища: и храмъ Аполлона, и небольшой храмъ Артемиды, оба съ большими древними алтарями, и свя-

тилище ночной Артемиды-Гекаты, и жилище подземных боговъ — Плутаній и любопытнѣйшая агора (площадь) боговъ, такая же какъ на родинѣ киренцевъ въ Ферѣ: причудливой формы площадь, густо усыпанная алтарями и алтариками разныхъ боговъ, каждый съ именемъ бога и съ патерой для возлияній. Въ это «мѣсто свято», напоминающее Дельфы и Делось, вели въ позднѣйшее эллинистическое время изящныя Проиллеи. Отъ него рукой подать и до другого театра, съ котораго открывается широкій видъ на равнинное плато, ограничивающую его со стороны моря гряду и синее безбрежное море. Рядомъ съ храмомъ, надъ источникомъ зияютъ устья древнѣйшихъ гробницъ, начинается древнѣйшій некрополь, продолжающійся вдоль дороги въ Аполлоноію.

Ясно, что городъ древнѣйшихъ колонистовъ не подымался надъ святилищемъ и источникомъ, а спускался отъ него внизъ къ долинѣ, гдѣ были нивы и сады древнѣйшихъ поселенцевъ. Больше чѣмъ вѣроятно и то, что ни древнѣйшее святилище, ни древнѣйшій городъ не были укрѣплены. Охраняли городъ супруги Аполлонъ и Кирена, соглашение и брачные союзы грековъ и ливійцевъ.

Интересно, что въ римское время въ ближайшемъ соседствѣ съ Аполлономъ, захвативъ часть священной территории, расположились роскошныя термы, много разъ перестроенныя, наиболѣе основательно послѣ еврейскаго погрома Адрианомъ. Баня для Рима, была важнѣе и святѣе Аполлона.

Прошли десятки лѣтъ послѣ постройки древнѣйшаго храма. Городъ росъ. Прежней безопасности не было. Греки и ливійцы стали не супругами и компаніей на акціяхъ, а врагами. Новая времена потребовали новаго города. Старые и новые колонисты Кирены стараго святаго мѣста не тронули, оставили его тамъ, гдѣ оно было, но сами ушли наверхъ, на тѣ два холма, что высятся надъ святилищемъ. На одномъ выросъ грандіозный храмъ Зевса, позднѣе превращенный въ храмъ римскаго Юпитера — императора Коммода, на другомъ высоко надъ живописнымъ сврагомъ поднималась цитадель, тайна которой еще не разгадана, несмотря на усилія кратковременной американской археологической экспедиціи, кончившейся насильственной смертью одного изъ руководителей ея — De Sou. Кто жилъ въ этомъ новомъ акрополѣ? Какой богъ, какая богиня? За стѣнами акрополя вдоль по скло-

ну оврага какъ *contre-escarpe* выдвинулась впередъ линия посвященныхъ богамъ и божкамъ Кирены нишъ и алтарей въ скалъ, авангардъ киренской гражданской милиции. Какого бога защищала эта рать?

Новый городъ на холмахъ еще загадка. Только часть его разрыта. Это — «агора» города, политической и религиозный его центръ, по ту сторону цитадели, если подыматься отъ храма Аполлона къ цитадели и отъ цитадели къ плато агоры. Здѣсь все ново: и планировка по новой Гипподамовской прямоугольной модѣ, и боги покровители. На площади, какъ она стояла въ римское время, царили боги Рима: по одну сторону высился Капитолій Кирены, какъ римской колоніи, по другую — Себастей, храмъ спасителя Кирены отъ набѣговъ бедуиновъ и отъ легальнаго грабежа республикановъ Августа съ прилегающимъ портикомъ, посвященнымъ Зевсу и Августу. Около капитолія расположились политическія зданія: пританія, гдѣ застѣдали отцы города, номофилакій, городской архивъ. Противъ него чудный памятникъ морской побѣды ранняго эллинистическаго времени: Нике, на носу побѣдоноснаго корабля. Но тонъ площади даютъ не эти поздние пришельцы. На ней, какъ и по ту сторону большого оврага, въ который обрывается цитадель, царятъ боги подземные, боги таинственныя или боги таинства — Деметра и ея спутники, дарители плодородія на землѣ и блаженства за гробомъ. Только что восстановлена проф. Оливеріо дверь интереснаго храма Деметры, исторія котораго еще не ясна. А рядомъ съ храмомъ стоятъ два цилиндрическихъ храма или небольшой храмъ съ большимъ алтаремъ, оба цилиндрическіе, несомнѣнно и тотъ и другой центры подземнаго хтоническаго культа, напоминающіе Эрехсейонъ въ Афинахъ и круглый храмъ-павильонъ (Фолость) Аскленіея въ Эпидаврѣ.

Наши литературныя свидѣтельства говорятъ о томъ, что на площади города похороненъ былъ герой, основатель города — Баттъ и рядомъ съ нимъ тотъ пророкъ Дельфійскаго бога, который привезъ его кумьтъ въ Кирену на зарѣ киренской республики, Онимасть по имени. Сочетаніе само по себѣ довольно странное, тѣмъ болѣе, что и Баттъ и Онимасть были конкурентами Аполлона Дельфійскаго по части авторизованныхъ оракуловъ. Но свидѣтельство имѣется ясное и определенное и съ нимъ приходится считаться.

Со времени открытія двухъ цилиндрическихъ сооруженийъ принято говорить о нихъ, какъ о могилахъ Батта и епо «сожителейъ» «Трипаторовъ», родовыхъ боговъ и Онимаста. Съ этимъ какъ будто гармонируетъ тотъ фактъ, что въ большомъ цилиндрическомъ сооруженіи подъ землей имѣется ровъ съ двумя дѣленіями (могилы Батта и Трипаторовъ) и надъ нимъ полукруглое двуступенчатое сѣдалище или алтарь. Признаюсь, обычное толкованіе меня не удовлетворяетъ. Цилиндрическое святилище очень напоминаетъ святилища подземныхъ боговъ. Стоитъ оно рядомъ съ храмомъ Деметры, съ которымъ позднѣе преданіе связываетъ и Батта. Таинственное подземелье болѣе напоминаетъ яму для стока крови жертвенныхъ животныхъ (бофросъ), чѣмъ могилу. А сѣдалище надъ нимъ больше сидѣнье для жрецовъ хмистовъ, чѣмъ алтарь. Наконецъ нашъ tholos такъ непохожъ на многочисленные heroa (могилы и храмы героев), которымъ тамъ много въ руинахъ античной Греціи.

Много другихъ вопросовъ ставятъ руины Кирены. Раскопки едва начались, а разслѣдованіе раскопаннаго еще въ стадіи предварительной. Но дѣло идетъ, площадь раскопанныхъ зданій ширится и недалеко то время, когда область Аполлона и Кирены соединится съ агорой и цитаделью, а эта послѣдняя съ храмомъ Зевса, когда заговорятъ все еще нѣмыя гробницы и расскажутъ намъ многое и многое о судьбахъ города и языкомъ архитектуры и болѣе яснымъ языкомъ надписей.

Надо надѣяться, что работа итальянскихъ коллегъ въ Киренѣ будетъ и дальше развиваться такъ же быстро и идти такъ же скоро, какъ это было въ послѣднія десяти лѣтъ. Пожелаемъ имъ успѣха, поблагодаримъ за то, что они намъ дали, и будемъ надѣяться, что близко то время, когда сотни туристовъ будутъ въ состояніи видѣть красоту Кирены, наслаждаться богатствомъ ея музеев, поучаться въ руинахъ города, какъ это удалось мнѣ въ апрѣльскіе бурные дни Anno Domini MCMXXXI.

**М. Ростовцевъ.**

# Пути Россіи

## ИМПЕРІЯ.

### IV.

Россійская Имперія походитъ на многія строенія Востока: одинъ куполь покрываетъ все зданіе и, изнутри, сливается со стѣнами и, какъ-будто, уходитъ въ землю. Все строеніе — единый сводъ. Такова и Россійская Имперія: царскій куполь образуетъ все государственное зданіе. Русскіе историки, въ своихъ научныхъ построеніяхъ, возстановливали государственное зданіе Россійской Имперіи по западнымъ образцамъ: клали въ основу классы и сословія, надъ ними воздвигали государственныя учрежденія и все зданіе заключали императорской властью. Но такое построеніе — только иллюзія западнаго отблеска на имперскомъ зданіи. На самомъ дѣлѣ, государственное зданіе Россійской Имперіи строилось не такъ: какъ Богъ творитъ міръ изъ себя, такъ и его земной намѣстникъ «самъ строитъ» свое царство -- народъ только глина въ рукахъ строителя. Въ Россійской Имперіи классы, сословія и государственныя учрежденія — творенія царя. Собственнаго бытія они не имѣютъ. Если многимъ это казалось иначе, то только потому, что русскіе императоры два вѣка старались покрыть свои государственныя творенія формами, взятыми съ Запада и къ другому порядку вещей принадлежащими. Западные формы предполагали и западное содержаніе. Но были зрячіе люди, которые видѣли, что это не такъ: западные формы скрывали восточный остовъ. Это видѣли «Спасовы очи» (какъ его звали товарищи по семинаріи) самаго крупнаго государственнаго дѣятеля Имперіи въ 19 в. — Сперанскаго. Это видѣли проницательные иностранцы. «Нѣтъ страны въ мірѣ, — писалъ Сперанскій, — гдѣ слова соотвѣтствуютъ вещамъ мѣнѣ, чѣмъ въ Россіи». «Россія — страна фасадовъ». «Пользоваться административными достижениями европейскихъ

государствѣ — чтобы править 60-милліоннымъ народомъ по восточному — вотъ задача, которую, со временъ Петра I, разрѣшаютъ правители Россіи» (де Кюстинъ). Въ государственномъ строеніи Россійской Имперіи государь — все.

Что такое царская власть въ государственномъ строеніи Имперіи вплоть до реформъ Александра II-го? — Начало и конецъ, основа и завершеніе всего государственнаго бытія. Государь — единый законодатель, единый судія и единый управитель. «Въ Россіи государь есть живой законъ» (Карамзинъ). «Царь — судія и подобенъ онъ Богу» (Посошковъ). «Власть управленія во всемъ ея пространствѣ принадлежитъ государю» (Основные законы). «Маестась или величество, — говоритъ «Правда воли монаршей», — единымъ токмо верховнымъ властямъ подается и значить не токмо достоинство ихъ, превысоекое и котораго, по Бозѣ, большаго нѣтъ въ мірѣ, но и власть законодательную, крайній судъ износящую, повелѣніе неотрицаемое издающую, а самую никаковымъ же законамъ не подлежащую». Потому россійскіе императоры — государи самодержавные и неограниченные. Самодержавные — ибо въ особѣ императора соединяются всѣ стихіи державнаго права, во всей полнотѣ ихъ, безъ всякаго участія и раздѣленія. Неограниченные — ибо никакая власть на землѣ, власть правильная и законная, не можетъ положить предѣловъ верховной власти россійскаго самодержца. Россійскій самодержецъ не отчуждаетъ до конца — «во всемъ пространствѣ ея» — никому ни единой доли своей власти — ни лицамъ, ни сословіямъ, ни учрежденіямъ. Всякая власть въ Россійской имперіи есть изліяніе монаршей. Монаршая власть проникаетъ въ тѣло россійскаго государства до послѣднихъ глубинъ, не встрѣчая ни тѣни сопротивленія — въ правахъ лицъ, сословіи или народа. Она безпредѣльна. Она не отвѣстна ни передъ кѣмъ на землѣ. Она отвѣчаетъ только передъ Богомъ и своей совѣстью. Ибо само ея происхожденіе — Божественное. «Верховное начало въ Россіи, — говоритъ Сперанскій, — есть государь самодержавный, соединяющій въ особѣ своей власть законодательную и исполнительную и располагающій неограниченно всѣми силами государства. Начало сіе не имѣетъ никакихъ предѣловъ». «Императоръ Всероссійскій, — говоритъ первая статья свода законовъ, — есть монархъ самодержавный

и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страхъ, но и за совѣсть самъ Богъ повелѣваетъ». «Его Величество, — говоритъ Прокоповичъ въ «Правдѣ воли монаршей», — есть самовластный монархъ, который никому на свѣтѣ о своихъ дѣлахъ отвѣту дать не долженъ; но силу и власть имѣетъ свои Государства и земли, яко Христіанскій Государь, по своей волѣ и благомыслию управлять». И Посошковъ въ «Книгѣ о скудости и богатствѣ»: «Нашъ царь... Самодержавный Повелитель; какъ чему повелить быть, тако и подобаетъ тому быть неизмѣнно, и нимало ни на право, ни на лѣво неподвижно». «Царь, яко Богъ, еже восхоцетъ, во области своей можетъ сотворить». — Такъ какъ россійскій императоръ есть единственный источникъ всѣхъ властей въ государствѣ, и всякая власть въ Россійской Имперіи есть изліаніе монаршей, то всѣ государственныя учрежденія, установленныя для осуществленія верховной власти — законодательныя, исполнительныя и судебныя, — въ существѣ своемъ, суть только орудія монарха и собственной силы не имѣютъ. Ни одно изъ нихъ не можетъ сдѣлать никакого движенія безъ воли государя. Сенатъ и Государственный Совѣтъ, — только отдѣленія внутренняго государева кабинета. Министры — только ближніе государевы слуги, «руки вѣнценосца». Воля государя приводитъ ихъ въ движеніе. Воля государя ихъ останавливаетъ. Собственной воли они не имѣютъ. «Среднія власти», — говоритъ Наказъ императрицы Екатерины, — посредствующія между монархомъ и народомъ, суть «малые протоки, сирѣчь правительства, черезъ которыя изливается власть государева». «Ни одно изъ нихъ мѣсть (Совѣтъ, Сенатъ, Комитетъ Министровъ) собственной политической силы не имѣетъ: всѣ они зависятъ и въ началѣ, и въ концѣ, и въ бытіи, и въ дѣйствиіи отъ единой воли и мановенія силы самодержавной» (Сперанскій). — То же и мѣстныхъ государственныхъ учрежденія — выборныя и коронныя. И у нихъ нѣтъ и тѣни собственной воли. И они движутся только мановеніемъ силы государевой. Выборныя учрежденія — не самоуправляющіяся общины Запада, осуществляющія свои обрѣтенныя въ борьбѣ права и вольности. Это — очень напоминающія московскія — государевы мѣстные службы по выборамъ — дворянскія и городскія; казенныя вѣдомства на мѣстахъ, исполняющія приказы сверху. А надъ ними хозяева и опекуны губерній — губернаторы, — которые обязаны блюсти

«навѣренное каждому изъ нихъ благо полумилліона россіянъ» и которые, вмѣстѣ съ тѣмъ, являются «блюстителями неприкосновенности верховныхъ правъ самодержавія». — Какъ государственныя учрежденія, такъ и государственныя сословія — чины и состоянія. Это не живые организмы съ собственной волей и правами, которыя «опредѣлило имъ естество». Это творенія императорской власти, движимыя волей монарха. До второй половины 18-го вѣка, государственныя чины, — служилые и тяглые, — какъ въ Московскомъ царствѣ, — крѣпостные государю: они неподвижно стоятъ въ государевомъ крѣпостномъ уставѣ и по жизни государю крѣпки. Во второй половинѣ служилые чины отдѣляются отъ тяглыхъ: получаютъ отъ государей въ даръ «вольность и свободу» и формируются ими въ корпусъ россійскаго благороднаго дворянства. Изъ тяглыхъ чиновъ выдѣляется знатное купечество, которое тоже освобождается отъ крѣпостной службы. Остальные чины остаются по прежнему крѣпкими государю — казенными и помѣщичьими рабами. Но и освобожденныя отъ службы и тягла сословія не становятся тѣмъ самымъ свободными — въ лучшемъ случаѣ, они могутъ почитаться вольноотпущенными. Купечество, по прежнему, остается однимъ изъ видовъ «разнаго званія подлыхъ людей». Дворянство, по прежнему, отличается отъ подлыхъ людей, главнымъ образомъ, своей службой государю. Государственный порядокъ требуетъ, чтобы въ Имперіи было сословіе, назначеніе котораго — служить и управлять, и другія сословія, жребій которыхъ — повиноваться. Дворянскій корпусъ и долженъ быть такимъ служилымъ и правящимъ сословіемъ. «Дворянство, — говорили дворянскіе депутаты въ Екатерининской Комиссіи, — должно быть особливимъ родомъ людей въ государствѣ, обязанность которыхъ служить ему и изъ своей среды замѣщать власти среднія, поставленныя между государемъ и народомъ». Потому, «вся слава и честь дворянства — жертвовать себя на службѣ Е. И. В.». Но, чтобы исполнять государеву службу по управленію Имперіей, дворяне должны быть отдѣлены отъ прочихъ разнаго рода и званія людей правами и преимуществами. Эти права и преимущества и поднимаютъ дворянство надъ другими сословіями на недостигаемую высоту. Но передъ императорской властью они ничтожны, — они не имѣютъ и тѣни собственной силы. Они исходятъ отъ государя, — по-

жалованы императорской властью и продолжают — и послѣ пожалованія — покоиться въ ея лонѣ. Императорская власть безгранична — ея собственныя творенія не могутъ полагать ей предѣловъ. Когда Петръ I подтверждалъ права и вольности лифляндскихъ сословій, онъ оговорилъ: «елико оныя къ нынѣшнему правительству и времени приличаются»; а также: «однакожь наше и нашихъ государствъ высочество и права предоставляя безъ предосужденія и вреда». Что было оговорено по отношенію къ лифляндскимъ сословіямъ, то еще въ большей мѣрѣ примѣнялось въ отношеніи вольноотпущенныхъ русскихъ: права и преимущества благороднаго дворянства — уже не говоря о купечествѣ — ни въ малой мѣрѣ не могли предосуждать самодержавіе и неограниченность императорской власти. Въ рукахъ самодержавной власти дворянство, по прежнему, оставалось безвольнымъ орудіемъ, «тѣстомъ, — по выраженію Кошелева, — изъ котораго преимущественно пеклись чиновники». «Права благородныхъ, — писалъ Карамзинъ, — суть не отдѣлъ монаршей власти, но ея главное необходимое орудіе, двигающее составъ государственный». Когда Павелъ I разрушалъ дворянское и городское самоуправленіе и сѣкъ благородныхъ, онъ совершалъ неразумные, съ государственной точки зрѣнія, поступки, но онъ не совершалъ ничего незаконнаго: государь не можетъ совершать незаконіе, ибо его воля и есть законъ. И, когда, въ отвѣтъ на слова иностраннаго посла, что онъ обѣдалъ у знатнаго вельможи кн. Куракина, Павелъ сказалъ ему: «Знайте, господинъ посолъ, что въ Россіи знаютъ только тотъ, съ кѣмъ я говорю, и только пока я съ нимъ говорю», — онъ выразилъ то, что точно соответствовало російской самодержавной конституціи: въ Російской Имперіи всѣ государственныя власти и всѣ права лицъ и сословій покоятся въ лонѣ самодержавной власти императора: оттуда истекаютъ и туда возвращаются. — И больше того: даже личныя и имущественныя права подданныхъ русскаго самодержца, къ какимъ бы сословіямъ они ни принадлежали, не могутъ полагать предѣловъ ея воли. Государь самъ устанавливаетъ эти права и самъ защищаетъ ихъ отъ посягательства другихъ лицъ. Но когда русскій самодержецъ находитъ это нужнымъ, онъ вступаетъ въ личныя и имущественныя права своихъ подданныхъ и не совершаетъ при этомъ незаконія. Это твердо знали всѣ подлые имперскіе люди, вѣря непоколеби-

мо, что въ Россійской Имперіи, какъ въ Московскомъ царствѣ, «все — Божье и Государево»: и души ихъ, и животишки. Но это знали и благородные дворяне. «Государь. — писалъ въ 1804 году большой опальный вельможа Н. Панинъ Александру I, — высшая власть, врученная Вашему Императорскому Величеству Божественнымъ Провидѣніемъ, не имѣетъ границъ. Никакая конституція, никакой законъ не ставитъ ей предѣловъ. Выражая это однимъ словомъ, она абсолютна. Мое имущество, моя свобода, моя жизнь — въ Вашихъ рукахъ, Государь». «Государь! — писалъ въ 1808 году ему же Каразинъ, — Ты самодержецъ, неограниченный властитель надъ моей жизнью. Я — ничтожный твой подданный... Монархъ! Здѣсь лежу я въ прахъ моемъ и ожидаю моей участи». Вотъ почему, если снять съ Россійской Имперіи внѣшніе западные покровы и обнажить ея подлинную сущность, она окажется тѣмъ же, чѣмъ было Московское царство — восточной теократіей и государевымъ Домомъ. Что такое Россійская Имперія въ глазахъ ея подданныхъ? — Держава російскаго императора, — Держава царствія Его Императорскаго Величества. Для имперскихъ людей, государь выше государства, ибо государство относится къ государю какъ слѣдствіе къ причинѣ. Государь всегда впереди государства. Престоль всегда впереди отечества. Или точнѣе: Государь и есть выраженіе государства; Государь «есть образъ отечества» (Карамзинъ). Ибо, по понятіямъ имперскихъ людей, не народъ ставитъ во главѣ себя государя, а государь творитъ свой народъ, и черезъ государя миліоны людей становятся государствомъ. Потому и для иностранныхъ наблюдателей: Россійская Имперія — съ самаго основанія ея и вплоть до реформъ царя-Освободителя — грандіозная восточная деспотія, въ которой государь для подданныхъ — земной Богъ, а государство — его имущество, и гдѣ всѣ подданные — рабы: одни — рабы императора, другіе — рабы рабовъ. Государство лѣпится вокругъ государя, какъ рой вокругъ матки. «Имперія, — писалъ почти въ серединѣ 19 вѣка маркизъ де Кюстинъ, — это — царствующій императоръ». «Императоръ — Господь Богъ; онъ — жизнь, онъ — любовь для этого... народа». «Нѣтъ въ наши дни на землѣ ни одного человѣка, который бы пользовался такой неограниченной властью — ни въ Турціи, ни даже въ Китаѣ». «Самодержавнѣйшая въ мірѣ имперія», — писалъ о Россійскомъ Государствѣ

18-го вѣка Ключевскій. Въ 19 вѣкѣ она стала еще самодержавнѣе.

Будучи самодержавнѣйшей монархіей въ мірѣ, Россійская Имперія, тѣмъ не менѣе, по внѣшнему облику, нисколько не походила на восточную деспотію. Россійскіе императоры, какъ всѣ образованные русскіе имперской эпохи, -- люди Запада. Они съ презрѣніемъ смотрятъ на Востокъ и всей душой тянутся къ Европѣ. Восточное самовластіе и деспотичество имъ ненавистно. Передѣлывая Московское царство по западнымъ образцамъ, они прилагаютъ всѣ усилія, чтобы облечь его и въ западныя государственныя формы. Что отличаетъ истинную — правомѣрную — западную монархію отъ восточной деспотіи? Восточная деспотія управляется волею и прихотью лицъ — монарха и его слугъ. Западная правомѣрная монархія управляется на твердыхъ основаніяхъ закона. Въ истинной монархіи начало и источникъ народнаго блаженства — добрые и непремѣняемые законы. Среди законовъ правомѣрной монархіи выдѣляются основныя — коренныя, фундаментальныя. Фундаментальныя законы охраняютъ личныя и имущественныя права гражданъ, вольности и привилегіи сословій и опредѣляютъ нормальное теченіе дѣлъ государственныхъ -- «форму, каковою публичной власти дѣйствовать». Истинная монархія «должна имѣть свои основательныя законы и сохранять всѣ установленныя». Самовластіе или деспотичество, «послѣдую единому своему хотѣнію... всѣ законы разрушаетъ» (Кн. Щербатовъ). Что нужно для того, чтобы монархія могла утвердиться на незыбленныхъ основаніяхъ закона? — Необходимо для этого, чтобы управление государствомъ производилось не лицами, а учреждениями, — въ производствѣ публичныхъ дѣлъ должна дѣйствовать не сила персонъ, а власть мѣстъ государственныхъ. Управление не лицами, а мѣстами — второй отличительный признакъ истинной монархіи. Государственныя мѣста должны быть устроены такъ, чтобы всѣ публичныя власти — законодательная, судебная и исполнительная — были строго отдѣлены другъ отъ друга. Точное опредѣленіе границъ каждой власти устраняетъ неизбѣжныя тренія въ государственныхъ дѣлахъ. Не можетъ быть порядка и законности тамъ, гдѣ всѣ государственныя дѣла безъ раздѣленія смѣшаны. И, наконецъ, послѣдній отличительный признакъ истинной монархіи, опредѣляющій всѣ остальные. Чтобы фундаментальныя зако-

ское царство въ европейскую имперію, взяли всѣ государственныя мѣста, охраняющія святость этихъ законовъ, были независимы, надо наподнить ихъ людьми, обладающими собственной волей — неопредѣляемой монархомъ: представителями свободныхъ сословій или народа. Государственные мѣста должны не столько выражать волю монарха, сколько быть ея противовѣсомъ. Таковы основы правомѣрной монархіи, какъ ихъ опредѣлила теорія и практика Запада. — Россійскіе императоры, передѣлывая Московское царство въ европейскую Имперію, взяли всѣ государственныя формы Запада: управление сообразно законамъ, — обыкновеннымъ и фундаментальнымъ — государственныя мѣста, раздѣленіе властей, права и вольности сословій. Но они непреклонно отказывались взять ту форму, которая гарантируетъ всѣ остальные: независимыя отъ монаршей воли государственныя учрежденія, наполненныя представителями сословій или народа. Ибо они правильно полагали, что независимыя представительныя учрежденія монаршею волю ограничиваютъ. Между тѣмъ, какъ цѣлью государственной реформы, которую они проводили, было: поставить «Россію на одной чредѣ съ прочими государствами европейскими, не отнимая ничего отъ силы ея необходимаго самодержавія». Самодержавіе есть палладіумъ Россіи; цѣлость его необходима для ея счастья. Его ограниченіе грозитъ Россіи гибелью. Потому, долгъ императоровъ: «недреманнымъ окомъ смотрѣть, чтобы самодержавную власть, подобно уздѣ, изъ рукъ не выпустать», и «чтобы старое и отъ прародителей воспріятое государства правило удержатъ непремѣнно». Вотъ почему, облакая Россійскую Имперію въ государственныя формы Запада, русскіе государи зорко слѣдятъ за тѣмъ, чтобы эта перестройка была проведена «безъ малѣйшаго прикосновенія къ священнымъ правамъ самодержавія». Они искренно вѣрятъ, что формы истинной монархіи могутъ быть сочтены съ формами неограниченнаго самодержавія. Что и подъ сѣнью неограниченной власти возможно процвѣтаніе законности и свободы. Законность и свобода легче могутъ быть защищены и охранены не внѣшними гарантіями, а добровольнымъ самоограниченіемъ власти. Государь самъ устанавливаетъ законы государства, но, изрекши законы, самъ первый ихъ чтитъ и имъ повинуется. Государь самъ даруетъ права и вольности лицамъ и сословіямъ, но, разъ даровавши, самъ блюдетъ ихъ и за-

вѣщаетъ блюсти своимъ наслѣдникамъ на вѣчныя времена ненарушимо. Государь самъ опредѣляетъ нормальное теченіе дѣлъ государственныхъ, но опредѣливши, строго слѣдитъ за тѣмъ, чтобы оно изъ установленныхъ границъ не выступало. Иначе говоря, самодержавная власть не терпитъ никакихъ границъ, извнѣ ей указанныхъ, но она считаетъ своимъ священнымъ долгомъ «дѣйствовать предѣлами, себѣ ею же самою положенными». Обязательства, взятые на себя самодержцемъ, должны быть для него непреложны. Ибо «всякое право, а, слѣдовательно, и право самодержавное, потому есть право, поколику оно основано на правдѣ. Тамъ, гдѣ кончится правда и гдѣ начнется неправда, кончится право и начнется самовластіе. Ни въ какомъ случаѣ самодержецъ не подлежитъ суду человѣческому, но во всѣхъ случаяхъ онъ подлежитъ, однако же, суду совѣсти и суду Божию». Такова самодержавная конституція, которую сами себѣ октроируютъ русскіе императоры. — Можетъ ли неограниченный самодержецъ самъ себя ограничить? Можно ли неограниченную власть сочетать съ закономъ, самодержавіе со свободой? Теорія и практика Запада говорили, что это невозможно. Неограниченному самодержцу — не установивши внѣшнихъ гарантій—самому себя ограничить такъ же невозможно, какъ человѣку — безъ крыльевъ — поднять самого себя на воздухъ. Сочетаніе неограниченной власти съ закономъ, самодержавія со свободой — «политическая квадратура круга». Это отлично понимали люди Запада, знавшіе по опыту, что сила можетъ быть ограничена только силой. «Богъ могъ бы быть уравновѣшенъ только Богомъ», — писалъ Гете. «Нѣтъ правъ и законовъ тамъ, гдѣ государь располагаетъ правами и законами по своему усмотрѣнію», — писалъ Дидро въ замѣчаніяхъ на Наказъ Екатерины. Но это понимали и зрячіе русскіе государственные дѣятели. «Какіе законы, — писалъ еще въ 18 вѣкѣ кн. Щербатовъ, — могутъ быть полезны для такого народа, который... самую жизнь имѣетъ токмо тогда, когда угодно деспоту дозволить ему оной пользоваться». Гражданскіе законы, — писалъ Сперанскій, — действительны только тамъ, гдѣ существуютъ законы политическіе. «Къ чему законы, распредѣляющіе собственность между частными людьми, когда собственность сія ни въ какомъ предположеніи не имѣетъ твердаго основанія? Къ чему гражданскіе законы, когда скрижали ихъ каждый день могутъ

быть разбиты о первый камень самовластія?.. Всякое правленіе, чтобы быть законнымъ, должно основываться на общей волѣ народа. Сила можетъ быть ограничена только силой... Созданія, исходящія только изъ личной воли монарха, не могутъ служить противѣсомъ силѣ; приписывать имъ это значеніе значило бы измѣрять пространство тяжестью... Власть правительства можетъ быть ограничена только властью народа». Какія мѣры должны быть приняты, чтобы правленіе, дотолѣ самодержавное, постановить и учредить на непремѣняемомъ законѣ? — Возможны два различныя устройства. «Первое состоитъ въ томъ, чтобы облечь правленіе самодержавное всѣми.. внѣшними формами закона, оставивъ въ существѣ его ту же силу и то же пространство самодержавія. Второе устройство состоитъ въ томъ, чтобы не внѣшними только формами покрыть самодержавіе, но ограничить его внутреннею и существенною силою установленій и учредить державную власть на законѣ не словами, но самимъ дѣломъ. Первое изъ нихъ имѣетъ только видъ закона, а другое самое существо его; первое, подъ предлогомъ единства державной власти, вводитъ совершенное самовластіе, а другое ищетъ въ самомъ дѣлѣ ограничить его и мѣрить». Россійскіе государи приняли для своей имперіи первое устройство: облекли свое самодержавное правленіе всѣми внѣшними формами закона, но силы и пространства самодержавія не тронули. Наоборотъ, укрѣпили его, вооруживъ всѣми административными достиженіями Запада. Потому господства закона въ Россійской Имперіи, на дѣлѣ, они не установили. Правового государства не создали. То, что было невозможно на Западѣ, не стало возможнымъ и въ Россіи: россійскіе самодержцы не оказались въ силахъ сами себя ограничить законами, государственными мѣстами и правами подданныхъ. Западныя государственныя формы плотно облегли тѣло Россійской Имперіи; а порывы неограниченной монаршей власти — вольно и невольно — рвали эти покровы. «На дѣлѣ — въ императорской Россіи — монархъ господствовалъ надъ закономъ, а законъ не всегда господствовалъ надъ строной» (Нольде). И въ западныхъ формахъ Россійская Имперія оставалась восточной деспотіей.

Перестройку московской восточной деспотіи въ западную правомѣрную монархію началъ Петръ Великій. Европейское регулярное государство — его идеаль. Чтобы

народъ былъ счастливъ, вся государственная жизнь должна опредѣляться законами, регламентами и уставами; управленіе должно вестись не лицами, а учреждениями; учрежденія должны быть устроены коллегіально, ибо: «извѣстнѣе възыскуется истина соборнымъ сословіемъ, нежели единымъ лицомъ»; а главное: «коллегіумъ свободнѣйшій духъ въ себѣ имѣетъ къ правосудію: не такъ бо, яко же единоличный правитель, гнѣва сильныхъ боится». Когда государственная жизнь опредѣлена законами и регламентами, а государственное управленіе ведется коллегіями, тогда государство приходитъ въ цвѣтущее состояніе, и «стрѣлка жизни показываетъ странѣ счастливые часы». Рѣшивъ ввести въ Россійской имперіи «порядочное» и регулярное управленіе, Петръ обратился за образцами туда же, откуда взялъ образцы для всѣхъ своихъ преобразованій — на Западъ. Царскіе послы и резиденты въ Европѣ получили приказы: сыскать и выслать регламенты и вѣдомости различныхъ учреждений правительственныхъ, которые они должны прилежно выбрать «изъ правленія уставовъ разныхъ, какъ аглинскихъ, французскихъ, германскихъ, также и прочихъ европейскихъ, присутствующихъ въ политичеству самодержавія». Послы и резиденты царскіе приказы выполнили: регламенты, уставы и вѣдомости сыскали и выслали. По этимъ образцамъ, съ помощью иностранныхъ мастеровъ этого дѣла, а то и просто «капательныхъ субъектовъ», набранныхъ въ той же Европѣ, Петръ кроилъ одежды для своихъ государственныхъ учреждений. Въ однихъ случаяхъ снималъ точныя копии, въ другихъ складывалъ европейское, преимущественно, шведское, съ русскимъ — «спускалъ съ русскими обычаями». Такъ возникли петровскія правительственныя учрежденія: городскіе ратуши и магистраты, губерніи, провинціи и дистрикты съ губернаторами, ландратами и комиссарами; центральныя коллегіи — камеръ-коллегія, юстицъ-коллегія, коммерцъ-коллегія и другія; и надъ всѣми ними — Правительствующій Сенатъ. Но не надо себя обманывать. Всѣ эти пышныя европейскія названія нисколько не соотвѣтствуютъ происшедшей на дѣлѣ перемѣнѣ. Ибо, на дѣлѣ, въ государственномъ строеніи Московскаго царства, переименованнаго теперь въ Россійскую имперію, измѣнилось мало. Какъ въ Московскомъ царствѣ, такъ и въ Россійской имперіи, все въ государственной жизни опредѣляетъ царская воля. Подъ царемъ — тяжлые классы.

Все государственное здание стоит на «крѣпости». Надъ всѣми новыми законами и регламентами, надъ всѣми государственными учрежденіями — соборными и единоличными — высится неограниченная власть самодержца, все покрывая и давая своей непомерной тяжестью. Самодержавная власть въ Россійской имперіи, въ своемъ пространствѣ и силѣ, нисколько не меньше, чѣмъ въ Московскомъ царствѣ. Наоборотъ, она кажется еще необъятнѣе и могущественнѣе. Въ Московскомъ царствѣ царь не знаетъ внѣшнихъ границъ своей власти; но онъ знаетъ ея внутренніе предѣлы: въ церкви, въ боярской чести, во всемъ чинѣ жизни — старинѣ и пошлинѣ. Въ своей новой имперіи Петръ не зналъ никакихъ предѣловъ власти — ни внѣшнихъ, ни внутреннихъ. Церковь — государева служба. Священство — имперскій чинъ. Высшіе іерархи — государевы слуги и рабы. «Извѣстно Вашему Царскому Величеству, — писалъ Петру мѣстоблюститель патріаршаго престола, митрополитъ Стефанъ Яворскій, — какъ я на едино повелѣніе царское оставилъ свое схимническое бытіе, которое обѣщалъ Господу Богу, на смертной постели лежачи, и хотя ужасно мнѣ было сломать обѣтъ, однакожь монаршей волѣ Вашего Царскаго Величества не держалъ противиться»; и подписывался: «Вашего Царскаго Великодержавнѣйшаго монаршества вѣрный подданный и всегдашній богомолецъ, рабъ и подножіе, смиренный Стефанъ, пастушокъ рязанскій». Нѣтъ при Петрѣ мѣста и боярской чести. Боярство — яблоко, упалое дерево. Дворянскіе роды «уподлились». Рядомъ со старыми родовитыми людьми встали новые, изъ подлости происшедшіе. Ибо для Петра благородны и знатны только тѣ, кто служатъ государю. Шляхетство только «службой и благородно и отлично отъ подлости». На докладѣ царю, въ которомъ спрашивалось, кого считать знатнымъ дворянствомъ, Петръ поставилъ резолюцію: «знатное дворянство по годности считать». «Стали не роды почтены, — писалъ о петровскомъ времени кн. Щербатовъ, — а чины, заслуги и выслуги». «Петръ, — писалъ Фоккеродтъ, — пользовался самой полной самодержавной властью... и подлинно заставилъ своихъ дворянъ почувствовать иго рабства... Располагалъ ихъ жизнью и имуществомъ безъ малѣйшаго уваженія, по собственной волѣ и прихоти». Такъ была снята и вторая преграда неограниченной власти. А чинъ жизни — старину и пошлину — Петръ снялъ «доброй но-

визной». «Мы новые люди во всемъ», — говорилъ онъ. Вотъ почему власть Петра Великаго кажется еще безмѣрнѣе, чѣмъ власть Ивана Грознаго. Вотъ почему и лицо его, на нѣкоторыхъ портретахъ кажется еще страшнѣе. Потому и новыя государственныя учрежденія, введенныя Петромъ, только въ малой мѣрѣ измѣнили ликъ государства. Въ старой государственной машинѣ были смѣнены нѣкоторыя передаточныя колеса — двигатель остался тотъ же. Да и самыя формы государственныхъ учреждений, скроенныя Петромъ по чужимъ образцамъ, оказались Россіи явно не по росту. Черезъ короткое время большая часть ихъ разорвалась въ клочья. Областное управление оказалось дорогимъ и громоздкимъ. Населеніе страдало отъ него больше, чѣмъ отъ московскаго. Въ мѣстныхъ учрежденіяхъ, городскихъ и губернскихъ, единственно живая и дѣятельная фигура — старый воевода, столпъ и утверженіе Московскаго царства. Выборныя власти — бурмистры, члены магистратовъ, ландраты — при близкомъ разсмотрѣніи, — старые московскіе излюбленные люди, съ тугой и слезами тянущіе постылое государево тягло — службу по выбору. Коллегіи — тѣ же московскіе приказы. Вѣдомственные дѣла распределены по иному, но веденіе дѣла то же. Несмотря на соборный обрядъ, всѣмъ верховодятъ единоличныя правители, въ особенности, въ тѣхъ коллегіяхъ, гдѣ президенты — «верховные господа». И лишь Правительствующій Сенатъ своимъ величественнымъ названіемъ и важностью формъ смущаетъ и путаетъ воображеніе. Сенатъ — Верховное мѣсто имперіи; хранилище законовъ; блюститель благоустройства. Сенатъ управляетъ, судить и даже законодательствуетъ. Власть его чрезвычайна, «понеже собраніе сіе установлено вмѣсто присутствія Его Царскаго Величества собственной персоны». Сенату и его указамъ всѣ должны повиноваться, какъ самому императору, «подъ жестокимъ наказаніемъ или смертью, по винѣ смотря». Невольно встаетъ въ памяти, если не римскій сенатъ, о которомъ охотно вспоминали и петровскіе сенаторы, то, по крайней мѣрѣ, сенаты европейскихъ регулярныхъ государствъ, съ которыми петровскій долженъ непременно имѣть сходство. Но, на самомъ дѣлѣ, это совсѣмъ не такъ. Петровскій сенатъ, ни въ малой мѣрѣ, не походитъ ни на римскій, ни на европейскіе. Это чисто российское имперское государственное мѣсто — техни-

ческой инструментъ государева управленія, покорное орудіе императорской самодержавной власти. Въ немъ нѣтъ ни капли собственной воли, ни тѣни «политическаго бытія». Да ихъ и не могло быть при Петрѣ. Петръ управлялъ своей имперіей, какъ добрый хозяинъ управляетъ имѣніемъ или торговымъ предпріятіемъ. «Его Величество, — рассказываетъ Голиковъ, — входилъ во все не иначе, какъ рачительный о домѣ хозяинъ, и хозяинъ толь великому дому, какова Россія». Ему хотѣлось за всѣмъ самому присмотрѣть, все самому управить. Будь у него много глазъ и рукъ, онъ бы такъ и дѣлалъ. Но двухъ глазъ и рукъ на все не хватало. Онъ самъ трогательно жалуется на это въ своемъ указѣ о челобитчикахъ: «Челобитчики непрестанно Его Царскому Величеству докучаютъ о своихъ обидахъ..., но при томъ каждому разсуждать надлежитъ, что какое ихъ множество, а кому бьютъ челомъ, одна персона есть и та коликими воинскими и прочими несносными трудами объята, что всѣмъ извѣстно есть; и хотя бы и такихъ трудовъ не было, возможно ль одному человѣку за такъ многими усмотрѣть? Во истину, не точію человѣку, ниже ангелу, понеже и оныя мѣстамъ описаны суть, ибо гдѣ присутствуетъ, а индѣ его нѣтъ». Вотъ тамъ, гдѣ Петра не хватало и, въ особенности, индѣ его не было, и долженъ былъ дѣйствовать Сенатъ. «Опредѣлили быть для отлучекъ нашихъ правительствующій сенатъ для управленія», — гласитъ учреждающій сенатъ указъ Петра. Фактически сенатъ управлялъ и не во время царскихъ отлучекъ, пользовался большою властью и вершилъ большія дѣла. Но все это — по царскому порученію и приказу. Чего хозяинъ самъ не управить, онъ поручаетъ своимъ сподручнымъ. Такъ поступалъ и Петръ. Вершилъ самъ, что считалъ поважнѣе. Накладывалъ на сенатъ остальную, порой непомѣрную работу. Передѣлывалъ по своему, что находилъ въ его работѣ негоднымъ. По существу, сенатъ — хозяйская контора. Сенаторы — царскіе прикащики. И обращался Петръ съ сенаторами, какъ со слугами и рабами. Сенатскую работу заставлялъ дѣлать подѣ страхомъ штрафовъ, казни и гнѣва властительскаго. За «оплошку» грозилъ хозяйской расправой: «Вы это или смѣху для или дачи отъ оныхъ (торговыхъ людей) по старымъ глупостямъ учинили», и, когда ко мнѣ пріѣдете, то у васъ объ этомъ «весьма инако испрашивано будетъ». Свои приказанія заключалъ угрозой: если не исправите, «тогда не ми-

нете не только жестокой отвѣтъ дать, но и истязаны будете». «Дабы сенатъ свою должность хранилъ и во всѣхъ дѣлахъ... истинно, ревностно и порядочно безъ потери времени, по регламентамъ и указамъ, отправлялъ», Петръ приставилъ къ нему, «яко око Наше», генераль-прокурора. Око Государево и сталъ фактически начальникомъ Сената — съ его появленіемъ роль самой сенатской коллегіи становится ничтожной. Генераль-прокуроръ предсѣдательствовалъ въ сенатѣ, контролировалъ его дѣятельность, накладывалъ вето на его рѣшенія, слѣдилъ по песочнымъ часамъ, «чтобы въ засѣданіяхъ лишннихъ словъ и болтовни не было», и превращалъ Сенатъ, — по выраженію Ключевского, — въ «политическое сооруженіе на пескѣ». Въ послѣдніе годы своей жизни Петръ, въ важныхъ дѣлахъ, все чаще обходился безъ сената. Вѣра въ государственныя учрежденія и соборное начало ослабла. Петръ собиралъ тайныя консиліи и принималъ отвѣтственныя рѣшенія въ тѣсномъ кругу ближайшихъ помощниковъ — господъ министровъ. Сенатъ занимался текущими дѣлами. — Такъ Петру и не удалось создать регулярное государство. Издавши множество законовъ и регламентовъ, господства закона въ Россійской Имперіи онъ не установилъ. За нѣсколько лѣтъ до смерти онъ говорилъ въ указѣ: «Всѣ законы писать, когда ихъ не хранить, или ими играть, какъ въ карты, прибирая масть къ масти, чего нигдѣ на свѣтѣ такъ нѣтъ, какъ у насъ было, а отчасти и еще есть, и збѣло тцаться всякія мины чинить подъ фортецію правды». — — Какъ въ Московскомъ царствѣ, такъ и въ Петровской имперіи: государственное управление не подзаконное, а произвольное — деспотическое. Для европейскихъ наблюдателей Петровская имперія, по формѣ государственности, стоитъ въ одномъ ряду съ Турціей, Персіей и Марокко.

Періодъ отъ смерти Петра и до воцаренія Екатерины Великой — смутное время Россійской Имперіи. Эпоха безпорядочной смѣны государей, насильственныхъ дворцовыхъ переворотовъ, владычества временниковъ и фаворитовъ — «случайныхъ и припадочныхъ людей», — господства прихоти лицъ и произвола власти. Не законъ управлялъ персонами, а персоны закономъ. Въ производствѣ дѣлъ сила персонъ дѣйствовала болѣе, нежели власть мѣстъ государственныхъ. «Иногда и самымъ верховнымъ мѣстамъ...—писалъ объ этомъ времени Н. Панинъ,—оста-

валось только ихъ наименованіе, а все государство одними персонами и ихъ изволеніями безъ знаній и внѣ мѣсть управляемо было». Про ту же эпоху писалъ Минихъ: «Русское государство управляется самимъ Богомъ, иначе невозможно объяснить себѣ, какимъ образомъ оно можетъ существовать». — Новая, передѣланная по европейскимъ образцамъ, Россія, оставленная Петромъ, — «недостроенная храмина». Петръ многое начиналъ, но не доканчивалъ. Многое докончить не успѣлъ. А многое строилъ на пескѣ и сѣялъ на камнѣ. Послѣ смерти Петра, недостроенная храмина стала быстро осѣдать и разваливаться. Погибъ петровскій флотъ, стали разрушаться заводы и мануфактуры, почти безъ слѣда исчезли зачатки народнаго образованія. Уцѣлѣло только то, что было нужно для защиты государства и что пришлось по вкусу верхамъ общества: армія, столица и внѣшній европейскій лоскъ. И, въ первую очередь, развалилось регулярное петровское государство. Черезъ всю стройную систему правительственныхъ мѣсть и учреждений, снизу до верху, прошла глубокая трещина. «По разсужденіи о нынѣшнемъ состояніи всероссійскаго государства, — писали въ своемъ мнѣніи, поданномъ Верховному Тайному Совѣту въ концѣ 1726 года Меньшиковъ, Макаровъ, Волковъ и бар. Остерманъ, — оказывается, что едва ли не всѣ дѣла, какъ духовныя, такъ и свѣтскія, въ худомъ порядкѣ находятся и скорѣйшаго исправленія требуютъ, и какимъ неусыпнымъ прилежаніемъ блаженныя и вѣчно достойныя памяти Его Императорское Величество не трудился въ установленіи добраго порядку во всѣхъ дѣлахъ... однакожь, того по се время не видно». Въ особенности добраго порядка не было въ мѣстномъ управленіи. Областная реформа Петра—для его времени—слишкомъ тонкая и сложная затѣя. Она оказалась не по плечу ни управляемымъ, ни управителямъ. «Умноженіе правителей и канцелярій во всемъ государствѣ не только служитъ къ великому отягощенію стата, но и къ великой тягости народной», — писали въ проектѣ манифеста преемники Петра, разсматривая его, какъ «Указъ о всенародномъ облегченіи». «Теперь надъ крестьянами десять и больше командировъ находится вмѣсто того, что прежде былъ одинъ..., изъ которыхъ иные не пастырями, но волками, въ стадо ворвавшимися, назваться могутъ», — писали въ своемъ мнѣніи Меньшиковъ и товарищи. Народъ пришелъ въ крайнее раззоре-

ніе, — доносили Екатеринѣ I сенаторы. — А многіе крестьяне отъ великой скудости и вѣснаго имъ отягощенія «уже за чужія границы побѣжали и никакими крѣпкими заставы удержать ихъ отъ того не можно». Надо было не теряя времени, «показать народу милосердіе». «Для скорѣйшаго облегченія крестьянъ и для увеселенія и надежды народной», вмѣстѣ съ другими тягостями спѣшно и безъ милосердія упразднили и петровскую областную реформу, поставивъ такимъ образомъ крестьянъ надъ всей тяжелой работой Петра по установленію добраго и порядочнаго управленія. «Какъ надворные суды, такъ и всѣхъ высшихъ управителей, и канцеляріи, и конторы, земскихъ комиссаровъ и прочихъ и тѣмъ подобныхъ все отставить, и положить всю расправу и судъ по прежнему на губернаторовъ и воеводъ», — гласилъ упраздняющій реформу указъ 24 февраля 1727 года. «Для лучшаго посадскимъ людямъ охраненія», велѣно было подчинить губернаторамъ и воеводамъ и городскіе магистраты. Отъ мѣстной петровской реформы не осталось и слѣда. Городскія учрежденія до Елизаветы, а губернскія вплоть до реформъ Екатерины Великой ничего общаго съ петровскими не имѣютъ: это почти точныя копіи старыхъ — московскихъ. Какъ въ Московскомъ царствѣ, всѣмъ населеніемъ правятъ воеводы и ихъ приказные, — хотя и одѣтые въ нѣмецкое платье, но ничѣмъ не отличающіеся отъ московскихъ подъячихъ. Какъ въ Московскомъ царствѣ, подъ воеводами и приказными тяглые волостные и посадскіе міры со стянутымъ круговой порукой чернымъ народомъ и его излюбленными людьми по выбору — старостами, головами и цѣловальниками. Какъ въ Московскомъ царствѣ, единственная задача воеводскаго управленія — судъ и дань. Какъ въ Московскомъ царствѣ, главное орудіе управленія — батоги и плети «безо всякія пощады». Отъ Европы и регулярнаго порядочнаго управленія остались только парики и мундиры, да густой налетъ канцелярскаго формализма и волокиты.

Не выдержали испытанія времени и центральныя учрежденія Петра. Сенатъ и Коллегіи сохранились. Но роль ихъ въ центральномъ управленіи была опрокинута. Вскорѣ послѣ смерти Петра Сенату была назначена новая «должность», значительно умаляющая его права. У Сената было отнято наименованіе «Правительствующій»; изъ его вѣ-

дѣнія были изъяты главныя Коллегіи — Военная, Морская и Иностранная; онѣ были лишены непосредственныхъ сношеній съ императорскою властью. Съ «Верховнаго мѣста Имперіи» Сенатъ былъ низведенъ на роль второстепеннаго государственнаго установленія—уравненъ съ «прочими Коллегіями». Такъ было уничтожено одно изъ лучшихъ созданій Петра—«любимое Петрово дѣтище». Пострадали и сами Коллегіи. Число ихъ было уменьшено — нѣкоторыя Коллегіи уничтожены, Соборное начало сведено къ минимуму: — составъ коллежскаго присутствія сокращенъ втрое, ибо, при большомъ числѣ присутствующихъ, «отъ многого разногласія въ дѣлахъ остановка и продолженіе, а въ жалованьѣ напрасный убытокъ происходитъ». Надъ Сенатомъ и Коллегіями, превративъ ихъ въ подчиненныя исполнительныя органы, встали теперь новыя правительственныя мѣста — «Совѣты при особѣ государя»: Верховный Тайный Совѣтъ, Кабинетъ министровъ, Конференція при Высочайшемъ Дворѣ. Когда впервые, послѣ смерти Петра, учреждался такой Совѣтъ, многимъ иностраннымъ наблюдателямъ казалось, что совершается событіе большой важности: дѣлается «первый шагъ къ перемѣнѣ формы правленія» — ограниченію самодержавной власти и установленію «правленія, подобнаго англійскому». Но это была только обманчивая игра западнаго свѣта на російскомъ восточномъ царствѣ. На самомъ дѣлѣ, какъ и Сенатъ, Совѣты — чисто російскія имперскія правительственныя учрежденія: государственныя мѣста «при Высочайшемъ Дворѣ», «при особѣ Е. И. В.» или, еще точнѣе, — какъ сказано въ указѣ 1727 года, — «при боку нашемъ». Въ Россійской Имперіи всѣ стихіи державнаго права сосредоточены въ личности монарха, — какъ сказано въ докладѣ Н. Панина Екатеринѣ II: «главное, истинное и общее о всемъ государствѣ попеченіе замыкается въ персонѣ государевой». Государь — средоточіе суда, законоданія и управленія. Вся текущая дѣятельность по суду и управленію, въ предѣлахъ предписанныхъ законовъ и уставовъ, ведется подчиненными государю органами: Сенатомъ, Коллегіями и мѣстными властями. Но дѣла «выщей важности» и дѣла законоданія могутъ рѣшаться только самимъ государемъ. Вотъ для совѣщанія, о такихъ «политическихъ и другихъ важныхъ Государственныхъ дѣлахъ», «которыя собственному Е. И. В. рѣшенію подлежатъ», монархи и создавали при своей особѣ Совѣты изъ

близкихъ и повѣренныхъ лицъ. Повѣренныя лица подавали свои мнѣнія — монархи рѣшали. Никакой собственной воли и силы Совѣты не имѣли. Какъ и у Сената, у нихъ нѣтъ и тѣни «политическаго бытія». Совѣты — «ближняя комната» московскихъ царей; «домашнее мѣсто» российскихъ императоровъ, изъ котораго истекаетъ «собственное монаршее изволеніе». Совѣтъ не есть «особливое collegіумъ...», — гласило апробованное императрицей Екатериной I «мнѣніе не въ указъ» Верховнаго Тайнаго Совѣта — понеже оной токмо Ея Величеству ко облегченію въ тяжкомъ Ея правительства бремени служить». «Мы сей Совѣтъ учинили верховнымъ и при боку Нашемъ, — гласилъ указъ 1727 года, — не для чего иного, только дабы оной въ семъ тяжкомъ бремени правительства во всѣхъ государственныхъ дѣлахъ вѣрными своими совѣтами и безстрастнымъ объявленіемъ мнѣній своихъ Намъ споможеніе и облегченіе учинилъ». «Императорскій Совѣтъ не что иное, какъ то самое мѣсто, въ которомъ Мы объ Имперіи трудимся», — говорилъ манифестъ, поднесенный Екатериной II для подписанія Н. Панинымъ. Таково подлинное назначеніе Совѣтовъ. Если порою Совѣты выходили изъ поставленныхъ имъ границъ — «изъ своихъ основаній», — становились «господами положенія» и въ такомъ видѣ составляли «злую и злыиный общему благу интервалъ между государя и правительства», то это случалось только благодаря особымъ обстоятельствамъ: малолѣтію государя, междуцарствію или, что было чаще, — какъ писала Екатерина II въ наставленіи Вяземскому, — «не привлеченіемъ къ дѣламъ моихъ нѣкоторыхъ предковъ, а болѣе случайныхъ при нихъ людей пристрастіями». По существу, Совѣты, какъ и петровский Сенатъ, — покорное орудіе императорской самодержавной власти; хозяйская контора съ повѣренными прикащиками — «верховными господами» и «министрами». Или еще точнѣе — крѣпостная контора большой барской вотчины. Какъ вотчинныя конторы, Совѣты занимались не только дѣлами управленія и хозяйства, но и личными дѣлами господина. Верховный Тайный Совѣтъ собирался для обсужденія внутреннихъ, чужестранныхъ и домашнихъ дѣлъ. Кабинетъ министровъ вершилъ всѣ дѣла Анны; законодательствовалъ, судилъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, распоряжался по ея личнымъ надобностямъ: покупалъ для двора зайцевъ, готовилъ конюшни для царскихъ лошадей, устраи-

валь маскарадъ въ Ледяномъ домѣ. «Е. И. В. изволила указать, — писали кабинетъ-министры въ апрѣлѣ 1735 года главнокомандующему въ Москвѣ гр. Салтыкову, — мартышку, которую прислалъ Лангъ (русскій агентъ въ Китаѣ), и которая въ Москвѣ родила, прислать ее и съ маленькою мартышкою ко двору Е. И. В. въ Петербургъ. Того ради изволите ваше сіятельство оныхъ мартышекъ всѣхъ и съ маленькою отправить съ кѣмъ пристойно и велѣть оныхъ мартышекъ въ пути несть всегда на рукахъ и беречь, чтобы имъ, а паче маленькой никакого вреда не учинилось». Какъ личная контора императрицы, кабинетъ министровъ засѣдалъ въ царскомъ дворцѣ и вмѣстѣ съ государыней переѣзжалъ съ мѣста на мѣсто.

И такое же положеніе занимали въ эту эпоху и другія верховныя правительственныя мѣста, какую бы роль въ государственномъ управленіи они ни играли. По воцареніи Елизаветы, Совѣты снова на время уступили мѣсто Сенату. Елизавета хотѣла возстановить порядокъ Петра. Законы отца своего она «во всемъ своими почитала». Возстановленіе этихъ законовъ, «установленныхъ для блаженства и для благосостоянія государства» — ея идеаль. Правительство было возобновлено «на томъ фундаментѣ, какъ оно было при жизни блаженной и вѣчно достойной памяти Государя, родителя Е. В., Петра Великаго». Кабинетъ министровъ былъ уничтоженъ. Сенату возвращена «прежде бывшая сила и власть». И, дѣйствительно, елизаветинскій Сенатъ, какъ при Петрѣ, — «первое государственное мѣсто», «Правительство, которое главнымъ всего государства почитается». Сенатъ судить, управляетъ и законодательствуетъ — вершить «почти все». И, тѣмъ не менѣе, его положеніе подъ самодержавной властью императрицы ни чѣмъ не отличается отъ положенія петровскаго Сената и всѣхъ Совѣтовъ «при особѣ Государя». По существу, это та же крѣпостная контора. Въ началѣ царствованія Елизавета присутствовала въ Сенатѣ своей особой. «Повѣренные наши, Сената члены» докладывали. Императрица рѣшала. Позднѣе Елизавета присутствовать въ Сенатѣ перестала. Сенатскія дѣла сообщались завѣдующему личнымъ Кабинетомъ государыни Черкасову для доклада императрицѣ «при удобномъ случаѣ». Ему же передавались указы для царской подписи, съ просьбой «удобнаго времени не упустить». Отъ Черкасова сенаторы получали высочайшее повелѣніе и неофициальныя разъясненія на-

мѣреній императрицы. Когда Елизавета бывала недовольна работой Сената, она издавала указы съ рѣзкими выговорами сенаторамъ. Сенаторы отвѣчали рапортами, что приняли указы «съ подрожаніемъ раболѣпнѣйшимъ и съ великимъ глубочайшимъ сожалѣніемъ и съ внутреннимъ трепетаніемъ сердець». Когда императрица присутствовала въ Сенатѣ, сенатскія сессіи происходили въ «Императорскомъ домѣ». При переѣздахъ императрицы Сенатъ «по рабской должности» слѣдовалъ за ней изъ Петербурга въ Москву и обратно.

Таково положеніе верховныхъ правительственныхъ мѣстъ Имперіи въ теченіе всего восемнадцатаго вѣка. По существу, значеніе ихъ въ эту эпоху ничтожно. Дѣйствуютъ не мѣста, а люди. Государя законодательствуютъ и управляютъ — черезъ Сенатъ и Совѣты. Но нерѣдко — въ формѣ именныхъ указовъ «за подписаніемъ Е. В. собственныя руки». Или еще проще: распоряженіями «по дежурству отъ генераль-адъютанства». На ряду съ государями, а часто и заслоня ихъ, дѣйствуютъ фавориты и любимцы. Роль ихъ въ государственномъ управленіи громадна. Фавориты и любимцы вершатъ всё дѣла, подлежащія вѣдѣнію императорской власти, заполняютъ важнѣйшія должности и службы своими приверженцами и угодниками и превращаютъ правительственныя мѣста въ игрушку своихъ прихотей. «Отъ самой кончины Петра I, — писалъ въ началѣ 19 вѣка гр. Заводовскій, — во всё времена властолюбивыя лица, пользуясь довѣренностью государскою, стремились къ тому, чтобы имъ, а не мѣстамъ властвовать». «Меньшиковъ пользуется величайшей властью, какая только можетъ выпасть на долю подданнаго». «Меньшиковъ управляетъ, какъ самодержецъ», — доносили своимъ дворамъ иностранные резиденты, «Сей эпокъ заслуживаетъ особливое примѣчаніе: — писалъ въ докладѣ Екатеринѣ II Н. Панинъ, — въ немъ все было жертвовано... хотѣніямъ припадочныхъ людей». Прихотливые и припадочные люди все могли, все дѣлали, — по произволу и по дворскому фавору хватали и присваивали себѣ всё государственныя дѣла, безъ знанія и разбору. «Мнѣ... случилось слышать у престола государева отъ людей, его окружающихъ, пословицу льстивую за штатское правило: была бы милость, всякого на всё станеть». Сіе злоскучительное положеніе можетъ быть уподоблено «тѣмъ варварскимъ временамъ, въ

которыя не токмо установленнаго правительства, ниже письменныхъ законовъ еще не бывало». Значеніе временщиковъ и фаворитовъ — большихъ и случайныхъ господъ — въ государственномъ управленіи было такъ велико, что Панинъ видѣлъ въ нихъ «скрытыхъ похитителей самодержавной власти» и считалъ чужнымъ принять мѣры къ ея огражденію. Послѣднее, конечно, не вѣрно. Самодержавная власть стояла незыблимо. «Простъ же ты, если думаешь, — говорила Екатерина I гр. Апраксину, — будто я позволю Меньшикову пользоваться единой капелькой своей власти». То же могли бы сказать и другіе государи этой эпохи. Если фавориты и любимцы играли большую роль въ государственномъ управленіи, то это объясняется иначе. Самодержавная форма правленія требуетъ сильной и твердой руки. Когда ея нѣтъ, верховная власть неизбѣжно распадается среди лицъ, приближенныхъ къ самодержцу. Такъ это и было въ разсматриваемую эпоху. На тронѣ сидѣли государи, слабые и съ небреженіемъ относившіеся къ государственнымъ дѣламъ. Поэтому сильныя персоны и счастливыя въ случаѣ фавориты и стали господами положенія. Когда на тронъ взошла государыня съ твердой рукой, любимцы и фавориты стали на свое мѣсто: — Такова печальная судьба «многихъ и несносныхъ» трудовъ Петра по установленію въ Россійской Имперіи порядочнаго и политичнаго управленія. Еще при жизни, Петръ «на гору самъдесять тянулъ, а подъ гору миллионы тянули». Послѣ смерти Петра тянуть на гору стало некому. вмѣсто западнаго регулярнаго государства, о которомъ мечталъ Петръ, гдѣ вся жизнь опредѣлена законами, дѣйствующими съ точностью часового механизма, и гдѣ все управленіе ведется государственными мѣстами, построенными на соборномъ началѣ, по твердымъ регламентамъ и уставамъ, послѣпетровская Россійская Имперія — восточная крѣпостная вотчина, съ барской усадьбой — императорскимъ дворцомъ — и хозяйской конторой — Сенатомъ и Совѣтами. вмѣсто господства закона — случай; вмѣсто соборныхъ государственныхъ мѣстъ — прихотливыя и припадочныя люди. «Сатурналіи деспотизма», — по выраженію Карамзина.

И, въ свѣтѣ эпохи, становятся ясными подлинныя очертанія и размѣры того происшествія, которое случилось въ началѣ этого періода, при восшествіи на престолъ императрицы Анны Іоанновны, и которое долгіе годы волно-

вало воображеніе свободолюбивыхъ рыцарей русскаго интеллигентскаго ордена. Для имперскихъ людей происшествіе съ кондиціями, предъявленными Аннѣ Іоанновнѣ, вмѣстѣ съ предложеніемъ трона, — коварная затѣйка кучки старыхъ бояръ, послѣднихъ отпрысковъ «зяблага упалого дерева», и никакихъ слѣдовъ въ ихъ сознаніи не оставило. Не такъ для интеллигентскаго ордена. Для ордена, какъ и для нѣкоторыхъ иностранцевъ-современниковъ, предъявленіе кондицій — «великое событіе», первая попытка русскаго народа ввести въ Россіи западный представительный строй. На самомъ же дѣлѣ «событіе» происходило такъ. Въ ночь съ 18 на 19 января 1730 года умеръ императоръ-мальчикъ Петръ II, не оставивъ и не указавъ наслѣдника. Тотчасъ послѣ его смерти въ Лефортовскомъ дворцѣ собрался Верховный Тайный Совѣтъ вмѣстѣ съ нѣсколькими высшими военными чинами для обсужденія вопроса: какъ быть съ наслѣдованіемъ престола. Послѣ долгаго совѣщанія «съ немалымъ разгласіемъ» пришли къ рѣшенію: предложить престолъ герцогинѣ Курляндской Аннѣ Іоанновнѣ. Тогда самый вліятельный изъ верховниковъ кн. Димитрій Голицынъ — человекъ старыхъ московскихъ традицій и большого европейскаго образованія, — обратился къ присутствующимъ съ такою рѣчью: «Понеже кончиной Петра II мужское колѣно Петра Великаго пресѣклось, Россія же весьма много претерпѣла отъ самодержавной власти, ...то надлежитъ сію безмѣрную власть ограничить добрыми законами и не иначе подносить самодержавіе новой императрицѣ, какъ подъ извѣстными условіями». «Воля ваша, — говорилъ кн. Голицынъ — (выбирайте) кого изволите, только надобно намъ и себѣ полегчить». — «Какъ такъ себѣ полегчить?» — спросилъ канцлеръ Головкинъ. — «Такъ полегчить, чтобы воли себѣ прибавить», — отвѣтилъ кн. Голицынъ. — «Хоть и зачнемъ, да не удержимъ того», — сказалъ кн. В. Долгорукій. — «Право удержимъ», — говорилъ кн. Голицынъ, — «только надобно, написавъ, послать Ея Величеству пункты». Присутствовавшіе, послѣ нѣ котораго колебанія, согласились. Пункты были написаны и посланы Аннѣ Іоанновнѣ, вмѣстѣ съ предложеніемъ трона, въ великой тайнѣ. Въ пунктахъ было сказано: «Черезъ сіе наикрѣпчайше общаемся... Верховный Тайный Совѣтъ въ восьми персонахъ всегда содержать и безъ онаго Верховнаго Тайнаго совѣта согласія: ни съ кѣмъ войны не вчинять; мира не

заключать; вѣрныхъ нашихъ подданныхъ никакими новыми податями не отягощать; въ знатные и придворные чины не производить; вотчины и деревни не жаловать; у шляхетства живота, имѣній и чести не отнимать; государственные доходы въ расходъ не употреблять... А буде чего по сему обѣщанію не исполню и не додержу, то лишена буду короны Россійской». Получивъ предложеніе трона и пункты, Анна Іоанновна державу приняла, а на пунктахъ подписала: «По сему обѣщанію все безъ всякаго изъятія содержать. Анна». И торжественно тронулась въ столицу. — А, между тѣмъ, въ Москвѣ шло волненіе. Подлый народъ о пунктахъ ничего не зналъ и безмолвствовалъ. Но благородное шляхетство о пунктахъ слышало и громко негодовало. «Жалостное вездѣ по городу видѣніе стало и слышаніе, — рассказываетъ очевидецъ Феофанъ Прокоповичъ, — куда не придешь, къ какому собранію не пристанешь, не иное что было слышать, только горестныя нареканія на осмеричныхъ оныхъ затѣйщиковъ... И вездѣ, почитай, въ одну рѣчь говорено, что если по желанію оныхъ господъ сдѣлается, отъ чего бы сохранилъ Богъ, то крайнее всему отечеству настоятъ бѣдство». Что такъ волновало шляхетство? — Объ этомъ рассказываетъ въ своей запискѣ неизвѣстный авторъ: «Слышно здѣсь, что дѣлается или ужъ и сдѣлано — чтобы быть у насъ республикѣ. Я зѣло въ томъ сумнителенъ. Боже сохрани, чтобъ не сдѣлалось, вмѣсто одного самодержавнаго государя, десяти самовластныхъ и сильныхъ фамилій; и такъ мы, шляхетство, совсѣмъ пропадемъ и принуждены будемъ горше прежняго идолопоклонничать и милости у всѣхъ искать, да еще и сыскать будетъ трудно». О томъ же доносилъ своему двору польско-саксонскій посланникъ Лефортъ: «Новый образъ правленія, составленный вельможами, даетъ поводъ къ волненіямъ въ мелкомъ дворянствѣ; среди него слышатся подобнаго рода разговоры: знатные предполагаютъ ограничить деспотизмъ и самодержавіе; эта власть должна быть умѣрена совѣтомъ, который мало по малу захватитъ въ свои руки бразды правленія; кто же намъ поручится, что со временемъ, вмѣсто одного государя, не явится столько тирановъ, сколько членовъ въ совѣтѣ, и что они своими притѣсненіями не увеличатъ нашего рабства». Таково было настроеніе шляхетства. — Перваго февраля пришло въ Москву извѣщеніе Анны о принятіи ею престола и о подписаніи

пунктовъ. На второе было назначено собраніе высшихъ чиновъ Имперіи — Сената, Синода и Генералитета. На этомъ собраніи верховники прочли письмо Анны, въ которомъ императрица извѣщала, что, повинувась волѣ Божеской, она намѣрилась принять державу; а, понеже къ тому ея намѣренію потребны благіе совѣты, написала и подписала, какими способы она то правленіе вести хочетъ. А за тѣмъ были оглашены подписанные императрицей пункты. Наступило гробовое молчаніе. «Никого, почитай, кромѣ верховныхъ не было, — рассказываетъ Феофанъ о чтеніи пунктовъ, — кто бы, таковая слышавъ, не содрогнулся. А сами тѣ, которые вчера великой отъ сего собранія пользы надѣялись, опустили уши, какъ бѣдныя ослики; шептанія нѣкія во множествѣ ономъ проשמливали, а съ негодованіемъ откликнуться никто не посмѣлъ. И нельзя было не бояться, понеже въ полатѣ оной... многочинно стояло вооруженнаго воинства. И дивное было всѣхъ молчаніе!» Главный затѣйщикъ кн. Голицынъ пытался вызвать сочувствіе собравшихся и говорилъ: «Видите де, какъ милостива государыня. И какого мы отъ нея надѣялись, таковое она показала отечеству нашему благодарѣніе. Богъ ее подвигнулъ къ писанію сему: отсель счастливая и цвѣтущая Россія будетъ!» «Но понеже уперно всё молчали и только одинъ онъ кричалъ, нарекать сталъ: для чего никто ни единого слова не проговорить? Изволили бы сказать, кто что думаетъ, хотя и нѣтъ де ничего другого говорить, только благодарить толь милосердой государынѣ». О томъ, что присутствующіе думали, никто сказать не рѣшился. Только одинъ робко промолвилъ: «Не вѣдаю, да и весьма чуждуся, отчего на мысль пришло государынѣ такъ писать!» Да еще кн. Черкасскій спросилъ: «Какимъ образомъ впредь то правленіе быть имѣеть?» Верховники видѣли, что собраніе враждебно относится къ ихъ затѣйкѣ, — ввести «новый царствованія порядокъ», — и имѣли основаніе думать, что такъ же относится къ ней и остальное шляхетство — въ особенности, гвардія; а потому пошли на уступки. Въ отвѣтъ на вопросъ Черкаскаго кн. Голицынъ предложилъ собранію обсудить и представить свое мнѣніе о формѣ правленія на другой день въ Верховный Тайный Совѣтъ. На этомъ собраніи и покончили. Но съ этого дня шляхетство уже больше не скрывало своего несогласія съ верховниками. Оно тайно и явно собиралось «компаніями», чтобы «со-

чинять форму правленія государственнаго». И каждая компанія вносила свое мнѣніе въ Верховный Тайный Совѣтъ. Пришлось выработать свое мнѣніе и самимъ верховникамъ.

Чего хотѣли верховники? — По существу, того же, чего хотѣли всѣ имперскіе люди того времени: самодержавія полнаго и неограниченнаго. Но они хотѣли самодержавія исконнаго, московскаго — по старинѣ и пошлинѣ, — со строгимъ чиномъ государственной жизни и управленія, съ боярской честью и съ «думнымъ сидѣніемъ», гдѣ государь вершитъ свое великое государево дѣло, «поговоря съ бояры». Имъ ненавистно было царившее въ ихъ время самовластіе, гдѣ чинъ жизни и боярская честь были смяты ненужной новизной, гдѣ люди великородные и фамильные должны были унижаться передъ низкими и худыми, гдѣ временщики и выскочки вершили всѣ государственныя дѣла. Верховники хотѣли совсѣмъ не новаго, а стараго, смотрѣли не впередъ — въ Европу, а назадъ — въ Москву. И, если свои старые московскія боярскіе замахы они облекали въ новыя европейскія конституціонныя одежды, то дѣлали это потому, что во главѣ ихъ стоялъ мужъ большой западной учености, и еще потому, что въ ихъ время все, что дѣлалось въ государствѣ, дѣлалось съ манеру чужестраннаго — польскаго, шведскаго или нѣмецкаго. По существу же, правъ былъ Феофанъ Прокоповичъ, когда онъ говорилъ о верховникахъ: «Они не думали вводить народное владѣтельство..., но всю владѣнія крайнюю силу осмичленному своему совѣту учреждали; который владѣнія образъ... не можетъ нарѣщись владѣтельствомъ избранныхъ, гречески аристократія; но развѣ... тиранство или насильство, которое олигархія у Еллиновъ именуется».

Чего хотѣло благородное шляхетство? — Того же, чего хотѣли и верховники, и всѣ имперскіе люди — полнаго и неограниченнаго самодержавія. Сочиняя форму правленія государственнаго и ища образцовъ для него въ западныхъ конституціонныхъ странахъ, оно, вмѣстѣ съ тѣмъ искренне полагало: «Колико самовластіе у насъ всѣхъ прочихъ полезнѣе, а прочія опасны». Вождь и теоретикъ его консервативной части Феофанъ Прокоповичъ писалъ: «Русскій народъ таковъ есть отъ природы своей, что только самодержавнымъ владѣтельствомъ хранимъ быть можетъ. А если таковое нибудь иное владѣнія правило воспріиметь, содержаться ему въ цѣлости и благосостояніи невозможно». Но то же самое писалъ въ своемъ завѣща-

ниі сыну и вождь конституціонной «компаніи» Татищевъ: «Власть и честь государя до послѣдней капли крови защищай, а съ хвалящими вольности другихъ государствъ и ищущими власть монарха уменьшить никогда не согласуй, понеже оное государству крайнюю бѣду нанести можетъ». Если, тѣмъ не менѣе, многіе изъ шляхетства подписывали различныя мѣннія, въ которыхъ утверждались права «общенародія» и учреждались, рядомъ съ монархомъ, вышнія и нижнія «правительства», то дѣлали они это не столько изъ желанія ограничить самодержавную власть, сколько изъ стремленія оградить себя отъ тираниі Верховнаго Совѣта. По существу же, шляхетство плохо разбиралось въ формахъ государственнаго правленія. Правъ былъ англійскій резидентъ Рондо, когда доносилъ о немъ своему правительству: «Привыкнувъ слѣпо повиноваться волѣ самодержавнаго монарха, всѣ эти дворяне не имѣютъ яснаго представленія объ ограниченномъ правленіи».

И этому политическому невѣжеству шляхетства не надо удивляться. Ибо, что такое благородное шляхетство того времени? — Тѣ же служилые люди Московскаго царства. Не прошло и четверти вѣка съ того времени, какъ Петръ передѣлалъ московскихъ служилыхъ людей въ нѣмецкое платье и сбрилъ имъ бороды — «преобразовалъ россиянь изъ бородатыхъ въ гладкіе, изъ долгополыхъ въ короткополые». И еще меньше времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ далъ имъ — съ манеру польскаго — наименованіе «шляхетство». Даже платье и имя за эти короткіе годы не успѣли крѣпко къ нимъ пристать: возвращаясь въ свои помѣстья, служилые люди охотно смѣняли нѣмецкое платье на русскіе кафтаны и отпускали бороды; а шляхетское наименованіе частенько уступало мѣсто «всепокорнѣйшимъ рабамъ». Помимо же имени и платья, все остальное осталось по старому. Какъ московскіе служилые люди, такъ и шляхтичи: неподвижно стоятъ въ государевомъ крѣпостномъ уставѣ и по смерти государю крѣпки. Какъ московскіе служилые люди, такъ и шляхтичи: всю жизнь служатъ государевы службы и, если получаютъ абшидъ, то за дряхлостью и увѣчьемъ. Какъ московскіе служилые люди, такъ и шляхтичи: являются на смотръ и разборы, а за нѣтство бывають биты кнудомъ и лишаются имѣній. Помимо имени и платья, Европа прибавила одно: учебу. Но и учеба обернулась московской сто-

роной: прибавкой битья. За уклонение отъ науки и за плохое ученье служилыхъ людей — шляхтичей тоже — били батогами и истязали кошками. Такъ же, какъ за платье и борода: «Иванъ Даниловъ сынъ Наумовъ, — записываетъ въ своемъ дневникѣ 1704 года Желябужскій, — бить батоги нещадно за то, что у него борода и усы не выбриты». Гдѣ же было шляхтичамъ одолѣть за это время и западную политическую науку? У имперскихъ шляхтичей, такъ же, какъ у московскихъ служилыхъ людей, были свои политическіе «замахи». Но такъ же, какъ у московскихъ служилыхъ людей, они сводились къ одному: стремленію облегчить службу и укрѣпить государево жалованіе — крестьянъ и помѣстья. Только ждали этихъ милостей шляхтичи такъ же, какъ и московскіе служилые люди, не отъ конституціи, а отъ самодержавнаго монарха.

15 февраля новая императрица торжественно вступила въ Москву. Присяга прошла благополучно. Присягали государынѣ и отечеству — объ ограничительныхъ пунктахъ не было упомянуто ни словомъ. Фельдмаршалъ кн. Василій Долгорукій пытался было предлагать Преображенскому полку присягнуть царицѣ и Верховному Тайному Совѣту, но гвардейцы отвѣтили, что переломають ему ноги, если онъ еще разъ явится къ нимъ съ такимъ предложеніемъ. Между тѣмъ, волненіе въ столицѣ не улеглось. Шляхетскія компаніи вырабатывали свои мнѣнія и формѣ правленія, подавали ихъ въ Верховный Совѣтъ и одновременно вели тайную интригу противъ верховниковъ съ государыней. 25 числа событія приняли рѣшительный оборотъ. Наканунъ шляхетскія компаніи выработали согласительную челобитную государынѣ. Эта челобитная и была представлена въ этотъ день императрицѣ во дворцѣ шляхетскими делегаціями въ составѣ нѣсколькихъ сотъ человекъ. Въ челобитной было сказано: что Е. И. В., по своей высокой милости къ Государству, изволила подписать пункты, предложенные ей Верховнымъ Совѣтомъ, за что челобитчики приносятъ ей рабскую благодарность; но что въ пунктахъ есть нѣкоторыя сумнительства, вызывающія въ народѣ страхъ предбудущаго безпокойства; что челобитчики обсудили и выработали различные проекты безопасной формы правленія государственнаго; зная природное челоуѣколюбіе императрицы, челобитчики просятъ соизволить собраться всему генералитету и шляхетству, по одному или по двѣ персоны отъ каждой фамиліи,

для разсмотрѣнія этихъ проектовъ и сочиненія формы правленія государственнаго общими согласными мнѣнiями. Послѣ минутнаго колебанiя, Анна подписала на челобитной: «ученить по сему» и предложила челобитчикамъ обсудить ихъ проекты въ сосѣдномъ покоѣ. Челобитчики удалились для совѣщанiя. Тогда оставшiеся въ аудiенцъ-залѣ гвардейцы стали кричать: «Не хотимъ, чтобы государынѣ предписывались законы, — она должна быть такою же самодержицей, какъ были всѣ прежнiе государи». Анна стала ихъ унижать. Но гвардейцы бросились на колѣни съ крикомъ: «Государыня, мы вѣрные подданные Вашего Величества; ..но мы не можемъ терпѣть, чтобы Вася притѣсняли. Прикажите, Государыня, и мы принесемъ къ Вашимъ ногамъ головы Вашихъ злодѣевъ». Послѣ обѣда шляхтичи кончили свое совѣщанiе и обратились къ государынѣ съ новой челобитной. Въ челобитной они писали: «Всеподданнѣйше приносимъ и всепокорно просимъ всемилостивѣйше принять самодержавство таково, каково Ваши славные и достохвальныя предки имѣли. а присланные къ Вашему Императорскому Величеству отъ Верховнаго Совѣта пункты уничтожить... Мы Вашего Императорскаго Величества всепокорнѣйшiе рабы надѣемся, что..., по природному Величества Вашего благоутробiю, презрѣнны не будемъ, но во всякомъ благополучiи и довольствѣ тихо и безопасно житiе свое препровождать имѣемъ. Февраля 25, 1730 года». Государыня притворилась удивленною: «Какъ, — сказала она, — развѣ пункты, которые мнѣ поднесли въ Митавѣ, были составлены не по желанiю цѣлаго народа?». — «Нѣтъ», — отвѣчали собравшiеся. «Такъ, значитъ, ты меня, кн. Василій Лукичъ, обманулъ!» — сказала Анна Долгорукому. Затѣмъ она приказала принести ей пункты, «и тѣ пункты, — какъ сказано въ журналѣ Верховнаго Тайнаго Совѣта этого дня, — Ея Величество при всемъ народѣ изволила, принявъ, разодрять». И учинилась въ суверенствѣ. Такъ кончилась краткая имперская конституцiонная эра. «Россiйская Имперiя, — писалъ Ключевскiй, — не стала сестрицею Швеции и Польшѣ», какъ мечталъ объ этомъ совѣтникъ Петра и верховниковъ голштинскiй камералистъ Фикъ. Какъ Московское царство и петровская имперiя, такъ и Россiя послѣ Петра — родная сестра восточныхъ теократiй Персiи и Турци.

И. Бунаковъ.

## Чехи и словаки до ихъ государ- ственного объединенія \*)

Въ 1526 г. ягеллонскій родъ вымеръ, но и послѣ того не прекратилось объединеніе Чехіи и Словакіи подѣ скипетромъ одной династіи. Наоборотъ, благодаря призванію габсбургскаго рода на тронъ чешскій и венгерскій, это объединеніе было обновлено и продолжалось съ малыми перерывами до нашей эпохи. Съ нашей точки зрѣнія чрезвычайно важно то, что владычество первыхъ чешскихъ и венгерскихъ королей изъ династіи Габсбурговъ не простиралось на всю Венгрію, а лишь на ту часть, ядромъ которой была какъ разъ Словакія. Остальная часть Венгріи находилась подѣ властью противника короля Фердинанда, Яна Запольскаго, а послѣ него другихъ соперниковъ Габсбургскаго рода; значительная часть, центръ Венгріи съ Будой, подпала подѣ владычество турокъ. Въ общемъ, можно сказать, отъ момента восшествія на венгерскій престолъ Фердинанда I въ теченіе почти полутора вѣка господство Габсбургскаго рода въ Венгріи распространялось лишь на Словакію и на узкую полосу земли вдоль западной границы. Венгерское королевство, которое въ то время (1526-1688) являлось частью Габсбургской имперіи, было по существу и прежде всего Словакіей; это видно уже изъ того, что мѣстомъ пребыванія королевскихъ учреждений въ Габсбургской Венгріи, ея административнымъ центромъ, была Братислава (Прешпуркъ). Народонаселеніе этой Венгріи состояло по преимуществу изъ словаковъ и нѣмцевъ, венгровъ же было очень мало. Венгерское дворянство, венгерскія сословія, которыя играли роль въ исторіи габсбургской монархіи, были въ большинствѣ своемъ, если и не сплошь, словаки. Правда, это были словаки не по умонастроенію и чувству (національное самосознаніе въ нашемъ смыслѣ слова у тогдаш-

\*) См. «Совр. Зап.» кн. 51.

няго венгерскаго дворянства было бы напрасно искать), но во всякомъ случаѣ по своей территоріальной принадлежности, а также по тому, что чехословацкій языкъ былъ среди нихъ наиболѣе употребительнымъ. Хорошо, напр., извѣстно, что у словацкаго дворянства, въ теченіе всего XVI ст. осѣдавшаго въ значительномъ числѣ на Моравѣ, не только разговорнымъ, но и литературнымъ языкомъ былъ языкъ чешскій, при помощи котораго оно общалось и съ нечешскими кругами. Еще въ XVII ст. нѣкоторыя дамы, принадлежавшія къ графскому роду Турзовъ (подлинное происхожденіе рода польское), будучи замужемъ за нѣмецкими представителями моравскаго дворянства, переписывались даже съ нѣмецкими адресатами по чешски. И самъ венгерскій палатинъ Юрій Турзо переписывался въ то же время съ княземъ Тешинскимъ на подлинномъ чешскомъ языкѣ. (Въ самой Венгріи все еще употребляли гораздо больше латинскій языкъ, чѣмъ въ Чехіи).

Габсбургская Венгрія, въ XVI и XVII столѣтіи въ національномъ отношеніи гораздо болѣе словацкая и нѣмецкая, чѣмъ венгерская, далеко не имѣла въ монархіи такого положенія, которое она приобрѣла позднѣе. Она была гораздо меньше по размѣрамъ тогдашняго чешскаго государства, и не равнялось даже территоріи Чехіи и Моравіи. Ея политическое и экономическое значеніе для монархіи было гораздо менѣе значенія Чехіи. Этимъ объясняется огромный перевѣсъ чешскихъ сословій надъ венгерскими въ Габсбургской монархіи XVI и XVII вв., особенно же въ періодъ предбѣлогорскій. Этимъ же объясняется, что при совмѣстныхъ переговорахъ и столкновеніяхъ той эпохи венгерскія сословія — по преимуществу словаки по происхожденію, точно такъ же, какъ и старо-австрійскія, признавали первенство сословій чешскихъ. Они безпрекословно пріѣзжали на общіе сеймы и сѣзды всѣхъ земель австрійскаго дома въ Прагу, въ то время какъ чехи неизмѣнно отказывались принимать участіе въ сеймахъ и сѣздахъ, устраиваемыхъ внѣ территоріи ихъ государства.

По этой же самой причинѣ венгерскія сословія не могли такъ рѣшительно бороться, какъ естественно было бы ожидать, противъ централизаціи въ области государственнаго управленія. Несмотря на то, что венгерскіе короли, подобно чешскимъ, были принуждены дѣлиться своими государственными правами съ земскими со-

словами, въ Венгріи и въ Чехіи у нихъ было еще много правомочій, не зависѣвшихъ отъ сословій. Чешскіе и венгерскіе короли изъ династіи Габсбурговъ умѣли весьма энергично какъ защищать эти права, такъ и пользоваться ими. Поэтому очень скоро въ сферѣ вопросовъ, входившихъ въ ихъ исключительную компетенцію, создавалось во всѣхъ земляхъ значительное правовое единообразіе, а часто и абсолютное единство. Вопросы этого порядка разрѣшались во всѣхъ земляхъ не только одинаковымъ образомъ и по одинаковымъ принципамъ, но по возможности одними и тѣми же органами управленія и общими учрежденіями. Такія учрежденія, значеніе которыхъ возрастало параллельно съ ростомъ власти государя, расширяли, особенно въ началѣ габсбургскаго владычества, свое вліяніе въ Венгріи часто еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ Чехіи. Это касается прежде всего высшихъ финансовыхъ и военныхъ учреждений (придворной коморы и придворнаго военнаго совѣта), которымъ Венгрія изъ всѣхъ габсбургскихъ земель причиняла наиболѣе хлопотъ.

Отношеніе тогдашней Венгріи къ центральной правительственной власти особенно отражается въ новой организаціи финансоваго управленія. Вскорѣ послѣ своего восшествія на престолъ Фердинандъ I основалъ особую королевскую комору, мѣстомъ пребыванія которой была Братислава. Этой коморѣ были подчинены низшія финансовыя учрежденія въ габсбургской части Венгріи. Но вмѣшивались въ тамошнее финансовое управленіе и центральныя учрежденія, которыя обычно находились въ Вѣнѣ, а при Рудольфѣ II были почти 30 лѣтъ въ Прагѣ. Такъ, центральная придворная комора непосредственно вліяла на управленіе горнозаводскихъ венгерскихъ городовъ и на солянныя управленія; ей были также подчинены нѣкоторыя таможенныя венгерскія, точнѣе, словацкія учрежденія. Собираніе податей въ отдаленныхъ сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ венгерскихъ комитатахъ было поручено вначалѣ особому чиновнику, а позднѣе (1567) для этой цѣли была основана спеціальная комора въ Кошицахъ, которая была сама подчинена коморѣ Братиславской, въ свою очередь сильно зависѣвшей отъ придворной коморы въ Вѣнѣ. Мы видимъ, что гражданское управленіе Венгріей, поскольку оно зависѣло лишь отъ власти короля и ей руководилось, было всецѣло сосредоточено въ Словакіи и бы-

ло связано съ Вѣной или съ Прагой, гдѣ при Рудольфѣ II находились главныя центральныя учрежденія. Такимъ образомъ Словакія по существу все больше и больше отчуждалась отъ Венгріи и сближалась съ остальными габсбургскими землями, особенно же съ Чехіей.

Это сближеніе поддерживалось также совмѣстнымъ и продолжительнымъ участіемъ этихъ земель въ борьбѣ съ Турціей. Отъ вступленія Габсбургской династіи на чешскій и венгерскій престолъ вплоть до окончательнаго изгнанія турокъ изъ Венгріи, т. е. въ теченіе безъ малого двухсотъ лѣтъ, чешская земля оказывала существенную помощь въ войнѣ съ турками, на ея деньги нанималось и содержалось войско, которое сражалось на территоріи Венгріи или находилось постоянно въ пограничныхъ венгерскихъ крѣпостяхъ. Такія крѣпости были на протяженіи всѣхъ границъ габсбургской монархіи въ Венгріи, нѣкоторыя же изъ нихъ были и въ Словакіи. Съ теченіемъ времени выработалось своего рода правило, что чешскія земли содержали гарнизоны какъ разъ этихъ крѣпостей. Остальное войско нанималось всегда лишь на нѣсколько мѣсяцевъ. Какъ упомянутые гарнизоны, такъ и активное войско состояло изъ жолнеровъ. Жолнерскіе полки нанимались на срѣдствя отдѣльныхъ земель. Иногда земли просто отпускали извѣстныя суммы, предоставляя императорскимъ канцеляріямъ нанимать на нихъ необходимыя полки, иногда же сословія этихъ земель сами нанимали войска и снаряжали ихъ въ походъ. Полки и гарнизоны, содержавшіеся чешскими землями, могли состоять изъ жолнеровъ различнаго происхожденія, они не были исключительно чешскими, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ нихъ было много солдатъ и офицеровъ, которые по мѣсту происхожденія и по національности были подлинными чехами. Иногда, правда очень рѣдко, противъ турокъ посылали войско, состоящее изъ туземныхъ жителей, такъ назыв. земскіе резервы. Такимъ образомъ, хотя войско, содержавшееся въ Словакіи за счетъ чешскихъ земель, не обладало національнымъ чешскимъ характеромъ, все же благодаря ему въ Словакію попадало на продолжительное время не мало чеховъ, какъ простыхъ жолнеровъ, такъ и дворянъ офицеровъ. Это, конечно, немало содѣйствовало взаимному узнаванію и сближенію чеховъ и словаковъ. Турецкія нашествія и опасность, почти постоянно грозившія пограничнымъ словацкимъ об-

ластямъ, поддерживали и инымъ образомъ сношенія чеховъ и словаковъ. Они принуждали многихъ обывателей Словакии покидать насиженные мѣста и переселяться на западъ -- въ Моравію или Чехію, гдѣ они и оставались потомъ на постоянное жительство.

Могущественнымъ факторомъ, сближавшимъ Чехію и Словакию, былъ и общій языкъ ихъ населенія. Онъ приобрѣталъ въ данную эпоху тѣмъ большее значеніе, что чешскій или чехословацкій языкъ, который въ Чехіи уже много ранѣ овладѣлъ всей общественной жизнью, началъ проникать также и въ Словакию, въ связи съ развитіемъ комитатныхъ учрежденій въ Венгрии (1526 г.). Сословные сѣзды и комитатныя конгрегаціи стали явленіемъ вполне регулярнымъ, а сфера ихъ вліянія была весьма широка. Расцвѣтъ сословнаго самоуправленія въ Венгрии сильно способствовалъ уничтоженію латыни и ея замѣнѣ національнымъ языкомъ. Въ словацкихъ комитетахъ оффиціальная латынь уступила мѣсто не мадыарскому языку, но словацкому, или вѣрнѣе чешскому, употребленіе котораго въ нѣсколькихъ комитетахъ весьма расширилось.

Духовное общеніе чеховъ и словаковъ въ это время облегчалось благодаря принятію лютеранской реформаціи словаками, которыхъ до сихъ поръ, несмотря на временное вліяніе гуситовъ, отъ чеховъ отпугивало «еретичество» послѣднихъ. Говоря о гуситствѣ въ Словакии, мы уже упоминали, что благодаря ему была до извѣстной степени подготовлена почва и для лютеранскаго протестантизма у словаковъ. Неопровержимыхъ доказательствъ этого взгляда у насъ нѣтъ, историческіе факты наоборотъ какъ бы даже требуютъ отъ насъ, чтобы мы не переоцѣнивали значеніе гуситства для распространенія протестантизма въ Словакии. Ученіе Лютера начало распространяться въ иныхъ областяхъ и въ иныхъ слояхъ общества Словакии, чѣмъ тѣ, въ которыя проникало гуситство, а именно, въ нѣмецкихъ мѣщанскихъ кругахъ, которые и въ культурномъ и въ торговомъ отношеніяхъ были связаны съ Германіей. Первымъ оплотомъ лютеранства стали въ Словакии нѣмецкіе, особенно же спишскіе города.

И все же несмотря на это, мы согласны со взглядомъ профессора Халупецкаго, утверждающаго, что національное своеобразіе словацкой реформаціи, безспорно, дѣлаетъ ее частью чешскаго реформаціоннаго движенія. Этотъ національный характеръ выражался не только

въ томъ, что словацкіе протестанты употребляли чешскую біблію, чешскія духовныя пѣсеннѣнія, чешскую полемическую и богослужебную литературу, но и въ томъ, что и съ догматической точки зрѣнія они были, по крайней мѣрѣ въ XVI столѣтіи, ближе къ чешскому религиозному движению, чѣмъ къ нѣмецкому лютеранству, придерживаясь по преимуществу нѣкоторыхъ старыхъ гуситскихъ ученій. Сношенія между евангелистами въ Чехіи, въ Моравіи и Словакіи были, особенно начиная съ половины XVI столѣтія, весьма оживленными. Яркимъ примѣромъ такого взаимнаго проникновенія церковной и религиозной жизни чешскихъ земель и Словакіи и обусловленнаго этимъ сближенія чешской и словацкой культуры, является дѣятельность извѣстнаго работника въ области чешской грамматики и переводчика псалмовъ, магистра Вавржинца Бенедикта Нудожерскаго, который былъ родомъ изъ Нитры, учился въ Иглавѣ и Прагѣ, гдѣ и получилъ научныя степени, потомъ преподавалъ въ моравскихъ и чешскихъ школахъ, а подъ конецъ былъ профессоромъ Пражскаго университета. Блестящимъ памятникомъ объединенія чешской и словацкой культуры того времени, происходившаго главнымъ образомъ подъ вліяніемъ общихъ религиозныхъ идеаловъ, является Кралицкая біблія, надъ которой рядомъ съ чехами и моравами работала и словакъ (Павель Есенскій), такъ что она можетъ быть названа, какъ вѣрно отмѣчаетъ въ «Чехословацкой исторіи» профессоръ Халупецкій, «совмѣстнымъ трудомъ всѣхъ племенъ нашего народа». Кромѣ Нудожерскаго и П. Есенскаго въ это время работало въ Чехіи: на литературномъ и религиозномъ поприщѣ еще нѣсколько словаковъ. Ихъ значеніе, какъ намъ кажется, правильно оцѣниваетъ профессоръ Буйнакъ, говоря: «они были первыми нашими, т. е. словацкими, національно сознающими себя писателями».

Проникновеніе протестантизма въ Словакію повліяло очень скоро и на ея политическое сближеніе съ чешскими землями. Это сближеніе касалось прежде всего высшихъ сословій населенія, которыя тогда представляли народъ и землю. Въ Словакіи, точно такъ же, какъ въ Чехіи и въ Моравіи, протестантскіе сословные представители одинаково наталкивались на враждебное отношеніе католической династіи, благодаря чему они становились естественными политическими союзниками. Особенно во время великаго сословнаго движенія въ габсбургскихъ земляхъ въ началѣ

XVII столѣтія можно наблюдать дружную совмѣстную работу протестантскихъ сословныхъ представителей въ Словакии, въ Чешскихъ земляхъ и особенно въ Моравіи. Обоихъ сословныхъ словацкихъ вождей, Штепана Иллецази и особенно Иржи Штурзу, объединяла глубокая политическая и личная дружба съ знаменитымъ вождемъ моравскихъ сословій Карломъ изъ Жеротина. Она проявлялась въ ихъ совмѣстной дѣятельности въ великой борьбѣ за религіозную свободу, которую вели тогда въ австрійскихъ земляхъ протестантскія сословія со своими габсбургскими повелителями. Въ цѣляхъ борьбы сословія этихъ земель объединялись даже въ вооруженныя организаціи, конфедераціи, которыя могли стать основой ихъ политическаго союза на сословномъ базисѣ. Уже въ 1608 году вступили сословные венгерскіе преставители — при тогдашнихъ условіяхъ это были по преимуществу представители изъ Словакии — въ такую конфедерацію съ моравами и австрійцами. Во время же чешскаго возстанія была устроена большая чешско-австрійско-венгерская конфедерація. И въ этомъ обществѣ венгерская часть имѣла явно словацкій характеръ, опредѣлявшійся, конечно, болѣе территоріально, чѣмъ лингвистически и національно. Позднѣйшая мадьяризація словацкаго дворянства могла бы не произойти, если бы эта конфедерація удержалась болѣе продолжительное время: венгерско-словацкое дворянство должно было бы приспособляться къ болѣе сильнымъ чехамъ, ибо въ конфедераціи чешскіе сословные представители имѣли безусловный перевѣсъ и руководили ею.

Послѣдствіемъ пораженія чеховъ при Бѣлоугорѣ и вызваннаго имъ глубокаго переворота, какъ во внутреннихъ условіяхъ жизни самой страны, такъ и въ положеніи, занимаемомъ чешской короной въ габсбургской монархіи, явилось коренное измѣненіе отношеній между Чехіей и Словакіей. Значительное ограниченіе сословныхъ правъ въ Чехіи и Моравіи, а также укрѣпленіе абсолютизма сопровождалось глубокими измѣненіями самой основы чешскихъ сословій. Конфискаціи послѣ бѣлогорскаго пораженія, обѣднѣніе и изгнаніе старыхъ дворянскихъ родовъ, оставшихся вѣрными прежней вѣрѣ, все это давало королямъ изъ династіи Габсбурговъ возможность управлять въ чешскихъ земляхъ тѣми же методами, какъ и въ другихъ, подвластныхъ имъ, германо-австрійскихъ зем-

ляхъ, — больше по своей волѣ и вкусу, чѣмъ въ Венгріи, гдѣ у нихъ такой мощи не было, ибо тамъ сословія сохранили свои старыя права и свободу. Это проявлялось особенно ясно въ религіозной политикѣ габсбургскихъ монарховъ. Въ то время какъ въ чешскихъ и австрійскихъ земляхъ приверженцы всѣхъ некаатолическихъ вѣроисповѣданій жестоко преслѣдовались, въ Венгріи въ общемъ оставалась прежняя религіозная свобода. Подобнымъ же образомъ обстояло дѣло и въ иныхъ отношеніяхъ. Такимъ образомъ, сейчасъ же послѣ бѣлогорскаго пораженія началось сближеніе, а часто если не правовое, то фактическое объединеніе чешскихъ и австрійскихъ земель, въ то время какъ Венгрія все больше обособлялась.

Это особенно касалось отношеній между чешскими землями и Словакіей, которая еще долго послѣ бѣлогорскаго пораженія оставалась ядромъ габсбургской Венгріи. Бѣлогорскій разгромъ прервалъ живыя и дружественныя сношенія чешскихъ и словацкихъ сословныхъ представителей и политиковъ, а въ религіозномъ отношеніи совершенно разъединилъ обѣ стороны. Въ то время какъ до Бѣлой горы строй общественной жизни былъ въ Чехіи и Словакіи одинаковымъ, или по крайней мѣрѣ весьма близкимъ, послѣ нея раскрылась между ними глубокая пропасть.

Еще болѣе основательно Словакія была отъединена отъ чешскихъ земель тѣмъ, что къ концу XVII и къ началу XVIII столѣтія, благодаря постепенному очищенію Венгріи отъ турокъ и подчиненію Семиградской области, вся официальная венгерская территория оказалась подъ властью габсбургскихъ монарховъ. До Бѣлой горы и еще нѣкоторое время послѣ нея Словакія, оставаясь въ государственномъ - правовомъ отношеніи безспорной частью Венгріи, въ дѣйствительности всей своей общественной жизнью была ближе къ чешскимъ землямъ, съ которыми ее связывала власть единого монарха, общія государственная администрація (общія центральныя учрежденія) и одинаковые методы управленія. Теперь все измѣнилось. Словакія была снова совершенно втянута въ сферу не только венгерскаго государственнаго права, но и системы государственнаго венгерскаго образованія, все больше и больше отличавшейся отъ системы существовавшей въ чешскихъ и австрійскихъ земляхъ. Правда, первое время послѣ завоеванія венгерской территории, занятой прежде турками,

на лицо еще оставались двѣ совершенно отличныя между собою земли (королевство и такъ называемая *poviter acquisita*), безъ всякой внутренней связи, которыя, несмотря на общес имя, по планамъ Вѣны впредь должны были быть управляемы по различнымъ методамъ. Но не прошло и нѣсколькихъ десятилѣтій, какъ объединеніе обѣихъ этихъ частей было уже совершившимся фактомъ.

Побѣдоносный походъ императорскихъ войскъ противъ турокъ и ихъ внутреннихъ союзниковъ помогъ, правда, императору провести нѣкоторыя измѣненія въ венгерской конституціи, частично въ области ограниченія сословныхъ свободъ и правъ, частично въ направленіи дальнѣйшаго укрѣпленія императорской власти, но всѣ эти измѣненія далеко не достигали тѣхъ, что были проведены въ Чехіи послѣ Бѣлой горы и въ началѣ XVIII столѣтія; къ тому же, послѣ произошедшаго примиренія между династіей и протестующей Венгріей старая конституція была полностью восстановлена. Несмотря на то, что и послѣ этого въ Венгріи все возрасталъ фактический абсолютизмъ и королевская власть получала все большій и большій перевѣсъ надъ сословіями особенно въ области центрального имперскаго управленія, все же сословія сохраняли тамъ гораздо больше значенія, чѣмъ въ чешскихъ и австрійскихъ земляхъ. Особенно важное отличіе было въ томъ, что въ Венгріи не переставали существовать старыя комитатныя организаціи. Въ то время какъ въ Чехіи областныхъ сѣздовъ уже не было, въ Венгріи продолжалъ періодически собираться дворянскіе комитатные сѣзды, съ прежними правомочіями. Управленіе комитатами оставалось вполнѣ въ рукахъ комитатнаго дворянства и находилось подъ вліяніемъ мѣстныхъ элементовъ, въ то время какъ областное управленіе становилось чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе казеннымъ и бюрократическимъ.

Эти отличія конституціи и политической жизни въ Чехіи и въ Венгріи, непрестанно увеличивавшія отчужденіе Чехіи и Словакии, были еще углублены реформами Маріи Терезіи и Іосифа II. Въ то время какъ изъ чешскихъ и австрійскихъ земель ими была создана единообразная территория, управляемая общими учрежденіями, имѣющая одинаковое судопроизводство и въ общемъ однородное законодательство, венгерскія земли, которыхъ данныя реформы не коснулись, сохранили свои особые органы управленія и остались такимъ образомъ самостоятельнымъ

правовымъ комплексомъ. Во время царствованія Іосифа II одно время казалось, что различія между Венгріей и остальными землями, созданныя въ процессѣ исторіи, будутъ стерты, благодаря тому, что въ Венгріи будутъ уничтожены главные сословные органы самоуправленія, что абсолютизмъ получитъ тѣ же права, какъ въ чешскихъ и австрійскихъ земляхъ и что благодаря этому Венгрія будетъ вовлечена въ объединительно-централизованное движеніе, которому она до этого времени упорно сопротивлялась. Однако полная неудача венгерскихъ реформъ Іосифа II способствовала лишь еще большому углубленію пропасти, существовавшей между Венгріей и остальными землями габсбургской монархіи, а слѣдовательно и между чешскими землями и Словакіей.

Сравнительно значительная независимость, которую Венгрія сумѣла сохранить отъ вѣнскаго централизма и абсолютизма, въ то время какъ Чехія подпала имъ вмѣстѣ съ остальными габсбургскими землями, обладала на ряду съ безспорными выгодами и нѣкоторыми весьма отрицательными сторонами. Извѣстно, что во время просвѣщеннаго правленія Маріи Терезіи и Іосифа II ими было осуществлено много важныхъ и полезныхъ реформъ. Достаточно вспомнить хотя бы о нѣкоторыхъ реформахъ крѣпостного права, не только улучшившихъ положеніе крѣпостныхъ, но и подготовившихъ почву для современнаго государственнаго строя, основаннаго на идеѣ равенства всѣхъ гражданъ передъ закономъ. Въ то время какъ въ чешскихъ и австрійскихъ земляхъ эти и инныя реформы были осуществлены въ весьма широкихъ размѣрахъ, въ Венгріи дворяне сумѣли ихъ въ значительной мѣрѣ для себя обезвредить. Съ этимъ тѣсно связанъ тотъ фактъ, что въ Венгріи не могла возникнуть и развиваться крупная промышленность, какъ это произошло какъ разъ въ ту эпоху въ Чехіи и нѣкоторыхъ австрійскихъ земляхъ, гдѣ благодаря этому былъ заложенъ фундаментъ для экономическаго и социальнаго развитія. Въ то время, какъ чешскія земли, совмѣстно съ австрійскими, развивались въ направленіи политическаго, социальнаго и экономическаго прогресса, Венгрія осталась оазисомъ, гдѣ сохранялись въ полной мѣрѣ старыя и давно отжившія сословные порядки, тормозившія развитіе страны. Въ этомъ оазисѣ жила, какъ зачарованная, Словакія, которая теперь была оторвана отъ Чехіи не только государственно-правовыми

особенностями, но и всей своей политической, социальной и экономической жизнью.

Въ области духовной жизни эта оторванность все же не была полной. Прежде всего не переставали дѣйствовать старыя религиозныя традиціи, которыя до Бѣлой горы связывали словаковъ и чеховъ. Послѣ Бѣлой горы эти традиціи были еще больше укрѣплены массовымъ переселеніемъ чешскихъ и особенно моравскихъ евангелистовъ въ Словакію, гдѣ имъ не грозили преслѣдованія за вѣру, отъ которыхъ они бѣжали съ родины. Первыми пришли изъ Моравіи послѣ Бѣлой горы такъ называемые моравскіе новокрещенцы, по происхожденію нѣмцы, потомки которыхъ, габаны, были изобрѣтателями такъ называемой габанской керамики. Потомъ начали приходить въ Словакію изъ Моравіи и Чехіи «подобои» \*) различныхъ направленій и братья. Количество братскихъ изгнанниковъ опредѣляется въ 4-5.000; изгнанниковъ изъ секты «подобоевъ», близкихъ лютеранству, было еще гораздо больше. Кромѣ духовенства, это были по преимуществу мелкіе дворяне и мѣщане, главнымъ образомъ ремесленники. Эти эмигранты первоначально жили группами, довольно отчужденными отъ мѣстныхъ жителей, но съ теченіемъ времени все же съ ними слились. Они, конечно, принесли съ собою въ Словакію не одинъ побѣгъ культурнаго, социального и экономическаго прогресса; уже однимъ своимъ присутствіемъ и дѣятельностью они должны были способствовать сознанію у мѣстныхъ жителей ихъ лингвистическаго единства и родовой близости съ чехами. Но они сдѣлали еще больше: они принесли въ Словакію чешскія литературныя произведенія. Изъ эмигрантскихъ литературныхъ дѣятелей достаточно указать на знаменитаго писателя и духовнаго поэта Иржи Тржановскаго, пѣсенникъ котораго, «*Citluga sanctogum*», былъ въ теченіе трехсотъ лѣтъ неразлучнымъ спутникомъ словаковъ евангелистовъ. Благодаря непосредственной дѣятельности этихъ изгнанниковъ и чешскихъ произведеній, которыя подъ ихъ вліяніемъ были восприняты словаками или же были тамъ ими написаны

---

\*) «Подобоями» назывались приверженцы религиознаго теченія, признававшаго првчастіе подъ обоими видами, т. е. изъ вина и хлѣба, а не подъ однимъ, въ видѣ облатки, какъ у католиковъ.

(Прим. перев.).

и изданы, подготовлена была главнымъ образомъ почва для идеи національнаго чехословацкаго единства, ставшая однимъ изъ основныхъ факторовъ чешскаго національнаго возрожденія въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX столѣтій.

Но и антиреформаціонное движеніе въ Словакіи питалось изъ чешскаго источника. Центромъ антиреформаціи, достигшей наивысшей своей точки при Леопольдѣ I, была въ Словакіи Трнава, гдѣ были іезуитскія коллегіи и университетъ; кромѣ того антиреформаціонная дѣятельность исходила изъ Жилины и Тренчина. Всѣ эти города уже благодаря своему расположенію должны были находиться подъ чешскимъ вліяніемъ. Въ данномъ случаѣ можно наблюдать весьма интересное явленіе, на которое обратилъ вниманіе И. Вльчекъ, что «на словацкое католическое творчество антиреформаціоннаго періода весьма мало вліяетъ антиреформаціонная венгерская литература, но зато очень сильно чешскіе іезуитскія произведенія. Трнавскіе іезуиты брали въ Чехіи примѣры для своей письменной агитаціи, они же перепечатывали чешскія книги, по чешски писали и издавали различныя произведенія, приспособленныя для мѣстнаго употребленія».

Такимъ образомъ и въ эпоху послѣ Бѣлой Горы чешскія культурныя и литературныя вліянія проникали въ Словакію, какъ среди протестантовъ, такъ и среди католиковъ, удерживая хотя бы частично лингвистическое и духовное единство чеховъ и словаковъ, въ иныхъ отношеніяхъ совершенно разъединенныхъ; вполнѣ однако понятно, что съ теченіемъ времени эти вліянія все болѣе ослабѣвали и утрачивали значене. И въ самой Чехіи старыя предбѣлогорскія традиціи вымирали, духовная жизнь была скована и раздавлена побѣлогорскимъ абсолютизмомъ. Такимъ образомъ въ Словакію не могли уже больше идти изъ Чехіи возбуждающія идеи, въ самой же Словакіи духовная жизнь была подавлена политической и культурной реакціей. Эта реакція, къ счастью, не могла совершенно убить Словакію, бывшую въ то время подлиннымъ центромъ чешской литературной традиціи и имѣвшую огромное значене для сохраненія преемственности въ развитіи чешскаго литературнаго языка въ антиреформаціонный періодъ. Реакція проявлялась также въ томъ, что національный языкъ, который въ XVI и въ XVII вв. все больше и больше проникалъ въ общественную жизнь, снова вытѣс-

нялся теперь латинскимъ. Въ Словакии одновременно также расширяется знаніе венгерскаго языка. Все это находится въ связи съ измѣненіемъ политическаго положенія въ Венгріи; характерно, что главнымъ городомъ страны и мѣстопробываніемъ центральныхъ учреждений въ это время становится Пешть, находящійся на венгерской территоріи, въ то время какъ Братислава, собственно говоря нѣмецкій, близкій и тяготѣвшій къ Вѣнѣ Прешпуркъ, бывший до того столицей и мѣстомъ коронацій, теряетъ свое прежнее значеніе.

---

Одновременно съ довершеніемъ политическаго отчужденія словацкихъ и чешскихъ земель около половины XVIII в. ослабѣваетъ и духовная связь чеховъ и словаковъ; несмотря на единство литературнаго языка, прежняя ихъ духовная близость понемногу исчезаетъ. Ея слабые остатки удерживаются лишь въ нѣкоторыхъ евангелистскихъ кругахъ, какъ благоговѣйная и довольно неопредѣленная традиція; что же касается общественной жизни, то въ ней эта связь почти никакъ не проявляется. При такихъ обстоятельствахъ въ Венгріи начинаетъ наростать сопротивленіе германизаторскимъ стремленіямъ вѣнскаго двора, коснувшихся во время Маріи Терезіи и особенно Юсифа II и Венгріи, а также пробужденіе національнаго сознанія, вызвавшее могучее движеніе въ пользу національнаго (роднаго) языка. До этого момента исторія Венгріи, въ отличіе отъ чешской, отмѣчена недостаткомъ національнаго сознанія тѣхъ, кто какъ разъ является ея представителями. Венгерское дворянство проявляетъ, правда, весьма сильное сословное и политическое сознаніе, иногда, но уже въ гораздо меньшей степени, сознаніе государственное, но съ національнымъ мы у него никогда не встрѣчаемся. Венгерское мѣщанство политически и культурно гораздо болѣе слабо, чѣмъ чешское, въ національномъ отношеніи оно смѣшано; что же касается народа, то онъ политически безправенъ и національно несознателенъ. Эта національная безцвѣтность венгерской исторіи ясно сказывается въ томъ, что въ Венгріи гораздо чаще и больше, чѣмъ гдѣ бы то ни было, употреблялся въ литературѣ и при официальныхъ сношеніяхъ латинскій языкъ. Во второй половинѣ XIII в. латинскій языкъ преобладаетъ въ общественной жизни, пожалуй, еще больше, чѣмъ въ предше-

ствующую эпоху. Кромѣ королевскихъ финансовыхъ палатъ, официальнымъ языкомъ которыхъ является нѣмецкій языкъ, всѣ учрежденія употребляютъ латинскій. Королевскія учрежденія пишутъ комитатамъ по латински, по латински же переписываются между собой и комитаты. Латинскій языкъ, по крайней мѣрѣ въ Словакии, является официальнымъ языкомъ комитатовъ и на комитатныхъ собраніяхъ. Въ словацкихъ городахъ употребляютъ кромѣ латинскаго въ официальныхъ случаяхъ и нѣмецкій языкъ; это дѣлается даже тамъ, гдѣ среди жителей преобладаетъ словацкій элементъ. Городскія записи той эпохи бываютъ только латинскія или нѣмецкія.

Несмотря на то, что формально языки были равноправны, все же венгерскій языкъ добился, по крайней мѣрѣ теоретически, извѣстныхъ привилегій. Въ виду того, что жителей, говорившихъ по мадьярски, было сравнительно большое количество (въ 1787 г. въ Венгріи вмѣстѣ съ Трансильваніей было 8 млн. жителей, изъ которыхъ 29% были мадьяры), но главнымъ образомъ изъ-за того, что большая часть венгерскаго землетручія были мадьяры, венгерскій языкъ выступалъ иногда на ряду съ латинскимъ, какъ второй государственный или мѣстный языкъ, хотя объ этомъ не было никакого законнаго постановленія. Вступительныя и привѣтственныя рѣчи въ сеймѣ произносились по венгерски, въ то время какъ сама процедура вѣлась по латински. Упорныя централистическія стремленія вѣнскаго двора приводили постепенно къ тому, что нѣмецкій языкъ получалъ все большій перевѣсъ надъ латинскимъ и венгерскимъ; на изученіе нѣмецкаго языка въ школахъ также обращаютъ все большее вниманіе. Іосифъ II-ой пытался ускорить проникновеніе нѣмецкаго языка въ общественную жизнь Венгріи; въ 1784 году онъ издалъ приказъ о постепенномъ введеніи нѣмецкаго языка во внѣшній и внутренній обиходъ королевскихъ венгерскихъ канцелярій и одновременно онъ постановилъ, что въ будущемъ ни въ одно свѣтское и духовное учрежденіе Венгріи не будетъ принято лицо, не знающее нѣмецкаго языка. Несмотря на протесты венгерскаго общественнаго мнѣнія, а главнымъ образомъ венгерскихъ комитатовъ, въ противовѣсъ императорскому постановленію рьяно защищавшихъ латинскій языкъ, упомянутый приказъ началъ сейчасъ же послѣ его изданія проводиться въ жизнь и былъ кромѣ того еще дополненъ цѣлымъ рядомъ пред-

писаній того же рода. Начиная съ 1787 года почти всюду былъ введенъ въ учрежденіяхъ нѣмецкій языкъ. Нѣмецкій языкъ сталъ такимъ образомъ въ во всей Венгріи и Словакии официальнымъ языкомъ. Этого положенія онъ добился за счетъ лишь латинскаго языка, такъ какъ національные языки сохраняли рядомъ съ нимъ свое мѣсто въ официальной жизни.

Успѣхъ, достигнутый нѣмецкимъ языкомъ, не былъ однако длительнымъ. Его искусственное введеніе вызвало рѣзкое сопротивленіе у венгерскаго дворянства и пробудило у него сильное національное чувство, котораго раньше у него не было. При этомъ имѣло огромное значеніе то, что среди мѣстныхъ и народныхъ языковъ въ Венгріи мадьярскій добился, хотя бы только формально, болѣе высокаго положенія и что даже не венгерское дворянство умѣло говорить по венгерски и по всѣмъ признакамъ охотно эту рѣчь употребляло. Благодаря этому національное движеніе венгерской знати, возбужденное протестомъ противъ нѣмецкаго языка, получило скоро чисто венгерское направленіе. Национальная бездѣятность, характерная до сихъ поръ для венгерскаго дворянства, должна была уступить мѣсто сильному національному сознанию. Но это національное сознание было совершенно особое, весьма показательное для общественной жизни тогдашней Венгріи. Говоря о славномъ «венгерскомъ народѣ», подъ нимъ подразумѣвали народъ лишь въ политическомъ отношеніи и въ смыслѣ сословномъ, какъ это было въ Венгріи въ началѣ XVI в. формулировано венгерскимъ юристомъ Вэрбечи; по этому представленію народъ состоялъ лишь изъ той части населенія, которая обладала политическими правами и благодаря этому участвовала въ рѣшеніяхъ общественныхъ вопросовъ. Къ такому венгерскому народу могло принадлежать лишь высшее и низшее дворянство всѣхъ національностей, но ни въ коемъ случаѣ не часть населенія, лишенная политическихъ правъ. Когда этотъ «венгерскій народъ» началъ защищать отъ германизаторской политики вѣнскаго правительства права своего роднаго языка, то естественно возникло представленіе, что роднымъ языкомъ его является тотъ, на которомъ говоритъ большинство политическаго венгерскаго народа — дворянства и который обладалъ, какъ уже было сказано, извѣстными преимуществами, т. е. языкъ мадьярскій. Этому взгляду, очень скоро привившемуся, способ-

ствовало смѣшеніе понятій венгерскій и мадьярскій; весьма тяжелыя послѣдствія такого взгляда для всѣхъ немадьярскихъ народовъ Венгріи, а слѣдовательно и для словаковъ, проявились лишь черезъ нѣкоторое время. Считая своимъ національнымъ (мы скорѣе сказали бы сословнымъ языкомъ) языкъ мадьярскій, немадьярское дворянство въ Венгріи особенно же словацкое, необладавшее почти никакимъ словацкимъ самосознаніемъ и собственными политическими традиціями, отчуждалось отъ всего народа и подвергалось мадьяризації. Національное движеніе, возникшее въ Венгріи какъ протестъ противъ германизаторскихъ стремленій вѣнскаго двора, лишило словаковъ почти всего ихъ дворянства и земаинства, т. е. цѣлаго того сословія, которое въ Венгріи было почти единственнымъ представителемъ народа.

Національное словацкое сознаніе, правда, еще удерживалось въ нѣкоторыхъ народныхъ кругахъ, но не имѣя возможности черпать поддержку ни изъ собственнаго словацкаго прошлаго, ни изъ плодотворныхъ чешскихъ вліяній, ибо въ самой Чехіи въ это время все было придушено ужасными условіями, оно расплывалось въ весьма туманныхъ понятіяхъ. Духовная связь словаковъ и ихъ соотечественниковъ въ Чехіи и въ Моравіи исчезла; національное же сознаніе, поскольку оно у нихъ вообще сохранялось, пріобрѣтало общеславянскій характеръ. Уже въ XVIII в. среди словаковъ былъ распространенъ взглядъ, что они сами ближе всего пра-славянамъ, больше другихъ сохранивъ черты подлинныхъ славянъ, что ихъ языкъ ближе всего пра-славянскому языку. Несмотря на то, что словаки не отрицали своего близкаго родства съ чехами и продолжали употреблять общій съ ними языкъ, эта идея поддерживала у словаковъ склонность къ духовному сепаратизму. У евангелистовъ этотъ сепаратизмъ ослаблялся общей религіозной традиціей, объединявшей ихъ съ чехами, но у словаковъ католиковъ подобной традиціи не было. Это отражалось ясно и на ихъ произведеніяхъ, въ чешскій языкъ которыхъ въ XVIII в. проникаетъ все больше и больше словакизмовъ. Когда въ концѣ этого столѣтія всюду, а также въ Чехіи, выросъ интересъ къ народному языку и даже малыя славянскія племена начали употреблять свои нарѣчья, въ Словакіи выступилъ съ предложеніемъ создать особый словацкій литературный языкъ католическій священникъ Бернолакъ. Хотя Бернолакъ конечно

хотѣлъ этимъ повысить уровень духовной жизни словаковъ и ихъ народнаго сознанія, къ данному плану онъ былъ, безъ сомнѣнія, приведенъ своимъ венгерскимъ (ни въ коемъ случаѣ не мадьярскимъ) патриотизмомъ и своимъ отвращеніемъ къ чешской религіозной традиціи. Конечно, всѣ его послѣдователи воспринимали идею Бернлоака, какъ освобожденіе словацкаго языка отъ чешскаго, до этихъ поръ, какъ имъ казалось, притѣснявшаго ихъ родной языкъ.

Попытка Бернлоака создать словацкій литературный языкъ не удалась, несмотря на то что выдающійся словацкій поэтъ Янъ Голлый написалъ свое большое поэтическое произведеніе на нарѣчій Бернлоака. Словацкіе евангелисты остались вѣрны литературному чешскому языку и не переставали проповѣдывать чехословацкое единство. Идея этого единства получила какъ разъ въ Словакіи въ началѣ XIX столѣтія новое содержаніе и смыслъ. Національное движеніе, возникшее въ Венгріи изъ протеста противъ германизации, лишило словаковъ, какъ мы уже говорили, ихъ дворянства, которое, не имѣя собственныхъ политическихъ традицій, подпало подъ вліяніе національной идеологіи мадьярскаго дворянства. Это было вполнѣ естественно въ эпоху, когда подъ народомъ или національностью подразумѣвался только слой людей, имѣющихъ общія политическія права, т. е. извѣстная общественно-правовая единица. Такой единицей словаки никогда не были даже въ томъ смыслѣ, какъ, напримѣръ, трансильванскіе саксонцы, имѣвшіе, какъ цѣлое, свои особыя права. Словаки, какъ нѣчто цѣлое, такихъ особыхъ правъ никогда не имѣли; ихъ дворянство считалось равноправной частью венгерскаго дворянства, непосредственнымъ слагаемымъ политическаго венгерскаго народа. Поэтому во время огромнаго движенія противъ германизации у него не могло возникнуть національнаго словацкаго самосознанія, сознанія особаго политическаго единства словацкаго народа въ духѣ того времени. Это повліяло, какъ мы уже сказали, на мадьяризацию словацкаго дворянства, но одновременно имѣло и иныя болѣе благопріятныя послѣдствія: остальные слои словацкаго народа стали доступны болѣе новому, современному понятію о народѣ и національности, какъ совокупности людей, объединенныхъ происхожденіемъ и языкомъ, общими традиціями и моральными идеалами.

Этот новый взгляд укрѣпился подѣ влияніемъ романтизма эпохи на полѣ XIX в. какъ среди чеховъ, такъ и среди словаковъ. Его первымъ значительнымъ и отчетливымъ проявленіемъ было извѣстное разсужденіе Юнгмана «О языкѣ чешскомъ» (1803 г.). Для Юнгмана и его единомышленниковъ основнымъ признакомъ народности былъ языкъ. Имъ, съ точки зрѣнія Юнгмана, отличается каждый народъ, въ немъ, независимо отъ политическихъ границъ, его единство. Отечествомъ для него является та часть земли, гдѣ живетъ народъ, говорящій на одномъ языкѣ. «Сколько языковъ, столько и народовъ», сколько народовъ, столько и отечествъ, провозглашала Юнгманъ. Онъ становится такимъ образомъ въ полное противорѣчіе съ понятіемъ народа, какъ общественно-правовой единицы, уже встрѣчавшимся намъ въ Венгріи, но распространеннымъ и въ другихъ земляхъ австрійской монархіи, хотя тамъ оно не выступаетъ такъ рѣзко, такъ какъ тамъ сознаніе «народныхъ» или сословныхъ правъ (въ венгерскомъ смыслѣ) было гораздо слабѣе. Ко взглядамъ Юнгмана на народъ примыкала революціонная книга «Начала чешской поэзіи» (1818 г.), которая была произведеніемъ двухъ словаковъ (Бенедикти и Шафаржика) и одного моравы (Палацкаго). У молодыхъ авторовъ этой книги, почти всѣхъ евангелистовъ, идея Юнгмана дополняется особымъ значеніемъ, придаваемымъ старой религіозной чешской традиціи — гуситской и евангелической. Ихъ произведенія, какъ хорошо выразился Халупецкій, можно считать «началомъ нашей новой философіи, воплощенной совершенно классически въ научныхъ трудахъ Палацкаго и ставшей духовнымъ достояніемъ цѣлаго народа. Какое значеніе все это имѣло для идеи національнаго чехословацкаго единства станетъ намъ вполне ясно, если мы себѣ представимъ, что чешское національное возрожденіе должно было бы развиваться только въ чешскомъ локальномъ или по крайней мѣрѣ чешскомъ государственномъ духѣ. Это безспорно означало бы конецъ чехословацкаго единства, въ то время какъ программа возрожденія Палацкаго, созданію которой въ значительной мѣрѣ содѣйствовали словацкія евангелическія традиціи, совсѣмъ почти сгладили расколъ, созданный прошлымъ между Чехіей и Словакіей».

Но объединительная сила этой программы ослаблялась различными обстоятельствами. Къ нимъ нужно при-

числить прежде всего сильное развитіе идеи славянскаго единства, въ томъ видѣ, какъ ее проповѣдывалъ великій поэтъ Янъ Колларъ. Въ единеніи всѣхъ славянъ, какъ его воспѣвалъ Колларъ, единеніе чеховъ и словаковъ если не совсѣмъ теряло значеніе, то расплывалось. Единство чеховъ и словаковъ основывалось у него скорѣе на ихъ общей принадлежности къ великой всеславянской семьѣ, чѣмъ на ихъ особой внутренней связи, данной общимъ языкомъ и общими историческими традиціями. Кромѣ того среди виднѣйшихъ провозвѣстниковъ всеславянства не переставала жить старая идея, будто словаки по своему происхожденію и языку являются наиболѣе чистыми по своему типу славянами. У чеховъ, наоборотъ, національное и славянское сознаніе было сильно окрашено территориальнымъ патріотизмомъ, проистекавшимъ изъ воспоминаній о былой славѣ ихъ государства. Въ «Исторіи чешскаго народа въ Чехіи и Моравіи» Палацкаго, этой библии чешскаго современнаго сознанія, не нашлось мѣста для словаковъ.

Несмотря на общій литературный языкъ и на общія религіозныя традиціи, объединявшія евангелическую часть Словакіи съ Чехіей, между ними не было полного духовнаго единства, которое могло бы превозмочь различіе ихъ государственной принадлежности. Вліяніе различной политической среды, въ которой жили чехи и словаки, не переставало по разному формировать чувства и мышленіе обѣихъ вѣтвей чехословацкаго народа. Въ національныхъ же вопросахъ различныя условія жизни тѣхъ и другихъ внушали имъ различный образъ дѣйствій. Вспомнимъ хотя бы то, что въ чешскихъ земляхъ употребленіе нѣмецкаго языка въ учрежденіяхъ, школахъ и въ общественной жизни было со второй половины XVIII в. всеобщимъ явленіемъ, въ то время какъ въ Венгріи мадьярскій языкъ начали планомѣрно вводить въ учрежденія лишь въ 30-хъ и 40-хъ годахъ XIX в. Притомъ все это дѣлалось съ нескрываемымъ умысломъ добиться для мадьярскаго языка въ Венгріи исключительнаго положенія, омадьярить и не мадьярскія національности, особенно же словаковъ. Борясь со все растущей мадьяризаціей, вождь словаковъ-евангелистовъ Людевитъ Штуръ рѣшилъ въ 1844 г. издавать газеты и иныя произведенія по словацки, но однако не на трнавскомъ нарѣчій, которое началъ водить Бернолакъ, а на чистомъ средне-словацкомъ.

Несмотря на протесты чеховъ и многихъ выдающихся словаковъ, Штуръ и его сподвижники остались вѣрны этому новому словацкому языку, довольно скоро ставшему литературнымъ языкомъ всѣхъ словаковъ.

На этотъ роковой шагъ Штура толкнули не только теоретическія разсужденія въ духѣ философіи Гегеля, но и нѣкоторыя чисто практическіе мотивы. Для него было чрезвычайно важно имѣть возможность дѣйствовать печатнымъ словомъ на словацкій простой народъ, которому чешскій языкъ не былъ вполнѣ понятенъ и этимъ способомъ усилить его національное сознание. Но онъ также, конечно, хотѣлъ облегчить и улучшить политическое положеніе словаковъ въ Венгріи тѣмъ, что они отреклись бы отъ языка, связывавшаго ихъ съ народомъ, живущимъ за границами венгерскаго государства, и приняли бы языкъ мѣстный. Онъ кромѣ того, безспорно, надѣялся, что этимъ маневромъ ему удастся спасти словацкое дворянство, все болѣе и болѣе подвергавшееся мадьяризаціи, ибо венгерскій патріотизмъ этого дворянства съ трудомъ допустилъ бы употребленіе языка, считавшагося чужимъ въ Венгріи. Не всѣ эти надежды однако оправдались. Введеніе литературнаго словацкаго языка, правда, весьма оживило литературную и вообще духовную жизнь въ Словакіи и немало способствовало росту національнаго сознанія въ широкихъ кругахъ народа, но словацкаго дворянства все же отъ мадьяризаціи не спасло и въ политическомъ отношеніи словакамъ совершенно не помогло.

Каково же было значеніе лингвистическаго разрыва чеховъ и словаковъ для ихъ духовныхъ взаимоотношеній и для идеи чехословацкаго единства? Если бы мы вмѣстѣ съ Юнгманомъ считали, что главнымъ и почти единственнымъ отличіемъ народа является его языкъ, то въ данномъ лингвистическомъ разрывѣ мы бы должны были видѣть если и не конецъ національнаго чехословацкаго единства, то во всякомъ случаѣ тягчайшій ударъ, нанесенный единству. Но если мы будемъ считать для національнаго единства болѣе важнымъ, чѣмъ общій языкъ, условіемъ и требованіемъ общность національнаго сознанія, — пониманія національнаго прошлаго и народныхъ цѣлей, — то должны будемъ допустить, что отторженіе словаковъ отъ литературнаго чешскаго языка скорѣе содѣйствовало, чѣмъ мѣшало развитію общаго національнаго чехословацкаго сознанія. Введеніе литературнаго словац-

каго языка дало возможность словакамъ преодолѣвать собственнымъ словацкимъ сознаниемъ, проникающимъ въ широкія массы народа безъ различія ихъ вѣроисповѣданія, національное и государственное венгерское сознание, взрожденное столѣтїями принадлежности къ венгерскому государству, глубоко засѣвшій въ нихъ унгаризмъ. Облегчая высвобожденіе словаковъ изъ плѣна унгаризма, словацкое самосознаніе, укрѣпленное введеніемъ словацкаго литературнаго языка, освобождало путь къ созданію національнаго сознанія, не связаннаго принадлежностью къ тому или иному государству, но опредѣляемаго въ большей степени лингвистическимъ и этническимъ родствомъ и другими идеологическими связями; этотъ путь могъ вести къ подлинному объединенію словаковъ съ чехами.

---

Эта цѣль не была достигнута прямо и скоро. Наоборотъ, какъ разъ уже послѣ введенія литературнаго словацкаго языка унгаризму, прїобрѣтшему теперь окончательно мадьярскій характеръ, въ своей исконной, но лишь теперь сознательной борьбѣ за душу Словакии удалось добиться новыхъ побѣдъ не только надъ чехословацкой, но и надъ самой словацкой идеей. Если однимъ изъ побудительныхъ мотивовъ, приведшихъ къ лингвистическому разрыву, была надежда укрѣпить словацкую идею черезъ улучшеніе положенія словаковъ въ Венгріи, то дальнѣйшее развитіе общественной жизни въ венгерскомъ государствѣ показало организаторамъ всего движенія, что въ этомъ они жестоко ошиблись.

Уже въ 1848 году это стало совершенно ясно. Идеи политической свободы и гражданскаго равенства, которыя въ этомъ году пышно расцвѣли въ Венгріи, не были тамъ новыми. Венгерскія сословія руководились ими подъ вліяніемъ великой французской революціи, какъ опорой старыхъ дворянскихъ свободъ и правъ, уже во время конституціонной борьбы съ Іосифомъ II. Эта борьба окончилась при прїемникѣ Іосифа, Леопольдѣ II-омъ, признаніемъ сословныхъ правъ, но само движеніе, стремящееся къ полученію политическихъ свободъ въ духѣ французской революціи, не было этимъ исчерпано. Вскорѣ послѣ кончины Леопольда въ Венгріи среди интеллигенціи образовалось тайное общество, состоящее главнымъ об-

разомъ изъ писателей, съ извѣстнымъ политическимъ дѣятелемъ Мартиновичемъ во главѣ. Онъ проповѣдывалъ, что Венгрія должна избавиться отъ Габсбурговъ и ввести новое правленіе. Онъ хотѣлъ, чтобы каждая изъ національностей, находящихся въ венгерскомъ государствѣ, создала свою «землю», съ самостоятельной политической конституціей и собственнымъ сеймомъ, гдѣ дѣла велись бы на національномъ языкѣ. Такой «землей» по плану Мартиновича должна была стать и Словакія. Но интересное движеніе Мартиновича кончилось плачевно. Самъ онъ былъ обвиненъ въ государственной измѣнѣ, осужденъ и казненъ вмѣстѣ съ нѣсколькими своими друзьями, остальные наказаны тюремнымъ заключеніемъ. Идея политическаго освобожденія венгерскихъ національностей, а такимъ образомъ и самоопредѣленія Словакіи замерла во время послѣдовавшей затѣмъ политической реакціи, не принеся никакихъ результатовъ.

Лишь великое освободительное движеніе, которое охватило Венгрію въ 1848 г., побудило и словаковъ выступить съ собственной политической программой, по духу похожей на предшествующую. Въ этой своей программѣ, какъ она выражена въ особой петиціи, принятой въ началѣ мая 1848 г. на словацкомъ митингѣ въ Липтовскомъ св. Микулашѣ, словаки полностью оставались въ рамкахъ венгерской государственности. Они добивались лишь нѣкоторыхъ языковыхъ правъ и особаго словацкаго сейма въ границахъ общей венгерской конституціи. Однако у мадяръ, такъ бурно добивавшихся свободы для себя, словаки не встрѣтили своимъ требованіямъ никакого сочувствія; наоборотъ, тутъ то и стало ясно, что всѣмъ мадярамъ идея политическаго освобожденія венгерскихъ народовъ, проповѣдовавшаяся нѣкогда Мартиновичемъ, была непріемлема, и что они стоятъ за необходимость мадяризировать всѣ народы, особенно же словаковъ. Познаніе этой горькой истины вновь повернуло словаковъ въ сторону Праги. Тогда-то произошло примиреніе чеховъ и словаковъ, разошедшихся не такъ давно вслѣдствіе лингвистическаго раскола, и сближеніе ихъ вождей. Штуръ и его товарищи приняли участіе въ пражскомъ Святодушномъ возстаніи, а когда осенью того же года они пытались поднять въ Словакіи возстаніе противъ новаго венгерскаго правительства, то ихъ поддерживали чехи. Это возстаніе одинъ изъ лучшихъ знатоковъ

новѣйшей исторіи Словакіи, проф. А. Пражакъ, назвалъ эпохальнымъ событіемъ, ибо послѣ тысячелѣтняго молчанія словакъ впервые поднялся на защиту политической свободы своего народа. Надо однако добавить, что возстаніе, хотя и направленное противъ временнаго венгерскаго правительства, не было еще отрицаніемъ принадлежности словаковъ къ Венгріи и словацкаго унгаризма вообще. Политически и исторически гораздо важнѣе было то, что словаки, возставъ противъ мадьяръ, искали и находили помощь у чеховъ. Ихъ націонализмъ, въ эпоху лингвистическаго раскола породившій довольно острую античешскую непріязнь, сталъ снова получать чехословацкій оттѣнокъ. Въ революционной прокламаціи словацкаго національнаго совѣта, обращенной къ чешскимъ, моравскимъ и словацкимъ солдатамъ, весьма рѣшительно звучитъ тонъ чехословацкаго единства; въ ней говорится о единомъ народѣ, живущемъ въ Чехіи, въ Моравіи и Словакіи, объ общемъ языкѣ, звучащемъ во всѣхъ этихъ земляхъ.

Но движеніе 1848 г. принесло идеѣ чехословацкаго единства гораздо больше, чѣмъ эти теоретическія заявленія. Тогда же былъ данъ толчекъ къ попыткамъ вырвать Словакію изъ венгерскаго государственнаго комплекса и объединить ее въ государственномъ порядкѣ съ землями чешской короны. Конкретно формулировалъ эту мысль, къ которой тогда одинаково присоединились словакъ Колларъ и чехъ Гавличекъ, самъ Ф. Палацкій въ своемъ предложеніи новаго раздѣленія габсбургской монархіи, при чемъ требовалось, чтобы Словакія была объединена съ Чехіей и Моравіей. Это требованіе можно было также слышать и въ Словакіи. Если въ заявленіяхъ словацкихъ вождей еще не требовалось непосредственно объединеніе Словакіи съ чешскими землями, то во всякомъ случаѣ вполне открыто было формулировано требованіе, чтобы изъ Словакіи, отдѣлившейся отъ Венгріи, была создана особая, самостоятельная земля. Ясно, что движеніе 1848 года, давшее свободный выходъ чувствамъ и стремленіямъ словаковъ, серьезно подорвало словацкій унгаризмъ и показало имъ политическое значеніе чехословацкаго единства.

Среди чеховъ, хотя у нихъ не было недостатка въ пониманіи политическихъ нуждъ и стремленій словаковъ, одерживала верхъ надъ революционнымъ и во многомъ опережающемъ эпоху взглядомъ Палацкаго иная болѣе

трезвая и реалистическая точка зрѣнія. Стремясь прежде всего добиться признанія своихъ старыхъ свободъ и правъ, своего историческаго государственнаго права, чехи собственно говоря и не могли возставать такъ радикально, какъ Палацкій, противъ историческихъ государственныхъ правъ Венгрии. Но эта хотя и обоснованная тогдашнимъ положеніемъ вещей приверженность къ данной исторической основѣ чехамъ все же не помогла.

Не только не были признаны старыя историческія права земель короны чешской и ихъ единство, но и почти совсѣмъ исчезли послѣдніе остатки прежнихъ земскихъ конституцій. Новый абсолютизмъ, вошедшій въ свои права въ концѣ 1851 года, попытался, пренебрегая этими старыми конституціями, создать изъ всѣхъ земель монархіи, не исключая и венгерскихъ, единое государство съ единообразнымъ управленіемъ. Прежнія историческія коронныя земли, правда, остались, но въ ихъ предѣлахъ суды и политическое законодательство были единообразно реформированы и всюду созданы по одному и тому же принципу новые судебныя и политическія округа. Въ Венгріи въ жертву этой политикѣ были принесены старыя комитаты. вмѣсто нихъ были введены большіе края или округа, изъ которыхъ два (Крессовскій и Братиславскій) были почти совершенно словацкими. вмѣсто прежняго комитатнаго самоуправленія, весьма отсталого и несоотвѣтствующаго новымъ условіямъ жизни, было введено бюрократическое управленіе. Представителями власти были въ большинствѣ случаевъ государственныя чиновники, присланные изъ венгерскихъ земель австрійской монархіи; въ Словакии значительное количество чиновниковъ были чехи.

Абсолютистскій централизмъ Баха, несмотря на всѣ его тѣневныя стороны и непріязнь къ національнымъ стремленіямъ народовъ габсбургской монархіи, изъ которыхъ онъ хотѣлъ бы создать единый австрійскій народъ, говорящій на общемъ нѣмецкомъ языкѣ, невольно оказалъ содѣйствіе идеѣ чехословацкаго единства. Съ этой точки зрѣнія не было безразличнымъ то, что онъ разбилъ тѣсную связь Словакии съ старой феодальной Венгріей, ея конституціоннымъ строемъ и административнымъ порядкомъ и что по крайней мѣрѣ на время ввелъ ее въ ту же политическую атмосферу, въ которой находилась и Чехія. Унификація общественнаго управленія и всей правительственной

системы въ цѣлой монархіи ослабляла связь Словакіи съ Венгріей и сближала ее съ чешскими землями, а слѣдовательно и съ ихъ населеніемъ. Въ началѣ даже само правительство было противъ чехословацкаго языковаго раскола. По предложенію правительственнаго довѣреннаго по венгеро-словацкимъ дѣламъ, поэта Яна Коллара, въ Словакіи былъ введенъ въ школахъ чешскій языкъ и чешскіе учебники. Такимъ образомъ, на ряду съ государственными чиновниками въ Словакію проникло немало чешскихъ учителей и профессоровъ. Въ словацкихъ казенныхъ гимназіяхъ учили, правда, по нѣмецки, но учителя были наполовину, а быть можетъ и на двѣ трети чехи. Дѣятельность этихъ чешскихъ чиновниковъ и особенно гимназическихъ учителей оставила въ Словакіи глубокіе и длительныя слѣды и немало способствовала усиленію духовнаго единства чеховъ и словаковъ и ослабленію венгерскихъ вліяній на словаковъ. Сама баховская правительственная система была полезна Словакіи тѣмъ, что по крайней мѣрѣ на время остановила мадьяризацию; въ этотъ періодъ въ Словакіи усиленно проводили нѣмецкій языкъ, но ни въ коемъ случаѣ не мадьярскій, такъ что тогдашняя словацкая молодежь не умѣла даже по мадьярски говорить. Примѣромъ можетъ служить старенькій, все еще здравствующій словацкій композиторъ І. Л. Бѣла, вынесшій изъ словацкихъ школъ, которыя онъ посѣщалъ во время баховскаго абсолютизма, прекрасное знаніе словацкаго языка, благодарное воспоминаніе о своемъ учителѣ чехѣ и сильное чехословацкое сознаніе; по мадьярски тамъ онъ не научился.

Очень скоро оказалось, что баховскій абсолютизмъ не обладаетъ достаточной внутренней силой, чтобы удержатъ въ габсбургской монархіи порядокъ, противорѣчившій историческимъ традиціямъ и національному чувству значительной части подданныхъ. Скоро стало очевидно, что онъ не удержится въ Венгріи, гдѣ историческое государственное сознаніе было особенно сильно и что нѣтъ возможности вопрепятствовать возстановленію венгерской государственности. Сознаніе неизбѣжности этого а также болѣе благосклонное отношеніе нѣкоторыхъ мадьярскихъ вождей къ немадьярскимъ народамъ подготовляли новый отходъ словаковъ отъ чехословацкой ориентаціи и склонность къ ориентаціи венгерской. Литературный словацкій языкъ снова началъ вытѣснять чешскій, а полити-

чекія стремленія словаковъ снова обратились въ сторону Будапешта. Когда послѣ паденія баховскаго абсолютизма въ габсбургской монархіи началось движеніе въ пользу ея реорганизациі на основѣ историческо-политическихъ индивидуальностей, возвращенія къ земскимъ историческимъ конституціямъ и созданія на ихъ основѣ всеобщей имперской конституціи, когда стало ясно, что будетъ возстановлена государственная независимость Венгріи, то словаки рѣшили добиваться осуществленія своихъ политическихъ требованій на венгерскомъ сеймѣ. Въ ихъ достопамятномъ меморандумѣ, составленномъ въ іюнь 1861-го года въ Турчанскомъ св. Мартинѣ, требовались: признаніе въ законѣ особой личности словацкаго народа, организація особой словацкой территоріи, на которой словацкій языкъ былъ бы единственнымъ, употребляемымъ въ школахъ, судахъ и въ общественной жизни. Но этотъ меморандумъ натолкнулся на столь рѣзкое сопротивленіе со стороны мадьяръ, что словацкое дворянство совершенно отъ него отказалось, а венгерскій парламентъ отвѣтилъ на него отказомъ. Еще въ теченіе нѣкотораго времени, пока не былъ разрѣшенъ вопросъ о государственно-правовомъ положеніи Венгріи въ габсбургской монархіи, словаки пользовались сравнительной свободой и ихъ національныя стремленія поддерживались даже Вѣной. Но все это прекратилось въ 1867 году, когда были выяснены государственно-правовыя отношенія вѣнскаго двора съ Венгріей. Этой реформой словаки были снова прикрѣплены къ независимой Венгріи и отданы въ полное подчиненіе мадьярамъ. Теперь казалось, что политическія программы словаковъ 1848 и 1861 гг., основнымъ требованіемъ которыхъ была автономія словаковъ въ предѣлахъ венгерскаго государства, окончательно перечеркнуты; мадьяризація болѣе послѣдовательная и планомѣрная, чѣмъ когда бы то ни было раньше, начинала серьезно угрожать самому національному бытію словаковъ.

---

Въ этотъ періодъ притѣсненій словаки начинаютъ снова обращать свои взоры въ сторону Праги, съ которой въ 60 и 70 годахъ завязываются у нихъ очень живыя сношенія, какъ политическія, такъ и литературныя. Когда въ 1873 и 1874 годахъ мадьяры закрыли «Словенскую мати-

цу», основанную словаками съ большими трудностями въ 1862 г. по примѣру «Чешской матицы», а потомъ и нѣсколько словацкихъ гимназій, также основанныхъ самими словаками, въ Словакии начинаетъ стремленіе къ литературному чешскому языку. Демонстративно вернулся къ нему главный помощникъ Штура при введеніи литературнаго словацкаго языка Я. М. Гурбанъ. Въ 1876-77 году онъ издалъ по чешски свой альманахъ «Нитра», словацкое изданіе котораго въ 1844 г. было офиціальнымъ подтвержденіемъ отторженія словаковъ отъ литературнаго чешскаго языка. Въ послѣсловіи онъ опровергаетъ заявленіе, сдѣланное Коломаномъ Тисоу на венгерскомъ сеймѣ въ 1874 г., что словацкаго народа нѣтъ и никогда не было въ Венгрии, и самъ высказался рѣшительно и страстно въ пользу чехословацкаго единства.

Среди чеховъ, правда, все еще жило стремленіе къ духовному единству со словаками, нѣкоторые чешскіе писатели съ особой любовью и упорствомъ поддерживали литературныя сношенія съ Словакией, но ходъ политическихъ событій, какъ въ Чехіи, такъ и въ Венгрии, не могъ способствовать укрѣпленію чехословацкаго единства. Все растущее политическое притѣсненіе словаковъ въ Венгрии весьма затрудняло ихъ сношенія съ чехами, что же касается чеховъ, то ихъ государственно-правовая программа возбраняла имъ вмѣшиваться во внутреннія дѣла чужого государства, какимъ была для нихъ Венгрія съ 1867 г. Въ восьмидесятихъ годахъ, когда чехи послѣ неуспѣха, постигшаго ихъ въ великой государственно-правовой борьбѣ, перешли къ активной политикѣ на почвѣ вѣнскаго имперскаго парламента, ихъ вождь Ф. Л. Ригръ не разъ заявлялъ, что чешскій народъ, признавая государственно-правовое положеніе венгерской короны, не желаетъ вмѣшиваться во внутреннія венгерскія отношенія, а потому, несмотря на всѣ свои симпатіи къ словакамъ, не можетъ принять на себя роль судьи въ ихъ спорахъ съ венграми. При такихъ условіяхъ словаки все больше и больше сливались политически съ венгерскимъ государствомъ, которое внутри объединялось національно, лингвистически и культурно, внѣшне же чѣмъ дальше, тѣмъ больше замыкалось отъ вліянія невенгерскихъ частей монархіи и укрѣпляло свою политику лингвистическаго и культурнаго обособленія. Это сліяніе словаковъ съ политическимъ и духовнымъ венгерскимъ міромъ, пріобрѣтавшимъ все боль-

ше мадьярскій характеръ, отдѣляло ихъ, конечно, отъ чеховъ. Что же касается чеховъ, то, несмотря на то, что они сохраняли отвлеченное тяготѣніе къ словакамъ, у нихъ не хватало силы противостоять этому отчужденію, тѣмъ болѣе, что ихъ энергія совершенно исчерпывалась ихъ собственными весьма серьезными политическими и культурными заботами.

Теряя въ припадкахъ отчаянія вѣру, что спасеніе словацкаго народа можетъ придти отъ чеховъ, нѣкоторые словаки предалися романтическимъ мечтамъ о томъ, что освобожденіе придетъ отъ великой славянской Россіи, или даже отъ русскаго царя. Главнымъ проповѣдникомъ этого руссофильства былъ выдающійся словацкій поэтъ Святозаръ Гурбанъ Ваянскій, оказывавшій сильное вліяніе въ Турчанскомъ св. Мартинѣ на словацкую интеллигенцію, укрѣпляя въ ней вредный фатализмъ и болѣзненную надежду на чужую, почти чудесную помощь. Но и въ это время среди словаковъ были люди, которые продолжали смотрѣть съ довѣріемъ и надеждой на чеховъ и не переставали видѣть въ нихъ сильнѣйшую вѣтвь одного и того же племени. Это сознаніе создавалось и удерживалось по преимуществу у тѣхъ словаковъ, которые не удовлетворялись мадьярскими школами, или, скрываясь отъ преслѣдованія властей, обучались въ Чехіи; нѣчто подобное было и у тѣхъ словаковъ, которые вообще жили за границей, особенно въ Америкѣ, гдѣ довольно многочисленная словацкая эмиграція была въ живомъ и тѣсномъ общеніи съ чешской. Въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія часть словацкой интеллигенціи, которой коснулись чешскія политическія и культурныя вліянія, особенно же вліяніе могучей личности профессора Т. Г. Масарика, возстала рѣшительно противъ политическихъ теорій, провозглашенныхъ старшимъ поколѣніемъ съ Ваянскимъ во главѣ; эта часть молодежи доказывала необходимость мелкой культурной и экономической работы среди народа по примѣру чеховъ и рѣшительно высказывалась за тѣсную совмѣстную работу и даже единеніе съ Чехіей. Молодые словаки этого направленія, которыхъ по ихъ журналу «Гласъ», издаваемому съ 1898 г., называли «гласистами» — среди нихъ В. Шробаръ, А. Штефаникъ, М. Годжа и др. поддерживали самыя живыя сношенія съ чешскими политиками и культурными дѣятелями, въ свою очередь возбуждая у нихъ интересъ къ словацкимъ дѣламъ. «Чехословацкая еднота», основанная

въ Прагѣ въ 1898 г., стала организационнымъ центромъ чешскихъ стремленій къ взаимному познанію и сближенію чеховъ и словаковъ. Кромѣ систематической работы, которая велась въ этомъ направленіи въ Чехіи и Словакии, чехословацкая оріентація молодого національно-сознательнаго словацкаго поколѣнія питалась возрастающими притѣсненіями, грубой націоналистической политикой мадьярскаго правительства и пониманіемъ опасностей, грозившихъ жизни словацкаго народа въ Венгріи. Какой силы достигла эта оріентація уже передъ міровой войной, наглядно показала анкета, которую по этому вопросу устроилъ въ 1914 г. словацкій журналъ «Пруды», бывшій продолженіемъ прежняго «Гласа». Цѣлый рядъ молодыхъ словаковъ высказался на этотъ разъ открыто за чехословацкое единство, объявивъ чеховъ и словаковъ единымъ народомъ, а чехословацкую культуру созданіемъ обѣихъ вѣтвей и давъ понять, что они считаютъ всю территорию отъ Домажлицъ до Ужгорода единымъ общимъ отечествомъ, правда, пока раздѣленнымъ политической границей, которая однако въ будущемъ, возможно очень близко, можетъ быть стерта.

Совмѣстной работой чеховъ и словаковъ, ихъ взаимными довоенными сношеніями, не имѣвшими вначалѣ, конечно, никакихъ болѣе смѣлыхъ политическихъ цѣлей, была подготовлена почва для ихъ совмѣстной дѣятельности и во время войны, приводившей ихъ въ соприкосновеніе и на поляхъ сраженій и въ лагеряхъ военноплѣнныхъ. Такъ произошло, что въ заграничномъ движеніи, направленномъ противъ Австро-Венгріи, рядомъ съ чехами Т. Г. Масарикомъ и Эд. Бенешомъ оказались два словака, которые уже много лѣтъ жили за границей; это были М. Р. Штефаникъ, молодой ученый, почти ассимилировавшійся во Франціи, и тоже молодой американскій юристъ Ш. Оускій. Въ чешскихъ легіонахъ словаки воевали рядомъ съ чехами, въ революціонномъ же движеніи дома принимали весьма живое участіе нѣкоторые политическіе словацкіе вожди. Политическое освобожденіе и государственное объединеніе, которыя чехамъ и словакамъ принесла война, является такимъ образомъ плодомъ ихъ совмѣстныхъ усилій, а чехословацкое государство, возникшее на развалинахъ старой Австро-Венгріи, является ихъ общимъ созданіемъ и достояніемъ. Мы вѣримъ, что единая воля обѣихъ вѣтвей чехословацкаго народа, изъ которой созда-

лось это государство, будет охранять его и въ будущемъ отъ внутреннихъ и внѣшнихъ опасностей и обезпечить ему счастливое будущее. И еще мы вѣримъ, что въ этомъ государствѣ, принадлежащемъ въ одинаковой мѣрѣ и тѣмъ и другимъ, одинаково имъ необходимомъ и дорогомъ, чехи и словаки, сохраняя черты отличія, заложенныя въ нихъ природой и сложившіяся въ процессѣ исторіи, будутъ развиваться въ направленіи подлиннаго духовнаго единства, прочно основаннаго на общемъ національномъ сознаніи и общихъ національныхъ интересахъ, стремленіяхъ и идеалахъ.

**К. Крофта.**

(Перев. съ чешск. Н. Мельникова-Папоушкова).

# Временное правительство и русская церковь

## I.

Эпоха Временнаго Правительства Россіи 1917 г. была только прологомъ ко всѣмъ ужасамъ большевизма, терзающимъ Россію вотъ уже второе десятилѣтіе. Поэтому очень многіе русскіе разсматриваютъ эти быстро промелькнувшіе 8 мѣсяцевъ перваго революціоннаго правительства исключительно въ мрачномъ свѣтѣ и не хотятъ признать въ нихъ ничего положительнаго, ничего свѣтлаго. Величайшія страданія Родины отъ революціи и острые личные страданія лишаютъ людей всякаго безпристрастія. А между тѣмъ нѣчто положительное и свѣтлое въ дѣяніяхъ Временнаго Правительства должно быть признано и, конечно, будетъ признано спокойнымъ и объективнымъ судомъ исторіи. И это положительное относится по преимуществу къ судьбѣ русской церкви.

Всѣ другія дѣянія Временнаго Правительства погибли и разсѣялись какъ дымъ. И только одно его дѣло: внутренняго освобожденія церкви, даже подъ вѣшнимъ порабощеніемъ большевиковъ, устояло. Подъ эгидой Временнаго Правительства и съ его помощью русская православная церковь вернула себѣ присущее ей по природѣ право самоуправленія по ея каноническимъ нормамъ. Государственное Учредительное Собраніе не удалось и было разогнано большевиками. А Церковное Учредительное Собраніе (т. е. первый помѣстный Соборъ), благодаря сочувствію Временнаго Правительства, успѣло собраться и сдѣлать свое главное дѣло: возстановить каноническій строй церковнаго самоуправленія съ патріархомъ во главѣ. Для всякаго учрежденія существенно важень его правомѣрный

строй. Въ правомѣрности его формальное здоровье, обеспечивающее правильность его функций. Для церкви ея каноническій строй есть сутубая цѣнность. Онъ не только гарантируетъ ея внѣшнюю и внутреннюю свободу, но и силу ея мистическихъ дѣйствій. Нарушеніе каноническаго строя причиняетъ глубокія страданія совѣсти членовъ церкви, ибо порождаетъ сомнѣнія, подлинна ли, истинна ли, спасительна ли въ мистическомъ смыслѣ та видимая церковь, къ которой принадлежатъ данныя, можетъ быть самыя религіозно добросовѣстныя лица. Этихъ страданій не поймутъ люди внѣцерковные. Они понятны лишь изнутри церкви.

Но каноническій строй свободнаго, соборнаго самоуправления, въ данную историческую минуту, для русской церкви имѣлъ и чрезвычайное утилитарное значеніе. Онъ ее спасъ, насколько это возможно было среди наступившей катастрофы, отъ грозившаго ей глубокаго и внѣшняго и внутренняго распада. Если бы не новая конституція церкви, данная ей соборомъ 1917 г., т. е. созданіе заново до тѣхъ поръ не существовавшей основной единицы самоуправляющагося церковнаго прихода, затѣмъ образованія выборныхъ органовъ епархіальнаго управленія, выборовъ епископата, такихъ же высшихъ органовъ управленія, возглавляемыхъ соборно избраннымъ пожизненнымъ патриархомъ подъ контролемъ періодически собираемаго собора, — если бы не все это — то гоненіе, воздвигнутое на церковь коммунизмомъ, кромѣ тѣхъ внѣшнихъ потрясеній, которыя отсюда произошли, прозило бы и внутренне свести ее почти на нѣтъ, какъ организацію. Вся предшествующая исторія русской церкви, какъ церкви національно-государственной и особенно ея синодальнаго періода, дѣлала ее организационно беззащитной въ борьбѣ за свое существованіе. Бюрократическій строй Духовнаго Регламента Петра Великаго отрывалъ іерархію отъ народа и народъ отъ дѣлъ церкви. Распыленный и формально безправный въ церковной организаціи народъ (въ параллель со своимъ политическимъ безправіемъ при самодержавномъ строѣ) былъ совершенно не подготовленъ къ организационной борьбѣ за церковь. Еще болѣе, чѣмъ народъ, была къ этому не подготовлена и даже совершенно беспомощна небольшая группа іерарховъ въ 100-150 человекъ, всецѣло зависѣвшая отъ назначившей ее государственной власти

и потерявшая вмѣстѣ съ паденіемъ этой власти всякую опору \*).

Данныя соборомъ 1917 года формы приходской организаціи и выборности духовенства и епископата въ другое спокойное время могли бы можетъ быть и не войти такъ глубоко въ жизнь, какъ это случилось въ настоящее героическое время въ Россіи. Приходы, напримѣръ, почти чудесно разрѣшили ту матерьяльную задачу, предъ которой русское правительство два столѣтія стояло, какъ предъ неразрѣшимой проблемой. Подъ бичами и скорпионами большевизма новорожденные приходы, въ голодающей и нищей странѣ, послѣ опрабленія всѣхъ церковныхъ цѣнностей, сумѣли обезпечить культурную жизнь церкви и дать содержание духовенству. Коммунистическіе законы воспретили нормальное функционированіе центральныхъ и епархіальныхъ органовъ управленія, обезглавили церковь, не говоря уже объ арестахъ и ссылкахъ іерархіи и всяческомъ поддерживаніи конкурирующихъ раскольническихъ формаций (живая церковь). Несмотря на это, молекулярная интенсивная жизнь церкви бьетъ живымъ ключемъ въ скромныхъ приходскихъ ячейкахъ.

Конечно, внутренняя духовная живучесть русской церкви, проявленный ею безспорный героизмъ мученичества и исповѣдничества не могли быть даны ей никакой внѣшней силой и никакими внѣшними формами со стороны. Какъ не могъ отнять и окончательно угасить этихъ внутреннихъ духовныхъ возможностей и стѣснявшій ея свободу старый синодальный строй. Тутъ проявилась неумирающая сила Христовой вѣры вообще во все времена и у всѣхъ народовъ, въ частности и у религіозно-одареннаго

---

\* ) Эмпирической провѣркой вредности для жизни церкви старого синодско-консисторскаго строя является опытъ частей русской церкви, оставшихся за предѣлами Совѣтской Россіи. Разумѣемъ положеніе православныхъ церквей въ новыхъ лимитрофныхъ государствахъ. Тамъ, гдѣ православная церковь (собственно, ея іерархія) сумѣла перейти къ новому соборному самоуправленію, тамъ она пропорціонально сохранила и свою свободу и полноту своей жизни. Болѣе — въ Эстоніи и Латвіи, менѣе — въ Финляндіи. Тамъ же, гдѣ, какъ напр., въ Польшѣ, православная церковь, благодаря близорукости русскихъ іерарховъ, воспитанныхъ въ понятіяхъ оберъ-прокурорскаго строя, наивно потянулась къ потеряннымъ въ Россіи и сомнительнымъ благамъ государственнаго протектората, тамъ православіе оказалось внѣшне обезсиленнымъ и по существу гонимымъ.

русскаго народа. Но историкъ обязанъ съ благодарностью признать и учесть, что реформа церкви 1917 г., ничего не прибавляя къ видѣющимся божественнымъ силамъ русской церкви, дала ей несомнѣнно великую помощь и внѣшнее подкрѣпленіе въ ея теперешнемъ тяжеломъ положеніи.

Велико значеніе, помимо всякихъ утилитарныхъ соображеній, устройства церкви на правильныхъ каноническихъ началахъ, даже если внѣшнее большевицкое насилие и не позволяетъ ихъ вполне воплотить въ конкретныхъ открытыхъ формахъ. Великую невѣсомую цѣнность для русской церкви въ ея нынѣшнемъ героическомъ подвигѣ составляетъ ея внутреннее сознаніе своей канонической непорочности и, наоборотъ, порочности и грѣховности всѣхъ тѣхъ единицъ, группъ и цѣлыхъ частей русской церкви, которыя, самочинно и незаконно, не по установленнымъ канонами правиламъ, отпадали отъ ея законной центральной власти. Даже не имѣя во главѣ своего патріарха, изъ-за внѣшняго препятствія со стороны коммунистической власти, русская православная церковь имѣетъ его въ своемъ сердцѣ и въ своемъ добромъ намѣреніи избрать и вмѣстѣ съ тѣмъ развернуть всю полноту своей канонической организованности въ первую же минуту внѣшняго освобожденія. Если можно такъ выразиться, съ момента своего возстановленія на соборѣ 1917 года русская церковь полна внутренняго духовнаго здоровья, полна чувствомъ своей канонической праведности и святости. Это сознаніе воодушевляетъ ее и заставляетъ забыть о всѣхъ внѣшнихъ привилегіяхъ прошлаго синодальнаго періода, когда лучшие русскіе іерархи и высоко культурные члены церкви непрестанно воздыхали въ тяжкихъ объятіяхъ государственнаго плѣна и чувствовали себя очень смущенными подъ ударами злой критики римско-католиковъ, упрекавшихъ ихъ въ предательствѣ свободы церкви. Равнымъ образомъ русская церковь, отыгнѣвъ безупречная съ точки зрѣнія каноническихъ нормъ, чувствуетъ себя морально сильной и въ неразрѣшенномъ еще каноническомъ вопросѣ о законности процесса отдѣленія отъ нея ея бывшихъ частей. Какъ церковь мать, она имѣетъ бесспорное право произвести окончательный, ей по канонамъ принадлежащій судъ надъ этими отдѣленіями и дать всѣмъ неправотамъ въ нужныхъ случаяхъ любовную амнистію. През-

няя, неправильно устроенная и несвободная, русская церковь старого режима этого суда морально не въ силахъ была бы произнести

Есть ли, однако, во всѣхъ этихъ благихъ послѣдствіяхъ для церкви какая-нибудь дѣйствительная заслуга Временнаго Правительства, прямая или косвенная? Несомнѣнно есть. Ломка стараго церковно-правительственнаго строя и замѣна его новымъ, если бы она совершилась даже и внѣ политической катастрофы, все равно должна была бы причинить немало болѣе іерархическимъ лицамъ, занимавшимъ привилегированные посты въ прежнемъ административномъ аппаратѣ Церкви. Къ этому при революціи присоединился еще взрывъ въ Kami накопленнаго недовольства низшихъ клириковъ противъ высшихъ. Всѣ эти неспрiятныя переживанія нѣкоторыхъ элементовъ Церкви происstekали изъ переворота, какъ такового, а не изъ программы, намѣренной и воли Временнаго Правительства.

Программа Временнаго Правительства въ отношеніи Церкви была и не могла не быть — отраженіемъ широкихъ либеральныхъ теченій общественнаго мнѣнія, ибо этими средними элементами Государственной Думы и было выдвинуто это правительство. Въ ней не было ничего новаго и радикальнаго. Отъ повтореній въ теченіе двухъ-трехъ предыдущихъ десятилѣтій эта программа стала прямо шаблонной и общеизвѣстной. А именно: а) Свобода религіозной совѣсти для всѣхъ исповѣданій (со включеніемъ и свободы пропаганды), б) свобода соборнаго самоуправленія для Православной Церкви, в) упраздненіе государственной опеки оберъ-прокурора надъ Церковью, но, конечно, упраздненіе и нѣкоторыхъ привилегій Православія въ смыслѣ его полицейской защиты отъ сторонней пропаганды. Эти идеи и положенія были давно уже сформулированы самими церковными и кругами, даже высшими правящими кругами, напр., митрополитомъ СПб Антоніемъ въ началѣ 1905 г. и даже самимъ св. Синодомъ (вопреки желанію оберъ-прокурора Любѣдоносцева), когда, подъ давленіемъ первой революціи, Государь Николай II соглашался было немедленно собрать соборъ.

Если бы Великій князь Михаилъ Александровичъ не совершилъ 3 марта 1917 г. акта отреченія отъ трона, то и данная церковная программа осуществлена была бы и пе-

редана съ печатью царскаго авторитета на утверждение Учредительнаго Собранія. Но царская власть сама ушла съ горизонта политической борьбы. Исчезла та форма государственной власти, которую русская Церковь, согласно своимъ византийскимъ традиціямъ, помазывала св. муромъ при коронаваніи и допускала въ качествѣ уже не свѣтской, а освященной Церковью силы, къ соучастію во внутреннемъ управленіи церковными дѣлами совмѣстно съ іерархіей. Новое революціонное правительство, не муропомазанное Церковью (т. е. уже не «Милостію Божіею», а «волею народа»), не могло и не должно было оставаться въ прежнихъ конфессіонально тѣсныхъ отношеніяхъ къ Православной Церкви. Оно обязано было мыслить себя какъ власть только свѣтскую, принципиально внѣвъроисповѣдную. И лишь какъ правительство русское, національное, оно должно было отнестись къ Православной Церкви, какъ къ исторически-первенствующей среди другихъ исповѣданій въ русскомъ государствѣ. Иная правовая точка зрѣнія ему просто не приличествовала. Такъ себя Временное Правительство сознавало и такъ себя и вело.

## II.

Достаточно ли сознательно и тактически твердо вело свою линію Временное Правительство? Приходится признать, что нѣтъ, особенно вначалѣ. Революціи не дѣлаются по плану. Застынутые революціей врасплохъ члены думскихъ партійныхъ фракцій выдвинули въ правительство своихъ наиболее представительныхъ политически или наиболее активныхъ по специальностямъ членовъ. Предсѣдателемъ думской комиссіи по церковнымъ дѣламъ въ то время состоялъ членъ партіи октябристовъ В. Н. Львовъ. Онъ, какъ «церковникъ», почти автоматически и взятъ былъ въ правительство для управленія дѣлами Православной Церкви по программѣ вышеуказанной и общезвѣстной. Человѣкъ хотя и бурнаго темперамента В. Н. Львовъ все-таки консервативно смотрѣлъ на формы своей дѣятельности. Принадлежа къ помѣщичьему классу, онъ имѣлъ основанія издавна мечтать сдѣлаться обер-прокуроромъ Св. Синода. Когда эта мечта внезапно осу-

ществилась, В. Н. Львовъ не имѣлъ достаточно политическаго воображенія и политическаго радикализма, чтобы разстаться съ вождѣннымъ титуломъ оберъ-прокурора и его подавляющей властью надъ архіереями. А разстаться съ этимъ титуломъ и съ этой властью было нужно. Сохраненіе этого титула и его полномочій было недосмотромъ и тактической ошибкой Временнаго Правительства. Ненавистная и прежде фигура оберъ-прокурора потому только и принималась іерархами и церковнымъ мнѣніемъ, что она была личнымъ органомъ царской власти, самой же церковью муропомазанной и призванной къ церковнымъ дѣламъ. Оберъ-прокуроръ, назначающій и изгоняющій епископовъ и самый Св. Синодъ, въ качествѣ органа свѣтскаго, внѣконфессіональнаго правительства — это *pensens* и каноническая обида для Церкви. И этотъ *pensens* былъ допущенъ. Лично В. Н. Львовъ къ этому еще прибавилъ остроту своей вражды къ епископамъ — друзьямъ Распутина. Онъ ихъ съ шумомъ арестовалъ и изгонялъ, задѣвая тѣмъ больно самолюбіе епископата и прежняго, еще царскаго состава Св. Синода, съ которымъ онъ бесплодно проработалъ полтора мѣсяца, до половины апрѣля, находясь въ самыхъ натянутыхъ отношеніяхъ, послѣ чего все-таки вынужденъ былъ его распустить и пригласить новый составъ Св. Синода.

Когда въ концѣ марта В. Н. Львовъ, пригласилъ въ качествѣ товарища оберъ-прокурора пишущаго эти строки на основаніи моей либеральной репутаціи, какъ председателя СПБ религіозно-философскаго общества и публициста по церковнымъ вопросамъ, я началъ развивать передъ нимъ свой тактичекій планъ, который сводился къ слѣдующему.

Съ момента отреченія Императора и упраздненія императорской власти, въ Россіи принципиально упразднились и всѣ основныя законы и всѣ учрежденія, созданныя волеизъявленіемъ исчезнувшей верховной власти. Вся верховная конститутивная власть на время до Учредительнаго Собранія перешла къ Временному Правительству, которое своими декретами вынуждено неограниченно творить законы, учрежденія и акты управленія. Всѣ старые законы и учрежденія существуютъ лишь по инерціи, до момента, пока Временное Правительство не объявитъ ихъ замѣненными новыми. Въ прямыхъ интересахъ новой вла-

сти, ради ея престижа и популярности, декларировать исполнение издавна сформулированных общественным мнѣниемъ политическихъ и культурныхъ стремленийъ различныхъ классовъ населенія. И оно декларировало и въ общей формѣ и по конкретнымъ поводамъ всѣ демократическія свободы: вѣры, слова, печати, собраній, союзовъ. Декларировало полную государственную независимость Польши, возстановленіе конституцій Финляндіи, автокефалии грузинской церкви. Недоставало аналогичной торжественной деклараціи въ отношеніи Православной церкви. Изъ заявленій оберъ-прокурора всѣ знали, что Церковь отнынѣ призвана готовиться къ собору и свободному каноническому самоопредѣленію. Но нужно было бы въ первые дни переворота и именно торжественно и *expressis verbis* декларировать то, что само собою разумѣлось, но большинствомъ не сознавалось, т. е. что вмѣстѣ съ самодержавной властью палъ и созданный ею Духовный Регламентъ Петра I — этотъ символъ порабощенія Церкви государствомъ — а за нимъ еще болѣе тяжелейшій символъ того же порабощенія — синодская оберъ-прокуратура. Это прозвучало бы для Русской Церкви пасхальнымъ благоволомъ и сердца многихъ приверженцевъ старины привлекло бы на сторону новаго грядущаго порядка. Это было бы осязательно убѣдительнымъ доказательствомъ благожелательности къ Церкви новой власти, что было неясно для массъ. И во имя этой ясно засвидѣтельствованной благожелательности и иерархи и ревнители стараго положенія церкви легче бы перенесли ту «каноническую обиду», которую они чувствовали отъ присутствія въ церковныхъ дѣлахъ властной руки нецерковнаго Правительства. Между тѣмъ не присутствовать здѣсь рука новой власти не могла. Революція потому и есть революція, что по чьей то винѣ потеряна возможность эволюціоннаго перехода отъ стараго къ новому и созданъ неизбежный преерывъ легальности. Въ доброй волѣ людей лишь смягчить его. Свѣтская «немуромазанная» власть не имѣла моральнаго права сразу бросить Церковь и уйти изъ нея изъ того положенія, въ которомъ съ нѣкоторымъ каноническимъ правомъ находилась власть царская. Во имя помощи и облегченія самой Церкви въ переходѣ ея отъ подневольно-государственнаго положенія къ свободному выборному строю Временному Правительству нужно было

как бы «нелегально» остаться на время внутри церковно-правлящего аппарата и продлиемъ по существу прежнихъ оберъ-прокурорскихъ полномочій акушерски помочь рождению соборной реформы Церкви. Ибо только такой «хирургіей» можно было ускорить ликвидацію тяжелого наслѣдія стараго строя. Этимъ наслѣдіемъ было умонастроение епископовъ-ставленниковъ оберъ-прокурорской власти, въ большинствѣ враждебныхъ озорности и неспособныхъ къ чей. А потому, необходимо было, вслѣдъ за декларированіемъ конца синодальнаго и оберъ-прокурорскаго строя, тотчасъ же назвать представителя Государства въ Церкви новымъ именемъ «Высокаго комиссара по дѣламъ Православной Церкви» или «Министра Исполвдашій». Новый министръ долженъ былъ бы по телеграфу объявить, что созданное не Церковью, а павшей государственной властью, церковное правительство, перестало существовать, и на его мѣсто самой Церковью, черезъ соборъ, должно быть создано чисто церковное правительство. Пока же для подготовки къ собору долженъ быть созданъ голосами однихъ епископовъ «Временный Священный (не «Святѣйшій» — это титулъ патріаршій) Синодъ», въ параллель «Временному Правительству». Епископы должны были телеграфно указать семь именъ изъ чернаго и бѣлаго духовенства въ члены Временнаго Синода. Срочный отвѣтъ исключилъ бы возможность саботажа или срыва, и, на основаніи хотя бы половины полученныхъ отвѣтовъ, церковный министръ могъ бы подобрать и вызвать для засѣданій, вмѣсто распущеннаго стараго, новый временный органъ управления. Такъ была бы смягчена неизбежная доля нелегальности въ актѣ Временнаго Правительства и устранена «каноническая обида» іерархіи, въ значительной мѣрѣ лицемѣрно-искусственная или наивная, ибо распускаемый Св. Синодъ былъ не церковнымъ учрежденіемъ. Государственная власть создала его; она же имѣла право и упразднить его. И это уже вина самой іерархіи, что она беззаботно повѣрила въ вѣчность назначившей ее государственной власти, и не подготовила никакой чисто-церковной базы для своего правящаго органа. Этимъ бездѣвствомъ она вынудила новую свѣтскую власть къ нѣкоторымъ необходимымъ дѣйствіямъ во внутреннемъ ходѣ церковныхъ дѣлъ. Все это не было сдѣлано въ первые, самые благо-

приятные для новаго творчества, дни переворота. Но еще не поздно было это сдѣлать и мѣсяць и два спустя.

В. Н. Львовъ, не входя въ интересъ и во вкусъ моихъ мыслей, но и не отрицая ихъ, порекомендовалъ мнѣ убѣдить въ этомъ главу Временнаго Правительства, князя Г. Е. Львова и его помощниковъ по министерству внутреннихъ дѣлъ. Но ни князь Львовъ, ни его товарищи Д. М. Щепкинъ и Г. А. Алексѣевъ, подавленные до утомленія тревогами ихъ бурнаго министерства, не вняли моимъ совѣтамъ. Кн. Львовъ откровенно признался, что онъ боится въ этой области всякаго новаго творчества, чтобы не увеличить и безъ того распускаемыхъ врагами клеветъ будто Временное Правительство «насилуетъ Церковь». Я подалъ все-таки объ этомъ письменный меморандумъ; можетъ быть онъ и сохранился гдѣ-нибудь въ архивахъ эпохи Временнаго Правительства. Отъ этой инертности положеніе Временнаго Правительства передъ Церковью однако не улучшилось, а ухудшилось. Старый Синодъ подъ предсѣдательствомъ консервативнаго митрополита Кіевскаго Владимира не хотѣлъ работать вмѣстѣ съ оберъ-прокуроромъ Львовымъ по подготовкѣ и ускоренію Собора и срывалъ всѣ его предложенія. Между тѣмъ широкое церковно-общественное движеніе шло настрѣчу планамъ оберъ-прокурора и подозрѣвало въ данномъ составѣ стараго Синода негласный органъ старорежимной іерархіи, враждебной собору. Учитывая все это, В. Н. Львовъ рѣшилъ, наконецъ, въ началѣ апрѣля съ запозданіемъ сдѣлать то, что слѣдовало сдѣлать въ первую же горячую минуту. Онъ распустилъ прежній составъ Синода и вызвалъ новый изъ епископовъ и протоіереевъ, готовый работать на ускореніе и созывъ собора изъ всѣхъ элементовъ Церкви, включая и мірянъ. Предсѣдательство въ новомъ составѣ принадлежало экзарху Грузіи Платону, нынѣ митрополиту русскихъ церквей въ Сѣверной Америкѣ. Новый Синодъ попрежнему носилъ названіе Святейшаго, попрежнему молчаливо признавался какъ бы дѣйствительнымъ Духовный Регламентъ и попрежнему эти перемѣны были произведены въ рамкахъ прежнихъ полномочій царскаго оберъ-прокурора. Но безъ царской власти всѣ эти акты носили острый привкусъ «нелегальности», которую не сумѣлъ свести до минимума консерватизмъ оберъ-прокурора В. Н. Львова и Предсѣдателя Временнаго Правительства .. Г. Е. Львова. Старо-монар-

хическіе и обиженные въ іерархіи элементы за это громко, хотя и необъдительно, провозглашали В. Н. Львова «гонителемъ церкви». Фальшь и политическая психологія этихъ обвиненій отчасти изоблачалась непрерывной волной създовъ духовенства и мірянъ по всѣмъ епархіямъ, урегулированныхъ новымъ синодомъ въ правильные епархіальные създы. На нихъ раздавались единодушнымъ привѣтствіямъ программъ революціоннаго оберъ-прокурора, и именно въ немъ видѣло церковное общество защитника собора и обновленія строя церковнаго, а не въ своихъ іерархахъ. Многие изъ епархіальныхъ епископовъ были дезавуированы своими създами, и новому синоду пришлось признать необходимымъ или переводить ихъ, или совсѣмъ убирать съ кафедръ. Новыя кафедры объявлены по правиламъ, декретированнымъ новымъ Синодомъ, подлежащими замѣщенію по выборамъ голосами клира и мірянъ. Такъ въ новомъ выборномъ порядкѣ возведены были въ іюнь 1917 г. на кафедры Петербургскую и Московскую новые митрополиты избранники: незабвенный священномученикъ Веніаминъ (разстрѣлянъ 12 августа 1922 г.) и незабвенный исповѣдникъ Тихонъ, вскорѣ первый патріархъ Всероссійскій.

Съ первыхъ же дней новому Синоду В. Н. Львовымъ предложено было въ помощь по подготовкѣ собора совѣщаніе изъ компетентныхъ и просвѣщенныхъ силъ Церкви по подобію уже двухъ созывавшихся въ 1906-1912 гг. «Предсоборнаго Присутствія» и «Предсоборнаго Совѣщанія». Теперь оно названо, по моему предложенію, «Предсоборнымъ Совѣтомъ». Въ его составъ вошелъ цвѣтъ богословской образованности въ рясахъ и безъ рясы, упорно работавшій два мѣсяца, иногда подъ грохотъ пулеметовъ на революціонныхъ улицахъ Петербурга, для подготовки собора.

Въ видѣ нѣкоторой какъ бы репетиціи собора, въ началѣ іюня въ Москвѣ отшумѣлъ очень многолюдный «Всероссійскій създъ духовенства и мірянъ». На немъ было до 1200 делегатовъ-добровольцевъ, желавшихъ манифестировать въ пользу готовящейся подъ покровительствомъ Временнаго Правительства освободительной реформы Церкви и осуждавшихъ неподвижность іерарховъ стараго закала.

Но въ эту гармонію церковнаго мнѣнія и программы Временнаго Правительства врывались и диссонансы. Такъ

въ июнѣ 1917 г. Временное Правительство передало въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія всѣ школы, содержимыя на государственныя средства, въ томъ числѣ и школы церк.-приходскія. Это было встрѣчено и въ либеральныхъ церковныхъ кругахъ всеобщимъ неодобреніемъ и огорченіемъ. Даже новый Синодъ хлопоталъ о сохраненіи церк.-приходскихъ школъ или по крайней мѣрѣ ихъ зданій въ вѣдѣніи Церкви. Но Правительство въ этомъ вопросѣ не могло поступить иначе. Это былъ одинъ изъ вопросовъ, безвозвратно рѣшенныхъ русскимъ общественнымъ мнѣніемъ. Школы эти созданы были не въ чисто церковныхъ, а въ политическихъ цѣляхъ, и не церковью, а государствомъ и не на церковныя, а на государственныя ассигнованія. Правда, со временемъ и духовенство, неохотно встрѣтившее это правительственное начинаніе, постепенно начало привязываться къ нему и затрачивать на школы часть церковныхъ средствъ. Но свѣтское вѣконфессиональное правительство не могло впредь ассигновать очень крупныхъ суммъ на эти школы, предоставляя Церкви свободу создавать заочно свои чисто церковныя, безъ политическихъ цѣлей. Правительство въ этомъ вопросѣ не уступило и нѣсколько позднее, когда явилась къ нему делегация самого открывшагося въ августѣ собора, квалифицируя весь этотъ вопросъ, какъ чисто политическій и только по недоразумѣнію воспринимаемый духовенствомъ, какъ вопросъ будто бы религіозный.

### III.

Отказъ въ ассигнованіяхъ на приходскія школы стараго типа былъ только частичнымъ осуществленіемъ принципа новыхъ отношеній свѣтскаго вѣтвѣроисповѣднаго правительства и Церкви. Новая власть черезъ свою оберпрокуратуру предупреждала церковное общество, что впредь отношенія государства къ православной церкви и другимъ исповѣданіямъ будутъ строиться подъ руководствомъ начала отдѣленія церкви и государства, хотя бы и не въ его чистой абстрактной формѣ. Ежегодныя ассигнованія въ смѣту св. Синода изъ государственнаго казначейства въ количе-

ствѣ 55 милліоновъ рублей (половина бюджета церковнаго вѣдомства) должны почитаться временными. Церкви выгоднѣе для защиты своихъ позицій и независимости въ Учредительномъ Собраніи теперь же, съ момента Собора, переходить на собственные средства. Поэтому всѣ издержки по собору были спроектированы новымъ синодомъ всецѣло изъ суммъ синодальной казны. Въ дополненіе къ этому Временное Правительство выдало на организацию собора лишь скромную сумму въ одинъ милліонъ рублей въ томъ же порядкѣ, какъ оно выдавало пособия и на другіе сѣзды, напр., на сѣздъ учителей.

Новая система отношеній Церкви къ Государству и общественному мнѣнію и подавляющему большинству дѣятелей Предсоборнаго Совѣта мыслилась давно о желанномъ въ освобожденіемъ церкви отъ унижительнои и духъ убивающей синодско-консисторской формы зависимости отъ свѣтской власти. Но радикальное проведеніе отдѣленія церкви отъ государства также мыслилось съ церковной стороны непримѣнимымъ къ Россіи, несоотвѣтствующимъ исторической роли православія и вреднымъ для общественной морали. Комиссія Предсоборнаго Совѣта, обсуждавшая этотъ коренной вопросъ, состояла изъ выдающихся русскихъ канонистовъ (теоретиковъ и практиковъ) и профессоровъ государственнаго права. Нѣкоторые изъ нихъ принадлежали къ партіи конституціонно-демократической и большинство ей сочувствовало. Неудивительно поэтому, что и въ программу этой культурнѣйшей партіи, пересмотрѣнную на партійномъ сѣздѣ въ Москвѣ (іюль 1917 г.), были внесены вновь разработанные пункты о взаимоотношеніяхъ церкви и государства, по существу и даже буквѣ совпадавшіе съ тѣмъ, что сформулировано было и на Предсоборномъ Совѣтѣ въ С.-Петербургѣ. Проф. С. А. Котляревскій, членъ партіи к. д., работалъ надъ вопросомъ въ Предсоборномъ Совѣтѣ и сообщалъ о результатахъ сочлену по партіи проф. П. И. Новгородцеву, чловѣку церковно-настроенному, работавшему на сѣздѣ въ Москвѣ. П. И. Новгородцеву съ его авторитетомъ и принадлежитъ созданіе этого совпаденія либеральной политической мысли съ законопроектомъ церковныхъ круговъ.

Вотъ проектъ основныхъ положеній по данному вопросу, принятый Предсоборнымъ Совѣтомъ 13 іюля 1917 г. Онъ еще долженъ былъ поступить на разсмотрѣніе Со-



Государства при ихъ моральномъ культурномъ сотрудничествѣ. Система, о которой ранѣе не думало русское освободительное и революционное движеніе, устами и либераловъ и социалистовъ провозглашавшее голый лозунгъ «отдѣленія Церкви и Государства», безъ попытки его раскрытія.

Этотъ идеалъ не былъ одностороннимъ мечтательствомъ церковно-общественной среды. Ему навстрѣчу шло и текущее законодательство другихъ полномочныхъ органовъ Временнаго Правительства, проводившихъ въ жизнь ту же идеологию. И это понятно даже съ точки зрѣнія личныхъ вліяній. Во главѣ Департамента духовныхъ дѣлъ инославныхъ исповѣданій въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ стоялъ членъ Предсоборнаго Совѣта проф. С. А. Котлиревскій. Подъ его руководствомъ здѣсь шло реформированіе всего религіозно-гражданскаго законодательства. Отсюда вышелъ радикальный законъ Временнаго Правительства 14 іюля 1917 г. о снятіи всякихъ гражданскихъ ограниченій и преимуществъ въ связи съ вѣроисповѣднымъ состояніемъ, т. е. законъ о свободѣ перехода изъ одного исповѣданія въ другое и о выходѣ изъ всякаго исповѣданія, или о свободѣ вѣры и невѣрія, съ узаконеніемъ впервые въ Россіи вѣровѣроисповѣднаго гражданскаго состоянія. Съ другой стороны отсюда же въ началѣ іюля 1917 г. вышелъ сравнительно консервативный законопроектъ, примѣнявшій уже указанный принципъ культурнаго сотрудничества Государства и Церкви ко всей сферѣ вѣроисповѣдныхъ отношеній. Законопроектъ гласилъ:

1) «Каждая признанная государствомъ церковь пользуется полною свободой и самостоятельностью во всѣхъ своихъ дѣлахъ, управляясь по собственнымъ своимъ нормамъ, безъ всякаго прямого или косвеннаго воздѣйствія или вмѣшательства государства. 2) Органы церкви находятся подъ надзоромъ государственной власти лишь постольку, поскольку они осуществляютъ акты, соприкасающіеся съ областью гражданскихъ или государственныхъ правоотношеній, каковы: метрикація, бракосочетаніе, разводъ и т. п. 3) По дѣламъ этого рода надзоръ государственной власти ограничивается исключительно закономѣрностью дѣйствій органовъ церкви. 4) Органомъ такого надзора является министерство исповѣданій. Окончательное разрѣшеніе дѣлъ о незаконномѣрности дѣйствій церковныхъ органовъ принадлежитъ правительствующему Сенату, какъ высшему органу административной юстиціи. 5) Государство участвуетъ ассигнованіемъ средствъ на содержаніе церквей, ихъ органовъ и установленій Средства эти

передаются прямо церкви. Отчетъ по израсходованію этихъ средствъ сообщается соотвѣтствующему государственному установленію.

Ясно отсюда, что Временное Правительство шло въ Учредительное Собраніе съ системой не отдѣленія, а сотрудничества Церкви и Государства.

#### IV.

Въ половинѣ іюля Временное Правительство подверглось реконструкціи. Оно полѣвѣло. Во главѣ его всталъ социалистъ А. Ф. Керенскій, и изъ него должны были выйти члены партіи «октябристовъ», въ числѣ ихъ и В. Н. Львовъ. На его мѣсто въ составъ правительства приглашенъ былъ пишущій эти строки по признаку принадлежности къ партіи ка-де. До сихъ поръ безпартійный, я только что въ іюнѣ мѣсяцѣ былъ, по настойчивой просьбѣ членовъ этой партіи, записанъ въ нее ради выборовъ въ Учредительное Собраніе, какъ специалистъ по церковнымъ вопросамъ. Министерство наше составилось 25-го іюля. Я вошелъ съ проектомъ упраздненія оберъ-прокуратуры Синода и созданія общаго Министерства Исповѣданій. 12 дней я еще носилъ столь памятное въ исторіи Русской Церкви имя оберъ-прокурора и, наконецъ, безболѣзненно похоронилъ его, превратившись въ министра исповѣданій. Положеніе объ учрежденіи министерства исповѣданій было вчернѣ спроектировано по моему заданію въ Синодѣ опытными чиновниками П. В. Гурьевымъ и С. Г. Рункевичемъ, преимущественно послѣднимъ. Но когда я его лично привезъ въ Маріинскій дворецъ въ нашу законодательную лабораторію, въ такъ называемое «Юридическое совѣщаніе» при Временномъ Правительствѣ, гдѣ сидѣли такіе наши блистательные юристы, какъ В. Д. Набоковъ и бар. Б. Э. Нольде, то проектъ принялъ слѣдующій сжатый и дѣльный видъ:

«Для завѣдыванія дѣлами всѣхъ вѣроисповѣданій учреждается министерство исповѣданій. 2) Въ это министерство передаются: а) дѣла, касающіяся вѣдомства православнаго исповѣданія, временно въ томъ объемѣ, въ какомъ они подлежатъ, по дѣйствующимъ законамъ, компетенціи оберъ-прокурора св. Синода, и б) дѣла инославныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій, составляющія, по закону, предметъ вѣдѣнія министерства внутреннихъ дѣлъ по департаменту духовныхъ

дѣлъ иностранныхъ исповѣданій. 3) Должности оберъ-прокурора св. Синода и товарища оберъ-прокурора упраздняются. Въ составѣ министерства учреждаются министр исповѣданій и два товарища министра. 5) Министръ исповѣданій въ отношеніи дѣлъ, предусмотрѣнныхъ статьею 2-ю, соединяетъ въ своемъ лицѣ временно всю полноту власти оберъ-прокурора и министра внутреннихъ дѣлъ по принадлежности, впредь до утвержденія, въ законодательномъ порядкѣ, **выработанныхъ** всероссийскимъ помѣстнымъ соборомъ реформъ церковнаго управления и кореннаго пересмотра отношеній русской государственной власти къ исповѣданіямъ при новомъ строѣ.

Помню, какъ въ Малахитовой залѣ Зимняго Дворца, гдѣ происходили тогда засѣданія Правительства, числа 1 или 2 августа я поднесъ на подпись министру внутреннихъ дѣлъ Н. Д. Авксентьеву бумагу о передачѣ изъ его вѣдства «департамента духовныхъ дѣлъ инославныхъ исповѣданій» въ новое министерство исповѣданій и какъ онъ охотно подписалъ ее, со словами: «пожалуйста, берите, съ полнымъ удовольствіемъ!»

Въ такомъ преобразенномъ видѣ власть Временнаго Правительства предстала предъ великимъ и долгожданымъ событіемъ въ Русской Церкви, предъ открывшимся въ Москвѣ 15 августа 1917 г. Всероссийскимъ Соборомъ. На торжественномъ богослуженіи въ Успенскомъ соборѣ присутствовали, кромѣ министра исповѣданій, еще министр внутреннихъ дѣлъ Н. Д. Авксентьевъ и премьеръ-министръ А. Ф. Керенскій, который затѣмъ шелъ по Кремлю вслѣдъ за крестнымъ ходомъ среди давки толпы, символизировавшей этимъ безпорядкомъ полицейское безвластіе Временнаго Правительства. Все это были манифестации благожелательности Временнаго Правительства къ Православной Церкви.

На первомъ парадномъ засѣданіи Собора въ обширномъ Храмѣ Христа Спасителя отъ лица Правительства, въ роли министра исповѣданій, я принесъ нижеслѣдующее привѣтствіе-декларацию, въ которой старался выяснить и принципиальную и дѣловую благожелательность новой власти къ дѣламъ церкви, приглашаемой къ законодательному творчеству и совмѣстному съ Временнымъ Правительствомъ преобразованію конституціи Россіи:

«Временное Правительство поручило мнѣ заявить освященному собору, что оно гордо сознаемъ — видѣть открытіе сего церковнаго торжества подъ его сѣнью и защитой. То, чего не могла дать русской національной церкви власть стараго порядка, съ легкостью и ра-

достью предоставляет новое правительство, обязанное насадить и укрепить въ Россіи истинную свободу. Временное Правительство видитъ въ настоящемъ Соборѣ не обычный съѣздъ частнаго сообщества, какихъ теперь несчетное число; оно видитъ въ Соборѣ Русской Православной Церкви полномочный органъ церковнаго законодательства, имѣющій право авторитетнаго представленія на уваженіе Временнаго Правительства законопроектовъ о новомъ образѣ церковно-правительственныхъ учреждений и о видоизмѣненіи отношеній церкви къ государству. Временное Правительство сознаетъ себя, впредь до выработки Учредительнымъ Собраніемъ новыхъ основныхъ законовъ, стоящимъ въ тѣсной близости къ дѣламъ и интересамъ Православной Церкви. Въ своемъ составѣ оно до сихъ поръ имѣло оберъ-прокурора св. Синода Русской Православной Церкви (а не иныхъ какихъ-либо исповѣданій). И если недавно упразднена эта должность (но не упразднены до времени ея права и обязанности), то только потому, что, въ виду Церковнаго Собора, правительство не желало, ради символической утверждаемой имъ свободы церкви, сохранять это имя, ставшее, по мнѣнію церковнаго общества, синонимомъ тяжкой зависимости церкви отъ государства. Временное Правительство ждетъ той минуты, когда Соборъ представитъ ему новый планъ церковнаго управленія, и тогда оно съ готовностью упразднитъ въ кругѣ полномочій своего министра исповѣданій, его оберъ-прокурорскія права и обязанности по дѣламъ внутренняго церковнаго управленія, оставивъ за нимъ болѣе вишній надзоръ за закономѣрностью. Ожидая отъ Собора законодательныхъ предположеній, касающихся преобразованій церковнаго управленія, Временное Правительство полагаетъ, что впредь до принятія имъ этихъ предположеній всѣ прежнія правящія установленія русской церкви, къ учрежденію коихъ государственная власть приложила печать своей санкціи, остаются въ полной силѣ ихъ дѣйствія и не могутъ быть поколеблены безъ внесенія въ область управленія церковно-государственныхъ отношеній безпорядка и анархіи. Не желая этого ни Церкви, ни Государству и утверждая публично-правовыя полномочія Собора, Временное Правительство 11-го сего августа приняло слѣдующее постановленіе въ двухъ пунктахъ: 1) Предоставить открывающемуся 15-го сего августа въ Москвѣ Помѣстному Собору Всероссійской Церкви выработать и внести на уваженіе Временнаго Правительства законопроектъ о новомъ порядкѣ свободнаго самоуправленія русской церкви. 2) Сохранить впредь до принятія государственной властью новаго устройства высшаго церковнаго управленія всѣ дѣла внутренняго церковнаго управленія въ вѣдѣніи Св. Правительствующаго Синода и состоящихъ при немъ установленій».

Черезъ эту декларацію Временное Правительство вновь подчеркивало, что оно идетъ на судъ Учредительнаго Собранія не только съ идеей Кавура — *libera chiesa in stato* Ціево, но и съ дополненіемъ ея идеей культурнаго сотрудничества государства и церкви.

Тогда же отъ лица новаго, выдвинутаго революціей, муниципальнаго управления Москвы выступалъ съ прѣдствіемъ Собору Городской Голова В. В. Рудневъ. Высказывая горячія пожеланія успѣха въ предстоящемъ Соборѣ дѣлъ устроенія отнынѣ свободной церкви, В. В. Рудневъ сказалъ между прочимъ: «источники религіознаго одушевленія вѣчны... и пока живъ русскій народъ, жива будетъ въ немъ и вѣра православная». Цѣлый фонтанъ озлобленныхъ ругательствъ по адресу этого «соціалъ-предателя» былъ извергнутъ на другой день московской большевицкой газетой за столь «реакціонное» слово на столь «реакціонномъ» собраніи.

Подземный вулканъ большевицкаго варварства уже клокоталъ, готовый взорваться и похоронитъ подъ развалинами всеобщаго разгрома все идеалистическіе планы Временнаго Правительства и Церкви. 25-го октября 1917 г. Временное Правительство уже заключено было въ казематы Петропавловской крѣпости, а Соборъ продолжалъ еще работать и закрѣплять новый строй Церкви до 8 сентября 1919 г. Но соборъ подъ властью большевиковъ потерялъ уже всякую почву для какого либо законопроекта о взаимоотношеніяхъ церкви и государства. Наступилъ режимъ гоненій, и нужно было думать только отъ случая къ случаю о мѣрахъ защиты церкви.

Интересно было отношеніе патріарха Тихона къ похороненному большевиками законопроекту. По освобожденіи изъ большевицкой тюрьмы, я жилъ конспиративно въ Москвѣ лѣтомъ 1918-го года. Состоя избраннѣмъ членомъ Вышшаго Церковнаго Совѣта при патріархѣ, я одновременно работалъ въ антибольшевицкой политической организаціи такъ называемаго «лѣваго центра». Между прочимъ мы разрабатывали программы и законопроекты для декларативнаго и дѣловаго употребленія въ Южной Россіи, находившейся подъ управленіемъ генерала Деникина, а также на случай появленія національнаго Правительства и въ самой Москвѣ. Программа положенія православной церкви въ русскомъ государствѣ была по существу повтореніемъ уже изложенной выше системы взаимной свободы при взаимномъ сотрудничествѣ обѣихъ сторонъ. Предъ тайной отсылкой программы на югъ Россіи, мы съ другимъ общественнымъ дѣятелемъ, нынѣ еще живымъ, отправились къ святѣйшему патріарху за совѣтомъ и критикой. Въ началѣ сентябрѣ 1918 г. патр.

Тихонъ принялъ насъ въ своемъ Троицкомъ пѣдворѣ какъ всегда очень ласково, за стаканомъ чая и даже съ самоварчикомъ. Дослушавъ до конца внимательно и грустно, онъ вдругъ снисходительно засмѣялся надъ нашими «хорошими словами», какъ мудрый старецъ смѣется надъ идеализмомъ мечтательныхъ юношей. «Хорошо! Ужъ очень все хорошо! Да только когда все это будетъ? Конечно, не теперь!» Какъ сынъ народа, патріархъ Тихонъ тогда уже инстинктомъ чувствовалъ силу и длительность народнаго увлеченія большевизмомъ, не вѣрилъ въ возможность скорой побѣды бѣлаго движенія и не былъ согласенъ съ нами въ политическихъ расчетахъ.

Дѣйствительно, исторія къ нашему времени антиквировала этотъ планъ эпохи Временнаго Правительства. Онъ былъ продиктованъ эволюціонными взглядами на положеніе вещей. Мыслилась наличность исторической инерціи, непотрясенность основъ стараго строя государства и церкви. Теперь отъ нихъ не осталось остатковъ какихъ то опоръ церкви въ государствѣ. Въ гоненіяхъ и мученичествѣхъ отъ государства церковь приобрѣла политическую самоопору и свободу, которыми должна дорожить и обратно ихъ не сдавать ни за какую чечевичную похлебку обманчивыхъ привилегій. Сегодня государство другъ, а завтра врагъ. При текущести и неустойчивости режимовъ для такъ трагически освободившейся церкви наилучше блюсти свою свободу, независимость и соединенную съ ними моральную силу въ отдѣленіи отъ государства и не подвергать себя новому риску связи съ невѣрнымъ союзникомъ.

Будущій режимъ свободной Россіи для насъ теперь — уравненіе со многими неизвѣстными. Абстрактно мыслима однако и такая комбинація, когда вновь всталъ бы вопросъ о нѣкоторомъ культурномъ сотрудничествѣ государства съ церковью. Но форма и подходъ къ нему были бы уже обратными эпохѣ Временнаго Правительства: не отъ дурного союза къ благодѣтельному разводу, а отъ принципиальнаго и цѣннаго раздѣленія къ свободной кооперации двухъ независимыхъ величинъ.

**А. Карташевъ.**

## Противъ теченій

Je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.

*Guillaume le Taciturne.*

Крупнѣйшимъ событіемъ внутренней и внѣшней жизни Европы является приходъ къ власти въ Германіи Гитлера-Шикельгрубера. Этотъ приходъ, чреватый послѣдствіями для судебъ не только правовой культуры, но и культуры вообще, оказался совершенно неожиданнымъ.

Противники Гитлера — и тутъ социалисты соперничали съ правыми, а католическій центръ съ коммунистами, — единодушно отрицали возможность появленія Гитлера во главѣ германскаго правительства. Отрицали по тысячѣ и одной причинѣ — отъ психологіи и отъ экономики, отъ избирательной арифметики и избирательной геометріи, отъ прочной вѣры въ символъ германской чести, престарѣлаго маршала, который никогда, конечно, не согласится нарушить данную имъ на вѣрность конституціи присягу, и до не менѣе твердаго убѣжденія въ томъ, что міръ, и Германія вмѣстѣ съ нимъ, явственно лѣвѣють, идутъ къ социализму.

И сами побѣдители врядъ ли были такъ твердо убѣждены въ своей побѣдѣ, какъ въ этомъ увѣряли. Уличные призывы къ подаванію въ пользу партіи и безпрестанно встряхиваемыя кружки съ мѣдяками не только символически свѣдѣтельствовали о болѣзненномъ состояніи движущаго «нерва» партіи и всего ея организма. На тѣхъ же уличныхъ перекресткахъ, рядомъ съ побѣдившими «наци» встрѣчались, потрясая своими кружками и выкликая свои призывы, и побѣжденные коммунисты!

Утвержденіе о неизбѣжности побѣды должно было способствовать самой побѣдѣ. До гитлеровцевъ большевики показали міру, какое значеніе въ политикѣ можетъ имѣть внушеніе и самовнушеніе.

Теперь, послѣ побѣды, тысяча и одна причина съ тою же убѣдительностью должны свидѣтельствовать о «железной необходимости», съ которой, послѣ 15-лѣтняго господства большевизма въ Россіи и Версальскаго мира въ Европѣ, не могъ не притти къ власти именно Гитлеръ. Въ этой внѣшней схожести неожиданнаго появленія у власти и послѣдующаго признанія неизбежности этого появленія — одна изъ многихъ подробностей, сближающихъ «чудесный» Октябрь въ Россіи съ нынѣшнимъ «пробужденіемъ» въ Германіи. То же, что по существу сближаетъ оба явленія, что роднитъ ихъ по духу, это не только методы осуществленія власти, но и то, что и то, и другое явились реакціей, россійской и германской, на мировую войну.

Можно, конечно, считать гитлеризмъ лишь германскимъ вариантомъ фашизма, — «Фюрера» лишь германскимъ «Дуче». Но не надо забывать, что и самый фашизмъ — *made in Italy* — возникъ и взопшелъ на двойномъ отталкиваніи: отъ большевизма и Версаля. На тѣхъ же политическихъ дрожжахъ, на отталкиваніи отъ пореволюціоннаго и повоеннаго максимализма взопшелъ и германскій «фашизмъ», въ процессѣ борьбы перенявшій у противника его «максималистическія» цѣли и приемы. Только германскій вариантъ оказался тѣмъ свирѣпѣе, чѣмъ глубже за десять лѣтъ, отдѣляющихъ побѣду Муссолини отъ побѣды Гитлера, успѣлъ проникнуть и разрушить социально-политическую ткань Германіи большевизмъ; и онъ оказался тѣмъ агрессивнѣе, чѣмъ чувствительнѣе Версальскій «диктантъ» оказался для поставленной на колѣни Германіи по сравненію съ Италіей, не получившей въ Версалѣ лишь полного удовлетворенія своимъ вождельніямъ.

\*

\*\*

Въ Россіи пореволюціонная реакція пришла въ лѣвыя ворота, въ порядкѣ заговора «профессионаловъ», подъ маской наибольшей преданности свободѣ и народоуправству захватившихъ власть «короткимъ ударомъ», подъ покровомъ ночной тьмы, — такъ, что «обыватель» и не замѣтилъ. Послѣ русскаго опыта за лѣвыми воротами стали слѣдить особенно тщательно. Фиксируемое на одной точкѣ вниманіе проглядѣло — не замѣтило или не захо-

тѣло видѣть, — какъ нарастающая въ числѣ и силѣ реакція, подъ той же маской революціи и социализма, съ соблюденіемъ почти всѣхъ правилъ демократической «игры», прорвалась къ побѣдѣ сквозь правыя ворота.

У Гитлера оказалось больше выдержки, чѣмъ у Ленина. Онъ выждалъ всѣ положенные ему исторіей сроки, чтобы изъ «маленькой, но хорошо организованной, вооруженной и централизованной» кучки, на которую ставилъ Ленинъ наканунѣ Октября, превратиться въ подлинно массовую, народную стихію. Семь человекъ, безответственно болтавшихъ въ баварской пивной, — на манеръ большевиковъ въ женеvскихъ кофейняхъ, — выросли за нѣсколько лѣтъ въ полуторамилліонный «монolithъ» безпрекословно повинующихся партійцевъ и послушно марширующую за ними 16 милліонную армію попутчиковъ.

Однимъ изъ основныхъ, и трагическихъ съ точки зрѣнія общихъ перспективъ культуры и челоvчества, отличій германской реакціи на войну отъ реакцій русской и итальянской, является то, что послѣднія были судорожнымъ и голымъ насиліемъ меньшинства надъ большинствомъ, тогда какъ въ Германіи реакція пришла во всеоружіи не только террора, но и формально-юридической законности.

Неумытая и политически отсталая Россія оказалась первой жертвой войны. Ея ресурсы и нервы сдали раньше другихъ. Она не сумѣла удержаться на февральской стадіи революціи, въ предѣлахъ національныхъ задачъ, и сорвалась въ дикій и разнузданный Октябрь, въ своеобразное сочетаніе пугачевщины съ бироновщиной. И за вѣка рабства и тьмы ей и по сей часъ приходится расплачиваться еще горшими муками жесточайшаго голода и порабощенія.

Судьба всячески культурной Германіи была иной. Благодаря прославленной своей организованности, возглавленная социалистами, сумѣла она удержаться, несмотря на внѣшнее пораженіе, въ рамкахъ «малой» революціи; сумѣла быстро и сравнительно безболѣзненно перейти на рельсы правового государства. И все за тѣмъ, чтобы теперь докатиться до «третьяго райха»!.. Столѣтіями воспитывавшаяся въ преклоненіи предъ закономъ и правомъ, въ методичности и «порядочности» видѣвшая свое національное свойство и преимущество, прошедшая въ отдѣль-

ныхъ своихъ «земляхъ» вѣковую школу народно-представительнаго образа правленія, справедливо гордившаяся не только своими философами, поэтами и музыкантами, но и «школьнымъ учителемъ», имѣвшая не Николая II, а Вильгельма II, не Сухомлинова съ Янушкевичемъ, а Мольтке съ Людендорфомъ, не Столыпина, а Бисмарка, не Аладына, а Лассала, не Чхеидзе, а Бебеля и т. д., эта Германія въ условіяхъ внѣшняго мира въ порядкѣ «свободнаго волеизъявленія» дошла до Гитлера, ему вручила свои судьбы, samozабвенно, безоговорочно.

Есть отъ чего усомниться не только въ германской культурѣ, но и въ прочности того, что привычно было считать культурой вообще, политической и иной.

Есть основаніе пересмотрѣть и традиціонный взглядъ на присущую якобы только славянамъ пассивность, на русскій «стоицизмъ», на рабскую привычку подчиняться лишь кнуту. Германія, можно сказать, вся и безъ остатка отдалась на волю побѣдителя. Сдалась безъ борьбы, капитулировала, не сопротивляясь почти безъ протеста. Насильникамъ и палачамъ покорились безмолвно не только «обыватели», но и политическія партіи и экономическія организаціи, церкви и «земли». Въ полномъ составѣ перешла къ наци партія Штреземана, смирился не только папѣ послушный центръ, или «розовые» социалисты, но и кроваво-алые коммунисты; не только централизаторская Пруссія, но и «самостоятельныя» земли и города: Баварія и Саксонія, Гамбургъ и Бремень. Если борьба продолжается, — ее продолжаютъ не насилуемые, а насильники, вскрывая тѣмъ самымъ иллюзорность демократическаго характера своей побѣды.

Внутренній варваръ оказался, увы, схожимъ въ отсталой Россіи и въ передовой Германіи. Онъ оказался интернаціональнымъ типомъ, не вѣдающимъ ни расовыхъ, ни классовыхъ, ни исповѣдныхъ перегородокъ. Если же говорить о сопротивленіи этому варвару, о напряженности и длительности его непріятія тутъ и тамъ, прославленная нѣмецкая организованность проступаетъ, какъ величина дутая, какъ пустое мѣсто по сравненію съ тѣмъ, какъ «анархически»-«пассивный» русскій народъ и «исходящая въ рѣчахъ» русская общественность сопротивлялись своимъ варварамъ.

Если русскіе недотѣпы «пролузгали» Февраль и «проуфили», какъ говорили въ Сибири послѣ Колчака, Уфим-

скую Директорію, — что сказать объ ихъ нѣмецкихъ коллегяхъ?

Извѣстный французскій публицистъ Андрэ Зигфридъ уже давно отмѣтилъ, что Востокъ, по его мнѣнію, начинается не на Вислѣ, а на Рейнѣ. Сейчасъ то же утверждение можно встрѣтить и на столбцахъ французскаго оффиціоза. — Что скажутъ на это отечественные евразійцы? Евразія, начинающаяся на Рейнѣ, какъ будто отнимаетъ всякій смыслъ у традиціоннаго противоположенія «восточничества» — западничеству.

Въ поражении германской демократіи, въ анти-демократическомъ циклонѣ, бушующемъ надъ Европой, сейчасъ склонны искать, конечно, не реабилитации русской демократіи, а изобличенія всякой, — демократіи, какъ системы. Ибо если демократія не предохраняетъ отъ погрома инакомыслящихъ и разгрома культуры, то какая ей вообще цѣна?

\*

\*\*

Къ закрѣпленію своей побѣды на выборахъ 5 марта Гитлеръ пришелъ, конечно, не безъ серьезнаго нажима на законъ. Данная имъ присяга на вѣрность конституціи мнѣ всего обременяла совѣсть подвижнаго «Фюрера».

Но все же 17 милліоновъ голосовъ, — или 44% общаго ихъ числа, — поданныхъ на выборахъ по всѣмъ правиламъ «пятихвостки», и 441 голосъ, санкціонировавшій въ рейхстагѣ безъ всякихъ оговорокъ исключительныя полномочія правительству Гитлера (при всего 94 голосахъ оппозиціи), — не свидѣтельствуютъ ли они непреклонно противъ системы всеобщаго голосованія?

Только приписывая демократіи мнимыя заданія, на которыя съ особымъ усердіемъ обрушивались ея враги, можно въ побѣдѣ Гитлера видѣть поражение не германской демократіи, конкретно-исторически данной, а демократіи tout court, — принциповъ демократіи.

Мнѣ уже приходилось доказывать нѣсколько лѣтъ тому назадъ, споря съ «Философіей Неравенства» и «Новымъ Средневѣковьемъ» Н. А. Бердяева, насколько неосновательно приписывать демократіи мнѣніе, будто ея «правда» — количественная, правда большинства, опредѣляемая подсчетомъ голосовъ. Конечно, подача голосовъ — простая арифметика, но только въ правѣ по-

дачи голоса, при томъ равномъ и всеобщемъ правѣ, заключена великая и глубокая «метаюридическая» цѣнность личности, челоуѣка и гражданина. Всеобщее же голосованіе и воля большинства, конечно, не гарантируютъ правды. И что можетъ ее гарантировать? У правды нѣтъ особыхъ примѣтъ. Именно этимъ обстоятельствомъ и диктуется демократическое правило: пусть каждая истина растетъ и развивается свободно! И пусть каждый ищетъ свободно свою истину!

Въ прямое противорѣчіе съ тѣмъ, что утверждаютъ о демократіи ея противники, демократія вовсе не исключаетъ возможности того, что большинство оказалось бы на сторонѣ неправды, а правда оказалась бы достоинствомъ меньшинства\*). Единственное, что демократія дѣйствительно исключаетъ, это монополию на обладаніе всей полнотой истины, это противоположеніе обрѣтенной правды, какъ абсолютной и «сакральной», всѣмъ другимъ, — въ частности, «истинѣ демократіи и социализма, — теперь говорятъ: марксизма, — какъ «абсолютной лжи». Демократія вообще не имѣетъ ничего общаго съ содержаніемъ истины. Она стремится лишь обезпечить свободу, въ томъ числѣ и свободу исканія истины, и мѣра приближенія ея къ этой цѣли опредѣляется положеніемъ, которое занимаетъ въ демократіи оппозиція, группы различныхъ видовъ меньшинствъ, — политическаго, классоваго, національнаго, религіознаго.

Когда писались эти строки 8 лѣтъ тому назадъ, и злѣйшій недругъ демократіи и крайній пессимистъ не могъ предвидѣть, что къ упраздненію элементарныхъ основъ общежитія и политической свободы можно будетъ притти не русскимъ или итальянскимъ путемъ, а путемъ всеобщаго голосованія. Если бы такая возможность не казалась тогда фантазмагоріей и противникамъ демократіи, можетъ быть, они не стали бы такъ ожесточенно отрицать демократію, какъ систему якобы «количественной прав-

---

\*) На этомъ между прочимъ основано отрицательное отношеніе многихъ демократическихъ — и социалистическихъ — партій къ предоставленію права голосованія женщинамъ: опасались, какъ бы, въ силу политической «несознательности», большинство женскаго избирательнаго корпуса не оказалось на сторонѣ «неправды»

ды». Теперь «демократія» получаетъ нѣкоторую реабилитацию у своихъ враговъ. Въ демократіи, санкціонированной назначеніе его канцлеромъ, Гитлеръ почерпнулъ полномочія для упраздненія демократіи — тѣхъ политическихъ реальностей, формальнымъ признаніемъ коихъ служилъ текстъ Веймарской конституціи.

Между тѣмъ въ этихъ политическихъ реальностяхъ — въ гражданскихъ свободахъ и правахъ человѣка — существо демократіи. Чтобы не являть вида «крѣпкаго заднимъ умомъ», послѣ конфуза съ германской демократіей, я вынужденъ вновь сослаться на то, что писалъ за годы до «конфуза», въ періодъ расцвѣта и торжества Веймара.

Существо демократіи не исчерпывается опредѣленіемъ воли большинства. Абсолютной правды въ волѣ большинства демократія вовсе не ищетъ и не предполагаетъ, что она непременно тамъ всегда и обрѣтается. Въ волеизъявленіи большинства она видитъ только одно изъ средствъ для обезпеченія основныхъ цѣнностей демократіи: режима права, свободы, равенства и братства, или солидарности. Съ этой точки зрѣнія абсолютное самодержавіе народа принципиально не многимъ лучше абсолютнаго самодержавія царя. Чтобы привести школьный примѣръ, писалъ я въ № 36 «Совр. Записокъ», стр. 408, — если бы волеизъявленіемъ большинства постановлено было убить всѣхъ дѣтей съ голубыми глазами, оно вовсе не было бы проявленіемъ «послѣдовательнаго демократизма», а было бы явнымъ и крайнимъ нарушеніемъ права и противозаконіемъ, свидѣтельствомъ безумія законодателей и идиотизма гражданъ, такой законъ пріемлющихъ, по выраженію Лесли Стифена и Дайси.

Предусмотрѣнное въ качествѣ отвлеченной гипотезы, стало теперь фактомъ печальной дѣйствительности. Отъ того, что убиваютъ не за голубые глаза, а за черные или каріе, или не за глаза, а за носъ или кровь, и что не жертвы, а палачи оказываются «голубоглазыми блондинами на тонкихъ и высокихъ ногахъ», — дѣло, конечно, ни въ малой мѣрѣ не мѣняется. Характеристика творимаго въ Германіи, какъ безумія законодателей и идиотизма гражданъ, сохраняется всю свою силу.

Предполагать, что во всеобщемъ голосованіи и волѣ большинства заключается всегда правда — такая же несообразность и извращеніе подлинныхъ возможностей и заданій демократіи, какъ и обратное — думать, что съ

санкціи большинства можно неправду и зло преобразить въ добро и право. Что всеобщее голосованіе дало инвеституру и благословеніе варварству, это, конечно, явленіе новаго времени, характерное для германской культуры. Прежніе варвары правовой санкціи не искали. Не ищут опоры въ свободномъ волеизъявленіи народа и нынѣшніе варвары въ Россіи и въ Итали. Но германскій примѣръ компрометируетъ демократію въ такой же мѣрѣ, въ какой ложныя теоріи и умозаключенія въ исторіи науки компрометируютъ самую науку, или наличность разнорѣчія, суевѣрій и ересей компрометируетъ вѣру и ея истоки.

Не меньше, но и не больше!

\*

\*\*

У расистовъ существуетъ одно серьезное оправданіе. Устами Геринга они и использовали его съ перваго же дня:

— А что сдѣлали бы коммунисты, если бы къ власти пришли они, а не мы, расисты?!

И въ самомъ дѣлѣ, если именемъ пролетаріата и во имя «дѣйствительной» свободы совѣсти, «дѣйствительной» свободы выраженія своихъ мнѣній и т. д., какъ прописано въ совѣтской конституціи, все дозволено, почему не быть всему дозволеннымъ и во имя «третьяго райха» и торжествующаго, во славу и именемъ 65-ти милліонной націи, сѣверо-германскаго типа арійца?!. Если путемъ попытокъ и насилія можно вгонять въ міръ социализма, почему концентраціонные лагеря, безсудныя расправы, исключенія цѣлыхъ фракцій изъ парламента и муниципалитетовъ, заложничество съ возложеніемъ отвѣтственности на «своихъ» социалистовъ и евреевъ за дѣйствія ихъ «сочувственникововъ» за границей, разстрѣлъ подъ предлогомъ покушенія на побѣгъ, пытка страхомъ и не только страхомъ, налетъ на чужую территорію для увоза сбѣжавшаго врага, хлороформъ, шприць съ ядомъ и т. д., и т. д., — почему весь этотъ большевикій наборъ орудій управленія и террора недопустимъ для возвращенія отпавшей отъ своего историческаго пути въ 1918 г. германской націи?!

У большевиковъ на этотъ вопросъ не можетъ быть

убѣдительнаго отвѣта, — какъ нѣтъ его и у гитлеровцевъ, если бы вопросъ былъ обращенъ къ нимъ.

Для знающихъ психологію, практику и духъ, движущіе коммунистическими вождями, конечно, не можетъ быть сомнѣнія, что коммунисты обошлись бы съ социалистами и «наци», съ «кулаками» и «соціалъ-предателями» еще жесточе, чѣмъ «наци» съ ними. Количественно и сравнивать, конечно, невозможно зло и муки, учененныя большевиками за 15 лѣтъ своего владычества надъ Россіей, съ насиліемъ и издѣвательствомъ «наци» за полтора мѣсяца ихъ управленія Германіей. Но качественно, по характеру насилій и основанію къ нимъ ученики оказались вполнѣ достойными своихъ учителей, могутъ выдержать сравненіе съ ними.

Если у большевиковъ въ основу террора положено классовое начало и распредѣленіе благъ и каръ производится по признаку формальной принадлежности къ тому или другому классу, а по существу въ зависимости отъ принадлежности къ аппарату господствующей партіи, то и въ основѣ строительства «третьяго райха» лежитъ аналогичный принципъ. Право жизни и смерти опредѣляется национально-расовымъ признакомъ. Кары и награды распредѣляются въ зависимости отъ принадлежности къ господствующей расѣ-партіи «Арійскій» признакъ введенъ официально въ новый уставъ о государственной службѣ, по которому не-арійская кровь очищается лишь въ третьемъ поколѣніи или непременно смертью на полѣ брани прямого восходящаго или прямого нисходящаго, отца или сына кандидата въ чиновники, но ни въ коемъ случаѣ не его брата, шурина или зятя.

«Нація», исключаящая изъ своего состава всѣхъ несогласныхъ съ образомъ мысли или съ тѣлеснымъ обликомъ своего большинства, равнозначна не только численно, но и морально-политически «классу», не возвысившемуся до понятія цѣлаго, а утонувшему въ своекорыстномъ отщепенствѣ и противоположеніи себя націи.

Гоненія всегда отвратительны и непереносны. Но тамъ, гдѣ они связаны съ тѣмъ, что у человѣка можетъ быть, а можетъ и не быть, такъ сказать, съ «перемѣнной» величиной человѣческаго бытія — съ его политическимъ убѣжденіемъ, религіознымъ исповѣданіемъ и т. п., — тамъ гоненія имѣютъ все-таки опредѣленный смыслъ, преслѣдуютъ видимую цѣль. Но тамъ, гдѣ гоненія связаны съ «по-

стояннымъ» признакомъ, съ природой или духовнымъ развитіемъ человѣка, съ его образованностью, отъ которыхъ гонимый даже при полномъ желаніи не въ силахъ отказаться или освободиться, тамъ неосмысленность гоненій отягчаетъ морально-политическую неприемлемость послѣднихъ. Она усугубляется и морально-политической недооцѣнкой этого различія со стороны тѣхъ, кто такія гоненія, какъ и всякія, осуждаетъ.

Какъ въ Россіи представитель «класса» насилующаго не способенъ понять, почему «безпощадное истребленіе» противника не за индивидуальныя прегрѣшенія, а въ групповомъ порядкѣ, «какъ классъ», и не за политическія преступленія, а за аристократическое или «буржуазное» происхожденіе или за либеральную профессію, за овалъ лица и отсутствіе мозолей, — не только жестоко, но и безцѣльно, такъ и въ пробужденной къ насилию Германіи господствующая «раса» психологически не способна оцѣнить всю мѣру отвратительной унизительности ея гоненій на природу, — за форму черепа или губъ.

Излюбленная большевиками «высшая мѣра» расправы снимаетъ вопросъ, какая пытка «гуманнѣе»: физическая или моральная? Насиліе позорящее или причиняющее боль? Казнь въ темномъ подвалѣ или экзекуція при свѣтѣ дня? Къ пробковой камерѣ или «мокрому» карцеру «наци» еще не прибѣгаютъ, но поджариваніе пятокъ (соціалиста Зольмана), порку, клейменіе гакенкрейцомъ, вырваніе бородъ — они практикуютъ не безъ удовольствія.

Русскій журналистъ описалъ сцену въ берлинской «Тавернѣ» въ день бойкота 1 апрѣля. Англо-американскіе журналисты обмѣнивались впечатлѣніями дня, рассказывали, что видѣли и слышали, — въ Берлинѣ бойкоту былъ приданъ болѣе сдержанный характеръ. Вспоминая прошлое, приводили историческія параллели. Одинъ изъ собесѣдниковъ замѣтилъ:

— Погромы въ Россіи были человѣчнѣе (!). Отъ нихъ хотя бы только часть евреевъ страдала. Были жертвы, которыя должны были принять страданія за весь народъ.

— Вы знаете, что я слышу ежедневно отъ евреевъ въ Берлинѣ, — отозвался другой журналистъ, еврей, — всѣ они говорятъ въ одинъ голосъ: лучше погромъ, лучше убійство 50 или 100, но только не этотъ страшный, холодный разгромъ всѣхъ евреевъ Германіи, всѣхъ до послѣдняго...

Пусть думаютъ такъ и ощущаютъ далеко не всѣ евреи въ Берлинѣ, а лишь тѣ одиночки, которыя не утратили способности хладнокровно «выбирать» между погромомъ спокойно-истребляющимъ, но мимолетнымъ, и разгромомъ «тихимъ», но расчитанно-длительнымъ! Пусть и фактически невѣрны единицы сравненія: и въ Россіи погромъ не былъ столь «человѣчнымъ», его можно было устроить на любое количество жертвъ, какъ прикажетъ начальство, и въ Германіи, конечно, разгрому подвергнутся далеко не всѣ до послѣдняго! Достаточно того, что такъ думаютъ въ современной Германіи, что русскіе погромы, санкціонированныя царской властью, но не всеобщимъ голосованіемъ, могли оказаться въ неожиданной роли предмета, если и не вождельній, то предпочтенія въ «культурной» Германіи.

\*  
\*\*

Есть, однако, въ гитлеровщинѣ по сравненію съ большевизмомъ и нѣчто принципиально иное.

Большевизмъ принято было объяснять духомъ матеріализма и безбожничества; его жестокость и безчеловѣчность — «марксизмомъ». Теперь въ опытѣ дано, что и отрицаніе марксизма, и утвержденіе стараго и добраго «нѣмецкаго Бога» еще ничего не обезпечиваетъ и ни отъ чего не спасаетъ. Крестъ въ соединеніи съ крючками \*) дасть приблизительно тѣ же звѣрства, что и пятиконечная звѣзда съ серпомъ и молотомъ. Человѣкъ съ Богомъ оказывается способнымъ на такую же безчеловѣчность, что и человѣкъ безъ Бога.

Если въ совѣтской Россіи нехристи преслѣдуютъ и гонятъ христіанъ и не христіанъ, а въ мусульманской Тур-

---

\*) Гитлеровскій крестъ съ крючками, или «гакенкрейцъ», «структурно» схожъ съ излюбленной покойной царицей «свастикой». Между ними только та разница, что первый обращенъ, какъ часовая стрѣлка, навстрѣчу солнцу, тогда какъ вторая, по случайности или невѣдлнню, повернута влѣво, лицомъ къ богинѣ Кали, богинѣ бѣдствій и печали. Между этими знаками нетрудно установить не только символическую связь, но и реальную, идейно-политическую и организационно-техническую. — Интересныя иллюстраціи къ вопросу о взаимозависимости между русскимъ и германскимъ «расизмами» см. въ предисловіи Аври Роллэнъ къ переводному роману I. Lovitch. «Tempête sur la Russie».

ціи и сейчасъ, и до Мустафы Кемаль-паши гнали и били христіанъ-армянъ, — это можно было объяснить ихъ неприобщенностью къ свѣту Христову. Гитлеровщина разрушила эту гипотезу, ибо побѣдила она подъ знакомъ креста, въ борьбѣ не только противъ не-арійцевъ, но и противъ нехристей. Свою побѣду Гитлеръ отпраздновалъ въ Потсдамѣ не только на военномъ плацу, но и въ гарнизонной церкви. Самъ святѣйшій папа удостоилъ ближайшихъ сподвижниковъ Гитлера, въ томъ числѣ Геринга, такихъ знаковъ вниманія, что имъ позавидовалъ бы и бывшій наркоминдѣлъ Чичеринъ, обласканный въ Генуѣ всего лишь архіепископомъ.

Есть отъ чего притти въ смущеніе подлинно религиознымъ сердцамъ. Не такъ давно Н. А. Бердяевъ писалъ, что «предъ судомъ христіанской духовности Марковъ 2-ой и Сталинъ люди одного духа, одного пути. Я бы только прибавилъ, что тотъ, кто устраиваетъ застѣнокъ «чеки» во имя Божіе, въ тысячу разъ хуже того, кто устраиваетъ его во имя сатаны» («Путь» № 16). Теперь ту же мысль повторяетъ въ «Новомъ Градѣ» № 6 Г. П. Федотовъ: «оцерковленное, оправославленное зло гораздо страшнѣе окрovenнаго анти-христіанства». — Не инымъ, конечно, является и зло «католическое» или прикрытое протестанствомъ.

Эти слова обязываютъ. Они обязываютъ тѣхъ, кто ихъ произноситъ, прежде всего къ полному разрыву, не только политическому, но и духовному, со всѣми, кто, съ крестомъ на груди и съ «приматомъ духовнаго» на кощунственныхъ устахъ, и большевицкія достиженія, при помощи «чеки», признаетъ и пореволюціонный лозунгъ: «бей жидовъ — спасай Г. с. с.ю!» въ той или иной формѣ исповѣдуетъ. Когда берлинскіе поклонники царя Кирилла, организуя докладъ б. управкоминдѣла, трогательно скрещиваютъ романовскій гербъ съ шикельгуберовскимъ гакенкрещемъ, это ихъ «частное дѣло», до котораго непричастнымъ нѣтъ никакого дѣла.

Гораздо серьезнѣе, когда отъ имени 28 (?) общественныхъ русскихъ организацій дѣлается публичное заявленіе «призванному и храброму вождю пробужденной національной Германіи» съ двусмысленнымъ указаніемъ, что авторы заявленія «хорошо знаютъ того врага, на котораго г. Рейхсканцлеръ ведетъ наступленіе въ своей беззавѣтной любви къ родинѣ и отъ котораго хочетъ освободить герман-

скій народъ», что такого же «духовнаго обновленія» они добиваются и для русскаго народа. Не хуже Берлина и Дрезденъ, въ которомъ какіе-то 33 представителя русскихъ эмигрантовъ слѣшатъ выразить свою «глубокую радость» и надежду «отъ всего сердца, что тяжелая борьба за цѣлость христіанской культуры завершится полной побѣдой».

Мы отлично понимаемъ, что эти вѣрноподданическія заявленія храброму вождю подсказаны, можетъ быть, не столько избыткомъ христіанскихъ чувствъ, сколько избыткомъ «страха іудейскаго». И все же, кому дороги судьбы великой Россіи, не можетъ не задуматься, наблюдая германскій вариантъ «фашизма», надъ тѣмъ, какимъ угрожаетъ стать его русскій вариантъ.

Едва ли не наиболѣе культурный изъ «русскихъ націоналистовъ», П. Б. Струве доказывалъ какъ-то, что къ политическимъ вопросамъ не слѣдуетъ подходить непременно съ точки зрѣнія еврейскаго вопроса. — Отвлеченно разсуждая, Струве, можетъ быть, и правъ. Но жизненно — онъ жестоко ошибся. Германскія событія лишній разъ показали взаимозависимость, существующую между «еврейскимъ вопросомъ» и вопросами общей культуры и права, войны и мира. Эта взаимозависимость существовала въ царскій періодъ русской исторіи, дала себя болѣзненно чувствовать въ періодъ гражданской войны, сказывается она и сейчасъ въ «пореволюціонныхъ» настроеніяхъ въ Россіи и въ эмиграціи. Бываютъ рѣдкіе случаи, что отрицающіе права челоуѣка и гражданина не впадаютъ въ вульгарный антисемитизмъ: къ этимъ рѣдкимъ случаямъ, помимо фашистовъ изъ евреевъ, относится и «случай» съ Муссолини. Не бываетъ за то обратнаго: антисемитизма, исходящаго изъ политической свободы. Въ этомъ смыслѣ «еврейскій вопросъ» является подлинной лакмусовой бумажкой, проявляющей отношеніе къ демократіи.

Отказываясь подходить къ политическимъ событіямъ «съ точки зрѣнія еврейскаго вопроса», Струве не подходитъ къ нимъ и съ точки зрѣнія политической свободы. Только поэтому и могъ онъ закрыть глаза на то предѣльное презрѣніе, съ которымъ «арійскій» канцлеръ относится къ низкопробной (*minderwertige*) славянской расѣ, неспособной къ государственной жизни, которая существовала и могла существовать въ Россіи лишь до тѣхъ поръ, пока ее опекали и направляли германскіе вожди. Поэтому

и могъ Струве усмотрѣть въ дѣятельности германскаго канцлера изъ австрійцевъ «печатя не демагогіи, а, наоборотъ, величайшей умѣренности», «свидѣтельствующей о силѣ и личной значительности Гитлера, какъ государственнаго дѣятеля». Потому могъ онъ удовольствоваться и благодушнымъ увѣреніемъ, что официально возвѣщенная Гитлеромъ «дружественная политика» съ Совѣтами, «конечно, будетъ опровергнута самимъ историческимъ ходомъ событій» \*).

И не клянясь на вѣрность Великой Россіи и государственному началу, какъ то въ теченіе десятилѣтій дѣлаетъ П. Б. Струве, можно признать, какъ совершенно неопровержимый историческій фактъ, что «національное» дѣланіе Гитлера является такимъ же анти-государственнымъ и анти-имперскимъ дѣломъ, что и «соціалистическое» строительство Сталина.

\*  
\*\*

Сравнительно оцѣнивая большевизмъ и гитлеровщину, можно сказать словами первоумца графа Гейдена, на вопросъ: кого онъ все-таки предпочитаетъ — эсъ-дековъ или эсъ-эровъ, — отвѣтившаго:

— Это все одно, что меня спросили бы: предпочитаю ли я прыгнуть съ шестого этажа или съ пятого?!

Когда шла великая «прятка» между Сталинымъ и Троцкимъ, общественность раздѣлилась и въ Россіи, и въ эмиграціи въ оцѣнкѣ, кто изъ нихъ хуже, чьей побѣдѣ сочувствовать. Одни считали, что хуже Троцкій, другіе, что Сталинъ, третьи находили — и мы въ ихъ числѣ, — что «оба хуже». Эту третью позицію противники находили «безотвѣтственной», не-реальной, ибо реальность будто бы требовала опредѣленнаго «выбора». Опытъ показалъ, что правы были какъ разъ «безотвѣтственные», ибо «правый» Сталинъ почти во всемъ совпалъ съ «лѣвымъ» Троцкимъ.

Выборъ вовсе не всегда показанъ политически. Онъ не всегда возможенъ и психологически. Выбирать между

---

\*) Въ числѣ другихъ и Струве не ожидалъ прихода къ власти Гитлера. Всего 4 мѣсяца назадъ писалъ онъ въ той же «Россіи и Славянствѣ» о «демагогіи, въ лицѣ раздувшейся до міроваго значенія фигурки (!) Гитлера», которая терпитъ «сокрушительныя пораженія».

большевизмомъ и гитлеровщиной равнозначно «выбору» между чумой и холерой... Это не отвлеченная аналогія и альтернатива, а жизненная, опытнымъ путемъ проверенная. Когда въ теченіе долгихъ мѣсяцевъ германскіе большевики и гитлеровцы ежедневно подстрѣливали другъ друга, можно было отъ души желать полного успѣха обѣимъ сторонамъ. И это не было бы состояніемъ безразличнаго нейтралитета третьей, неучаствующей въ борьбѣ стороны; это было бы опредѣленнымъ политическимъ отношеніемъ къ равно-далекимъ врагамъ, которое не осуществилось только потому, что «полный успѣхъ» оказался, къ сожалѣнію, на одной сторонѣ.

Вовсе не всегда даны всего два рѣшенія и далеко не всегда два крайнихъ рѣшенія такъ уже полярны другъ другу. Кажется, Мирабо принадлежитъ указаніе, что наиболѣе отдаленный 360-ый градусъ тѣснѣе всего соприкасается какъ разъ съ 1°.

Въ «идеѣ» Гитлеръ какъ будто бы полярень Сталину. И нѣтъ такого т. н. «русскаго націоналиста», культурнаго и некультурнаго, который не сопрягалъ бы своего отрицанія безбожнаго интернаціоналиста и палача Сталина съ утвержденіемъ своей вѣры и надежды на крестоносца и патріота, защитника христіанской культуры и духовнаго обновленія Гитлера. Существуютъ, къ сожалѣнію, и такіе интернаціоналисты, которые свое отрицаніе гитлеровщины, какъ порожденіе изжившей себя капиталистической культуры, готовы сочетать съ утвержденіемъ, что для нѣкоторыхъ странъ путь къ социализму вовсе не обязательно долженъ итти чрезъ демократію, --- къ социализму можно притти и путемъ диктатуры, и потому единый фронтъ съ Сталинымъ не только возможенъ, но съ побѣдой фашизма въ Германіи, политически и цѣлесообразнѣе, единственно реальнѣе.

И справа, и слѣва слышатся заклинанія, что нельзя быть доктринерами и «выбирать» по желанію, — надо считаться съ реальностью. И Гитлеръ при Папенѣ, въ концѣ концовъ, не такъ уже плохъ. Неправильно основывать свое сужденіе о германской власти на «отдѣльныхъ крайностяхъ и эксцессахъ переходнаго времени, о которыхъ такъ много пишетъ международная печать»; «законъ о чиновникахъ явился несомнѣннымъ облегченіемъ положенія евреевъ», находитъ русская національная газета, издаваемая инородцемъ, беря въ качествѣ единицы сравненія

положеніе, которое создано для евреевъ за послѣдній мѣсяць «фактически» (и американскихъ негровъ); наконецъ, — «правительство Гитлера идетъ по пути, который послѣднее время все опредѣленнѣе указывается папой Піемъ XI» («Возрожденіе» отъ 15 и 18 апрѣля).

Съ другой стороны, увѣщываютъ, — какъ ни мало симпатиченъ Сталинъ, какъ ни жестокъ большевицкій терроръ, нельзя не признать его ставленникомъ и защитникомъ революціи, разбившей на голову свой, русскій капитализмъ и «соціализмъ дураковъ», какъ еще Бебель называлъ антисемитизмъ, и остающейся единственной силой, имѣющей шансы разбить и международный фашизмъ.

Правый П. Муратовъ всячески преувеличиваетъ политическое отталкиваніе Берлина отъ Москвы. Но и лѣвый Е. Сталинскій дѣлаетъ то же самое, утверждая, что изъ чтенія совѣтской прессы «выносишь впечатлѣніе, что Москва считаетъ гитлеровскую Германію своимъ самымъ опаснымъ врагомъ». Преувеличенія Муратова, въ концѣ концовъ, безобидны за бездѣйственностью: они тѣшатъ только тѣхъ русскихъ націоналистовъ, которые хотя и утѣшаются, хоть чѣмъ-нибудь, хоть какъ-нибудь. Преувеличенія Сталинскаго гораздо болѣе рискованны, потому что свои «впечатлѣнія» онъ выдаетъ за факты иностранцамъ, неспособнымъ слѣдить за совѣтской печатью и продолжающимъ подходить къ большевицкой дипломатіи и политикѣ съ привычной имъ, европейской точкой зрѣнія.

— Надо умѣть использовать противорѣчія и противоположности между империалистами. Если бы мы этого правила не держались, мы давно, къ удовольствію капиталистовъ, висѣли бы всѣ на разныхъ соснахъ. И было бы величайшей ошибкой думать, что концессіи означаютъ миръ. Ничего подобнаго! Концессіи — это не что иное, какъ новая форма войны... Мы переходимъ къ войнѣ экономической...

— Снова, значитъ, капиталисты сядутъ на шею?

— Зачѣмъ, — насчетъ этого у насъ есть всероссійская че-ка, губернская чека!..

Этотъ историческій діалогъ между Ленинымъ и совѣтскимъ съѣздомъ относится ко времени перехода большевиковъ отъ агрессивнаго военнаго коммунизма къ «мирной» политикѣ НЭП-а. Но онъ сохранилъ свое значеніе и сейчасъ. Циническому отношенію къ политикѣ вообще, и ко внѣшней политикѣ въ особенности, большевики остались

вѣрны, какъ «завѣту Ильича», вошедшему въ общій ихъ «железный инвентарь». Большевики этого не скрываютъ и сами.

Ни съ кѣмъ они такъ не флиртовали, какъ съ фашистскимъ правительствомъ Муссолини. И ни надъ кѣмъ они такъ не издѣвались, какъ надъ демократическими правительствами Англии и Франціи. Они устраивали помпезныя манифестаціи съ сожженіемъ чучель Чемберлена и Бриана. О сожженіи же чучель Муссолини и Гитлера пока еще ничего не слышно, какъ не слышно отъ нихъ ни одного слова протеста и противъ антисемитскихъ неистовствъ расистскаго правительства. Намъ увѣряютъ, что совѣтская печать считаетъ Германію своимъ самымъ опаснымъ врагомъ. Это можно утверждать, лишь переоцѣнивая обычную фразеологию большевицкой прессы: «уличная дѣвка», «шуты» и т. д. и столь же произвольно откидывая другія ея заявленія: на примѣръ, заявленіе «Извѣстій» о томъ, что СССР единственное государство, не питающее враждебныхъ чувствъ къ Германіи безотносительно къ способу образованія и составу германскаго правительства. Это писалось не въ партійной «Правдѣ», а въ официальныхъ «Извѣстіяхъ» послѣ назначенія Гитлера канцлеромъ!

Большевики могли быть ненавистниками Версальскаго мира, вмѣстѣ съ нѣмцами и итальянцами, какъ мира насильническаго и имперіалистическаго, къ которому Совѣты не причастны. И они могутъ сейчасъ быть, вмѣстѣ съ французами, защитниками этого мира, на томъ основаніи, что всякій пересмотръ грозитъ войной, которая имъ, большевикамъ, будто бы неприемлема. Они могутъ быть и противниками договора «Четырехъ», — главнымъ образомъ, потому что среди этихъ четырехъ нѣтъ ихъ самихъ, — какъ и раньше они были — и остаются — противниками и Лиги Націй, какъ «синдиката побѣдителей». Словомъ, можно дѣлать видъ, что большевицкое слово есть слово, а очередной поворотъ лицомъ — или спиной — не есть лишь очередная форма использованія и шантажа европейскихъ противорѣчій и противоположностей, а дѣйствительная перемѣна политики всерьезъ и надолго. Можно, — но надо понимать, что дѣлаешь.

Иностранцамъ еще простибельно принимать чаемое и желаемое за сущее. Особое «счастье» большевиковъ и заключалось вѣдь въ томъ, что всегда находился въ Евро-

лѣ очередной любитель, желающій отыграться на большевикахъ и неизмѣнно игравшій имъ въ руку. Долгіе годы эту роль исполняли, перебѣгая дорогу другъ другу, нѣмцы, итальянцы, англичане. Теперь ихъ мѣсто хотятъ занять французы и американцы. Большевики, какъ всегда услужливо снѣшать навстрѣчу всѣмъ готовымъ имъ помочь. И тѣ русскіе журналисты, которые убѣждаютъ готовыхъ повѣрить большевикамъ иностранцевъ въ серьезности поворота вишней политики Совѣтовъ, распространяютъ не только невѣрныя свѣдѣнія о большевикахъ, но и дѣлаютъ объективно дѣло полезное только большевикамъ. Анти-большевистское репоме и безкорыстіе въ данномъ случаѣ только увеличиваютъ полезный большевикамъ результатъ.

Сталинъ ужился съ Муссолини, съ Пилсудскимъ, съ ген. Араки. Почему ему не ужиться съ Гитлеромъ? И почему Гитлеру не ужиться съ Сталинымъ?



На враждѣ Гитлера къ Совѣтамъ спекулируютъ правые. На вражду Совѣтовъ къ Гитлеру ставятъ лѣвые, «большевизаны». О войнѣ, какъ единственномъ средствѣ избавиться отъ коммунистическаго ярма, по ряду доходящихъ свидѣтельствъ, «мечтаютъ» въ Россіи. Въ предупредительной «войнишкѣ», увы, видятъ единственную возможность разрядить скопившіяся надъ міромъ тучи и нѣкоторые добрые демократы, о которыхъ приходится сказать, — «они не предали, они устали».

Создается знакомое предоктябрьское настроеніе: все, что угодно, лучше того, что есть. Повторяется съ иными цѣлями, но по существу ленинская тактика. Какъ известно изъ письма Ленина къ Горькому, еще до міровой войны, которая привела къ побѣдѣ Ленина, Ленинъ мечталъ о вхожденіи Россіи и Австріи въ Балканскую войну 1912-1913 гг., какъ «очень полезной для революціи (во всей восточной Европѣ) штукѣ». Теперь эту тактику заимствуютъ у побѣдителей побѣжденные, не считаясь съ противоположностью своихъ цѣлей и цѣлей Ленина. Става на стихію, взрывающую «старый міръ», Ленинъ понималъ, что дѣлаетъ. Можно сильно усомниться въ пониманіи

тѣхъ, кто въ новомъ взрывѣ цивилизаціи и культуры видятъ путь къ возстановленію русскаго хозяйства и государственности. Кто пережилъ міровую войну и ся послѣдствія, того уже не убѣдятъ ссылки на Гераклита Эфесскаго, де Мэстра, Сореля и даже Достоевскаго.

Война, конечно, можетъ случиться. Но ея желать — безуміе; желать въ интересахъ Россіи — безуміе неизлѣчимое.

«Малая» и тихая война Японіи съ Совѣтами, которая такими патріотическими надеждами окрыляла довольно значительные круги русскихъ націоналистовъ, наглядно показала, чего можно ждать для Россіи въ результатѣ вѣднѣшняго конфликта съ болѣе или менѣе мощнымъ противникомъ. Пусть слѣдующая, большая и настоящая война, которая не можетъ не вылиться въ войну міровую, «освободитъ» Россію еще отъ нѣкоторыхъ территорій, освободитъ ее и отъ большевицкой власти! Если на мѣсто «интернаціональнаго социализма» придетъ какой-нибудь «соціальный націонализмъ», отъ этого можетъ проиграть лично Сталинъ и выиграть какой-нибудь младо- или старо-россъ, но не Россія. Россію это не выведетъ изъ гибельной стихіи войны внутренней и вѣднѣшней.

Кто отрицаетъ большевизмъ, въ частности потому, что въ немъ одинъ изъ неистребимыхъ очаговъ послѣвоенной разрухи, тѣмъ болѣе устойчивый, чѣмъ на болѣе долгій срокъ большевизмъ затянулся, тотъ не можетъ не видѣть, что и каждый лишній день пребыванія у власти Гитлера даетъ моральную опору и частичное оправданіе всѣмъ другимъ силамъ разрушенія и распада, въ частности, и большевизму.

Только отталкиваніе отъ всѣхъ видовъ диктатуры даетъ оправданіе и снимаетъ характеръ своекорыстной заинтересованности въ отталкиваніи и отъ диктатуры, которая ранитъ. Большевицкой «системой втаптыванія въ грязь священнѣйшихъ правъ личности» необходимо возмущаться. Но что стоитъ такое возмущеніе, если рядомъ, въ томъ же «Возрожденіи», аналогичная «система втаптыванія въ грязь священнѣйшихъ правъ личности» Гитлера не только не вызываетъ никакого возмущенія, но вообще отрицается, считается простой случайностью «переходнаго времени». Отпущеніе грѣховъ Гитлера отбрасываетъ свою тѣнь и на Сталина. Этой тѣни можно не видѣть, ея нельзя скрыть никакими словесными пируэтами. Ника-

кой противоположностью и флей, преслѣдуемыхъ Гитлеромъ и Сталинымъ, нельзя упразднить общей имъ обобщенной «системы втаптыванія въ грязь священнѣйшихъ правъ личности». Не случайно охранники и жандармы, почувствовавъ сродство душъ, переметнулись въ первую очередь къ большевикамъ, какъ среди первыхъ, кто облекся въ коричневую куртку, оказались и нѣкоторые вчерашніе члены германской и всесоюзной коммунистической партій.

Русское національное чувство болѣзненно ощутило реакцію на «национальную революцію» въ Германіи со стороны европейскаго и американо-анскаго общественнаго мнѣнія. Почему «соціалистическая революція» въ Россіи не вызываетъ такого же сплоченнаго и громкаго протеста? Развѣ объ «революціи» не стоятъ другъ друга? Неужели необходимо было подвергнуть террору англійскихъ инженеровъ, чтобы и англичане догадались, наконецъ, что торговать съ «каннибалами» не только зазорно, но и рискованно, — особенно если не заручиться, такъ называемыми, капитуляціями, принятыми когда-то въ восточныхъ странахъ для охраны культурныхъ европейцевъ.

Тѣ, кто справедливо возмущаются равнодушіемъ и попустительствомъ просвѣщеннаго міра въ отношеніи къ большевицкой тираніи, не считаютъ все же съ тѣмъ, что противъ Гитлера — и за Сталина — моментъ времени, неожиданность и новизна гоненій въ Германіи и ставшія привычными и уже «пріѣвшимися» гоненія въ Россіи. Съ каждымъ лишнимъ мѣсяцемъ пребыванія у власти Гитлера будетъ спадать сила общественнаго возмущенія, и съ нѣмецкими «каннибалами», несмотря на бойкотъ, начнутъ такъ же торговать, какъ стали торговать и съ русскими, несмотря на объявленную блокаду. Чтобы быть справедливымъ, надо сравнить отношеніе Европы къ гитлеровщинѣ не съ нынѣшнимъ ея отношеніемъ къ большевизму, а съ ея былымъ отношеніемъ къ нему въ 1917-20 гг., съ повоенной блокадой, «санитарнымъ кордономъ» и т. д. Надо учесть къ тому же, на ряду съ своекорыстіемъ различныхъ националистическихъ эгоизмовъ, и долю опасенія, что на смѣну красной диктатуры придетъ немногимъ лучшая черная. Опытъ русскаго юга, востока, сѣвера и запада въ этомъ отношеніи былъ одинаково поучителенъ и одинаково, увы, плачевенъ.

Рожденная большевизмомъ и Версалемъ гитлеровщи-

на является оплотомъ не противъ большевизма, а противъ всѣхъ силъ культуры и права, не сумѣвшихъ воспрепятствовать продвиженію Гитлера къ власти.

Всѣ тѣ, кто вмѣстѣ съ большевиками и крайними черносотенцами, полагають, что реальны только два рѣшенія, крайнихъ, а всѣ иныя, «среднія» и «гуманистическія» должны быть стерты, они — и только они — въ торжествѣ Гитлера могутъ видѣть и свое торжество. Среди нихъ большевики получаютъ специальное основаніе для торжества еще и потому, что всѣмъ угнетеннымъ и оскорбленнымъ гитлеровщиной естественно будетъ направить свой духовный взоръ и симпатіи въ сторону таинственной и далекой, но, какъ ихъ давно уже убѣждаютъ, единственно сильной Москвы. Предвидя это, Сталинъ и предписывалъ нѣмецкимъ коммунистамъ поддерживать на выборахъ гитлеровцевъ противъ социалистовъ. Онъ умышленно обострялъ положеніе въ расчетъ на прозелитизмъ.

Въ Москвѣ горе и страданія, — скажутъ будущіе честные «обращенцы», тамъ терроръ и надругательство достигли несравнимыхъ и съ гитлеровщиной размѣровъ. Но тамъ все-таки имѣется какой-то новый поискъ выхода изъ нынѣшняго смрада; хоть и облыжно, но возмѣщается все-таки новое небо и новая земля. А Гитлеръ?.. Даже въ объщаніяхъ своихъ онъ не идетъ дальше «третьяго райха», какъ двѣ капли воды схожаго съ до-версальскимъ райхомъ, только поглубже, примитивнѣе и духовно бѣднѣе.

Только въ безоговорочномъ отрицаніи гитлеровщины можно обрѣсти право на безусловную непримиримость и со схожей съ ней, какъ правая рука съ лѣвой, большевнической диктатурой.



Волны самовластия все сильнѣе захлестываютъ Европу. На маленькомъ полуостровѣ, который по отношенію къ матеріку она представляетъ, уцѣлѣли только небольшіе оазисы демократіи, все убывающіе въ своемъ странственномъ объемѣ, — ея приращенія за годы исчерпываются одной Испаніей. На 300 милліоновъ, живущихъ въ странахъ явной или скрытой диктатуры, всего около 100 милліоновъ, пользующихся благами политической свободы. Большинству — одинъ на три — приходится идти противъ теченій.

Но, надо ли быть непременно увѣреннымъ въ успѣхѣ, чтобы что-либо предпринять? Надо ли непременно преуспѣвать, чтобы бороться?

М. В. Вишнякъ.

**P. S.** — Хотя бы въ постъ-скриптумѣ и, потому, поневолю коротко, я вынужденъ отвѣтить на вопросъ, обращенный ко мнѣ, правда, лишь косвенно, какъ одному изъ соредкторовъ «Современныхъ Записокъ».

Въ связи съ выходомъ юбилейной 50-ой книги журнала и отчетной статьей о «юбилеѣ», помѣщенной въ 51-ой книгѣ, «Современнымъ Запискамъ» предъявлены были запросы: справа — однимъ изъ редакторовъ «Россія и Славянства» К. I. Зайцевымъ и слѣва — единоличнымъ редакторомъ «Послѣднихъ Новостей» П. Н. Милюковымъ.

Запросъ К. I. Зайцева представляетъ собою, въ сущности, сумму изъ  $n+1$  вопросовъ, исчисляемую нѣсколькими десятками. Пытаться отвѣтить на всѣ эти вопросы было бы равносильно попыткѣ разомъ и смаху отвѣтить на всѣ «первыя» и «послѣднія» вопросы не только соціальной политики, а и вообще человѣческаго бытія и дѣланія. Къ нѣкоторымъ изъ этихъ вопросовъ, въ частности мнѣ, приходилось неоднократно возвращаться на страницахъ тѣхъ же «Совр. Записокъ» и дать на нихъ свой, можетъ быть, для оппонента и мало убѣдительный отвѣтъ. Это какъ разъ тѣ самые вопросы, которые, по характеристикѣ Зайцева, «вопіютъ» и касаются, въ сущности, весьма сложныхъ и спорныхъ, отвлеченныхъ темъ о взаимоотношеніи народничества и личной свободы, о сочетаніи демократіи съ социализмомъ и т. д. Другіе вопросы, оппонентъ и самъ это признаетъ, родились въ итогѣ «сознательнаго доведенія до абсурда» чужой мысли.

Не руководясь, поэтому, «вопросникомъ», по которому насъ какъ бы допрашиваютъ и экзаменуютъ, и не задавая встрѣчныхъ вопросовъ въ аналогичномъ числѣ, большихъ и малыхъ, отвлеченныхъ и «азартныхъ», — кто же не знаетъ, что и имѣющему что отвѣтить въ десять разъ труднѣе это сдѣлать, чѣмъ не имѣющему собственныхъ отвѣтовъ вопросы задавать, — я хочу ограничиться разсмотрѣніемъ только того, что представляетъ обществен-

но-политическій интересъ примѣнительно къ «Современнымъ Запискамъ».

Этотъ интересъ начинается тамъ, гдѣ К. І. Зайцеву согласно вторитъ П. Н. Милюковъ.

При всемъ различіи въ содержаніи политическихъ оцѣнокъ и устремленій, оба они встревожены однимъ и тѣмъ же. П. Н. Милюковъ такъ формулируетъ «категорическій вопросъ», обращенный К. І. Зайцевымъ къ «Современнымъ Запискамъ»: «Съ кѣмъ же вы, наконецъ? Съ нами или съ ними?» — «Мы» и «они» распределяются, конечно, каждымъ оппонентомъ по разному. П. Милюковъ возражаетъ противъ излишней терпимости вправо. К. І. Зайцевъ недоволенъ обратнымъ: излишней терпимостью влѣво и недостаточной, по его мнѣнію, терпимостью вправо. Но что любопытно, — и «лѣвый» и «правый» оппонентъ одинаково ополчаются противъ представленіи страницъ журнала произведеніямъ авторовъ, именующихъ себя «пореволюціонными» и пытающихся оформить свои взгляды на столбцахъ «Новаго Града»: одинъ — потому что считаетъ «новоградцевъ» слишкомъ правыми, другой — потому что считаетъ ихъ слишкомъ лѣвыми.

Надо ли подчеркивать, что нынѣшнія соціально-политическія устремленія П. Н. Милюкова мнѣ лично несравненно ближе и со всѣхъ точекъ зрѣнія пріемлемѣе тѣхъ, которыя и по сей день отстаиваетъ, несмотря на всю свою эволюцію за послѣдніе годы, К. І. Зайцевъ?! И тѣмъ не менѣе я долженъ признать, что по существу требованіе, предъявленное къ «Современнымъ Запискамъ» П. Милюковымъ, ничѣмъ не отличается отъ того, что выдвигается ввину журналу съ противоположной стороны. Оба критика претендуютъ на излишнюю терпимость журнала, но... по отношенію къ ихъ противникамъ. И оба недовольны чрезмерной нетерпимостью журнала, но... по отношенію къ ихъ единомышленникамъ. Не являются ли эти взаимно исключаютія субъективно-политическія претензіи объективнымъ свидѣтельствомъ, хотя бы «отъ противнаго», терпимости «Современныхъ Записокъ»?

«Совр. Записки», конечно, во многихъ и въ разныхъ отношеніяхъ не удовлетворяютъ полностью ни читателей, ни писателей, ни редакцію въ цѣломъ, ни cadaго въ отдѣльности изъ ея сочленовъ. Каждый, если бы былъ единоличнымъ «хозяиномъ», повелъ бы вѣроятно дѣло иначе. «Вмѣстѣ»-же они вынуждены согласовать, если не свои

мнѣнія, не всегда согласуемая, то свои дѣйствія. Гдѣ печатный органъ ведетъ одно лицо — или недосягаемый авторитетъ возглавляетъ коллегию, тамъ всѣ «уклоны» отъ «генеральной линіи» журнала -- результатъ индивидуальнаго грѣхопаденія. Но тамъ, гдѣ органъ ведется обычно коллегіей, — тамъ, хорошо это или плохо, но уклоны и компромиссныя, «среднія» рѣшенія или сумма нѣсколькихъ мнѣній — неизбежное слѣдствіе коллегіальнаго состава редакціи.

Всякая коллегіальная работа есть работа коалиціонная въ томъ смыслѣ, что полного тождества въ мысляхъ и мнѣніяхъ не бываетъ и у двухъ самыхъ близкихъ единомышленниковъ. За двѣнадцать съ половиной лѣтъ, что существуютъ «Современныя Записки», измѣнилось лицо міра, пошатнулись не только политическія «надстройки», но и экономическіе устои, раскололись и разложились, казалось, прочныя партійныя организмы, многіе изъ сотрудничавшихъ въ «Совр. Зап.» добрыхъ демократовъ успѣли за это время переметнуться на крайніе фланги: достаточно назвать имена Алексѣя Н. Толстого и Святополкъ-Мірскаго, Пѣшехова и Карсавина, Муратова и Питирима Сорокина, — сотрудничавшихъ одинаково въ «Современныхъ Запискахъ». Не остались на своихъ прежнихъ позиціяхъ и нынѣшніе критики журнала. Естественно, что и въ редакціонной коллегіи произошли внутренніе сдвиги, и люди, одинаково смотрѣвшіе на вещи 12 лѣтъ тому назадъ, могли сильно разойтись во многихъ взглядахъ и оцѣнкахъ. Слѣды этихъ расхожденій нетрудно было замѣтить всякому внимательному читателю журнала. На страницахъ журнала стали умѣщаться все болѣе разнообразныя оттѣнки мнѣнія. Это могутъ считать серьезнымъ дефектомъ, — но никому не дано не считаться съ совершенно исключительными обстоятельствами времени и мѣста, въ которыхъ приходилось журналу существовать.

Цѣнность критики въ концѣ концовъ познается положительнымъ предложеніемъ критика. Между тѣмъ, что рекомендуетъ К. Зайцевъ въ качествѣ положительной редакціонной политики «Современнымъ Запискамъ»? Онъ предлагаетъ журналъ въ отсутствіи «ясной идейной базы» и предлагаетъ объединеніе всѣхъ, всѣхъ, всѣхъ, но тутъ же подводитъ «идейную круговую связь» между идейно близкими большевикамъ «пореволюціонными теченіями»

и тѣми, кто въ своей работѣ мысли связаны подчиненіемъ словамъ «революція» и «соціализмъ». Въ эту сложную формулу авторъ умѣщаетъ уже не отдѣльныхъ сотрудниковъ «Соврем. Записокъ», а всю редакцію въ цѣломъ. Нетрудно себѣ представить широту «базы» или «фронта», который получился бы у Зайцева, если бы амплуа критика ему довелось смѣнить на амплуа руководителя!

Нѣкоторая «неувязка» получается, на нашъ взглядъ, и у критика «С. Зап.» слѣва. Прежде всего самая антитеза «Органъ демократіи» или «Свободная трибуна» малоубѣдительна. Точно невозможна «свободная трибуна» въ «органѣ демократіи» и, наоборотъ, точно не характерно именно для не-демократическаго органа отсутствіе всякой свободной мысли! Не сводится же вся претензія П. Н. Милюкова, въ самомъ дѣлѣ, къ тому, что «Современныя Записки» забыли, «какъ это обыкновенно дѣлается въ такихъ случаяхъ, отдѣлать статьи, печатаемыя въ дискуссионномъ порядкѣ», отъ «статей, съ которыми редакция болѣе или менѣе солидарна»?..

Нѣтъ, можетъ быть, и несовершенная, но своя «установка» у «Современныхъ Записокъ» была и есть. Свидѣтельство и порука тому, что многимъ авторамъ и взглядамъ на страницахъ «Соврем. Записокъ» нѣтъ и не можетъ быть мѣста. Можно согласиться съ тѣмъ, что фактически «правые» оказались на положеніи болѣе привилегированномъ, чѣмъ «лѣвые». Но это произошло, помимо прочихъ причинъ, еще и потому, что «лѣвые» оказались и численно слабѣе «правыхъ», и внутренне не изжили въ себѣ совѣтскаго соблазна.

Умышленно отказываясь быть «боевымъ политическимъ органомъ», неизбѣжно заостряющимъ свои лозунги и способнымъ, поэтому, объединить лишь тѣсную группу единомышленниковъ, «Современныя Записки» хотѣли служить демократіи, не только, какъ отвлеченному идеалу, но и какъ постоянно осуществляющемуся заданію. Въ рамкахъ печатнаго органа это заданіе принимало форму требованія дать мѣсто на страницахъ журнала разнымъ демократическимъ теченіямъ, независимо отъ исходныхъ положеній каждаго и не взирая на частныя расхожденія и несогласія.

Какъ мнѣ уже приходилось формулировать въ «Современныхъ Запискахъ», мѣръ, какъ представляе-

ніе, — индивидуалистиченъ; міръ, какъ воля, — соборенъ. Всякое общественное дѣланіе предполагаетъ сочетаніе людей, т. е. разныхъ душевныхъ состояній и взглядовъ. И даже сравнительно небольшое дѣло, какимъ является организація и веденіе «Общественно-политическаго и литературнаго журнала», требуетъ извѣстной «коалиціи» людскихъ усилій не только во внѣ, но, при коллегіальномъ руководствѣ, и внутри. Не намъ судить о результатахъ нашихъ коалиціонныхъ усилій.

Благожелательно констатируя положительныя достиженія и заслуги «Современныхъ Записокъ», П. Н. Милюковъ въ заключеніе полагаетъ, что «Современныя Записки» «такъ много уже сдѣлали», что имъ «никакая критика не страшна». Я бы добавилъ, — кромѣ критики, не считающейся съ логикой вещей. Такая критика могла бы быть «страшна», — можетъ быть, не столько для руководителей журнала, сколько для самого журнала.

М. В.

# Голодь и коллективизація

## I. Генезисъ коллективизаціи.

Осенью 1929 г. совѣтская власть объявила крестьянству войну на уничтоженіе; она затѣяла произвести сверху вторую аграрную революцію, гораздо глубже потрясающую всѣ основы народной жизни, чѣмъ аграрная революція 1918 г. Чѣмъ вызвано это объявленіе войны? Можетъ быть крестьянское хозяйство, несмотря на уступку, сдѣланную ему объявленіемъ Новой Экономической Политики, обнаружило свою неспособность создать основы для возстановленія и дальнѣйшаго развитія народнаго хозяйства?

Этого ни въ коемъ случаѣ нельзя сказать. Крестьянское хозяйство, даже въ томъ жалкомъ состояніи, до котораго его довела революція, проявило поразительную жизнеспособность и приспособляемость. Къ 1922 г. посѣвная площадь сократилась съ 116,7 милл. гект. въ 1913 г. до 77,7 милл. гект., т. е. на 39 милл. гект. или на одну треть; паденіе посѣвной площади зерновыхъ хлѣбовъ слишкомъ вдвое превзошло долю вывоза, который до войны поглощалъ около 15% чистаго сбора хлѣбовъ; численность рабочихъ лошадей по сравненію съ довоеннымъ временемъ сократилась на 30%, численность пользовательнаго скота на 27%, цѣнность мертваго инвентаря на 40%. Въ такихъ условіяхъ можно было серьезно опасатся того, что голодовки будутъ въ Россіи продолжаться рядъ лѣтъ.

Въ дѣйствительности, однако, со времени снятія урожая 1922 г. всѣ продовольственные затрудненія какъ рукой сняло, и пока НЭПъ былъ въ силѣ, съ продовольствіемъ населенія обстоило благополучно. Съ 1922 по 1926 г., за четыре года посѣвная площадь повысилась на 32,6 милл. гект. и была только на 6,4 милл. гект. меньше довоенной, а численность пользовательнаго скота уже превзошла его численность до революціи.

Чему-же сельское хозяйство обязано своимъ стремительнымъ возстановленіемъ? Можетъ быть, этотъ успѣхъ объясняется тѣмъ, что крестьянское хозяйство было поставлено въ періодъ НЭПа въ особенно благопріятныя условія? Конечно, все на свѣтѣ относительно: условія развитія крестьянскаго хозяйства при НЭПѣ были несравненно лучше, чѣмъ они были въ эпоху военного коммунизма или подъ пятилѣткой, но по сравненію съ довоенными условіями они были достаточно неблагопріятны.

Аграрная революція 1918 г. не имѣла существеннаго положительнаго значенія въ экономической жизни крестьянства. Не надо упускать изъ виду, что еще въ результатѣ революціи 1905 г. произошла громадная передвижка земли изъ рукъ помѣщиковъ въ руки крестьянъ. Кромѣ того, послѣ революціи громадныя массы выходцевъ изъ деревни вернулись туда изъ городовъ обратно, и они получили свою долю при дѣлежѣ земли. Въ виду этого въ великорусскихъ губерніяхъ землепользованіе на душу населенія возросло въ результатѣ аграрной революціи всего только на 20%, да и то изъ прирѣзанной земли половина и раньше была въ пользованіи крестьянъ. Значительной была прирѣзка земли только на Украинѣ. На большей части территоріи страны главное значеніе аграрной революціи заключалось для крестьянъ не въ прирѣзкѣ земли, а въ равномѣрномъ ея распределеніи между ними же. Только прежде особенно обдѣленные землей элементы могли-бы извлечь изъ аграрной революціи экономическія выгоды, но вслѣдствіе общаго хаотическаго состоянія народнаго хозяйства и они ничего не выгадали.

Что касается организациі народнаго хозяйства при НЭПѣ, то она была гораздо менѣе благопріятна для крестьянскаго хозяйства, чѣмъ до войны. Даже въ 1925-26 г., который можно считать временемъ наивысшаго расцвѣта НЭПа, крестьянинъ получалъ за свой продуктъ примѣрно на 40% менѣе товаровъ крупной индустріи, чѣмъ до войны. До войны крестьянинъ получалъ примѣрно 70% цѣны ржи на внутреннемъ рынкѣ и 75% цѣны пшеницы на виѣшнемъ рынкѣ, теперь онъ получалъ примѣрно на 20% меньшую долю соответствующихъ цѣнъ. Потери крестьянства на рынкѣ вслѣдствіе худшей организациі народнаго хозяйства во много разъ превосходили тѣ выгоды, ко-

торья оно получало вслѣдствіе освобожденія отъ земельныхъ платежей; да и налоговое обложеніе крестьянъ послѣ революціи стало болѣе тяжелымъ.

Стремительный процессъ возстановленія крестьянскаго хозяйства, который имѣлъ мѣсто въ теченіе 1922-26 г., произошелъ не потому, что крестьянское хозяйство было поставлено въ благопріятныя условія для своего развитія, а несмотря на то, что оно было поставлено въ неблагопріятныя условія. Въ этомъ нашла себѣ выраженіе большая жизнеспособность этой исконной, семейной, трудовой, въ основѣ на самоснабженіи построенной хозяйственной организаціи. Если крестьянину не слишкомъ мѣшаютъ, то онъ «обрастаетъ». Вопросъ о возстановленіи его деградировавшаго въ революціи хозяйства былъ для каждаго крестьянина вопросомъ жизни или смерти. Могучимъ усиленіемъ русское крестьянство при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ вылѣзло изъ той ямы, въ которую его сбросилъ коммунизмъ въ первые годы своего владычества, и попутно оно создало условія для частичнаго возстановленія другихъ отраслей народнаго хозяйства. Для дальнѣйшаго роста сельскаго хозяйства и углубленнаго вовлеченія его въ обмѣнъ необходимо было или чтобы крайне несовершенная организація такъ наз. социалистическаго сектора была улучшена, или чтобы совѣтская власть не мѣшала развитію частнаго хозяйства въ дѣлѣ исполненія тѣхъ-же экономическихъ функций. Но усовершенствовать работу социалистическаго сектора совѣтской власти удалось лишь въ весьма ограниченной мѣрѣ, а допустить свободную конкуренцію съ нимъ частнаго хозяйства она не желала.

Основной задачей совѣтской власти, однако, было не усовершенствованіе социалистическаго сектора, а его стремительное расширеніе, въ особенности государственной промышленности, за счетъ сельскаго хозяйства. Эта тенденція нашла свое полное выраженіе въ опубликованныхъ лѣтомъ 1925 г. первыхъ «Контрольныхъ цифрахъ народнаго хозяйства» на 1925-26 г. Опубликованіе этой работы Госплана было важнымъ шагомъ въ дѣлѣ строительства плановаго хозяйства. И вотъ уже эти первыя «Контрольныя цифры» предъявляли сельскому хозяйству совершенно неимовѣрныя требованія. Получившая къ тому времени значительное развитіе частная торговля защитила кре-

стьянство отъ этой попытки безмѣрной эксплуатаціи его со стороны социалистическаго сектора, и привела требованія послѣдняго въ нѣкоторое соотвѣтствіе съ общими условіями народнаго хозяйства. Но совѣтская власть чувствовала себя разочарованной въ своихъ экспансивныхъ надеждахъ на быстрое строительство индустріи за счетъ крестьянства.

Была построена теорія, что «кулак», опираясь на частную торговлю и частную промышленность, саботируетъ совѣтскую власть. Съ 1926 г. усиливаются гоненія на зажиточныхъ крестьянъ, и частная торговля и частная промышленность ликвидируются. Въ результатѣ съ 1927 г. ростъ сельскаго хозяйства пріостанавливается, и крестьянство, въ виду крайняго ухудшенія рыночныхъ условий, начинаетъ опять возвращаться въ свою натурально-хозяйственную скорлупу. При быстромъ ростѣ индустріальнаго населенія, которое теперь перестало обслуживаться частной торговлей, совѣтской власти оставалось только вернуться къ системѣ принудительнаго изъятія сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. Въ январѣ 1928 г. она это и сдѣлала, и тѣмъ разрушила и ослѣднюю основу НЭПа. Между тѣмъ никакая другая организація сельскаго хозяйства въ данныхъ условіяхъ не могла-бы удовлетворить безмѣрнымъ требованіямъ совѣтской власти.

Но являлся вопросъ, чѣмъ замѣнить разрушаемое принудительными мѣропріятіями крестьянское хозяйство. Втеченіе 1928 г. и первой половины 1929 г. совѣтская власть все колебалась, не зная, что ей дѣлать съ сельскимъ хозяйствомъ. Конецъ колебаніямъ положилъ обратившій на себя ея вниманіе онытъ агронома Маркевича.

Маркевичъ сосредоточилъ въ совхозѣ Шевченко Одесскаго уѣзда 100 тракторовъ и много другихъ машинъ и предложилъ окрестнымъ селамъ обработать ихъ поля сплошь, не считаясь съ межами, вплоть до машиннаго обмолота хлѣба. Крестьяне ставятъ ему нужныхъ рабочихъ и отдають машинно-тракторной станціи (МТС) 25-30% зерна. Въ другихъ отношеніяхъ крестьяне сохраняють свою хозяйственную самостоятельность. Они имѣють свою усадьбу, свой огородъ, свой скотъ; имъ принадлежитъ 70-75% зерна и вся полова; согласно сѣвообороту они получаютъ одинъ изъ шести клиньевъ для самостоятельнаго его заѣва плугополольными. Крестьяне на это

предложеніе пошли, и въ 1928 г. 26 сель, располагающихъ 24.000 гект. земли, заключили соответствующіе договоры съ МТС. Сознвая всю сложность этого начинанія, Маркевичъ въ своей получившей громадное распространеніе книгѣ «Межселенныя машинно-тракторныя станціи» предупреждалъ противъ беспорядочнаго устройства такихъ станцій, какъ опаснаго дѣла.

Это культурное предпріятіе навело совѣтскую власть на новыя мысли. Она впервые увидѣла, что въ извѣстныхъ условіяхъ не маленькія группы, а цѣлыя села въ полномъ составѣ могутъ сломать свои межи. Но если это возможно, то это должно быть сдѣлано. Совѣтская «сплошная коллективизація» была не чѣмъ инымъ, какъ извращеніемъ идеи Маркевича. Свободное соглашеніе замѣнено принужденіемъ; самостоятельность крестьянскихъ хозяйствъ совершенно ликвидируется, и коллективизація совершается даже и независимо отъ наличія МТС. Трудно представить себѣ болѣе печальную судьбу культурной идеи.

## II. Проблема коллективизаціи крестьянства на русской почвѣ.

Русскій крестьянинъ былъ столь-же мало подготовленъ къ веденію коллективнаго хозяйства, какъ крестьянинъ любой страны, и мнѣніе, что русская община его къ этому подготовила, надо признать совершенно ошибочнымъ. Широкіе слои русскаго крестьянства цѣнили русскую общину, какъ организацію, обезпечивающую ихъ и ихъ потомство землей для веденія собственнаго хозяйства; представленіе о коллективномъ хозяйствѣ имъ было совершенно чуждо. Конечно, въ русскихъ общинахъ царилъ строгій принудительный сѣвооборотъ, но таковой былъ очень распространенъ и отчасти и теперъ еще встрѣчается и въ странахъ Западной Европы среди несомнѣнно индивидуалистически настроеннаго крестьянства. Нигдѣ и никогда русская община не вела коллективнаго хозяйства. Усматривать зачатки коллективизма въ южно-русской «супрягѣ», возникшей въ специфическихъ условіяхъ южно-русскихъ степей, гдѣ для пахоты часто необходимы четыре пары лошадей, нѣтъ достаточныхъ основаній.

Въ развитіи русской сельско-хозяйственной кооперации до войны нельзя отмѣтить какихъ-либо чертъ, принципиально отличающихъ ее отъ кооперации на Западѣ. Производительныя товарищества, охватывающія основное производство, ни тамъ, ни здѣсь никакого развитія не получили.

Аграрная революція 1918 г. въ этомъ отношеніи ничего не могла измѣнить, ибо она не была коллективистической. Ея лозунгъ былъ «черный передѣлъ», т. е. равномерное распредѣленіе земли въ индивидуальное пользованіе. Дѣятельность совѣтской власти по насажденію коллективовъ въ порядкѣ добровольности, несмотря на значительныя средства, потраченныя на это дѣло, и несмотря на большія льготы, предоставленныя коллективамъ, была безуспѣшна.

«Сплошная коллективизація» могла быть осуществлена только путемъ принужденія; оно было въ большой мѣрѣ косвеннымъ по отношенію къ деревенской бѣднотѣ и въ большей мѣрѣ прямымъ по отношенію къ середнякамъ.

Однако, и для социализаціи хозяйства подъ совѣтскимъ терроромъ оказались извѣстные предѣлы. Попытка загнать крестьянъ въ коммуны, въ которыхъ социализируется не только производство, но и потребленіе, натолкнулась на непреодолимое противодѣйствіе женщинъ. Въ извѣстной статьѣ Сталина «Головокруженіе отъ успѣховъ» основной формой коллективизаціи была признана артель, въ которой коллективируется производство, но не потребленіе. Отрасли, которыя слишкомъ тѣсно связаны съ домашнимъ хозяйствомъ, сохранили свой частный характеръ, причѣмъ они были довольно широко очерчены; въ частномъ пользованіи остались одна корова, мелкій скотъ, птица, усадьбное хозяйство. Такимъ образомъ, въ нѣдрахъ коллективовъ наряду съ обобщественнымъ хозяйствомъ существуютъ и элементы частнаго хозяйства, и между ними чувствуется нерѣдко нѣкоторый антагонизмъ.

Первая и очень трудная задача въ коллективахъ, въ особенности въ столь многочленныхъ и составленныхъ изъ разнородныхъ, - насильственно объединенныхъ членовъ, это созданіе обладающаго достаточнымъ авторитетомъ правленія. Зимой 1929-30 г., когда большевики затѣвали принудительную коллективизацію, ихъ цѣлью было въ

сущности созданіе не кооперативовъ, а совхозовъ на надѣльной землѣ. Крестьянъ предполагалось превратить въ батраковъ. Упомянутая статья Сталина похоронила и эту идею. Сталинъ сдѣлалъ это не только, какъ уступку крестьянству, но и въ собственныхъ интересахъ совѣтской власти. Значительная часть крестьянъ, отчаявшись въ возможности сопротивленія совѣтской власти, пришла зимой 1930 г. въ состояніе резиньяціи: «Ну, хорошо!», говорили они, «если вы, товарищи, находите, что мы плохо хозяйничаемъ, то хозяйничайте вы! Мы, какъ городскіе рабочіе, будемъ отработывать свои 8 часовъ, а вы намъ платите жалованье!». Сталинъ этого испугался. Дѣйствительно, вѣдь это означало-бы, что совѣтской власти пришлось-бы взять на себя всю полноту отвѣтственности за веденіе сельскаго хозяйства, и что ей пришлось-бы кормить все крестьянство перенаселенной русской деревни. Сталинъ и эту идею призналъ «головокруженіемъ». Создаютъ пока не совхозы на надѣльной землѣ, а артели, т. е. кооперативы. Это значитъ, что ихъ члены не получаютъ жалованья, а вознаграждаются изъ результатовъ производства. Если дѣло идетъ плохо, и ѣсть нечего, то это дѣло членовъ артели, — совѣтская власть тутъ не при чемъ.

Но все-же этотъ поворотъ, сдѣланный Сталинымъ, нельзя истолковывать, какъ конституированіе коллективовъ, какъ настоящихъ самоуправляющихся кооперативовъ. Въ Россіи существуетъ единое, всеобъемлющее коммунистическое государство, и рядомъ съ нимъ никакихъ самостоятельныхъ общественныхъ организацій нѣтъ и не можетъ быть; слѣдовательно въ современной Россіи не можетъ быть и настоящей коопераціи. Выборъ правленія совершается, конечно, согласно указаніямъ партіи. Тѣ 25 тыс. городскихъ коммунистовъ, которые зимой 1930 г. были откомандированы въ деревню для осуществленія коллективизаціи, хотя ихъ большая часть о сельскомъ хозяйствѣ никакого представленія не имѣла, теперь почти всѣ сидятъ въ правленіяхъ колхозовъ. Одновременно съ этимъ всѣ вопросы внутренней жизни колхозовъ, вплоть до вопроса объ уходѣ за жеребой кобылой и о чисткѣ копытъ у лошадей, рѣшаются постановленіями центральнаго правительства. Члены правленій колхозовъ являются прежде всего правительственными чиновниками, которые исполняютъ приказы власти и, конечно, прежде всего отвѣчаютъ за аккуратную сдачу раз-

верстки; представителями интересовъ членовъ колхоза ихъ нельзя считать.

Кромѣ того, члены въ коллективахъ и не равноправны. Правленіе группируетъ вокругъ себя «активъ», составленный изъ прежнихъ бѣднѣйшихъ крестьянъ, а середняки являются членами второго ранга.

Такимъ образомъ, члены коллективовъ отвѣчаютъ за результаты производства, но они не въ состояніи оказывать вліянія на его ходъ. Неудивительно, что въ такихъ условіяхъ большинство крестьянъ воспринимаютъ коллективизацію, какъ великое на нихъ свалившееся бѣдствіе и за недостаткомъ другихъ объектовъ для сравненія именуютъ ее «вторымъ крѣпостнымъ правомъ».

Другой, наряду съ созданіемъ авторитетнаго управленія, непомѣрно трудной задачей въ жизни сельскохозяйственныхъ производительныхъ товариществъ является создание достаточныхъ стимуловъ для усердной работы членовъ. Совѣтская власть стремится найти ея рѣшеніе въ соответствующемъ распредѣленіи доходовъ коллектива. Предоставленные самимъ себѣ коллективы тяготеютъ къ равномерному распредѣленію продуктовъ производства по хозяйствамъ или даже по потребительнымъ нуждамъ сочленовъ. Но такое уравнительное распредѣленіе продуктовъ лишаетъ членовъ всякихъ стимуловъ къ труду. Въ виду этого совѣтская власть стремится строго контролировать распредѣленіе доходовъ въ коллективахъ. Продукція колхозовъ должна быть, конечно, прежде всего использована для исполненія громаднхъ разверстокъ, затѣмъ для созданія недѣлимыхъ колхозныхъ фондовъ, которые должны спаять членовъ съ колхозомъ. Остальная часть продукціи и денежнаго дохода должна быть распредѣлена между членами, но не равномерно, а согласно съ работой каждаго изъ нихъ, при чемъ надо считаться не съ продолжительностью работы, а съ ея производительностью и съ той квалификаціей, которую она требуетъ отъ работника. Въ этихъ видахъ правительство сочинило подробную инструкцію, въ которой всѣ работы распредѣлены по требуемой ими квалификаціи и для каждой работы опредѣленъ дневной урокъ.

Однако выполнить эту задачу въ сельскомъ хозяйствѣ, гдѣ работы сильно разбросаны въ пространствѣ и весьма многообразны, — дѣло совсѣмъ не легкое. Уже для контроля одной только продолжительности работы необхо-

димо очень хорошо поставленное счетоводство, а Россія не располагаетъ культурными силами, чтобы снабдить слишкомъ 200 тыс. колхозовъ опытными счетоводами. Контролировать же количество исполненной работы въ сельскомъ хозяйствѣ, въ виду разбросанности работъ въ пространствѣ, представляетъ сугубыя трудности. При этомъ погоня за количествомъ работы можетъ въ сельскомъ хозяйствѣ легко пойти въ ущербъ ея качеству, а контроль за качествомъ работы въ сельскомъ хозяйствѣ гораздо труднѣе, чѣмъ въ промышленности. Въ виду этого методъ сдѣльнаго вознагражденія труда, который совѣтская власть съ легкимъ сердцемъ продолжаетъ осуществлять въ колхозахъ, не нашелъ большого примѣненія въ капиталистическомъ сельскомъ хозяйствѣ, хотя капиталисты сильно заинтересованы въ поднятіи интенсивности труда своихъ рабочихъ. Пока, однако, даже съ самыми элементарными способами учета труда въ колхозахъ за недостаткомъ или полнымъ отсутствіемъ счетоводовъ дѣло обстоитъ весьма неблагополучно.

Другимъ способомъ стимулированія работы членовъ коллективовъ должна была бы явиться ея «бригадная» о р г а н и з а ц і я. Рабочія силы коллектива дѣлятся на части, «бригады»; каждая «бригада» исполняетъ весь циклъ работъ на опредѣленномъ участкѣ, и ея вознагражденіе ставится въ соотвѣтствіе съ урожаемъ даннаго участка. Поскольку «бригады» работаютъ въ рамкахъ единого коллектива, это является не малымъ осложненіемъ дѣла; поскольку же «бригады» совершенно обособляются, это должно вести къ распаду коллективовъ на совѣдскія части, что совершенно не соотвѣтствуетъ видамъ совѣтской власти.

Такимъ образомъ, проблемы организациі коллективовъ очень далеки отъ ихъ разрѣшенія. Пока въ коллективахъ царятъ неразбериха и раздоръ. Ожидать отъ этой новой социальной организациі расцвѣта сельскаго хозяйства нѣтъ основаній.

Но, можетъ быть, можно ожидать, что идущая параллельно съ коллективизаціей м е х а н и з а ц і я с е л ь с к а г о х о з я й с т в а явится такой мѣрой, которая покроетъ всѣ грѣхи коллективизациі и все-таки выведетъ хозяйство на путь прогрессивнаго развитія. Но и эта надежда не обоснована. Прежде всего механизациія сельскаго хозяйства, несмотря на огромныя средства, которыя

совѣтская власть вкладываетъ въ это дѣло, очень далеко отстаетъ отъ темпа коллективизаціи. Тѣми 80 тыс. тракторами, которые въ 1932 г. работали въ коллективизированномъ сельскомъ хозяйствѣ, едва-ли можно было обработать даже 20% коллективизированныхъ полей.

Но обработать поле тракторомъ это еще не значить его хорошо обработать; такъ какъ въ Россіи нѣтъ еще штата опытныхъ трактористовъ, то обработка бываетъ очень часто плоха. Желаніе возможно больше использовать тракторъ приводитъ къ тому, что работы производятся несвоевременно, а высота урожая въ Россіи въ сильнѣйшей степени зависитъ отъ своевременнаго выполнения работъ. Повышеніе урожая можетъ быть достигнуто лишь цѣлой системой агрикультурныхъ мѣропріятій, и даже въ лучшемъ случаѣ одна только механизация обработки является для этого недостаточной.

Что механизация можетъ сыграть положительное значеніе въ реконструкціи русскаго сельскаго хозяйства, не приходится сомнѣваться. Но для этого должны быть созданы подходящія условія. Плохо подготовленную и наспѣхъ проведенную, механизацию сельскаго хозяйства нельзя разматывать, какъ это дѣлаетъ совѣтская власть, какимъ-то всеисцѣляющимъ средствомъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

### III. Результаты коллективизаціи.

На XVI-ой партійной конференціи въ іюнь-іюль 1930 года, имѣвшей мѣсто послѣ перваго натиска принудительной коллективизаціи, Сталинъ и Наркомъ Земледѣлія Яковлевъ заявили, что зерновая проблема рѣшена въ томъ смыслѣ, что, благодаря коллективизаціи, страна будетъ обезпечена и продовольствіемъ и значительными избытками зерн. для вывоза; между тѣмъ какъ разъ зерновая проблема стояла особенно остро въ предшествовавшіе годы. Сталинъ и Яковлевъ основывались при этомъ главнымъ образомъ на томъ, что посѣвъ всѣхъ яровыхъ культуръ весной 1930 г. возросъ противъ прошлаго года на 7%. По провѣреннымъ даннымъ, опубликованнымъ спустя два года, однако, оказалось, что посѣвы яровыхъ 1930 г., несмотря на очень благоприятныя метеорологическія условія весны, не возросли на 7%, а сократились на 2,2%.

Позже совѣтская власть указывала на значительное расширение посѣвной площади въ 1931 г., какъ на доказательство благоприятнаго вліянія коллективизаціи, на развитие сельскаго хозяйства. Посѣвная площадь на крестьянскихъ поляхъ (коллективированныхъ и неколлективированныхъ) возросла, по даннымъ совѣтской статистики, противъ предшествующаго года на 8,3 милл. гект.

По этому поводу необходимо замѣтить, что 1930 г. былъ очень урожайнымъ, а за урожайными годами слѣдуетъ всегда значительное расширение посѣвной площади. Но кромѣ того положительное значеніе расширенія посѣвной площади въ 1931 г. является весьма проблематичнымъ. Съ 1931 г. социалистическій секторъ (колхозовъ и совхозовъ) получилъ въ сельскомъ хозяйствѣ преобладающее значеніе, на него приходилось уже 2/3 посѣвной площади. Въ связи съ этимъ сельское хозяйство съ этого года у п р а в л я е т с я, можно сказать, изъ Москвы. Тамъ составляется планъ засѣвовъ, и мѣстныя власти должны во что-бы то ни стало его выполнить. Онѣ его формально выполняютъ, не очень то заботясь о томъ, что изъ этого выйдетъ. Въ результатѣ этого и весной, и осенью посѣвная кампанія длится неизменно долго, между тѣмъ какъ при сильной континентальности русскаго климата урожай въ сильнѣйшей степени зависитъ отъ своевременности посѣва; несвоевременно засѣянные площади обычно ничего не приносятъ. Детальный анализъ посѣвной кампаніи показываетъ, что площадь зерновыхъ хлѣбовъ, своевременно засѣянныхъ, была въ 1931 г. даже меньше, чѣмъ въ 1930 г. \*).

О повышеніи качества обработки коллективированныхъ полей даже въ томъ случаѣ, если они обработаны тракторами, не можетъ быть рѣчи. Какъ разъ 1931 г. былъ на югѣ засушливымъ, и въ такіе годы преимущества своевременной и хорошей обработки даютъ себя особенно отчетливо знать. Но пришлось официально признать, что посѣвы, обработанные механически, не проявили никакой повышенной сопротивляемости губительному вліянію засухи.

Особенно неблагополучно съ качественной стороны обстоитъ съ техническими культурами. Въ цѣляхъ раз-

---

\* ) См. Бюллетени Эконом. Кабинета проф. С. Н. Прокоповича отъ декабря 1930 г. и іюня-іюля 1931 г.

витія индустріи совѣтская власть стремится къ быстрому расширенію посѣвовъ техническихъ культуръ. Она въ соответствующихъ районахъ коллективизируетъ крестьянъ и вынуждаетъ ихъ расширять техническія культуры за счетъ хлѣбовъ. Площадь техническихъ культуръ возросла съ 9,6 милл. гект. въ 1930 г. до 14,1 милл. гект. в 1931 году, или на 4,5 милл. гект. в одинъ годъ. Но ихъ плохая обработка особенно рѣзко отражается на высотѣ урожая. Если урожаи техническихъ культуръ послѣ революціи снизились, то они испытали еще дальнѣйшее сниженіе послѣ коллективизаціи и были въ 1931 и 1932 г. вдвое ниже, чѣмъ до войны.

Но самые тяжелые удары нанесла коллективизація крестьянскому скотоводству. Къ 1930 г., послѣ первого натиска принудительной коллективизаціи, число рабочихъ лошадей сократилось на 11%, рогатаго скота на 22%, овецъ на 26% и свиней на 36%. Данныя послѣдующихъ переписей не опубликовываются, но немногія свѣдѣнія, проникающія въ печать, показываютъ, что сокращеніе скотоводства продолжается.

Такое стремительное сокращеніе скотоводства должно въ свою очередь отразиться на полеводствѣ. Число рабочихъ лошадей за одну зиму 1929-30 г. сократилось на 2,8 милл. головъ и число рабочихъ воловъ на 1,3 милл. головъ. Къ осени 1932 г. въ русскомъ сельскомъ хозяйствѣ работало 150 тыс. тракторовъ; эти тракторы могли въ лучшемъ случаѣ замѣнить 1½ милл. лошадей. Такимъ образомъ, несмотря на усиленное снабженіе русскаго сельскаго хозяйства тракторами, его тяговая сила не возросла, а упала.

Сокращеніе пользовательнаго скотоводства не имѣетъ отрицательнаго значенія для полеводства въ степяхъ, ибо навозное удобреніе тамъ не примѣняется, но оно вредно для полеводства сѣвернаго чернозема и особенно вредно для полеводства нечерноземной полосы, гдѣ навозъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть замѣненъ минеральнымъ удобреніемъ.

Тѣмъ не менѣе въ теченіе двухъ лѣтъ, 1930-го и 1931-го, коммунисты находились въ радостномъ возбужденіи по поводу коллективизаціи. Но дѣло шло здѣсь совсѣмъ не объ успѣхахъ русскаго сельскаго хозяйства, а объ успѣшномъ укрѣпленіи ихъ власти надъ крестьянствомъ. Благодаря коллективизаціи, со-

вѣтская власть получила въ правленіяхъ колхозовъ, МТС и совхозовъ новые опорные пункты въ деревнѣ. Она теперь могла почти также свободно располагать продуктами сельскаго хозяйства, какъ она свободно располагаетъ издѣліями промышленности. Совѣтская власть использовала это новое положеніе для сбора громадныхъ, небывалыхъ разверстокъ.

Уже изъ урожая 1929 г. путемъ чрезвычайнаго напряженія аппарата принужденія при фактической экспроприации всего зажиточнаго крестьянства была собрана небывалыхъ размѣровъ разверстка въ 16,1 милл. тоннъ (вмѣстѣ съ гарицевымъ сборомъ). Изъ урожая въ послѣдующихъ лѣтъ послѣ коллективизации совѣтской власти удалось собрать еще больше хлѣба, чѣмъ въ 1929 г., а именно изъ урожая 1931 г. — 23 милл. тоннъ.

Въ соотвѣтствіи съ этимъ совѣтская власть могла возобновить вывозъ хлѣбовъ, который выпалъ въ 1927-28 и въ 1928-29 гг. и который былъ ей такъ нуженъ для цѣлей индустриализации. Изъ урожая 1929 г. было вывезено 2,3 милл. т. хлѣба, изъ урожая 1930 г. — 6,2 милл. тоннъ и изъ урожая 1931 г. — 4,5 милл. тоннъ. Такого большаго хлѣбнаго вывоза, какъ въ годы 1930-31 и 1931-32, со времени революціи еще не было; вывозъ 1930-31 г. составилъ уже 60% довоеннаго.

Центральный вопросъ состоитъ въ томъ, соотвѣтствовали ли эти громадныя изытія хлѣба у крестьянъ ихъ урожаямъ?

Вычисленія, сдѣланныя на основаніи данныхъ совѣтской статистики, показываютъ, что во имя предполагаемыхъ успѣховъ социализированнаго земледѣлія совѣтская власть изымала у сельскаго населенія все возростающую часть его урожая. Изъ чистаго урожая 1928 г. (за вычетомъ сѣмянъ) совѣтская власть изыала 17,6%, изъ урожая 1929 г. уже 27,3%. Коллективизация создала возможности для дальнѣйшаго повышенія изытія. Изъ урожая 1930 г. было изыто уже болѣе 30%, а изъ урожая 1931 г. болѣе 40%. Въ соотвѣтствіи съ этимъ все меньшія абсолютныя количества хлѣба оставались у крестьянства. Это былъ тотъ-же путь, по которому Россія за десять лѣтъ до того, дошла до катастрофы.

Еще весной 1930 г., немедленно послѣ перваго натиска

принудительной коллективизации, въ городахъ исчезли продукты животноводства, и съ той поры улучшенія въ этомъ отношеніи не наступило. Катастрофа въ отношеніи хлѣбнаго снабженія была отсрочена случайнымъ очень хорошимъ урожаемъ 1930 г., породившимъ у коммунистовъ много иллюзій. Но послѣ того какъ совѣтская власть осенью 1931 г. собрала изъ очень скуднаго урожая небывалую по размѣрамъ разверстку, сейчасъ-же обнаружилось, что она совершенно не соответствуетъ наличію хлѣба у крестьянъ. Постановленіемъ отъ 27 февраля 1932 г. совѣтская власть вынуждена была признать, что рядъ колхозовъ и совхозовъ въ восточныхъ районахъ не располагаетъ сѣменами для посѣва, и что во многихъ случаяхъ замѣчаются «продовольственные затрудненія». Дѣло было такъ плохо, что пришлось населенію одолжить изъ только что отнятаго у него хлѣба безъ малаго 1 милл. тоннъ. О голодѣ на Украинѣ правительственное сообщеніе промолчало, ибо совѣтская власть не хотѣла отдавать населенію Украины свезенный въ черноморскія гавани и предназначенный къ экспорту хлѣбъ. Только къ осени 1932 г. было, наконецъ, признано, что осенью прошлаго года въ сущности во многихъ округахъ Украины забрали у крестьянъ почти весь хлѣбъ. Съ осени 1931 г., съ того времени, какъ собрана громадная разверстка, голодъ въ болѣе или менѣе острой формѣ царитъ въ русской деревнѣ, и онъ принялъ самыя тяжелыя формы какъ разъ въ тѣхъ районахъ, которые всегда кормили Россію, и которые теперь больше всего раззорены принудительной коллективизаціей и всей тяжестью разверстки.

Что особенно характерно для настроенія сельскаго населенія, такъ это его апатія къ труду, которая стоитъ въ тѣснѣйшей связи какъ съ принудительной коллективизаціей, такъ и съ огромными разверстками. Никогда русскія поля не обрабатывались такъ плохо, какъ теперь, и вслѣдствіе этого они никогда не были такъ засорены. Уже въ 1930 г. намѣтилось такое явленіе, которое до того никогда не наблюдалось: населеніе оставило не сжатымъ около 15% урожая. Если въ 1930 г. это еще можно было бы объяснить очень обильнымъ урожаемъ, то въ 1931 г. это явленіе обнаружилось въ усиленной степени при плохомъ урожаѣ. Въ 1932 г., чтобы обезпечить себя самымъ необходимымъ еще до исполненія разверстки, колхозни-

ки стали по ночамъ раскрадывать съ полей немолоченный хлѣбъ.

Весной 1932 г. грозное состояніе сельскаго хозяйства и апатія, охватившая сельское населеніе, испугали совѣтскую власть и вынудили было ее пойти на кое-какія уступки. Продразверстку обѣщано было снизить на 20% до 18,1 милл. тоннъ; нѣсколько сокращены были и разверстки другихъ продуктовъ. Крестьянамъ было обѣщано послѣ исполненія разверстокъ разрѣшить свободную торговлю продуктами.

Этими небольшими уступками, однако, уже не удалось улучшить положенія. Посѣвная площадь 1932 г., несмотря на удовлетворительныя метеорологическія условія, была ниже прошлогодней, и урожай былъ плохой. Сокращенную разверстку пришлось на благодатномъ Сѣверномъ Кавказѣ и на Украинѣ собирать съ помощью карательныхъ экспедицій. Производителіе впечатлѣніе, что населеніе въ отчаяніи борется за послѣдній кусокъ хлѣба, который совѣтская власть у него хочетъ вырвать изъ рта. Даже и стоящіе во главѣ колхозовъ коммунисты оказывались при этомъ часто солидарными съ населеніемъ, и они попадали подъ разстрѣлъ. Сталинъ въ своихъ рѣчахъ отъ 7 и 11 января т. г. вынужденъ былъ признать, что съ колхозами пока что обстоитъ совѣмъ неблагополучно, что они «не рентабельны».

Либеральной политикѣ совѣтской власти отъ весны прошлаго года не суждено было получить развитія. Правда, совѣтская власть отъ системы безграничныхъ разверстокъ перешла къ системѣ фиксированныхъ по опредѣленнымъ признакамъ продналоговъ. Но ставки продналоговъ такъ высоки, что за ихъ выполненіемъ у крестьянства едва-ли останется достаточно продуктовъ даже для собственнаго прокормленія, не говоря уже о торговлѣ.

Сейчасъ совѣтская власть вернулась къ старому способу лѣченія всѣхъ общественныхъ язвъ, къ безкрайному террору. Согласно постановленію отъ 7 августа 1932 г. за хищеніе колхознаго добра и въ частности за кражу хлѣба съ полей полагается разстрѣлъ. Въ январѣ т. г. постановлено организовать въ МТС и въ совхозахъ Политотдѣлы, которые должны слѣдить за подборомъ подходящихъ членовъ правленій, за точнымъ исполненіемъ всѣхъ правительственныхъ приказовъ и въ особенности за неукоснительной сдачей продналоговъ.

Политотдѣлы имѣютъ право «чистить» колхозы отъ нежелательныхъ членовъ. Всякое небрежное исполненіе работы или уклоненія отъ нея подлежатъ строгому наказанію, вплоть до разстрѣла. По случаю плохого состоянія сельскаго хозяйства, ОГПУ частью разстрѣляло, частью бросило въ тюрьмы рядъ виднѣйшихъ агрономовъ и въ томъ числѣ даже коммунистовъ, еще недавно занимавшихъ видные посты. Этотъ взрывъ бѣшенства совѣтской власти и является дополнительнымъ свидѣтельствомъ крушенія того дѣла, на которое она поставила свою главную карту, — идеи принудительной коллективизаціи крестьянства.

#### IV. Заключение.

Настоящая система крестьянской политики, въ виду ея внутренней несостоятельности, должна быть ликвидирована и будетъ ликвидирована. Однако, надо признать, что задача возвращенія къ прежнему порядку будетъ связана съ немалыми трудностями, ибо въ процессъ коллективизаціи многіе элементы индивидуальнаго хозяйства были разрушены. Эту задачу слѣдовало-бы себѣ облегчить тѣмъ, чтобы сохранить изъ прошедшей аграрной революціи тѣ элементы, которые съ успѣхомъ могутъ быть приспособлены къ новымъ нормальнымъ условіямъ. Намъ представляется, что нѣкоторыя новообразованія этой второй аграрной революціи все-же могли-бы быть сохранены.

Между колхозами слѣдуетъ различать двѣ категоріи. Большая ихъ часть, расположенные въ среднихъ и сѣверныхъ районахъ, не тракторизованы, и они пользуются, главнымъ образомъ, еще старымъ крестьянскимъ инвентаремъ. Ликвидация этого рода коллективовъ будетъ связана со сравнительно меньшими трудностями. Меньшая часть коллективовъ, расположенныхъ преимущественно въ степяхъ, обрабатываютъ свои поля съ помощью МТС. Такъ какъ крестьянскаго инвентаря тамъ уже нѣтъ, то полная ликвидация такихъ коллективовъ представлялась-бы весьма труднымъ дѣломъ. Но нужна-ли здѣсь полная ликвидация коллективовъ?

Быстро идущій процессъ механизациі сельскаго хозяйства въ заокеанскихъ странахъ выдвигаетъ ту-же зада-

чу и передъ сельскимъ хозяйствомъ старыхъ странъ. Въ Россіи, гдѣ лошади въ виду краткости вегетаціоннаго періода и сравнительной экстенсивности хозяйства обычно работаютъ лишь весьма ограниченное число дней въ году, ихъ содержаніе ложится тяжелымъ бременемъ на хозяйство, и возможная замѣна лошадей тракторами должна оказаться при умѣломъ веденіи этого дѣла очень выгодной. Особенно это должно быть выгодно въ степяхъ, гдѣ перенаселеніе еще не чувствуется, и гдѣ человѣческій трудъ цѣнится.

И вотъ съ точки зрѣнія тракторизаціи русское крестьянское хозяйство является несомнѣнно болѣе благодарнымъ объектомъ, чѣмъ крестьянское хозяйство на Западѣ. Тракторизація крестьянскаго хозяйства на Западѣ нисколько не подвигается. Затрудненіе состоитъ въ святости межъ, съ которой, однако, тракторъ никакъ мириться не можетъ. Въ Россіи, благодаря передѣльной общинѣ, межъ никогда не были святы и неприкосновенны. Послѣ двухъ пронесшихся аграрныхъ революцій отъ святости межъ ничего не осталось. На этой взрыхленной революціями почвѣ организація МТС была умѣстна, и какъ показываетъ опытъ Маркевича, онѣ при надлежащей ихъ организаціи могли бы завоевать симпатіи крестьянъ и безъ давленія сверху.

Такая организація сельскаго хозяйства соотвѣтствовала-бы уравнивательнымъ тенденціямъ русскаго крестьянства, съ которыми въ извѣстной мѣрѣ приходится считаться. Въведеніе тракторовъ въ порядкѣ индивидуальнаго пользованія должно было-бы дифференцировать крестьянство въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ оно было дифференцировано до войны, а это могло-бы вызвать опять обостреніе антагонизмовъ внутри крестьянства. Дважды въ Россіи обозначались процессы дифференціаціи крестьянства, и оба раза они были оборваны революціонными взрывами: мы говоримъ о дифференціаціи крестьянства подъ вліяніемъ Столыпинскаго законодательства и о его дифференціаціи (болѣе слабой) подъ вліяніемъ НЭПа.

Если МТС являются, съ одной стороны, организаціями хозяйственно-прогрессивными и притомъ идущими навстрѣчу уравнивательнымъ тенденціямъ крестьянства (въ своемъ послѣдовательномъ осуществленіи мы, впрочемъ, считаемъ эти тенденціи не совмѣстимыми съ интересами

народнаго хозяйства), то ихъ сохраненіе въ преображенномъ видѣ было-бы исходомъ изъ очень труднаго положенія. Задача состояла-бы, конечно, не въ томъ, чтобы съ помощью МТС подавить всякую самостоятельность крестьянскаго хозяйства, какъ это сейчасъ дѣлаетъ совѣтская власть, а въ томъ, чтобы, сохраняя МТС, эту самостоятельность всячески беречь и развивать. Извѣстная уступка, какъ нами уже было отмѣчено, была въ свое время сдѣлана Сталинымъ частному хозяйству въ колхозахъ. Эти элементы частнаго хозяйства должны были-бы быть расширены примѣрно до того объема, который былъ намѣченъ въ договорѣ Маркевича. И сами МТС должны быть постепенно превращены изъ государственныхъ предприятий въ кооперативныя; онѣ должны стать машинными товарищами, глубже, чѣмъ обычныя машинныя товарищества, преобразующими основное сельско-хозяйственное производство.

Но сказаннымъ я совсѣмъ не хотѣлъ-бы создать иллюзію, будто совѣтская власть, хотя-бы кривыми путями, ведетъ сельскую Россію къ свѣтлому будущему. Ея опытъ коллективизаціи крестьянства былъ для Россіи величайшимъ бѣдствіемъ, и до сихъ поръ не созданы ни политическія, ни правовыя предпосылки для мирнаго выхода изъ настоящаго бѣдственнаго состоянія сельской Россіи.

Положеніе совѣтской Россіи достигло во всѣхъ областяхъ жизни величайшаго напряженія и чревато глубокими потрясеніями. Предвидѣть размѣры и результаты этихъ назрѣвающихъ потрясеній намъ не дано.

Б. Д. Бруцкусъ.

# КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

## О романѣ

Въ критической литературѣ очень принято время отъ времени хоронить тотъ или иной видъ искусства. Теперь хоронятъ преимущественно поэзію. Въ доказательство ея смерти, уже послѣдовавшей или неминуемой въ близкомъ будущемъ, приводятся доводы характера житейскаго: издатели нигдѣ больше стиховъ не печатаютъ (только за счетъ авторовъ), продаются книги поэтовъ все хуже и выходятъ ихъ очень мало (по подсчету англійскаго критика, въ восемь разъ меньше, чѣмъ до войны). Практическими доводами обычно доказываютъ и крушеніе драматическаго искусства: театры пустуютъ и разоряются, — дальше неизмѣнно слѣдуетъ ссылка на конкуренцію со стороны кинематографа и на общій экономическій кризисъ. Доводы не очень убѣдительные: не вездѣ театры пустуютъ (въ Англии переполнены), и то же говорилось лѣтъ двадцать тому назадъ, — если не до появления кинематографа, то въ всякомъ случаѣ до его пышнаго расцвѣта. Хоронили, кстати сказать, и кинематографъ, особенно въ ту пору, когда онъ заговорилъ. Оптимистъ могъ бы замѣтить, что этотъ споръ легко разрѣшить общимъ мѣстомъ: плохой театръ,

плохой кинематографъ обречены на гибель; хороший театръ, хороший кинематографъ не погибли и не погибнутъ. Общее мѣсто благополучно разрѣшаетъ много споровъ, касающихся искусства. Но въ вопросѣ о театрѣ и особенно о кинематографѣ мы на этомъ положеніи не остановимся. Кинематографъ не погибъ прежде всего потому, что, какъ настоящее большое искусство, онъ собственно еще и не родился. Для этого есть причины, съ его внутренней природой не связанныя или связанныя очень слабо: тонкая, трудная книга всегда найдетъ, хоть не сразу, ту тысячу цѣнителей, которая нужна для того, чтобы окупить, расходы по изданію; фильмъ гибнетъ и разоряетъ предпринимателя, если не находитъ миллионной аудиторіи. Между тѣмъ счетъ людямъ, знающимъ толкъ въ искусствѣ, ведется ужъ никакъ не на миллионы. И тѣмъ не менѣе будущее у кинематографа огромное.

Романъ хоронили лѣтъ девяносто тому назадъ по причинамъ другого характера. На равнодушіе публики тутъ сослаться не приходится: такихъ «тиражей», какіе послѣ войны выпали на долю нѣкоторыхъ романовъ, не знала ни одна книга въ исторіи, кромѣ Свя-

щеннаго Писанія. Романы Ремарка — не Богъ знаетъ, какое сокровище искусства — разошлись въ никогда невиданномъ количествѣ экземпляровъ. Могильщики говорили другое. Они говорили, что великіе писатели прошлага столѣтія использовали рѣшительно всѣ возможныя въ романѣ художественныя комбинаціи, не оставивъ ничего своимъ преемникамъ. Съ такимъ же правомъ можно утверждать, что музыка обречена на гибель, ибо число сочетаній звуковъ должно имѣть извѣстный предѣлъ. По удачному словечку Моріака, романистъ — «обезьяна Бога». Онъ создаетъ жизнь подражая Творцу,—но онъ создаетъ жизнь; никакимъ числомъ «комбинацій» онъ не связаетъ.

Гораздо серьезнѣе доводъ качественнаго порядка. Современныхъ романистовъ критикъ называлъ «эпигонами», явно вкладывая въ греческое слово обидный смыслъ. Въ отношеніи «историческомъ», это, разумѣется, не слишкомъ удачно: вѣдь именно эпигоны, а не ихъ отцы, взяли Фивы, и статуи въ Дельфійскомъ храмѣ были воздвигнуты именно эпигонамъ. Однако по существу упрекъ отчасти вѣренъ. Какой романистъ, перечитывая въ сотый разъ сцены пожара Москвы или самоубійства Ани Карениной, не говорилъ себѣ, что послѣ этого заниматься литературой грѣшно и невозможно? Но вмѣстѣ съ тѣмъ какой критикъ рѣшится отрицать, что средний уровень романа (скажемъ, если это возможно: средний уровень хорошаго романа) въ двадцатомъ столѣтіи выше, чѣмъ былъ въ девятнадцатомъ? Кажется, Эдвинъ Мюръ называлъ величайшими

романистами всѣхъ временъ Толстого, Достоевскаго, Пруста и Джойса. «Эпигоны» могутъ утѣшаться тѣмъ, что въ число четырехъ величайшихъ попали два эпигона, одинъ изъ которыхъ еще здравствуетъ и даже не очень старъ.

Во Франціи, въ Англии неodobрительныя замѣчанія объ «эпигонствѣ» слышатся рѣдко, быть можетъ потому, что величайшіе французскіе и англійскіе писатели не романисты. Есть много наивнаго въ спорѣ о литературномъ первенствѣ и чемпионствѣ. Но не мы этотъ споръ выдумали, и не въ наше время онъ кончится. Достаточно часто ставился вопросъ, кто первый писатель Франціи. Если какая-либо газета поставитъ его въ тысячный разъ (бываютъ анкеты и глупѣе), читатели отвѣтятъ: Расинъ, Мольеръ, Паскаль, Викторъ Гюго. Едва ли кто выскажется за Бальзака или Стендаля и почти никто не выскажется за Флобера. Въ Англии слобы назовутъ Китса, Честерфильда, Дефо; Бернардъ Шоу назоветъ себя; но 999 англичанъ изъ тысячи съ полнымъ сознаніемъ національной дисциплины, произнесутъ имя Шекспира. Конечно, ореолъ столѣтней славы, благоговѣніе, условное съ дѣтскихъ лѣтъ, вездѣ имѣютъ огромное значеніе. Многие англичане согласятся признать, что «Angel Pavement» вчера еще никому неизвѣстнаго Пристля сдѣлалъ бы большую честь Диккенсу; рѣдкій французъ допуститъ, что Марсель Прусть во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ «выдумки», выше Бальзака. Однако, Чеховское «Здѣсь лежитъ Тригоринъ. Хорошій былъ писатель,

но онъ писалъ хуже Тургенева въ Англии, во Франціи было бы не очень понятно. Не скажу, что въ западныхъ странахъ романисты являются теперь «властителями думъ». Самые слова эти въ Европѣ звучатъ нѣсколько странно: очень тутъ думы свободны, и ужь если что надъ ними властвовать, то не книга, а скорѣе газета. Все-же среди книгъ на первомъ мѣстѣ романъ.

Въ Германіи это, быть можетъ, не совсѣмъ такъ. Властителемъ думъ у нѣмцевъ въ послѣднее десятилѣтіе былъ отнюдь не Томасъ Маннъ, при всемъ его исключительномъ талантѣ. Какъ отразится въ нѣмецкой художественной литературѣ зловѣщая кадриль между Коричневымъ и Желтымъ домами, мы не знаемъ. Но, собственно, иначе, какъ въ разныхъ видахъ романа, она отразится и не можетъ. Новый Арядтъ въ Германіи ближайшаго будущаго политически и эстетически невозможенъ, — гораздо болѣе вѣроятны нѣмецкіе Демьяны Бѣдые разныхъ направленій.

О совѣтской Россіи говорить не приходится: тамъ и вообще не до писателей. Однако, насколько мы можемъ судить, и въ Россіи будущее принадлежитъ роману, — нужно, разумеется, слѣдовать поправку на нестерпимый, деморализующій гнетъ со стороны «соцзаказчиковъ». Недавно вышла очень интересная книга о совѣтской литературѣ\*), написан-

ная знатокомъ предмета. «Обычно утверждаютъ», — пишетъ онъ, — «что значительность и глубина русской литературы, которая одинаково проявилась и въ силѣ ея психологическаго анализа, и въ остротѣ ея поставленныхъ социальныхъ, философскихъ и этическихъ проблемъ, совершенно исчезла въ эпоху революціи... Мы всегда держались того мнѣнія, что кажущееся искаженіе лика русскаго искусства есть явленіе чисто временное и что каковы бы ни были тѣ новыя формы, къ которымъ совершенно естественно и закономерно стремится русская литература, существо ея остается тѣмъ же, и рано или поздно ея національныя особенности выступятъ отчетливо и побѣдно... Въ лицѣ Леонова, Федина, Олени и нѣкоторыхъ другихъ прозаиковъ молодая пореволюціонная русская словесность возстановила связь съ классической традиціей и въ основномъ продолжила завѣты русскаго романа».

Въ общемъ, романъ теперь царитъ почти вездѣ, и царству его конца не предвидится, — замолкли, кажется, и могильщики. Мы отнюдь не станемъ умалять во имя романа какіе бы то ни было другіе виды творчества. Но мы видимъ въ немъ самую свободную форму искусства, частично включающую въ себя и поэзію, и драму (діалогъ), и публицистику, и философію. Вѣрно говоритъ М. Л. Слонимъ: «сила психологи-

\*) М. Л. Слонимъ. Портреты совѣтскихъ писателей. Парижъ, издательство «Параболъ», 1933 годъ. — Автора этого цѣннаго труда обычно упрекаютъ въ чрезмѣр-

но благосклонномъ отношеніи къ совѣтской литературѣ. На нашъ взглядъ, въ этой книгѣ онъ, напротивъ, несправедливъ къ тѣмъ, которымъ виднымъ ея представителямъ.

ческаго анализа, «острота социальныхъ, философскихъ и этическихъ проблемъ»... Онъ видитъ въ этомъ основныя черты русской литературы. Англичане считаютъ свою литературу по духу такой же; и въ самомъ дѣлѣ, отъ Диккенса до Голсуорси, ихъ романъ носитъ именно такой характеръ. Здѣсь допустимо болѣе широкое обобщеніе. Стендаль сказалъ, что ремесло романиста — познавать причины человѣческихъ дѣйствій. Лучше формулу и придумать трудно, — нужно только во всей полнотѣ раскрыть ея смыслъ. А затѣмъ, въ переводѣ н. яз къ строгой литературной теоріи, получится старое, вѣрное и точное опредѣленіе: *action, sagacités, style*, — въ немъ на третьемъ мѣстѣ добавленъ и элементъ словесный; онъ, впрочемъ, разумеется самъ собой.

Отличная формула. Надо напоминать о ней возможно чаще. Она не такъ глубока, какъ Стендалеяская, но она проще и яснѣе. Да, дѣйствіе, характеры, стиль, — въ этомъ сочетаніи все. Къ первому члену формулы иногда допускается пренебрежительное отношеніе: «фабула!». Что-жь, во всей мировой литературѣ (не исключая литературы религіозной) едва ли найдется десять художественныхъ книгъ, которыя безъ «фабулы» завоевали безсмертіе въ настоящемъ смыслѣ слова. Экклезиастъ, Паскаль этого достигли благодаря почти сверхъестественной словесной красотѣ («style»), таково необходимое условіе, — недаромъ вѣдь Корнель нашель нужнымъ переложить въ стихи «Подражаніе Исусу Христу». Во всякомъ случаѣ, рома-

нистъ, презрительно отзывавоющійся о фабулѣ, плюетъ въ свой собственный колодезь. Марсель Прустъ очень рискованно поступилъ, построивъ все свое будущее на одномъ членѣ триады: дѣйствія вѣдь у него нѣтъ, а стилемъ Пруста могутъ восхищаться только оригиналы. Последствія начинаютъ сказываться: этотъ гениальный писатель уже тронуть временемъ, хоть онъ умеръ всего десять лѣтъ тому назадъ. Его психологическія изысканія, его «*sagacités*» гениальны. Толстой первый (по настоящему) создалъ въ литературѣ трехмѣрное пространство; Прустъ ввелъ въ нее 4-ое измѣреніе. Но «началомъ конца» «*A la recherche du temps perdu*» будетъ тотъ день, когда раздраженный читатель скажетъ, что ему одинаково не интересны всѣ четыре измѣренія тупыхъ, ограниченныхъ маленькихъ людей, изображенію которыхъ Марсель Прустъ посвятилъ свой гений, всю свою жизнь. «Потерянное время» найдено? Ну, и Богъ съ нимъ!..

Проблемой времени въ романѣ, кстати сказать, съ большимъ успѣхомъ занимались въ послѣдніе годы англійскіе теоретики искусства\*). Къ нѣкоторому нашему стыду, они первые поставили вопросъ о времени у Толстого (сокретъ его «темпасъ» въ литературѣ потерявъ; но говорить объ этомъ было бы долго, да едва ли это было бы и понятно не-романистамъ). Добавлю, что Толстой вообще служилъ главнымъ матеріаломъ для теоретическихъ разсужденій

\*) *Edwin Muir. The structure of the Novel. — Percy Lubbock. The craft of Fiction.*

англичанъ. — «Теорія романа», — говоритъ Эдвинъ Мюръ, — «которая не приняла бы въ расчетъ «Войны и Мира», очевидно невозможна». — «Не имѣетъ значенія», — говоритъ Перси Леббокъ, — «что герои «Войны и Мира» мужчины и женщины опредѣленной расы, опредѣленнаго вѣка, войны, полигическіе дѣятели, князья, русскіе... Ихъ жизнь та же, что идетъ вездѣ и всегда; шумъ вѣка, въ которомъ они жили, чистая случайность... Въ этой книгѣ нѣтъ горизонта: нѣтъ черты, которая отграничивала бы изображенную въ ней жизнь отъ настоящей жизни, идущей внѣ ея». То же самое имѣетъ въ виду Франсуа Моріакъ, утверждающій, что семья Ростовыхъ обладаетъ точно такой же степенью реальности, какая свойственна намъ самимъ, — только реальность ея вѣчна: «Les générations se les transmettent, tout frémissant de vie»...

Замѣчу, что Моріакъ, самый замѣчательный французскій романистъ нашего времени, — одинъ изъ немногихъ писателей, до сихъ поръ убѣжденныхъ въ томъ, что романъ переживаетъ очень тя-

желый кризисъ. Онъ падѣется спасти или обновить свое искусство католической идеей. Здѣсь споръ неумѣстенъ и невозможенъ. Всякая большая идея, слѣдовательно и идея католическая, можетъ слиться съ большимъ искусствомъ. Не надо только идею къ искусству пришивать, и не надо обольщать себя мыслью, что можно превратить въ католическое произведение «Le poëme de vipères», если приписать нѣсколько соотвѣтственныхъ страницъ къ концу мрачнаго мизантропическаго шедевра: «виперы» отъ этого не скрылись и не скроются. — И вмѣстѣ съ тѣмъ, по существу, въ общей формѣ, Моріакъ правъ: безъ служенія большому дѣлу романъ въ настоящее время невозможенъ или, вѣрнѣе, не интересенъ, да и «не имѣетъ будущаго». Разумѣется, Колеттъ, Викки Баумъ, Джорджъ Муръ, Арнольдъ Беннетъ очень талантливые писатели. Но что же съ ними слѣдуетъ международный Скабичевскій второй половины двадцатаго вѣка?

М. Алдановъ.

## Борьба съ исторіей

Времена мѣняются, но не тогда, когда бы намъ хотѣлось. Идея умираютъ, но ихъ нельзя убить. Какъ никакъ, мы все еще наследники той эпохи европейской культуры, когда совершилось событие, значеніе котораго огромно и которое можно назвать рожденіемъ историческаго мышленія. Въ

теченіе всего девятнадцатаго вѣка, то въ непрочному союзѣ, а то и въ открытой враждѣ съ развитіемъ математики и естественныхъ наукъ, мышленіе это крѣпло и углублялось, рѣзко противопоставляясь идейному наслѣдію вѣковъ, незнакомыхъ съ нимъ, и постепенно становясь безсознатель-

ной предпосылкой всего нашего жизненного восприятия \*). Все мы воспитаны — худо-ли это, хорошо-ли — в понимании своеобразия исторических эпох, различия культур, несходства нашего времени с иными временами; все мы без труда и даже совершенно незамѣтно для нас самих разсуждаемъ въ этихъ вопросахъ такъ, какъ не пришло бы въ голову разсуждать ни людямъ XVIII вѣка, ни людямъ Возрожденія, ни людямъ Античности или Среднихъ Вѣковъ. Лишь за самое послѣднее время начинаетъ опредѣляться нѣчто вроде глухой борьбы противъ того, что называютъ «историзмомъ», противъ оцѣнки всѣхъ вещей съ точки зрѣнія ихъ исторической обусловленности. Послѣвоенные годы отчасти уже окрашены этой борьбой, но протекаетъ она такъ беспорядочно, такъ невятно, что лишь затягиваетъ узелъ вмѣсто того, чтобы его развязать — или разрубить.

Историзмъ, прежде всего, отнюдь не то же самое, что ретроспективизмъ или консерватизмъ, онъ вовсе не заключается въ обращенности къ прошлому, какъ къ таковому; онъ заключается въ

\*) Рядъ теоретическихъ попросовъ, связанныхъ съ историческимъ мышленіемъ, внимательно разсмотрѣнъ въ предсмертной книгѣ Эрнста Трѣльча «Der Historismus und seine Probleme» 1922 (вышла лишь первая часть). Настоящая статья посвящена не столько историзму, какъ таковому, сколько его послѣдствіямъ для современной культуры и противодѣйствию, какое онъ встрѣчаетъ въ ней.

томъ, что любое событіе, любой фактъ, все равно въ прошедшемъ, будущемъ или настоящемъ, мыслятся, какъ отнесенные къ исторіи. Всякій футуризмъ, поэтому, столь же историченъ, какъ и всякій пессимизмъ. Худшій результатъ односторонняго развитія историческаго мышленія вовсе не преклоненіе передъ прошлымъ (какъ, впрочемъ, и не естественная обращенность къ будущему), это — раболѣпство передъ настоящимъ. Все чаще въ наше время (особенно въ Германіи) люди, всего сильнѣй пропитанные историческою мыслью — историки литературы, напримѣръ, или историки искусства — оказываются не хулителями современнаго, а низкопоклонниками его, и этому низкопоклонству научила ихъ какъ разъ исторія.

Въ исторіи — такъ привыкли они думать — все оправдано, все на мѣстѣ. Но вѣдь и современность въ самой своей новизнѣ — исторія, а значить и въ ней нельзя переставить ничего. Итакъ, благословимъ ее; не потому, что она должна быть. Мы можемъ даже предсказать ее, предвосхитить, истолковать заранѣе. Такъ возникъ въ нѣмецкомъ искусствѣ и литературѣ знаменитый, нынѣ объявленныи умершимъ, экспрессионизмъ: въ домыслахъ теоретиковъ, а не на холстѣ живописцевъ, не въ воображеніи писателей. Такъ и вообще успѣхи всевозможныхъ «измовъ» — даже самыхъ безпредметныхъ и искусственныхъ — объясняются тѣмъ страннымъ восторженнымъ параличемъ, что испытываютъ нынѣшніе нѣмцы при видѣ всего, что имъ кажется новымъ, сегодняш-

нимъ, еще небывалымъ, «молодымъ». Однако, отнюдь не въ одной Германіи распространилось за послѣдніе годы это историческое идолопоклонство передъ современностью. Въ области критики и исторіи литературы, наврѣмѣрь, оно перекинулось послѣ войны къ нашимъ такъ называемымъ формалистамъ. Вся исторія для этихъ фанатиковъ новизны только смѣна враждующихъ современностей. Шекспиръ не тѣмъ великъ, что написалъ «Гамлета», а тѣмъ, что пришелъ послѣ Кюда и Лида. Тютчевъ не потому хорошъ, что онъ Тютчевъ, а потому что внесъ такія-то новшества въ строеніе русскаго стиха. Обновленіе «пріемовъ», разсудочное изобрѣтательство становятся главными требованіями и мѣрилами оцѣнки. Думаютъ, что лишь примѣняя ихъ, можно остаться среди живыхъ живыми, и не узнать въ нихъ кумировъ, созданныхъ механизмирующей отвлеченностью именно съ тѣмъ, чтобы убить подлинную жизнь.

Погоня за новизной, боязнь «отстать отъ вѣка», внушена такимъ образомъ не упадкомъ историзма, а его гипертрофіей, не забвеніемъ исторіи, а торопливымъ стремленіемъ самихъ себя исторіей объявить, самахъ себя оправдать исторіей. Точно также и другіе признаки чего-то вродѣ возстанія противъ исторической мысли, особенно замѣтные въ современной литературѣ и искусствѣ, при ближайшемъ разсмотрѣніи сводятся лишь къ перестановкѣ удареній, къ частичнымъ перемѣнамъ историческаго зрѣнія; существа дѣла не затрагиваютъ и они. Такъ, въ отношеніи къ прошлому, искусственное сокращеніе

перспективы, перетасовка красокъ и примѣтъ, нарушение послѣдовательности, которую не перестаютъ, однако, сознавать, — все это ведетъ къ различнымъ видамъ анахронизма. Но и анахронизмъ — не забвеніе временій, а лишь усиленная о немъ память. Игра съ историческими фактами не нарушаетъ историческаго мышленія, а только свидѣтельствуетъ о немъ. Если даже когда-нибудь эта игра его и расшатаетъ, то во всякомъ случаѣ, пока она длится, она предполагаетъ его существованіе.

На первый взглядъ дѣйствительно можетъ показаться, что мы перестаемъ цѣнить то, чему еще недавно придавали такое значеніе, и что въ эпоху романтизма называлось *social locale*. Чувство исторической (какъ и мѣстной) специфичности, какъ будто, покидаетъ насъ, и все, что его питаетъ, становится, повидимому, ненужнымъ. Но это обманъ зрѣнія. «Гамлета» не разъ за послѣдніе годы на англійскихъ и нѣмецкихъ сценахъ пытались играть въ современномъ платьѣ, и попытки эти имѣли успѣхъ. Во Франціи Кокто такимъ же способомъ переодѣлъ Орфея, приготовилъ экстрактъ изъ «Ромео и Джульетты», переложилъ «Одиссею» на телеграфную латынь. И почти такъ же стали приступать къ прославленнымъ текстамъ новѣйше ихъ истолкователи. Послѣдній по времени переводчикъ «Одиссеи» на англійскій языкъ, Т. Е. Шоу (иначе говоря, знаменитый полковникъ Лоуренсъ), постарался сдѣлать изъ нея нѣчто вродѣ трезво-прозаическаго, хотя и весьма занятнаго романа приключеній, а послѣдній ея французскій пере-

водчикъ, покойный Викторъ Бераръ, не только не послѣдовалъ примѣру Леконтъ де Лиля въ транскрипціи греческихъ именъ, не пишетъ Палласъ Атэнэ вмѣсто Афины Паллады, — что тогда казалось верховъ хорошаго тона, а теперь показалось бы смѣшнымъ, — но и попросту перевелъ нѣкоторыя изъ этихъ именъ по французски, такъ что среди моряковъ Улисса появились господа Лавиронъ, Дюларжъ, Делапру. Кромѣ того, въ «Одиссеѣ» Берара говорится о гамашахъ, о крейсерахъ и о многихъ другихъ вещахъ, Гомеру неизвѣстныхъ, а въ англійской «Одиссеѣ» ея непринужденно повѣствовательный тонъ уже самъ по себѣ — сплошной анахронизмъ.

Факты, какъ видимъ, на лицо; не нужно только приписывать имъ мнимаго значенія. Гамлетъ во фракѣ и Одиссей на крейсере свидѣлствуютъ только объ одномъ: о желаніи какимъ бы то ни было, хотя бы и насильственнымъ, способомъ приблизить къ намъ великое созданіе прошлаго, показать его надъ-историчность, его вѣчный смыслъ — желаніи отнюдь не наивномъ, но проникнутымъ историчностью и основаномъ какъ разъ на чувствѣ нашей отдаленности отъ этого прошлаго. Режиссеры «Гамлета» и переводчики «Одиссеи» уподобляются скорѣе нѣмецкому художнику Уде, изображавшему дѣтъ тридцать назадъ евангельскія сцены въ подчеркнутаго современныхъ костюмахъ, нежели старымъ мастерамъ, вопросамъ о костюмѣй правдѣ вовсе не интересовавшимся и отдаленности отъ своей темы не ощущавшимъ.

Таковъ анахронизмъ служеб-

ный, анахронизмъ приближающій, — по крайней мѣрѣ по замыслу своему. Но существуетъ и другой, болѣе свободный и болѣе характерный для нашего времени анахронизмъ; онъ ведетъ уже не къ сокращенію временной перспективы, а къ ея затемненію, къ смѣшенію времени. Не то, чтобы такой анахронизмъ, какъ пріемъ, не существовалъ и раньше. Только раньше онъ служилъ однимъ лишь комическимъ цѣлямъ, какъ въ опереттѣ Оффенбаха, въ карикатурной античности Домье или въ рядѣ литературныхъ произведеній, гдѣ онъ аналогиченъ по своей цѣли пріемамъ старой макаронической поэзіи: смѣшеніе времени столь же комично, какъ смѣшеніе языковъ. Еще въ «Протейѣ» Клоделя (1913 года), анахронизмъ использованъ для глубокаго комическаго эффекта; но какъ разъ для послѣднихъ дѣтъ характерно другое его примѣненіе: его функція уже не непрерывно комическая, но смѣщающая, подчеркивающая, создающая впечатлѣніе неожиданности и новизны. Таковы «Московскія любимыя легенды» Ремизова, гдѣ житійный стиль сочетается съ упоминаніемъ автомобилей и исполкомовъ. Такова, на несравненно болѣе низкомъ уровнѣ, «Жанна д'Аркъ» французскаго (довольно сквернаго) писателя Дельтея, гдѣ ѣдятъ картофель и консервы, изъясняются на военномъ арго и исполняютъ Марсельезу въ Реймскомъ соборѣ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ приближеніе къ современности отнюдь не играетъ первенствующую роль. Рѣзкой перестановкѣ плановъ, заостренію эффекта могутъ служить пріемы, совершенно обратные. На нашихъ

глазах оживляли или «подновляли» на сценѣ «Спящую Красавицу» париками версальскаго двора, «Даму съ Камеліями» модами Второй Имперіи, архаико-греческой стилизаціей — Расиновскую «Федру». Исторія во всѣхъ этихъ постановкахъ отнюдь забыта не была.

Вкусъ къ анахронизму характеренъ для нашего времени, но оба его вида — тотъ анахронизмъ, что подчеркиваетъ, и тотъ, что приближаетъ — отнюдь не свѣдѣтельствуя о сколько-нибудь успѣшной борьбѣ съ историческимъ мышленіемъ; скорѣй, какъ и обожествленіе современности, они говорятъ о крайнемъ обостреніи его. Времена, не исторически мыслившія, просто не знали самаго понятія анахронизма, хотя и совершали на каждомъ шагѣ анахронизмы безсознательные, невольные. Не подозрѣвая о томъ, что такое «историческая окраска», времена эти не могли пользоваться, какъ приѣмомъ, ни ея отсутствіемъ, ни нарочитой путаницей въ примѣненіи ея. Федра Расина не была одѣта ни въ одежду времени Расина, ни въ одежду времени Еврипида или царя Тезея: ея одежда была вообще внѣ времени. Исторіи, какъ понимаютъ ее — въ глубинѣ души одинаково — Леконтъ де Лиль и Бераръ, мейнингенцы и Кокто, этой исторіи для нея просто не существовало.

Игра съ прошедшимъ, въ чемъ бы она ни заключалась, только подчеркиваетъ давно уже укоренившееся въ насъ чувство неповторимости событій и времени, необратимости исторіи. Это чувство живеть въ насъ независимо отъ того, что мы думаемъ о про-

шломъ и настоящемъ и думаемъ ли мы о нихъ вообще. Для того, чтобы мыслить исторически, незачѣмъ быть историкомъ. Историки рѣдко отдають себѣ отчетъ о степени распространенія историческаго мышленія и его результатахъ. Они любятъ сѣтовать въ наше время о паденіи исторической критики, о подмѣнѣ ея строгихъ методовъ произвольными домыслами, интуиціей, воображеніемъ. Въ этомъ сказывается все еще распространенное, особенно у французовъ и англичанъ, представленіе объ исторіи, какъ о чисто-фактической дисциплинѣ, не возсоздающей прошлое, а только регистрирующей его. Представленіе это видитъ въ исторіи нѣкую «точную науку», обходящуюся все безъ реконструктивнаго, а значить, творческаго воображенія; единственный творческій элементъ, оставляемый ей, есть искусство изложенія какого-то уже «готоваго» матеріала, искусство, столь присущее историкамъ французскимъ (что еще не значить, конечно, что между ними нѣтъ или не было и по иному творческихъ умовъ). Защитники исторической науки разсуждаютъ вѣрнѣй, когда отвергаютъ совсѣмъ иной видъ фантазіи: подмѣну работы ученаго произволомъ романиста. Но неправы они и здѣсь: историческая поэзія, историческій романъ существуютъ не со вчерашняго дня, и для нашего времени характерно не поглощеніе исторіи романомъ, а поглощеніе романа исторіей. Въ опасности вымыслъ, а не наука. Біографіи въ наши дни оказываются нѣрѣдко убѣдительнѣе романовъ именно потому, что онѣ питаются голой достовѣрностью; отступивъ

отъ нея, хотя бы на шагъ, авторъ потерялся бы, не сумѣлъ бы использовать собственной свободы. Больше того, даже если современный писатель пишетъ откровенный историческій романъ, онъ не фантазируетъ и не сумѣлъ бы фантазировать, какъ его предшественникъ, на широко-очерченную историческую тему, а только приплетаетъ свой вымыселъ къ чему то, что ощущается и имъ, какъ установленная другими или опредѣляемая имъ самимъ точная историческая истина.

Болѣе важно столь же залюбленное указаніе историковъ на сознательную «несправедливость», какъ будто оживающую въ современной историографіи, въ ихъ ахъ людей, хотя и пишущихъ о прошломъ, но только съ тѣмъ, чтобы превознести или заклеймить его съ точки зрѣнія своихъ собственныхъ политическихъ, религіозныхъ или антирелигіозныхъ взглядовъ. Однако, книги эти или вообще не характерны для нашего отношенія къ исторіи, или несправедливость ихъ именно сознательна, а потому и должна пребывать въ кавычкахъ. Правда, желаніе быть во что бы то ни стало «несправедливымъ» и «одностороннимъ» есть дѣйствительно глубокая потребность современнаго сознания, но она не столько направлена противъ историческаго мышленія, сколько имъ же самимъ порождена. Въдъ именно развитіе исторіи въ XIX вѣкѣ научило насъ понимать, что такое замкнутая въ себѣ историческая эпоха, культурная цѣлостность, стиль; сперва понимать, потомъ ощущать ихъ отсутствіе въ нашемъ собственномъ мірѣ, наконецъ стремиться къ нимъ и о

нихъ скорбѣть. Мы поняли разъ навсегда, что органическая культура всегда несправедлива и одностороння, что она можетъ возникнуть лишь какъ результатъ безповоротнаго, безжалостнаго выбора, но мы еще недостаточно отдаемъ себѣ отчетъ въ томъ, что въ прошломъ выборъ этотъ былъ всегда слѣвъ, т. е. безсознательнъ и непроизвольнъ. Мы стремимся къ замкнутости и цѣлности, но не рѣшаемся сказать себѣ, что и воспринимаемъ то мы ее въ другихъ культурахъ именно потому, что ея сами лишены. Въмѣсто того, чтобы понять и принять, а тѣмъ самымъ ограничить и оформить нашу собственную историческую обусловленность, мы силится ее отбросить ради чего то, что только эта обусловленность и научила насъ видѣть и цѣнить. Желаніе перепрыгнуть изъ своей исторіи въ чужую является только крайнюю надъ нами власть историческаго мышленія. «Несправедливыя исторіи», утопіи (или уклоніи), обращенныя вмѣсто будущаго въ прошлое — являю попытку такого прыжка. Но прыжокъ не удастся, выборъ остается произвольнымъ, односторонность — камѣрепной и у насъ наперекоръ всему не исчезаетъ впечатлѣніе, что вѣрующій и самъ не вѣритъ въ свою вѣру, т. е. въ проповѣдуемую имъ строго историческую форму этой вѣры, что онъ и самъ не принимаетъ всерьезъ свои ретроспективные пророчества.

Историзмъ вовсе не связанъ непосредственно съ тѣмъ или инымъ истолкованіемъ исторіи. Независимо отъ содержанія историческаго мысли, онъ прежде всего есть форма мышленія. Особенности

его, какъ умственнаго склада, сказываются и въ томъ, что выдаетъ себя за борьбу противъ него: въ сознательныхъ анахронизмахъ, въ погонѣ за новизной, въ стремленіи перескочить изъ своего въ чужое. Настоящимъ образомъ бороться съ нимъ можно только исходя изъ противоположнаго ему, но столь же всеобъемлющаго міроощущенія. Тутъ надо помнить, однако, что начисто отвергая историзмъ, придется отказаться и отъ самой исторіи, отъ той исторіи, что создалъ девятнадцатый вѣкъ, неразрывно связавъ ее съ чувствомъ органическаго своеобразія эпохи и культуръ, съ представленіемъ о неповторимой цѣльности и полнотѣ индивидуальной и соборной личности. Исторія эта не отрицаетъ, въ божескомъ и въ животномъ, единства человѣческаго рода, но гдѣ то, въ самомъ человѣческомъ, можетъ быть, она наблюдаетъ перемѣны и различія. Особенности эпохи для нея — не пестрыя слѣдствія пестрыхъ причинъ, а нити, сходящіяся къ единому ядру, лучи одного свѣтила; культура — не совокупность, а сочетаніе, не черезполосица, а развивающаяся цѣлостность, «*geprägte Form, die lebend sich entwickelt*». Прославленная и полузабытая уже книга Шпенглера, которую опрометчиво хвалили и осуждали невпопадъ, лишь наиболѣе ярко выражаетъ эту точку зрѣнія, подготовленную долгой работой европейской мысли. Замѣчательна она не своей скудной философией, не пустоватымъ иногда размахомъ построеній, а исключительно острымъ историческимъ зрѣніемъ ея автора, способнаго, какъ и всѣ, ошибаться, но обладающа-

го, какъ никто, даромъ связывать и различать — первымъ даромъ историка. Не Шпенглеръ написалъ книгу, гдѣ зрѣлище органическихъ культуръ по необходимости вызываетъ убѣжденіе въ неорганичности нашей собственной культуры; его перомъ написано ее развивавшееся въ теченіе полутора ста лѣтъ историческое сознаніе, здѣсь до конца раскрывшее себя. Задолго до Шпенглера мы взирали себѣ на плечи тяжесть знанія о прошломъ: не космосъ обязывающей традиціи и унаслѣдованной культуры, но хаосъ всѣхъ традицій и всѣхъ культуръ. И все-таки, эту тяжесть, теперь, позволено ли намъ просто сбросить? Если исторія подавляетъ насъ, призовемъ ли мы антиисторію?

Антиисторія — въ простомъ, новомъ, но обладающимъ въ наше время особой разрушительной силой утвержденіи, что во всѣ времена человѣкъ остается равенъ себѣ, что мѣняются только условія, его окружающія, но не онъ самъ, не его потребности, чувства, вкусы. Этими условіями (географическими, этническими, внѣшнимъ ходомъ и переплетеніемъ событій) антиисторія объясняетъ до конца всѣ особенности эпохи и культуръ, разлагая ихъ на причинно-слѣдственные ряды, статистическія выкладки, механическія схемы. Воззрѣнія эти разработаны тѣмъ же самымъ девятнадцатымъ вѣкомъ, который создалъ историческое мышленіе и, несмотря на ихъ естественно-научное происхожденіе, они и сейчасъ довольно сильно распространены среди специалистовъ — историковъ особенно въ Англии и во Франціи, да и среди ученыхъ всѣхъ странъ,

къ исторіи приходящихъ отъ социологін, этнографін или фольклора. Наиболье грубую форму воззрѣнія такого рода получали въ марксизмъ; въ болѣе уточненной не мѣшали развитію конкретной исторіографіи и даже оказали ей значительныя услуги; но долженъ былъ наступить моментъ, обнаруживающій ихъ несовмѣстимость съ исторіей, ихъ внутреннюю для нея смертельность.

Именно въ наше время этотъ моментъ и наступилъ. Онъ показалъ не просто противоположность двухъ историческихъ теорій, а именно антиисторичность одной изъ нихъ, невозможность ее совмѣстить со сколько-нибудь живымъ и конкретнымъ ощущеніемъ исторіи. Характернѣе всего, при этомъ, что несостоятельной оказалась антиисторія не столько потому, что была доказана (Зиммель, Риккертъ и другими) ея теоретическая невѣрность, сколько потому, что обнаружилась внутренняя ея пустота. Само по себѣ, ученіе о «человѣкѣ вообще», составляющее ядро антиисторіи, безсознательно входило въ мировоззрѣніе всѣхъ предшествовавшихъ XIX вѣку эпохъ, но говоря о «человѣкѣ вообще», люди этихъ эпохъ невольнo представляли его себѣ по образу и подобию человѣка своего времени, то есть какъ духовное существо, какъ носителя нѣкоей органической, цѣлостной культуры. Такъ еще Монтескье, Гиббонъ или Юмъ представляли себѣ старинныхъ англичанъ или древнихъ римлянъ; такъ Моляковъ или Дюканжъ мыслили среднѣ вѣка. Но когда нашъ современникъ, вроде Уэльса, въ его антиисторической «Всемирной Исторіи», ви-

дять «человѣка вообще» въ афинянинъ, крестоносца или китайца, то человѣкъ этотъ даже не англичанинъ XX вѣка (чья культура отъ цѣлостности и органичности очень далека), а просто всего человѣческаго личившійся лабораторный препаратъ, экономическій или біологическій болванчикъ.

Задача нашего времени не въ томъ, чтобы этимъ болванчикомъ замѣнить исторіей созданнаго и объ исторіи помнящаго человѣка. Она не въ томъ, чтобы историческое мышленіе искоренить, а въ томъ, чтобы глубже его оправдать и яснѣй ощутить объемъ подчиненной ему дѣйствительности. Понять себя, собрать воедино все, что въ насъ разрознено и разбѣяно, мы можемъ и теперь только сквозь исторію, только найдя себя въ ней, только сознавъ прошлое своимъ прошлымъ. Для этого надо отказаться разъ навсегда, какъ отъ детерминизма, занесеннаго въ исторію изъ антиисторіи и ведущаго къ коммунистическому идолопоклонству перелъ заранѣе извѣстнымъ будущимъ, такъ и отъ ретроспективной всеядности, воспитанной въ насъ невызданнымъ распространеніемъ историческихъ знаній. «Inclinations nous devant tous les autels», эти слова (изъ переписки Флора) слѣдовало бы начертать на вратахъ, ведущихъ въ адъ девятнадцатаго вѣка. Тотъ отказъ отъ всякаго выбора, о которомъ свидѣлствуютъ они, вмѣстѣ съ научнымъ мракобѣсіемъ, достигшимъ вершины у поклонниковъ индустриализаціи и пятилѣтня, лежитъ въ основѣ и современнаго обостренія историзма, и попытокъ неудачной съ

нимъ борьбы. Боротся съ исторіей надо, какъ Іаковъ боролся съ Богомъ: не отпущу, пока не благословишь. Благословіе здѣсь то же, что и тамъ; оно въ чувствѣ сыновства, въ томъ чувствѣ, что дѣлаетъ насъ наслѣдниками старой Европы, потомками несчетныхъ поколѣній, будущимъ великаго прошлаго. Если же зрѣлище

и этого прошлаго, очеловѣченнаго, обозримаго, **нашего**, живого—его богатства, его величія, его огромной полноты — все еще для насъ невыносимо; что-жъ, отвернемся, пожалуй, отдохнемъ, закроемъ глаза. Но не будемъ лишать себя зрѣнія.

В. Вейдле.

### Чешскіе юмористы

Юморъ — пожалуй, одно изъ самыхъ національных проявленій въ литературѣ. Эпоха и народъ накладываютъ, конечно, свой отпечатокъ на всякій родъ литературы, но обычно все же она остается понятной за географической и національной чертой своего возникновенія. Полная отрѣзанность исключала бы вліянія, а безъ нихъ не было бы возможно совместное творчество культуры, которое, несмотря на всѣ преграды, все же существуетъ. Такъ, мы можемъ говорить объ исторіи европейскаго романа, включая въ нее на почетномъ мѣстѣ романъ русскій, но едва ли можно то же сказать о юмористическихъ произведеніяхъ. Каждый, кто все же попытался бы слѣлать подобное сопоставленіе, очень скоро убѣдился бы, что его работа подобна мозаикѣ, въ которой цвѣта и формы отдѣльныхъ частей настолько разнятся другъ отъ друга, что лучше ихъ разсматривать каждую въ отдѣльности. Различіе въ пониманіи юмора проявляется не только въ крупныхъ и совершенно обработанныхъ литературныхъ произведеніяхъ, но уже и въ народномъ

творчествѣ и въ такомъ полуфольклорѣ, какимъ является, на примѣръ, анекдотъ.

Чешская литература не составляетъ, конечно, исключенія въ этомъ отношеніи. Въ то время какъ чешскій романъ, повѣсть или драма имѣютъ свою европейскую родословную, чешскія юмористическія произведенія бываютъ схожи, на примѣръ, съ англійскими, лишь по какому-либо случайному стеченію обстоятельствъ.

Если дѣйствовать методомъ исключенія, то придется сказать, что чешскій юморъ менѣе всего похожъ на французскій; нѣтъ въ немъ ни гальской соли, ни той эротической заостренности, которая вызываютъ смѣхъ у французовъ. Нѣкая, при томъ весьма осторожная скабрзность встрѣчается лишь на низшихъ ступеняхъ литературы: — въ позднемъ пѣсенномъ фольклорѣ, въ анекдотѣ. Мало привлекаетъ чешскихъ юмористовъ и игра словъ, —бычно коренящаяся въ характерѣ языка; чешскій языкъ почти не знаетъ синонимовъ, такъ что и на этой невинной и веселой струнѣ нѣтъ возможности играть.

Но если в чешском юморе нѣтъ игры словъ, то тѣмъ пынѣе цвѣтетъ игра положеній, вызывающая смѣхъ ихъ несуразно-стью. На моментахъ этого поряд-ка, напримѣръ, строятъ свои пьесы молодые пражскіе комики Вокосецъ и Верихъ, являющіеся одновременно авторами, актерами, а частично и режиссерами въ своемъ «Освобожденномъ теат-рѣ». Сущность ихъ юмора кро-ется, конечно, не въ довольно элементарномъ сюжетѣ, а въ частыхъ нелогичныхъ вставкахъ, напоминающихъ интермедіи клоуновъ при цирковыхъ представле-ніяхъ; комичность заключается въ самомъ контрастѣ діалога съ об-щей темой, а также въ нарочитой несообразности вопросовъ и от-вѣтовъ. Если не оставлять пути аналогій, то въ голову больше всего приходитъ сравненіе съ англійскимъ дѣтскимъ юморомъ, какой мы находимъ, напр., въ «Алисъ въ странѣ чудесъ» и въ излюбленныхъ, почти совсѣмъ бессмысленныхъ стишкахъ при дѣтскомъ счетѣ. Подобное же пристрастіе къ абсурднымъ кон-трастамъ встрѣчаемъ мы и у Я. Гашка, чешскаго юмориста, прославившагося неожиданно послѣ войны въ Европѣ своимъ «Бравымъ солдатомъ Швейкомъ». Въ болѣе смягченной и литературной формѣ прибѣгаетъ иногда къ то-му же приему въ своихъ юмори-стическихъ произведеніяхъ и Ф. Лангеръ.

Но объ отдѣльныхъ авторахъ рѣчь будетъ ниже, пока же отмѣтимъ еще одну черту, а имен-но, характерный «классовый» вы-боръ дѣйствующихъ лицъ чеш-ской юмористической литературы. Можно, напр., смѣло сказать, что

герои русскаго юмора въ значи-тельномъ большинствѣ принадле-жать къ купечеству; австрійскій, специально вѣпскій юморъ до вой-ны имѣетъ главнымъ своимъ объ-ектомъ военное сословіе и націо-нальные меньшинства, среди ко-торыхъ чехи играли немалую, хотя незавидную роль. Наиболѣе широкий диапазонъ юморѣ имѣ-етъ, пожалуй, у французовъ, зу-боскалящихъ съ одинаковымъ удовольствіемъ надъ смѣшнымъ положеніемъ, въ которое попада-етъ графъ, княгиня, лакей, мидя-нетка, хвастунъ безъ опредѣлен-ныхъ занятій, неловкій иностран-нецъ и упитанный юре. Такого размаха у чешскихъ юмори-стовъ нѣтъ; они, ограничиваютъ свой выборъ обычно средними и низшими классами. Отличительной чертой чешскаго юмора являет-ся то, что въ немъ мы не нахо-димъ ни желчи, ни злобы, въ этомъ онъ подлинный юморъ, а не бичующая сатира. Даже во время войны, когда притѣсненія со стороны правительства давали много поводовъ къ злой сатирѣ, чешскій народъ въ цѣломъ отвѣ-чалъ на нихъ лишь шуткой, стре-мящейся поставить противника въ смѣшное положеніе, изъ котораго онъ не могъ бы выйти съ досто-инствомъ. Выборъ юмористиче-скихъ героевъ въ низшихъ и среднихъ кругахъ долженъ быть объясненъ не презрѣніемъ къ этимъ классамъ, а тѣмъ, что для большинства писателей именно эта среда наиболѣе извѣстна и близ-ка. При этомъ довольно часто та-кой хитрый мужикъ, ремесленникъ или житель городской окраины въ концѣ концовъ выходитъ съ честью изъ комическаго положе-нія, куда его завлекли скупость,

доброчность или простое озорство. Въ конечномъ счетѣ и солдатъ Швейкъ при всей своей напускной глупости выходитъ сухимъ изъ воды, въ то время, какъ его штатское и военное начальство какъ разъ и остается въ дуракахъ, не имѣя силы преодолѣть пассивное сопротивленіе этого анонимнаго протестанта противъ австрійскаго режима.

Всѣ эти черты въ той или иной степени, съ индивидуальными вариациями, присущи почти всѣмъ чешскимъ юмористамъ. Возьмемъ обширный періодъ, свыше ста лѣтъ, ту эпоху, когда чешскій народъ, его языкъ и культура снова вошли въ жизнь остальной Европы. Первые два имени, которыя мы здѣсь назовемъ, тѣсно и неразлучно слиты съ пробужденіемъ національнаго сознанія чешскаго народа; это — К. Тыль и Ф. Рубешъ. Ни тотъ, ни другой не были профессиональными юмористами, а въ литературномъ отношеніи одинаково охотно и легко пользовались прозаической и стихотворной формой. Оба они принадлежали къ тому типу людей и писателей, которые, легко владея перомъ, не творять изъ формы кумира, а подчиняютъ ее идеѣ, нужной и важной въ данный моментъ ихъ народу. Стремленіе Тыля и Рубеша сводилось къ тому, чтобы омолодить, сдѣлать гибкой и литературной родную рѣчь, не культивировавшуюся въ теченіе многихъ десятилѣтій и къ концу XVIII стол. ставшую почти исключительно языкомъ деревенскихъ и отчасти городскихъ низшихъ слоевъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ юморъ и насмѣшка писателей бывали направлены въ первую оче-

редь на народныхъ ренегатовъ, на тѣхъ, кто изображалъ изъ себя нѣмцевъ, желая этимъ показать свою причастность къ высшимъ кругамъ. Комедіи Тыля полны такихъ выскочекъ. Ихъ можно встрѣтить у Тыля почти въ каждомъ, даже не юмористическомъ разсказѣ изъ современной жизни, но какъ особый слой, какъ нѣкая искусственная надстройка надъ естественнымъ и органическимъ чешскимъ обществомъ они изображены имъ въ комедіяхъ, преимущественно же въ «Фидловачкѣ». Основное и излюбленное положеніе Тыля, это противопоставленіе любви къ родинѣ, къ языку, къ народу и любви къ женщинѣ; въ «Фидловачкѣ» главнымъ препятствіемъ для соединенія сердецъ является то, что отецъ жениха, рьяный и сознательный патріотъ салонникъ, въ то время какъ тетушка, отъ которой зависитъ невѣста, — разбогатѣвшая торговка, желающая при помощи онѣмеченія возвыситься надъ своимъ народомъ. Различные типы ренегатовъ представлены Тылемъ не трагически, какъ это можно было ожидать при существовавшемъ положеніи вещей, но комически: это — пѣвица, измѣняющая свою простую фамилію Цибулькава на болѣе звучную и мнимо благородную — Цибульчини; литераторъ Гвездолескій, въ лицѣ котораго осмѣяно не только добровольное онѣмеченіе, но и напыщенный романтизмъ; псевдо - шевалье Дудецъ, все свое мнимое благородство обосновывающій на томъ, что будто бы совсѣмъ не знаетъ чешскаго языка и все время то французить, то говорить по нѣмецки. Чтобы понять, по-

чему на осмѣяніе всѣхъ этихъ несерьезныхъ, необразованныхъ и незначительныхъ людей тратится столько силы, мы должны помнить, что въ Чехіи они были въ то время гораздо опаснѣе, чѣмъ въ Россіи, гдѣ они сошли со сцены уже въ самомъ началѣ XIX-го вѣка; чехамъ въ это время въ полномъ смыслѣ слова угрожала утрата родного языка и національнаго облика. Такимъ образомъ каждое лишнее лицо, подпадавшее подъ нѣмецкое вліяніе и распространяющее его далѣе, было подлиннымъ врагомъ своего народа. Писатель, какъ лучший представитель своей націи, боролся съ нимъ культурнымъ оружіемъ — смѣхомъ и сатирой.

Что касается юмористическихъ стиховъ, то ихъ манера и содержаніе опредѣлялись въ значительной степени тѣмъ, что они предназначались прежде всего для прочтенія на «бесѣдахъ», т. е. на вечеринкахъ съ импровизированной программой патріотически-агитаціоннаго характера. Стихи Рубеши даже вышли подъ соотвѣтствующимъ названіемъ «Декламованки». Поэтому съ формальной стороны они должны были быть незамысловатыми, доступными для общаго пониманія безъ особаго напряженія ума. Тематически они обычно откликались на злобы дня, высмѣивая, напримѣръ, увлеченіе романтизмомъ, пристрастіе къ необыкновеннымъ именамъ, танцевальную страсть, которая въ эти годы была подлинной эпидеміей, куреніе табаку, считавшееся признакомъ нѣкоего либерализма, питье кофе, безъ котораго шедщины, по ихъ увѣренію, не могли жить и т. д.

Все это темы не мірового масштаба, но онѣ были необходимы въ молодомъ обществѣ, у молодого народа, который перестраивалъ свою жизнь.

Встрѣчаются иногда, особенно у Рубеши, и болѣе широкія темы, имѣющія, впрочемъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи опять-таки непосредственное отношеніе къ текущему моменту. Таково, напримѣръ, его стихотвореніе «Костыльки», въ которомъ въ иносказательной формѣ, объясняющейся, конечно, цензурными условіями, осмѣивается несамостоятельность мышленія и привычка подчиняться указкѣ въ общественной жизни. Приведемъ изъ него нѣсколько выдержекъ (въ переводѣ В. Лащенко):

За долами, за горами,  
Тамъ, гдѣ съ буйными вѣтрами  
Сине море рѣчь вело,  
Вдаль раскинулось село.  
Въ немъ обычай странный былъ:  
Каждый, кто въ селѣ томъ  
жилъ...,  
На костыликахъ ходилъ.  
Даже добрыя мамашы  
Тѣ костыльки въ избушкѣ  
Раздавали Петѣ, Дашѣ,  
Словно сласти, иль игрушки...

Дѣти привыкали къ «костыликамъ», «а когда становились старше, брали ихъ съ собою въ классъ». Въ результатѣ «ножки мало упражнялись, ослаблялись». И въ концѣ концовъ

...людишки,  
Не могли ужъ жить безъ палки,  
Безъ нея тряслись въ одышкѣ,  
И беспомощны и жалки.  
Всю жизнь съ подпорками возилась  
И даже съ ними въ гробъ ложилась... и т. л.

Подобныя сатирическо - нравоучительныя вещи не являются, правда, наиболее удачными произведениями Рубеца; ему такъ же, какъ и Тылю, удавалось лучше всего то, что имѣло конкретную основу, бралось изъ обыденной жизни...

Къ числу юмористовъ, вѣрнѣе сатириковъ; можно причислить также извѣстнаго и въ Россіи К. Гавличка-Боровскаго. По рѣзкости своей сатиры, К. Гавличекъ является яркимъ, но почти единичнымъ исключеніемъ среди мѣткихъ, но далеко не влѣхъ чешскихъ юмористовъ первой половины XIX-го стол. Онъ былъ современникомъ и въ то же время противникомъ К. Тыля, котораго считалъ слишкомъ пассивнымъ, а въ послѣдніе годы и устарѣвшимъ.

К. Гавличекъ предпочиталъ политическую сатиру и эпиграмму; ими онъ бичевалъ съ одной стороны нѣмецкихъ противниковъ, съ другой осмѣивалъ русское самодержавіе, предостерегая своихъ соотечественниковъ отъ не критическаго, и постольку вреднаго русофильства. Сатиры К. Гавличка - Боровскаго хронологически почти всегда являются откликомъ на опредѣленные современныя событія. Таковы, напр., его «Тирольскія элегіи», или его посланіе къ Шуселкѣ\*), озаглавленное «Шуселка намъ пишетъ».

\*) Шуселка былъ австро - нѣмецкій публицистъ, призывавшій чеховъ въ 1848 г. принять участіе въ Франкфуртскомъ парламентѣ, противъ чего былъ и Гавличекъ, и Палацкій, и большинство патриотовъ.

Отъ Шуселки слухи  
Идутъ въ такомъ духѣ:  
Зовутъ нѣмцы насъ на помощь,  
Ворчатъ у нихъ въ брѣхъ.

... ..  
Германія наша,  
А Чехія наша,  
Такъ не дуйте-жь  
Изъ Франкфурта  
Въ славянскую кашу.

... ..  
Россія занимала К. Гавличка-Боровскаго потому, что въ Чехіи его времени, какъ случалось и позднѣе, были частые приливы русофильства, обоснованнаго не на подлинномъ знаніи въ полномъ смыслѣ слова боготворимыхъ страны и народа, но на романтической ихъ идеализаціи. Противъ такого увлеченія предостерегаль въ 40-хъ годахъ Гавличекъ, а въ концѣ прошлаго и въ началѣ этого столѣтія Т. Г. Масарикъ. Когда массы чеховъ столкнулись съ русскимъ народомъ сначала въ Россіи, а потомъ въ лицѣ эмиграціи и у себя дома, то, какъ это всегда бываетъ при болѣе близкомъ знакомствѣ, наступило нѣкоторое разочарованіе; тогда-то президентъ Т. Г. Масарикъ и сказалъ, что русскіе не виноваты въ томъ, что влюбленная фантазія чеховъ создала ихъ совѣмъ иными, чѣмъ они были въ действительности.

Именно отъ такого болѣзненнаго переживанія, могущаго имѣть, несмотря на свое нереальное происхожденіе, весьма реальныя послѣдствія, и хотѣлъ предостеречь своихъ согражданъ К. Гавличекъ - Боровскій. Логикой, политическими соображеніями трудно дѣйствовать на сердце и вообра-

женіе; это мы видимъ хотя бы изъ того, что даже Ф. Палацкій, уважаемый и чтимый всѣмъ народомъ, не могъ убѣдительно разъяснить ему разницу между русскимъ правительствомъ съ одной стороны и русскимъ народомъ съ другой. Гавличекъ, самъ бывавшій въ Россіи, умѣлъ отличать въ ней темныя стороны отъ свѣтлыхъ; вводя, напр., съ одной стороны въ Чехію Гоголя (онъ былъ первымъ его переводчикомъ на чешскій языкъ), онъ очень рѣзко выступалъ противъ самодержавія. Таковъ смыслъ эпиграммъ вродѣ «Русской конституціи» или «Объявленія изъ русскихъ газетъ», и особенно сатирической поэмы «Крещеніе св. Владиміра». Въ лицѣ св. Владиміра Гавличекъ изображаетъ современнаго ему русскаго самодержца, желающаго подчинить своей волѣ все, даже самого Бога. Паденіе Перуна въ сатиры Гавличка происходитъ отъ того, что онъ отказался въ день имянинъ Владиміра гремѣть громами, изображая этимъ салютъ.

Ахъ, Перунъ, бѣдняга! Жалко  
Мнѣ тебя до боли:  
Предстоитъ тебѣ прогулка  
Завтра противъ воли...

И худа ты дѣзь, несчастный  
Что надѣлалъ! Страсти...  
На проломъ иди безстрашно  
Противъ царской власти.

И къ чему ты вызвалъ бурю  
Такъ неосторожно?  
Утекай... у пась и съ Богомъ  
Справятся безбожно.

Перунъ присужденъ къ смертной казни, но

Той порой одинъ газетчикъ  
Засѣдалъ въ острогѣ:

Рѣзко онъ писалъ о вѣрѣ  
И о самомъ Богѣ;

Судь рѣшилъ писаку бросить  
Вмѣстѣ съ Богомъ въ воду,  
Безпристрастно осуждая  
Вспышки за свободу.

Не будемъ утруждать читателя цитатами, ибо самъ Гавличекъ лишь только эпизодъ, правда, довольно значительный и своеобразный, въ чешской юмористикѣ. Своими произведеніями онъ собственно выходитъ изъ рамокъ чешскаго юмора, который, какъ видно изъ нашей статьи, довольно чуждъ сатиры.

Непосредственнымъ преемникомъ Тыля и Рубена въ слѣдующемъ литературномъ поколѣніи былъ Неруда, который уже могъ работать болѣе свободно, ибо за это время увеличился не только кругъ людей, имѣющихъ потребность въ родной литературѣ, но и ихъ культурный и эстетическій уровень. Неруда — большой мастеръ короткой, почти фельетонной повѣсти, въ которой онъ мѣтко и живо изображаетъ всевозможныхъ мелкихъ людшекъ. Смѣхъ онъ вызываетъ тѣмъ, что показываетъ малый міръ, живущій въ глубокомъ убѣжденіи, что его будничные и ничтожныя дѣла имѣютъ чуть ли не мировое значеніе. Мелкія событія и сплетни, не выходящая за предѣлы улицы, мальчишескія выходки, раздуваемые до размѣровъ преступленія, вотъ основные сюжеты его книги, названной по старосвѣтской части Праги «Малостранскіе рассказы». Въ этомъ мірѣ фигурируютъ старыя слуги, лавочницы, мелкіе ремесленники, посыльные, пище и тому подоб-

ный народъ, происходящій по прямой линіи отъ героев Тыля и Рубена.

У Неруда сатиры еще меньше, чѣмъ у старшихъ авторовъ, — здѣсь только улыбка, да удивленіе надъ тѣмъ, какъ, напримѣръ, одинъ нищій завидуетъ другому и ведетъ правильную военную кампанію изъ-за выгоднаго мѣста на паперти. Иныхъ социальныхъ слоевъ касается юморъ лишь у И. Германа, въ поле зрѣнія котораго попадаютъ адвокатскія, коммерческія конторы, болѣе зажиточныя буржуазныя семьи. Можно бы было ожидать, что тутъ-то писатель и возьметъ въ руки карающій бичъ, но на дѣлѣ выходитъ иное. По истинѣ, трудно найти болѣе кроткій и старосвѣтскій юморъ, чѣмъ у Неруда, гдѣ все сводится къ комическому положенію, въ которое попадаютъ герои полу-Диккенсовскаго и полу-Лейкинскаго стиля. Старые холостяки и экономки, почтенныя матроны, только съ виду сердитые начальники, хитрецы секретари, правда, вызываютъ улыбку невпопадъ истолкованнымъ разговоромъ, но тутъ же авторъ какъ бы передъ ними извиняется, заканчивая все счастливымъ бракомъ, хорошимъ мѣстомъ или же примиреніемъ.

Какая разница въ характерѣ у И. Германа и его современника Машка, обладавшаго небольшимъ, но хлесткимъ и ѣдкимъ дарованіемъ, которое онъ примѣнялъ въ небольшихъ рассказахъ, пьесахъ для кукольнаго театра и газетныхъ фельетонахъ. Столь же мало походилъ на предшествующія поколѣнія и первый чешскій писатель, приобрѣвшій извѣ-

стность во всей Европѣ, Я. Гашекъ. Слава пришла къ нему, правда, уже послѣ войны и послѣ смерти, постигшей его въ нищетѣ. Однако, зная характеръ Гашка-кутилы и богемы, можно усомниться, чтобы и огромный тиражъ «Солдата Швейка» вывелъ его изъ хроническаго недостатка денегъ. Постоянный посѣтитель кофеенъ, маленькихъ пивнушекъ и винныхъ погребовъ, Гашекъ писалъ на углу ихъ мраморныхъ или деревянныхъ столовъ свои юмористическіе рассказы, которые тутъ же посылалъ въ редакціи, присоединя къ рукописи просьбу объ авансѣ. Такъ жилъ онъ изо дня въ день среди своихъ героев — мелкихъ жуликовъ, еще болѣе мелкихъ ремесленниковъ, дворничихъ, балаганныхъ актеровъ, всего этого веселаго народа, который издѣвается другъ надъ другомъ, крадетъ, подстриваетъ различныя штучки и умираетъ, не боясь смерти и не жалѣя о жизни. Вся пражская богема, окраина, всѣ мелкія ремесла и занятія нашли свое отраженіе въ произведеніяхъ Гашка, какъ въ кривомъ зеркалѣ. Передъ нами проходятъ профессиональный воръ собакъ и дама, которая у него ихъ покупаетъ, офицеръ, денщикъ, полковой священникъ, наконецъ, пресловутый солдатъ Швейкъ, прикидывающійся дурачкомъ, но надувающій всѣхъ умниковъ. Литературная схема «Солдата Швейка» очень проста — это произведеніе написано по образцу т. н. «романовъ съ ящиками», въ которыхъ дѣйствіе можетъ продолжаться до безконечности, нанизываясь просто на фактъ существованія героя; въ мировой литературѣ такъ написаны

«Донъ Кихоть», «Мертвыя души», въ значительной мѣрѣ также «Замогильныя записки Пиквикскаго клуба». Конечно, указывая на родство литературной формы, мы отнюдь не ставим «Солдата Швейка» въ уровень съ перечисленными произведениями. Основной приемъ, применяемый Гашкомъ, еще примитивнѣе, онъ основанъ на абсурдности сопоставленія двухъ фактовъ, связанныхъ лишь словесно. Такъ, кто нибудь изъ дѣйствующихъ лицъ рассказываетъ эпизодъ изъ своей или чужой жизни, на что никогда не сдающийся Швейкъ возражаетъ: «а у насъ тоже было подобное происшествіе» и рассказываетъ въ свою очередь о совершенно непохожемъ событіи или такъ запутываетъ самую обыкновенную исторію, что въ его многоглаголюющіи уже совсѣмъ невозможно разобраться. Въ трехъ подлинныхъ томахъ (четвертый написанъ послѣ смерти Гашка его пріятелемъ и послѣдователемъ частью на основаніи оставшихся матеріаловъ) можно найти десятки, а пожалуй, даже и сотни такихъ положеній.

Въ чемъ же въ такомъ случаѣ кроется тайна успѣха «Солдата Швейка», который плѣнилъ литературныхъ критиковъ и читателей самыхъ различныхъ странъ? Лично для меня этотъ успѣхъ непонятенъ, ибо къ примитивизму формы слѣдуетъ еще добавить довольно грубый языкъ и почти полное отсутствіе какой бы то ни было моральной основы. Мною часто возражали, что это непониманіе происходитъ отъ того, что я никогда не была на войнѣ и что «Солдатъ Швейкъ» — произведеніе съ совершенно мужской психологіей.

Охотно это допускаю, ибо чѣмъ же иначе объяснить, что сотни и тысячи людей до слезъ смѣются надъ безконечными разсужденіями и фортелями браваго солдата. Безъ нѣкоторой оговорки, однако, и тутъ не могу обойтись — Швейкъ, конечно, не типичный чехъ, уже благодаря своей пассивности; его борьба съ австрійскимъ режимомъ... ведется лишь во имя собственной шкуры, а потому онъ такъ ловко всюду сбѣгаетъ въ тылъ, въ то время какъ подлинныя чешскіе солдаты иначе развивали свою предпринимчивость, убѣгая впередъ, а не назадъ.

Гашекъ въ порядкѣ хронологическомъ представляетъ переходъ отъ довоенной эпохи къ современности. Коренное измѣненіе въ судьбахъ чешскаго народа не повліяло значительно на литературный юморъ, уже по той простой причинѣ, что онъ никогда, за исключеніемъ произведеній К. Гавличка-Боровскаго, не былъ близокъ политической сатиры. Въ наше время въ чешской литературѣ имѣются два крупныхъ писателя, отдавшихъ по преимуществу юмору — это Ф. Лангеръ и К. Полячекъ. Первый изъ нихъ идетъ по традиционному пути, главнымъ образомъ въ выборѣ среды и типовъ. Человѣкъ весьма мягкій, Лангеръ питаетъ пристрастіе къ городскимъ окраинамъ, населеніе которыхъ онъ знаетъ великолѣпно по своей второй профессіи — докторской. Онъ знаетъ, какъ можетъ быть смѣшенъ, хитеръ, увертливъ, но въ то же время отзывчивъ, честенъ и даже героиченъ малый человѣкъ. Комическое его разсказовъ — въ несуразныхъ положеніяхъ и невѣроятныхъ случаяхъ; мелкій

служащий и въ то же время страстный филателистъ, встрѣчающійся съ принцемъ Уэльскимъ, взломщикъ несгораемыхъ шкафовъ, спасающій при кражѣ дѣтей банкира и въ благодарность за это назначаемый денежнымъ артельщикомъ, толстая швейцариха, создавшая особую теорію для получения всяческихъ субвенцій подъ мнимую болѣзнь мужа, — всѣхъ этихъ людшекъ, разбросанныхъ по веселымъ и грустнымъ произведениямъ Лангра, не перечестъ. Слѣдуетъ отмѣтить одну черту, довольно неожиданную у юмориста, — Лангръ вѣритъ, что по существу всѣ люди добры и хороши (наиболѣе ярко онъ проводитъ эту мысль въ трогательной сказкѣ-комедіи «Ангелы среди насъ»), а потому мы можемъ лишь улыбаться, видя нѣкоторыя ихъ неуразности, но отнюдь не издѣваться надъ ними.

Весьма далеко отъ такого примиряющаго міросозерцанія другой нашъ современникъ, К. Полячекъ, наоборотъ, старательно выискивающей все смѣшное у окружающихъ его людей. Еврей по происхожденію, онъ и трактуетъ каждый сюжетъ, какъ еврейскій анекдотъ, внося въ него языковыя деформации, мало свойственныя чешскому литературному стилю. Новымъ, по сравненію со всѣми предшественниками, у Полячка является каррикатурный міръ страстныхъ спортсменовъ и карточныхъ игроковъ. Изъ жизни футболистовъ имъ написанъ даже большой юмористическо-сатирический романъ «Люди въ офсайдѣ», а міръ завязтыхъ картежниковъ описанъ въ романѣ «Залиски клубнаго игрока». И ту и другую вещь лишь

условно можно назвать романомъ, хотя въ нихъ имѣется длительная любовная интрига, преподносимая авторомъ, какъ и все остальное дѣйствіе, въ каррикатурномъ видѣ. Эта нарочитая деформация дѣйствительности, доводимая порой до гротеска, является характерной чертой таланта Полячка.

Выше мы уже говорили, что чешскіе писатели очень рѣдко прибѣгали къ самому языку, какъ къ юмористическому средству, что происходитъ отчасти отъ свойствъ чешскаго языка, небогатаго синонимами, отчасти же отъ необходимости особенно бережно обращаться съ рѣчью, всего лишь какихъ либо полтора года дѣтъ вошедшей сзынова въ культурную жизнь. Все это не позволяло дѣлать съ ней такіе эксперименты, какіе встрѣчаются напримѣръ, въ новѣйшей русской или французской литературѣ. Но по мѣрѣ того, какъ крѣпла культура языка, писатели не могли удержаться сначала отъ робкихъ, а потомъ и болѣе смѣлыхъ попытокъ использовать столь естественное средство воздѣйствія на читателя. Едва ли не первымъ въ этомъ отношеніи былъ Гашекъ, прибѣгавшій, уже благодаря выводимой имъ средѣ, къ жаргону предметій, правда, больше какъ къ средству передачи мѣстнаго, для большинства изъ насъ какъ бы экзотическаго колорита. Съ такою же цѣлью, но съ гораздо большимъ вкусомъ пользуется этимъ приемомъ и Лангеръ, лишь вкрапливающій жаргонъ въ обычный литературный языкъ. Наболѣе смѣлымъ новаторомъ въ этомъ отношеніи оказался К. Полячекъ, который, вводя въ ли-

тературу новые слои общества, ввел в них специфическую манеру разговора, состоящую не только в особой терминологии, но и в изменении подлинного смысла слов. На таком особом языке спортсменов, игроков, заведывающих кафеенъ Полячекъ и пишеть, конечно, стараясь дѣлать его понятнымъ для всѣхъ, свои юмористическія произведенія. Этотъ специфическій языкъ весьма усиливаетъ впечатлѣніе комизма, въ особенности, какъ въ по-

сѣднихъ произведеніяхъ Полячка, дѣйствіе начинаетъ приобретать характеръ фантастики. Въ такихъ случаяхъ Полячекъ, несмотря на языковое отклоненіе отъ общаго направленія чешской юмористики, достигаетъ, пожалуй, наиболее яркаго оформленія юмора, обусловленнаго несуразностью положенія и контрастомъ ничѣмъ не связаннымъ элементовъ единого цѣлаго.

**Н. Мельникова-Папоушкова.**

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ

Ник. Тихоновъ. Война. Изд. писателей въ Ленинградѣ. 1931.

По сравненію съ другими литературами, тема міровой войны сравнительно слабо отразилась въ литературѣ русской. Кромѣ романа К. Федина «Города и Годы», ничего художественно значительнаго въ этой области, кажется, и не появилось. Поэтому книжку Н. Тихонова, посвященную специально «Войнѣ», открываешь съ невольнымъ интересомъ. Тѣмъ болѣе, что Ник. Тихоновъ въдь и началъ съ такимъ блестящимъ успѣхомъ свою литературную дѣятельность стихами, посвященными войнѣ. И первое, что испытываешь, приступивъ къ чтенію «Войны», это — глубокое разочарованіе. Авторъ самъ снабжаетъ свое произведеніе предисловіемъ, которое производитъ на читателя дѣйствіе ушата холодной воды. Онъ старательно убѣждаетъ насъ не предъявлять къ его произведенію художественныхъ требованій. Это — въ сущности только «документъ, погруженный въ сюжетный соусъ», преслѣдующій къ тому же особья цѣли — «разоблаченія подготовки будущей войны противъ Совѣтскаго Союза». Казалось-бы, послѣ такого предисловія надо просто пройти мимо новаго произведенія Ник. Тихонова, отнеся его въ разрядъ тенденціозной совѣтской литературы.

Но «предисловіе» въ совѣтской книгѣ несетъ совершенно особую функцію, и не слѣдуетъ слишкомъ большого значенія придавать ему. Если же отбросить предисловіе, то «Война» читается почти сплошь съ неослабѣвающимъ интересомъ, и ей, по-праву, будетъ принадлежать извѣстное мѣсто въ скудной русской художественной литературѣ о міровой войнѣ. Она, конечно, уступаетъ по своей художественности «Городамъ и Годамъ» К. Федина, но въ способѣ художественной обработки «батальнаго» (въ условномъ смыслѣ) материала, произведеніе Тихонова намѣчаетъ и кое-какіе новые пути.

Это — романъ, поскольку въ немъ все-же имѣется нѣкая сюжетная линія, но эта линія отгѣсняется въ сторону основнымъ героемъ произведенія — «войной». По сравненію хотя бы съ Ремаркомъ и другими авторами того же рода, у которыхъ дается преломленіе войны въ судьбѣ героя, здѣсь судьба отдѣльныхъ людей всплываетъ на поверхность и приковываетъ къ себѣ вниманіе въ связи, или вѣрнѣе на фонѣ отдѣльныхъ эпизодовъ войны. Въ силу этого писатель вынужденъ давать жизнь «кусками», въ сгущенномъ видѣ, на короткомъ промежуткѣ времени и мѣста. И такіе эпизоды иногда авто-

ру чрезвычайно удаются. Укажу хотя-бы на главу «Кенси», въ которой разсказана смерть отъ удушливыхъ газовъ молодого солдата-химика Жана Кенси. Несмотря на этотъ невыгодный для цѣльности образовъ приемъ повѣствованія, автору удается достаточно ярко зарисовать и главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, изобрѣтателя перваго огнемета фоль-Штарке и химика профессора Фабера, инициатора газовыхъ атакъ. Этотъ послѣдній — ученый, глубоко увѣренный въ томъ, что наука стоитъ выше всего и что вся европейская культура держится на ученыхъ. Правда, онъ принесъ науку на службу отечеству, не остановившись передъ тѣми ужасами, которые ввела газовая война въ исторію человечества, онъ готовъ, видимо, представить свое знаніе государству въ случаѣ возникновенія острой социальной борьбы, но по-существу — онъ даже и не узкій шовинистъ. Онъ смотритъ на все нѣсколько сверху внизъ, съ высоты своего «ученаго величія». Образъ Фабера художественно выдержанъ до конца, — настолько, что автору пришлось въ предисловіи даже заняться «самокритикой», чтобы не быть заподозреннымъ въ идеализаціи «западнаго ученаго». Именно тамъ, гдѣ легче всего было въ русскихъ условіяхъ подпасть соблазну дешевой каррикатуры, Тихоновъ неожиданно соблюдаетъ правильную художественную перспективу. Романъ умѣло заканчивается сценой присоединенія проф. Фабера къ протесту противъ разстрѣла русскихъ ученыхъ. «Европа должна имѣть свою долю вліянія, иначе эта орда обрушится на насъ, говоритъ проф. Фаберъ въ заключительной сценѣ, — и мнѣ, по правдѣ говоря, жаль моихъ лабораторій. Я провелъ въ нихъ всю жизнь...»

Какъ я уже говорилъ, въ «Войнѣ» имѣется и много недостатковъ. Не вполне удачно разрѣшилъ авторъ проблему языка въ своемъ произведеніи. Поскольку въ романѣ все дѣйствіе протекаетъ въ иностранной средѣ, языкъ нельзя слишкомъ руссифицировать, онъ долженъ держаться на уровнѣ средняго разговорнаго интеллигентскаго языка. Напрасно авторъ пользуется дешевымъ эффектомъ «андреевскихъ» эпитетовъ, вроде «князь тьмы» (для ф.-Штарке, изобрѣтателя огнемета). Это теперь не дѣйствуетъ. Вообще, приемъ механизация, заимствованный, можетъ быть, отчасти изъ техники кинематографа, въ художественномъ творествѣ плохо себя оправдываетъ.

Но, конечно, главный недостатокъ произведенія — его неровность. Особенно чувствуется это въ послѣдней части романа. Здѣсь цѣлыя страницы выпадаютъ изъ художественнаго произведенія, такъ какъ явно несутъ внѣхудожественную функцію. И въ этихъ частяхъ автору сразу измѣняется и его языкъ. Онѣ написаны вяло и неубѣдительно. Но любопытно, что какъ разъ въ сценѣ, гдѣ авторъ выводитъ нѣмецкаго коммуниста Юганна Кубица, къ нему снова возвращается художественное чутье. Образъ этотъ невольно запоминается и не воспринимается на фонѣ общей тенденціи книги. А отрицать эту общую тенденцію, въ конечномъ счетѣ, не приходится.

А. Бемъ.

В. Яновскій. «Міръ». Романъ. Изд. «Парабола». Берлинъ.

Романъ Яновскаго производитъ впечатлѣніе смутное и двойственное.

Онъ безспорно неудаченъ. Написанъ небрежно и даже не вполне грамотно, задуманъ претенціозно и нестройно. Но авторъ «Мира» все-таки подлинный писатель: это чувствуешь сразу, съ первыхъ же страницъ книги, и съ этимъ убѣжденіемъ книгу закрываешь. Среди нашихъ молодыхъ литераторовъ многіе пишутъ тоньше, чище и эрѣлѣе Яновскаго, но онъ выдѣляется страстью, творческимъ «напоромъ» и темпераментомъ. Онъ можетъ не нравиться, но онъ существуетъ: въ книгѣ его есть не только бумага и типографская краска, но и человекъ.

Яновскій учился у дурныхъ, или опасныхъ учителей. Это сказывается въ многословіи и пустословіи, въ «склонности къ грубымъ, мелодраматическимъ эффектамъ и контрастамъ, въ готовности по любому поводу ставить и разрѣшать сложнѣйшія міровыя загадки. Вліянія Леонида Андреева и Арцыбашева замѣтны всюду, — особенно вліянія Арцыбашева, который къ Андрееву относится приблизительно такъ же, какъ тотъ къ Достоевскому: т. е. является его искаженіемъ, усиливающимъ манеру оригинала и ослабляющимъ сущность. Къ Достоевскому въ концѣ концовъ восходитъ и Яновскій. Но Боже, во что превратились подъ его бойкимъ перомъ забываемые карамазовскіе, ставрогинскіе, мышкинскіе разговоры! Смерть, дьяволъ, грѣхъ, смыслъ страданія, любовь, искупленіе, міровая гармонія... Герои Яновскаго бесѣдуютъ, о чемъ угодно. Въ романъ введена даже особая философическая поэма на подобіе «Легенды о Великомъ Инквизиторѣ». Молодой авторъ торопится все истолковать и на все дать доморощенный отвѣтъ. Но въ идеяхъ онъ путается и подъ грузомъ пышныхъ и трескучихъ словъ изнемогаетъ. Изнемогаетъ и читатель, у котораго отъ обилія мнимаго глубокомыслія начинаетъ болѣть голова.

Все это къ Яновскому не располагаетъ: Но рядомъ съ бутафорской мудростью есть въ его книгѣ и удивительныя черты: настоящее знаніе людей, настоящее, живое чувствованіе людскаго страданія. Горечь «Мира» неподдѣльная. Она слышна въ ритмѣ и видна въ образахъ книги. Жаль только, что нерѣдко тонетъ она въ обветшалыхъ литературныхъ условностяхъ, которымъ авторъ слѣдуетъ, не провѣряя, насколько они ему по силамъ, и не пытаясь вдохнуть въ нихъ нововъ, своей жизни.

Дѣйствіе «Мира» происходитъ въ эмиграціи. При очень внимательномъ чтеніи можно замѣтить, что мѣсто дѣйствія — Парижъ. Однако парижскаго колорита въ романѣ нѣтъ, какъ нѣтъ и вообще никакого колорита: все развивается, какъ будто, внѣ времени и пространства. Фабулу передать не берусь. Связи между главами не видно, кромѣ той, что всѣ герои Яновскаго терзаются, развратничаютъ и разговариваютъ на высокія темы.

Въ общемъ, книга неискusstная, но серьезная. Незвѣстно, оправ-

даетъ ли Яновскій надежды, но надѣяться на него можно. У него во всякомъ случаѣ есть творческій матерьялъ. Ему есть надъ чѣмъ работать и что обтачивать.

Георгій Адамовичъ.

**Ив. Шмелевъ.** Лѣто Господне. Праздники. Русская библіотека. Бѣлградъ, 1933.

Разсказъ ведется отъ лица мальчика лѣтъ семи-восьми, сына богатаго московскаго подрядчика. Старая Москва, богомольная и хлѣбосольная, разудалая и благолѣпная; крѣпкій и строгій купеческій бытъ; нѣсколько несложныхъ, но незабываемыхъ лицъ: степенный и справедливый «хозяинъ», смиренный, «святой» плотникъ Горкинъ, веселые и озорные «смолодицы», пьяница-приказчикъ, «бывшій человекъ» — баринъ Энтальцевъ; на второмъ планѣ — рабочій людъ: плотники, пильщики, водоливы, кровельщики, маляры, десятники, ѣздоки; купцы и ихъ шустрые «ребята», монахи и басистый протоіакоимъ, окружающіе Пресвященнаго; а въ глубинѣ — праздничная толпа, заливающая московскія улицы, толкающаяся передъ Пасхой на Постномъ рынкѣ, катающаяся съ ледяныхъ горъ на Масляницѣ, выстаивающая долгія церковныя «стоянія» въ Великомъ Посту. Удивительна простота и точность записей Шмелева: нигдѣ никакихъ «украшеній» для краснаго словца и большаго эффекта; полное отсутствіе «живописныхъ» метафоръ, образовъ, сравненій. Все дѣловито, сказано и подлинно. Авторъ помнитъ вещи, событія и лица не приблизительно, сквозь поэтическую дымку прошлаго, а во всей ихъ живой реальности. Память ясновидца. Не реконструкція прошлаго (съ неизбежнымъ искривленіемъ перспективы), а вторичное переживаніе въ полнотѣ и цѣльности. Оговорку слѣдуетъ сдѣлать только для нѣкоторыхъ разговоровъ. Здѣсь какъ-будто память у автора немного туманится и онъ пересказываетъ чужія рѣчи своими словами. Но это рѣдко. А слова праведника Горкина: какъ они характерны и живы!

Можно прочесть книгу Ив. Шмелева и не догадаться, что рѣчь идетъ о недавнемъ прошломъ, о Москвѣ конца прошлаго вѣка. Такая у него получилась иконописная, благолѣпная Москва, такая золотокуполная, многозвонная, молитвенная Святая Русь. Не историческій ли это романъ? Не времена ли Тиняйнова Царя описываетъ намъ авторъ?

На первый взглядъ — не вѣрится, чтобы такъ еще недавно въ Москвѣ могъ существовать столь обрядовый, чинный и строгій церковный бытъ. Подозрѣваешь стилизацію, романтизмъ. Но нѣтъ: у Шмелева запись дѣловая, провѣренная; онъ не расписываетъ, а скорѣе подслушиваетъ; не «живописуетъ», а просто перечисляетъ. Вотъ, напримѣръ, описаніе постнаго рынка.

«Грибы лопасинскіе, бѣлѣй снѣгу, чище хрусталу! Грибной ераламъ, винигретные... Но — хлѣбный грибъ сборный, ѣсть протопопъ

соборный! Рыжники, соленые-смоленые, монастырскіе, закусочные.. Боровички можайскіе! Архіерейскіе грузди, нѣтъ сопливѣй! Лопанинскіе отборные, въ медовомъ уксусу, дамская прихоть, съ мушиную головку, на зубъ неловко, мельчей мелкиѣ.

Да, это настоящее: такія слова не выдумываются.

Ив. Шмелевъ рассказываетъ о церковномъ укладѣ жизни средняго московскаго люда. Все — вокругъ церковныхъ стѣнъ. Годовой кругъ праздниковъ — небесная лѣстница, на верху которой стоитъ, благословляя, Царица Небесная, Иверская Богородица. Ритмъ жизни, смѣна труда и отдыха, постныхъ стояній и праздничныхъ гуляній, истоваго благочестія и безшабашной удали, — дыхание и душа московской недавней старины, — въ ея религіозномъ сознаніи. Ив. Шмелеву удалось показать это со всей убѣдительною свѣдѣтеля-очевидца. Любовь и тоска обострили его зоркость.

К. Мочульскій.

Т. Таманинъ. Отечество. YMCA-Press, Парижъ, 1933.

Если книга Таманина, несмотря на ея несомнѣнные, бьющіе въ глаза, разнообразныя художественныя недостатки, читается все-же съ большимъ интересомъ, а подчасъ и съ волненіемъ, то это, во-первыхъ, потому, что въ основѣ ея лежитъ какой-то очень существенный коллективный духовный опытъ, а, во-вторыхъ, потому, что авторъ обладаетъ и значительной общей культурой и безспорнымъ художественнымъ дарованіемъ. Именно то обстоятельство, что у автора есть что сказать и что онъ располагаетъ средствами выразить то, что занимаетъ его умъ, заставляетъ отнестись къ его книгѣ съ большою внимательностью и отмѣтить въ ней всѣ тѣ ея стороны, которыя ослабляютъ впечатлѣніе отъ нея. Это, во-первыхъ, крайняя устарѣлость ея художественнаго задания. «Отечество» — аллегорическій романъ, жанръ, имѣвшій псѣ права на существованіе въ средніе вѣка, когда «наука» и «поэзія» еще не разграничивались, но сейчасъ просто nepозволительный, незаконный. У Таманина почти всѣ персонажи, начиная съ главнаго, нужны не сами по себѣ, не какъ части художественнаго цѣлага, а какъ «представители» той или иной «идеи», какъ образы, иллюстрирующіе извѣстныя «отвлеченныя понятія». Въ средневѣковыхъ романахъ такія аллегорическія фигуры носили «говорящіе» имена — напр., *Bel-Accueil*, *Faux-Semblant* въ знаменитомъ *Roman de la Rose*, — обычай, унаслѣдованный классической комедіей (напр., Репетиловъ, Молчалинъ, Кривосудовъ, Стародумъ и т. п.).

Во-вторыхъ: рассказъ отъ лица главнаго персонажа ведется на трехъ различныхъ и смѣняющихся другъ друга самымъ немотивированнымъ образомъ языкахъ: то это судорожное бормотанье нѣкоторыхъ самихъ съ собою разговаривающихъ героев Достоевскаго, съ характерными для этого языка повтореніями словъ и концовъ фразъ; то — имитирующей «народную» рѣчь «сказъ» во вкусѣ Кохановской

или Даля — Козака Луганскаго (сказуемая-глаголы въ концѣ предложія, прилагательныя послѣ имени, двойныя словечки — «крѣпость-твердыя», «журчить-катится», «скрѣпа-слѣпа», «вѣбжалъ-влетѣлъ» и т. п.; такихъ словечекъ въ «Отечествѣ» множество); то, наконецъ, обыкновенный, «общій» языкъ.

Въ-третьихъ, чрезмѣрная растянутость, осложняемая къ тому-же странностями въ композиціи. Разказчикъ подробно повѣствуетъ въ началѣ романа о вечеринкѣ у Фонаревыхъ. Потомъ онъ снова вспоминаетъ о ней. Это было бы у мѣста, если бы разказъ былъ, по замыслу, воспроизведеніемъ soliloquium'a разказчика, т. е. если бы авторъ добивался того, чтобы заставить читателя какъ бы подслушивать говорящаго съ самимъ собой героя (какъ этого добивался Достоевскій; тогда бы и бормотанье «подъ Достоевскаго» было бы кстати). Но романъ Таманина, какъ заявляетъ самъ герой-разказчикъ, обличенъ въ форму воспоминаній.

Вѣроятно, все это — и стилистическая несогласованность, и растянутость, и аллегоричность персонажей, обусловлено тѣмъ, что самъ авторъ не согласовалъ въ себѣ художника и мыслителя-публициста. Оттого и вниманіе читателя двоится: отвлеченная идея, «теза» романа не сочетается въ нашемъ сознаніи нерасторжимо съ его художественной идеей, которой просто-на-просто нѣтъ; эта «отвлеченная» идея заинтересовываетъ сама по себѣ; какъ и иные эпизоды романа заинтересовываютъ тоже сами по себѣ. Какъ это обычно въ художественныхъ произведеніяхъ «à thèse», и какъ это вполне естественно, наиболѣе удачными мѣстами являюся тѣ, которыя выпадаютъ изъ заданія, которыя не служатъ «моментами» въ развитіи отвлеченной идеи, т. е. тѣ, гдѣ авторъ-мыслитель не мѣшаетъ автору-художнику. Оттого и «эпизодическіе» персонажи выходятъ, въ подобныхъ произведеніяхъ, лучше главныхъ: чѣмъ меньше персонажъ нуженъ автору для обоснованія его «тезы», тѣмъ меньше авторъ нагружаетъ его аллегорическими атрибутами, тѣмъ меньше съ нимъ возится — и тѣмъ легче ему жить собственной жизнью. Мѣрками большого художественнаго дарованія автора являются такія мѣста, какъ вечеринка у Фонаревыхъ, такіе образы, какъ Фонаревъ, его жена, ихъ гости, старушка-нѣмка, а въ особенноти мастерски набросанный Пельтеевъ.

Съ точки зрѣнія убѣдительности романа есть аналогія между манерой изображенія персонажей у автора и его языкомъ. Такъ какъ главный «носитель» идеи автора аллегориченъ съ самаго того момента, когда начинается его «возвышеніе» («паденіе» его, надо признать, изображено захватывающе), то всюду, гдѣ авторъ заставляетъ насъ помнить, что его, авторская, проповѣдь — результатъ духовнаго опыта его героя, — а это достигается тѣмъ, что рѣчь автора имитируетъ «внутренній языкъ» героя, — онъ неубѣдителенъ; въ тѣхъ-же случаяхъ, когда авторъ забываетъ объ этомъ вымышленномъ духовномъ опытѣ «героя» (ибо самъ герой вымышленъ, надуманъ), и начинаетъ говорить, пусть попрежнему отъ имени «героя», но своимъ собственнымъ, т. е., повторяю, общимъ языкомъ, пробле-

ма, поднятая имъ, вырастаетъ предъ нами во всей своей значительности, заставляетъ задуматься надъ нею, начинаетъ волновать и тревожить мысль, какъ результатъ всякаго подлиннаго духовнаго опыта. Ради того, чтобы приобщиться къ этому опыту, и слѣдуетъ прочесть книгу Таманина.

#### П. Бицилли.

**В. Корсакъ.** Подъ новыми звѣздами. Изд. Кн. Маг. «Москва», Парижъ. 1933.

Тотъ, кто читаетъ только эту книгу В. Корсака, нѣсколько удивится, почему авторъ посвящаетъ цѣлый большой томъ событіямъ второстепенной важности, и переживаніямъ не сложнаго общественнаго порядка. Но знающій его предшествовавшее «пяτικнижје» («Плѣнъ», «Забытые», «У красныхъ», «У бѣлыхъ» и «Великій исходъ»), пойметъ, что эта новая книга для В. Корсака субъективно необходима: она пополняетъ его бытовую эпопею и, повидимому, исчерпываетъ до конца багажъ его удивительнаго житія. Поэтому, въ связи съ прежними, говорить объ этой новой книгѣ невозможно.

«Плѣнъ» и «Забытые» — исторія маленькаго человѣка, офицера военнаго времени, попавшаго въ мясорубку и испытывающаго въ самомъ началѣ войны худшее и унижайшее — германскій плѣнъ. У Корсака есть рѣдкая авторская способность — отодвигать свою личность на незамѣтный планъ. Не жизнь такого-то, а страшный бытъ людей, упрятанныхъ за колючую проволоку и за стѣны тюрьмы, понемногу теряющихъ человѣческой обликъ, еще раньше потерянный тѣми «исполняющими приказъ», которые держатъ ихъ внѣ міра и человѣческихъ отношеній. Совершенно исключительныя страницы! Тотъ же простой, безъ малѣйшей вычурности, безъ крика (а крикъ былъ бы такъ естествененъ!) рассказъ продолжается въ трехъ слѣдующихъ книгахъ, посвященныхъ уже инымъ описаніямъ — пребыванію «на свободѣ» у красныхъ, у бѣлыхъ, и нелѣпницъ великаго исхода. Трудно найти описаніе ярче и объективнѣе, безъ попытки непременно обвинять или оправдывать, дѣлить людей на добродѣтельныхъ и злодѣевъ, принимать чью-нибудь сторону. Не протоколъ и не художественная выдумка, — живая запись человѣка, увидавшаго и пораженнаго, оставащагося одинокимъ въ толпѣ такихъ же одинокихъ, — потому что естественной человѣческой связи уже нѣтъ, она забыта и растоптана, она умерла раньше ея носителей.

Пять книгъ составляютъ, такимъ образомъ, не только законченный образъ неповторимаго (какъ и эпоха неповторима) житія, но и страшный документъ недавняго прошлаго, въ ряду подобныхъ документовъ — одинъ изъ цѣннѣйшихъ и достоинѣйшихъ.

Последняя книга В. Корсака, какъ уже сказано, вызвана, очевидно, личной авторской необходимостью завершить свой трудъ, отдавъ въ печать и то, что накопилось попутно въ его записяхъ и съ чѣмъ

нужно ему, такъ сказать, психологически расквитаться. Это — періодъ госпитальныхъ скитаній «подъ новыми звѣздами» въ Египтѣ. Объективно менѣе цѣнный матеріалъ цѣненъ автору лично. Можетъ быть потому онъ пробуетъ использовать его въ новой формѣ, какъ бы беллетристической, отъ третьяго лица, съ намеками на романъ. Такимъ же опытомъ была для В. Корсака его «Исторія одного контролера». И хотя всякій авторъ правъ въ выборѣ формы, — но и критика вправѣ усумниться, правильно ли форма выбрана. Новая книга мнѣ кажется слабѣ прежнихъ именно попыткой измѣнить обичной, болѣе автору свойственной формѣ. Для романа нужень вымыселъ — простая хроника его замѣнить не можетъ; и къ роману мы предъявляемъ иныя требованія, чѣмъ къ просто правдивой и документальной книгѣ. Книга В. Корсака хочеть быть и протоколомъ, и личнымъ романомъ, и чуть ли не путеводителемъ по землѣ великаго Сфинкса, — а это и невозможно и несомнѣнно.

Тѣмъ, кто прежнихъ книгъ В. Корсака не знаетъ, его новый томъ удовлетворенія, поэтому, не доставитъ; но для ранѣе прочитавшихъ его прекрасное «пятникниже», она не покажется напрасной: ею исчерпывается эпопея странствій челоуѣка, путей своихъ не избиравшаго и отдавашагося судьбѣ, которая не поторопилась найти для него тихую пристань.

Мих. Ос.

**Е. Булгакова.** Царевна Софья. Историческая повѣсть. Изд. УМСА-Press, Парижъ, 1933.

Если авторъ имѣлъ въ виду главнымъ образомъ читателя изъ русской эмигрантской молодежи, растущей не только вдали отъ Россіи, но часто и въ сторонѣ отъ русскихъ вліяній, и постепенно утрачивающей свою національность, то, думается, своей «исторической повѣстью» изъ эпохи правленія царевны Софьи, ему удалось дать русской эмигрантской молодежи хорошую и пужную книжку.

У этой книжки много положительныхъ качествъ. Она написана простымъ и хорошимъ русскимъ языкомъ, выдержаннымъ приблизительно въ стилѣ эпохи. Историческая канва нарисована добросовѣстно и полно, что указываетъ на большую работу и внимательное изученіе эпохи. Историческія фигуры — самой царевны Софьи, князя Василия Голицына, князя Хованскаго, юнаго Петра, Лефорта, Ромодановскаго — нарисованы въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ представленіемъ, которое о нихъ уже давно сложилось, какъ въ исторической наукѣ, такъ и въ художественной литературѣ.

Описываемая эпоха охватываетъ періодъ съ 1682 года, года смерти царя Федора Алексѣевича, по 1698 г., когда, по приказанію царя Петра, была заточена въ Новодѣвичій монастырь Софья. Этотъ короткій историческій періодъ — правленіе Софьи — какъ извѣстно, весьма богатъ событиями: борьба Нарышкиныхъ и Милославскихъ, стрѣлецкій бунтъ, заговоръ князя Хованскаго, два крымскихъ похо-

да князя Василия Голицына, заговоръ Шакловитаго, Цыклера, расправа со стрельцами...

На фонѣ этихъ громкихъ и кровавыхъ событій черезъ всю книгу авторъ провелъ тонкія линіи нѣсколькихъ романическихъ сюжетовъ, эпизодовъ трогательныхъ и трагическихъ, причемъ дѣло не обошлось безъ традиціонныхъ описаній свадьбы и «старской невѣсты», колдовства и заклинаній въ дремучемъ лѣсу... Занимательность судебъ отдѣльныхъ лицъ заставляетъ внимательнѣе слѣдить и за историческими событіями, а незнакомыхъ съ ними — знакомиться.

Женскія фигуры автору удалась лучше: всего ярче выступаетъ въ его повѣствованіи фигура Софьи — властной и мужественной. Прелестенъ образъ Лизы Соковниной и трогателенъ идиллическій эпизодъ на свадьбѣ царя Ивана съ потерянной Лизинной «ширичковой». Но фигура юнаго Петра слишкомъ эскизна, и слишкомъ скупы ея краски. Впрочемъ, можетъ быть, это сдѣлано и намѣренно, чтобы заслонить образа Софьи.

Авторъ былъ внимателенъ не только къ историческимъ событіямъ и лицамъ, но и къ обстановкѣ эпохи — домашній бытъ, внутреннее убранство комнатъ, одежды, все это описано подробно и, повидному, послѣ тщательнаго изученія. Приятно отмѣтить, что авторъ не увлекся психологическимъ истолкованіемъ характеровъ историческихъ персонажей, — они больше дѣйствуютъ, чѣмъ размышляютъ вслухъ, благодаря чему кажутся болѣе живыми: сомнительная мода «романизованныхъ» биографій благодаря этому счастливо избѣгнута. Этимъ достигнута вмѣстѣ съ тѣмъ простота и извѣстная внутренняя художественная честность.

В. Зензиновъ.

*Aldous Huxley. Brave New World. London, 1932.*

Совершенно рационализированное и абсолютно стабилизированное общество, какъ оно вождѣется приверженцами коммунистической утопіи и ихъ буржуазными поклонниками, — такова тема новой остроумно и глубоко написанной сатиры Гексли. Въ этомъ «бравомъ новомъ мірѣ» техника и раціоналізація «начинаются съ самаго начала» и проведены до самаго конца. Люди здѣсь не рождаются, а производятся въ инкубаторахъ. Въ зависимости отъ будущей социальной функціи въ реторту челоуѣческаго зародыша на опредѣленныхъ метрахъ конвейера прибавляются разныя вещества, подъ воздѣйствіемъ которыхъ изъ реторты «выбалтываются» въ нужномъ для промышленности количествѣ альфы, беты, гаммы, дельты и т. д., физиологическія и умственныя качества которыхъ точно соотвѣтствуютъ будущей работѣ этихъ кастъ стабилизированнаго общества. Какъ дѣторожденіе замѣнено «выбалтываніемъ», такъ и воспитаніе замѣнено «обуславливаніемъ», въ остроумномъ описаніи котораго нетрудно распознать основныя черты «педагогика среды» Монтеessori и совѣтской педаго-

гики, усыпляющей воспитанниковъ тысячекратнымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же рецептовъ соціальной мудрости.

Техника, счастье и соціальность являются началами, изъ которыхъ эжидется этотъ новый міръ. Наука въ немъ существуетъ лишь постольку, поскольку она нужна техникѣ, художникъ замѣняетъ въ немъ «эмоциональнымъ инженеромъ», любовь — ничѣмъ не связывающими половыми наслажденіями. Замѣняетъ и алкоголь чудодѣйственнымъ «сома», соединяющимъ всѣ преимущества алкоголя, безъ всѣхъ его недостатковъ, съ преимуществами омолаживающихъ человѣка препаратовъ. Упраздненъ, разумѣется, и Богъ за ненадобностью. Міръ поклоняется Форду и обществу. Религія есть область эмоциональной техники, и функція ея возбудить до предѣла соціальныя эмоціи. Вотъ только смерть не побѣждена. Но зато преодолень страхъ смерти: люди умираютъ въ великолѣпныхъ «мориторияхъ» на глазахъ у дѣтей, пачками посѣщающихъ ихъ, чтобы «привыкнуть къ смерти». Проблемы будущаго не существуетъ въ этомъ мірѣ стабилизированнаго настоящаго, такъ же, какъ и проблемы прошлаго: исторіи не только не учатъ, но она вообще отмѣнена. За десятью замками въ бібліотекѣ «мірового контролера» (ихъ десять на всю планету) консервированы документы неразумнаго прошлаго, среди нихъ и Библія, и Шекспиръ. Благодѣтельная цензура искусно бдитъ за тѣмъ, чтобы никакіе вопросы не возмущали безмятежности личнаго и стабильности общественнаго строя.

Увы, абсолютнаго совершенства нѣтъ и въ этомъ новомъ бравомъ мірѣ. Даже среди элиты («альфа») оказываются неудовлетворенные: Бернардъ Марксъ, про котораго говорятъ, что кони подбавили ему въ реторту лишннихъ два грамма алкоголя; Гельмгольцъ Ватсонъ, сочинитель рифмованныхъ сентенцій гипнopedической мудрости. Одинъ никакъ не можетъ примириться съ тѣмъ, что въ новомъ обществѣ «каждый принадлежитъ каждому», другому наскучивается сочинять стихи безъ всякаго содержанія съ одной только техникой, и онъ вдругъ сочиняетъ оду Одиночеству. Появленіе въ ихъ обществѣ «дикаря» еще болѣе обостряетъ положеніе. Джонъ не только выросъ среди дикарей, живущихъ въ особомъ заповѣдникѣ, содержимомъ для научныхъ дѣлелей, но и родился отъ матери. Случайно попавшій ему въ руки затрепанннй томъ Шекспира былъ его единственнымъ чтеніемъ, и, въ Лондонѣ, куда его съ матерью привозитъ нашедшій ихъ Бернардъ, Джонъ продолжаетъ мыслить и чувствовать по Шекспиру, а не по правиламъ эмоциональной техники. Неудивительно, что отношенія его съ Лениной, породистымъ экземпляромъ «альфа-плюса», затягиваются въ неразрѣшимый узелъ и приводятъ къ трагическому концу.

Такова фабула повѣсти, помогающая остроумному автору нарисовать во всѣхъ его послѣднихъ достиженіяхъ міръ, въ которомъ безраздѣльно торжествующая техника установила окончательную стабильность. Во всей полнотѣ своей идеологическая проблематика романа получаетъ свое выраженіе въ бесѣдѣ, которую ведетъ «міровой контролеръ» Мустафа Мондъ съ героями романа, отправляющимися въ ссылку на «острова недовольныхъ». «Міръ теперь стабилизированъ, говорить

онъ. Люди счастливы; они имѣютъ все, что хотятъ, и они никогда не хотятъ того, чего не могутъ получить. Они благодарствуютъ; они пользуются благами безопасности; никогда не болѣютъ; не боятся смерти; они такъ «обусловлены», что они практически не могутъ себя вести иначе, чѣмъ должны себя вести. А на худой конецъ у нихъ есть всегда «сома». «Надо выбирать между счастьемъ и свободой. Мы выбрали счастье и заплатили за него искусствомъ, наукой, религіей».

Русскій читатель безъ труда узнаетъ въ мировомъ контролерѣ современный вариантъ Великаго Инквизитора. Что здѣсь мы имѣемъ не простое совпаденіе, но и прямое вліяніе Достоевскаго, это видно изъ всего контекста. Да и не случайно эпиграфомъ къ своей повѣсти избралъ Гёксли слова Н. Бердяева о томъ, что «наступаетъ время, когда образованные люди будутъ мечтать о средствахъ для того, чтобы избѣжать утопій и вернуться къ обществу, не утопическому, менѣе «совершенному», но зато и болѣе свободному». Значитъ, не только пятилѣтка, но и подлинная русская культура находятъ свой доступъ къ душѣ англійской интеллигенціи, характернѣйшимъ представителемъ которой является Гёксли.

С. I. Гессенъ.

**М. Цетлинъ.** Декабристы. Судьба одного поколѣнія. Изд. «Совр. Записки», 1933.

То, что составляетъ предметъ повѣствованія въ книгѣ М. Цетлина, изложено, насколько я могу судить, весьма удачно: въ соотвѣтствіи съ дѣйствительностью, безъ всего того, что въ послѣднее время стало какъ-бы обязательнымъ для историковъ-популяризаторовъ — безъ ненужнаго щеголянья эрудиціей, безъ психологизированія, соединеннаго съ фамильярничаньемъ съ героями повѣствованія (съ Пушкинымъ на дружеской ногѣ...); авторъ не выдвигаетъ себя на первый планъ, заставляетъ говорить факты — и именно благодаря этому удалось ему воспроизвести «духъ» декабризма, его своеобразный пафосъ, его трагическую поэзію, дать углубленную характеристику нѣкоторыхъ наиболѣе значительныхъ участниковъ движенія, — Лунина, Муравьевыхъ, Бестужевыхъ, Борисова, Рылѣева, Пестеля. Очень интересно, кстати сказать, и убѣдительно предположеніе автора, что Пестель послужилъ прототипомъ для Пушкинскаго Германа.

Чѣмъ больше даетъ какая-нибудь книга, тѣмъ большаго отъ нея требуешь. Авторъ черезчуръ сузилъ свою тему, вѣрнѣе — поле своихъ наблюденій. «Декабристы», которыми онъ интересуется, это — почти исключительно вожди декабристскаго заговора. Послѣднихъ было очень немного, тогда какъ декабристское движеніе, а тѣмъ болѣе декабристское направленіе захватывало дѣйствительно цѣлое поколѣніе. И среди рядовыхъ декабристовъ немало было людей значительныхъ либо самихъ по себѣ, либо въ качествѣ представителей извѣстныхъ тенденцій ихъ времени. Лишь ознакомившись, насколько это позволяютъ источники, со всѣми ими, по крайней мѣрѣ съ нан-

болѣ типичными представителями различныхъ оттѣнковъ декабризма, возможно учесть, во всемъ ихъ многообразіи, мотивы, двигавшіе декабристами, а также — что крайне важно, разъ рѣчь идетъ о судьбѣ «одного поколѣнія», — связать это поколѣніе съ предшествующимъ, т. е. дать единственно удовлетворительное съ исторической точки зрѣнія истолкованіе декабризма. Такъ, напр., связь декабристскаго движенія съ масонскимъ была органичнѣе, крѣпче, глубже, нежели это можетъ показаться тому, кто бы сталъ знакомиться съ исторіей декабристовъ по книгѣ М. Цетлина. Авторъ удѣлилъ немного вниманія кн. Волконскому. Его сотоварищи считали его человекомъ недалекимъ. Онъ дѣйствительно похожъ на Ник. Ростова. Однако, онъ очутился въ одномъ лагерѣ съ Пьерами Безуховыми. Его воспоминанія удивительно какъ напоминаютъ мемуары служивыхъ людей XVIII в. Не романтизмъ, не идеологическія увлеченія, а созданіе отвѣтственности передъ Государствомъ, которому онъ служилъ, привело его къ тайному обществу. И такихъ, какъ онъ, немало было среди декабристовъ. Авторъ обошелъ молчаніемъ рядъ декабристскихъ показаній, данныхъ слѣдственной комиссіи, заключающихъ въ себѣ чисто дѣловую критику русскихъ порядковъ. Высоко развитое чувство личной отвѣтственности — общая черта служилой аристократіи XVIII и начала XIX в. — опредѣлило собою и все поведеніе кн. Трубецкого, какъ это выяснено въ цѣнной работѣ Е. Максимовича (Сб. статей въ честь Милюкова), очевидно оставшейся автору неизвѣстной, въ силу чего онъ повторяетъ устарѣлое и несправедливое объясненіе образа дѣйствій «диктатора» въ день 14 декабря. Отмѣчу еще нѣкоторые недочеты, — подчасъ можетъ быть простиыя обмолвки. Говоря о предложеніи Лунина совершить цареубійство, авторъ замѣчаетъ: «онъ былъ единственнымъ изъ членовъ Общества способнымъ перейти отъ словъ къ дѣлу» (36). Непонятно, какое у автора было основаніе утверждать это. Соціалистъ Сень-Симонъ не былъ «герцогомъ» (27). Заочный приговоръ былъ вынесенъ не Александру Тургеневу (285), а Николаю. Авторъ посвятилъ особый отдѣлъ судьбѣ декабристовъ послѣ суда и приговора, пр. лѣтилъ жизни, цѣлаго ряда ихъ, — и не сказалъ ни слова о судьбѣ Батенькова, на которую онъ самъ себя обрѣкъ, ни слова о мемуарахъ и Записяхъ этого, можетъ быть, и «не вполне уравновѣшеннаго» (154) человѣка, — но прежде всего глубочайшаго мистика.

П. Бицилли.

*Marc Vichniac. Lénine. Librairie Armand Colin. Paris, 1932.*

«Ames et visages» — таково названіе біографической серіи, въ которой вышла книга М. В. Вишняка о Ленинѣ. Это названіе какъ нельзя болѣе просто и подходяще. Дѣйствительно, въ чемъ же и смыслъ, и польза всякой біографіи, какъ не въ изображеніи именно души и лица, то-есть того, какъ душа героя выражается въ его вѣншемъ обликѣ, непремѣнно включая сюда и личную жизнь, съ ея мелочами.

слабостями, привычками и т. п. До недавняго времени такія жизнеописанія были немногочисленны. Почти всегда историческій чело-вѣкъ оказывался повернутъ къ намъ, какъ луна, одною лишь «оф-фициальной» своей стороною. Передъ нами проходили не люди, а дѣятели, то-есть какъ бы воплощенныя карьеры или идеи. Выѣшнее тяготѣніе читателей къ біографіямъ болѣе или менѣе «интимнымъ» далеко не есть просто мода, и за нимъ скрывается вовсе не только низменное желаніе «толпы» заглянуть въ частную жизнь замѣчатель-наго челоуѣка. Этоупотребленія здѣсь, разумѣется, возможны. Они и случаются — мы знаемъ рядъ біографій, потворствующихъ пошло-му любопытству. Однако, въ основѣ лежитъ тутъ вполне здоровое и научно законное стремленіе видѣть историческихъ людей во всей полнотѣ ихъ личности. Только такъ они могутъ быть по настояще-му поняты. Больше того -- только такъ можетъ быть по настояще-му понята ихъ роль въ исторіи.

Интересъ иностранныхъ читателей къ жизни и личности Ленина совершенно понятенъ. Однако, именно тутъ ихъ любознательность наталкивается на препятствіе почти непреодолимое. Можно изобра-зить выѣшнее теченіе ленинской жизни, но какъ разъ душу его и лицо представить наглядно почти невозможно, потому что именно у него, какъ ни у кого другого, на мѣстѣ души и лица находимъ без-душіе и безличіе: бездушіе и безличіе не въ ходячемъ, поверхност-номъ смыслѣ этихъ словъ, а въ очень глубокомъ, — можетъ быть, даже мистическомъ.

Ленинъ останется въ исторіи образомъ челоуѣка, сыгравшаго огромную роль, не принеся собственной идеи. Его дѣятельность бы-ла лишь упорнымъ стремленіемъ осуществить на практикѣ теорію, не имъ созданную. Онъ популяризировалъ, даже корректировалъ, при-способлялъ къ обстоятельствамъ, но не избрѣталъ. Это была прак-тичь, а не теоретичь, вожачь, а не учитель. Отсюда его демагогизмъ, цинизмъ, неразборчивость въ средствахъ, — всѣ качества, полезныя политическому дѣльцу, спекулянту, но невозможныя для философа или соціолога. Его мысль упряма, но неоригинальна. Еще въ юности онъ увѣровалъ въ Маркса и всю жизнь, какъ вѣрный мулла, добилъ свой Коранъ, въ которомъ такъ отрицаются существованіе души и значе-ніе личности. Замѣчательно, что его желаніе и умѣніе навязывать ре-волюціи тѣ, а не иные пути, и то самовластіе, съ которымъ онъ рас-поряжался сперва своими послѣдователями, а затѣмъ всей Россіей, должны были бы его навести на мысль о значеніи личности въ исторіи. Но эта мысль ему либо не приходила, либо онъ отъ нея отмахив-вался, боясь поколебаться въ собственной вѣрѣ. Какъ всѣ упорные, способные, но не глубоко одаренные ученики, онъ оказался прямо-линейнѣе учителя. Онъ сдѣлалъ съ собою то, чего и самъ Марксъ не сдѣлалъ: душевную и личную свою жизнь онъ свелъ къ искорене-нію, къ выправленію всякихъ проявленій душевности и личности. Въ этомъ онъ преуспѣлъ, превратившись не только въ профессионала, но и въ робота революціи. У робота, разумѣется, челоуѣческой біо-

графинъ быть не можетъ. Ея, въ сущности, нѣтъ и у Ленина. Съ этимъ обстоятельствомъ, для біографа роковымъ, пришлось столкнуться и М. В. Вишняку. Какъ самъ Ленинъ, такъ и его близкіе почитали нѣкимъ идеаломъ политической личности именно безличіе и бездушіе. Естественно, что ни сочиненія Ленина, ни его письма, ни воспоминанія даже самыхъ близкихъ къ нему людей не дають почти никакого матеріала для обрисовки живого, человѣческаго образа. (Этого образа тишея и посмертный культъ Ленина, созданный его учениками). Тѣ количественно скудныя и качественно блѣдныя черты, которыя можно извлечь изъ имѣющихся матеріаловъ, собраны М. В. Вишнякомъ съ величайшей тщательностью и использовали очень умѣло. Въ этомъ направленіи сдѣлано имъ все, что могъ сдѣлать біографъ, не превращаясь въ романиста и не желая возмѣстить отсутствіе психологическихъ данныхъ психологическими догадками. Не его вина, если онъ вынужденъ оставить открытымъ даже вопросъ, чрезвычайно важный для пониманія ленинской біографіи и всей роли Ленина въ исторіи революціи: вопросъ о томъ, какъ, отчего и когда началась и какъ протекала психическая сдѣлзнь Ленина. При такихъ условіяхъ біографія Ленина неизбѣжно должна была стать скорѣе книгой о роли Ленина въ исторіи русской революціи, нежели жизнеописаніемъ въ точномъ смыслѣ слова.

Поскольку книга М. В. Вишняка рассчитана на широкіе круги иностранныхъ читателей, располагающихъ самыми ограниченными, а зачастую и фантастическими свѣдѣніями о Россіи и русской исторіи, — она содержитъ въ себѣ довольно много такихъ вещей, которыя русскому читателю болѣе или менѣе хорошо извѣстны. Однако, и русскому читателю будетъ далеко небезполезно ее прочесть, отчасти для того, чтобы пополнить свои познанія свѣдѣніями менѣе общеизвѣстными (онъ найдетъ ихъ въ книгѣ немало), отчасти же — чтобы воскресить въ памяти картину событій, изложенныхъ съ максимальной объективностью, какой можно ожидать отъ автора, посвятившаго собственную жизнь революціонной дѣятельности. Мнѣ кажется, что похвалы заслуживаетъ и та объективность, которую М. В. Вишнякъ проявляетъ по отношенію къ своему герою, бывшему при жизни и оставшемуся послѣ смерти его политическимъ драгомъ. Замѣчу, наконецъ, что такая объективность полезна еще и тактически. Иностраный читатель не встрѣтитъ въ книгѣ М. В. Вишняка той вышней страстности, той рѣзкости сужденій, которая такъ часто заставляетъ его подозрѣвать авторовъ-эмигрантовъ въ неправдивости. Изложеніе М. В. Вишняка, несомнѣнно, расположитъ такого читателя къ добѣрью, что и требуется, ибо въ конечномъ счетѣ и отрицательная качества самого Ленина, и вредъ имъ причиненный Россіи, и весь ужасъ большевnickой революціи выступаютъ въ книгѣ совершенно отчетливо.

Владиславъ Ходасевичъ.

*Seminarium Kondakovianum*. Сборникъ статей по археологiи и антиковѣдѣнiю, издаваемый Институтомъ имени Н. П. Кондакова, т. V. Прага, 1932.

Пятый томъ этого прекраснаго изданiя, составляющаго гордость русской науки за рубежомъ, не уступаетъ предыдущимъ томамъ въ цѣнности опубликованныхъ въ немъ новыхъ матеріаловъ и интереснѣйшихъ историческихъ изслѣдованiй. Часть этихъ работъ попрежнему принадлежитъ иностраннѣмъ ученымъ, специализировавшимся въ областяхъ, близкихъ русскимъ научнымъ интересамъ или впервые разработанныхъ русскими учеными. Таково, напримѣръ, изслѣдованiе Поля Пердризе о нерукотворномъ образѣ Иисуса Христа и легендѣ св. Вероники, или «Иконографiя акаѳиста Дѣвы Марiи» I. Мысливца, или еще въ значительной мѣрѣ обновляющая вопросъ работа венгерскаго археолога Ф. Вамоса о лагерѣ Атиллы. Изъ русскихъ работъ необходимо упомянуть статью о сумерiйскомъ безмѣнѣ лучшаго въ Европѣ знатока древнѣйшихъ мѣръ и вѣсовъ Н. Т. Бѣляева, недавно закончившаго работу по сортировкѣ соответствующаго археологическаго матеріала въ Британскомъ музеѣ и нынѣ приглашеннаго для такой же работы въ Лувръ; проинициальное и острое, какъ всегда, изслѣдованiе Г. А. Острогорскаго, посвященное славянскому переводу хроники Симеона Логовета; работы А. А. Васильева (на англiйскомъ языкѣ) объ одной арабскомъ описанiи Константинополя, В. А. Мошина о Николаѣ, епископѣ Тмутороканскомъ, Н. П. Толля объ иконѣ Тихвинской Божiей Матери изъ собранiя К. Т. Сойдатенкова, С. И. Покровскаго о новооткрытой мозаикѣ въ базиликѣ св. Софiи города Софiи. Каждое изъ этихъ изслѣдованiй заслуживаетъ подробнаго отчета, но за неимѣнiемъ мѣста мы принуждены считать больше остановиться лишь на двухъ работахъ — одной русской, другой нѣмецкой, — имѣющихъ особое значенiе для исторiи русскаго искусства.

Первая изъ этихъ работъ, очень тщательная и дѣльная, принадлежитъ молодому историкѣ Н. Е. Андрееву и трактуется о знамени томъ «Дѣлѣ дьяка Висковатова», упоминаемомъ всѣми, кто писалъ о московской иконописи XVI вѣка, но до сихъ поръ не подвергнутомъ никѣмъ достаточно внимательному изслѣдованiю. Автору впервые удалось во всѣхъ подробностяхъ обрисовать сложную обстановку этого спора, гдѣ одинаково интересны и личныя группировки на каждой изъ враждовавшихъ сторонъ, и само принципиальное разногласiе, и скрытые его корни. Отнынѣ нужно считать установленнымъ новгородское (и въ конечномъ счетѣ западно-европейское) происхожденiе большинства иконографическихъ новшествъ, вызвавшихъ Висковатовскiй протестъ, а также политическую подоплеку спора, сводящуюся къ борьбѣ новгородской олигархической традицiи съ самодержавными тенденцiями Москвы.

Еще болѣе существенный интересъ для исторiи русскаго искусства имѣетъ работа молодого австрiйскаго ученаго, ученика Стриговскаго, В. Борна, о звѣрномъ стилѣ въ сѣверно-русской книжной жи-

вописи. Будучи лишь частью обширнаго изслѣдованія, еще не напечатаннаго цѣликомъ, работа эта по новому ставитъ вопросъ о зооморфномъ орнаментѣ новгородскихъ и псковскихъ рукописей, главнымъ образомъ XIV вѣка, еще со времени Бусласва и Стасова хорошо извѣстномъ русской наукѣ, но никогда не подвергавшемся въ ней сколько-нибудь углубленному стилистическому анализу. Изслѣдованіе Борна устанавливаетъ не только общую связь этого орнамента съ древне-скандинавскимъ — она и безъ того достаточно ясна, — но и прослѣживаетъ всю нелегко находимую здѣсь историческую филиацию: книжные живописцы Новгорода въ XIV вѣкѣ оказываются продолжателями и завершителями оборванной въ скандинавскихъ странахъ уже въ XI вѣкѣ традиціи орнаментальной рѣзбы по металлу и дереву. Историческій процессъ этотъ, остававшійся до сихъ поръ совершенно неизвѣстнымъ, тѣмъ болѣе убѣдителенъ и интересенъ, что легко указать ему гораздо болѣе раннюю и любопытнѣйшую параллель: переходъ аналогичныхъ орнаментальныхъ формъ съ сѣверо-германскихъ рѣзныхъ предметовъ въ ирландскую книжную живопись VIII в.

В. Вейдле.

**Записки Русскаго Научнаго Института въ Бѣлградѣ. Выпускъ 7. Бѣлградъ, 1932 г.**

«Записки Русскаго Научнаго Института въ Бѣлградѣ», издающіяся съ 1930 г., составляютъ для будущаго историка русской эмиграціи нашего времени, — наряду съ выходящими въ Прагѣ изданіями Пражскаго Русскаго Института, Русскаго Народнаго Университета, трудами съѣздовъ русскихъ ученыхъ и нѣсколькими выпусками Записокъ Русской Учебной Коллегіи, — очень цѣнное пособіе для характеристики той научно-исслѣдовательской энергіи, которая проявляется русскими учеными въ тяжелыхъ условіяхъ эмигрантскаго существованія. Съ 1930 г. и по сіе время появилось уже семь выпусковъ «Записокъ русскаго научнаго Института въ Бѣлградѣ». Выпуски 1, 3, 5 и 7 посвящены трудамъ по наукамъ гуманитарнымъ, а выпуски 2, 4 и 6 — математикѣ и естествознанію. Отмѣтимъ содержаніе недавно появившагося седьмого выпуска, что можетъ послужить образчикомъ того разнообразія и значительности научныхъ темъ, съ какими вообще составляются эти сборники.

✓ Пять статей посвящены здѣсь вопросамъ русской исторіи. Проф. А. Л. Погодинъ далъ критическій разборъ появившихся въ послѣднее время работъ по вопросу о варягахъ Руси.

Критическая статья А. Л. Погодина ярко характеризуетъ современное состояніе этого вопроса въ научной литературѣ. А. Л. Погодинъ подвергаетъ строгому разбору тѣ методологическія погрѣшности, въ которыя сплошь и рядомъ вдаются изслѣдователи этого вопроса, при чемъ справедливыхъ упрековъ въ этомъ отношеніи не избѣгаютъ и очень большіе знатоки своихъ специальностей. Вопросъ о варягахъ

Руси былъ всегда и остается по сей день какимъ-то роковымъ историческимъ ребусомъ, прикосновеніе къ которому увлекаетъ нерѣдко даже осторожнѣйшихъ и освѣдомленнѣйшихъ изслѣдователей на путь малообоснованнаго фантазирования. Обзоръ А. П. Погодина представляеть въ изобиліи характернѣйшіе тому примѣры и прочтется съ большимъ интересомъ, не только тѣмъ, кто привлекаетъ спеціально вопросъ о варягахъ Руси, но и тѣмъ, кто интересуется общими вопросами научной методологіи. Проф. Е. Ф. Шмурло извлекаетъ изъ ватиканскихъ архивовъ новыя данныя о посольствѣ Чемофрова въ Венецію въ 1656 г., личный разъ показывающія, съ какою настойчивостью римская Курія не упускала ни малѣйшаго случая, — какъ бы онъ ни былъ самъ по себѣ малозначителенъ, — для прибавленія какого либо новаго звена къ цѣпи своихъ успій воздѣйствовать въ своихъ видахъ на политику восточно-европейскихъ государствъ. Проф. П. Б. Струве возстановляетъ любопытный эпизодъ изъ исторіи русской науки: подробный разборъ появившагося въ 1839-1840 г. капитальнаго труда Неволлина «Энциклопедія законовѣдѣнія», сдѣланный молодымъ Куникомъ и напечатанный въ 1841 г. въ Погодинскомъ «Москвитиннѣ». Тутъ интересно освѣщается близость къ вопросамъ философіи права будущего замѣчательнаго византолога и спеціалиста по варяжскому вопросу. Проф. А. В. Соловьевъ далъ прекрасное изслѣдованіе по исторіи русскаго монашества на Афонѣ. Эта работа имѣетъ и научное и актуальное значеніе. Пользуясь современной разрухой Россіи, греки начинаютъ всячески вытѣснять съ Афона русскихъ монаховъ и въ связи съ этимъ въ Греціи появились выходящіе изъ официальныхъ сферъ историческіе обзоры русскаго монашества на Афонѣ, въ которыхъ съ тенденціозными цѣлями грубо извращаются подлинныя историческіе факты. А. В. Соловьевъ опровергаетъ эти измышленія, основываясь на строго проверенномъ документальномъ матеріалѣ. Проф. А. Н. Фатѣевъ даетъ обширное изслѣдованіе по исторіи составленія въ Россіи Свода Законовъ. Вызванное исполнившимся въ настоящемъ году столѣтіемъ со дня появленія перваго изданія этого Свода, изслѣдованіе А. Н. Фатѣева представляетъ собою трудъ высокоцѣнный и по объему новаго архивнаго матеріала, впервые использованнаго авторомъ, и по тонкости анализа, освѣщающаго тѣ руководящія идеи, которыя Сперанскій полагалъ въ основу этого грандіознаго кодификаціоннаго предпріятія и которыя совсѣмъ не сходились съ мыслями и намѣреніями императора Николая I.

Двѣ статьи касаются всеобщей исторіи. Проф. А. В. Соловьевъ разсматриваетъ вопросъ о карахъ за убійство въ византійскомъ и славянскомъ правѣ. Путемъ сопоставленія юридическихъ памятниковъ средневѣковья авторъ начертываетъ картину проникновенія византійскихъ нормъ, устанавливавшихъ смертную казнь и членовредительскія наказанія за убійство, въ славянское право, гдѣ убійство каралось денежными пенями — вирами, но къ этому авторъ добавляетъ важныя указанія и на обратное вліяніе славянскаго права на византійское, что въ наукѣ не было отмѣчено до самаго послѣдняго времени и что вырази-

лось въ томъ, что при Палеологахъ въ нѣкоторыхъ областяхъ Византии подъ несомнѣннымъ славянскимъ влияніемъ за убійство взыскивалась денежная пеня. М. А. Георгіевскій подвергаетъ пересмотру исторію одной изъ религіозныхъ сектъ древней Юдеи, — такъ называемой «Общины Новаго Завѣта», образовавшейся въ Дамаскѣ. М. А. Георгіевскій, разбирая ученыхъ контроверзы по вопросу объ этомъ движеніи, самъ приходитъ къ заключенію, что эта община отпочковалась отъ ортодоксальнаго фарисейства и представляла собою переходную ступень къ христіанству и что образование общины было современно Іоанну Крестителю и Христу. Философіи посвящены двѣ статьи. Проф. Е. В. Спекторскій даетъ блестящій этюдъ, устанавливающий мѣсто Гегеля въ исторіи философіи. Авторъ отвергаетъ какъ генетическую связь Маркса съ Гегелемъ, такъ и родственность Гегелевской системы съ другими великанами нѣмецкой философіи и указываетъ, что въ качествѣ философа-онтологиста и психологиста Гегель повелъ далѣе линію, идущую отъ Аверроеса и Спинозы, и что съ этимъ связаны и десница и шуйца Гегелевской философіи. Н. В. Краинскій даетъ насыщенную научнымъ остроуміемъ статью о логикѣ, какъ наукѣ не о технологіи мышленія, а о словесномъ выраженіи психическихъ образовъ и мыслей. В. В. Розенбергъ сжато, но выпукло рисуетъ процессъ коммерціализаціи и концентраціи современной періодической печати. А. Д. Билимовичъ разсматриваетъ вопросъ о возможности предсказанія урожая по даннымъ метеорологич. Такого содержаніе Сборника. Даже по этому краткому обзору его можно видѣть сколь оно разнообразно и значительно.

А. Кизеветтеръ.

***B. Brutzkus, W. Poletika und A. Ugrimoff. Die Getreidewirtschaft in den Trockengebieten Russlands. «Berichte über Landwirtschaft». Berlin, 1932.***

Недавно вышедшій въ Германіи коллективный трудъ русскихъ ученыхъ Б. Бруцкуса, В. Полетики и А. Утримова о зерновомъ хозяйствѣ засушливыхъ областей Россіи заслуживаетъ быть отмѣченнымъ не только въ виду содержащихся въ немъ цѣнныхъ свѣдѣній климата, топочнаго и агрономическаго характера о безбрежныхъ юго-восточныхъ и западно-сибирскихъ степяхъ, но и изъ-за того значенія, которое онъ представляетъ для иностранцевъ, желающихъ объективно разобратся въ подлинности совѣтскихъ достиженій въ области коллективизаціи и машинизаціи сельскаго хозяйства Россіи.

Въ 1930 и 1931 году, пока еще не успѣли сказаться пагубные результаты принудительной коллективизаціи, Россіи (впервые послѣ революціи) удалось вывести за границу до 10 милл. тоннъ зерна. Появленіе Совѣтскаго Союза на мировомъ рынкѣ въ качествѣ крупнаго экспортера, довольствующагося низкими цѣнами, произвело сильное впечатлѣніе на иностранцевъ. Многіе иностранные экономисты были склонны повѣрить утвержденію большевиковъ, что восстанов-

ление хлѣбнаго экспорта СССР связано не съ политизаціей сельскаго хозяйства и не съ раціонарированіемъ потребления, а съ успѣшнымъ освоеніемъ огромныхъ степныхъ площадей Россіи зерновыми совхозами. Успѣхи совѣтской пропаганды облегчались върой въ неограниченныя возможности еще нетронутой части Киргизскихъ степей и въ чудеса американской техники, впервые примѣняемой на гигантскихъ «фермахъ», владѣющихъ десятками, а иногда и сотнями тысячъ гектаровъ плодородной земли. Въ этихъ психологически благоприятныхъ для совѣтской пропаганды условіяхъ, берлинская секція германскаго Института по изученію сельскаго хозяйства, руководимая извѣстнымъ ученымъ Максомъ Зерингомъ, поручила профессорамъ Русскаго Научнаго Института въ Берлинѣ: экономисту Б. Бруцкусу, климатологу В. Полетникъ и агроному А. Угримову изслѣдовать, на основаніи богатаго матеріала совѣтскихъ метеорологическихъ и агрономическихъ станцій, весь сложный комплексъ вопросовъ, связанныхъ съ проблемой экспансіи зернового хозяйства Россіи черезъ освоеніе ея засушливыхъ областей гигантскими государственными фабриками зерна. Намъ кажется, что авторы коллективнаго труда пришли въ общемъ къ правильнымъ и цѣннымъ выводамъ.

Въ экономическомъ отдѣлѣ разбираемаго нами труда проф. Б. Д. Бруцкусъ подробно останавливается на мотивахъ, поведшихъ къ сплошной коллективизаціи крестьянскихъ хозяйствъ и къ образованію зерновыхъ совхозовъ въ засушливыхъ областяхъ Россіи. Первоначальное намѣреніе совѣтской власти поднять цѣлину въ обработанной части киргизскихъ степей и использовать невоздѣланныя площади чернозема, брошенная русскими колонистами въ періодъ массоваго голода и разрухи, смѣнилось рѣшеніемъ создать массовое производство пшеницы и ячменя на огромныхъ площадяхъ юго-востока Россіи, принудительно очищенныхъ отъ крестьянскихъ хозяйствъ. Малая продуктивность зерновыхъ совхозовъ, давшихъ государству въ 1931 году всего лишь 5% собраннаго властью зерна, объясняется, по мнѣнію Б. Д. Бруцкуса, не только нѣкоторыми техническими недостатками въ организаціи хлѣбныхъ фабрикъ, какъ запоздалый сѣвъ, постоянная ломка машинъ или чрезмѣрная нагрузка тракторныхъ станцій, но и большими принципиальными недостатками самой системы (отсутствіе личной заинтересованности, излишняя централизація, массовое производство однихъ и тѣхъ-же хлѣбныхъ злаковъ и пр.). Намъ кажется, что Б. Д. Бруцкусъ совершенно правъ, когда утверждаетъ, что при крайней континентальности климата въ юго-западной Сибири ея степныя пространства еще менѣе пригодны для монокультуры зерна, чѣмъ степи Европейской Россіи. Съ экономической точки зрѣнія едва-ли можно отрицать, что развитіе крѣпкихъ крестьянскихъ хозяйствъ, соединяющихъ производство зерна и корневыхъ плодовъ со скотоводствомъ, является наиболее цѣлесообразнымъ для сельскаго хозяйства засушливыхъ областей. Однако въ условіяхъ большевистскаго хозяйства, отвергающаго принципъ рентабельности, всегда имѣется возможность развивать массовое производство зерна

для экспортного фонда и военных нужд, пока разоренное крестьянство России не утратит способности оплачивать нерентабельные опыты советской гигантомании. Небольшо иначе относится к этому вопросу А. И. Угримов, который даже допускает возможность относительной рентабельности хлебных фабрик, правда, лишь за счет лишения местного населения заработка, фуража и продовольственных запасов, получаемых от посадки корнеплодов. Впрочем и А. И. Угримов полагает, что без развития крупных крестьянских хозяйств, способных увеличить народоемкость засушливых областей, России вряд-ли удастся освоить огромные пространства Казахстана. В некоторой поправке нуждается также утверждение Б. Д. Брукуса, что процесс коллективизации крестьянских хозяйств был вызван в первую очередь борьбой советской власти с недостаточными хлебозаготовками крестьян-единоличников; нам думается, что не меньшую роль играли при этом страх компартии перед ростом зажиточного крестьянства и необходимость радикальной политизации сельского хозяйства для осуществления первой пятилетки.

В климатическом и агрономическом отделе разбираемого нами труда профессора Полетика и Угримов разрушают легенду о неограниченных возможностях киргизских степей, от обработки которых многие иностранцы ожидают катастрофы на мировом хлебном рынке. При крайней континентальности климата и солончаковом характере почвы даже переход к четырехлетней плодосменной системе не может дать того результата, который наблюдается в более примитивных условиях на юго-востоке Европейской России, или на мелких фермах Америки. Во всяком случае производство в киргизских степях зерна, идущего преимущественно в Туркестан и на нужды кочевников, не может иметь для иностранцев производителей того значения, какое имеет для них развитие земледелия в исключительно плодородных степях Северного Кавказа. Тем не менее проникновение хлебопашества в степные районы юго-зап. Сибири с годовым количеством осадков в 200-300 миллиметров и наличие в киргизских степях еще не возделанных 10 милл. гектаров земли являются фактами, вполне оправдывающими тот интерес, который был проявлен к ним международными научными кругами.

**Б. С. Ижболдинь.**

Акад. С. Струмилин. Проблема планирования в СССР. Изд. Академия Наук, Ленинград, 1932, 541 стр.

Экономические воззрения советского академика лишены яркой индивидуальности, творческих идей. Но интерес их заключается в том, что из всех советских экономистов С. Струмилин наиболее полно и послушно возвел в экономическую систему экономическую практику советского правительства.

Этимъ объясняется его благополучное движеніе по бюрократической лѣстницѣ Маленькій статистикъ въ дореволюціонное время, бывший меньшевикъ, онъ быстро дѣлается экономистомъ не только партійнымъ, но и «придворнымъ». Въ то время какъ, не говоря о безпартійныхъ, другіе партійные совѣтскіе экономисты были неизмѣнно обвиняемы въ томъ или другомъ уклонѣ и ихъ ученая карьера обрывалась, С. Струмилинъ изъ статистика Госплана сталъ однимъ изъ столповъ планового хозяйства и дошелъ до «степеней извѣстныхъ», сдѣлался академикомъ.

Интересъ прежнихъ книгъ Струмилиныхъ и его новой книги въ томъ, что по нимъ можно судить какъ о положеніи экономической науки въ совѣтской Россіи, такъ и о теоретическихъ основахъ совѣтской экономической практики.

Совѣтскій академикъ съ полною откровенностью признаетъ и провозглашаетъ, что въ Россіи наука должна быть служанкою правительства, ибо, по изящному выраженію С. Струмилиныхъ, «не носъ созданъ для табакерки, а табакерка для носа». Академикъ двадцатого вѣка, называющій науку «табакеркой», призванной обслуживать «носъ» пролетариата, — можно ли придумать лучшую характеристику состоянія общественныхъ наукъ въ совѣтской Россіи? — Только напрасно совѣтскій академикъ ссылается при этомъ на К. Маркса, ему лучше было бы сослаться на Гитлера. «Человѣкъ, — писалъ въ свое время Марксъ по поводу Мальтуса, — который не подходитъ къ наукамъ со взглядами, хотя бы и совершенно ошибочными, но вытекающими изъ самой науки, а старается подогнуть къ взглядамъ, стоящимъ внѣ ея сферы и продиктованнымъ чуждыми ей, побочными интересами, — такого человѣка я называю *нижнимъ*». Эти гнѣвные слова Маркса полностью приложимы къ Струмилину.

Методологическіе взгляды, развиваемые Струмилинымъ въ его новой книгѣ, даютъ теоретическое выраженіе той системы административнаго восторга, которой проникнута вся экономическая политика совѣтскаго правительства. Въ Россіи, какъ извѣстно, діалектической материализмъ объявленъ общеобязательнымъ міросозерцаніемъ. Но достаточно внимательно прочесть Струмилинскую экономическую кодификацію совѣтской экономической практики, чтобы убѣдиться, что практика эта всецѣло основана не на діалектическомъ материализмѣ, а на очень ярко выраженномъ метафизическомъ волонтаризмѣ. Въ центрѣ совѣтской экономической практики находится свободная экономическая воля хозяйствующаго правительства. Она творитъ весь міръ экономическихъ отношеній. Плановое хозяйство совѣтскаго правительства въ гораздо большей степени опирается на цѣль, которую ставитъ себѣ воля хозяйствующей диктатуры, чѣмъ на анализъ объективныхъ фактовъ и факторовъ. «Характерною особенностью всякаго хозяйственнаго плана, — пишетъ С. Струмилинъ, — мы считаемъ не элементы вкрапленнаго въ этотъ планъ научнаго предвидѣнія, а цѣлевую установку плана, какъ системы хозяйственныхъ заданий и предубавленій» (Курсъ въ оригиналѣ). — И далѣе: «За начало координатъ при

постройкѣ нашихъ плотовъ мы можемъ и должны избирать не то, что можетъ быть предусмотрено въ порядкѣ прогноза, а то что можетъ быть предугаано въ порядкѣ цѣлевой установки.

С. Струмилинъ имѣлъ неосторожность перепечатать въ своей книгѣ нѣкоторыя статьи, написанныя имъ еще въ началѣ пятилѣтки, полныя грубыхъ выпадовъ по адресу экономистовъ, предостерегавшихъ отъ бѣшеныхъ темповъ пятилѣтки. Самъ же Струмилинъ въ этихъ статьяхъ доказывалъ, что къ концу пятилѣтки будетъ необычайный расцвѣтъ народнаго благосостоянія города и деревни.

Суровая дѣйствительность уже дала отвѣтъ на вопросъ, кто же оказался «вредителями», тѣ ли экономисты, которые предсказывали наступившій нынѣ страшный голодъ и массовое обнищаніе, или пряслужники диктатуры, нынѣ засѣдающіе въ Академіи Наукъ.

П. Славинъ.

Catalogues des «Bibliothèque et Musée de la Guerre», CATALOGUE METHODIQUE DU FONDS RUSSE DE LA BIBLIOTHEQUE rédigé par Alexandra Dumesnil, avec collaboration de Wilfride Lerat. Introduction par C. Bloch. Paris, 1932. In 4°. XIV+734 pages.

Это интересное изданіе составлено Александрой Долгополовой-Дюмениль въ сотрудничествѣ съ завѣдующимъ русскимъ отдѣломъ Библиотеки Вильфридомъ Лера. Даже не специалисту ясно станеть, какую работу выполнили составители, если сказать, что каталогъ содержитъ тысячу двѣсти предметныхъ рубрикъ и, что изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ номеровъ періодическихъ изданій составителямъ пришлось сдѣлать выборку наиболѣе значительныхъ по содержанию статей. Въ нынѣшней Россіи надъ такимъ каталогомъ (въ немъ больше 700 страницъ) работало бы нѣсколько комиссій съ подкомиссіями, — здѣсь это сдѣлано трудомъ и знаніями двухъ человекъ.

Организаторы русскаго чѣла Библиотеки правильно учли, что изучать войну 1914 года и революцію въ изолированномъ видѣ, въ связи съ русской общественной жизнью предшествовавшихъ десятилѣтій, невозможно. Поэтому они соотвѣтственно раздвинули хронологическія рамки книгохраняща, включивъ въ него довоенныя внутророссійскія и заграничныя изданія. Однако, въ введеніи къ каталогу директоръ Библиотеки К. Блокъ, объясняя, почему необходимо собирать и эмигрантскую (довоенную) литературу, говоритъ, что русская политическая эмиграція возникла 50 лѣтъ тому назадъ. Едва ли нужно напоминать русскому читателю, что политическая эмиграція восходитъ къ Андрею Курбскому, Котошихину и Веселовскимъ. Но если даже имѣть въ виду только девятнадцатое столѣтіе, то и тогда надо вести счетъ съ Николая Тургенева, положившаго начало русской политической эмиграціи въ современномъ смыслѣ слова. Слѣ-

довательно, по самому скромному счету эмиграции свыше ста летъ. Это заблужденіе руководителя Библиотеки сказалось, конечно, и на подборѣ довоенной эмигрантской литературы.

Каталогъ Библиотеки Войны выходитъ далеко за предѣлы того, что принято обозначать этимъ терминомъ. Меньше всего это изданіе отвѣчаетъ требованіямъ, предъявляемымъ читателемъ къ каталогу той или иной библиотеки. Это скорѣе руководство при изученіи войны и революціи въ Россіи, на подобіе тѣхъ «программъ для чтенія», что издавались у насъ О-вомъ Распространенія Технич. Знаній. Насколько можно судить по названію, составители сознательно придали изданію такой характеръ. Однако, отъ нашихъ русскихъ «программъ для чтенія» этотъ каталогъ отличается существеннымъ дефектомъ: рекомендуемымъ для чтенія матеріаломъ въ немъ являются исключительно книги, имѣющіяся на полкахъ Библиотеки. Нѣтъ надобности доказывать нецѣлесообразность руководства, написаннаго примѣнительно къ данному составу книгъ, подборъ коихъ ограниченъ подчасъ совершенно посторонними дѣлу условіями. Въ этомъ заданіи составителей и заключается основной порокъ изданія. Прямымъ слѣдствіемъ его является непригодность каталога къ обслуживанію читателей Библиотеки: въ немъ отсутствуютъ библиотечные номера книгъ (имѣются только порядковые для даннаго руководства), а самыя книги расположены даже внутри рубрикъ не въ алфавитномъ порядкѣ именъ авторовъ. Повидямому, въ процессѣ работы самимъ составителямъ стали ясны практическія трудности, которыя неизбежно встанутъ передъ читателемъ Библиотеки и они придали каталогу хорошо составленный предметный Указатель, который только отчасти облегчитъ поиски книгъ (отмѣтимъ не совсемъ удачное разрѣшеніе въ Указателѣ вопроса о періодическихъ изданіяхъ).

Въ введеніи указывается на хронологическій порядокъ расположенія матеріала въ каталогѣ. Съ этимъ можно было бы согласиться, если бы такой порядокъ понимался только въ смыслѣ временной послѣдовательности **событій, о которыхъ рѣчь идетъ въ книгахъ.** Въ дѣйствительности часто за критерій принимается годъ напечатанія книги. Укажемъ и на другое несоотвѣтствіе хронологическому порядку: фронты гражданской войны и ихъ возникновеніе расположены въ обратномъ порядкѣ, сначала восточный фронтъ, потомъ сѣверный, сѣверо-западный и въ самомъ концѣ южный.

Печатные матеріалы, собранные въ Русскомъ Отдѣлѣ Библиотеки, могутъ быть по достоинству оценены, пожалуй, только тѣми, кто знаетъ, съ какими трудностями приходится собирать, едва-ли не по листочкамъ, литературу довоенной эмиграціи и печать эпохи гражданской войны. Достаточно сказать, что тамъ имѣются изданія, которыхъ даже въ Россіи нигдѣ, кромѣ Петербургской Публичной Библиотеки, нѣтъ. Основной отдѣлъ Библиотеки — война 1914 года. Въ немъ собрано почти все, что вышло за границей и въ Россіи на русскомъ языкѣ, включая исчезнувшія теперь дубочныя изданія.

Очень интересенъ отдѣлъ періодической печати 1917-1918 гг. Сухой перечень смѣны названій газетъ свидѣтельствуетъ о драматической борьбѣ за независимое слово въ тотъ періодъ, когда большевики еще не рѣшились уничтожить свободную печать. Съ чувствомъ гордости за русскую журналистику читаешь эти послужные списки, въ особенности теперь, когда въ Германіи на нашихъ глазахъ радикальная печать съ такой поспѣшной услужливостью становится въ ряды побѣдителей.

Нужно сказать, что отдѣлъ революціи и гражданской войны представленъ въ каталогѣ даже полнѣе, чѣмъ отдѣлъ войны, но и здѣсь можно было бы многое возразить по поводу самаго размѣщенія материала по рубрикамъ. Подъ заголовкомъ «Революціонная пропаганда до Брестъ-Литовскаго мира» помѣщены, напр., «Краткій политическій словарь», «Законъ о выборахъ въ Учредительное Собраніе» и «Отвѣстность чиновниковъ». Книги, входящія въ составъ серій, помѣщены не въ алфавитномъ порядкѣ именъ авторовъ, а подъ ниче-го не говорящими именами этихъ серій.—Въ отдѣлѣ гражданской войны находимъ изданія, выходившія въ Каменецъ-Подольскѣ, Красноярскѣ, Мурманскѣ, Архангельскѣ, Грозномъ, Владивостокѣ, — всѣхъ не перечестъ.

Не менѣе разнообразенъ и отдѣлъ нелегальной заграничной литературы. Ошибочно, однако, къ послѣдней причислены двѣ газеты: «Парижскій Вѣстникъ» (1913) и «Парижская Газета» (1916). Ни ту ни другую не слѣдуетъ помѣщать среди изданій политической эмиграціи. Первая газета была близка по направленію къ «Рѣчи», парижскій корреспондентъ которой Е. М. Дмитріевъ былъ ея редакторомъ, а вторая воодушевлена была интересами русскихъ банковъ и страховыхъ обществъ. Отмѣчу, кстати, что періодическое изданіе **Парвуса** «Извнѣ» (Стокгольмъ) не слѣдовало относить къ изданіямъ послѣ-октябрьской эмиграціи. Жаль, что составители не придерживались единого приема при описаніи газетъ въ многочисленныхъ рубрикахъ періодики: въ нѣкоторыхъ случаяхъ даны имена редакторовъ и издателей, въ другихъ они опущены.

Отдѣлъ эмигрантской **изящной** литературы возникъ, повидимому, случайно. Въ немъ всего сто названій, включая книги попавшаго въ эмигрантскіе писатели И. Эренбурга и нѣсколько философскихъ трудовъ Новгородцева, Трубецкого и др.

Въ заключеніе отмѣчу, что раскрытіе псевдонимовъ нѣмъ здравствующихъ авторовъ (къ тому же случайнаго характера, ибо касается только нѣкоторыхъ именъ) едва ли можно признать цѣлесообразнымъ: работа эта по существу ничего общаго съ методическимъ каталогомъ не имѣетъ и должна быть, — въ иныхъ условіяхъ и предѣлахъ, — задачей спеціального изданія, для котораго не наступило еще время.

Як. Полонскій.

## СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ».

- Мих. Цетлинъ. Декабристы. — Судьба одного поколѣнія. Изд. «Совр. Записки». Парижъ, 1933.
- Соціалистическій Вѣстникъ № № 3, 4-5, 6-7.
- Записки Соціалдемократа № 18.
- Программа за Българската Земя от Григор Василевъ. Софія, 1932.
- Е. Е. Яшновъ. Особенности истории и хозяйства Китая. Харбинъ, 1933.
- Л. В. Арнольдъ. Китай, какъ онъ есть. — Гоминданъ. Коммунизмъ. Война. Шанхай, 1933.
- Библиографическій Сборникъ. Обзоръ литературы по китаевѣрѣнію. Тамъ I и II. Харбинъ.
- В. Курганскій. Японія и Китай. Библиографич. обзоръ литературы.
- Вас. Федоровъ. Прекрасная Эсмеральда. Ужгородъ, 1933.
- Смигъ I. Прага, 1933.
- Л. М. Сухотинъ. Фетъ и Елена Лазогъ. Бѣлград, 1933.
- К. А. Чхендзе. Страна Прометея. Шанхай, 1932.
- Викторъ Галаховъ. Враждебный міръ. Стихи 1920-1932.
- Петеръ Вудхуазъ. Крупный Деньги. Юморист. романъ. Шанхай, 1932.
- Т. Таманинъ. Отечество. Парижъ. УМСА-Прессъ, 1933.
- О. С. Трахтеревъ. Мысли и Тревоги. Парижъ, 1933.
- М. Слонимъ. Портреты совѣтскихъ писателей. «Парабола». 1933.
- А. С. Изгоевъ. Рожденное въ революціонной смутѣ (1917-1932). Парижъ, 1933.
- Харьковское Землячество. I, 1931. II, 1932. Парижъ.
- П. Тутковский. Молоть времени. Изд. «Парабола», 1933.
- Новый Градъ № 6.
- А. Съдыхъ. Люди за бортомъ. Парижъ, 1933.
- А. О. Волжанинъ. История одной жизни (Романъ). Парижъ, 1933.
- М. Vichniac. Lénine. — Ed. Armand Colin. Paris.
- O. Månche-Helfen und B. Nikolajewsky. Karl und Jenny Marx. Catalogue Méthodique du Fonds Russe de la Bibliothèque et Musée de la guerre. Paris, 1932.
- L. Guermanoff. Rêdressement économique et financier. 1933.
- E. Gordon. La responsabilité Civile des ministres. Paris, 1932.
- Francisco Nitti. La Démocratie. 2 vol. Libr. Felix Alcan. Paris.
- Pierre Kovalevsky. Les Destinées de la Littérature Russe. Paris.
- Pierre Kovalevsky. Le Sentiment Cosmopolite dans la Littérature Russe. Paris, 1933.
- La Cultura. Anno XII. Fascicolo I.
- Le Monde Slave. N° 2. 1933.

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,  
А. И. Гуковскимъ (+), В. В. Рудневымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: Леонида Андреева, М. Алданова, К. Бальмонта, И. Бунина, Андрея Бѣлаго, Б. Вышеславцева, Ал. Гейгера, Г. Гозданова, Г. Гребенникова, Д. Мережковского, Б. Зайцева, Е. Зямятина, П. Иванова, I. Матусевича, С. Минцлова, Мих. Осоргина, Георгія Пескова, А. Ремизова, Н. Рошина, В. Сирина, Д. Скобцова, Ив. Соколова-Микилова, С. Соколь-Слободского, Ф. Степуна, Ильи Сургучева, Ю. Терапиано, гр. А. Толстого, Софій Федорченко, Е. Чирикова, Ив. Шмелева, С. Юшкевича. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, Максимилиана Волошина, А. Герцыкъ, З. Гиппиусъ, И. Голенищева-Кутузова, А. Головиной, Вячеслава Иванова, Г. Иванова, Н. Крандѣвской, Д. Кнута, Галины Кузнецовой, А. Ладинского, Н. Ландлу, Сергѣя Маковского, Ю. Мандельштама, А. Несмѣлова, Н. Оцупа, В. Познера, Б. Поплавскаго, В. Сирина, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Allegro), Ф. Сологуба, Ю. Софьева, Е. Тауберъ, Тэффи, В. Ходасевича, Марини Цвѣтаевой, А. Эйнера. — Дневники и воспоминанія: Е. Брешковской, О. Грузенберга, Ел. Джанумовой, К. Ельцевой, В. Зензинова, А. Керенскаго, В. Короленко, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Рѣпина, Ал. Толстой, Лъза Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Н. Шкляевой, М. Щербакова. — Статьи по вопросамъ литерат., искусства, философ., полит., экон. и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, М. Алданова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, К. Бальмонта, А. Бема, Н. Бердяева, П. Вицилли, Е. Богданова, М. Брайкевича, В. Брейтвейта, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Водовозова, кн. С. Волконскаго, Н. Ганша, М. Гершензона, С. Гессена, Б. Гефдингга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуковскаго (А. Сѣврова), К. Гулькевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Юрія Данилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Дюнео, Н. Долинскаго, С. Жаба, С. Загорскаго, С. Завадскаго, П. Зернова, В. Зѣньковскаго, Ст. Ивановича (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсавина, С. Карцевскаго, К. Качоронскаго, А. Керенскаго, А. Кизеветтера, С. Кобыяковъ, А. Койранскаго, В. Короленко, С. Корфа, Ант. Крайнина, М. Крола, А. Кулишера, Е. Кусковой, В. Ладъженскаго, М. Лазерсона, З. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловцакаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, Г. Луша, В. Маклакова, А. Мандельштама, С. Мельгунова, С. Метельникова, П. Милокова, Н. Минскаго, Б. Миркина-Геневича, А. Михельсона, П. Муратова, В. Мякотина, Л. Неманова, С. Николаева, бар. Б. Нольде, А. Орлова, М. Осоргина, Н. Мельниковой-Папоушкѣ, А. Петришова, П. Пильскаго, С. Полакова-Литовцева, П. Прокофьева, Л. Пумпянскаго, А. Пѣвехонова, Ф. Родичева, М. Ростовцева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святополкъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, Д. Соколычева, С. Соловѣнчика, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, С. Тюрина, А. Ульяповъ, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, Д. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Целлина, Б. Шацкаго, Л. Шестова, Б. Штецера, Е. Юрьевскаго, Ив. Якушева и др.

Revue paraissant tous les 3 mois.

Цѣна отдѣльнаго номера 25 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6, Rue Daviel, PARIS (XIII<sup>e</sup>)

Téléphone : Gobelins 48-87

Imp. Union, 13, rue Méchain.

Le gérant Chailf.

# Из-во „Современныя Записки“

## ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).  
И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.  
И. А. Бунинъ: Божье древо.  
И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.  
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).  
М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).  
М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).  
М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.  
М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.  
Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.  
Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы).  
Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).  
А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).  
Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена.  
В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. біографія).  
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой.  
Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Іова.  
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.  
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.  
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.  
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.  
М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.  
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.  
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).  
Ст. Ивановичъ: Красная армія.  
Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.  
Н. Лосскій: Типы міровоззрѣній.  
Н. А. Бердяевъ: О назначеніи человѣка.  
Ф. И. Шаляпинъ: Воспоминанія.  
М. В. Вишнякъ: Всероссійское Учредительное Собраніе.  
М. О. Цетлинъ: Декабристы.  
В. В. Сиринъ: Подвигъ (Романъ).

## ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

- В. В. Сиринъ: Соглядатай (Романъ).  
В. А. Маклаковъ: Изъ прошлаго.  
П. Н. Милюковъ: Очерки по исторіи русск. культуры т. I.

Заказы принимаются въ конторѣ издательства  
и въ книжномъ дѣлѣ «Родникъ»: Editions  
«La Source», 34, r. de Godot-de-Maugro, PARIS (IX<sup>e</sup>)